Письма запрещенных людей

По материалам архива И. В. Чиннова

По материалам архива И. В. Чиннова

ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт мировой литературы им. А. М. Горького

ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ ЭМИГРАЦИИ
1950–1980-е годы

По материалам архива И. В. Чиннова

Москва
ИМЛИ РАН
2003

ББК 83.3

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 02-04-16044д

Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980-е годы. По материалам архива И. В. Чиннова. Сост. О. Ф. Кузнецова.— М.: ИМЛИ РАН, 2003.— 832 с., илл.

Художник
Николай Козлов

ISBN 9208-0149-2

О ФЛОРИДСКОМ АРХИВЕ И. В. ЧИННОВА

Я сойду, отдавши эстафету
Новым слугам прелести земной.
Александр Гингер «Факел»

Имя поэта Игоря Владимировича Чиннова — одно из самых известных в литературных кругах русского зарубежья середины двадцатого века. Георгий Адамович, авторитетный критик русского Парижа, властитель дум, считал его «мэтром» среди поэтов, и многие признавали, что именно Чиннов унаследовал принадлежавшее Георгию Иванову «кресло первого поэта эмиграции». Не удивительно, что в архиве Чиннова, полученном в 1997 году из Флориды Институтом мировой литературы РАН, оказались письма практически от всех заметных деятелей русского зарубежья тех лет.

Архив был передан в Россию согласно завещанию поэта. До сих пор личные архивы старых эмигрантов традиционно оставались за границей, попадая в библиотеки Европы и Америки. Этот архив стал исключением.

Исключительна была и судьба его владельца. Ведь жизнь Чиннова вместила всю советскую эпоху. Современник «серебряного века» — он родился в начале XX столетия, — поэт стал свидетелем завершившей столетие перестройки. В первые же недели ельцинской демократии он приехал в Россию в числе сотрудников лучшего и старейшего из эмигрантских изданий — «Нового журнала». В советское время — запрещенного, а всего лишь два месяца спустя после знаменитых августовских

событий девяносто первого года — отмечавшего свой пятидесятилетний юбилей в Центральном доме литераторов в Москве! «И невозможное — возможно»,— написал Чиннов потом о поездке в Россию.

Как давно, много десятилетий, надеялись писатели русского зарубежья на встречу с российским читателем. Сколько делали тщетных попыток преодолеть воздвигнутый спецслужбами «железный занавес».

Борис Зайцев в 1969 году в письме из Парижа в Москву прозаику Виктору Лихоносову писал: «Вот у меня вышла книга — "Река времен", вроде антологии писания моего — до революции, во время ея, в эмиграции. Отобранное, казавшееся более типичным. Книга **безобидная**. Послал в Москву знакомому (по письмам) литературоведу — вернулась ко мне». О попытке переправить в СССР свои «Комментарии» писал Лихоносову и Георгий Адамович: «...послал книгу Паустовскому, с которым познакомился, когда он был в Париже. Книга вернулась обратно, а меня уверяли, что он-то уж получит все во всяком случае». (Из письма за 1968 год).

Эти письма были напечатаны Лихоносовым как раз в октябрьском номере «Литературной учебы» за 1991 год, вышедшем в Москве одновременно с приездом сотрудников «Нового журнала». Первыми же мгновениями перестроечной оттепели спешили воспользоваться не только эмигранты, но и советские журналы.

Так случилось, что именно в шестидесятые годы я Лихоносова довольно часто видела. Он приходил в гости к моим родителям — я училась в школе — и все время был чем-то озабочен, расстроен. Что-то у него не складывалось с сильными мира сего. Но я и предположить не могла, что он — один из тех немногих, кто решался переписываться с эмигрантами. Тогда и дети знали, что все контакты с ними запрещены.

«По первым же письмам,— вспоминает Лихоносов,— я почувствовал, что это совсем другие люди. Лишившиеся всего (и самое главное — России) ... Они писали мне из Парижа 60-х годов, города президентов де Голля, Помпиду, но, казалось, это какая-то ошибка на конверте: из царской Москвы это, а не из Парижа».

В семидесятые годы в эмиграции возникла идея создать совместный советско-эмигрантский альманах под названием «Опасные связи». Владимир Вейдле в письмах обсуждал ее со своими друзьями — Игорем Чинновым и Юрием Иваском. Но от идеи пришлось отказаться как раз из-за опасности, которой подвергались бы советские его участники, рискнувшие связаться с запрещенными писателями.

Вейдле, Иваск, Зайцев, Адамович... — они не дожили до торжественного приема в Доме литераторов. Почти никто из «старшей эмиграции», причастной культуре дореволюционной России, не дожил.

Когда И. В. Чиннов узнал, что «Новый журнал» приглашают в Москву, то, несмотря на восемьдесят с лишним лет и неблизкий путь с побережья Флориды, где обосновался, выйдя в отставку в звании заслуженного профессора, он все же решился на путешествие, чтобы увидеть, наконец, свою Россию. Впервые после революции. И выступал со стихами в Доме литераторов, и в Доме журналистов, и в Фонде культуры. Сам он тогда называл себя «последним парижским поэтом».

...Я жил в Париже целых восемь лет,
Уехал тридцать лет тому назад.
Там жили русские поэты. Больше нет
В живых почти ни одного. Конь Блед
Умчал их в тот, небесный вертоград?

В землице Франции они лежат.
Они писали русские стихи.
Они из-за кладбищенских оград
Кивают мне: Хотелось бы, собрат,
В Россию... А? Да где ж: дела — плохи.

В землице русской? У березок, в ряд?
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
Что наши трупы въедут в Петроград
(Что бронзовые Музы осенят
Храм Эмигрантской Лирики?) Капут.
А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.

Публика в Доме литераторов все не хотела его отпускать. И те, кто должны были говорить следом, уступили ему свое время. Многие из присутствующих совсем не знали чинновских стихов. Хотя за границей в последние сорок лет у него вышло восемь сборников, его стихи переводили на разные языки и университеты чуть не всех американских штатов уже успели увидеть его выступления.

После окончания вечера я договорилась с Чинновым об интервью.

«О. К. — Игорь Владимирович, почему вы до сих пор не приезжали сюда?

И. Ч. — Душенька, это зачем же? Чтобы проследовать в Сибирь и сидеть в лагере?..

О. К. — А когда вы уехали?

И. Ч. — В Риге в сорок четвертом году я имел неосторожность сказать, в очень тесном кругу, что Гитлеру не победить в этой войне. И через три дня ко мне явилась милая компания. Два таких оберштурмфюрера. Они сообщили, что передо мной выбор: или я еду в Германию на принудительные работы, или жизнь моя окончится весьма печально. Я, конечно, выбрал тот вариант, который не грозил мне немедленной утратой земного существования. И меня с большой группой латышей увезли в лагерь в Рейнской области. Там мы пробыли примерно девять месяцев. По окончании войны нас перевезли во Францию. Я попал в Париж.

В Париже я встретил много русских. Ивана Алексеевича Бунина. Бывал на его четвергах постоянно. Николая Александровича Бердяева. Бывал на его воскресеньях. Георгий Адамовича, Георгия Иванова, Сергея Маковского, Владимира Вейдле. Замечательный был человек. Блистательный. И говорил по-немецки и по-французски совершенно великолепно. Безо всякого акцента.

Здесь у вас было мнение, что писатель-эмигрант — дело конченое. Ничего хорошего он уже написать не может. А между тем Зайцев выпустил в эмиграции несколько прекрасных книг. Иван Алексеевич Бунин лучшее свое написал именно за границей. Хотя Зинаида Ни-

колаевна Гиппиус, баба умная-умная, но злая, говорила ему: «Иван Алексеевич, вы не писатель. Вы — описатель». Она имела в виду его прекрасные описания Москвы. Ну, дай нам Бог побольше таких описателей.

Когда я только приехал в Париж, я оказался на собрании Объединения русских поэтов и писателей. И вот за столом с зеленым сукном вижу Ивана Алексеевича. Во фраке. Отложной воротничок, белый галстук. Невысокого роста. Лицо — бронзовая медаль. Красавец. Надменный.

Рядом с Буниным сидит, Боже ты мой, какой-то карлик. Урод. И это — великий умница, Алексей Михайлович Ремизов. Душечка. То есть он далеко не со всеми был душечкой. Со мной — да. Со многими другими — нет. С ним произошло вот что. Взглянувши однажды на себя в зеркало, он понял, что при такой наружности надо что-то предпринять. Это же случилось и со Львом Толстым. Как-то, когда ему было лет тридцать, он во фраке увидел себя в зеркале. Такая физиономия! И Лев Николаевич, умная голова, решил — никаких фраков. Рабочая блуза, борода. И все встало на место. Так же поступил и Ремизов. Отказался от пиджаков, галстуков. Надел блузу и стал паясничать и фиглярничать, выступая шутом гороховым. Навесил даже в своей комнате какие-то скелетики. Скелет летучей мыши, домашней мыши, скелет селедки. И так далее. Я часто бывал у него. Он мне дарил все свои книги.

О. К. — С кем вы сейчас общаетесь?

И. Ч. — У меня круг знакомых очень маленький. Есть три человека, с которыми я дружу. В том числе и бывшие советские. Милые люди. Но никого больше.

О. К. — А вы пишете по-английски?

И. Ч. — Стихи — нет. Меня много переводили. И на английский, и на французский, и на немецкий — и все плохо. У меня есть звуковая структура, линия. Но это непереводимо.

О. К. — Вы около тридцати лет живете в Америке. Не чувствуете себя американцем?

И. Ч. — Я жил девять лет во Франции — и французом не стал. Около семи лет — в Германии. А немцем

тоже не стал. Теперь у меня американское гражданство. Но я русский эмигрант.

О. К. — У вас прекрасный старинный выговор. Как вам удалось так хорошо сохранить язык?

И. Ч. — А почему бы мне его не сохранить? Никакой задачи в этом нет. Если случится встретиться с каким-нибудь русским — мы поговорим по-русски. А так... Я сам с собою говорю по-русски»[1].

Следующим летом Чиннов снова приехал в Россию, жил на даче под Загорском. И собирался выбраться еще. Но заболел. Врачи нашли рак.

И тогда он всерьез задумался о судьбе своего архива. Там сохранились материалы о жизни многих писателей-эмигрантов, составлявших круг интеллектуальной элиты русского послевоенного зарубежья. С Чинновым, признанным уже в шестидесятые годы первым поэтом эмиграции, они были связаны дружескими, приятельскими, деловыми отношениями. Их письма Чиннов особенно ценил и многие годы складывал в небольшие металлические ящики. Там же оказались и другие бумаги. Все это предстояло разобрать.

Когда я приехала, чтобы помочь, — столы, стулья, тумбочки, диваны в его флоридской квартире были погребены под кучами рукописей, конвертов, исписанных листочков, документов. Сам хозяин в вишневом бархатном халате сидел под очень яркой лампой в своем любимом кресле и, перечитывая то одно, то другое письмо, восклицал: «Каких людей я знал! Адамович, Георгий Викторович! Царство Небесное! Владимир Васильевич (Вейдле), дорогой! Извиняется, что не сразу ответил. Называл меня “Милый поэт”. Сашуня Гингер. Аня-рыбка (Присманова). Все умерли!»

До поездки в Россию Чиннов предполагал завещать или продать свой архив какому-нибудь американскому университету, как делали все в эмиграции. Но после 1991 года в завещании появилась строка: архив и биб-

[1] Огонек. 1992. № 9.

лиотеку — Институту мировой литературы РАН в Москве (ИМЛИ).

21 мая 1996 года И. В. Чиннов умер. Ему было восемьдесят шесть лет. Вскоре около сорока железных коробок с бумагами и почти три тысячи книг на английском, французском, немецком, и русском языках были доставлены из Флориды в институт. С немалыми трудностями — советские таможенные и министерские чиновники были в затруднении: «Все всё вывозят, а вы ввозите. Даже не знаем, как этот дар и оформлять». Сейчас архив и библиотека поэта хранятся в Кабинете эмигрантской литературы им. И. В. Чиннова отдела рукописей ИМЛИ РАН.

* * *

В основе данной книги письма из архива И. В. Чиннова от писателей, литературоведов, издателей, с которыми поэт был знаком в эмиграции.

Прожив несколько послевоенных лет в Париже и будучи принят как молодой, подающий надежды поэт в самые элитарные кружки русских парижан, Чиннов познакомился там со многими интересными людьми. В 1953 году он уехал работать в Мюнхен, где открылась радиостанция «Свобода». А в 1962-м перебрался в США, где стал профессором в университете. Почтовый адрес менялся, писем становилось все больше — и от парижских друзей, и от коллег со «Свободы», и от профессоров других американских университетов.

Первый раздел книги посвящен представителям «старшей эмиграции». Благодаря им были сохранены те связующие культурные, религиозные нити между старой Россией и современностью, которые разрывала революция. Известно ведь, что культура передается не только через письменность, но и в личном общении. И сама их жизнь создавала в эмиграции атмосферу служения России. Они покинули родину после революции, уже взрослыми сложившимися людьми. Православный москвич Б. Зайцев. Лукавый чудак А. Ремизов, жив-

ший в языковых стихиях — России семнадцатого века и двадцатого. Петербуржец, западник и эстет С. Маковский. Они на самом деле «унесли Россию» с собой, продолжая жить и писать так, как будто за границей они временно и вот-вот вернутся домой. Говоря о заслугах старшей эмиграции, Адамович писал, что «понятие творчества в эмиграции искажено не было, духовная энергия на чужой земле не иссякла и когда-нибудь сама собой включится в наше вечное, общее русское дело. <...> Эмигрантская литература сделала свое дело потому, что осталась литературой христианской»[2].

Во втором разделе речь идет о наиболее известных в послевоенном Париже русских поэтах. Многих революция застала детьми, они покинули Россию в совсем юном возрасте и как литераторы сформировались только в эмиграциии. Россия для них навсегда осталась страной их счастливого детства. Оттого тоска по родине, родному дому в их стихах особенно пронзительна, и светла. Большинство из них пытались адаптироваться к жизни в Европе. Но при этом они оставались прежде всего русскими поэтами и старались по мере сил внести свой вклад в развитие литературы, обогащая ее и тем новым, что дала им западная культура. Адамович писал об их «служении» русской культуре, о том, что и «второе поколение испытание выдержало. Никто ему не говорил о какой-либо “миссии”, о “священном долге”. Оно само себе эту миссию назначило, ощутив необходимость ее и отказавшись ее променять на что-либо другое, практически более заманчивое»[3]. Русские литераторы поддерживали творческую жизнь эмигрантского сообщества в Париже, был у них и свой союз, и издания, выходили книги.

Их письма, здесь помещенные, относятся к послевоенному, последнему периоду существования русского Парижа. Одни умерли, другие — уехали в Америку, где найти работу было значительно легче, чем во Франции. Так уехал и Игорь Чиннов, получивший поэтическое

---

[2] Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

[3] Там же.

признание в Париже. К восьмидесятым годам Русский Париж перестал существовать. Это уникальное явление русской культурной жизни стало прошлым.

«Кто сказал, что планета — не дом...» — рискнул спросить эмигрантский поэт Валерий Перелешин, и назвал свою книгу стихов «Три родины» — имея в виду Россию, где родился, и Китай и Бразилию, где прожил большую часть жизни. Обрести новую родину, войти в культуру другой страны удалось некоторым из эмигрантов, о которых рассказано в третьем разделе. В основном это люди, оказавшиеся за рубежом в годы Второй мировой войны. Так называемая — «вторая волна». Большинство из них поселились в Америке. Там никакого русского литературного сообщества не сложилось — приехавшие разъезжались по разным штатам и, как правило, занимались преподавательской или издательской деятельностью, выполняя роль «посланников русской культуры, распространявших идеи о ее достижениях и сделавших большой вклад в понимание (иностранцами) России»[4]. Это цитата из вышедшего на английском языке исследования о современной русской литературе американского профессора, выходца из России, Марка Слонима, после войны поселившегося в США. Как видим, и в Америке не были забыты слова Зинаиды Гиппиус о роли эмигрантов: «Мы не в изгнании, мы — в послании».

Деление включенного в книгу материала на разделы весьма условно. Хотя бы потому, что деятельность некоторых писателей не укладывается в рамки одного раздела. Но в контексте этой книги важно было выделить ту главную роль, которую каждый из рассматриваемых писателей играл в литературном процессе зарубежья в послевоенные десятилетия.

Так, Рахиль Чеквер включена в главу о русском Париже (хотя сама никогда там не жила), потому, что без ее

---

[4]Так писал американский профессор Марк Слоним в исследовании о современной русской литературе: Slonim Mark. Modern Russian Literature. New York, 1955. Книга была написана на английском языке.

парижского издательства «Рифма» трудно себе представить послевоенный Париж, а тем более — Париж поэтический.

Как невозможно представить его без поэзии Георгия Иванова, принадлежавшего к поколению старшей эмиграции. Да, его связь с Россией не ослабевала, даже кажется, что в Париже он жил, как бы в двух реальностях — петербургской, и парижской. И трудно сказать, которой он принадлежал больше — реальной или хранимой в памяти. Но тем не менее лучшие свои стихи он написал не в Петербурге, а в Париже.

Юрий Терапиано по возрасту тоже мог бы оказаться среди старших эмигрантов, а не среди поэтов-парижан, тем более, что в эмиграции он был больше известен не как поэт, а как постоянный критик парижской «Русской мысли», но критик, специализирующийся в первую очередь на поэзии. А его письма важны именно как летопись жизни Русского Парижа.

Владимир Злобин как поэт сформировался только в эмиграции и его творчество принадлежит Русскому Парижу. Но здесь он выступает в той, главной своей роли, которую избрал себе сам — то есть представителя Мережковских.

Неоднороден и творческий путь Игоря Чиннова. Он делится на парижский и американский периоды. Хотя сам Чиннов считал, что как поэт принадлежит Русскому Парижу. Его стихи — те, что упоминаются в этой книге,— приведены в конце. Таким образом, оказались представлены — пусть выборочно — все восемь эмигрантских сборников Чиннова, одного из самых крупных поэтов не только в эмигрантской, но и во всей русской литературе. Современники ценили его талант. Нередко именно стихи заставляли людей, с Чинновым даже не знакомых, браться за перо — так завязывалась переписка, ставшая теперь ценным документом, свидетельствующим о прошлом нашей культуры.

Ольга Кузнецова

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Борис Константинович Зайцев — писатель, мемуарист — родился в 1881 году в Орле. Еще до революции у Зайцева вышел в России трехтомник рассказов. В 1921-м в Москве Зайцев был избран председателем Московского союза писателей. В 1922 году, получив разрешение на выезд за границу для лечения, он уехал из страны и больше не вернулся. Берлин, Италия и потом, уже навсегда, — Париж. Творчество Зайцева принадлежит скорее веку 19-му, а не 20-му. Всеми своими помыслами он там, в России своего детства. Хотя большинство из написанных им вещей вышли в эмиграции. Есть у него роман и о жизни эмигрантов — «Дом в Пасси».

*«Дом в одном из парижских кварталов, облюбованных эмигрантами, — не просто французский дом, наполовину заселенный иностранцами: это оазис в пустыне, — пишет Г. Адамович. — Зайцев не склонен в чем-либо упрекать французов и не противопоставляет мнимой их узости и сухости нашу хваленную ширь и отзывчивость. Патриотически-хмельная обывательщина ему чужда. Но он с грустью признается, что Франция ему не вполне понятна, что среди французов он — чужой. Россия, воплощенная в обитателях парижского дома, пусть даже и беднее, но зато как-то духовнее, непосредственнее, сердечнее. <...> Зайцев касается тут того, что едва ли не все русские чувствуют и что ни на какие блага, ни на какой культурный блеск и лоск не хотели бы променять. Лично у Зайцева к этому примешивается и христианство, притом именно "розовое", противолеонтьевское, мало-воинствующее...»**

Россия, какой запомнилась она писателю, и православие — вот основные, вдохновляющие Б. Зайцева темы. Только перечень им написанного занимает около 20 страниц в составленной Ренэ Герра библиографии «Борис Зайцев» (Париж, 1982). И там романы, повести, рассказы, очерки. Самое большое из произведений Зайцева — че-

* Из статьи «Борис Зайцев» в книге: Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

тырехтомное «Путешествие Глеба», где писатель вспоминает свое детство. Им написано несколько книг-биографий: «Жизнь Тургенева», «Жуковский», «Чехов». Отрывок из последней мы публикуем. Он посвящен путешествию молодого Чехова в Италию. Италия, по свидетельству А. Бахраха, была второй (после Москвы) любовью Зайцева. Там он был в свадебном путешествии, и потом грезил о ней в холодные и голодные месяцы 1919 года, ища укрытия в небольшом родительском имении под Тулой. «Как характерно для Зайцева, что под его взволнованно-лиричным "репортажем" о Риме значится: "Село Притыкино, Тульской губернии, декабрь месяц 1919"», — заметил Бахрах. Много лет Зайцев работал над переводом «Божественной комедии» Данте. Его перевод (сделанный в прозе) вышел в Париже в пятидесятые годы и остался почти без внимания. Зато написанные Зайцевым биографии русских писателей вызывали в эмиграции большой интерес. О чем свидетельствует и отклик архиепископа Иоанна Шаховского, приведенный ниже.*

Многие годы Зайцев был председателем Союза русских писателей и журналистов в Париже, куда входил и Чиннов. Председательствовал на двух (из пяти) творческих вечерах Чиннова. Чиннов, знавший Зайцева, когда тому было уже за шестьдесят, вспоминал, что он был очень милым и удивительно доброжелательным человеком, с людьми разговаривал всегда очень ласково, любезно. В девяносто лет Зайцев продолжал работать — редактором литературного отдела «Русской мысли». Всего четырнадцать дней не дожил он до 91 года. Умер Б. К. Зайцев в 1972 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

5. 9.1953

Дорогой Игорь Владиміровичъ[1], да, только одно Ваше письмо дошло, — и это давно было, надо сознаться. Съ тѣхъ поръ прошелъ августъ, была наша забастовка, мы сидѣли тутъ тихо, очень даже тихо. Августъ въ Парижѣ вообще безлюденъ, а ужъ тутъ оказалась вполнѣ пустыня. Такъ что жили по-монастырски.

* Бахрах А. По памяти, по записям. Париж, 1980.

Думали осенью выбраться во Флоренцію, но не вышло. Надѣюсь, сдѣлаемъ это весной, когда кончу («Богу содѣйствующу») книжку. Называется она «Чеховъ»[2], и сейчас дѣло идетъ уже подъ горку, къ концу.

Вѣроятно, Вы знаете уже, что психически заболѣлъ Зуровъ[3]. Находится въ лѣчебницѣ, въ S<...>. Говорятъ, пишетъ тамъ съ утра до вечера. Жаль его, конечно, очень жаль. Видимо, дѣло серьезное. Много лѣтъ былъ я съ нимъ знакомъ, никогда не думалъ, что такъ кончится. Будьте здоровы, бодры, пишите кромѣ скриптовъ и стихи. Кланяйтесь отъ меня и Вѣры[4] Лоллію[5]. Самому себѣ отъ насъ тоже поклонитесь. Вашъ Бор. Зайцевъ.

P. S. Спасибо за вниманіе и сочувствіе.

[1] Письма Б. К. Зайцева написаны по старой орфографии.

[2] Книга Бориса Зайцева «Чехов. Литературная биография» вышла в Нью-Йорке в 1954 году.

[3] Л. Ф. Зуров — писатель, автор таких произведений, как «Отчина», «Древний путь», «Поле» и др. Жил у Буниных и уже тогда мучился, что никак не может дописать свой роман «Зимний дворец». См. ниже: Бахрах А. Разговоры с Буниным.

[4] Вера Алексеевна — жена Б. Зайцева.

[5] Один из сотрудников радиостанции «Свобода» в Мюнхене, куда в 1953 году И. Чиннов уехал работать из Парижа. Упоминаемые выше «скрипты», — тексты передач.

1 іюня 1970
5, Av. des Chalets, Paris (16). Метро Ranelagh

Дорогой Игорь Владиміровичъ, радъ былъ получить отъ Васъ весточку, спасибо за слова о Вѣрѣ[1].

Ни книга, ни письма Ваши прежніе до меня не дошли. Я уже болѣе пяти лѣтъ живу у дочери, адресъ теперь другой, какъ указано выше. Это XVI-й «аррондисманъ» Парижа, кладбище старшихъ писателей эмиграціи. Здѣсь жили и умерли Бунинъ, Мережковскій, Гиппіусъ, Купринъ, Шмелевъ, Алдановъ, — я одинъ остался. Куда ни придешь, — самый старый. Да мнѣ все равно. Въ «Н. Р. Сл.»[2] написали, что мнѣ 90 лѣтъ. Это не совсѣмъ вѣрно: 90-й, если доживу, 90 будетъ только 11 февраля 1971 года. Вотъ тогда дѣйствительно девяносто.

Третьего дня былъ у насъ вечеръ памяти Пастернака (десятилетія кончины), нашъ Союзъ Писателей устраивалъ, въ Русск. Консерваторіи. Обер-полицмейстеромъ былъ я. Выступали и русскіе (Адамовичъ, Вейдле, я), и французы — проф. Aucouturies и графиня Proyart. Французы насъ забили, лучше читали! И громкоговоритель въ ихъ, второмъ отделѣніи, лучше дѣйствовалъ. И азарта больше. Окутюрье, съ этой осени проф. Сорбонны, пріѣхалъ специально изъ Женевы, говорилъ по-русски, да какъ! Не подумаешь, что французъ. Совсѣмъ молодой, акцента нетъ. Графиня — переводчица Пастернака и читаетъ о немъ лекціи. Я сидѣлъ рядомъ, потому не слышалъ ни одного слова, кромѣ, по временамъ: «Пастернак», — а въ публикѣ (многочисленной) всѣ отлично слышали. И для французовъ это болѣе вновѣ, а намъ уже поднадоѣло читать, выступать... Ну, будьте здоровы. Если соберетесь въ Европу, милости прошу, къ намъ зайдите. Позавтракаемъ.

Тел. нашъ: Jas. 38-33. Звоніте утромъ (10–12 ч.) или вечеромъ.

Вашъ Бор. Зайцевъ[3].

[1] В «Новом журнале» (1968. № 92 — 1970. № 99) были напечатаны письма Веры Алексеевны Зайцевой, жены Б. Зайцева, к Вере Николаевне Буниной. Публикация называлась «Другая Вера», с комментариями Б. Зайцева.

[2] В газете «Новое русское слово». (Одна из самых популярных газет в эмиграции, начала издаваться в Нью-Йорке в 1911 году.) См. об этом ниже, в письме Ю. Терапиано от 16.3.1970.

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 7 писем от Б. К. Зайцева.

Борис Зайцев

ОТДЫХ

*Глава из книги «Чехов»**

Россия восьмидесятых, начала девяностых годов — это почти сплошная провинция. И на верхах, и в среднем классе, и в интеллигенции. Одинокий Толстой не в счет, в общем же время

* Печатается по тексту журнала «Опыты». Нью-Йорк. 1953. № 2.

24-26, rue Frémicourt, Paris (15e) — 28. XII. 71.

Дорогой Игорь Владимировичъ, спасибо за память и дружественное письмо. Сердечно привѣтствую съ Праздникомъ и наступающимъ Новымъ Годомъ! Чего Вамъ пожелать въ году новомъ? — Стиховъ, стиховъ, стиховъ, здравія, лекціонныхъ успѣховъ. И бодрости.

Аріаднѣ Семеновнѣ передайте привѣтъ мой и признательность. (Хотя, навѣрно, она уже уѣхала изъ Чикаго, какъ и Вы, вѣроятно? Все равно — при случаѣ.)

У насъ недавно прошелъ вечеръ Достоевскаго (Сазоновъ устраивалъ), Вейдле, Струве, Паскаль старшій и отрывки изъ него читали актрисы. Кажется, прилично было.

Дай Богъ всего добраго,
искренно Вашъ

Бор. Зайцевъ

P.S. Брежневъ еще живъ.

Письмо Б. Зайцева к И. Чиннову от 28 декабря 1971 года

Надсона, Апухтина, передвижников, да и весь совершенно особый склад русской жизни, начиная с правительства, через барина до тульского мужичка — все вроде как за китайской стеной. Прорубал Петр окно в Европу, прорубал, да видно не так легко по-настоящему его прорубить.

Чехов сам в Таганроге возрос, в провинциальной Москве зрел, Лейкиным и «Будильникам» отдавал юные писательские годы. Но ему были отпущены дары несравнимые. Вечно в захолустье он сидеть не мог.

Сахалин весьма подавил его. Как всегда в жизнях значительных, все само собой складывалось так, чтобы получилось цельно. Надо было подышать иным, да и повидать новые края, совсем иные.

Суворин с сыном собирались в марте 91 года за границу. Чехов был в Петербурге, Суворин пригласил его с собой и решил ехать в Италию и Францию.

Вероятно, из всех троих самым образованным и (относительно) европейцем был самоучка Суворин старший. Чехов о Западе, об Италии и Франции понятия не имел и рос в семье, для которой земля, в сущности, стояла на трех китах. Тем удивительнее видеть, как остро он воспринимал все в путешествии — возможно, и противоположность с Сибирью и Сахалином тоже роль сыграла.

Письма его из Вены, особенно же из Венеции, восторженны. Пожалуй, это самые высокие ноты во всей чеховской переписке. Восторженность вовсе ему не свойственна, но тут она есть, простая, искренняя. Ее сразу чувствуешь и радуешься, что живая душа, пусть даже и не без наивности, *так* отзывается.

Вот, например, о Вене: «Церкви громадные, но они не давят своей громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев». «Все великолепно, и я только вчера и сегодня как следует понял, что архитектура в самом деле искусство». Но возбужденность у него такая, что остановиться он уже не может. И женщины красивы, и лошади превосходны, и кучера фиакров франты и «одних галстухов в окнах миллиарды», и вежливость, предупредительность... «Да вообще, все чертовски изящно» — еще шаг и начнется Гоголь.

Венеция окончательно его восхитила. Остановились они с Сувориным, видимо, у Даниэли или Вауэра — «в лучшем отеле, как дожи» — что обошлось Чехову в копеечку, но отставать от Суворина было нельзя.

В Венеции же оказались в это же время Мережковские, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна. «Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга». Но сам Чехов от него не отставал. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел». «Здесь собор Св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дожей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь».

Дальше идет фраза, которую уж вполне мог бы написать Гоголь: «А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером с непривычки можно умереть». «Здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество» — хорошо, что последних слов не слышал профессор из «Скучной истории» или какой-нибудь другой медикус из Московского университета!

На почве восторга Чехов в одном письме даже занесся, но не по своей вине. Сбила его Зинаида Николаевна Мережковская. Видимо, в юности она так же все путала, как и в старости, в Париже.

Ясно видишь как она, ленивая и слегка насмешливая, со своими загадочно-русалочными глазами, покуривая папироску, вяло тянет:

— Да, здесь все дешево... Мы за квартиру и стол с Дмитрием платим... Дмитрий, сколько мы платим?

— Зи-и-на, восемнад-цать франков!

— Слышите, Чехов... Ну, вот вам. Восемнадцать франков. Разве это дорого?

Возможно, Мережковский разговаривает в это время с Сувориным и не слышит, как она добавляет Чехову, которого считает немножко тюфяком и провинциалом:

— Восемнадцать франков в неделю... совсем недорого.

Чехов поверил, и хотя сам платил вовсе недешево, отписал в таком духе сестре в Москву. Но на другой день пришлось поправлять. «Вчера, описывая дешевизну венецианской жизни, я немножко хватил через край. Виновата в этом г-жа Мережковская». «Вместо неделю, читай в день».

В Венеции повезло им насчет погоды — солнечно, чудесно. Дальше пошло хуже, во Флоренции дождь, в Риме тоже неважно и впечатление бледнее.

Флоренция все же, несмотря на дождь, тоже понравилась. («Я тоже скучаю по Венеции и Флоренции...» — из позднего письма, уже в России, Суворину).

Чтобы войти в Рим и его почувствовать, надо там жить дольше. Три, четыре дня мало, а после блеска Венеции может даже и разочаровать. До Чехова Рим мало дошел, слишком утомил хождением с утра до вечера («... горят подошвы»). О Риме-то он и обронил фразу, которая может дать неверное представление о том, как он оценивал Италию. («Рим похож в общем на Харьков»). Видимо, и Григорович распространял о нем неправильные сведения в подобном роде — Чехову было это неприятно, в письме к Суворину он почти сердится. На самом деле Италия произвела на него впечатление огромное — русскую традицию, идущую со времен Гоголя и Жуковского, через Тургенева до Мережковского и модернистов — эту традицию Чехов, лишенный всякой традиции, все-таки поддержал. «Очаровательная страна. Если бы я был одиноким художником и имел деньги, то жил бы здесь зимою. Ведь Италия, не говоря уже о природе ее и тепле, единственная страна, где убеждаешься, что искусство есть в самом деле царь всего, а такое убеждение дает бодрость»[1].

[1] Интересный отклик на свою книгу получил Б. Зайцев от архиепископа Иоанна Шаховского в письме от 14 октября 1954 года из Сан-Франциско:

«Дорогой Борис Константинович,

Недавно прочел я Вашу книгу о Чехове. Как бережно, заботливо "распутали" Вы его, "реставрировали", воссоздали творение Художника Первого. Добрались до настоящего Чехова. Ничего, кажется, не пропустили, добираясь до его сути, которую он, может, и сам не до конца видел. Ваша книга есть извлечение "драгоценного из ничтожного", по слову Господню, сказанному пророку: "если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста"...

Биография эта, конечно, не только "литературная", а стоит, в сущности, на грани литературы и того, что "сердце сердцу говорит в немом привете". Не все читатели расслышат этот "привет" Ваш, как Чехову, так и читателю его и своему. Но, "привет" Ваш все-таки коснется многих и заронит в сердца нечто, открывающееся за Чеховым, ради чего мы и живем тут. Это любовь к человеку. А отшелушить все, ради чего не стоит жить, и не живем мы

тут... Что можно сделать большего в биографии? Тем более — литературной... Писатель-христианин не может быть празден от именно такой любви. Ее надо возвещать.

Вам, вероятно, покажется странным один пункт: но мне как-то кажется, именно в "Архиерее" открылась узость горизонта Чехова. "Архиерей" сделан как-то очень для меня чуждо. Ни одной черточки нет в нем близкой, в строе его переживаний... Это, конечно, не "старец" Толстого, не "Отец Сергий"; но, в чем-то подобен ему. Прямого опыта религиозного не раскрывается в нем. Он весь в плане "психологическом", "душевном". И неудача рассказа в том именно, что хороший человек выведен. Будь он не "положителен", как тип, была бы более оправдана его религиозная бесхребетность, духовная безжизненность.

Как-то сердце мое не спокойно за Бунина... Перед самым моим отлетом в Англию (год назад, когда летел через весь мир), совсем поздно, от Струве, мы с сыном П. Б. <Струве>, доктором, заехали; и — посидел я последний раз с Иваном Алексеевичем, не то $^1/_2$ часа, не то час. Он смог пройти в столовую, расположился за столом, и поговорили, не исключая темы и о том мире... Как-то захотелось ему с Мережковским заполемизировать, что мол чудак, думал, что "с Лермонтовым" встретится там!.. Я все же сказал ему, что та жизнь несравненно реальнее этой. Уходя, крепко обнял его и благословил. Он с полным благоговением это принял и остался сидеть сгорбленный, такой несчастный с виду, словно загнанная мышка в самом последнем уголку подполья своего... И Чеховым, как раз, был занят, когда пришла минута переходить...

Ведь тайна в том, что количества талантов мы не знаем,— ни в себе, ни в других; и оттого никто, ни про себя, ни про другого, не знает, сколько "дано", сколько "отдано" Богу, Кто дал... Талант же главный, разумеется, не физический и не душевный (не искусство), но — духовный,— талант духовных возможностей и сил... Это проблема не разрешаемая на земле. И оттого нельзя (не то, что не позволяется, но нельзя по самоочевидности) судить другого: нет ни у кого меры, с которой можно сравнивать данный уровень человека. Но, есть и бывает какой-то "вздох несовершенного", который вьется за человеком. Вздох непросветленности и непримиренности. О, если бы душа воспрянула, хотя бы в последний миг...» Письмо архиепископа было напечатано в «Русском Альманахе» (Париж, 1981).

Борис Зайцев

ПАМЯТИ АЛДАНОВА*

Это было давно, в 22-м году в Берлине. В сопровождении худенькой, изящной дамы в комнату вошел темноволосый молодой человек с черными усиками — очень красивый. Мне именно тем и понравился, что красивый. Назвали мне его — Алданов. Молодой писатель Алданов.

Мы познакомились, начались наши многолетние дружеские отношения. В том же Берлине вышел весной 23-го года первый его исторический роман «Девятое Термидора» — начало трилогии, начало известности.

Мы с женой читали роман вдвоем, сразу, и, чтобы не мешать друг другу, разорвали книгу пополам. Не мы одни отнеслись к «Девятому Термидора» с такой горячностью. Книга разошлась отлично и сразу дала автору имя.

Из Берлина оба мы перебрались в Париж. Начались долгие годы эмиграции. Вспоминая их, всегда вижу на близком от себя расстоянии фигуру Марка Александровича и радуюсь, что эти три с половиной десятилетия прошли в ровных, дружественных и ничем не омраченных отношениях. На склоне жизни так это ценишь!

Талант Алданова рос, развивался. Росла известность. «Заговор», «Десятая симфония», «Истоки» кажутся мне лучшими его произведениями.

Но как быстро все прошло! И вот уже — прощальные слова. Давно ли были веселые литературные обеды с Буниным, Тэффи, Алдановым, Осоргиным, иногда Муратовым. Обед в честь итальянского писателя Кюфферле. Празднование Нобелевской премии Бунина. В горестные времена весны 40-го года, когда

---

* Этот текст Бориса Зайцева, написанный им от руки в связи со смертью М. Алданова (1886—1957), сохранился в архиве И. Чиннова. Видимо, некролог предназначался для передачи на радио «Свобода», где И. Чиннов тогда работал. В библиографии опубликованных работ Б. Зайцева (Борис Зайцев. Париж. 1982) эта заметка не упоминается. Текст написан по старой орфографии на трех страницах обычной писчей бумаги. Без даты. Видимо, это 1957 год.

немцы приближались к Парижу, после прощального собрания у друзей расцеловались мы с ним недалеко от нашего дома в полутьме майской ночи. Он с женой уехал на юг.

И вот — Америка. А потом вновь Франция, и вновь литература, всегда литература, и при всей горестности отношения его к жизни, при всем внутреннем уединении, всегдашней печали — всегда участливое отношение к людям. Думаю, высшей для него ценностью был — человек, его свобода, независимость, творчество, хотя все темное в человеке он знал отлично.

Совсем недавно исполнилось Марку Александровичу — самому «европейскому» из наших писателей — 70 лет. Не намного ушел он в жизни далее.

Горестно провожать его в вечность. Благородство и нравственная прочность, своеобразие, талант — все отошло. Но в некоем высшем смысле все продолжает существовать. Человеческие жизни не напрасны, хотя тайну этого до конца понять нам не дано. Вечная память!

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Алексей Михайлович Ремизов родился в 1877 году в Москве. В 1897 году за участие в студенческих беспорядках был арестован и 6 лет провел в тюрьме и ссылке на севере России. Эмигрировал в 1921 году, с 1923 года жил в Париже. Писать и печататься начал еще до революции в России, где выходили его романы, переводы, рассказы, сказки, сборники пересказанных легенд. В эмиграции Ремизов печатался на русском и французском языках. Книги, не находившие издателя, издавал сам, ставя на них гриф выдуманного издательства «Оплешник». У Чиннова сохранилось более десяти книг, подаренных Ремизовым, большинство — издательства «Оплешник». И. Чиннов познакомился с Ремизовым в Париже, часто бывал у него дома, а когда в 1953 году уехал в Мюнхен, где стал работать на радиостанции «Свобода», они вели переписку — деловую, по большей части, — Чиннов готовил на радио передачи о русских поэтах и писателях. О Ремизове передачи он не сделал. Позже готовил публикацию его прозы, видимо, в «Новый журнал», но публикация не состоялась. В архиве И. Чиннова сохранилось написанное им предисловие к этой публикации:

«Алексей Михайлович Ремизов, московит, юношей переселившийся в Петербург, стал известен в литературных кругах еще до революции, но широкие читательские круги остались равнодушными к нему до самой его смерти. Большая затейливость, чрезвычайное своеобразие ремизовского писания мешали популярности. Он был в высшей степени homme de lettres, автор восьмидесяти книг (правда, зачастую тонких), писал слогом, восходящим к семнадцатому веку (что еще подчеркивал своим каллиграфическим почерком в духе эпохи "узорочья"). Его отход от "карамзинского языка" по-*

* Пишущий человек *(фр.)*.

влиял на ряд советских писателей, особенно "серапионовых братьев". Последнее десятилетие жизни в Париже Ремизов, наконец, появился во французской авангардной печати. Но несколько последних лет он очень страдал — слепота положила конец и ремизовской прекрасной каллиграфии и его замечательным рисункам.

Наиболее существенные из книг Ремизова — "Взвихренная Русь" (1927), "Шумы города" (1921) и "Слово о погибели русской земли" (1917). Нередко он перелагал своим орнаментальным языком известные литературные сюжеты — но это находило мало ценителей. К сожалению, его высокое литературное мастерство не могло заменить некоторый недостаток духовной питательности».*

Отношение к Ремизову в эмиграции было не очень доброжелательное, но все же журнал «Опыты» отметил восьмидесятилетие Ремизова — с приветствиями на страницах журнала выступили В. Вейдле, Г. Иванов, В. Марков. Написанное Ивановым «Слово о Ремизове» мы здесь публикуем. Против чествования Ремизова в «Опытах» резко высказался Г. Адамович (см.: его письмо к И. Чиннову, от 26 августа 1957) — вдохновитель и идеолог поэтического направления «парижской ноты», характеризовавшейся предельной сдержанностью, аскетичностью языка, не мог принять языка Ремизова, называя его «поэзией лжи», «поэзией лукавства». И все же в своей статье о Ремизове (в кн. «Одиночество и свобода». Нью-Йорк, 1955) Адамович, не соглашаясь с Ремизовым, признает его высокий творческий и технический уровень. «С первой строки любой из ремизовских книг чувствуется, что это, как говорится, настоящее», — пишет Адамович, подчеркивая связь Ремизова с Гоголем, от которого «у Ремизова многое: сказочность, пристрастие к какой-то своеобразной внутрироссийской экзотике...»

После своего юбилея А. М. Ремизов не прожил и трех месяцев — он умер 6 сентября 1957 года в Париже.

---

* Эссе, написанное 5 октября 1917 года. Оно первое в книге А. Ремизова «Огненная Россия» (Ревель: изд. «Библиофил», 1921). Кроме этого эссе, в книгу включены небольшие зарисовки и статьи: «Огневица», «О судьбе огненной», «Огненная Россия».

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

5.6.1953

Дорогой Игорь Владимирович,

Какое внимание Ваше письмо о Дудочке[1].

Кто будет писать и будет ли писать о ней в Experiments[2]. А о мелодии вы ничего не сказали: стр. 9, 83| забота; веселость духа; очарование, 39–92| пришел Крысомор, дудит[3].

О Шестове[4]: следил за счетчиком (его возил бесплатно др. Ейминген). Да в этом весь Шестов в жизни. А может этот счетчик не только шестовское, а несообразность человеческой жизни. Этот счетчик я много наблюдал в себе и других.

Пантелеймон Романов (Москва) уверился в своем: он Лев Толстой, п. ч. родился в Туле.

Летним утром, как сейчас (такое только в Москве и в Париже) под отдаленный перезвон к водосвятию по Яузе плывет х...<*в письме – рисунок*>. Его видит околоточный Гаврилов (глаза после вчерашней), а рассказываю я со слов банщика Яшки.

— Да это вся Москва!

Моя автобиография в «Пляшущем демоне»[5] (IX–XVIII) и «Подстриженными глазами»[6]. Печатали меня только из милосердия и с первой книги ругали.

Не печатают: с 1931–1949 г. ни один издатель не взял моих книг — 18 лет. И теперь: повесть «В сырых туманах» 4 года лежит в «Новом журнале»[7].

В книге «В розовом блеске»[8] первые две части издательство не приняло, начинается книга с III-ей.

А «Оплешник»? — но ведь это я сам на свои «кормовые»: когда мне «подают», я возьму себе немножко, а все остальное Резникову в типографию.

Когда же Вы вернетесь? Без Вас тут пусто: оскоминные, залапанные слова.

А. Ремизов.

[1] Книга А. Ремизова «Мышкина дудочка» (Париж: «Оплешник», 1953), которую А. Ремизов подарил И. Чиннову.

[2] «Опыты» – литературный журнал, выходивший в Нью-Йорке в 1953–1958 годах.

[3] Частично текст указанных А. Ремизовым страниц «Мышкиной дудочки» (стр. 77–84 из книги издательства «Оплешник», подаренной И. Чиннову) мы публикаем ниже.

[4] Лев Шестов (1866–1938) — философ. Друг А. Ремизова.

[5] Книга А. Ремизова «Пляшущий демон». Париж, 1949.

[6] Книга А. Ремизова «Подстриженными глазами». YMCA-PRESS, 1951.

[7] «Новый журнал» — выходит в США с 1942 года. Основан М. А. Алдановым и М. О. Цетлиным. Повесть «В сырых туманах» была напечатана в «Новом журнале» за 1953 год, № 34.

[8] Книга А. Ремизова «В розовом блеске». Нью-Йорк: «Изд-во им. А. Чехова», 1952.

2.1.1954

Дорогой Игорь Владимирович,

«Статуетка»[1] в «Н. Р. С.» с купюрами. В «Гранях» восстановлено. Посмотрите «Потерянный бриллиант», рассказ о Руманове. Послал в «Н. Р. С.» 2-ую часть «Моей литературной карьеры».

В «Опытах» лежит моя повесть о Петре и Февр<онии>[2], в «Н. Ж.» «Гоголевская тройка», в «Гранях» «Сказки из Панчатантры».

Все идет очень медленно, вылеживается. «В сырых туманах» («Н. Ж.») — 1945 года. Сейчас в наборе «Сны в русской литературе»[3] и одновременно «Тристан и Изольда»[4]. Много возни. Разнообразие для оттенка.

Ваше занятие дает ли Вам что-нибудь для науки?

Есть ли какой просвет — опять Париж и время?

Ваши стихи в «Гранях» выпуклые на чувство — мне их читал ваш суровый почитатель («Грани» 19).

Куда пропал Иваск? Или и вправду задавила Антология — 1000 эмигрантских поэтов[5]. О вас вспоминает Н. Резникова, Горская, Емельянова, Копытчик[6]. И все ждут вашего возвращения в Париж, хотя бы в комнату трех уборных[7].

В Париже выходит газета «Сулежье», так зову, а как ее по-печатному не знаю. A. Remizov.

[1] «Статуэтка» — так названа М. Ремизовым глава из повести «Моя литературная карьера», в которой действуют реальные лица. Эта глава была напечатана в газете «Новое русское слово», а потом в журнале «Грани» (1953. № 19). Публикуется ниже по тексту журнала. «Потерянный бриллиант» — глава из той же повести.

[2] Эта повесть в «Опытах» не появилась. Но там у Ремизова были напечатаны «Дягилевские вечера» (1953. № 1), «Судьба без судьбы» (1955. № 4), отрывок из романа «Плачужная канава» (1957. № 8).

[3] Книга А. Ремизова была названа «Огонь вещей», вышла в «Оплешнике» в 1954 году.

[4] Книга А. Ремизова «Тристан и Изольда» вышла в «Оплешнике» в 1957 году.

[5] Ю. Иваск, друг И. Чиннова, издал антологию эмигрантской поэзии «На Западе» (Нью-Йорк, 1953).

[6] Так А. Ремизов называл С. К. Маковского (о нем см. соответствующий раздел).

[7] А. Ремизов в шутку называл маленькую комнату на последнем этаже, которую И. Чиннов снимал в Париже: «Барская квартира — одна комната, три сортира».

6.8.1954

Зайцев[1] именинник

Дорогой Игорь Владимирович,

Ваш почитатель — Деспот Игемон — В. Н. Емельянов уехал, его замещает Утенок из «Мышкиной дудочки». Все делается очень медленно. На Илью вышел «Огонь вещей», а сегодня Зайцев именинник, а книга лежит подписана, а пройти на почту подожду понедельника.

Вышел № 42 Preuve, статья Чапского[2] и мой портрет под Вия. Поляки культурнее нас.

Я могу вам послать «Пляшущего демона». П., 1949 — моя автобиография в русских веках. XI–XVIII.

«В розовом блеске» (Чеховское издательство) надо добывать, что труднее без В. Н. Емельянова. Все магазины до сентября закрыты, а только Дом Книги открыт, а слать некого. «В розовом блеске» есть у Степуна[3]. В этой книге последняя часть «Вывертень» — Париж в оккупацию.

Из моих исторических затей издания «Оплешника» у Вас нет «О двух зверях» (Ихнелат) — любимое чтение Московской Руси XV–XVII веков. Эту книгу я пошлю Вам, а «Бесноватых» — достану у Резникова.

«Савва Грудцын» печатается по-французски «La Parisienne».

Я вам очень благодарен за ваше внимание. Такая для меня (моего) редкость.

«Иверень» (1897–1906) — продолжение «Подстриженными глазами» (1877–1897) — все еще лежит в Чеховском издательстве. Думаю, ваше слово сдвинет, и перестанут отбрыкиваться. А. Ремизов-слепец.

[1] Имеется в виду Б. К. Зайцев, писатель.

[2] Граф Йозеф Чапский — польский антикоммунист, писатель.

[3] Ф. А. Степун (1884–1965) — философ, социолог, публицист. Жил в это время, как и И. Чиннов, в Мюнхене. Они с Чинновым общались. О чем знал Ремизов.

9.8.1954

Дорогой Игорь Владимирович,

Ударным будет выход моей книги «Огонь вещей» — многолетний труд 1928–1951. Впервые русская литература в снах и предсоньи (Достоевский). [Я подготовил и следующую книгу, набрана, сто моих снов, назову именем нашего снотолкователя «Мартин Задека»[1]].

На днях достану «Бесноватых» и пошлю Вам. А сегодня послал: «В розовом блеске», «Повесть о двух зверях», «Пляшущего демона».

В «Пляшущего демона» вкладываю листок — копия напечатанной заметки в «Новом русском слове» <...> июля 1954 г., стр. 3.

Вас не смутит 5 книг издания «Оплешник»? «Оплешник» — «чудесным образом» <существует> на жертвы бедноты, о чем рассказывает Чапский, а кроме того, управляющий типографией Dr. Резников — кредит и по дешевке, и своими руками: Резников линотипщик. Настоящие же издательства (Чеховское, YMCA, Возрождение) моих новых книг не приемлют.

[Прилагаю еще «Воскресения день» к «Христову крестнику».][2]

[1] В 1956 году в Нью-Йорке вышло «Избранное» В. В. Розанова, составленное Ю. П. Иваском, и с его предисловием.

[2] Этого текста среди бумаг И. Чиннова нет. В архиве И. В. Чиннова сохранилось 5 писем от А. М. Ремизова, все они здесь опубликованы.

ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ НА КНИГАХ

На книге «Мышкина дудочка». Париж: «Оплешник», 1953:

Игорю Владимировичу Чиннову, мюнхенскому узнику. Дудочку не слушайте, напишите для Experiments о Жан-Поле[1], в 40-х годах в России любимое имя, и возвращайтесь в Париж. Алексей Ремизов. 5.VI.1953.

На книге «Подстриженными глазами». Париж: YMCA-PRESS, 1951:

Игорю Владимировичу Чиннову, моя жизнь от колыбели до тюрьмы. 24.VI.1877–18.XI.1897. Алексей Ремизов. 17.V.1954.

Когда-нибудь под старость. Хотя бы начало — «Узлы и закруты» — увертюру «Подстриженных глаз».

На книге «Бесноватые». Париж: «Оплешник», 1951:

Игорю Владимировичу, мастеру ратного дела, научившему меня писать не глядя, любимую повесть XVII века[2], вышла из смуты моей и века, когда-нибудь в уединении, закончив срочное, не зная, за что приняться и скоротать время. Алексей Ремизов. 16.VIII.1954. Paris.

На книге «Звезда надзвездная». Париж: YMCA-PRESS, 1928:

Игорю Владимировичу Чиннову, моему предстателю и защитнику на тараканогорье — темном суде самоуверенных ра-

Из моих исторических затей издания «Оплешника» у Вас нет «О двух зверях» (Ихнелат) — любимое чтение Московской Руси XV–XVII веков. Эту книгу я пошлю Вам, а «Бесноватых» — достану у Резникова.

«Савва Грудцын» печатается по-французски «La Parisienne».

Я вам очень благодарен за ваше внимание. Такая для меня (моего) редкость.

«Иверень» (1897–1906) — продолжение «Подстриженными глазами» (1877–1897) — все еще лежит в Чеховском издательстве. Думаю, ваше слово сдвинет, и перестанут отбрыкиваться. А. Ремизов-слепец.

[1] Имеется в виду Б. К. Зайцев, писатель.

[2] Граф Йозеф Чапский — польский антикоммунист, писатель.

[3] Ф. А. Степун (1884–1965) — философ, социолог, публицист. Жил в это время, как и И. Чиннов, в Мюнхене. Они с Чинновым общались. О чем знал Ремизов.

9.8.1954

Дорогой Игорь Владимирович,

Ударным будет выход моей книги «Огонь вещей» — многолетний труд 1928–1951. Впервые русская литература в снах и предсоньи (Достоевский). [Я подготовил и следующую книгу, набрана, сто моих снов, назову именем нашего снотолкователя «Мартин Задека»[1]].

На днях достану «Бесноватых» и пошлю Вам. А сегодня послал: «В розовом блеске», «Повесть о двух зверях», «Пляшущего демона».

В «Пляшущего демона» вкладываю листок — копия напечатанной заметки в «Новом русском слове» <...> июля 1954 г., стр. 3.

Вас не смутит 5 книг издания «Оплешник»? «Оплешник» — «чудесным образом» <существует> на жертвы бедноты, о чем рассказывает Чапский, а кроме того, управляющий типографией Dr. Резников — кредит и по дешевке, и своими руками: Резников линотипщик. Настоящие же издательства (Чеховское, YMCA, Возрождение) моих новых книг не приемлют.

Если у Вас нет, могу Вам прислать «Stella Maria Maris» («Звезда надзвездная»[2] — стихи, по-еврейски), — но русские поэты не полюбопытствовали. А по-русски для нас, диких, стихи — организованное словесное пространство, граненое вареной ватой или сургучной жвачкой — Антология Иваска.

И мою ученую книгу «Образ Николая Чудотворца» YMCA PRESS, 1931 — последняя книга, после которой 18 лет меня по-русски отказывались издавать. Плохо я пишу, разберете ли? А. Ремизов.

[1] Книга «Мартин Задека. Сонник» вышла в «Оплешнике» в 1954 году.

[2] Книга А. Ремизова «Звезда надзвездная». Париж: YMCA-Press, 1928.

27.4.1956

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы научили меня писать не глядя, но только отыскать в книге нужный текст — даю промашку. Гадая, укажу Вам на сказку «Христов крестник». Сказка помещена в моей разошедшейся книге «Звезда надзвездная». Эта книга у Вас есть.

Будете в Париже, загляните. Лучше — в 5 часов, дверь не заперта, толкните ногой и коридором в кукушкину.

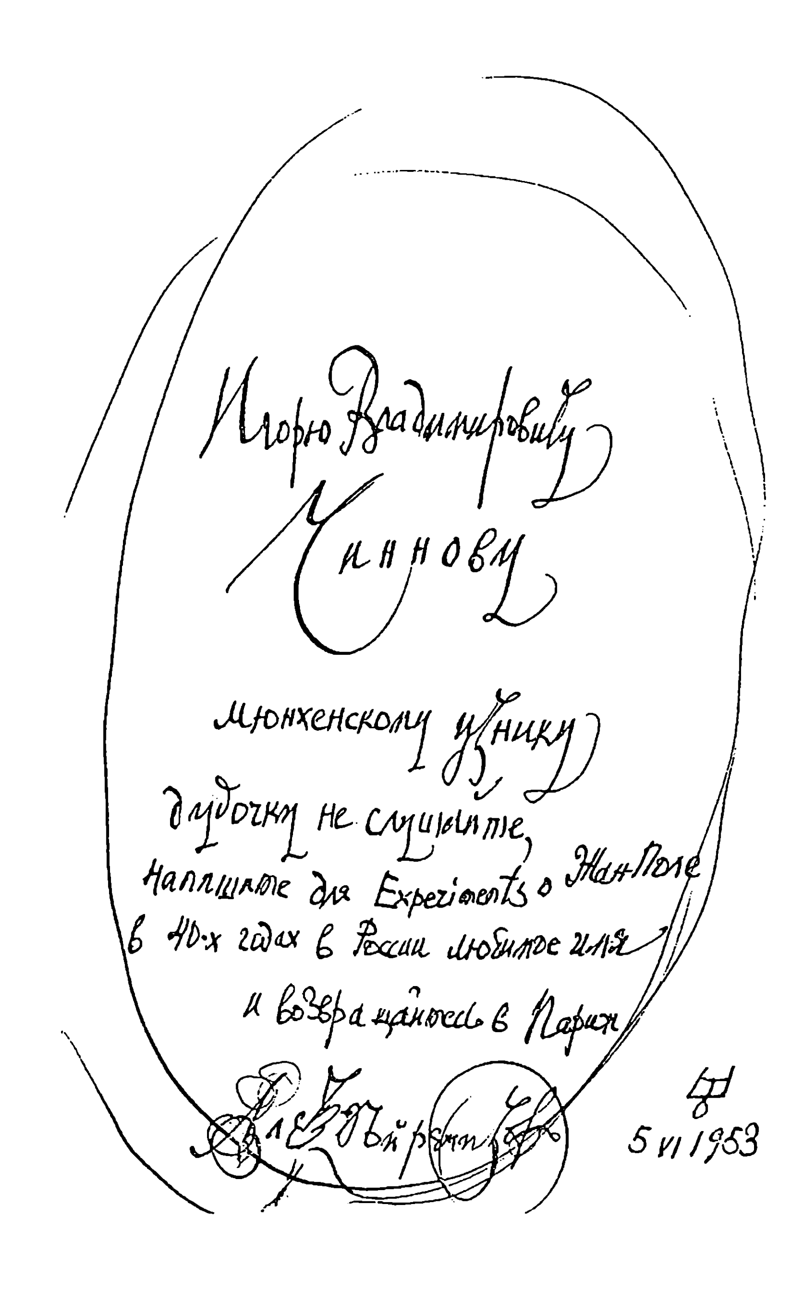
По-прежнему наш аптекарь съедает весь мой корм. По-прежнему я прошу милостыню.

С книгами у меня неудача. «Иверень» (вторая часть «Подстриженных глаз») забракован Чеховским издательством. «Тристан» и «Две королевы» — без движения.

Иваска с Розановым не получил[1], а купить не могу. Верю в промысел Божий и живу беспечно.

Очень рад был получить от Вас весть из Мюнхена. Иваск писал о Мексике. Я подумал, что и Вы перекочевали на черные пастбища питаться рисовыми огурцами с грибным соусом. И вдруг письмо из Мюнхена, и, не по-вашему, четко.

Скончался Сергей Константинович <Маковский> для нашего бренного мира. Заходил прощаться. «Рифма» переходит в другие руки. Все вас вспоминают и хлопают в ладоши. Алексей Ремизов.


Игорю Владимировичу
Чиннову
мюнхенскому узнику
дудочку не слушайте,
напишите для Experiments о Жан Поле
в 40-х годах в России любимое имя
и возвращайтесь в Париж
5 VI 1953

Дарственная надпись А. Ремизова на его книге «Мышкина дудочка», вышедшей в издательстве «Оплешник» (Париж, 1953)

[Прилагаю еще «Воскресения день» к «Христову крестнику».][2]

[1] В 1956 году в Нью-Йорке вышло «Избранное» В. В. Розанова, составленное Ю. П. Иваском, и с его предисловием.

[2] Этого текста среди бумаг И. Чиннова нет. В архиве И. В. Чиннова сохранилось 5 писем от А. М. Ремизова, все они здесь опубликованы.

ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ НА КНИГАХ

На книге «Мышкина дудочка». Париж: «Оплешник», 1953:

Игорю Владимировичу Чиннову, мюнхенскому узнику. Дудочку не слушайте, напишите для Experiments о Жан-Поле[1], в 40-х годах в России любимое имя, и возвращайтесь в Париж. Алексей Ремизов. 5.VI.1953.

На книге «Подстриженными глазами». Париж: YMCA-PRESS, 1951:

Игорю Владимировичу Чиннову, моя жизнь от колыбели до тюрьмы. 24.VI.1877–18.XI.1897. Алексей Ремизов. 17.V.1954.

Когда-нибудь под старость. Хотя бы начало — «Узлы и закруты» — увертюру «Подстриженных глаз».

На книге «Бесноватые». Париж: «Оплешник», 1951:

Игорю Владимировичу, мастеру ратного дела, научившему меня писать не глядя, любимую повесть XVII века[2], вышла из смуты моей и века, когда-нибудь в уединении, закончив срочное, не зная, за что приняться и скоротать время. Алексей Ремизов. 16.VIII.1954. Paris.

На книге «Звезда надзвездная». Париж: YMCA-PRESS, 1928:

Игорю Владимировичу Чиннову, моему предстателю и защитнику на тараканогорье — темном суде самоуверенных ра-

бов. Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. Алексей Ремизов. 27.VIII.1957.

[1] В 1953 году в журнале «La Nouvelle Revue Française» публиковалась книга А. Ремизова «Подстриженными глазами» (в переводе Н. Резниковой). Возглавляли журнал Жан Полян и М. Арлян, с которыми Ремизов поддерживал отношения еще до войны. Возможно, предлагая написать в «Опытах» о «Жан-Поле», Ремизов имел в виду эту публикацию.

[2] Фрагмент из этой «любимой повести» публикуется ниже.

Алексей Ремизов

СТАТУЭТКА*

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРЬЕРА

На 11-ой версте

Варвара Дмитриевна Розанова читала мой «Пруд»[1] пять раз, «и ничего не понимаю», — говорила она со скорбью; она искренно хотела помочь мне. Василий Васильевич Розанов о «Пруде» слышал из разговоров — всюду говорили и все против; из моих сверстников, как и я начинавших, Иванов-Разумник — в Петербурге, Андрей Белый — в Москве, по-разному, но оба возмущались; за меня наперечет: Лев Шестов, Дягилев, Философов, Сомов, Бакст, Блок и С. В. Лурье. Да, забыл помянуть старших — моих отцов крестных: Горького и Леонида Андреева — пройдут годы, пока гнев не сменится на милость. И не было газе-

---

* Печатается в сокращении. По тексту журнала «Грани». 1953. № 19. В предисловии к автобиографичной повести «Моя литературная карьера» А. Ремизов писал: «В судьбе каждого писателя есть своя таинственная статуэтка, и только в истории литературы обнаружится, стоило ли ее беречь в Эрмитаже или это такой вздор, годный лишь на выброс» (Цит. по кн.: Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989).

ты, где б меня не выругали, и письма. Думаю — прошло немало годов — вот чем объясняется моя литературная нечувствительность.

В. В. Розанов не менее Варвары Дмитриевны сокрушался, глядя на наш пропад. А всякий раз, как станет он надевать калоши идти в «Новое Время», Варвара Дмитриевна повторяла: «Вася, не забудь, попроси Виктора Петровича»[2].

Буренин отмалчивался. Но однажды — должно быть, очень надоело — он сказал, что о сумасшедших писать не хочет. Тут Розанов помянул Серафиму Павловну[3], и о Наташе, и археологию: Буренин сдался. И сдержал слово. В одном разносном буренинском фельетоне я прочитаю о себе и о «Пруде» — несколько строчек, но вразумительных: Буренин выражал свое искреннейшее удивление, что автор «Пруда» еще не на «Одиннадцатой версте», в чем он был уверен, а живет в Петербурге («На одиннадцатой версте» — как в Петербурге говорилось о больнице св. Николая для душевнобольных, на станции Удельная, Финляндской ж.д.).

Я был под негласным запрещением, меня никуда не принимали, в толстых благородных журналах имя мое было пугалом. К. И. Чуковский пытался в «Вестнике Европы» — редактор Е. А. Ляцкий,— там только руками замахали и приняли за шутку: Чуковский предлагал мой рассказ «Слоненок» (Собрание сочинений. Т. 1. Изд. «Шиповник» — Сирин, СПБ., 1910–1912).

В 1906 году кончились «Вопросы жизни», конец моей службы: я заведовал хозяйственной частью; и мы остались без ничего. Меня посылали в разные учреждения. Д. В. Философов — в Государственный Контроль. Управляющий Государственным Контролем Ратьков-Рожнов, жена его — сестра Философова, чего, кажется, проще, а ничего не вышло, только смех.<...>

[1] Роман А. Ремизова «Пруд» вышел в 1908 году в Петербурге.

[2] В. П. Буренин — известный в дореволюционной России журналист.

[3] Жена А. Ремизова. Наташа — дочь.

Статуэтка

День выдался особенный, только в Петербурге такое бывает. После вчерашнего дождя, тумана, когда не видишь перед носом и по улицам идут наугад безликие тени, сегодня с моря подул ветер и вдруг все переменилось. Солнце. И Невский — единственный — выполощенный, вычищен, блестит.

Я шел по каким-то бедовым делам, наслаждаясь, вбирая в себя этот блеск, Невский под солнцем после дождя! — ковровые бесшумные торцы от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры — пространство куда от Триумфальной арки до Конкорд.

Легким шариком катился мне навстречу, я издалека узнаю: Сомов. Он спешит на «сеанс», не помню, чей портрет он рисовал: Вячеслава Иванова или Блока?

Мы стояли под солнцем, блестя, как Елисеевские гастрономические стены, бутылки, фрукты и розовая ветчина.

«Непременно в пятницу жду, — прощаясь, Сомов сделал сердечком губы и мягко, но внятно, у него баритон: буду показывать “статуэтку”, — сказал он, — большой секрет, один Валечка знает, я ему сказал, а для других это будет сюрприз».

Статуэтка была сделана по воле императрицы Екатерины «для назидания обмельчавшему потомству»[1]. Статуэтка хранилась в Эрмитаже. Для публичного обозрения недоступна. Об этой исторической редкости стало известно от А. И. Сомова, директора Эрмитажа. К. А. Сомов упросил отца взять на дом — хоть на один вечер, посмотреть. А. И. Сомов долго не решался: будут руками трогать, не повредили б — и вот, наконец, согласился: Статуэтка «торжественно» (так выговаривалось у А. И. Сомова) перенесена из Эрмитажа на Екатерингофский проспект.

Андрей Иваныч, «водрузив» драгоценный «ларец» — размер скрипичного футляра — на самом видном месте «под святые», все беспокоился: а ну, как «схватятся»?

А кому хвататься, если вещь находится в полной неизвестности: никто никогда не видал и ничего не знает, как о легендарном обезьяньем царе Асыке.<...>

[1] На вечере К. А. Сомова демонстрировалась фарфоровая «Статуэтка» из собрания Императорского Эрмитажа, изображаю-

щая в натуральную величину фаллос князя Григория Потемкина, фаворита императрицы Екатерины II.

Потерянный бриллиант

На другой день мне было назначено к Руманову, Морская, 35. Аркадий Веньяминович Руманов[1] представлял в Петербурге «Русское Слово». Это не Котылев с «Петербургской Газетой», шантажом и скандалом, полет выше и глаз острее, и без всяких безобразий мог человека прославить и вывести на дорогу. Перед Румановым заискивали и лебезили. Котылев раздувал Куприна, а без Руманова Рериху не подняться б так высоко и с такой быстротой: о Рерихе трубили в «Русском Слове». И еще связи: Котылева куда повыше *допускали*, а перед Румановым сами лестницы под ноги катились и сами собой распахивались двери.

День Руманова начинается спозаранку, не по-парамоновски, но не вровень и петербургским часам. В 8 утра я был уже на Морской.

Когда проснулся Руманов, я не скажу, но он еще лежал в кровати и говорил по телефону. Перед его дверью я услышал его голос: он называл то «граф», то Сергей Юльевич <Витте>. Я понял, вспомнив стихи в «Жупеле» у Арцыбашева: «Граф Игнатьев сан-стефанский, Витте — граф американский», и терпеливо ожидал окончания.

Разговор подходил к концу. Собеседник, видимо, в хорошем расположении «официально» не хотел оканчивать и спросил: «что нового в городе?»

«Да, ничего нет, да, в пятницу...» — и Руманов, точно кофею глотнув, с необычайной бодростью и темпераментом, как выкрикнул: — «статуэтку»! «Статуэтку» повторил Руманов — барышня, не перебивайте — и для камуфляжу: Столыпин — Ухтомский — Игнатьев — понимаете, “статуэтку” будут показывать...»

«Чья?»

«Не перебивайте... “статуэтку”!»

И тут я понял, что секрет Сомова уже не секрет, о «статуэтке» знает весь Петербург. Комната Руманова, где «вершились государственные дела», показалась очень тесной моим «подстри-

женным» глазам, так что и сесть негде. И очень белой: от газет или от стола — стол, как в больницах, столики. А сам Руманов, еще не одетый, белый — весь в белом — «розовый». Принял он меня очень ласково. У меня было письмо от Розанова. С закрытыми глазами я передал Руманову. Розанов писал: «Его, Ремизова, только никто не понял, это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет».

Когда Рославлев «провозглашал» перед Саксаганским о трех великих писателях: Дмитрий Цензор (ударяя на «Цензор»), Владимир Ленский (из «Евгения Онегина», кто этого не знает?) и Алексей Ремизов — мне было неловко, но я понимал, что это игра и по-другому нет возможности убедить Саксаганского принять мою книгу. Но Розановское было от сердца и бескорыстно. Правда, я чувствовал себя «потерянным», это мое с детства, но никогда не представлял себя блестящим. Я все больше убеждался, что душа у меня «мелкая» и разве можно сравнить с Серафимой Павловной? А воображение — без взлета Кодрянской[2] и то, что называется «трепет» — только лихорадочный, а не горячечный.

Я был с Блоком и Андреем Белым, но с первых же встреч я почувствовал свою бедность. В революцию Иванов-Разумник скажет обо мне, сравнивая с Блоком и Андреем Белым, — «бескрылый».

С письмом Розанова я передал Руманову и мои рукописи для «Русского Слова». Руманов пообещал все сделать. И вообще Руманов никогда не отказывал.

Но ничего не вышло: и мои рассказы и мои сказки не подходили к «русскому» «Русскому Слову», это во-первых, а еще, а, может быть, это как раз и есть во-первых, Руманов не разглядел розановского потерянного бриллианта и не «поднял». Я это почувствовал.<...>

[1] Аркадий Вениаминович Руманов (1879–1960) — в России был одним из ведущих журналистов «Русского слова», знаком с Великим князем Александром Михайловичем, которому подбирал материал для его исторических иследований. После революции А. В. Руманов оказался в Париже, печатался во многих, в том числе французских, изданиях. Мы находим его на фотографии среди сотрудников парижского журнала «Числа» (издавался с 1930 по 1934 годы), хотя там он не сотрудничал. И. В. Чиннов с ним

познакомился в Париже и вспоминал с большой симпатией, как об очень милом, шармантном человеке. Говорил, что после поездки в Эфиопию Руманов рассказывал историю о том, как был на аудиенции у короля, и вдруг выходят два льва, «а я как кролик перед ними». Поэтому его стали звать «кролик». В архиве И. В. Чиннова сохранилось письмо от А. Руманова: «2/2–1959. Дорогой Чиннов, милый Игорь Владимирович, отвечаю Вам с опозданием, раздобыл Ваш адрес и в тот же день потерял его! Теперь прибегаю к любезности Гингеров. Ваше доброе внимание к моему 80-летию меня очень тронуло. Никогда не думал, что день 80-летия надо праздновать. Никогда не хотел читать при жизни некрологов о себе. Но мои домашние устроили мне сюрприз и скрыто от меня разболтали. Я рад, что благодаря этому получил Ваши добрые строки. Спасибо. Вы знаете, что я Вас очень ценю, люблю как поэта, и чувствую Вашу духовную красоту. Помню и стихи о русском эмигранте, гуляющем на улицах Парижа, помню Ваши неожиданные и прекрасные эпитеты (в них остро сказывается большой художник), помню весь Ваш облик с пытливым и доброжелательным взглядом, и вообще ценю Вас, и Ваше письмо радостно мне. Да храни Вас Господь! Сердечно Ваш всегда А. Руманов. Жена Вам кланяется (Лидия Ефимовна). Будете в Париже, покажитесь и покажите новые стихи. А. Р.».

[2] Н. В. Кодрянская в эмиграции писала сказки. Дружила с А. Ремизовым. После его смерти выпустила книгу «Алексей Ремизов». Париж, 1959.

Милосердные

Вернувшись от Руманова, помню с каким восторгом я рассказывал о нем Серафиме Павловне, ведь я был так уверен, что все будет: меня напечатают в «Русском Слове» и деньги. Есть в житейской жизни такие маленькие вещи, вроде зубной щетки, конечно, скажут безулыбные безрадостные люди «и пальцем можно»! — эти маленькие вещи необходимы, но как без денег? Я верил, я получу деньги, и не только зубную щетку, я пойду к Фаберже и куплю жемчужное ожерелье. (Один раз я уже совался, да очень дорого, чересчур!). Я всегда искренно верил, но никогда не огорчался, когда не выходило, это мое исконное «быть готовым ко всему».

До «статуэтки» какое мне дело? Меня занимало «безобразие», а оно в таких случаях непременно. Люди вообще очень доверчивы и пугливы, а это как раз на руку «безобразию». Ну что, если нагрянет полиция, или в самый разгар «сеанса» просто сказать: обыск. «Политически» тут, конечно, ничего, но скандал, конечно, — ведь надо это Эрмитажное сокровище объяснить как-то.

Вот в чем я всегда винюсь: когда разыгрывалось мое воображение о всяких «безобразиях», я совсем забывал, что я не один, а стало быть, в конце концов — все-таки как ни одурачен бывает человек, глаза продерет и разберется, — и тень от меня непременно упадет Серафиму Павловну. Правда, я это скоро понял — ожегся — и уж под всякими предлогами перестал выходить в люди, хоть воображение мое нисколько не пропало. На душе моей много грехов.

Вечером зашла к нам Варвара Дмитриевна Розанова, как я предполагал. И прежде всего она спросила, поедем ли мы в пятницу к Сомову?

Я сказал: «Да, — мы собираемся».

«А что такое Сомов показывать будет, Вася рассказывал?» — Варвара Дмитриевна очень подозрительно посмотрела.

«Ничего особенного, сказал я, свой неоконченный портрет, и не всем будет показывать, стесняется».

И говоря «неоконченный», я против Розанова нисколько не погрешил. Свою мысль о незаконченности Розанов запишет (Короб 1-й, стр. 74).

«А Минский будет?» — уж с каким-то затаенным страхом спросила Варвара Дмитриевна.

«Да Минский давно уехал, он в Париже. Будут Бенуа, Добужинские, конечно, Сергей Павлович Дягилев, Философов, Лансере».

«Так вы едете?» — еще раз спросила Варвара Дмитриевна.

И успокоилась.

И начала о своем: советы по хозяйству. И это были не пустые слова, а от желания. У нее, действительно, болело сердце за нас, а как хотела б она, чтоб меня где-нибудь напечатали и у нас были деньги.

Розанов запишет в «Опавших листьях», короб 1-й, стр. 254:

«Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».

В Париже Эсфирь Соломоновна Познер, как когда-то Варвара Дмитриевна, будет советовать и наставлять по хозяйству и желать денег.

Поминаю и этих двух милосердных женщин, столько тепла и участья было от них в нашей бедовой судьбе.

В хозяйственный разговор: где что купить, и что у нас есть, и чего надо достать и где, в эти кухонные подробности я поминутно встревался. А это не нравилось Варваре Дмитриевне. Наконец она не выдержала, так это было против всей ее природы.

«Василий Васильевич у меня этим не занимается!» — с укором посмотрела на Серафиму Павловну.

Оба мы этот укор увидели, и Серафима Павловна улыбнулась, а у меня на лице заиграло что-то неподходящее.

«Ваше дело писать, сказала Варвара Дмитриевна, мы вам не мешаем, садитесь и пишите».

Варвара Дмитриевна была убеждена, что «писать» и, скажем, «шить» разницы никакой, только что и различие: там перо, а тут игла.

Потом тихонько Серафиме Павловне:

«Очень меня огорчает. Что случилось: последние дни Вася сердится на Алексея Михайловича. "Ноги моей, говорит, у них больше не будет"».

Я сразу как-то — про какую ногу? — и чуть было не сказал, что все это вздор и сердиться ему не на что, что если он сердится, то не на меня, а на А. М. Коноплянцева: не возвращает Леонтьева. Но встретившись глазами с Серафимой Павловной, я сейчас все сообразил.

«Это все пройдет, сказала Серафима Павловна, пересердится», — и опять улыбнулась своей единственной улыбкой, которой нельзя не поверить.

«Так в пятницу в десять к Сомову — и вместе поедем».

Но только что Варвара Дмитриевна вышла, звонок. Василий Васильевич. И как это они не столкнулись?

«Ну, что?»

«И вместе поедем», — сказал я.

«Ну, слава Богу!»

Розанов, входя, весь как бы сплющился, словно через щель лез, а теперь расправился и на человека похож — на русского писателя традиции Погодина. Я теперь это понял, какое сильное влияние оказал на него Погодин: не рассказами — Погодин

застрельщик натуральной школы, конец 30-х годов, — не пустой лирикой, вроде наставления ученику, а «Афоризмами», манерой в критике со всякими «халатными» (слова Шевырева) авторскими подробностями; ведь самая мысль о форме «опавшие листья» погодинская, так сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследований — «груда листков и обрывышков». Погодин и славянофилы, вот откуда Розанов: «Уединенное» из Киреевского «Уединенного мышления». Кроме того, Розанов был внимательнейший и верный читатель Н. Н. Барсукова, жизнь и труды Погодина. В своей рецензии в «Русском Вестнике», 1895 г., он определяет труд Барсукова, как «культурная хроника общества и литературы XIX века», действительно, есть о чем узнать и было — подумать. А самая завязь Розанова — «розановское», таким он родился.

«Только, пожалуйста, оставь хоть на этот вечер свои безобразия; ведь ты для безобразия можешь ляпнуть Варечке, что я вот к вам сегодня уж в четвертый раз. Ну, прощай. Завтра еще загляну. Да, увидишь Коноплянцева, напомни».<...>

1919—1941

Зиму 1919 года мы вытерпели на нашей хорошей квартире в доме Семенова-Тянь-Шанского на Васильевском острове. Больше терпеть стало не под силу. Во «Взвихренной Руси» в рассказе «Труддезертир» полная картина нашего «жития». В мае 1920 года мы переехали на Троицкую в «Первый отель Петросовета» (это устроила С. Н. Равич, знакомы с Вологды). С Троицкой мне было совсем близко на Литейный в дом Юсупова — ПТО. Я состоял при М. Ф. Андреевой и дважды в неделю ходил на «призрачные заседания театральной коллегии». Близко мне было и в Дом литераторов на Бассейной, а то изволь переть с 14-й линии! И Серафиме Павловне в Аничков дворец — она учила моряков «2-го Гвардейского "берегового" экипажа».

Во главе «Дома литераторов» стоял Н. М. Волковысский и Харитон, а в совете Д. В. Философов, Петрощев. Секретарем был Ирецкий из «Речи».

Больше сулили, чем выдавали: «ненормированные» продукты. Была столовая, где все-таки можно было чего-нибудь съесть,

конечно, со «своим» хлебом. Бывал Ан. Фед. Кони, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Л. Волынский.

Мне особенно памятна одна встреча.

Я вспоминал о ней особенно живо в Париже в дни оккупации в 1940 году: Б. К. Зайцев просил за меня, заведующий вспомоществованием писатель... Тараканомор отказал: по его убеждению, я как сотрудник «Последних новостей» не имел права не только на помощь, но вообще соваться через кого-нибудь с прошением о «вспомоществовании».

И я вспомнил, как однажды в «Дом литераторов» пришел В. П. Буренин. Он робко переступил через порог. Он ничего не сказал; за него сказали «Буренин!»

Вышел Философов, и был очень взволнован, ел что-то и бросил. Философов не дал Буренину слова сказать — я представляю, какие в таких случаях бывают слова (ведь все под мыслью: «прогонят!»). Нет, Философов его взял под руку и усадил к столу.

И все мы, кто был тогда в столовой, все мы — вытянулись. И душу, как вымыло. И свет сгустился. Так — и по-другому не могло быть — тьмой выело бы глаза и оледенило бы сердце. Буренин что-то говорил Философову. Но той робости уже не было. А было: говорит человек.

Как редко взблескивает свет в нашу человеческую тьму; мое счастье: я видел этот свет. Вернувшись домой, я весь был полон этим светом. И когда сказал Серафиме Павловне, что в «Доме литераторов» побывал Буренин, я заметил, какая тревога затенила ее лицо.

«Накормили,— сказал я,— Философов... и Волынский»[1].

И все лицо ее осветилось.

Вы представляете себе: Философов и Буренин: что может быть обиднее статей Буренина о Философове, и Философов не уступал — дважды с угрозой врывался к нему. Не помню подробностей, но кажется, до мордобоя дело не дошло. И то слава Богу.

И вот встреча. О мордобое я забыл, а про это «нельзя забыть».

[1] Г. Адамович в своих записках «Table Talk» (Новый журнал. 1961. № 64, 66) описал тот же случай, но ему запомнилось поведение журналиста А. Л. Волынского (1861—1926), который,

увидев Буренина, отнесся к «своему экс-врагу исключительно сердечно...».

Алексей Ремизов

МЫШКИНА ДУДОЧКА*

Отрывок из книги

... Я слышал как днем и ночью мышь грызет стены в коридоре под вешалкой у ящиков с газетами. Чудно было слышать, что открыто и без всякой предосторожности, среди *бела* дня ломится в дом. И прогрызла. Конечно, наша стена... а все-таки, стена: стало быть, большое желание и твердое намерение. И вышла.

И совсем это не мышь, а вроде паука, крохотная серенькая, еще мышонок. Вышла из подстенной норки да шар*а*сть в холодющую кухню.

В прежние-то годы разве можно было отзываться так — «холодющая» — и о самой бедной «теплой» кухне! — да и есть-то «абсолютно» нечего, приходится выразиться математически, простого, обиходного слова недостаточно

Думала-думала мышка и надумала: решила мне помогать в моих кухонных делах — мне будет польза и ей кое-что перепадет; так всегда бывает и не с мышами и не в одних кухонных делах, а называется содружество.

Я всегда вымою тарелку, но никогда не вытру. А стал я замечать, что наутро все сухо и гладко, ровно б через пар прошло. В чем дело? Долго я думал и, наконец, додумался: мышка! — она язычком недомытое слижет, а потом хвостиком по тарелке пройдется и подчистит, вот почему, как через пар прошло. Я Слизухой ее и стал кликать.

Мышке понравилось. Вижу, нисколько меня не боится, покличешь — я очень плохо вижу — так совсем подойдет близко, рукой взять. И у меня такое чувство: если бы я захотел, она вспрыгнула бы ко мне на колени.

---

* Из книги А. Ремизова «Мышкина дудочка» (Париж: «Оплешник», 1953).

Чем-то, не знаю, я ее очаровал: или в имени «слизуха» таились мышиные чары, или в моем голосе, как в первый раз прозвучало это имя, или от ее желания, освободясь от скучных соседей, жить под моим слепым «подстриженным» глазом или наши общие тарелки — содружество?

Однажды Иван Павлыч, когда очарованная мышка притаилась у моих ног, просто взял и сгреб ее в кулак, — и держит, как орешек.

А известно, руками мышей кто ж ловит, и только одному коту в-раз: сшаркнет лапкой и готово, не выскочишь. Иван Павлыч, человек ученый, книжный и письменный, но таких ловильных замашек природой ему не дано, стало быть все дело в мышке.

— Времена шатки — береги шапки! — сказал Иван Павлыч и разжал кулак с мышкой. — Не правда ли?

Мышка встряхнулась, как птица, я думал запрячется в «ордюр», нет, вон она — и лапочкой себе что-то делает мелко-мелко.

Мышка ко мне привязалась. Я вижу и чувствую, как она на меня смотрит. Да некогда мне с ней разговаривать.

Но бывает, среди ночи я выхожу на кухню, присяду к столу, курю мою горькую полынь с одной отупелой пропащей мыслью. Мышка спит за ящиками в коридоре в своей норке, но на мои осторожные шаги непременно проснется и незаметно, как тень, она уже тут на кухне. Я ее вдруг вижу: не отрываясь, она смотрит.

«Мышка, говорю, что нам делать, как поправить?»

И вижу далеко вперед — и это далекое мучает безысходностью и своим непреклонным решением. И вдруг из мучительной сверлящей тьмы взблеснут глаза.

Я понимаю, глаза нечеловеческие, но что они хотят сказать мне о человеческой судьбе? Где-то что-то я уже чую, но не хочу, *я не хочу понимать*. И наперекор *я все понимаю* и ужасаюсь перед беспощадной правдой, я, бессильный повернуть и поправить, но сердце — мое человеческое сердце — не отпускает и только сказать не может, не говорит, как и эта мышка.

И пока я сижу на кухне, мышка не покинет меня.

Приходил от консьержки, я думал водопроводчик.

«Я не водопроводчик, я крысомор!» — сказал он.

Я представляю себе крысомора совсем по-другому, впрочем, какая разница: прочищать трубы или морить мышей? Ломти-

ки черствого хлеба, и по ним размазан, как повидло, «довоенный» яд. Эти оловянные ломтики «водопроводчик» разложил по чувствительным местам: на «Последние новости», на мое вязанное брусничное одеяло и в коридоре около ящиков с газетами, у мышкиной норки. Уходя, крысомор сказал, что зайдет через неделю, он уверен: яд «довоенный», и не останется в доме ни одной мыши.

Я поверил. И пожалел мышку.

«Не ешь, говорю, не ешь! — и пальцем ткнул в отравленный ломтик. — Мало тебе тарелок!»

Мышка, как всегда, смотрела на меня, а не на отраву.

А сам я, когда мыл тарелки, не очень внимательно старался, думая, побольше останется на мышкину долю.

И на утро первым делом прошелся по моровому полю — а мору-то нигде не вижу: все дочиста подобрали за ночь: и на «Последних новостях», и на моей вязанной «бруснике», и у мышкиной норки в коридоре хоть бы завалящая крошка, чисто, как тарелка.

«Ну, думаю, пропала мышка! А ведь как остерегал, не послушала глупая мышка».

Но я не укорял ее, я о себе думал, о нашей общей доле: «Для мышки повидло, а для меня что? Мне очень спать хочется, — а знаю, мышка не знает: сон для меня отрава».

И ни одной из них не слышно — или вправду, сгинули, как предсказывал крысомор-водопроводчик.

Вечером взялся я за тарелки и уронил полотенце — все-то у меня из рук валится — а без мышки теперь мне будет работа! — нагнулся поднять и что же: около «ордюра» сидит себе мышка, как ни в чем не бывало, и мне показалось, смотрит с упреком: зачем я взял полотенце, отнял ее долю? Очень я тогда обрадовался мышке.

Ждем другого крысомора и без всякого яда. А того водопроводчика засмеяли с его «довоенным»: для проверки ел меховщиков кролик и которые еще остались в доме собаки — «нет, таких нам не надо!» Новый крысомор явится, только неизвестно когда, — его секрет для мышей: не яд, а дудочка: подудит он в свою волшебную дудочку, и на плывучий клик ее — печальной дорогой потянутся мышиные струйчатые хвостики, все мыши до одной покинут дом.

Так было обещано консьержкой извести дудочкой в нашем доме мышей; консьержка теперь не Роза, Розу прогнали за «безобразие», а Костяная-нога с глазами василиска, дело сурьезное.

Посудите сами: пятьдесят четыре квартиры, и в них ютится, по крайней мере, две сотни мышей, а по весне их надо будет считать до двух тысяч. От «довоенного» яда, и тут, конечно, не без повидлы, мыши вошли в раж: они безостановочно «размножались», как днем, так и ночью, не обращая внимания.

«Пустить кота, говорили, и ни одной мыши не останется: от одного духа мыши чумеют!» Легко сказать: кота. Кот получить по счету не ходит, не консьержка, ни в какой «тэрм» не явится, да и кормить надо, без говядины ни один кот не согласится.

И у каждого из нас в ожидании мышиной дудочки завелся в голове кот, и вертелся.

* * *

Под нами жил учитель из лицея, математик и большой музыкант. Редкий день я не получал от него писем.

«После десяти прошу,— выводил он мелкими алгебраическими буквами,— не ходить по комнате и вообще не передвигаться, и водой не шуметь (он выражался очень тонко) и дверями не хлопать, ничего не перекладывать и не переставлять».

Себя он ставил в пример: вот он от восьми до десяти — два часа ежедневно упражняется на скрипке — и, чтобы не беспокоить соседей, переходит со скрипкой, в неслышных туфлях, из комнаты в комнату, пиля.

Помню, я не сразу ответил, я не находчив, и только после десятка подобных писем пришли слова.

Со скрипкой путешествуя из комнаты в комнату, учитель оскрипил всю нашу квартиру, нельзя было и уголка найти без скрипки, и другой раз пойдешь в уборную и сядешь, не по нужде, а просто чтобы где-нибудь укрыться и передохнуть ушами — так он и туда зайдет и там пиликает, слышу. И каждый раз на скрипку непременно отзовутся соседские собаки: одна воет толсто, другая воет тонко. За стеной собаки, под полом скрипка — от восьми до десяти — два часа ежедневно.

«Но живому человеку,— так ответил я учителю,— ваше требование сверхъестественно, потому что все живое непременно в ходу и в звуке».

Я советовал ему, единственный выход, поселиться где-нибудь на старом Пэр-Лашезе, там только и можно быть уверенну, что ни водой, ни дверьми, ни... скрипкой, никто не зашумит и не хлопнет.

Послушался ли меня учитель или срок пришел, зиму пропиликав на своей скрипке, отдал он Богу свою математически-скрипучую душу.

После покойника долго квартира пустовала. По ночам я слышал, да верно, не я один, как кто-то тонко плачет — и я узнаю скрипку: *туда* со скрипкой не пускают, а тут, в покое, все выпиленные за вечер звуки, без помехи неискусной учительской руки, изливались тонко в плаче.

Совсем недавно, с первыми холодами, квартиру заняли: мать, двое детей и старуха нянька, бретонка. И ночная скрипка развеялась. Потому я и догадался, что новые жильцы. А скоро вернулись времена скрипичного учителя, только на живой скрипке пилила старуха-нянька: благозвучнее, не знаю.

Всякое утро, когда выхожу невыспавшийся, весь издерганный, и в полутьме тычусь по лестнице, меня неизменно на площадке перехватывает нянька. И каждый раз выговорит мне, что по ночам я топаю, и, для убедительности, представит, как я топаю: «топ-топ-топ!» — старуха это скажет толстым голосом, как в сказках детей пугают Крокмитэном или нашей Буробой.

Я выслушиваю молча: что могу ей ответить? — ночью я встаю, и часто, а значит, топаю. И я ей показываю, как я осторожно ступаю, топая: «топ-топ-топ!» — говорю, но не волчьим голосом, а по-козьему.

И все домовые беды и напасти валятся на меня. И когда засорились трубы, и потекло у нас, а к ним стало проникать и капать с потолка, и когда замороженные лопнули трубы, и воду в доме остановили, ходи за водой в соседний, все равно, нянька убеждена, что все от меня, и без меня ничего б не стряслось.

— У вас и водопровод гудит, ровно сирена воет! — и для убедительности старуха делает трубкой свои птичьи палевые губы: — у-у-у...— представляет она сирену.

— У-у-у...— повторяю я за ней, но мои губы дергаются.

Я готов взять на свою совесть сирену, но осьмиэтажную просачивающуюся мочу я не согласен: одному человеку собрать такое количество на всю жизнь не хватит и никакой тряпкой не

выжмешь... тоже и мороз не от меня: я так люблю тепло и никого б не заморозил, и, конечно, трубы.

Старуха не сразу, а что-то поняла: я вижу она не так смотрит. Но она говорит не за себя: ее хозяйка очень недовольна мною и примет меры.

Но какие она может принять меры?

На мышей — мор, а вот не подействовал и довоенный мор; волшебная дудочка? — ждем волшебную дудочку с нетерпением, но против звучности нашего дома? и против мороза?

И я успокоился. Я совсем забыл, что есть Префектура: Префектура обязана принять меры, если не против мороза, то против меня, замешанного во все беды дома с морозом и звучностью.

Пройдя через няньку, обвиноватый, я, готовый на все, начинаю трудный, упорный, насущный день.

Много ли человеку надо для его счастья или — какое там счастье! — а чтобы только вынести черные дни скота?

Только свободный от всяких очередей — я один: мне ничего для себя не надо — ничего такого, чтобы непременно, могу всегда подождать, могу перетерпеть,— я даже не всякий день выхожу на волю, выйду — хорошо, не выйду,— и то ладно,— мои заботы кончились. И только теперь я понял, что мои заботы были тем, что держит человека несмотря ни на что.

Забота: забота не о себе. Это всем понятно. И еще скажу: веселость духа. А это не всякому в толк.

И никогда не поймут, что такое веселость духа, та порода людей — эти окостенелые, эти сухари, эти скелеты, насупленные, безулыбые — все эти подлинно несчастные и обездоленные здесь, на земле, где цветут цветы, цветет и слово, и цвет расцвечает улыбку человека. Они подозрительны, их это беспокоит, они все ведь всурьез. Вот кого мне жалко — как нищих, как обиженных зверей, как сломанную ветку, как затоптанную траву, как падающую с неба звезду. Я вижу эти холодные лица, и на мою улыбку они отвечают мне презрением. Я узнаю их и в книгах — в этой сухой безжизненной литературе, где все ровно, все в шаг, «логично», ну, хоть бы раз кто-нибудь из них да поскользнулся! — окаменелое сердце и окаменелое слово. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» Эти слова из веков звучат мне, когда я смотрю на вас из моего затвора.

Забота не о себе и веселость духа, и еще есть, чем жив человек на земле: очарование. Без очарования — только труд и печаль.

А чаровать может не только живое, а и вещи, и совсем не бьющие в глаза — если хотите, простая бумага, те же «тикетки» продовольственных карточек: они дают право на еду, ограниченно, не до насыщения, и всегда приходится напихиваться чем-то «подозрительным» — бестикеточным, разрешенным к вольной продаже, но и эта только видимость — студень с мышиными хвостиками — но тоже притягивающая к себе, чарующая...[1]

[1] Это автобиографичная повесть. А. Ремизов в Париже действительно жил в доме, о котором здесь идет речь, И. Чиннов не раз бывал у него. Письма Ремизова (к Н. Кодрянской, которую Чиннов часто встречал у Ремизова), относящиеся к 1954 году, выглядят как продолжение повести:

«16.I.1954. Очередное обвинение. Письмо управляющего домом: я обвиняюсь, развожу мышей. Письмо я передал Лурье, там какая-то угроза — должен ли я заплатить за 54 квартиры нашего дома, где порошком вышептывали мышей или что-то с собой сделать — не привлекать мышей. Операция глокомы отложена. Др. Зернов — "категорически" против. Меня повезут к Л. А. Бронштейн для проверки только. Как мне надоело возиться с моей слепотой. Вот если бы проснуться и вдруг увидеть строчки.

23.I.1954. Как это странно слова: жалеть и жалить, заботиться и забыть. Ведь тут целая жизнь — мера чувств. Неделя прошла кувырком. Только вчера послал ответ на обвинение "мышиное". Все как в рассказе Чехова "Мститель". Лурье затеял обличительный ответ — "поставить их на место". А кончилось — вместо револьвера купил сетку для ловли перепелов. Все разрешил Никитин и Société des gens de lettres. Я должен сделать ремонт — начну с полотера. Блеск отведет глаза. В 11 час. утра — фотография из Figaro. Фотографию надо одну, а он мигал — магнией — во "всех видах". Посылаю Figaro (через 10 дней дойдет до вас: Вы там увидите меня, испуган, взъерошен, концов не собрать, хотя сижу смирно под серебряными конструкциями). Статья Dominique Arban — для "большой публики". Как Ваше чувство: дает ли представление обо мне? Дорогая моя Кукуня, Вы себе представляете мое — и ничего удивительного, что жду Др. Зернова и сижу с грелкой— для меня необычно. И сны плоские.

27.I.1954. В Кукушкиной натирают пол — вчера уговорился полотер, но его профессия: в Пастеровском институте кормит мы-

шей — 60. 000. Глаза у него перемигиваются, как от магния, говорит со щелком орехами». — *Алексей Ремизов «Из писем Наталье Кодрянской» (Опыты. 1958. № 9).*

Алексей Ремизов

СОЛОМОНИЯ

Из книги «Бесноватые»

Предлагаемый текст — отрывок из первоначального варианта повести об одержимой демонами, написанный Ремизовым на основе русского средневекового сказания. Эту повесть Алексей Михайлович хотел переслать Константину Паустовскому, но он понимал, что машинопись столь мракобесную цензура не пропустит. Поэтому текст переписали несколько «благодетельниц» А. М., в их числе Ольга Николаевна Можайская-Емельянова, мой друг. Две-три страницы «от руки», имевшие вид частного письма, могли миновать цензора. О. Можайская переслала мне пять рукописных страниц, прося их отправить с оказией. Обходным путем они дошли до одного иностранного дипломата, но получил ли их Паустовский — неизвестно. У меня сохранились копии. В 1951 году Ремизов напечатал повесть в «Оплешнике», малым тиражом*.

Игорь Чиннов

---

* Публикуемый отрывок из повести «Соломония», вошедшей позже в книгу А. Ремизова «Бесноватые» (Париж: «Оплешник». 1951), сохранился в архиве И. Чиннова в виде нескольких рукописных страниц вместе с приведенным предисловием И. Чиннова.

Издавая эту повесть в «Оплешнике», А. Ремизов писал, что сложена она в Великом Устюге и существует в «Записи устюжского попа Иакова 1671 г., а в 7169 (1661 г.) в феврале свершилось». И дело было в «Ерогоцкой волости в сорока верстах вверх по Сухоне, на погосте церкви Покрова Богородицы, при церкви поп Димитрий с женой Улитой, у них дочь Соломония». Ремизов услышал эту повесть, находясь в ссылке, и пересказал, основываясь на записях «попа Иакова».

<...> С этого дня она ходила нагая.

Ее все боялись. И отец и мать. На ночь запрутся: за стенкой у нее вой и хляс, но еще страшнее стуки; стучатся в дверь. А на утро показывала — и в самом деле, копье: «они ей дали — заколи отца».

* * *

В месяц они пришли за ней. Они ластились, нашептывали, льстя ей:

«И разве ей такая жизнь? И это ли жизнь — в пустыне, в печали? — вот у нас».

Шелковые, щекоча, сняли с нее крест.

«Сатана наш отец, — шептали они, — он все создал, что есть живого, это он дал земле в ее трудах радость — любовь. Поклонись ему и останешься с нами, и твоя жизнь будет легка».

Она молчит.

Тогда растянули ее на стене: с раскинутыми руками она висела, и разъятые ноги ее прикованы. Громоздясь друг на друга, острым они кололи ее с шеи до ног: грудь, живот, руки и ноги. Перетрогали всю — ничего не забыто. И, расковав, подхватили и понесли.

В осенней лунной ночи — птицы ли, листья — они неслись над землей и, окося луну, круто опустились на берег. Высоко впереди стоит она — внизу река блестит. И они ее столкнули: она о камень, перевернулась — черная вода. Подхватили — и в реку, и там глубоко — до дна, и глубже — в поддонные ямы.

По поддонным коридорам идет она, скользя по сырому дну — слепую ее тащили за руки. И в свете, прорезавшем тьму, она видит: глаза — и этот свет был от глаз. Она различает: какое бледное лицо, без кровинки! — и они снуют, шепчутся, называют Ярославкой, показывают на нее. Ярославка что-то говорит им, и все вдруг пропали.

«Своей волей?» — спросила Ярославка.

«Силой».

«Откуда?»

«С Ерги — Соломония».

И Соломония рассказала свою жизнь: свое детство и свой месяц с мужем.

«Не по тебе эта жизнь, не надо было выходить замуж!» — и пожалела: — не ешь и не пей и ничего не отвечай, пропадешь».

«А как ты сюда попала?»

«Я другая,— сказала Ярославка,— я от матери».

И Соломония увидела: ее рот полон крови.

....

В эту ночь она зачала. И носила полтора года. И за это время они ни разу не тронули ее. Она ждала спокойно и все делала, как мать перед рождением ее брата.

Когда пришло время, она упросила отца и мать оставить ее одну. И как только отец с матерью ушли к соседям, вошла в дом темная — деревянная, а глаза зеленые — трава и листья, и стала ухаживать за ней.

И родила Соломония шестерых: синие — головастики.

Их сейчас же лесавка взяла у нее и унесла на реку — и там положила под мост.

К вечеру вернулся домой отец с матерью, заглянули — дочь спит.

— Конечно, все одна блажь! — и спокойно сели ужинать.

А те из-под моста вышли да гуськом к дому — и полетели в окна камни, земля, песок.

Поп с попадьей, как были, выскочили из дому да сломя голову — и с версту и больше бежали и только у соседей опамятовались.

— В доме,— говорят,— такое, живому человеку не выжить: все стекла повыбиты: и как еще Бог спас!

А те, расчистив себе дорогу, вошли в пустой дом и к Соломонии и увились на ней шестеро — змей. Пришла лесавка, принесла туис с кровью.

«Птичья,— сказала лесавка,— а брезгуешь, возьми человечью! — и дает ей нож: — зарежь отца».

«Дайте мне еще немного, не тормашите,— Соломония очень мучилась,— я все исполню».

И пересилив себя, она выпила крови и ей стало легче.

....

Три дня и три ночи прожил отец с матерью у соседей. А когда вернулись, в доме никого: синие унесли Соломонию и с нею ее шестерых.

И опять она зачала и родила двух. И ее унесли с детьми и вернули беременною. Она еще родила одного. И еще двух. Всякий раз появлялась лесавка, приносила ей из леса птичьей крови.

После рожденья десятого и одиннадцатого они, как всегда, пришли за ней и унесли ее с детьми.

* * *

Их собралось большое собрание — пять кругов по четырнадцати: жевластые, отвислые, перетянутые и гладкие и мохнатые и с бородавками, а посреди на троне сам — яр голова змея.

Соломония сидела напротив и чувствовала его пламень.

Синие, виясь, служили им. Принесли всех ее детей — одиннадцать — и разместили около нее. И спрашивали, показывая на нее:

«Кто это?»

И те, как рыбы, давясь воздухом:

«Мама!» — он был доволен.

Приносили и уносили кушанья. Сами ели и ей полные тарелки. Но она не притронулась. И это заметили и недовольны:

«Чай, не падаль,— говорили,— у нас все из больших магазинов, самых первых сортов, парное и свежее».

Расхваливая, уговаривали. Но она как не слышит. И это обидело.

«Если и теперь она не будет повиноваться, мы ее замучаем».

И она испугалась:

«Все, что хотите,— сказала она,— воля ваша».

Перемигнулись, поддернулись. Появилась чаша с вином. Эту чашу ей дали: пусть обнесет собрание.

И с чашей она пошла по рядам. И каждый, кому подносила она, назвав свое имя, превращался в одного из тех, кто приходил к ней в ее отчаянный месяц, и глядя завлаженными глазами, требовал пригубить. Но она не пила.

Хмелея, вставали — кружились, под свист затягивали гнусавые песни. Все теснее окружают ее и, воркоча, выманивали в круг:

«Мама!»

С чашей она стояла перед троном — яр голова змея наливалась кровью и пламень его прожигал до сердца.

«Сатана наш отец,— увиваясь, шептали ей в уши, — он все создал, что есть живого, это он дал земле в ее трудах радость — любовь. Поклонись ему и останешься с нами, и твоя жизнь будет легка».

Но, как застыла, крепко держа чашу в руке — вино в ее чаше вскипало.

«Мама! — говорили,— хороша мама, она не кланяется нашему богу, не хочет пить с нами, ее надо на сковороду».

«Зачем сковороду? вскипятим котел, бросим в котел, загнет ноги».

Сковородка или котел? сухой огонь или мокрый? — такое поднялось, забыли и из-за чего: жевластый на кольчатых, кольчатые на отвислых, отвислые на перетянутых, бородавки били гладких, гладкие дубасили мохнатых — землетрясение.

«Да святится имя мое!»

— вздрыгнул, ржа, змей — и пламень планул из его уст — тьма — бездны — темнота —

....

Под свист подхваченная мотней, Соломония скользила по сырому дну поддонных коридоров, слепую тащили ее за руки.

Светя ей, встретила Ярославка:

«Соломония,— сказала она,— я должна научить тебя именам».

И стала называть демонские имена.

А Соломония заучивает.

Не легка показалась наука: были — не выговоришь, и такие — сказать срам. Но Соломония все отчетливо запомнила. И на проверке каждое произнесла легко, как свое: все семьдесят.

«Я тебя отпрошу у них проститься с отцом и матерью,— сказала Ярославка,— эта жизнь не твоя жизнь, ты обречена».

И сказала о Соломонии — те согласились.

И на прощанье:

«Ты можешь открыть отцу свою тайну, не бойся, тебя не тронут, но тяжелую ты ношу возьмешь — ты не знаешь, какую власть имеют имена! — и погибнешь».

....

Синие вывели Соломонию на землю. Не бросили, как всегда, а окружив, повели болотом — они утопили бы ее в болоте. Да на счастье гроза — такая: гром и стрелы. Много их погибло — и болото как смолой покрыто. А она спряталась от них в яму.

Но ее нашли, вытащили — и опять ударило. И тут уж они отскочили, да кто куда: жжет.

* * *

Сколько ни искали, не было Соломонии ни в лесу, ни на поле, ни на болоте. Думали, погибла. И встретили ее, как с того света.

Рассказала она отцу об именах — все перечислила — и отец записал все семьдесят.

И с того дня всякий день за обедней поп проклинал их в алтаре у жертвенника. А она слегла. И с каждым днем силы покидали ее. Истощенная, лежала она, не ходить, не подняться — смерть караулила ее под окном.

Так все и решили: конец ее мытарствам.

Так и сама она думала: пришло время — скоро Бог приберет.

И видит она: на нее смотрит — и ей дышать легче.

«Кто это,— думает, вся в жемчугах, такая..?»

И та сказала:

«Богуславка! — и улыбнулась,— я Феодора».

И почувствовала Соломония, как силы налились в ней от этой улыбки и имени любимой Феодоры.

«Тут тебе не житье, Соломония, ты пропадешь, переезжай в Устюг».

Никто не верит: не узнать было наутро Соломонию. Она поднялась, она ходила, она разговаривала. Она рассказала отцу о Феодоре.

Шли сборы в Устюг. И больше всех озабочена Соломония: она торопит, ей все хочется поскорей. И когда все было готово, она вдруг изменилась:

— Не могу об этом и слышать.

И так уперлась — и откуда в ней, точно нечеловеческие силы держали ее. И пришлось везти силой.

* * *

В Устюге на соборной площади жила одна знающая вдова попадья, тоже Соломония, у этой Соломонии ее и водворили.

Соборная площадь ближе нельзя, недалеко и церковь Устюжского чудотворца юродивого Прокопия и другого юродивого Иоанна. В собор и к Чудотворцам водила попадья Соломонию к службе.

И первое время развлекало. Но не втянуло. И уж все ей не мило.

Одна дума, одна просьба — домой.

Домой! и о доме только и разговору.

Соборный поп Никита исповедывал ее и причастил. А ей — свету не видит: тоска — домой тянет.

— Все равно, хоть погибни!

Что делать попадье: она по усердию взялась водить Соломонию в церковь, больше она ничего не может. Пошла посоветоваться с Никитой. И Никита пожалел:

— Что же,— говорит,— человеку здесь зря мучиться, отвезите к отцу.

* * *

И опять она дома в Ерге. День за днем. И как рукой — совсем поправилась. И этих пяти мытарских лет как не было. Она та прежняя — васильковая. И говоришь с ней, как с человеком, не блажит. И ест и пьет с отцом и матерью, не прячется.

— Хоть впору опять под пастуха! — смеется отец.

У попа шла дума: объявить Матвею и, как полагается, жене к мужу вернуться.

«Пастух-то больно знаменитый, быка осилит».

Тайком мать бегала к пастуху. И уж соседи все узнали. И одни ничего, говорят — «и слава Богу!» А другие не очень — губы поджав, *да*кали: были на пастуха зарились — завидный жених, а кроме того разочарованы — всегда ведь занимательнее, когда человек с треском погибает, чем когда тихо поднимается.

Сумерки — мечтательный час, и в доме так уверенно и надежно, и вдруг слышат: со двора голос выкликает:

— Соломония полонянка!

И другой и третий:

— Полонянка — полонянка!

Защемленный, глухо:

— Соломония полонянка!
Так из вечера в вечер — восемь вечеров.
И в доме нахмурилось. Не то — не та Соломония.
Тревожно и жутко.

*Примечание**

Из всех старинных русских повестей «Повесть о бесноватой Соломонии» XVII в. — самая демоническая и самая документальная — живая жизнь с живой верой, и только по своему необыкновенному материалу полна фантастики. Повесть известна по двум спискам — Костомаровскому и Буслаевскому, напечатана у гр. Кушелева-Безбородко в «Памятниках старинной русской литературы». СПБ., 1862–1864. А составлена повесть на основании исповеди Соломонии и свидетельских показаний. Устюжский поп Иаков в 1671 г. взялся за обработку этого фактического матерьяла для сочинения «о чуде устюжских юродивых Прокопия и Иоанна».

Поп Иаков держался «древнего благочестия», но дара любви протопопа Аввакума к «природному русскому языку» не имел и повесть о чуде исцеления бесноватой, насколько это было возможно — уж очень материал-то живой, никаким книжным словом не выговариваемый, — написал книжно и довольно-таки путанно. Да и как было не спутаться? Много ли понимала бесноватая из того, что с ней происходило? Не больше понимал и духовник. Откровенная исповедь, и все, конечно, «просторечием», бредовая и притом сексуальная: скользко было Иакову перевести на приличную, т. е. на книжную речь всю эту «похабную» околесицу. Ведь это же редчайший случай — повесть о явлении фалла, принимающего разные образы, чтобы мучить свою жертву. А Соломония — жертва, принесенная фаллу.

Четырнадцатилетнюю девочку, духовно настроенную, выдают замуж за «пастуха» — повесть начинается с брачной ночи. Все ее существо с первого прикосновения потрясено, разодрано, — и вот фалл принимает зрительный образ «змия», потом «зверя», потом расчленился в незнакомых молодых людей и, наконец, в множе-

* Примечание написано А. Ремизовым при публикации повести «Соломония» в книге «Бесноватые».

ство голых маленьких фаллов-«головастиков» и эти скользкие, навязчивые, неотступные головастики начинают свою «мученическую» работу.

И у потерпевшей, и у записывающего духовника все свелось на бесов — «врагов рода христианского». Да, на какой-то грани эти фаллические демоны, вышедшие из семенной туманности этой жизни всего живущего, Розановской «Кукхи», Гоголевского «Вия», «Тарантула» Достоевского, да, враги, но как и почему и где начинается заклятая вражда, эти вопросы в голову не приходили ни духовнику, ни исповеднице. А между тем, даже в том виде, как вышла повесть в обработке попа Иакова, она глубоко символична и через символы дает на многое ответы.

Георгий Иванов

<К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ А. М. РЕМИЗОВА>*

Мне случайно попалась в «еспартийно-национальном» журнальчике «Русский в Австралии»** забавная заметка: «Какие книги читает русский эмигрант». О Бунине там сказано: «Его читают главным образом молодящиеся дамы из старой эмиграции. Остальным клиентам (австралийских библиотек) он неприятен и вызывает единодушное удивление: и за что только ему дали премию Нобеля». После Бунина там же и о Ремизове: «Трудно говорить о Ремизове, как о русском писателе. Пишет он на собственном языке, понятном только ему самому и разве его маме».

Узнав из этой заметки, что, не в пример Бунину, 100%-й популярностью пользуются среди австралийских читателей Шмелев, генерал Краснов и некто Бойков, автор «Сокровища сердец», очевидно, по глубокой несправедливости Нобелевской пре-

* Печатается по тексту журнала «Опыты». 1957. № 8.

** См. номера 1–2–3–4 за 1957 г. Во всех книжках на стр. 1-й обозначено: «еспартийно-национальный журнал, обслуживающий (sic!) интересы русских в Австралии». Ясно — не опечатка, а уточнение «общественной платформы». <Прим. Г. Иванова>.

мией обойденный, я вдруг ощутил жуткий холодок. Ведь если вдуматься, «еспартийный австралиец» выражает не только мнения и вкусы своих идейных друзей. Ну, о Бунине ерунда, юмористика, выходка идиота, но Ремизов… Ведь, в сущности, — отношение к Ремизову и в дореволюционные времена, и в эмиграции — очень недалеко ушло от мнения австралийского библиотекаря.

Конечно, существовали и существуют люди, почитающие Ремизова тем, чем он был и есть: волшебным художником слова, писателем неисчерпаемой словесной и духовной самобытности. Так воспринимали Ремизова Блок и Гумилев, А. Белый и Вячеслав Иванов. Но т. н. «Высокая словесность», пресловутая «общественность», «влиятельная критика»? От первых выступлений Ремизова до вызывающих грустное недоумение (чтобы не сказать большее) иных появившихся теперь в повременной печати приветствий к ремизовскому юбилею, — что получил Ремизов, кроме снисходительного непонимания, за свою долгую творческую жизнь? В России он был всегда где-то «сбоку-припеку», вне «большой литературы», вне «солидных журналов», не скажу вне читателя, но, конечно, читаемый далеко не так, как он это заслужил и заслуживает — своим исключительным даром. Так было в России, так есть и в нашей «охраняющей русскую культуру» эмиграции. Перелистайте каталог Чеховского издательства, отлично знавшего, что столы и сундуки Ремизова завалены его драгоценными для русской литературы рукописями. Просмотрите эмигрантские журналы и времен эмигрантского довоенного (расцвета), и нынешнего времени! Ремизов всюду и всегда на третьем месте, в отрывках, явно с неохотой печатаемый, с оглядкой на читательскую психику. И это писатель, место которого (по определению Гумилева) «высоко-высоко над всеми остальными — где-то между Гоголем и Розановым».

Как пример «стандартного» отношения к Ремизову приведу случай из собственной литературной жизни. В 1916 году в Петербурге начала выходить «Русская воля», газета «американского размаха», — все «самое лучшее» от объема до имен и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником «Аполлона», но, очевидно, по принципу «у нас на все стили хватит», приглашения сотрудничать в «Русской воле» удостоился и я. Леонид Андреев, бывший литературным редактором, заявил мне: «Пишите, что и как хотите, мы вас не стесняем». Но когда я пред-

ложил «для дебюта» статью о творчестве Ремизова, прославленный автор «Анатемы» энтузиазма не проявил. «Пожалуйста, если хотите... но с другой стороны... лучше бы...». Я все-таки настоял. Написал статью и стал ждать ее появления. Но вместо этого был неожиданно вызван, минуя Андреева, к «самому большому начальству» — к главному редактору «Русской воли», профессору Гримму.

Гримм был утонченно любезен. Однако, с сожалением и комплиментами,— вернул мне мое писание. «Как заказанная Леонидом Николаевичем, рукопись, конечно, будет оплачена... Но ни в коем случае “этого” мы поместить не можем...». С «высоты» своего, казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника «Аполлона», заместителя Гумилева, я от души презирал тогда и авторитет Гримма, и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником «Русской воли» (по совету того же Гумилева), я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах,— в этой области ни Гримм, ни автор «Анатемы» никаких препятствий мне не ставили.

Теперь, на старости лет, я понимаю и негодование Гримма, и неудовольствие Андреева. Долгий опыт литературной жизни давно разрушил мои юношеские иллюзии. И я отлично вижу, что моя тогдашняя статья о Ремизове была попросту «пощечиной общественному мнению». Достаточно сказать, что она начиналась так: «Когда я впервые прочел ремизовский “Пруд” и, особенно, гениальный “Неуемный бубен”, я испытал то же чувство, что Стендаль перед Байроном — “желание поцеловать руку, написавшую это...”».

Прибавлю, что хотя я и отдаю себе отчет в несуразности моей тогдашней попытки поставить «единым махом» Ремизова на соответствующее место,— он для меня и по сей день остается тем же лучезарно-чудесным учителем прекрасного и славой русской литературы.

Еще прибавлю, для мало меня знающих, что излишней восторженностью я никогда не отличался и к большинству моих современников — хотя бы и весьма превознесенных — отношусь, скорее, как Грушенька Достоевского: «А я вам, барышня, ручку не поцелую».

Игорь Чиннов

О ВОЛЬНЫХ КАМЕНЩИКАХ

В Париже в 1948 году И. В. Чиннов вступил в масонскую ложу. Сохранился его диплом о принадлежности к ложе «Астрея», где говорится, что в 1948 году Чиннов принят в ложу учеником, в 1949 поднялся на ступень выше и стал подмастерьем, а в 1950 стал мастером. Это третья ступень, или третий градус — выше большинство масонов, как правило, не поднимались.

В архиве И. В. Чиннова есть рекомендательное письмо от «брата» и Досточтимого Мастера Ложи «Астрея» Владимира Татаринова (его же подпись стоит и на масонском дипломе Чиннова), другому «дорогому брату», чью фамилию установить не удалось. По какому поводу написано письмо — неизвестно. Но, судя по тому, что письмо осталось у Чиннова, он им не воспользовался. Используемые автором три точки (.˙.) — принятое у масонов сокращение.

20.6.1951 г.

Дор.˙. Бр.˙.
Владимир Александрович,

Позвольте рекомендовать Вашему благосклонному и братскому вниманию Игоря Чиннова, члена и мастера моей Л.˙. Астреи, который нуждается в Вашем совете.

Заранее благодарю Вас за все возможное содействие, которое Вы ему окажете.

Бр.˙. Ваш Вл. Татаринов Д.˙. М.˙. Л.˙. Астрея.

Во время своего приезда в Россию летом 1992 года Игорь Владимирович жил на даче под Загорском. Ему тогда было уже за восемьдесят. Однажды я попросила его рассказать о том, как он был

масоном. «Хорошо,— сказал он,— мне нужно несколько минут, чтобы вспомнить»,— и закрыл глаза. Вскоре он начал рассказывать. Вообще, Чиннов говорил очень гладко, и речь после интервью в правке не нуждалась. Ниже приведен текст, каким он оказался на диктофоне:

Масоны считают, что они — наследники строителей Храма. Будто бы Хирам — легендарная личность — строил Храм. Храм Соломона, разрушенный в свое время, и который теперь надобно было построить заново, возродить. Помните, у Гумилева[1]:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе Отчей.
Как на небесах, и на земле...

Масоны имели очень большую власть в Европе и Америке. В Америке до сих пор на денежных знаках вы видите масонские символы — треугольник, всевидящее око — это око Великого Архитектора Вселенной. В Америке масонство существует вполне открыто. Всюду есть масонские клубы, где собираются масоны, нисколько не стесняясь. Так же было и в России до того, как Екатерина Великая, рассердившись на Николая Ивановича Новикова, масонов запретила, и их разослали по их усадьбам и имениям. Потом масонство возродилось. И при Николае II расцвело пышным цветом. Среди членов Учредительного собрания и Временного правительства масонов было очень много. Среди них — известные люди, такие как Керенский, Милюков, Гучков и др. Многие потом оказались в Париже. Когда я в Париже вступил в масонский орден, я был на низких ступенях и потому не могу сказать, что происходило на собраниях масонов 18 градуса или 33 градуса.

В Париже существовала полурусская-полуфранцузская ложа, которая называлась ложа «Великого Востока». Она продолжает существовать и сейчас, и в ней представлены в основном бизнесмены. А французская ложа[2], в которой был и я, принадлежала к ложам «Великого Шотландского Устава». И там было много русских интеллектуалов, помимо бизнесменов. Были писатели, поэты. Большинство «парижских» поэтов состояло в этих ложах. Сергей Маковский, Георгий Адамович, Антонин Ла-

динский. И когда потом, при немцах, были обнародованы списки парижских и русских масонов, парижская общественность была поражена. Оказалось, что среди масонов — цвет русской интеллигенции. По этому признаку — принадлежности к «цвету русской интеллигенции» — потом набирали тех, кто должен был заменить выбывших по каким-то причинам людей.

Однажды, в гостях, я встретился с графом Дмитрием Александровичем Шереметевым. Ему принадлежало когда-то «Шереметево». Этот Дмитрий Александрович Шереметев, который в свое время был в свите Государя Императора и считался богатейшим из людей России, — все потерял после революции. Они не догадались перевести свои капиталы за границу. И в Париже он существовал тем, что разъезжал по большим магазинам и предлагал шелковые чулки. Они в Париже жили в приличном районе, но питались очень плохо. И когда он приглашал к себе — угощение сводилось к тушеному мясу и картофелю. Он был очень благородный и интеллигентный человек. Однажды, в прихожей, стал подавать мне пальто. Я начал возражать. Он сказал: «Ничего, я лакеем никогда не был, я могу подать Вам пальто».

И вот, этот граф, Дмитрий Александрович, узнав, что я — потомственный дворянин и со стороны матери и бабушки принадлежу к родовитым русским семьям, воспылал ко мне интересом и сказал: «А, такие люди нам нужны». И на ближайшем собрании ложи заявил, что молодой поэт, юрист и т.д. И я получил приглашение, устное, в масонскую ложу «Астрея». Так называлась ложа во времена Радищева, а потом Пушкина. Это был специальный дом в 17-м аррондисмане Парижа на рю Пюто, где собирались французские масоны, люди весьма богатые, и где русским масонам было уделено помещение, так называемый «Храм», то есть, просто большая зала со всякими масонскими символами на стенах. Происходило все в 1948 году.

Прежде всего, меня оставили в комнате размышлять. Потом учинили допрос. Человек 60 стояли вокруг меня с обнаженными шпагами. Меня спросили, откуда я узнал о существовании масонства. Я сказал, что во-первых, в «Войне и мире» об этом говорится много и со знанием дела, что еще есть роман Писемского «Масоны» (СПб., 1880), и что есть книга Михаила Осоргина, написанная им, вольным каменщиком, в Париже, под названием «Вольный каменщик» (Париж, 1937). Франкмасон — это «вольный каменщик». Нам всем потом повесили передники из

белой замши, вышитые золотом, со знаменитым циркулем. Циркуль означает логическое мышление. И потом, когда я вступил в третий градус, на меня навесили очень красивую ленту, бирюзовую, с красным ободком и каким-то знаком отличия, и выдали сертификат, удостоверение, что я — масон третьего градуса.

Я побывал там на многих собраниях. Безо всякого восторга. Потому что это сводилось к говорению речей. Речи говорили обычно люди, не имеющие дара слова. И только Василий Алексеевич Маклаков, бывший посол Временного правительства в Париже, и Георгий Викторович Адамович, еще, может быть, два человека умели говорить связно и толково. Остальные говорили плохо. Это были, в основном, проповеди морального содержания, о том, что надо, так сказать, быть честным, заботиться о ближних своих. Обычно присутствовало человек 70. И среди них были люди весьма знаменитые, то есть носители знаменитых фамилий — князь Вяземский, князь Волконский, князь Репнин и другие всякие нетитулованные аристократы, плюс очень богатые евреи. Нужно было быть очень богатым или знатным, чтобы вступить в этот клуб. Это был, конечно, клуб.

На наших собраниях третьего, а до того, первого и второго градусов, иногда выступали знаменитые масоны. И все говорили, что в русской революции они неповинны. Тут очень трудно сказать, так это или иначе. Что, будто бы, они получали какие-то указы от вышестоящих органов, находящихся в Америке. Трудно сказать.

Там никогда не употребляли слово «Бог», о Христе не было никогда и речи — они его игнорируют. Масоны говорят — на всех языках — Великий Архитектор Вселенной. Но сами они, в жизни, ходили в церковь, православную, в Кафедральный собор в Париже. Подходили к причастию, христосовались — это не запрещалось.

Среди масонов были люди вполне интеллигентные и умные, попадались люди, желавшие просто как-то отделиться от плебса, от толпы и принадлежать к клубу каких-то особенных, элитарных людей. Но ничего элитарного там не было. Это был просто клуб, где в девять часов вечера Досточтимый Мастер, то есть глава, председатель, задавал вопрос «брату привратнику»: «Брат привратник, который час?» — «Полночь наступила, Досточтимый Мастер». В девять часов! Это было очень забавно, как и многое другое.

Каждый из нас должен был прочесть в конце года короткий доклад, но многие от этого как-то увиливали. Мне выпала история масонства, и я справился удовлетворительно.

К нам заходили французы. И иногда неприятно были удивлены плохим французским произношением — кое-кто срамился, произношение было аховое. А кое-кто, напротив, вызывал почтительное удивление — говорил по-французски, как француз.

Все это было в достаточной степени безобидно, и я не могу ни отрицать, ни подтвердить уверения о том, что устроили революцию и свергли царя масоны. Они это отрицают. Может быть, отрицают неискренне. Я не знаю. Во всяком случае, это были люди милые, приятные, и все это велось очень чинно, очень благолепно.

Собирались раз в месяц, слава Богу. Заканчивалось собрание агапой[3].

Там говорились речи о том, что когда Россия освободится, то масоны спасут русский народ от того, чтобы погрязнуть в мирских интересах и так далее. Один мой приятель, тоже масон по имени, а не по убеждению, смотрел на меня весьма лукаво, думая о том, что эти болтуны никогда никакой России не понадобятся, что было совершенно верно.

Одним словом, через четыре года, получив звание мастера, или третий градус, я должен был уйти, потому что уезжал работать за границу, в Мюнхен. В ложе мне сказали, что я буду усыплен, буду спать, как Фридрих Барбаросса, в ожидании когда меня разбудят и скажут, что или Храм построен, или что Великий Архитектор Вселенной захотел меня лично повидать — я не знаю. Хотя в свое время, когда меня принимали, и вокруг стояли люди с обнаженными шпагами, Дмитрий Александрович, граф Шереметев, строгим голосом говорил, что если я захочу уйти, то «нигде спасения вы не найдете, где бы вы ни были — настигнет вас карающая рука мстителя и страшна будет кара ваша»... (Общие улыбки и усмешки вокруг.) Должен вам сказать, что все это, конечно, чепуха. Но какой-то русский клуб в Париже для некоторых людей, воображающих себя интеллектуалами, был полезен в то время.

Подмосковье, лето 1992
Магнитофонная запись О. Кузнецовой

[1] Строки Н. Гумилева из стихотворения «Память».

[2] Роман Гуль в книге «Я унес Россию» (Т. 2. Нью-Йорк, 1984) подробно рассказывает (стр. 165–190), как в Париже он стал масоном и оказался в достаточно «политизированной» ложе, которая принадлежала к масонскому «посвящению» «Великий Восток Франции». Говорит Гуль и о другом «посвящении», существовавшем в Париже, где соблюдался строгий шотландский устав. Это — «Великая Ложа Франции» (на рю Пюто), объединявшая шесть лож, в том числе и ложу «Астрея», а также ложи «Северное Сияние», «Гермес», «Юпитер», «Гамаюн», «Лотос».

[3] Трапеза.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

Сергей Константинович Маковский — издатель, искусствовед, мемуарист — родился в 1877 году в Санкт-Петербурге. Сын известного художника, он был видной фигурой в литературно-художественных кругах Петербурга — основатель и издатель-редактор знаменитого журнала «Аполлон» (Петербург, 1909–1917), организатор блистательной выставки французского передового искусства. После революции эмигрировал и с 1925 года поселился в Париже, где играл большую роль в литературной жизни эмиграции, особенно после войны. По словам Ю. Терапиано, Маковский был «живым примером, "живой памятью" ушедших времен для послевоенного поколения новой и прежней эмиграции, хранителем журнальных традиций и обычаев, а особенно — чистоты русского языка». Чиннов познакомился с Маковским в Париже и вспоминал: «Сановный, осанистый, благожелательный — настоящее "превосходительство". Самый породистый среди масонов — а там были такие именитые люди, как Шереметев, Вяземский. Но человек скорее не добрый, эгоистичный, черствый, бывал и сварлив. Но зато — обворожительная улыбка, изящество». Чиннов был признателен Маковскому за то, что тот одним из первых весьма лестно отозвался в печати, о его поэзии («Опыты». 1953. № 1 — рецензия на первую книгу стихов Чиннова). После переезда Чиннова в 1953 году из Парижа в Мюнхен, где он стал работать на радиостанции «Свобода», они с Маковским обменивались письмами. Через четверть века после смерти Маковского Чиннов их опубликовал**. В предисловии к публикации Чиннов напоминал, что за границей на темы искусства С. Маковский написал книги «Силуэты русских художников», «Последние ито-*

---

* Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж; Нью-Йорк, 1987.

** Новый журнал. 1989. № 177. Частично мы воспроизводим эту публикацию. Письма от 17 сентября 1955 и от 29 марта 1961 печатаются впервые.

ги живописи» и — по-французски — монографию о художественных ремеслах Прикарпатской Руси, а также восемь книг стихов, два тома воспоминаний: «Портреты современников» и «На парнасе серебряного века». В Париже Маковский был главой издательства «Рифма», выпускавшего сборники стихов русских парижских поэтов. О Маковском и этом издательстве в своих воспоминаниях «Сквозь смерть» писал общий знакомый Маковского и Чиннова Кирилл Померанцев:*

«...Случайное обстоятельство позволило мне довольно хорошо разобраться в этом человеке. Мои знакомые — Л. И. Чеквер и его жена, поэтесса Ирина Яссен, — предложили мне издавать сборники русских поэтов эмигрантов. У Чеквера была в Нью-Йорке какая-то бухгалтерская контора, дававшая ему довольно приличный заработок, и жена уговорила его пожертвовать необходимую сумму на издание поэтических сборников. Л. И. с радостью согласился, и издание было поручено мне. Но я быстро сообразил, что было бы смешно, чтобы сборники издавал я, когда в Париже находится Маковский — специалист этого дела.

Так родилась "Рифма", выпустившая больше двадцати стихотворных сборников. Жил в то время С. К. на маленькой улочке возле знаменитой "площади Звезды", снимая комнату у своей приятельницы А. М. Элькан — в то время секретарши "левого" Объединения писателей и поэтов, членом которого был и Маковский. Жил он там как в своей семье. Мать хозяйки была М. В. Абельман — вдова придворного глазного врача профессора М. Абельмана, женщина изумительная, знавшая чуть ли не всех знаменитых музыкантов, дружившая с Шаляпиным. В ее салоне Горовиц дал свой первый концерт. Она, кроме того, была великим знатоком Гёте и, кажется, наизусть знала всего "Фауста". (В то время ей было уже за восемьдесят, и думаю, что не нарушу секрета, если скажу, что она была тайно влюблена в Маковского, которому тоже тогда "перевалило" за семьдесят.)

Это небольшое отступление необходимо, чтобы читатель мог представить себе обстановку, в которой жил Сергей Константинович. Квартира была большая, так что иногда в гостиной легко собиралось человек десять-двенадцать, говорили о "текущих событиях", но больше, конечно, о литературе, о стихах. Собирались Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Терапиано, Смоленский, Раевский, Гингер,

* Померанцев К. Сквозь смерть. Лондон, 1986.

Присманова (может статься, что кого-нибудь позабыл) и я. Помню один такой вечер, на котором я дерзнул прочесть главу из поэмы, которую тогда писал. Называлась она ни больше, ни меньше "Поэма о XX веке"! Чтение продолжалось недолго: через 3–4 минуты Терапиано хлопнул кулаком по столу и возмущенно крикнул: "Довольно слушать этот бред!" Я был огорошен, тем более, что перед этим я читал ее Руманову, и он весьма одобрительно (думаю, что исключительно из-за своей доброты и хорошего отношения ко мне) о ней отозвался. Я вскипел ("Эх, ты молодость, буйная молодость"!) и инстинктивно (до сих пор не понимаю, как это у меня вырвалось) отпарировал: "Но как же вы слушали беспомощную версификацию Маковского!" Вообразите, что затем произошло. С. К. вскочил и, не сказав ни слова, ушел в свою комнату. Ушел, конечно, и Терапиано. Присманова принялась меня утешать. Другие обсуждали — кто кого больше обидел. Я же, как всегда, быстро отошел и объявил, что напишу извинительное письмо. Что и сделал. <...>

В то время я работал в гукасовской типографии "Наварр", там писал свои политические обзоры для "Русской мысли", сразу же отдавая их в набор. Когда в газете были статьи С. К., он приходил в типографию и сам их корректировал, чтобы не было ни одной опечатки, не пропускалась ни одна запятая. Приходил, садился, ему приносили оттиск набранной статьи, он нагибался над ним, поднимал очки на лоб, прищуривал левый глаз, и казалось, что из открытого глаза пучком вырывались лучи, сразу охватывая всю гранку. Опечатки и ошибки находил моментально, словно они, как блохи, прыгали в его открытый глаз. <...>

Вспоминается еще одна моя выходка, и тоже в связи со стихами. На этот раз это было у поэтессы Тамары Величковской. Кто там был, уже не помню. Кажется, Чиннов, Раевский, еще человек пять и я. Читали стихи, читал их и Маковский. Стихи были об Италии. Когда при обсуждении дело дошло до меня, я сказал, что "по моему скромному мнению", если Рим, Венецию или Флоренцию заменить Мадридом, Лиссабоном или Барселоной, стихи от этого не изменятся. Маковский, конечно, обиделся, остальные были неприятно смущены и твердо его защищали. Мне же — само собой — досталось по заслугам.

Все это было больше двадцати лет назад и, вспоминая подобные случаи, я краснею от стыда. Ведь перед Сергеем Константиновичем я был пешкой, плохо воспитанным версификатором. А он сносил, терпел, а если и возражал, то всегда сдержанно и вежливо. <...>

Сергей Константинович, конечно, нигде не работал, ни в какие политические организации не входил, не считая сотрудничества в эмигрантских газетах и журналах, за что получал грошовые гонорары. Лишь сейчас мне пришла в голову мысль: почему он, отлично зная три иностранных языка, не пробовал писать в каком-нибудь посвященном искусству иностранном журнале? Необходимые для этого связи у него, безусловно, были. Что ему помешало? Не знаю. Он жил на средства двух своих хорошо устроенных сыновей, которые ему, хотя и не щедро, но помогали. Знакомить с ними С. К. никого не хотел, уверяя, что люди они неинтересные, заботящиеся лишь о своем благосостоянии. Была у него еще дочь Марина, вышедшая замуж за какого-то богатого иностранца. О ней он тоже говорил мало и нелестно. Как-то узнав, что он болен, я к нему забежал и застал Марину, нежно за ним ухаживающую. <...> Скончался Сергей Константинович в 1962 году, скончался тихо во сне. Пришел в три часа с какого-то обеда, лег, уснул и не проснулся. Ему было 85 лет».

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Рим. 8 октября 1953 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

На Вас все жалуются из Парижа... «Приезжал, никому не дал знать, ни у кого не был и обратно уехал»... Только я не могу быть в претензии, так как вот уже месяц, как путешествую по Италии. Сейчас — в Риме, еще в течение десяти дней, вероятно (после Флоренции и Сиены), а затем поеду в Неаполь и к городам, возникшим из пепла. Может быть, — и дальше, в Палермо, если не растрачу до того все лиры... Блаженно хорошо в Италии! Скоро приедет ко мне Трубников, а пока ходим по выставкам и концертам с Белобородовым и Добужинским (Вы их знаете? Все полувековые друзья)... Попалась ли Вам новая книжка Одоевцевой — «Стихи, написанные во время болезни»? Померанцев написал о ней восторженный фельетон... Пользуюсь случаем и посылаю Вам одно мое *последнее* стихотворение. Хочу знать Ваше мнение о такого рода философском рифмотворчестве. Может быть, это не совсем поэзия? Но к старости я все

Храм

Пустой, ограбленный, забытый,
он спал глубоко (умереть не мог),
и вот опять, на пустыре открытом,
благотворит соседний городок.

Сам — нищ. Ни портика, ни крыши.
Но дивен строй напруженных колонн.
Весь желто-сер, но только солнце выше —
и станет розовым, как Парфенон.

Чей он? Нептуна? или Геры?
Не всё-ль равно! Чудесно в нем слиты
титанов мощь и золотая мера,
божественные узы красоты.

И мир кругом — как Божья слава:
Даль моря, гор туманных рубежи...
(И с криком из отверстий архитрава
(выпархивают юные стрижи.

(?) С. Маковский 31/x 53.

или: И с криком вдруг из норок архитрава
стремительно вспорхнут стрижи...

Автограф стихотворения С. Маковского, написанного 31 октября 1953 года. Из письма к И. Чиннову

больше настраиваюсь на метафизические темы... Правда ли, что в «Гранях» напечатали очень кислую рецензию о «На пути земном»[1]? Но после Ваших таких сочувственных слов — остальные отзывы мне безразличны...

Искренне Ваш С. Маковский.

[1] Книга стихов Сергея Маковского, вышедшая в Париже в 1953 году.

Париж. 5 апреля 1954 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Как давно не писали мы друг другу: больше двух месяцев! Сначала я все думал, что Вы опять заглянете в Париж (хотя бы на праздники) и на этот раз мы встретимся, но вот уже весна на дворе, а что-то о Вашем приезде не слышно. Да и я опять собираюсь на юг. Вероятно, уеду в Ниццу 14–15 апреля недели на две...

Слышал я на днях и встревожившую меня весть относительно Вашего самочувствия: будто бы Вы болезненно полнеете от какой-то неведомой хвори. А о новых стихах что-то давно ни слуху, ни духу. Пишете ли? Я сейчас занят — увы! — не стихами, а прозой. Чеховское издательство решило, наконец, выпустить первый том моих «Портретов современников» после года молчания — и мне пришлось многое подправить и дополнить после подписания контракта.

«Рифма» тоже немного заглохла в связи со всей этой прозой. Однако удается все же выпустить до наступления лета еще две книжки: Юрия Трубецкого (ему послана корректура) и Веры Булич, серьезно заболевшей этой зимой. Этот сборник будет ее лебединой песней. Буду с нетерпением ждать Вашей беспристрастной оценки и того, и другого сборника. В проекте еще Чехонин (из Нью-Йорка), я очень мало его читал; Рахили Самойловне <Чеквер>[1], по-видимому, нравится... Какое Ваше мнение? Я еще могу под благовидным предлогом и не печатать этой книжки, так же как и другой кандидатки Р. С. Ч. — М. Толстой (совсем ничего не читал ее).

Возник и еще проект среди поэтов Объединения, и не только — «мечта воображения пустая»: издание маленького жур-

нальчика, посвященного исключительно стихам, четыре раза в год. Я все рассчитал: нужно 400 000 франков на год. 250 000 уже имеются факультативно. Кроме стихов буду помещать и рецензии, и недлинные статьи о поэзии — и русской, и иностранной. Журнальчик — очень для избранных, в очень ограниченном количестве экземпляров. Если знаете какого-нибудь мецената на дополнительный пай в 50 000 — сообщите и пособите! Я думаю, что такой важный орган очень оживит и все издательское дело «Рифмы» и даст нам возможность свободно утверждать свои взгляды. Как Вы полагаете[2]?

Тем более, что «Опыты», выходящие уже без стихов в следующей книжке, вероятно, и вовсе прекратятся. «Возрождение»[3] — сами знаете; «Новый Журнал»[4] один на всю братию — недостаточен.

Буду ждать Вашего ответа и шлю наилучшие пожелания на Пасху.

Ваш сердечно преданный Сергей Маковский.

P. S. С Иваском изредка переписываемся. Но он как будто дуется на парижан за отсутствие рецензий (в журнале)[5]...

[1] Р. С. Чеквер (поэтический псевдоним — Ирина Яссен) была владелицей издательства «Рифма».

[2] Идея издавать журнал не осуществилась.

[3] «Возрождение» как ежедневная газета выходило в 1925–1936 гг., как еженедельник — в 1936–1940 гг., как журнал, шесть раз в год, — в 1949–1954 гг., как журнал, ежемесячно — в 1955–1974 гг.

[4] «Новый журнал» был основан М. Алдановым и М. Цетлиным в Нью-Йорке в 1942 году и выходит до сих пор, так же — четыре раза в год.

[5] Ю. П. Иваск — близкий друг И. В. Чиннова. Они были знакомы еще до войны. В 1953 году в издательстве «Рифма» у него вышла книга стихов «Царская осень». Об отсутствии рецензий на нее, видимо, и идет речь.

Париж. 4 января 1955 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Слышу, что и у Вас со здоровьем неблагополучно. Страшная зима какая-то выдалась. П. С. Ставров очень болен, настоль-

ко, что мало надежды на поправку. Марья Вениаминовна после воспаленья легких очень слаба еще; Анна Морисовна вечно простужена, того гляди — и от усталости деловой, и от холодной парижской сырости — свалится. Раевский совсем погибает от ишиаса и безденежья. Руманов слепнет (катаракты на обоих глазах) и т. д. Ремизов тоже, еще несколько недель назад вовсе умирал от отека легких. При таких условиях никому из нас не до литературных вечеров. Умолкло Объединение[1] и даже не разъединяется больше!

Спасибо за сведения о Борисе Яковлеве. На днях я познакомился еще с двумя «американцами». Один из них — постоянный заведующий парижским отделением «Института по изучению истории и культуры СССР». Другой — приезжий и, видимо, влиятельный, фамилия, вроде Пэч. Оба произвели приятное впечатление. Оба затевают в Париже писательский съезд — в ответ на съезд писателей в СССР — через два месяца! К сожалению, я ничем почти помочь им не могу, так как уезжаю через неделю в Grasse месяца на два, чтобы окончательно выправить мое легкое. Que pensez-vous de tout cela[2]? По-моему, в два месяца ничего подготовить как следует нельзя.

Но самый «Вестник», где тот же Б. Яковлев является «директором» (то есть главным редактором), производит впечатление солидное и как будто беспристрастно осведомляет о всем, происходящем в Советской России (кроме литературы — почему?). Напишите мне при случае Ваше мнение. Не забывайте и стихами. В Грассе я надеюсь и отдохнуть, и кое-что написать. Да, забыл сообщить Вам, что Иваск[3] вернул мне мою статью об Иване Коневском[4] (длинна!), специально заказанную Гринбергом для «Опытов». Я передал ее Яковлеву, не знаю, разберется ли он в ней. Но курьезно другое: мое «Утишье»[5], давно отданное Иваску по его убедительной просьбе для «Опытов», будет напечатано лишь в № 5, так же, по-видимому, как и остальные стихи. В чем дело?

Сдается мне, что ставка Цетлиной теперь — на ди-пи[6]. В чести Марков, трогательно восхваляющий на страницах «Граней» Хлебникова. Не думаю, чтобы эта ди-пиевская линия отвечала вполне вкусу Иваска; хотелось бы и по этому поводу услышать Ваше мнение. О Хлебникове пятьдесят лет назад много было разговоров в Петербурге, но его не печатали. Таланта никто не отрицал, но считали графоманом, запутавшимся в собственной

мегаломании вместе с Крученых. Неужели дождался на том свете признания своей гениальности? Вы его читали?

Жму руку и желаю от всего сердца быстрого поправления. С Новым годом! Ваш искренне Сергей Маковский.

[1] «Объединение русских писателей и поэтов во Франции». Подробнее см. ниже, в примечаниях к воспоминаниям И. Чиннова «О "Числах" и числовцах».

[2] Что Вы обо всем этом думаете? *(фр.)*

[3] В журнале «Опыты» сначала редакторами были В. Л. Пастухов и Р. Н. Гринберг. В 1955 году их сменил Ю. П. Иваск. Издательницей была М. С. Цетлина.

[4] Статья о студенческом друге С. Маковского, молодом петербургском поэте Иване Коневском, утонувшем в 23 года, была напечатана в альманахе Б. А. Яковлева «Литературный современник» (Мюнхен) за 1954 год.

[5] Стихотворение С. Маковского.

[6] Ди-пи — аббревиатура английского «displaced person» — перемещенные лица. Так называли эмигрантов, оказавшихся за границей в сороковые годы, во время войны. Это так называемая «вторая волна», т. е. люди уже советского поколения, как и В. Ф. Марков — крупнейший специалист по футуризму. На тему о поэзии В. Хлебникова он защитил в США докторскую диссертацию. И. Чиннову стихи Хлебникова не нравились, он считал, что это скорее эксперименты со словом, чем поэзия. В архиве И. Чиннова сохранилось 26 писем В. Маркова.

17.9.1955 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Простите, что не сразу ответил на Ваше милое письмо с вложением текста Вашей «передачи»[1] о моей скромной особе на Восток отечественный... Спасибо за отзыв о моих эмигрантских трудах! Читал и, благодаря Вас мысленно, диву давался: неужели кому-нибудь в бывшей России мои писания могут быть интересны!? Сочувственного слова об «Аполлоне» в советской печати не довелось прочесть ни одного... Не знаю, как обстоит дело в тамошних энциклопедических словарях... Брокгауз когда-то подробно упоминал обо мне. Вероятно, все это давно за-

черкнуто марксистскими преобразователями. Напишите мне, о ком еще состоялись такие «передачи». Напишите также, что Вы думаете об изменившейся международной «погоде». Чуется мне, что, невзирая ни на какие «улыбки и тосты» дипломатов, — не к добру все это неопределенное благодушие. Вам в Мюнхене — виднее...

Я провел в деревне, у старшего сына в имении, целый месяц. Много написал и прозой, и стихами... Совсем погрузился в поэзию З. Н. Гиппиус. Глава о ней для будущей моей книги «Воспоминаний» о современниках почти готова вчерне. Буду читать отрывки (вышло длинновато) друзьям-поэтам по возвращении на зиму в Париж. Теперь увы совсем скоро. Собираюсь обратно быть на будущей неделе, хотя в St. Siger настали вновь чудесные, почти летние дни. Стихов, неизвестных Вам, накопилось с десяток за последний месяц. Пошлю Вам, когда перепишутся, а Вы обещайте мне сказать, какие Вы нашли бы нужным поместить в следующий мой сборник. Он выйдет (не в «Рифме» однако, чтобы не говорили «доброжелатели», что я пользуюсь «правом сильного» в издательстве), вероятно, еще до конца этого года и будет печататься в Мюнхене: дешевле!

Полагаете ли Вы, что «Литературный Современник»[2] будет продолжаться в следующем году? Яковлев опять обратился ко мне с просьбой о стихах и статье. Серьезно ли? Находит ли сборник (скорее удачный и неглупо составленный, за исключением нескольких бьющих в глаза промахов) покупателей в Германии? В Париже ничего, как будто, не было сорганизовано по части успешного распространения. Присланные мне десять экземпляров я поместил. Пошлю Яковлеву с оказией 3.000 франков, но ведь это «капля в море», даже меньшая, чем сборник Шиманской... Кстати, какое Ваше суждение о ее «Новолунье»[3]? А сейчас предстоит еще «капля» — вторая книга Яссен: «The rest is silence»[4]...

Крепко жму руку и еще раз выражаю Вам признательность за сочувственные слова о моей Музе, которая «не гоняется за новизной, за модой», хотя и, уточняете Вы, добавив: «не боится уже использованных образов». Это «бесстрашие» звучит, в контексте, пожалуй и двусмысленно... Образ никогда не «использован», если подсказан непосредственным чувством. Словесно «новые» образы — кто их удостоверит? Предшественников любому из них, в мировой поэзии, найти не трудно. Живым наитием образ

преображается. Вы не согласны? Крепко жму руку еще и еще раз. Ваш искренне Сергей Маковский.

[1] И. Чиннов с 1953 года работал в Мюнхене на радиостанции «Свобода» (тогда называвшейся «Освобождение») и делал передачи о поэтах и писателях.

[2] В 1951 – 1952 годах «Литературный современник» под редакцией Б. Яковлева выходил в Мюнхене как журнал. В 1954 году он вышел уже как альманах, в котором Б. Яковлев писал, что теперь издание будет выходить на средства «Фонда помощи писателям-беженцам» (FIF — «Fond for intellectual freedom»), основанного Артуром Кестлером. Вышло пять номеров издания.

[3] Книга А. Шиманской «Капля в море» вышла в «Рифме» в 1950 году. Книга «Новолунье» вышла там же в 1955 году.

[4] Отдых это молчание *(англ.)*. Вышедшая в 1956 году в «Рифме» книга Ирины Яссен называлась «Память сердца». И. Чиннов принимал участие в издательских делах «Рифмы» и рассказывал, что они с С. Маковским иногда правили стихи И. Яссен, чтобы их возможно было напечатать.

5 апреля 1956 г.

<Часть письма не сохранилась> Хочется мне ознакомить «племя младое» с «заметными» людьми (большею частью друзьями), о которых никто, кроме меня, уже написать не может, — теми, с кем связывает меня русское прошлое. Сейчас написаны «Блок», «З. Гиппиус», «Иван Коневской», «Н. Евреинов», «Кн. С. М. Волконский», «Н. Н. Рерих», «Стеллецкий», начаты «Гумилев», «Кузмин», «Ходасевич», «Добужинский». Собираюсь подвигнуть этот труд летом, в деревне. Но раньше августа мне из Парижа не выбраться. К тому же взялся писать в «Русской мысли», которая совершенно преобразилась, когда редактором стал Водов, человек очень приятный и неглупый: пора выходить в Париже «культурной» русской газете. Беда лишь в том, что нет у нее литературного арбитра, печатаются часто плохие стихи и проза. Но и это исправимо. Очень мне понравился последний номер «Нового Журнала»[1], хотя по части belles-lettres и в нем не все благополучно. На каком языке пишет Михаил Иванни-

ков? Кто это? Альтшуллер увлекателен, но это еще не совсем «проза», а больше прозаическое ученичество на тему исторического быта. Но истории в этом быту не чувствуется, кроме упоминания о войне со шведами. Разве так разговаривали при Петре? Г. Иванов, слов нет, мастер, но до чего пуст его «Дневник». Вы не находите? У Алексеевой есть дарование; все же ни к чему было, да еще на первом месте, печатать:

Но я не ухожу с вокзала,
Мне больше некуда идти.
....
Я в безнадежном ожиданьи
Грызу последний бутерброд.

Адамович своей статьей о «наследстве Блока» не переубедил меня. Ни одного вразумительного аргумента, одни произвольные утверждения: ритм, магия и т. д. Пора писать о поэзии серьезнее, обоснованнее. Зато очень увлекла меня статья Маркова о Моцарте. Он умен, чуток и как образно пишет о музыке! Жаль только, что подчас грубовато самоуверен и для эффекта говорит глупости.

Об «Опытах» молчу пока, не успел всего прочесть. Но тут одних «комментариев» Адамовича достаточно, чтобы... не захотелось читать остального. Его элементарные размышления о Христе и христианстве просто неумны. С каким обывательским апломбом говорит он о том, чего не понимает! Нет, мережковским верхоглядством не отделаться, даже с его бойким пером, от проблем, которыми человечество занято около двух тысяч лет. Мне даже стало жаль его. Зачем портить репутацию «необыкновенно умного» и чуткого критика? Кому дело до его диалога с Иваском на тему, которая ни тому, ни другому не по плечу? Но я заболтался, зная, что Вы поймете мое... «недоумение». Если так будет продолжаться — погибнут «Опыты» во цвете лет. Все это — tres, tres entre nous[2]. Но Ваше мнение, как всегда, мне дорого.

Постараюсь достать несколько экземпляров Вашего «Монолога» у Каплана, но уплатить за них придется — по 100 франков. В моем «стоке» их нет. Ведь Вы получили больше половины из моего запаса при выпуске сборника.

Искренне Ваш, сердечно Сергей Маковский.

[1] Дальше С. Маковский разбирает материалы этого номера (№ 44 за 1956 год).

[2] Очень, очень между нами (*фр.*).

Ницца. 13 октября 1956 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Ваше милое письмо (с приложением полутора тысяч франков) мне переслали с большим опозданием в Ниццу, где я отогреваюсь после ужасного парижского лета. Вот почему еще не выслал Вам книг. Сделаю, как только вернусь в Париж, то есть не позже 20 октября. Присоединю и кое-какие стихи из последних. Если одобрите, включу их в 8-ой сборник, который выйдет, надеюсь, к моему восьмидесятилетию, то есть осенью 1957 года.

О втором томе моих «Портретов», пожалуй, и думать не стоит. Кто же издаст? Да я и не спешу. С каждым годом как-то все яснее видишь.

И мне долго Гиппиус была чужда. Чтобы воспринять поэта, надо вчитываться в него исподволь, проникая постепенно в его «святая святых», когда оно в нем есть.

Встречаюсь здесь с Алдановым. Тоска-мужчина! Настолько занят своими писаниями, что не хватает времени подумать плохо о других писателях. Зато все считают его добрым. А может быть, он и добр? Но пишет очень плохо. Это — наверное.

Напишите мне, как Вы относитесь к масонству, нынешнему, русскому, эмиграции. Крепко жму руку и прошу извинить за невольное опоздание с ответом. Ваш искренне преданный Сергей Маковский.

Париж. 8 ноября 1957 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Отвечаю Вам тоже короче короткого. Совсем задергали меня зимний Париж и борьба за существование. Сами знаете, как нелегко зарабатывать на жизнь (которая становится все дороже!) литературой. К счастью, не хворал. Прочел имевшую здесь большой резонанс лекцию «Анненский-критик». После этого Парижский Научный Институт, Академическая группа и прочие обще-

ственные организации решили меня «чествовать» в связи с моим 80-летием. Много было хлопот. Одолели поздравлениями. С чем? Скоро совсем перестану думать о будущем. Современники один за другим уходят. Это самое тяжелое в старости — хоронить!

Мою лекцию о Гумилеве буду читать здесь (собрание Академической группы) 7 декабря. «Анненский» будет напечатан в «Русской Мысли» (вероятно — фельетоном: 21, 26 и 28 ноября). Прочтите! Готовлю к сдаче в «Имку» мой 2-ой том «Портретов современников», но надежды, что будет издан,— мало. Сборник (8-ой) моих стихов выйдет *наверное*, но через месяц (после выхода №№ 34–35 «Граней», где будут помещены некоторые стихи из этого сборника). Собственные стихи мне очень *надоели*. Теперь, если буду писать, то по-другому. Надо поставить крест на романтическом эпигонстве. Весь мир стал другим. Много читаю. Жду потрясений во Франции. Парижане мечутся. Эмиграция хиреет и глупеет.

Жму руку, милый друг, и еще раз спасибо за все, что Вы сделали для меня в Мюнхене. Увижу ли Вас в Париже? Искренне и сердечно Ваш Сергей Маковский.

P.S. Очень восхитили меня новые стихи Ваши в № 50 «Нового Журнала»[1].

[1] В этом номере стихов И. Чиннова нет. Речь идет о № 49, где напечатано его стихотворение «К луне стремится, обрываясь...» (см. ниже, в приложении).

Париж. 21 марта 1958 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

В моей записной книжке отмечено: «послать Чиннову 5 экземпляров, когда выйдет «Еще страница». Помню — мы с Вами так *условились*. Цена экземпляра — 200 франков. Для раздачи друзьям я получил всего 25 книжек, но посылаемую Вам (с автографом), конечно, считаю своим приношением Вам, верному служителю Муз и другу. «Вышла» «Еще страница» только на днях (когда я получил №№ 34–35 «Граней» с напечатанными моими «раздумьями»), хотя готова была уже давно, как Вы знаете. Но таково было условие с «Гранями». Кстати, что думаете

Вы о стихах Рафальского? Вообще очень хотелось бы знать, о чем больше всего думается Вам сейчас? Пишете? Давно не имею вестей.

После Гумилева (статья тоже должна появиться в «Гранях», но Бог весть — когда!) я занялся *вплотную* Владимиром Соловьевым, в сущности родоначальником модернизма и в поэзии, и в религиозной философии XX века. Вероятно, буду читать в Париже публичную лекцию (но не раньше мая). Беру я этого гениального безумца очень *по-своему*, благодаря тому, что хорошо его помню в последние его годы. Не мечтаю о том, чтобы опять поехать в Мюнхен прочесть эту лекцию. Но не отказался бы. Пока что этой главой о Соловьеве я завершаю мой *том второй* «Портретов современников» со *слабой* надеждой, что удастся напечатать эту книгу (300 страниц) в издательстве «YMCA». Тогда смогу умереть спокойно, сказав о самых ярких писателях «серебряного века» то, что помню и чего никто уже, как будто, не помнит... хотя говорят о них и вкривь и вкось, много и долго будут еще говорить. Не собираетесь ли Вы на побывку в Париж? Холодно у нас, но скоро все же должна наступить весна, и тогда будет вдвойне приятно, после невероятно дождливой и ветреной зимы. Жму руку и прошу не забывать Ваш искренне преданный Сергей Маковский.

Париж. 28 августа 1958 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Хотелось бы ответить длинным письмом на Ваши милые строки, но еще не могу, т. к. — представьте! — всего неделю назад меня оперировали от гнойного аппендицита, и я еще еле жив. Конечно, о поездке в Мюнхен сейчас не может быть и речи. Авось, совсем выправлюсь в октябре. Но это и к лучшему, ибо тогда я буду в состоянии прочесть доклад о поэзии Георгия Иванова (только что скончавшегося) опять в связи с моими «аполлоновскими» воспоминаниями и, понятно, коснусь всей стилистической эволюции нашей поэзии. Материал для этого доклада у меня уже собран, а полное собрание стихов Иванова на днях выходит в Соединенных Штатах.

Впрочем, и вызывающий оживленную полемику мой «Вл. Соловьев» (проблема безумия в мистике), если эта тема покажется

интереснее мюнхенцам, может послужить мне для двухчасового доклада. Но обо всем этом есть еще время подумать. Спасибо за 10 марок. И они пришлись кстати ввиду очень дорого стоящей мне болезни, от которой чуть было я не отправился на тот свет. Я не понял из Вашего письма, был ли у Вас милейший Ю. П. Иваск? Он мне чрезвычайно понравился. Жаль, что, видимо, его сотрудничество с г-жой Цетлин должно прекратиться[1]. Жму крепко руку. Не забывайте.

Ваш сердечно Сергей Маковский.

[1] Ю. Иваск ушел из журнала «Опыты». С его уходом в 1958 году издание прекратилось.

Париж. 18 декабря 1959 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Целую вечность о Вас ничего не слышал! Неужто Вы не соберетесь в Париж? Заменяю сведения о себе вырезкой из «Русской Мысли», где сказано кем-то (не знаю, кем?) о моих лекциях в Лондоне. Я пробыл в Англии около двух недель. Кажется, мои лекции (вокруг «серебряного века») понравились. В связи с успехом лекции моей о К. Случевском (поэт очень средний, но какая фигура, и подчас не без гениальности!) я задумал создать комитет для сбора средств на издание его «Избранных стихотворений» (ручаюсь, что можно сделать сборник страниц на 100 — превосходный!). Думаете ли Вы, что кто-нибудь в Мюнхене может приобрести пай на такое издание? Лондон и Париж заинтересованы, кое-что я уже собрал. Но надо еще около 200. Чье издание будет — мне безразлично, лишь бы книга вышла. Моя подробная статья о К. Случевском должна появиться в «Новом журнале»[1]. Но выйдет ли он еще? После смерти Карповича[2] все как-то смутно стало. Но мне говорили, что есть новое издательство в Мюнхене. Вот если бы! Ваш искренне Сергей Маковский.

P.S. напишите о Ваших планах. От Иваска милейшего я давно не имею вестей.

[1] Статья «К. Случевский — предтеча символизма» появилась в № 59 за 1960 год.

[2] М. Карпович — профессор истории Гарвардского университета, с 1949 года был главным редактором «Нового журнала». После его смерти в 1959 году журнал возглавил редакционный совет, а затем Р. Гуль.

29-го марта 1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович!

Третий день лежу в постели — простудился, легкий (надеюсь) грипп. Зато, вдали от городской суеты и литературных обязательств могу отдаться ничего-неделанию и размышлениям. К тому же — под рукой книжки Ваших стихов... Перечитываю без конца!

Радуюсь и за Вас, и горжусь немного, что сразу угадал (еще на это я способен), что Вы из «молодого» поколения поэтов в эмиграции один обещаете много. О Ваших стихах только я и написал рецензию в «Опытах»[1], наперекор шипению и завистливым улыбочкам почти всей нашей парижской «братии». Как промахнулась Червинская[2]! Но ведь и Адамович ей не возразил, а лишь потом решил произнести — «новый поэт эмиграции...»[3]. В это время наши поэты подмигивали: дескать по личным причинам.

На самом деле, никто не понял в Вашей Музе главного — ее серафической мечтательности, ее тишайшего приятия великой тайны Творения... Если и отмечали музыкальность Ваших словосочетаний (выработанная форма!), то главного не чувствовали. Потому что Ваша музыкальность, продуманность каждой буквы в строке, что кажется нашей русской варварской критике внешней прелестью (для поэзии необязательной), Ваша до утонченнейшей придирчивости к себе доведенная форма и есть тот единственный язык, на котором можно сказать то, что Вы говорите. Это — не «сжигающего сердца глагол» и не «де ля мюзик аван тут шоз»[4], а очень новая краткость пронизанного душою слова.

Все это было и в «Монологе», но лишь намеком, иногда и не убедительным до конца, не бесспорным для читателя. Чувствовалось еще усилие и не всегда увенчанное усердие поэта — сказать самое сокровенно глубокое в нем, пользуясь сравнениями

и предметными образами. Были и некоторые заимствования у символистов старших поколений...

Не то — в «Линиях»[5]. Тут найдена и форма, адекватная лирическому смыслу, тому смыслу созерцательной грусти, который отвечает общей столь современной растерянности мыслей и чувств.

Ваша книга останется. В этом я не сомневаюсь. Пусть господа «...» (с подсказкой Одоевцевой?) скажут: «Да ведь это подражание Г. Иванову, его обдуманной краткости и находчивым сопоставлениям». Неправда! Иванов современен, но — внешне, дерзостью, парадоксами, аморализмом. Но почти нет в нем элементов нового глубокого ощущения мира Парижа. Может быть, оттого, что и Бога в нем нет. А если и есть, то какой-то переходящий в мелкого беса. Его значение очень преувеличено зарубежными «критиками» и собственной женой, зато человеческих достоинств еще меньше.

Писал почти час и ослабел. Даже перечитать не могу и прошу мою хозяйку бросить конверт в ящик. А к Вам у меня просьба, просьба болящего — перестукать эти листы на машинке и прислать мне, если найдете в них, что-нибудь стоящее внимания. Из этого наброска я мог бы, когда поправлюсь, сделать рецензию, хотя бы в «Русской мысли» или в «Мостах», там, где не будет рецензии Георгия Викторовича. Знаю, что без этой подкладки я писать не соберусь. Но перепишите поскорее, пока я не погряз опять в мой второй том «Портретов современников», который я называю «На парнасе серебряного века», изд. ЦОПЭ. Сейчас дочитал корректуру первой части этой толстой книги... Столько еще предстоит работы! Доживу ли? Ваш сердечно С. М.

P.S. Не предавайтесь мысли, что «не на что надеяться»[6]. Неодобрение современников часто — лучший признак будущей славы.

[1] Поэзия Игоря Чиннова // Опыты. 1953. № 1.

[2] И. В. Чиннов уже в конце жизни рассказывал, как на поэтическом вечере в Париже, где обсуждалась его первая книга «Монолог» и посмертная книга стихов А. Штейгера «Дважды два четыре», Лидия Червинская вышла на сцену и сказала: «Тут все говорят о книге Чиннова. Может быть, она того и заслуживает, раз ее так хвалят, но я хочу поговорить о книге Анатолия Штейгера».

«Она была влюблена в Адамовича, — пояснил Чиннов, — и ей не нравилось, что Адамович меня хвалит».

[3] Статья Георгия Адамовича о стихах И. Чиннова «Новый поэт» была напечатана в газете «Новое русское слово» 23 марта 1952 года. Отрывок из нее см. в комментарии к письму Г. Адамовича от 9 марта 1952 года.

[4] Музыка прежде всего (*фр.*).

[5] «Линии» — вторая книга стихов И. Чиннова (Париж: «Рифма», 1960).

[6] Строка из стихотворения И. Чиннова «Пожалуй, и не надо одобрения...».

Париж. 31 декабря 1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Отправку Вам моей книги с автографом откладываю до после Нового года, а то во Франции сейчас такая бестолочь, что никогда не знаешь наверное, дойдет ли почтовая посылка. Были два случая и с моим «Парнасом», на почте (может быть, русский был служащий) развязали, книгу вынули и доставили один конверт! От всего сердца спасибо за такие милые слова по адресу моего «Парнаса». Непременно куда-нибудь напишите — два слова, лучше всего бы в немецкой или американской газете. Заграничная пресса для меня особенно важна. С русскими рецензиями в эмигрантской печати мало кто считается. Для того, чтобы я мог спокойно приступить к 3-му тому, нужны отклики на два первых — в иностранной печати. Русскому «читателю» за рубежом вообще до меня мало дела. В доказательство: ни в одной русской рождественской и новогодней газете (с целым разливом русских книжных «новинок») мой «Парнас» даже в рубрике «Для отзыва» не упоминается. Нигде! Если бы я широко не разослал книгу и не дал два раза сам объявления в «Русской Мысли», так никто бы и не узнал, наверное, что книга вышла. Что делать? Жму руку, не забывайте.

Ваш Сергей Маковский[1].

[1] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 26 писем от С. К. Маковского.

Сергей Маковский

ЗИНАИДА ГИППИУС*

Оглядываясь в конце жизни на прошлое, невольно укоряешь себя... за много, но больше всего за то, что недооценил иных ушедших из этого мира спутников, не захотел узнать их ближе, когда они были живы, поддался ходячему о них мнению, сплошь да рядом поверхностно-одностороннему. Одним из таких «укоров» стала для меня Зинаида Николаевна Гиппиус после того, как я прочел и перечел наново (благодаря содействию В. А. Злобина, — он унаследовал, по завещанию, архив Мережковских) все, что за долгую жизнь было ею написано. Действительно — все, или почти все, и напечатанное, и неизданное: варианты стихотворений в тетрадях, которые она называла «лабораторией стихов», неоконченные рассказы и статьи, дневники («самый личный», раскрывающий ее обнаженно-правдиво, она собиралась сжечь перед смертью), некоторые письма (неотосланные или ей возвращенные).

Я знал ее, с перерывами, много лет; весь мой «Петербург» и эмигрантский «Париж» связаны с нею, до самой ее смерти осенью 1945 года, а запомнилась мне Зинаида Николаевна еще в Ницце в 92 году, совсем юной, незадолго перед тем вышедшей замуж за Мережковского. Семью годами позже я стал встречать обоих в редакции «Мира искусства».

Ей шел тогда тридцатый год, но казалась она, очень тонкая и стройная, на много лет моложе. Роста среднего, узкобедрая, без намека на грудь, с миниатюрными ступнями... Красива? О, несомненно. «Какой обольстительный подросток!» — думалось при первом на нее взгляде. Маленькая гордо вздернутая головка, удлиненные серо-зеленые глаза, слегка прищуренные, яркий, чувственно очерченный рот с поднятыми уголками, и вся на редкость пропорциональная фигурка делали ее похожей на андрогина с холста Содомы. Вдобавок густые, нежно вьющиеся брон-

---

* Глава из книги Сергея Маковского «На парнасе серебряного века» (Мюнхен, 1962). На книге, подаренной С. Маковским И. Чиннову, надпись: «Игорю Чиннову, поэту космического сознания и тайн буквенного звука от автора. 1.1.1962. Париж». Печатается с сокращениями.

зово-рыжеватые волосы она заплетала в длинную косу — в знак девичьей своей нетронутости (несмотря на десятилетний брак)... Подробность, стоящая многого! Только ей могло прийти в голову это нескромное щегольство «чистотой» супружеской жизни (сложившейся для нее так необычно).

Вся она была вызывающе «не как все»: умом пронзительным еще больше, чем наружностью. Судила З. Н. обо всем самоуверенно-откровенно, не считаясь с принятыми понятиями, и любила удивить суждением «наоборот». Не в этом ли состояло главное ее тщеславие? Притом в манере держать себя и говорить была рисовка: она произносила слова лениво, чуть в нос, и была готова при первом же знакомстве на резкость и насмешку, если что-нибудь в собеседнике не понравится.

Сама себе З. Н. нравилась безусловно и этого не скрывала. Ее давила мысль о своей исключительности, избранности, о праве не подчиняться навыкам простых смертных... И одевалась она не так, как было в обычае писательских кругов, и не так, как одевались «в свете»,— очень по-своему, с явным намерением быть замеченной. Платья носила «собственного» покроя, то обтягивавшие ее, как чешуей, то с какими-то рюшками и оборочками, любила бусы, цепочки и пушистые платки. Надо ли вспоминать и о знаменитой лорнетке? Не без жеманства подносила ее З. Н. к близоруким глазам, всматриваясь в собеседника, и этим жестом подчеркивала свое рассеянное высокомерие. А ее «грим»! Когда надоела коса, она изобрела прическу, придававшую ей до смешного взлохмаченный вид: разлетающиеся завитки во все стороны; к тому же — было время, когда она красила волосы в рыжий цвет и преувеличенно румянилась («порядочные» женщины в тогдашней России от «макийяжа» воздерживались).

Сразу сложилась о ней неприязненная слава: ломака, декадентка, поэт холодный, головной, со скупым сердцем. Словесная изысканность и отвлеченный лиризм Зинаиды Николаевны казались оригинальничаньем, надуманной экзальтацией.<...>

К сожалению, и теперь, полвека спустя, Гиппиус остается поэтом почти неузнанным, во всяком случае — недооцененным даже передовой критикой. Еще совсем недавно вышла книга автора, с которым эмиграция привыкла считаться, и в этой книге так характеризуется творчество Гиппиус: «История литературы может оказаться к З. Н. Гиппиус довольно суровой. Она почти

ничего не оставила такого, что надолго людям запомнилось бы. Ее писания можно ценить, но их трудно любить. Они бывали оригинальны, интересны, остроумны, умны, порой блестящи, порой несносны, но того, что доходит до сердца, — не в сентиментальном, а в ином, более глубоком и общем смысле, — т. е. порыва, отказа от себя, творческого самозабвения или огня, этого в ее писаниях не было. Наиболее долговечная часть гиппиусовского наследия — вероятно, стихи, но и тут, если вообще возможна поэзия, лишенная очарования и прелести, если может быть поэзия построена на вызывающем эгоизме или даже «эгоцентризме», на какой-то жесткой и терпкой сухости, Гиппиус дала этому пример. Талант ее, разумеется, вне сомнений. Но это не был талант щедрый, и отсутствие всякой непринужденности в нем, отсутствие «благодати», она заменила или искупила (!) той личной своей «единственностью», которую отметил еще Александр Блок» (Георгий Адамович. «Одиночество и свобода». Изд. Имени Чехова, Нью-Йорк, 1956, стр. 153) <...>

Едва примкнув к «Миру искусства», она восстала на равнодушие дягилевцев к религиозной проблематике: не к ним ли обращено уничижительное замечание Антона Крайнего (псевдоним Гиппиус-критика): «Петербургские декаденты — зябкие, презрительные снобы, эстеты чистой воды»? Как только З. Н. окунулась в передовой Петербург, сразу непереносимой показалась ей атмосфера гедонического искусстволюбия, царившая в «Мире искусства», и вместе с Мережковским она задумала «свой» журнал, где говорилось бы о том, о чем эстеты не говорили: о правде христианства, о теологии, об исторической миссии русской церкви. В этом журнале, «Новый путь», и стали появляться отклики З. Н. на многообразные вопросы литературного, общественного и религиозного значения. Не помню, читала ли она доклады на «Религиозно-философских собраниях», но, сидя за председательским столом, она постоянно вмешивалась в споры, чаще всего, чтобы одернуть не в меру увлекшегося Дмитрия Сергеевича или задать вопрос «ребром» кому-нибудь из монахов.

Родился тогда же в «Новом пути» и ее беспощадный alter ego — Антон Крайний. Говоря о юношеских стихах Александра Добролюбова, Брюсова, Ивана Коневского, Волошина, Антон Крайний дал исчерпывающее «объяснение» декадентству как крайней писательской обособленности: декадент пишет для себя,

между тем поэзия — всегда «одна из форм, которую принимает в человеческой душе молитва». Гиппиус сказала это и стихами:

Слова — как пена,
Невозвратимы и ничтожны.
Слова — измена,
Когда молитвы невозможны.

А в ее интимном дневнике я прочел: «Стихи я всегда пишу, как молюсь». <...> Очень хорошо сказал в свое время о ее «Собрании стихов» 1904 года Иннокентий Анненский: «В ее творчестве вся пятнадцатилетняя история нашего лирического модернизма. Я люблю эту книгу за ее певучую отвлеченность. Эта отвлеченность вовсе не схематична по существу, точнее — в ее схемах всегда сквозит или тревога, или несказанность, или мучительное качание маятника в сердце» («Аполлон», кн. 3. Стр. 8–9). Самое молодое в ее первом сборнике стихотворение «Отрада» помечено 1889 годом. Год замужества: исполнилось ей тогда двадцать лет. <...> Четырьмя годами позже написана «Песня», — с нее, собственно, и началась поэтическая карьера З. Н. Стихотворение поражало остротой выразительности и ритмическими вольностями, до того не допускавшимися. И сейчас «Песня» не утратила ни своего очарования, ни историко-литературного значения; тут Гиппиус как бы называет все, что грезилось и о чем плакалось ей в течение жизни:

Окно мое высоко над землею
Высоко над землею
Я вижу только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею

И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным,
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.

Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю...

И это желанье не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.

Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

Большой смелостью была в то время сама форма стихотворения: в иных строчках — прибавка слога в стопе, нарушающая метр («мне нужно то, чего нет на свете»). Этот перебой, вместе с повторением тех же слов и неодинаковой длиннотой строк, сообщает в «Песне» особую прелесть уводящему вдаль лирическому признанию, сродни Верлену.

Лишь значительно позже Блок и Гумилев узаконили этот прием, не слишком привившийся, однако, русскому стиху, — до сих пор писать «паузником», т. е. пропуская и прибавляя слоги в стопе, считается новаторством. Впрочем, Гиппиус не настаивала на своей находке, в большинстве случаев она была верна классическим размерам.<...>

О поэзии Гиппиус установилось мнение: головной, надуманный поэт... Неправда. Поэт умный и тяготеющий к абстракциям, поэт, взвешивающий слова на весах тончайшей сознательности, — вопрос другой. Разве может ум мешать чувствовать и черпать образы из сердечной глубины? Строфы Гиппиус о Петербурге — разве не полны изглуби звучащего чувства, несмотря на то, что холодят их риторические проклятия? <Нет! Ты утонешь в тине черной, // Проклятый город, Божий враг!...>

В этой «жестокой» любви ее и ненависти сказалась двойная природа З. Н. — рядом с мужественной силой, какое женское нетерпение и капризный напор. И самообольщенность: Пушкин не назвал бы своих стихов «неосторожными пророчествами»... Политические стихи Гиппиус (было их много, больше, чем у

кого-либо из русских поэтов, включая Хомякова и Тютчева) часто страдают от жесткой резкости: негодование переходит в грубоватое издевательство над тем, что для нее — хула на Духа... Зато, когда утихал политический гнев и оставалась лишь скорбь о потерянной России, к ней приходили слова совсем по-другому убедительные. Вспоминая свой отъезд из советского Петербурга (вернее — ряженое бегство из России с Мережковским и Д. В. Философовым), она пишет всего восемь строк, но — как вылились они из сердца!

ОТЪЕЗД

До самой смерти... Кто бы мог подумать?
(Санки у подъезда, вечер, снег).
Знаю. Знаю. Но как было думать,
Что это — до смерти? Совсем? Навек?

Молчите, молчите, не надо надежды,
(Вечер, ветер, снег, дома...).
Но кто бы мог подумать, что нет надежды...
(Санки. Вечер. Ветер. Тьма).

<...> Много лет встречался я с З. Н., переписывался в годы, когда заведовал литературой в эмигрантской газете, где она сотрудничала; бывал у Мережковских и в Петербурге, и на парижской квартире, два летних отпуска жил у них на даче в Канн, где проводил дни с З. Н. в разговорах на литературные, политические и религиозные темы... и все-таки не задумывался, как следует, над ее поэзией. Сама она редко-редко прочтет какое-нибудь свое «последнее»... И невдомек мне было, — за все время знакомства с З. Н. и моей искренней привязанности к ней, всегда ровной со мной, приветливой, «простой» и отзывчивой, — как вдохновенно-насыщенны строки, что писала она непрерывно всю жизнь с предельной правдивостью, поверяя как на духу своим заветным тетрадям изменчивые, противоречивые, никогда не выдуманные переживания. <...>

К нашим символистам она относилась прохладно. Блока любила как человека, но как писателя — только за немногие лучшие строфы, Валерия Брюсова высмеивала не без злости:

Валерий, Валерий,
Всех покоряя — ты вечно покорен,
То красен — то зелен, то розов — то черен...
Ты дерзко-смиренен и томно-преступен...
О, жрец дерзновенный московских мистерий,
Валерий, Валерий!

Бальмонта не выносила; от Вячеслава Иванова, с его неоязычеством, сторонилась; Анненского никак не воспринимала; Андреем Белым восхищалась за пророческие стихи из «Пепла», но антропософские его мудрствования (вместе с самим Штейнером) ни в грош не ставила; Сологуба-поэта глубоко ценила как раз за его «классичность»; о всех остальных «заумных» стихотворцах (Хлебников, Крученых и др.) и слышать не хотела... Впрочем, несмотря на ее тонкое знание искусства и поэзии, критические мнения ее о поэтах наиболее шатки. Вся заполненная собой, она подчас не слышала других голосов.

В ее поэзии — три главные темы. Гиппиус была уверена, что к ним вообще сводится подлинная поэзия. Сказала об этом так:

Тройною бездностью мир богат.
Тройная бездность дана поэтам.
И разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?
Тройная правда — и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте:
Ведь только об этом думает Бог.
О человеке,
Любви
И смерти.

<...> В. А. Злобин одну из своих статей о З. Н. назвал — «Неистовая душа» (см. «Возрождение», № 47, 1955). Злобин долгие годы не расставался с четой Мережковских, пережил вместе с ними эмигрантские мытарства, а после кончины Дмитрия Сергеевича (7 декабря 1941 г.), оставался один при З. Н. до самой ее смерти (9 сентября 1945 г.). Свидетельство Злобина заслуживает внимания:

«Вот она — в своей петербургской гостиной или парижском “салоне”... Кто, глядя на эту нарумяненную даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту брезгливую декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании Второго Пришествия раскольники, о которых с таким ужасом и восторгом рассказывал в своей книге “Темный лик” В. В. Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении, была З. Н. Гиппиус — неистовая душа... Мы привыкли к ледяному тону, к жесткому спокойствию ее стихов. Но среди русских поэтов XX века, по силе и глубине переживания, вряд ли найдется ей равный. Напряженная страстность некоторых ее стихотворений поражает. Откуда этот огонь, эта нечеловеческая любовь и ненависть? Нет, Второго Пришествия, какого ждали раскольники, она не ждала, но какого-то другого, равного ему по силе события, ждала. И дождалась: в России произошла революция. Дальнейшее известно: гибель России. Как бы конец мира, но без Второго Пришествия:

Если гаснет свет — я ничего не вижу.
Если человек — зверь, я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю.

Она действительно как бы умерла, сошла живой в могилу, “закопалась”, чтобы вместе с Россией воскреснуть. И, может быть, никто этого воскресенья не ждал с таким трепетом, не молился о нем так горячо, как она». <...>

Как у Владимира Соловьева с «Девой радужных ворот», так у Гиппиус три встречи с чертом. О первой встрече — стихотворение (1905 г.) «В черту». Тут она еще колеблется, готова бороться и «вытянуть в черту» очерченное вокруг нее кольцо. Но когда черт, накинув романтический плащ, уходит, она не может скрыть своей растерянности:

Что мне делать, если он вернется?
Не могу я разорвать кольца.

В экземпляре сборника, принадлежавшем З. Н., ее рукой рядом с этим стихотворением приписано другое — о второй встрече. Помечено оно 1918 годом и гласит «Час победы». На при-

шедшего опять черта в плаще она глядит презрительно и даже бьет его:

Снял перчатки он с улыбкой гадкою
И схватился за концы кольца...
Но его же черною перчаткою
Я в лицо ударил пришлеца.
....
В этот час победное кольцо мое
В огненную выгнулось черту...

Однако, если бы можно было верить этой «победе», Гиппиус не написала бы — двадцатью годами позже! — то стихотворение о своей третьей встрече — «Равнодушие» (с эпиграфом из двух предшествующих), которое куда страшнее, чем первые два... Черт предлагает ей злые «штучки» с «ближними», соблазняет издевательством над родом человеческим. А она? Равнодушна.

Разъедал его тайный страх,
Что отвечу я? Ждал и чах,
Обещаясь мне быть послушен.
От работы и в этот раз
На него я не поднял глаз,
Неответен — и равнодушен.

Интересно сопоставить этот рассказ о третьей встрече с одним из последних ее стихотворений (не вошедших ни в один сборник). Оно относится к 1940 году, названо «Прежде и теперь» и поистине могло бы быть подсказано самим диаволом:

Не отдавайся никакой надежде
И сожаленьям о былом не верь.
Не говори, что лучше было прежде...
Ведь как в яйце змеином, в этом Прежде
Таились наше страшное Теперь.
И скорлупа еще не вся отпала,
Лишь треснула немного: погляди,
Змея головку только показала,
Но и змеенышей в яйце не мало...
Без возмущенья, холодно следи:

Ползут они скользящей чередою,
Ползут, ползут за первою змеею,
Свивая туго за кольцом кольцо...
Ах, да и то, что мы зовем Землею —
Не вся ль Земля — змеиное яйцо?

<...> Не надо все же забывать: демономания Гиппиус кровно связана с русской революцией. Как я сказал уже, она не отделяла судьбы России от своей собственной и от мировых событий.

<...> У гиппиусовского черта есть и другое происхождение — эзотерическое. В стихах это менее явно, но вспомним прозу — сборник под заглавием «Лунные муравьи», рассказы «Иван Иванович и черт», «Они — похожи» и «Он — белый» (все три написаны до революции). Здесь от рассказа к рассказу растет зачарованность автора Искусителем.

Карамазовское неприятие мира З. Н., видимо, пыталась превозмочь к концу своей жизни верой в догмат троичности под влиянием «Тайны трех» Мережковского (или было тут ее влияние на Мережковского?). Она пишет, что проникновение в глубочайшую тайну тайн примиряет кажущееся нашему разуму «противоречие»... В рукописи «Выбор?» есть и приписка, помеченная 1942 годом: «Перед тайной, о которой едва могу знать лишь, что она есть,— чем-то вроде шестого чувства о ней догадываться,— я останавливаюсь. Ни глаз, ни ушей, ни языка для нее нет у меня (у кого есть?)... Вот резюме всех этих беспомощных намеков, рассуждений о самом важном (не для меня важном, а для всякого, для каждого): не хочу, чтобы оно было так, не хочу потерять Христа: а потому хочу, надеюсь, думаю, ощущаю, что оно все не так, то есть — так, но оно же — другое».

В той же статье о «Выборе» с вопросительным знаком, Гиппиус так определяет любовь: «Великий и первый источник счастья. Ничто не может сравниться со счастьем любви самой высокой: она непобедима, она уже победила страдание. Не она ли, по слову любимого ученика Христа, “изгоняет страх, который есть мучение”». <...>

В интимном дневнике (на первой странице красивым острым ее почерком начертано — «Любовь», а в углу на клеенчатой обложке выцарапано — «Amour»; подробно повествуя о своих всегда недовершенных романах, З. Н. признается,— без тени

лицемерия, с безусловной прямотой, — в грехе чувственности, но никогда не забывает прибавить, что «такая» любовь — не для нее: «И любовь, и сладострастие я принимаю и могу принять только во имя возможности изменения их в другую, новую любовь, новое, безграничное сладострастие; огонь его в моей крови». <...> В интимном дневнике есть и такое признание: «О, если б совсем потерять эту возможность сладострастной грязи, которая, знаю, таится во мне, и которую я даже не понимаю, ибо я, ведь и при сладострастии, при всей чувственности, — не хочу определенной формы любви, той, смешной, про которую знаю». Отсюда неукротимая ее девственность и влечение не только к женщинам, но и к мужчинам с двоящимся полом. Сказано ею и это без обиняков: «Мне нравится тут обман возможности: как бы намек на двуполость: он кажется и женщиной и мужчиной. Это мне ужасно близко...» И в стихах затуманенно выражено это влечение к двуполости. Поэт спрашивает месяц:

Скажи мне еще: а где золотой,
Что недавно на небе лежал? Пологий?
Юный, веселый, двурогий?
— Он? Это я, Луна
Я и он — я и она.
Я не всегда бываю та же,
Круглая, зеленая, синяя,
Иль золотая тонкая линия —
Это все он же и все я же,
Мы — свет одного Огня.
Не оттого ль ты и любишь меня?

В стихотворении «Ты» — характерна для ее андрогинизма последняя строфа, обращенная к месяцу-луне:

Ждал и жду зари моей ясной,
Неутолимо тебя полюбил я...
Встань же, мой месяц серебряно-красный,
Выйди, двурогая... Милый мой — Милая...

О соблазне двуполой прелести говорят многие ее рассказы (особенно — «Мисс Май» и «Перламутровая трость»). О самой себе она записала: «В моем духе — я больше мужчина, в моем

теле — я больше женщина». Но телесная женскость Гиппиус была недоразвитой; совсем женщиной, матерью сделаться она не могла... С другой стороны, хоть и писала она неизменно от лица мужчины, в душе и уме ее было много чисто женского.<...>

Тогда же (в начале 90-х годов) в своем дневнике она записывает: «Да, верю в любовь, как в силу великую, как в чудо земли. Верю, но знаю, что чуда нет и не будет». Интересно, что эта запись (1 марта 1893 года) совпадает по времени с ее «Песней»: «Но сердце хочет и просит чуда, чуда!»<...>

Подтверждает это любовное бессилие и многолетняя привязанность ее к Д. В. Философову. Я был свидетелем, еще во времена «Мира искусства», завязки этой странной любви между женщиной, не признававшей мужчин, и мужчиной, не признававшим женщин... Уточнять этого романа не буду, тем более, что в творчестве Гиппиус он не оставил особого следа. Одно надо сказать: она сделала все от себя зависевшее, чтобы дружба их стала настоящей любовью, в данном случае женщина победила в ней не-женщину. Она глубоко выстрадала холодность Философова, несколько раз возвращала его себе, теряла опять (об этом сохранилась переписка). Никогда не могла забыть его окончательного «ухода». (Они расстались в 1920 году. Философов умер двадцатью годами позже, в Польше.) <...>

Бог, Любовь, Смерть. Третьей главной теме Гиппиус, смерти, посвящено тоже немало стихов, и почти все связаны с чувством Бога и с любовью.<...>

Чтобы сознательно «принять» смерть, ей не хватало, прежде всего, — покорности. Устремленность к Божеству, к потусторонней истине, оставалась отвлеченной идеологией. Ничем в ее жизни не отразилась и «покорность покою».<...>

Утешения религиозной мудрости ей дано не было... После кончины Мережковского, самого близкого ей человека (действительно — ее духовной половины), ею овладело отчаянье. Перед концом, находясь у порога смерти, написала она длиннейшую поэму — как бы продолжение Дантова «Ада» — «Последний круг». Написала старательно, сначала ямбическими стансами, затем переделала в терцины (300 строк!) и тут дала волю своему безысходно-мрачному «неприятию». Последний круг — это круг «тошноты нездешней», и к нему влечет ее — смерть.

«Черт» воистину отомстил поэту за мнимую над ним победу. «Поэзия пределов» вылилась в эту предсмертную исповедь с по-

трясающей силой. Отрывок поэмы был напечатан в «Новом журнале», но критика не придала ей того значения, какое она заслуживает. В заключение я приведу эти напечатанные терцины, они завершат характеристику глубоко трагической души З. Н., мечтавшей о каком-то слепительно-ярком сошествии неба на землю и не выдержавшей земного испытания, низвергнутой в конце концов в ужас загробной тьмы:

Вскипают волны тошноты нездешней
И в черный рассыпаются туман.
И вновь во тьму, которой нет кромешней,
Скользят к себе, в подземный океан.
Припадком боли, горестно-сердечной,
Зовем мы это здесь. Но боль — не то.
Для тошноты, подземной и навечной,
Все здешние слова — ничто.

<...> А вот — совсем последние ее строки. Они сочинены накануне смерти. Она уже не могла писать и продиктовала их В. А. Злобину:

По лестнице... ступени все воздушней
Бегут наверх иль вниз — не все ль равно!
И с каждым шагом сердце равнодушней:
И все, что было — было так давно...

ВЛАДИМИР ЗЛОБИН

Владимир Ананьевич Злобин родился в 1894 году в Петербурге. С 1921 года жил в Париже. Был секретарем, экономом, другом Мережковских. Его имя и вся его литературная деятельность неразрывно связаны с Мережковскими. После смерти Зинаиды Гиппиус он написал о ней книгу «Тяжелая душа». А стихи, которые начал писать лишь в эмиграции, издал сборником «После ее смерти» (Париж: «Рифма», 1951). Это была его единственная книга стихов. Юрий Иваск говорил, что «есть озарение» в стихах Злобина о Мережковских. Таких, например, как «Свиданье» (см. ниже). Игорь Чиннов со Злобиным познакомились еще в Париже, после войны, но, по словам Чиннова, там они встречались только у общих знакомых. А в январе 1966 года Злобин был приглашен на полгода в Канзасский университет в Лоренсе (США), где преподавал Чиннов, читать лекции о Мережковских. И там они виделись чаще. Обычно Злобин приходил по пятницам к Чиннову домой. Он подарил Чиннову автограф З. Гиппиус — ее стихотворение, и автограф Мережковского — стихотворение, которое Чинновым было опубликовано в «Новом журнале» (1987. № 168–169) с пометкой: «Печатается впервые». Оба стихотворения мы здесь публикуем. Незадолго до смерти Злобин сошел с ума — вообразил, что он собака. Умер Владимир Злобин в Париже в 1967 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

30, Rue Hamelin, Paris 16ᵉ
2.4.1960

Дорогой Игорь Владимирович,
Спасибо и за первое Ваше, и за второе письмо. И простите,

что отвечаю на них с таким опозданием. У меня столько было дел, а в последнее время и неприятностей, что было не до писем.

Это письмо Вы получите в понедельник утром от Лиды Червинской, которой я его передал сегодня на вокзале. Ваше первое письмо о моих стихах не только меня обрадовало, но и подтвердило мой выбор для «Возрождения»[1]. Я приготовил две «серии». Но ни та, ни другая меня не удовлетворяла. Тогда я стал читать стихи, забракованные мной, и эти «гадкие утенки» показались мне лучше, свежее моих «напряженных» стихов. Посылаю Вам еще два того же сорта. В них между мной и читателем (публикой) — никаких преград. На минуту полное обнажение души. Я решил их прочесть в следующее воскресенье публично (на вечере Терапиано об эмигрантской поэзии). Интересно, как они будут приняты. О Ваших стихах я написал вполне искренне. Я давно и медленно о Вас думаю. Я особенно ценю Вашу сухость, скупость — целомудрие, эту «возвышенную стыдливость страданья», о которой говорил Тютчев. Но берегитесь. Такие души, как Ваша, легко воспламеняются (да!) Одной искры достаточно, чтобы все сгорело дотла.

Это — все что я имею: тело.
О душе не спрашивай — сгорела.
Как не знаю сам, в одно мгновенье.

Но, к счастью (или к несчастью), тех искр, от которых зажигается уничтожающий пожар, почти не существует.

О стихах я действительно пишу очень редко. Но все ж в «Возрождении» были напечатаны две мои статьи (большие) — о стихах В. Смоленского и стихах С. Маковского («С. К. Маковский — поэт и человек»). После этой статьи Маковский со мной поссорился, и мы вот уже больше двух лет с ним не встречаемся и не кланяемся.

Что ж до моих непринятых «скриптов»[2], то ни Вас, ни Вейдле я в этом не виню. Ни Вы, ни он в этом не виноваты. С моей стороны было неразумно думать, что то, что я пишу, то, о чем я пишу, может подойти Вашей станции. Я понял это только теперь.

Я только что писал о Смоленском. Он меня очень беспокоит. Послезавтра, когда Вы получите это письмо, ему будут делать операцию на горле — рак. Очень его жаль. Но он последнее время ужасно пил, почти совсем спился. И в то же время стал верую-

щим христианином. Но оттого ли обратился к Богу, что пил, или пил оттого, что обратился, — не знаю. Пишите. Крепко жму Вашу руку и благодарю за письма. Сердечно Ваш. Вл. Злобин[3].

[1] В. Злобин печатался в журнале «Возрождение», который выходил в Париже в 1949–1974 гг.

[2] Речь идет о текстах передач для радио «Свобода», где тогда работал И. Чиннов. В. Вейдле был там директором русской редакции.

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 10 писем от В. А. Злобина.

Владимир Злобин

СТИХИ

* * *

I

С поцелуями лезу
В исступленье смешном,
А святую Терезу
Все молю об одном:

Научи, о Тереза,
Не бояться огня,
Чтоб огонь и железо
Исцелили меня.

II

Не стою, милая Тереза,
Я снисхожденья твоего.
Увы! Каленое железо
В душе не выжгло ничего.

Но понял я и не забуду
(Не все проходит без следа),

Нам нет пути иного к чуду,
Чем путь позора и стыда.

Из стихов, присланных И. Чиннову в письмах

СВИДАНЬЕ

Памяти Д. М. и З. Г.

Они ничего не имели,
Понять ничего не могли.
На звездное небо глядели
И медленно под руку шли.

Они ничего не просили,
Но все соглашались отдать,
Чтоб вместе и в тесной могиле,
Не зная разлуки лежать.

Чтоб вместе... Но жизнь не простила,
Как смерть им простить не могла.
Завистливо их разлучила
И снегом следы замела.

Меж ними не горы, не стены, —
Пространств мировых пустота.
Но сердце не знает измены,
Душа первозданно чиста.

Смиренна, к свиданью готова,
Как белый нетленный цветок
Прекрасна. И встретились снова
Они в предуказанный срок.

Развеялись тихо туманы,
И вновь они вместе — навек.
Над ними все те же каштаны
Роняют свой розовый снег.

И. В. Чинову

Без буквы „Ч" не обойтись.
Без Чинова не скажешь „брысь!"
(По английски и по немецки)
Чиновной сволочи советской.

О, чудотворец, чародей!
Ты научаешь человеков —
За чепуху никчемных чеков —
Уничтоженью палачей.

Чурайся черного числа:
Благополучье в нем чужое.
Чиста червонная стрела,
Чугунно чаянье ночное.

Шутка 24.V.66

Владимир Злобин

Автограф стихотворения В. Злобина. Из письма к И. Чиннову от 24 мая 1966 года

И те же им звезды являют
Свою неземную красу.
И так же они отдыхают,
Но в райском Булонском лесу.

Из кн. «После ее смерти». Париж: «Рифма», 1951

УЙТИ

От всех — навеки, навсегда.
И от всего — навеки тоже.
В окне — холодная звезда,
В углу — солома и рогожа.

Не знать, не помнить ничего,
Ни торжества, ни униженья,
Ни даже счастья своего,
Ни одного стихотворенья.

Пусть только небо и земля,
Четыре вечные стихии.
Необозримые поля,
Воспоминанье о России.

Журнал «Опыты». 1953. № 2

Дмитрий Мережковский

* * *

О, темный Ангел одиночества,
Ты веешь вновь,
И слышу вновь твои пророчества:
«Не верь в любовь.
Узнал ли голос мой таинственный?
О, милый мой,
Я — Ангел детства, друг единственный,
Всегда с тобой».

Автограф стихотворения Д. Мережковского

И совершаются пророчества,
Темно вокруг.
О, темный Ангел одиночества,
Последний друг.
Полны могильною мятежностью <? — 2 последних слова нрзб.>
Твои шаги.
Кого люблю с бессмертной нежностью,
И те враги.

Автограф этого стихотворения, написанного рукой Д. Мережковского, был подарен И. Чиннову В. Злобиным. Чиннов опубликовал его в «Новом журнале» (1987, № 168–169) с пометкой: «Печатается впервые».

Зинаида Гиппиус

* * *

Кто они, кто они?
Зачем меня вынули?
Чем-то обвязали,
Куда-то потащили,
На прозрачный свет.
На редкий вздох.
Кто они, кто они?
Была моя вода.
Была моя сырость.
Зачем на сухое?
Зачем обвязали?
За что меня губят?
Мне больно, больно!

Этот автограф стихотворения Зинаиды Гиппиус был подарен И. Чиннову В. Злобиным. На первой странице полупрозрачного листа бумаги написано пером, черными чернилами рукой З. Гиппиус: «Как на этом пишется. Довольно гадко. Но это — перо гадкое. А если не перо?» На обороте листа, тоже рукой З. Гиппиус — приведенное выше стихотворение.

Кто они кто они?
Зачѣмъ меня вынули?
Чѣмъ то обвязали,
Куда-то потащили
На прозрачный свѣтъ
На рѣдкій воздухъ,
Кто они, кто они?
Была моя вода
Была моя сырость
Зачѣмъ они на сухое?
Зачѣмъ обвязали?
За что меня губить?
Мнѣ больно, больно!

Автограф стихотворения З. Гиппиус

Игорь Чиннов

МОИ ПАРИЖСКИЕ ВСТРЕЧИ

(Г. Адамович, В. Вейдле)

Статьи и стихи Георгия Викторовича Адамовича я, конечно, знал еще задолго до личного знакомства с ним в Париже. Да и кто из интересующихся литературой мог не знать Адамовича — главного литературного критика парижской газеты Милюкова «Последние новости», постоянного сотрудника «Современных записок», «Чисел»[1], ученика Гумилева, участвовавшего в «Цехе поэтов»[2], а позже постоянного участника собраний Мережковских «Зеленая лампа»[3]. В 30-е годы, когда я жил еще в Риге, я зачитывался его статьями в «Числах» — лучшем, по-моему, журнале русского Зарубежья. Я тогда был еще начинающим поэтом, сотрудничал в рижском журнале «Мансарда», и посылал свои стихи и статьи в «Числа», где они и печатались.

К тому времени, как я — после окончания войны — оказался в Париже, куда нас, заключенных немецкого лагеря в Рейнской области, перевезли американцы,— журнал «Числа» давно не выходил, прекратившись еще в 34 году. Русские толстые журналы в Париже перестали существовать в начале войны. Последний номер «Современных записок» вышел в 40 году, а летом того же года, с победой Германии над Францией, закрылись и обе русские газеты — «Последние новости» и «Возрождение»[4]. Многие русские писатели-эмигранты оказались во французской армии. В 1939 году добровольцем пошел в армию и Г. Адамович, хотя тогда ему было за 45 лет и он не подлежал призыву.

Но с окончанием войны русская литературная жизнь в Париже начала оживать. Едва приехав в Париж, я оказался на собрании Объединения русских поэтов и писателей. Вхожу и

вижу — за столом с зеленым сукном — Иван Алексеевич Бунин. Во фраке. Отложной воротничок, белый галстук. Невысокого роста. Лицо — бронзовая медаль. Красавец. Надменный.

А рядом с Буниным сидит, Боже ты мой, — какой-то карлик, урод. И это — великий умница, Алексей Михайлович Ремизов. Душечка. Конечно он не со всеми был душечкой. Со мной — да. Потом я часто бывал у него. Ему нравилось выставлять себя шутом гороховым, паясничать, фиглярничать. В своей комнате он навесил на веревке какие-то скелетики — селедки, летучей мыши. Так же, из шутовства, придумал себе издательство «Оплешник» — по сути издательства никакого не существовало — просто он платил начальнику типографии деньги за издание очередной своей книги и ставил гриф этого выдуманного издательства. Приемов, вечеров никаких у Ремизова, конечно, не было — к нему заходили изредка знакомые литераторы, хотя был у него и свой постоянный круг почитателей и почитательниц, которых в письмах ко мне он называл «утятами».

Зато у Бунина на четвергах собирался весь русский литературный Париж, хотя самого хозяина этих четвергов никак нельзя было назвать любезным — с высоты своего дворянского высокомерия он запросто мог обидеть какого-нибудь начинающего писателя только потому, что тот не относился к «знатному обществу». Я никогда не принадлежал к тем людям, которые свое знатное происхождение вменяли себе в заслугу, и тем более неприятно было видеть эту черту у Бунина.

Конечно, эмигрантский круг не был однороден. Там была своя интеллектуальная элита. К ней безусловно принадлежали Георгий Адамович и Владимир Вейдле, с которыми я познакомился в Париже, мой друг Юрий Иваск и Георгий Иванов, которых я знал в Риге. Иванов тогда мне покровительствовал как начинающему поэту. Адамович был знаком с Ивановым еще в Петербурге, там семья Ивановых и Адамович какое-то время занимали одну квартиру — об этом очень интересно написала в своих воспоминаниях Ирина Одоевцева.

С Адамовичем мы бывали на воскресеньях у Бердяева, симпатизировавшего — правда на расстоянии — советскому режиму. Там собиралась весьма своеобразная публика. Большевизаны. Помню одного изысканного молодого человека. Все знали, что он советский агент. Но окружающие как-то не придавали этому никакого значения. Я не разделял этих симпатий Бердяева. Пом-

ню, как он однажды, кивнув в мою сторону, сказал: «А у него есть коготок».

В Париже в Русской консерватории регулярно устраивались встречи с поэтами. Только моих вечеров было пять, и на них председательствовали: Георгий Адамович, потом Борис Зайцев, худой, тщедушный, говорил высоким старческим голосом. Он тогда был во главе Союза русских писателей и журналистов в Париже. Еще на одном, уже в 1982 году,— Ирина Одоевцева. Помню, как мило картавила она свое обычное «Здрасте-здрасте! Страшно рада вас видеть». Хотя на том вечере она все больше молчала. Говорить ей было трудно. Это был последний раз, когда я видел Ирину Одоевцеву. На этих вечерах собиралось много народу, и обсуждения бывали очень интересными. Кроме того, в Париже — для широкого круга читались публичные лекции по русской литературе. На моих — зал бывал обычно полон.

Так что и после войны русская литературная жизнь в Париже была достаточно интересной. Хотя, действительно, главный русский литературный журнал теперь выходил не в Париже, а в Нью-Йорке. В 42 году М. Цетлиным и М. Алдановым там был основан «Новый журнал». И парижане печатали там свои стихи и прозу.

Помню, как я впервые увидел Адамовича. Это был 46 год. Я поднимался по лестнице в его квартиру, а навстречу мне спускается человек с авоськой, в прекрасном синем костюме, черной шляпе, лицо морщинистое и неестественно черные волосы. Я представился. И мы пошли в кафе. Адамович (как, впрочем, и Вейдле), из какого-то странного снобизма избегал серьезных разговоров, а предпочитал говорить «за жизнь». Но если начинался все-таки какой-то серьезный спор, то он не пытался кого-то переубедить, просто уходил от разговора. Он был прекрасный оратор, выступал совершенно без подготовки, и говорил удивительно гладко, убедительно и умно. Я не знаю, кто еще говорил лучше.

В Париже Адамович жил с больной сестрой. Женат он никогда не был, и говорил: «Неженатый — живет, как человек, а умирает, как собака, а женатый — живет, как собака, а умирает как человек». На жизнь он зарабатывал преподаванием и своими «писаниями». В 51 году он уехал из Парижа в Манчестер преподавать в университете русскую литературу. Тогда и началась наша с ним переписка. Два года спустя и я уехал из Парижа — в Мюнхен, где открылась радиостанция «Свобода», и Владимира Васильевича Вейдле, которого я хорошо знал, при-

гласили быть директором программ. А он предложил мне работать там в русской редакции. На что я и согласился, потому что в Париже в рассуждении денег жить было трудно. Так что, когда Адамович через десять лет вернулся в Париж, меня там уже не было, впрочем из Мюнхена я к тому времени уже перебрался — в Соединенные Штаты, где мне предложили место профессора в Канзасском университете на кафедре русского языка и литературы. В 1971 году, когда Адамович приезжал в Америку выступать с лекциями, мы с ним так и не встретились. Вскоре после возвращения из Америки у него случился инфаркт и он скоропостижно скончался в возрасте 79 лет. «Мне нужно три дня, чтобы приготовиться к смерти», — говорил он. Этих трех дней у него не было.

Владимир Васильевич Вейдле, как и Адамович, принадлежал к старшему поколению парижских литераторов. Я познакомился с Владимиром Васильевичем в одном частном доме в Париже, где он выступал с лекцией. Человек он был замечательный. Настоящий энциклопедист. Широта его знаний поражала. Знал все европейские языки, прекрасно говорил по-немецки, а по-французски — безо всякого акцента. Если Адамович был критик-публицист, стремившийся формировать литературу, то Вейдле — прежде всего ученый, исследователь. И, конечно, прекрасный литературный критик. Он не принадлежал ни к какой литературной группировке и не собирал вокруг себя единомышленников. Это был человек европейской культуры, до конца жизни надеявшийся, что его идеи найдут продолжателей в России.

С 1921-го по 1924 годы в Петроградском университете Вейдле преподавал историю западного средневекового искусства. В 1924-м эмигрировал в Париж, где был профессором Свято-Сергиевской духовной академии и преподавал историю византийского и древнерусского искусства.

Вейдле печатался в престижных французских и немецких изданиях. Одной из первых книг стала вышедшая на итальянском работа по византийской иконописи — собрание его лекций в парижском Православном богословском институте.

Его книги по истории искусства и культуры переведены на английский, немецкий, испанский, итальянский. И не всегда — с русского. Так он сам перевел на немецкий свою первую из написанных по-французски искусствоведческих книг «Пчелы Аристея», вышедшую в крупнейшем французском издательстве Гал-

лимара. В том же издательстве вышла его книга «Россия отсутствующая и присутствующая».

На русском языке были написаны книги «Вечерний день» — путевые очерки, петербургские воспоминания «Зимнее солнце», «Задача России», «Безымянная страна», «О поэтах и поэзии» и, незадолго до смерти,— «Эмбриология поэзии». Она вышла в Париже в 1980 году, уже после его смерти.

Вейдле был знаком со многими известными западными учеными, писателями — французским писателем Полем Клоделем, поэтом Полем Валери, американским поэтом Т. С. Элиотом, итальянским поэтом Дж. Унгаретти и другими.

Вейдле всегда заметно выделялся на фоне несколько богемной литературной братии русских парижан. Говорил, как старый петербуржец, был элегантен, изысканно вежлив, предупредителен. Как-то пришел я к нему в очень снежный вечер, попросил тряпочку обтереть ботинки, и вдруг — грузный Вейдле опускается на корточки и обтирает носовым платком упомянутые ботинки, прежде, чем я успел отобрать у него платок. В связи с этим вспоминается мне другой истинный аристократ (и по крови, и по духу — что совсем не всегда сочетается) — граф Шереметев, Дмитрий Александрович, когда-то офицер личной свиты государя. Подавая мне пальто, в ответ на мои возражения он говорил: «Дорогой мой, я никогда лакеем не был, я могу подать Вам пальто».

При том, что Владимир Васильевич почти постоянно что-то то писал, то читал — и круг его чтения был невероятно широк,— его никак нельзя назвать «ученым сухарем». Наоборот! Это был веселый, даже немножко кокетливый человек, охотно включающийся в игру. Разговаривать с ним и слушать его было большим удовольствием.

Помню, он говорил (конечно, по-немецки) в огромной, рассчитанной более, чем на тысячу мест, аудитории Мюнхенского университета. Там же выступали признанные светила западной мысли — Вернер Гейзенберг, Мартин Бубер, Мартин Хайдеггер, Габриэль Марсель, вождь французского христианского экзистенциализма, еще несколько знаменитостей. Когда Вейдле закончил — зал несколько минут аплодировал ему стоя. Браво, Вейдле!

Флорида, 1995
Магнитофонная запись О. Кузнецовой

[1] Перечислены известные эмигрантские издания, выходившие в Париже: газета П. Милюкова «Последние новости» (1920–1940), журнал «Современные записки» (1920–1940), журнал «Числа» (1930–1934).

[2] «Цех поэтов» — литературная организация, объединявшая поэтов-акмеистов. Существовала в Петербурге с 1911 года. Ее возглавлял Н. Гумилев. Туда входили, в числе прочих, Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева.

[3] «Зеленая лампа» — известный в эмиграции интеллигентский кружок, созданный Мережковскими как литературно-философское общество в 1926 году в Париже. Председателем был Г. Иванов.

[4] Газета «Возрождение» (1925–1940).

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

Георгий Викторович Адамович — критик, поэт — родился в 1892 году в Москве. Окончил Петербургский университет. После эмиграции в 1923 году поселился в Париже. К этому времени Адамович был уже автором двух сборников стихов. Но за рубежом главным его делом стала публицистика. Начав сотрудничать в «Звене», он скоро получил известность как ведущий критик газеты. Позже его статьи и эссе в «Последних новостях» и в «Числах» подтвердили слова Георгия Иванова о том, что Адамович, бесспорно, первый критик эмиграции.

В 1950–1970-е годы в русском зарубежье не было имени более значимого, чем имя Георгия Адамовича. Блистательное перо, редкие ораторские способности, энергичность, острый ум, обаяние, изысканные манеры, неожиданность суждений и поступков, утонченный изысканный вкус, наконец, как патент на благородство,— поэтическое петербургское прошлое — гумилевский «Цех поэтов». Вот уж действительно «баловень судьбы». Не удивительно, что он был принят и желанен на «вечерах» и у Бердяева, и у Мережковских, и у Бунина.

Так же как не удивительно, что когда Адамович в тридцатые годы указал один из новых путей развития эмигрантской поэзии, который основывался на парадоксальном тезисе о «невозможности поэзии», — у него тут же нашлись единомышленники. И возникло направление, получившее название «парижская нота».

Действительно, ощущением невозможности не только поэзии, но и жизни после безвозвратной гибели старой России, был пронизан сам воздух — в тридцатые годы уже никто в эмиграции не надеялся, как прежде, что «все это» ненадолго. В первом номере парижского журнала «Числа» читаем, что у людей, оставшихся без родины, «у бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни такой, как она дается извне,— обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти».

Адамович лишь сформулировал, как поэтическими средствами выразить эти чувства опустошенности, растерянности, неподдельной глубокой скорби. В подобной ситуации громкие пафосные слова так же неуместны и фальшивы, как жалобы и слезы — нельзя же жаловаться несколько десятилетий. Потому Адамович предлагает писать сдержанно, обходясь только самыми простыми словами, и только о главных вещах — тех, о которых думают и говорят на пороге смерти.

Обедненность словаря, отсутствие всяких красивостей, суженность тематики, сжатой до основных, краеугольных вопросов бытия, стали основными параметрами поэзии «парижской ноты».

Среди последователей Адамовича можно назвать несколько эмигрантских писателей. Наиболее яркими представителями «парижской ноты» считаются Анатолий Штейгер, Лидия Червинская и ранний Чиннов. В двух первых сборниках Чиннова «Монолог» и «Линии» «парижская нота» очень явственно слышна. Но постепенно он начал от нее отходить, как, впрочем, и сам основоположник. «Адамович-поэт иногда противоречит своему кредо критика, — замечал И. Чиннов. — В стихах Адамовича есть драматические ноты, сильные эффекты, "диезы", иногда некоторая декламация — именно то, что Адамович-критик осуждает».

И все-таки, Чиннов не знал, как воспримет Адамович его измену «парижской ноте». И перед выходом своей третьей книги «Метафоры» (первоначально предполагалось ее назвать «Мелодия») он пишет Адамовичу, своему кумиру и старшему другу (к тому времени они были уже давно и хорошо знакомы) письмо (сохранилась копия, не полностью и без даты):

«...Книжка будет еще более, чем "Линии" (и гораздо больше, чем "Монолог") — о "сияющих пустяках" "накануне беды и тоски", накануне смерти, накануне "ничего". О "сияющих пустяках" (цитата из "Линий"). И не знаю, простите ли мне, что по бессилию сделать поэзию из простейших, обыденнейших вещей, из "стола и стула" (см. "Невозможность поэзии"[1]) — я занялся украшательством, вместо того, чтобы сказать с Вами, что лучше "не надо никакой" (поэзии). <...>

---

[1] «Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из "да" и "нет", из "белого" и "черного", из "стола" и "стула", без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии!» — писал Г. Адамович (глава «Невозможность поэзии» в кн. «Комментарии». Вашингтон, 1967).

"Сияющие пустяки" в моих стихах гораздо ближе к "парижской ноте", чем на первый взгляд кажется. Например, пусть мелочей, деталей у меня стало больше: все-таки, разговор всегда "о самом главном", мелочи относятся к главному, словарь по-прежнему строгий. И не это одно от "парижской ноты". В "Монологе" мир часто объявлялся иллюзией. В "Линиях" этого нет вовсе, но с "Монологом" есть связь. В третьей книжке будет связь и с "Монологом", и с "Линиями" — и с парижской нотой, точнее с мыслями Адамовича. <...>

Кстати: смешное дело. Мы в таком страхе перед "joliesses"[2], что даже не решаемся сказать "c'est beau"[3]. Принято говорить "c'est très fort"[4], точно об ударе боксера в морду.

И вот, представьте: я-то, простачок, издаю, как ни в чем не бывало, книжку стихов "Мелодия"! Это в 1966 году! Когда в современной музыке-то и следа мелодии не отыскать, один ритм (а то и ритма нет, ха! Додекафония, знай наших!). И (вот уж Аким-простота!) издаю книжку с красотами, всю в словесных украшеньях и благозвучиях! Прямо с луны свалился, и смех, и грех! Это в наше время, когда!.. Что скажет К. Померанцев?»

На самом деле Чиннова, конечно, интересовало мнение Адамовича, а совсем не Померанцева, над которым в кругу Чиннова и Адамовича слегка посмеивались за его способность с апломбом говорить глупости. Как видно из публикуемых писем (ответа на приведенное выше письмо Чиннова не сохранилось), Адамович модернистских поисков Чиннова скорее не одобрил, но с ними смирился. И написал на эту книгу, и на следующую (как и на две предыдущих) положительные рецензии, где говорил, что Чиннов «на редкость искусный поэт. С первого же появления в печати стихи его пленяли едва уловимыми, тончайшими, будто перламутровыми переливами оттенков, причудливо-печальной мелодией, в них приглушенно звучавшей... Однако в недавние годы с ним что-то произошло... И стиль свой он резко изменил... Вторжение демонстративной грубости в поэзию Чиннова, — например, таких строк, как "Василиса, нет, Васька Прекрасная", вторжение еще более демонстративных нелепостей, вроде "Лошади впадают в Каспийское море", отнюдь не случайно... Игорь Чиннов остался даже и при Васьках с лошадьми, впадающими в Каспийское море, поэтом не менее изощренным, чем был когда-то. Не

---

[2] Красивостями *(фр.)*.

[3] Это хорошо *(фр.)*.

[4] Это сильно *(фр.)*.

менее одухотворенным поэтом... Очарование новых чинновских стихов по-прежнему пронзительно...»[5]

И это не пустые слова. Адамович действительно ценил стихи Чиннова, считая его мэтром в поэзии, и свидетельством его уважения к поэтическому таланту Чиннова служат его письма. Некоторые из них мы публикуем[6].

Чиннов со своей стороны, хоть и проявил независимость в выборе поэтического пути, преклонение перед Адамовичем-критиком сохранил на всю жизнь. Перечитывая уже на старости лет «Комментарии» Адамовича, он то и дело восклицал: «Как написано! Георгий Викторович! Царство небесное! Вот, послушайте...». И вслух зачитывал те или иные пассажи. Особенно ему нравилось это: «Какие должны быть стихи? Чтобы как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы "ах!", чтобы "зачем ты меня оставил?", и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, "последний ключ", от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам»[7].

Характерно, что Адамович, так много делавший для эмигрантской литературы, в том числе и как наставник молодых поэтов, смотрел на судьбу зарубежной русской литературы пессимистически. В полемике, которая велась в 30-е годы между Адамовичем, тогда ведущим критиком «Последних новостей», и главным критиком «Возрождения» В. Ф. Ходасевичем, обсуждался вопрос о том, может ли литература, оторванная от родины, языковой среды, читателя — выжить. Адамович подвергал сомнению саму возможность существования эмигрантской литературы.

Хотя, конечно, как пишет Глеб Струве, «Адамовича с Ходасевичем разделяло не только неверие в самую возможность бытия эмиг-

---

[5] Из статьи Георгия Адамовича о книге Игоря Чиннова «Партитура» (Новый журнал. 1971. № 102).

[6] Раньше две подборки писем Г. Адамовича были опубликованы самим И. Чинновым в «Новом журнале» № 175 за 1989 год и № 198—199 за 1995 год.

[7] Адамович Г. Комментарии. Вашингтон, 1967.

рантской литературы, но и отношение к поэзии вообще, к господствующему тону парижской поэзии в частности. Упрощенно и грубо это рассуждение можно формулировать как, с одной стороны, требование от поэзии "человечности" (Адамович), а с другой — настаивание на мастерстве и поэтической дисциплине (Ходасевич)»[8]. *Адамович всегда сожалел, что «диалога с Советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось»*[9].

За рубежом у Адамовича вышли: книги стихов «На Западе» (Париж, 1939), «Единство» (Нью-Йорк, 1967), книги статей «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955) и «Комментарии» (Вашингтон, 1967), а также по-французски «L'autre patrie» («Другое отечество»).

С 1951 года в течение десяти лет Адамович жил в Манчестере, где преподавал в университете русскую литературу. Тогда и началась их переписка с Чинновым. Затем он опять вернулся в Париж. Умер Г. В. Адамович в 1972 году в Ницце.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Манчестер
9 марта 1952

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за письмо и за стихи. Стихи истинный Tchinnov, и потому мне по душе, — а рифмы там на один раз годятся, и даже приятно удивляют, но едва ли Вы рассчитываете на повторение такого новшества, правда? Это вроде галстуха, который можно надеть только раз в год, — бывают такие.

Завтра пошлю статью о стихах вообще и о Вас в частности в «Н. Р. С.»[1]. Сегодня написал половину, завтра утром допишу. Но это очень общий и короткий «взгляд и нечто», как только и можно в газете. Я от Вас как-то дернулся в сторону Маяковского, и хочу Вами его посрамить, хотя и признаю все его таланты. Пока на этом остановился, но перейду опять к Вам.

---

[8] Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж, 1984.

[9] Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955.

До свидания, надеюсь довольно скорого. Как терапиано-румановский журнал[2]? Ваш Г. Адамович.

P.S. Некоторые студенты здесь заинтересованы русским лагерем, где Вы были[3], и где, кажется, были англичане для практики в языке. Где, куда надо обращаться? Будете ли Вы там снова?

[1] Статья Георгия Адамовича «Новый поэт» была напечатана в газете «Новое русское слово» 23 марта 1952 года. Там, в частности, читаем: «Повод к беседе — стихи Игоря Чиннова, последнее явление в нашей поэзии действительно достойное внимания...» В его стихах, продолжает Адамович, «нет ничего размашистого и вызывающего, ничего броского, ничего мнимо-оригинального. Словом, ничего развязного. Все в поэзии можно стерпеть, со всем она в конце концов может ужиться и даже примириться, со всем решительно,— кроме развязности, и дело тут вовсе не в какой-либо пристойности или хорошем тоне, оно в чем-то другом, гораздо более глубоком и органическом. "Служенье муз не терпит суеты". Испортив знаменитый пушкинский стих, можно было бы сказать: "не терпит развязности...", и для примера сослаться на Маяковского. Маяковский был очень даровитым человеком, даже исключительно даровитым, с трагическими, некрасовскими интонациями в голосе,— нельзя же доводить ослепление до отрицания этого. Ослепление или глухоту: только с "пробкой вместо уха" — заимствую это выражение у Ремизова,— и способен человек отказать Маяковскому в большом поэтическом даровании. Но Маяковский отвратителен своей развязностью, своими панибратскими похлопываниями по плечу, своими подмигиваниями, своим ухарством, жалким своим комедиантством, всем тем, что советские критики с обезоруживающим простодушием приняли за новый, истинно-народный и пролетарский стиль. ... "А ручища-то у меня"., "ну, и дрянь же глядит с этих самых небес",— брр, тошнотворно! "Аркадий, не говори красиво!" — хочется повторить бессмертные слова, не говори красиво на иной лад,— ибо "ручища", "самые", это те же розы и грезы, только наизнанку. Говори просто, говори прямо...» И дальше: «Поэзия потому и поэзия, что ее нельзя ни только понять — как научную статью,— ни только почувствовать — как музыку: разум и чувство лишь в согласии воспринимают ее». Позже Г. Адамович написал несколько статей о стихах И. Чиннова.

[2] 4 марта 1952 года Адамович о том же писал поэтессе Анне Присмановой: «Доходят до меня слухи о журнале, на который Терапиано с Румановым в поте лица собирают деньги. Но, кажется, не собрали и едва ли соберут, что в порядке вещей» (Новый журнал. 1994. № 194). Так и вышло.

[3] Речь идет о летнем лагере Русского студенческого христианского движения во Франции под Греноблем в местечке Теофре, куда Чиннов приезжал летом три года подряд, читать лекции по русской литературе.

Манчестер
15 февраля 1953

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за письмо и за стихи. О стихах — потом, а сначала кое-что в ответ. Меня очень удивило, что Вы пишете о «проблематике» и Достоевском. Я как раз за неделю до того писал для «Опытов»[1] разные размышления, и как раз на эту тему. Он действительно напитал очень многих, но я — признаюсь — все меньше и меньше гутирую эту пищу, да и его самого. Я ему не верю[2], и мне кажется, что он un auteur curieux[3], в самом высоком смысле, но все-таки только curieux. А о Комаровском, которого плохо помню, вспомнилось, что Гумилев перед самой смертью решил, что это великий поэт, в пику Анненскому, в котором разочаровался. Но, вероятно, это была его очередная блажь. А о советских поэтах что же говорить! Они не могут быть поэтами, по крайней мере в печати. По-моему, самый талантливый человек там Сельвинский (если не считать Пастернака), у него есть замечательные строки, и, вероятно, было бы больше, чем строки, если бы это было возможно. Твардовский все-таки на границе каких-то песенок и фельетонов, а Прокофьев мне всегда казался дубиной, но я не ручаюсь за это мнение, и, вероятно, Вы у него нашли что-то, чего я не заметил. Алигер бывает, в женской тональности, очень хороша, но тоже была, а не есть. Еще, конечно, есть многие. Но ни о них, ни их нельзя судить.

Ваши стихи очень хорошие[4]. Особенно «Смутный сумрак», почти сонет, что дает ему особую прелесть. В форме сонета есть что-то гениально-верно найденное, и напрасно русские поэты им пренебрегли. А соединение чинновски-дребежащих и обманчи-

во-расстроенных струн с этой формой, хоть Вами и не соблюдаемой, особенно меня задело. Вообще, что мне у Вас нравится, это обманная простота, и вид мирно спящей кошки, которая вдруг прыгнет тигром. Простите, если все это туманно, но и самая мысль моя туманна. И это даже не мысль, а впечатление. Очень хорошо — и неожиданно — хлеб и вино, т. е. евангельская скудность и величие, которую Вы, будто стыдясь, прикрыли под конец «розовеющими дровами», образом капризным и неврастеничным. Ну, я лучше кончу, потому что сегодня у меня очевидно в голове туман. В общем, искренно и «не без зависти» — все хорошо, все очень по-своему, и спасибо, что прислали. Ваш Г. Адамович.

[1] «Опыты» — литературный журнал, выходивший в Нью-Йорке в 1953–1958 годах, его издавала М. С. Цетлина, редактировал (с № 4) Ю. П. Иваск. В № 1 там опубликованы «Комментарии» Г. Адамовича, где он пишет о Ф. Достоевском.

[2] В другом письме, от 27 апреля 1957 года, Г. Адамович писал: «Мне кажется (насколько я в себе самом понимаю), что я родился с душой достоевско-лермонтовской, но разумом перетянулся к линии пушкино-толстовской. Мне смешны упреки, что я "недооцениваю" Достоевского, потому что я от него был без ума, до мозга костей, до неспособности другое читать. Но на то человек и живет, чтобы, как говорится, "над собой работать". Вот я и доработался до Толстого, с которым никакие сюрпризы невозможны».

[3] курьезный (*фр.*).

[4] Стихи, о которых говорит Г. Адамович, «Смутный сумрак спальни жаркой...», «Станет вновь светло, станет вновь темно...» позже вошли во второй сборник И. Чиннова «Линии».

Манчестер
29 мая 1955

Дорогой Игорь Владимирович,

Хотел ответить Вам сразу — на Ваши мысли о поэзии, о «парижском» ее ключе, о писании в «полный голос» — но вовремя не собрался, а теперь поздно, да и пыл мой остыл.

В общем, я никак с Вами не согласен, и поверьте, говоря это, я не собираюсь опять защищать свое стихотворение[1] в «Опы-

тах» (кстати, только что прочел Аронсона: он с Вами сошелся, а если две крайности сходятся, то едва ли оба неправы!). Но главное в стихах, по-моему, — не приглушенность тона, а непринужденность его, отсутствие позы и выдумки. Кроме того, — дать выход лучшему, или самому живому, что в тебе есть. «Полный голос» этому не противоречит, скорей наоборот — но, конечно, сопряжен с опасностями и иллюзиями на свой счет. Но и в Вашем идеале есть опасность манерности, менее заметная, но не менее скверная, и кстати в нашей «ноте» многих погубившая. Из парижан один Ладинский в сущности имел смелость держаться как ему свойственно, — т. е. немножко дубиной, — а остальные почти все подделывались под всякие неземные утонченности (еще исключение: Гингер). И «последняя лесть...» — по Евангелию. В поэзии главная забота, сущность сущности ее — не литературная, а жизненная, и *только* при некотором пренебрежении к литературе, она — эта литература — и не превращается в пошлость и чушь. Простите за прописи.

А вот по поводу непринужденности. Сейчас всячески раздувают Есенина, поэта маленького и вялого. Но у Есенина действительно есть одно удивительное свойство, за которое многое ему простится: он ничего не выдумывает (в лучших своих, поздних вещах, не в такой ерунде, как «Пугачев» и проч.), он абсолютно естественен, а-литературен (не «анти», а «а»). Со времен Пушкина он в этом смысле единственный. Даже у Блока, который во всех смыслах больше Есенина, по сравнению с ним много типографской краски и готовых слов, а о других нечего и говорить. Пушкин тоже был свободен (особенно в «Онегине»), и за это ему тоже много простится. Я не очень люблю «Пир во время чумы», которого — т. е. «деву — розу» — Ходасевич считал вершиной русской поэзии. Конечно, это вершина. Но при этом методе подъема к вершине легче взлетать под небеса, чем при том, какой бывал у Пушкина в другие минуты. Он тогда поднимался м. б. и ниже, но без риска упасть и разбиться.

Ну, довольно. Нет, чем больше думаю, тем меньше с вами соглашаюсь, и никакого спасения в хождении по поэзии в мягких туфлях, т. е. без шума, не вижу. Нужен риск, хотя не в том смысле, о котором я только что упомянул. Нельзя прятаться в приемы и стилистические увертки, а если в тебе ничего нет, то и в стихах твоих ничего не будет. Все остальное — жульничество. Кстати, о раздуваемых сейчас поэтах. Ну, Гумилев — еще

туда-сюда, он все-таки поэт, хотя бы в проекции. Но Волошин! Так ведь можно договориться до того, что и ... нет, хотел назвать имя, но Вы сплетник, и поэтому умолкаю, наученный горьким опытом! Или Клюев, который не Волошин, конечно, но из которого сделали Гомера, а он весь фальшив так, что от одной строчки его ухо раздирает (есть у него и очень хорошие стихи — помните ли Вы в Аполлоне: «Как во нашей ли деревне...». Стиль стиха невозможен, но напев удивительный.)

Спасибо за присланные стихи. Первое — «...не в России, так в Германии» — un petit chef d'oeuvre[2] законченности и точности: лучшие слова в лучшем порядке. Другие сравнительно с ним зыбки, а про Христа — меня удивило. Вы в нем нажали педаль как будто для того, чтобы заглушить собственное свое смущение. «Вы пугаете», а никому «не страшно»: не совсем то, но почти. Вообще, о Христе, по-моему, лучше не писать, — во всей нашей поэзии один только раз упоминание это было не всуе: «Удрученный ношей крестной...»[3] (Это было бы для меня чудо из чудес поэзии, если бы выбросить никчемную вторую строфу.) Иначе выходит Мережковский. А вообще о Ваших стихах, вполне откровенно и с самой искренней любовью к ним: чего им недостает? Когда-то я получил письмо от Блока, единственный раз, длинное, и по глупости оставил его в Петербурге. Помню одну из последних фраз: «раскачнитесь выше на качелях жизни...» Вот, это бы мне и хотелось Вам сказать, хотя бы я выразился и иначе. Попробуйте полный голос, забудьте все, что Вас останавливает. Стихи должны «брать за жабры», иначе это безделушки для дамской гостиной. У вас **все** есть, кроме этого — и этого Вы должны бы достичь, чтобы стать тем, что Вам назначено. У Штейгера это есть, а всего другого меньше, чем у Вас и худшего качества. Я всегда мысленно переделываю Пушкина: «учитесь жертвовать собой», а не «властвовать». Простите за непрошеные наставления: по старости лет! Ваш Г. Адамович.

[1] Вот о каком стихотворении идет речь, — оно вошло в сборник Г. Адамовича «Единство» (Нью-Йорк, 1967):

Я не тебя любил, но солнце, свет,
Но треск цикад, но голубое море.
Я то любил, чего и следу нет
В тебе. Я на немыслимом просторе

Любил. Я солнечную благодать
Любил. Что знаешь ты об этом?
Что можешь рассказать
Ветрам, просторам, молниям,
кометам?

Да, у меня кружилась голова
От неба, от любви, от этой рощи
Оливковой...Ну да, слова.
Ну да, литература... Надо проще.

Был сад во тьме, был ветерок
с высот,
Две-три звезды, — что ж
непростого в этом?
Был голос вдалеке: «Нет,
только тот,
Кто знал...» — мне одному
ответом.

«Нет, только тот...» Пойми,
я не могу
Ясней сказать, последним снам
не вторя,
Я отплываю, я на берегу
Иного, не земного моря.

Я не тебя любил. Но если там,
Где все кончается, все возникает,
Ты к новым мукам, новым небесам
Покорно, медленно... нет, не
бывает...

Но если все-таки... не будет, ложь...
От одного к другому воплощенью
Ты предо мной когда-нибудь пройдешь
Неузнаваемой, ужасной тенью,

Из глубины веков я вскрикну:
да!
Чрез миллионы лет, но
как сегодня,
Как солнце вечности, о,
навсегда,
Всей жизнью и всей смертью —
помню!

И даже ночь с Чайковским
заодно
В своем безмолвии предвечном
пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

[2] Маленький шедевр — так назвал Г. Адамович стихотворение И. Чиннова «То, что было утешением...». Это и еще одно стихотворение — «Голод в Индии, голод в Китае...» — появились в 1954 году в альманахе «Литературный современник» (Мюнхен). Во втором стихотворении есть строки: «Что же делать, раз так безразличны // Богу наши страданья...». Оно, видимо, и «удивило» Адамовича. Отзыв на эти стихи есть и в письме А. Присмановой от 23 декабря 1954.

[3] Последняя строфа из стихотворения Ф. Тютчева «Эти бедные селенья...»:

<...>Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Ницца
26 августа 1957

Дорогой Игорь Владимирович,

Если бы нужны были доказательства, что я обрадовался Вашему письму, первое — в том, что отвечаю немедленно. Правда, очень был рад, тем более, что пишете Вы редко.

Но почти все в письме (как Вы сами отметили) — рецензия на «Новый Журнал». А я его еще не видел, так что и отвечать мне нечего. Большухина же о Вас[1] читал с удивлением и удовольствием. Удивление: кто это? откуда? Местами очень тонко, «субтильно», и рядом с аронсонами просто наслаждение читать. На месте Иваска[2] я бы его немедленно законтрактовал в «Опыты», ибо это свой человек, пусть не все у него и верно. Иваск все носится с Марковым[3], а Марков все кого-то эпатирует, как гимназист, и никак не придет во взрослое состояние, хотя ему, кажется, уже за тридцать лет.

Кстати, Иваску я третьего дня написал едва ли не самое злое письмо в моей жизни — по поводу возвещенного им превознесения Ремизова в следующей книжке «Опытов». Не могу с этим примириться, хотя лично против Ремизова ничего не имею. Это — сдача всех позиций, измена, предательство того облика поэзии, который — мне казалось — в «Опытах» мало-помалу проступал. Это восхваление поэзии-лжи, поэзии-штучек и хитростей, поэзии-лукавства, всего, что мне отвратительно, сколько бы ни было за ним таланта. И кроме того, это поддержка всех обманутых Ремизовым модернистических дураков. Я Иваску почти написал отказ от дальнейшего участия в журнале и все думаю: надо ли это сделать публично, с объяснением причин? Если боюсь этого, то исключительно потому, что боюсь саморекламы и какой-то неуместной принципиальности, которую трудно было бы объяснить. (<На полях письма сбоку написано:> Пожалуйста: все, что я пишу о Ремизове,— <u>между нами</u>. Я не хочу, чтобы он думал, что в его 80-летие я буду ему вредить. Пусть чествуют!)

Был на днях у Иванова (она[4] была в больнице, но из-за чего-то мало серьезного). Он — совсем развалина, и тоже поклонник Ремизова, а заодно и Бальмонта. Но это ничего не значит. В Мюнхен я не поехал — ибо зачем было ехать и сидеть в жару слушать лекцию проф. Адамовича? (Кто это?) В Италию мечтаю, но не поеду тоже.

До свидания, Игорь Владимирович! Еще раз спасибо за письмо, но почерк у Вас невозможный — я не все разобрал. Лида[5] умолкла, с глазами, кажется, у нее плохо и вообще со всем плохо. Но нет человека, который сам себе больше бы вредил. Отчего в письме Вашем нет стихов? Большухину, наверно, послали бы! Ваш Г. Адамович.

[1] Ю. Большухин — публицист, критик, в газете «Новое русское слово» за 14 июля 1957 года была напечатана его статья, посвященная творчеству И. Чиннова «Об уединенной поэзии».

[2] Ю. П. Иваск редактировал (с четвертого номера) журнал «Опыты». Близкий друг И. Чиннова.

[3] В. Ф. Марков — литературовед, поэт.

[4] Поэт Ирина Одоевцева, жена Георгия Иванова.

[5] Лидия Червинская — поэт.

Манчестер
13 февраля 1960

Дорогой Игорь Владимирович,

Искренне был рад Вашему письму, тем более, что оно длинное. Спасибо. Почерк Ваш становится трудным, так что читал я письмо долго.

Начнем с Трубецкого[1]. Ну, что же с него спрашивать! По отношению к Вам он полон лучших чувств, хорошо хоть это. Мне он изредка пишет, и я — хоть никогда его не видел, — чувствую в каждой его фразе какое-то притворство, почти «жульничество». Но, м. б. и ошибаюсь. Он писал мне, например, что «живет только для поэзии, ни для чего другого». А я этому верю с трудом, сам не знаю почему. Но что он полудурак — в этом сомнения нет. Кстати, он писал об ивасковской брошюре о Вас[2], а Иваск мне ее прислать не удосужился. Очень жаль.

Название для Вашей книжки. По существу подошло бы — «Оттенки», но это дурно звучит, как-то по-дамски. Из других слов, Вами предложенных, я без колебания выбрал бы «Противоречия»[3]. («Продолжения» или «Дополнения» — неплохо, но вызовет зубоскальство и насмешки, непременно.)

Ремизов и «быть может», — нет, «может быть». Вы пишете о «*таком* писателе», т. е. с почтением. По-моему, он был скверный и лживый писатель, хотя и с проблесками, когда его что-то брало за горло. Никакого слуха ни к чему у него не было. Он мне когда-то и о «Слове о полку Игореве» говорил Бог знает что, а надо быть совсем бревном, чтобы не слышать за всей непонятной славянщиной «Слова», какая это прелесть. Когда Ремизова чествовали «Опыты», я чуть не поругался с Иваском — именно из-за лживости Ремизова и лживого ореола, который его окружает.

Кленовский, которого я назвал «взыскательным мастером». Ну, что же — остаюсь при своем мнении, что он мастер, хоть и по старинке. Он — вроде Маковского, но лучше. А срывы у него есть, как у всех. Почему «Адамович не должен употреблять выражение взыскательный» — не понимаю. Слово, как слово. У меня впрочем всегда чувство (особенно в стихах), что по линии тонкости мне за Вами не угнаться, и иногда я Вас из-за этого не понимаю. Вот лишнее доказательство этого.

«Лолита». Я еле ее дочитал, так мне было скучно. Блестяще и совсем ни к чему. И такой вздор, с эпатажем учености, написала о Набокове Берберова в «Н. Журнале»[4]! Но если говорить о таланте «изображения и повествования», то у Набокова его больше, и даже бесконечно больше, чем в «Живаго», который уже начинает водворяться на свое законное, средне-декадентское, — хоть и не без трогательности, — место. Мне лично «Живаго» интереснее, но как писатель Набоков головой выше.

Пьерафитта не читал, но хочу прочесть, впрочем по соображениям вне-литературным. А «Мосты»[5] хоть и получил, но еще не раскрыл, так что ответить ничего не могу. Я в переписке с Ген. Андреевым (Хомяковым), писания которого мне нравятся.

Ну, вот — все литература. А «за жизнь» — ничего. Когда-нибудь в другой раз. Как Ваше здоровье, как Вам в Мюнхене «живется и работается»? Вы, кажется, теперь в том отделе, где Бахрах, и как у Вас с ним отношения? До свидания, дорогой

Игорь Владимирович. Спасибо за память. От души желаю Вам всего, что нужно. Ваш Г. Адамович.

[1] Ю. П. Трубецкой — поэт, критик, прозаик.

[2] «Разбор двух стихотворений Игоря Чиннова». На правах рукописи. Канзасский университет, США, 1959.

[3] В конце концов книга получила название «Линии» и была напечатана в 1960 году в парижском издательстве «Рифма». Это второй сборник И. Чиннова.

[4] Статья Н. Берберовой «Набоков и его "Лолита"» в «Новом журнале». 1959. № 57.

[5] «Мосты» — альманах, выходивший в Мюнхене в 1958–1970 годах. Редактировал его Г. А. Хомяков, печатавшийся под псевдонимом Г. Андреев.

Париж
26 апреля 1965

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за письмо. Я всегда рад получить от Вас «весточку». Читал Ваши стихи в «Новом Журнале», «Воздушных путях» и «Мостах» — и, читая, думал, что Вы сейчас единственный в нашей поэзии мастер, «мэтр». Жалко то, что вокруг Вас — американцы, а не русская молодежь. (Но какое дикое название в «Воздушных путях» — «Вопросы литературы»: отдел, где Ваши стихи. Какие вопросы?) Иваск, которого я очень люблю, но во многом с ним расхожусь, сегодня прислал мне письмо с восторгами о Бродском. Книгу Бродского я только перелистал еще, т. е. твердого мнения у меня нет: кажется, это в самом деле настоящий талант. Но поучиться у Вас ему бы неплохо. Пожалуй, Кленовский тоже «мэтр». Но какой-то мертвенный, вроде усовершенствованного Маковского и, значит, не в счет. А больше никого нет, «Иных уж нет, а те далече».

Спасибо, что справляетесь о моем здоровье. Ничего. It could be worse[1].

Крайне несогласен с Вами насчет Поплавского в «Опытах»[2]: во-первых, хороший писатель никогда не пишет плохо, а во-вторых, — это замечательная вещь, сдержанно-глубокая, без обычной поплавской размашистости и подвывания. Перечитайте! Не могу поверить, что Вы ничего в этом отрывке не найдете.

Зато не только согласен, но вдесятеро бы усилил то, что Вы пишете о Цветаевой и ее посланиях Штейгеру[3]. Такого глупого и жалкого бабьего вздора я давно не читал, хотя Иваск и уверяет, что это все от того, что я де «не понимаю». Нечего понимать, сплошной позор и «нарциссическая» чепуха! А этот болван Елита-Вильчковский[4] пишет в предисловии, что это — лучшее, что Цветаева «создала». Будь я редактором, ни за что бы всего этого не напечатал. Я сейчас en plein[5] в Малларме (мне нужно это для балета) и, может быть, потому я и возмутился особенно Цветаевой: переход по человеческой тональности слишком уж резок. Впрочем, по этому нельзя судить. Помню такой случай: я читал Расина, а потом сразу, по долгу службы, взялся за «Горе от ума», которое вообще, скорее, люблю. Нельзя читать: дрянь, суетливо, легко, если перейти от «Федры», например. Как и с Малларме. Кстати, читали Вы его? Чем больше я в него вчитываюсь, тем больше его люблю и восхищаюсь в противоположность Валери, который в сравнении с ним — светский болтун и без того внутри, без чего нельзя быть поэтом.

Ну, выходит не письмо, а статейка. X «прочел с удовольствием», как написал Николай II. Также «В лесу» и Кленовского. Мир рушится, близко светопреставление, но русская поэзия не унывает.

До свидания. Пишите, если хотите доставить радость «одинокому старику» (это не Николай II, а Тургенев). Ваш Г. Адамович.

[1] Могло быть хуже *(англ.)*.

[2] В журнале «Опыты» (1955. № 5, 6) печатались главы из романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов».

[3] Там же (1956. № 7; 1957. № 8) были напечатаны письма М. Цветаевой к А. Штейгеру.

[4] К. С. Елита-Вильчковский — парижский критик.

[5] Полностью *(фр.)*.

Париж
16 декабря 1965

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо, что вспомнили и написали. Отвечаю для порядка по пунктам.

Здоровье? Ни то ни се. Если не устаю, сносно. Но устаю от всего, даже от телефонного разговора.

Сборник стихов должен был выйти к концу года. Но Раннит (Yale)[1], который за это дело взялся и хочет написать предисловие (или, кажется, послесловие), медлит, тянет и до сих пор ничего не написал. Я его не тороплю, т. к. торопить нет причин. Вероятно, к лету книжка все-таки выйдет[2]. «На Западе»[3] войдет в нее частично. Там очень много дряни, и я постарался выбрать, что не совсем дрянь, «не на все сто», как выражаются в СССР.

Очень рад, что Вы выпускаете новую книгу. «Мне время тлеть — тебе цвести», и не только в жизненном смысле, а и в поэзии самой. Ваши стихи в «Новом Журнале» (№ 80) прелестны чем-то неуловимо-неуловимым, что мне и не снилось. Особенно первое[4]. Я понимаю, что Вы, как тоже говорят в СССР, «ломаете форму», Вам это к лицу, и вообще нужно в пределах и с оглядкой (т. е. не сломать бы того, что после ломки не выпрямится). Но я настроен консервативно и ничего «искать» не хочу. По крайней мере внешне. Была чья-то идиотская статья в газете о «необходимости новаторства». Читали Вы или нет? У Вас по крайней мере новаторство хорошо тем, что концы его спрятаны в воду. Иначе это нестерпимо.

О Гингере еще не написал. У меня было очень много дел (в частности — Мюнхен, для денег[5]), я все запустил. Хомяков[6] угрожает, что поздно. Но на днях напишу, только едва ли так, как надо бы. Очень жаль.

Советские поэты. Я их видел в частном доме. Долго разговаривал с Твардовским, умным, но каким-то плоским. Очаровал меня Кирсанов, да и стихи его, из всех приезжавших, самые лучшие.

Ну вот, дорогой Игорь Владимирович, это все пустяки, а как «за жизнь»? Мне написал Иваск, что у него умерла мать, и письмо какое-то растерянное. Я за него встревожился. Когда я о нем думаю, то вспоминаю то, что Блок когда-то говорил Кузмину на вечере, уже после революции, что-то в том смысле, что «мне страшно за Вас в этом грубом и жестоком мире». Иваск, действительно, цветок, одуванчик, и за него может стать страшно. Это «между нами», не для передачи.

До свидания, дорогой Игорь Владимирович, скоро праздники, Новый Год. От души желаю Вам успехов («творческих»). Благополучия, и чтобы и Вам в нашем мире не было очень страшно. Ваш Г. Адамович.

[1] Алексис Раннит — эстонский поэт, он был профессором Йельского университета в США.

[2] Книга стихов Г. Адамовича «Единство» вышла в 1967 году в Нью-Йорке.

[3] Предыдущая книга стихов Г. Адамовича.

[4] «Эта нежная линия счастья...». Остальные стихи в этой подборке: «Облака облачаются...», «Холодеет душа, и близится сумрак...», «Вдохновение».

[5] Видимо, имеется в виду сотрудничество на радиостанции «Свобода» в Мюнхене.

[6] Г. Хомяков издатель журнала «Мосты». Статья Г. Адамовича «Об Александре Гингере» — в связи с тем, что поэт только что умер, — появилась в 12 номере журнала за 1966 год.

18 августа 1967

Я в Ницце приблизительно до
10 сентября. Но писать можно и в
Париж.

Дорогой Игорь Владимирович,

Получил вчера письмо (от 9 августа) будто бы «вдогонку толстому письму»... Но этого «толстого» не получил! Объяснение может быть в том, что Вы пишете на 8, rue. Fred Bastiat, а номер моего дома не 8, а 7. Однако обычно письма с мелкой ошибкой в адресе доходят. Что мне сказать Вам о трех присланных стихотворениях? («Да, недужится...» и др.). Вы теперь — самый тонкий, самый искусный мастер в нашей поэзии. У вас необычайная, тончайшая, какая-то безошибочная словесная находчивость, — чего нет ни у кого. Я читаю и завидую (по Гумилеву, чувство неизбежное и ничуть не низменное). Но завидуя, прельщаясь (например — «В Погребалию плыву...»), чуть-чуть все-таки удивляюсь. Вы, конечно, правы в Ваших новшествах, причудах и опытах. Без них нельзя ни жить, ни писать. Но, очевидно, я уже не хочу ни жить, ни писать: единственное, чем могу объяснить свое удивление.

Дорогой Игорь Владимирович, надо бы об этом поговорить не в письме, а в Ницце, гуляя над морем, — т. е. это разговор, в котором все само собой сошлось бы и разошлось. Не думайте

только, что мое «удивление» хоть сколько-нибудь умаляет мое восхищение. Одно относится к литературе (восхищение), другое — скорей к жизни. Ибо что есть истина?

О «Хвале»[1] Вы, конечно, правы. Но об этом тоже надо бы — в Ницце, над морем.

До свидания. Я послал Вам «Единство» (стихи) довольно давно, air mail, а сегодня послал «Комментарии», но обыкновенной почтой. Это — издание Камкина[2], только что вышедшее...

Как все у Вас, здоровье, труды и прочее? «Над чем изволите работать?» — как спрашивал Алданов? Ваш Г. Адамович.

[1] «Хвала» (Нью-Йорк, 1967) — книга стихов Ю. Иваска.

[2] У В. Камкина в Вашингтоне было русское издательство. См. о нем в примечании к письму Б. Филиппова от 16 мая 1968 г.

Париж
18 марта 1968

Дорогой Игорь Владимирович,

Получил вчера Ваше письмо. Спасибо. Адрес Кантора: 14, ave. Nungesser et Coli. Paris, 16-e. Зовут его — Михаил Львович. Напишите ему непременно. Он очень болен, стар (84 года) — и это удивительный человек, редчайшей скромности. По-моему, в стихах его именно чувствуется «человек», если даже большого таланта в них нет (но есть своеобразное умение, — правда?)

Мне очень жаль, что Вы не исполнили намерения, — о котором я не подозревал, — написать что-то о моих «Комментариях». Надеюсь, Вы меня достаточно знаете, чтобы поверить, что я не хочу «еще одной статьи». Были статьи[1] Ульянова и Корякова, обе лестные, но в обоих все — мимо, в особенности у Ульянова. Вы — другое дело, и сами это знаете.

Вообще я считаю, что Вам, как почтенному профессору, надо бы заняться критикой — хотя бы только о поэзии, это упрочит Ваше положение как «литературоведа» (не выношу этого слова). По слухам в Америке царят формалисты и структуралисты. В своей области они могут быть крайне проницательны и интересны, но область их ограничена. «Как сделана “Шинель”»[2]. Меня раздражает (давно уже) это название (не помню, автор — Эйхенбаум, Шкловский?). Ну не все ли мне равно, как «Ши-

Paris
4 июня 1966

Дорогой Игорь Владимирович

Я написал Вам что-то нескладное о Ваших стихах в „Н. Ж.", а сейчас читал „Мосты" (давно они у меня, но до сих пор не читал!) и восхитился Вами. Как хорошо, как по своему — и все верно, т.е. в том смысле, что каждое слово найдено окончательно и чему-то отвечает. Нам б. долго у Вас этому учиться, т.к. Вы — „мэтр", хотя Бахрах тут [illegible], что Бунин этого слова не терпел, и правильно. Как живете вообще?

Ваш Г. Адамович

Письмо Г. Адамовича к И. Чиннову от 4 июня 1966 года

нель» сделана? Сделана — и сделана! Это, кстати, тема для большой статьи.

Когда выйдет Ваша книга[3]? Когда Вы соберетесь в Европу? Стихи Ваши в мартовской книжке «Н. Ж.» я не читал по той простой причине, что об этой книжке здесь еще ни слуху, ни духу. Разве она вышла?

До свидания, дорогой Игорь Владимирович. Процветайте и пребывайте «на самой сверхчинновской вершине», как Вы сами пишете. От души этого желаю, в надежде на «спасибо сердечное», которое скажет рано или поздно русский народ. Ваш Адамович.

P.S. Что Одуванчик — Иваск? Целый век от него ни слова.

[1] Речь идет о газетных публикациях.

[2] «Как сделана "Шинель" Гоголя» — статья Б. М. Эйхенбаума из сборника «Поэтика». Петроград, 1919.

[3] Книга стихов И. Чиннова «Метафоры» — вышла в 1968 году в издательстве «Нового журнала» в Нью-Йорке.

Париж
21 ноября 1968

Дорогой Игорь Владимирович.

Я давно уж собираюсь написать Вам и поблагодарить за статью в «Новом Журнале»[1]. И все не мог собраться, а поэтому вспомнил фразу, которую когда-то слышал в Кременчуге от одной местной дамы: «В Петербурге не бывала, но приличья света знаю». А я и в Петербурге бывал, значит обязан приличья света соблюдать.

Но все это шутки и глупости. Я в самом деле очень Вам благодарен за внимание. Ce n'est pas l'admiration que je cherche, mais l'attention[2]. Вот именно! Стихам же своим «я знаю цену», как ни неловко самого себя цитировать. Но это — правда. Не обольщаюсь, не обманываю самого себя, — и точка. Спасибо, что Вы постарались в этих бедных стихах что-то вычитать и расслышать. В Вашей статье много верного, в конце. Я на эти темы говорил с французами в Cerivy этим летом, где были франко-русские беседы (там был Небольсин, «духовный сын» Иваска). Не дай Бог русским поэтам соблазниться западным «все дозволено». Никуда это не приведет, а от очень многого и очень доро-

гого уведет. У Вас в Америке есть какой-то дурак, кажется, Рив, который писал о нашей «отсталости» в «Нов. Журнале», года полтора — два назад, кажется, по поводу Евтушенки[3].

У Вас лично есть беспокойство о новом, но это нечто другое, и Ваше «новое» — другое. Только, Игорь Владимирович, слушайте себя, прислушивайтесь к себе и не обращайте внимания ни на какие «веяния» рядом. Простите, что будто что-то советую: это не с высоты умудренности, а с высоты старости. У Вас в стихах — чистейший, редчайший звук, никак не требующий слегка кокетливого аккомпанемента. И если за наготу, уединенность звука на Вас модернистически поморщится какой-нибудь Рив, то «спасибо сердечное» рано или поздно скажут другие. Правда, может случится, что именно поздно. А жить хочется, и хочется признания и отклика теперь же. Но это — непоправимо, и делать тут нечего.

Ну, вот — не хотел становиться в позу проповедника, а кажется, стал. Но это — оттого, что пишу письмо. Был бы разговор, с Вашими немедленными возражениями, не было бы и проповеди.

До свидания, дорогой Игорь Владимирович. Еще раз благодарю Вас, крепко жму руку. От души желаю Вам всяческого благополучия, всяких успехов, в том числе прежде всего «творческих», как выражаются в СССР. Ваш Г. Адамович.

[1] Статья И. Чиннова «Смотрите — стихи», где он делает обзор современной поэзии зарубежья (Новый журнал. 1968. № 92).

[2] Я ищу не восхищения, а внимания *(фр.)*.

[3] В «Новом журнале» (1966. № 82) есть рецензия Ф. Рива на вышедшую в переводе на английский книгу избранных стихов Е. Евтушенко «The poetry of Yevgeny Yevtushenko, 1953–1965» (NY, 1965). Критикуя Е. Евтушенко, Рив вдруг пишет такую фразу, никак ее не обьясняя и не комментируя: «Современная русская поэзия отстает от англо-американской».

Ницца
29 октября 1971

Дорогой Игорь Владимирович,

Спасибо за письмо. Предыдущие открытки из Испании я получил, но ответить не мог, не знал, куда отвечать.

Два слова о метафорах. Спорить в сущности нечего, каждый любит свое и чувствует по-своему. Вы пишете: «Отсутствие метафор в "Я вас любил" доказывает только то, что без них обойтись можно, а вовсе не то, что лучше обходиться без них (подчеркнуто Вами, "курсив мой" по Берберовой)». Да, верю: можно, а не лучше. Но для меня надо отказываться от всего, без чего можно обойтись. Поэзия возникает от сознания невозможности сказать то именно, что видишь и чувствуешь. Все остальное — «лимонад» по Державину[1]. Если еще сослаться на того же Державина, сказавшего, что «всякий человек есть ложь», то для меня только то — поэзия, где есть сознание лжи. Но мы об этом с Вами уже говорили и у меня нет претензии Вас (да и кого-нибудь) переубеждать.

Название «Композиция»[2]? В Вашей линии, после других Ваших названий, это хорошо, как завершение. У Вас свое лицо, свой стиль, и если бы другого я заподозрил в кокетстве сухостью и простотой, то Вас не подозреваю ничуть.

Из стихов, Вами присланных, мне больше всего по душе «Живу, увы, в страдательном залоге» и отдельные строчки в других («философский камень печали»). Вообще, все это — Вы, Игорь Чиннов, а кроме этого все несущественно, ни придирки, ни комплименты. Но не надо, мне кажется, подставлять поэзию, существо беззащитное, под удары кретинов и педантов. Это к Вам не относится, это так — случайное размышление («размышленьице», как м. б. сказали бы Вы или Одуванчик).

Кстати, еще о метафорах: имажинизм был самым глупым течением за все время русской литературы именно потому, что ставку он сделал на метафору (которую я лично хотел бы оставить иностранцам, с которыми нам не по пути).

Простите, дорогой Игорь Владимирович, за все эти «словеса». Не обращайте внимания. У меня все усиливается чувство литературной безнадежности, и это тоже к Вам не относится. Словом, «простите и сожгите этот бред», как писал Блок в «Вольных мыслях», передавая письмо какой-то актрисе. Ваш Г. Адамович[3].

[1] Строка Г. Державина: «Поэзия тебе любезна,// приятна, сладостна, полезна,// как летом вкусный лимонад...»

[2] «Композиция» — пятая книга стихов Игоря Чиннова —

вышла в 1972 году в Париже в издательстве «Рифма». До этого были «Монолог», «Линии», «Метафоры», «Партитура».

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 64 письма от Г. В. Адамовича.

Георгий Адамович

ПОЭЗИЯ В ЭМИГРАЦИИ*

<...> «Мы» — три-четыре человека, еще бывшие петербуржцами в то время, когда в Петербурге умер Блок, позднее обосновавшиеся в Париже; несколько парижан младших, иного происхождения, у некоторых с первоначальными «нами» нашелся общий язык; несколько друзей, географически далеких, словом то, что возникло в русской поэзии вокруг «оси» Петербург — Париж, если воспользоваться терминологией недавнего военного времени... Иногда теперь это определяется как парижская «нота». К этой «ноте» я имел довольно близкое отношение, и так как она почти уже не слышна, хочется подвести итоги всему, что входило в ее состав. К тому же времена теперь настают другие, с другими нетерпеливыми голосами, со вниманием и слухом к другим порывам. Пора, значит, сделать подсчет и перекличку тем, кто остался, а среди них — как знать? — найдутся, может быть, и незнакомцы, уже не второго, а третьего возрастного призыва: отзовутся ли они на ауканье? Или надеяться остается лишь на то, что придет много позже, после «лопуха»? или обманет даже это?

В Париже не все сложилось сразу, беспрепятственно, общего сотрудничества на первых порах не было. В петербургские трагические воспоминания вплетались остатки гумилевской, цеховой выучки, очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью поэтического ремесла. Кто был рядом? Ходасевич, принципиально хмурившийся, напоминавший о Пушкине и о грамотности, «верно, но неинтерес-

* Печатается в сокращении по тексту журнала «Опыты». Нью-Йорк, 1955. № 4.

но», как отозвался на его наставления Поплавский. Был воскресный салон Мережковских, с Зинаидой Николаевной, которая понимала в поэзии все, решительно все, кроме самих стихов... Здесь однако сделаем короткую остановку: если уж названо ее имя, поклонимся памяти Зинаиды Гиппиус, «единственной» по аттестации Блока! Что было в ней дорого? Не капризно-декадентский разговор, извивавшийся, как дымок ее папироски, не разнородно-приперченные ее «штучки» и «словечки», не то даже, что она писала, а то, чем она была наедине с собой или вдвоем, с глазу на глаз, без аудитории, для которой надо было играть роль: человек с редчайшими антеннами, мало творческий, если сказать правду, но с глубокой тоской о творчестве, позволявшей ей с полуслова догадываться о том, что в полные слова не уложилось бы. Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да так и не склеилось, трудно сказать по чьей вине. Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и каждом слове: настроить нашу «ноту» в лад ей было невозможно иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах райские строчки,— кто же это отрицал? «Как некий херувим...», без всякого преувеличения. Но взять у нее было нечего. Цветаева была несомненно очень умна, слишком по-своему,— едва ли не признак слабости,— и с постоянными «заскоками». Была в ней вечная институтка, «княжна Джаваха», с «гордо закинутой головкой», разумеется «русой», или еще лучше «золотистой», с воображаемой толпой юных поклонников вокруг: нет, нам это не нравилось! Было в ней, по-видимому, и что-то другое, очень горестное: к сожалению, оно осталось нам неизвестно.

Пребывание во Франции не могло не возбудить колебаний, особенно на первых порах. Одно дело — читать иностранные книги, сидя у себя дома, другое — оказаться лицом к лицу с тем, что книги эти питает, одушевляет и оправдывает.

Нас смутили резкие различья между устремлениями нашими и французскими, различья и формальные, и ролевые. Как бы ни была в сущности своей литература французская чужда литературе русской, Франция в наших глазах полностью сохранила свой престиж, тем более, что в передовых петербургских эстетических кружках о ней и не говорили иначе, как в тоне

грибоедовских княжен: «нет в мире лучше края». Нашлись и в эмиграции люди, у которых в Париже закружились головы, и захлебываясь, они говорили о местных ошеломляющих поэтических открытиях и достижениях, вплоть до рифмованных анекдотов Жака Превера (впрочем, даже и нерифмованных). Для них, разумеется, мы были отсталыми провинциалами.

О Превере говорить всерьез даже и не стоит, к слову пришлось, я его и назвал. Но бесспорно, французская поэзия, даже в теперешнем ее состоянии — явление замечательное и значительное, и действительно, лишь отсталый провинциал способен это отрицать. Не впадая однако ни в западническое раболепие, ни в славянофильское бахвальство, следует сказать, что поэзии русской — если не склонна она отречься от самой себя, — у нее почти нечему научиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним.

Во Франции, да и вообще на Западе, поэзия уже давно отказалась от надежды и от веры, не в каком-либо религиозном значении слова, а в другом, впрочем почти столь же основном и глубоком, — что и толкает некоторых поэтов к «ангажированию», ко «включению» в текущие, преимущественно политические заботы: все что угодно лучше в их ощущении, нежели игра без цели и смысла. Поэзия во Франции более или менее откровенно ставит знак равенства между собой и мечтанием, и особенно это ясно у Маллармэ, со всеми его последователями: «la rêve» <мечта, грёза> — слово — ключ к его творчеству. Но мечта никуда не ведет, кроме разбитого корыта в конце каких угодно феерических блужданий, и вопроса: только и всего? — после исчезновения обольщений. Вероятно, именно поэтому французская поэзия легко отбросила логический ход речи, предпочитая развитие стихотворения по ассоциации образов или даже еще более причудливым законам: ей при этом не приходилось отбрасывать что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием. Имеет, правда, значение и то, что Франция отечество рационализма, от разума и рассудочности устала: слишком долго она ничего, кроме разума не признавала, и когда при его же благосклонном посредничестве стали обнаруживаться его границы, она не без злорадства попросила обанкротившегося зазнайку удалиться из области, где в соседстве с мечтой ему действительно нечего было делать. «Des roses sur le néant»,

т. е. закроем глаза, глядеть в лицо истине слишком страшно. Да и «что есть истина»?

Для русской поэзии вопрос этот — об истине — существовал тоже, существовал всегда. Но он не имел в ней позднеримского, насмешливо-скептического оттенка. У Блока, например, все обращено к тому, чтобы неуловимую эту «истину» уловить, и из поэзии сделать важнейшее человеческое дело, привести ее к великому торжеству: к тому, что символисты называли «преображением мира». Да, слово призрачно, оно больше обещает, чем способно дать, и я не уверен, что «преображение мира» вообще что-либо значит. Но при зыбкости цели, показательно было стремление: не загонять поэзию в тупик «снов золотых», бесконтрольно и беспрепятственно «навеваемых», не искать для нее развода с жизнью после не совсем благополучного брака, а доделать то, чего сделать не удалось, без отступничества и уж конечно без сладковатого хлороформа. Это корень и сущность всего. Разум, конечно, ограничен, конечно, беден, но как же им пренебречь, раз это все-таки одно из важнейших наших орудий да еще и в важнейшем деле, требующем всех сил? Да и что это за поэзия, которая опасается, как бы чего-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть уничтожено: ценно, лишь то, что уцелеет. Мечта? Но Блок не хотел мечтать, он занят был делом, которое априори не казалось ему безнадежным. Он не бывал темен искусственно, умышленно, по примеру Маллармэ. Он бывал темен лишь тогда, когда не в силах был перевести на внятный язык то, что хотел бы внятно сказать, и когда будто бился головой о стену своего «несказанного»... А мы, с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он, Гумилев, чрезвычайно любивший все французское, вероятно, пошел бы на разрыв поэзии с логической последовательностью речи: в самом деле, новый литературный прием, новые, в сущности беспредельные, горизонты, — отчего же не попробовать? Он вел свою родословную от Теофиля Готье, но и Готье, живи он в наше время, оказался бы в отношении веяний его покладист: вопрос школы, вкусов, литературной моды, ничего общего не имеющий с тем, что оказалось бы препятствием для Блока.

Кстати, о Блоке... У нас вовсе не было беспрекословного перед ним преклонения, наоборот была — и до сих пор остает-

ся — критика, было даже отталкивание: однако исключительно в области стилистики, вообще в области ремесла, и главным образом при мысли о той «воде», которой разжижены многие блоковские стихи. Но если ценить в поэзии напев, ритм, интонацию, то по этой части во всей русской литературе соперника у Блока нет. Критиковать можно было сколько угодно, но критика становилась смешна и смердяковски-низменна, едва только в ответ ей звучали отдельные, «за сердце хватающие» блоковские строчки. У Цветаевой это чувство чудесно выражено в том чудесном ее, обращенном к Блоку, бормотании, где «во имя его святое» она «опускается на колени в снег» и «целует вечерний снег», не зная в душевном смятении, что сделать и что сказать.

Другое имя, может быть, менее «святое», но не менее магическое — Анненский. Во французском нашем смущении его роль была неясна, и казался он иногда перебежчиком в чуждый лагерь (не враждебный, а именно чуждый),— вопреки всему тому русскому, что в его бессмертных стихах звучит. У Анненского надежд нет: огни догорели, цветы облетели. У Анненского в противоположность Блоку поэзия иногда превращается в ребусы, даже в таком стихотворении, как «О нет, не стан...», с его удивительной, ничем не подготовленной последней строфой. Но Анненский — это даже не пятый акт человеческой души, а растерянный шепот перед опустившимся занавесом, когда остается только идти домой, а дома в сущности никакого нет.

Вероятно, судьба русской поэзии в эмиграции,— по крайней мере парижской ее «ноты»,— была бы иной, если бы иначе сложились исторические условия. Вероятно, эта злополучная, мало кого из современников прельстившая «нота» была бы громче, ярче, счастливее, увлекательнее, не одушевляй и не связывай нас сознание, что «теперь» или «никогда»... А при такой альтернативе дело почти всегда решается в пользу «никогда», о чем мы не сразу догадались.

Будь все по-другому, возникла бы, вероятно, новая поэтическая школа или полу-школа. В журналах толковали бы о ее лозунгах и декларациях. Как водится, мы вели бы словесные сражения с противниками, настаивающими на правоте своих приемов, своих взглядов. Все было бы как обычно, «как у людей», к удовлетворению литературных поручиков Бергов. Нам самим

порой становилось скучновато без прежних литературных развлечений, и случалось, мы спрашивали себя: а не придумать ли какой-нибудь новый «изм»? как же в самом деле без «изма»?

Но для развлечений было неподходящее время, неподходящая была и обстановка. В первый раз — по крайней мере на русской памяти,— человек оказался полностью предоставленным самому себе, вне тех разнородных связей, которые, с одной стороны, обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, с другой — отвлекают от мыслей и недоумений коренных, «проклятых». Впервые движение прервалось: была остановка, притом без декораций, бесследно разлетевшихся под «историческими бурями». Впервые вопрос «зачем?» — сделался нашей повседневной реальностью, без того, чтобы могло что-нибудь его заслонить. Зачем? Не зачем писать стихи,— нет, на сделки с сознанием мы все-таки шли, иначе нельзя было бы и жить,— а зачем писать стихи так-то и о том-то, когда надо бы в них «просиять и погаснуть», найти единственно-верные, единственно-важные слова, окончательные, никакой серной кислотой не разъедаемые, без всех тех приблизительных удач, которыми довольствовалась поэзия в прошлом, но с золотыми нитями, которыми она бывала прорезана, с памятью о былых редких видениях, с верностью, без предательства, наоборот с удесятеренным чувством ответственности,— ибо в самом деле, как же было этого не чувствовать, когда остался человек лицом к лицу с судьбой, без посредников: теперь или никогда! <...>

Одним из открытий наших,— которое заслуживает названия открытия, конечно, только в личном плане, никак не в общем историко-литературном значении,— было то, что стихи можно в сущности писать как угодно, т. е. как кому хочется. От школ, от метода, от «измов» колебания и изменения происходят лишь такие, которые напоминают рябь на поверхности реки: течение, ленивое или сильное, глубокое или мелкое, остается таким же, как было оно при полной тишине или сильной буре. Чутье — если оно есть,— подсказывает метод верный, т. е. соответствующий тому, что каждый поэт в отдельности хочет выразить. Но и только. Мучительная развязность почти всей футуристической поэзии — как бы морально «подбоченившейся»,— свидетельствует о каких-то подозрительных внутренних сдвигах,— беда имен-

но в этом! Против самого метода возражений основных, коренных, неустранимых нет.

Отсюда — рукой подать до открытия второго, неизмеримо более значительно, но оставшегося смутной, невысказанной догадкой, очевидно, «чтоб можно было жить»: стихи нельзя писать никак... Настоящих стихов нет, все наши самые любимые стихи «приблизительны», и лучшее, что человеком написано, прельщает лишь лунными отсветами неизвестно где затерявшегося солнца. <...>

Думаю, что «нота» все-таки звучала — и прозвучала не совсем напрасно. Случайности в ее чертах было меньше всего, и то, что ее особенности оказались во внутреннем, скрытом от посторонних глаз, согласии с историческими условиями, это подтверждает. Надо было все «самое важное» из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее, отказавшись от лишнего груза. Нельзя было — в те редкие минуты, когда Аполлон оказывался действительно требовательным,— привычными пустяками заниматься. <...>

Георгий Адамович

БУНИН*

ВОСПОМИНАНИЯ

Впервые увидел я его в петербургском «Привале комедиантов», на Марсовом Поле. Если не ошибаюсь, он только один раз там и был. Бунин стоял у стены, против входной двери, рассеянно и хмуро глядя по сторонам, всем своим видом показывая, что ничто ему тут не по душе. Да и могло ли быть иначе? «Привал Комедиантов» был последним прибежищем русского модернизма, возникшего в конце прошлого столетия,— модернизма Бунину чуждого и даже враждебного. Ярко размалеванные стены с какими-то птицами и мифологическими чудовищами, в полутьме казавшимися еще причудливые, высокие, будто церковные подсвечники, черные, длинные скамьи вместо стульев или

* Печатается в сокращении по тексту журнала «Знамя». 1988. № 4.

кресел: нет, Бунину нравиться это не могло, и несомненно он чувствовал родство этой обстановки с тем, что было ему ненавистно в литературе. Он демонстративно молчал. Усмешка изредка кривила его губы. На маленькой, низкой сцене, в глубине зала, шла пантомима по шницлеровскому «Шарфу Коломбины». Потом появились хористы, принялись петь незатейливые новейшие частушки:

Ты, Кшесинская, пляши,
Вензеля ногой пиши...

Это были первые революционные месяцы, весна 1917 года: уступка политике. Частушки, по-видимому, окончательно испортили Бунину настроение. Он поспешно вышел. Никто его не провожал.

Помню, у меня и в мыслях не было: подойти к нему, представиться, познакомиться. Будь вместо него кто-нибудь из столпов символизма или даже другого литературного течения, тех, которые казались нам, тогдашней зеленой молодежи, законными и ценными, чувства возникли бы другие. Будь это, например, Андрей Белый, которого мне так и не привелось лично узнать, о чем я до сих пор жалею, — вероятно, я побежал бы за ним, с волнением задал бы ему какие-нибудь наспех придуманные вопросы. Или даже будь это Пастернак, первые стихи которого, помещенные в московском альманахе «Весеннее контрагентство муз», нас, петербургских акмеистов и полуакмеистов, ошеломили и очаровали. Но Бунин? Прозой мы вообще интересовались мало, придавали ей мало значения, — настолько мало, что, помню чье-то замечание в Цехе поэтов, чуть ли не самого «Синдика» Гумилева: «Как ни велик Достоевский, всего его можно уместить в одно стихотворение Тютчева», — замечание это не вызвало ни возражений, ни смеха, хотя это был явный вздор. Стихов Бунина мы недолюбливали: их в нашем кругу, среди друзей и учеников Гумилева, не «полагалось» любить. Я читал «Деревню» и «Суходол», прочел и перечел «Господина из Сан-Франциско». Да, хорошо, говорил я себе, но не в той плоскости хорошо, как бы не в той тональности хорошо, чтобы именно побежать за ушедшим автором, сказать ему несколько слов, похожих на объяснение в любви.

Теперь, вспоминая это, я, конечно, отдаю себе отчет, как условны были эти литературные перегородки, как много было за

ними ребячества, самодовольства, игры, слепоты. Но в ранней молодости без игры и заблуждений обойтись трудно, чему и в наше время примеров без счета. Так было, так будет.

Прошло лет десять: из разряда тех лет, в которых каждый прожитый день должен быть зачтен за месяц, если не больше. Я был у Мережковских на даче, недалеко от Ниццы, где обычно проводил лето. За чайным столом Зинаида Николаевна Гиппиус что-то рассказывала об Акиме Волынском, незадолго перед тем скончавшемся, упорно называя его не Волынским, а Флексером, как в действительности и была его фамилия. Неожиданно в саду, за деревьями, раздался громкий, веселый, бодрый голос:

— Что, дома вы? Или может быть нарочно от меня попрятались?

И на террасу поднялся человек, всем обликом и повадкой своей производивший такое же впечатление бодрости и веселия, как и его голос. Я не сразу сообразил, кто это, и только когда Гиппиус сказала Мережковскому: «Ну, вот видишь, а ты все вздыхал, что Иван Алексеевич нас совсем забыл!», — только тогда узнал Бунина.

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римски-сенаторское, усиливавшееся с течением дальнейших лет. Бунин был очень оживлен, сказал, что заставил себя вырваться только на часок-другой, «а то пишу, пишу, не отрываясь». Однако от расспросов Зинаиды Николаевны уклонился. «Да ведь вам и неинтересно, ведь вы считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!»

Могу засвидетельствовать, что словечка этого — «описатель», — вкравшегося в одну из критических статей Гиппиус, он действительно не забыл. К концу жизни Мережковских отношения их с Буниным испортились, но в то время еще были дружескими, хотя и тогда скорей поверхностно-дружескими, с чем-то ироническим, недоверчивым с обеих сторон. Упоминание о мнимом «описательстве» я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не «описывает» природу или быт, а воссоздает их. «Она выдумщица, она ведь хочет того, чего нет на свете», — говорил Бунин, при этом полузакрывая глаза и не без манерности отводя руку, будто что-то отстраняя, в подражание

гиппиусовской манере чтения. Однако остроту ее ума он признавал, как признавал и суховатую прелесть ее поэзии, ее «электрических», как он выражался, стихов.

После той встречи у Мережковских я стал видеться с Буниным довольно часто. Но по-настоящему узнал его, сблизился с ним много позже, во время войны, и остался близок до самой его смерти. Сначала что-то не ладилось. Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда, добродушный. Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто проверяя: понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает: спорить он не любил, споры быстро прекращал, что, впрочем, мне в нем нравилось. Однажды, в одну из первых наших встреч, после короткого разговора о «Мадам Бовари», — Бунин был великим поклонником Флобера, — я заметил, что, конечно, роман этот очень хорош, но ставить его в один ряд с «Анной Карениной» невозможно. Иван Алексеевич удивленно прищурился: «А, значит вы признаете Толстого? А я-то, признаться, полагал, что он для вас устарел». «Уста...рел», — повторил он с растяжкой, будто жалея бедненького Толстого, от которого отвернулись просвещенные молодые люди, ушедшие далеко вперед. Впоследствии мы мало-помалу договорились, что Толстой как бы вне времени, и вообще договорились до многого, ошибочно и главным образом по моей вине отдалявшего меня от Бунина в первые годы знакомства.

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях, и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений. Людей он видел насквозь, безошибочно догадываясь о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству, — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды, было одной из основных его черт. Вероятно, именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы не все было благополучно.<...> Он гордился тем, что Чехов, — «Да, да, один только Чехов!» — предсказал ему очень большое литературное будущее и реванш предчувствовал. У меня никогда не хватило смелости спросить его, помнит ли он то, что о его писаниях сказал Толстой, и никогда, ни в одном разго-

воре, он толстовского отзыва о себе не коснулся. Конечно, он знал его и, вероятно, с горечью помнил, что Толстой признал прочитанный им рассказ Бунина пустоватым, хотя и написанным так, как «ни мне, ни даже Тургеневу не написать». Должен однако подчеркнуть, что на его глубочайшем преклонении перед Толстым этот двоящийся приговор ни в какой мере не отразился и что за все мои встречи с Буниным я не слышал от него ни одного сколько-нибудь скептического, мало-мальски неприязненного слова о Толстом. Может быть, он отчасти был согласен с Алдановым, считавшим, что замечание насчет «меня и даже Тургенева» должно быть всяким писателем воспринято как нечто чрезвычайно лестное. Да надо принять во внимание ведь и то, что Толстой ничего, кроме юношеских произведений Бунина, не знал и ни «Деревни», ни «Суходола», положивших начало его художнической зрелости, прочесть не успел.<...>

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козэром», кем-то вроде Анатоля Франса, которого в парижских гостиных люди заслушивались, предвкушая заранее удовольствие от встречи, заранее зная, что предстоит демонстрация искрометного салонного красноречия, с импровизационными афоризмами и парадоксами. Ораторских способностей у Бунина не было никаких в противоположность Мережковскому, писателю творчески бедному, но оратору несравненному, когда-то вызвавшему у сидевшего в зале Блока желание, — как это записано в блоковском дневнике, — поцеловать его руку. Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал «в ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях: в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Слушая Бунина, я понял, почему больной, хмурый Чехов ходил за ним в Крыму чуть ли не по пятам. Перед Толстым Бунин благоговел и робел, перед Чеховым давал себе волю, и, вероятно, в молодости его разговорный и имитаторский дар был так же удивителен, каким остался до глубокой старости. В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, каза-

лось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал.

Пример: рассказ о том, как после избрания его почетным академиком он впервые явился в Академию Наук.

— Огромный, холодный зал, тишина, все сидят неподвижно в ожидании президента Академии, великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. За окнами большие мокрые хлопья снега, тающего тут же на стеклах, деревья, гнущиеся под ветром с залива. Четверть часа, полчаса, президента все нет и нет... Возле меня сидел древний старичок в мундире с орденами, с каким-то белым пухом на голове вместо волос, сидел и дремал. Вдруг он очнулся, взглянул в окно, надел очки, недовольно покачал головой и тронул меня за руку: «А изволите ли помнить, ваше превосходительство... когда Крылова... баснописца... хоронили, точь в точь такая же погода была».

Все предыдущее, до самой последней фразы, я восстанавливаю по памяти и за точность каждого слова не ручаюсь. Но последнюю фразу помню совершенно точно, и надо было слышать, с каким столетним дребезжанием в голосе Бунин ее произнес, весь сгорбившись, и сделав особое ударение на «баснописце».

Напомню, что Крылов скончался в 1844 году.

Да, Достоевского он терпеть не мог. «Тайновидец духа!» возмущался Бунин, вспоминая, что Мережковский в нашумевшей книге, вышедшей в начале столетия, назвал «тайновидцем духа» Достоевского в противоположность «тайновидцу плоти», Толстому. «Тайновидец духа... да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа! Что за чепуха!»

Не раз он говорил, что Достоевский был «прескверным» писателем, сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить не к чему. В своем деле я, мол, знаю толк лучше вас.

— Да, воскликнула она с мукой. — Нет, возразил он с содроганием... вот и весь ваш Достоевский!

— Иван Алексеевич, побойтесь Бога, этого у Достоевского нигде нет!

— Как нет? Я еще вчера читал его… Ну, нет, так могло бы быть! Все выдумано, и очень плохо выдумано.

Помню, однако, что однажды он сказал, — но именно с глазу на глаз, без «аудитории»:

— Всех этих сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенок или Фердыщенок я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу и точка. И убежден, что я прав… Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников с горящими глазами и топором за пазухой, поднимающийся к старухе-процентщице… это удивительно. Пушкинский Петербург — блестящий, парадный, «люблю тебя, Петра творенье», а он первый показал что-то совсем другое, изнанку пушкинского…

— А разве не Гоголь?

— Да, Гоголь, верно… Акакий Акакиевич и все в этом роде… верно! Но Гоголь — лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный.

Это определение Гоголя как лубочного писателя я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил его объяснить, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.

— Ну, лубок… разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лубок.

Не могу привести все его литературные суждения и отзывы. Кое-что у меня оказалось записано, но очень немногое. Да и из записанного далеко не все сохранилось. Впрочем, некоторые замечания врезались мне в память, особенно те, которые относятся к языку и стилю.

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

— Недоразумение у них произошло на почве…

Бунин поморщился и перебил меня:

— На почве! Бог знает, как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения.

Я возразил, что если нельзя употребить слово «почва» в переносном значении, то нельзя сказать, например, «мне улыб-

нулось счастье» или даже «он вспыхнул». Бунин спорить не стал.

— Да, да, конечно... Я ведь и сам иногда так говорю. Но неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете.

Другие бунинские замечания, по памяти или по сохранившимся записям. — Читал я на днях Ренана, «Жизнь Иисуса». Не усмехайтесь, пожалуйста, я иногда тоже читаю серьезные книги. Ваша притеньница Зинаида притворяется, что читает, а я в самом деле читаю. Но Ренан невыносим. Он из Христа сделал какого-то симпатичного молодого неврастеника.

— Помните, Толстой сказал об этой книге: «Детская, подлая, пошлая шалость»?

— Как, как? Подлая, пошлая шалость? Ах, как хорошо, как верно! Да, умел сказать Лев Николаевич.

— Иногда я думаю, не сочинить ли какую-нибудь чепуху, чтобы ничего понять нельзя было, чтобы начало было в конце, а конец в начале. Знаете, как теперь пишут... Уверяю вас, что большинство наших критиков пришло бы в полнейший восторг, а в журнальных статьях было бы сочувственно указано, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а без «новых путей» не обошлось бы! За «новые пути» я вам ручаюсь.

— Вы, я слышал, сомневаетесь, не начать ли писать по-французски? Что ж, дело ваше. Но послушайте старика, бросьте эти затеи, хотя я и понимаю, что они соблазнительны... Пишите на том языке, с которым родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?

— Какие болтуны, какие вруны, все эти наши критики, я только руками развожу! Нет, не только теперь, а и прежде, еще

тогда, когда царил Михайловский. Выдумали, что в каждой повести человек должен, видите ли, говорить особым своим языком, упрекают, если этого нет... А скажите, разве в жизни каждый действительно говорит особым языком, замечали вы это? Да, правда, министр говорит так-то, младший дворник иначе. Но чтобы решительно все люди говорили по-разному, каждый по-своему, это сущий вздор. Да и не так это легко, говорить по-своему, пусть критики сами попробуют!

Помолчав, Бунин добавил:

— Я думаю, что скорей интонация у каждого человека своя. Один скажет «идет дождь» так-то, другой скажет «идет дождь» иначе. Но в книге-то будут только те же слова «идет дождь», и только по общему характеру человека, если романисту удалось его хорошо изобразить, мы эту интонацию мысленно восстанавливаем.

О поэзии, в особенности о новых поэтах, Бунин говорил неохотно, по-видимому, чувствуя холодок, прочно установившийся вокруг тех стихов, которые писал он сам. Реванш его над былыми соперниками-прозаиками не распространился на поэзию, и если, скажем, Бальмонт, когда-то гремевший, давно утратил обаяние, то иначе обстояло дело с Блоком. Бунин знал, что сколько бы ни возникало о Блоке споров, верховное его положение в русской поэзии нашего века поколебать трудно. И это его раздражало. Он не любил Блока и, на мой взгляд, часто бывал прав, критикуя блоковский стиль, расплывчатость блоковских образов. Но если в ответ, в упрек ему кто-нибудь читал две строчки Блока, из тех, которые проникнуты вещей, почти таинственной музыкой, он нервно пожимал плечами, — а однажды, помню, сказал:

— Неужели вы думаете, что я не понимаю, *что* в этой мистической цыганщине сводит всех вас с ума? Но меня вы с ума не сведете.

Эти его слова оказались у меня записаны и привожу я их точно. Если не ошибаюсь, тогда же я рассказал ему о Листе, который в ответ на скептические замечания о Вагнере не говорил большей частью ничего, а садился за рояль и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Бунину рассказ понравился, он неожиданно повеселел и с добродушной усмешкой заметил: «Отлич-

но, вот и я на все ваши ехидства отвечать больше не стану, а буду наизусть читать полстранички из “Жизни Арсеньева”, чтобы вы знали, с кем имеете дело». Постоянная его черта: обезоруживающий юмор, непосредственный, талантливый, как вся его натура.

Допустимо ли было бы сказать, что Бунин отвергал Блока отчасти из ревности? Невозможного в таком предположении нет ничего: ревность, случалось, мучила самых великих писателей и художников, хотя в этом они не признались бы или не отдавали себе в этом отчета. Несомненно, блоковская поэзия была Бунину действительно не по душе. Но славу Блока он воспринимал как нечто для себя обидное, почти оскорбительное. Он не считал себя прозаиком, который тоже пишет стихи, как, например, Тургенев, нет, он придавал своим стихам очень большое значение и с горечью должен был сознавать, что как поэт остался в тени. Откровенного разговора о том, в какой именно области поэзия его бедней блоковской, т. е. о том, что стихи его пусть стилистически и безупречны, но лишены блоковского завораживающего звучания,— такого разговора даже начать с ним было бы нельзя. Если бы какой-нибудь развязный смельчак подобный разговор затеял, ни к чему кроме гневных выкриков он не привел бы и, пожалуй, лишь укрепил бы Бунина в его отрицании.

Иннокентия Анненского он знал очень мало, как, впрочем, проглядели Анненского почти все его сверстники. Зинаида Гиппиус как-то взяла у меня «Кипарисовый ларец»,— «любопытно мне взглянуть, чем это вы так восхищаетесь»,— и через несколько дней вернула мне книгу с замечаниями на полях, настолько пренебрежительными и близорукими, что экземпляр этот следовало бы ради ее памяти уничтожить. Уверен, что труда вчитаться в стихи Анненского она себе не дала. Нет, Гиппиус, конечно, заранее решила, что если в свое время она не обратила на эти стихи внимания, то значит внимания они и не заслуживают. Бунин рассказывал о единственной своей встрече с Анненским в Крыму:

— Сидел на террасе с плэдом на ногах, читал что-то французское... Кажется, кроме «здравствуйте» и «до свидания» мы ничего друг другу и не сказали... Вы что, действительно думаете, что это был замечательный поэт, или так, больше оригинальничаете?

Помню при этом пристальный бунинский взгляд, тот, который я не раз замечал у него, когда он предполагал, или хотя бы только допускал в собеседнике притворство. <...>

Не помню точно, где застала Бунина война, в Париже или в Грассе. Большую часть военных лет он во всяком случае провел в Грассе, в «приморских Альпах», как любил вместе с датой указывать в конце написанных им на юге Франции повестей и рассказов. Я провел эти годы в Ницце и довольно часто с ним встречался, особенно в первое время. Встречи постепенно сделались труднее из-за отсутствия бензина. Автобусы ходили редко, и тридцать-тридцать пять километров, отделяющих Ниццу от Грасса, казались огромным расстоянием.

С этим связан эпизод, врезавшийся мне в память.

Иван Алексеевич приехал в Ниццу около полудня и хотел вернуться домой с трехчасовым автобусом. Я пошел проводить его до станции. Но по пути, увидев перед какой-то лавкой очередь и узнав, что получена ветчина, — по тем голодным временам редкость, — он задержался и на автобус опоздал. Следующий отходил только в шесть часов вечера.

Бунин был до крайности раздосадован, но делать было нечего. Мы пошли в соседнее кафе, на улице Феликса Фора, он потребовал коньяку и стал пить рюмку за рюмкой. Сначала разговор был обычный: последние известия по лондонскому радио, которое втайне, тщательно затворив окна, слушали все, расспросы об общих знакомых, многие из которых уехали в Америку, другие же разбрелись кто куда. Мало-помалу Бунин сделался по-хмельному возбужден и принялся говорить о себе, о своих семейных и домашних делах, о близких ему людях. В первый и единственный раз я слышал от него нечто вроде «исповеди горячего сердца», невозможной, немыслимой, если бы он не находился в состоянии, когда ему нужен был слушатель. Непривычная его откровенность меня сначала смутила, — коньяка я не пил, а пил черный кофе, — но потом, почувствовав с его стороны дружеское доверие, сам стал кое о чем его расспрашивать, припоминая то, что иногда замечал или о чем догадывался. Передавать содержание беседы, даже в самых общих чертах, я не считаю себя вправе, и надеюсь, никто из биографов Бунина не упрекнет меня в излишней щепетильности. Ничего порочащего для кого-либо

из людей бунинского окружения в словах его не было, не в этом дело. Но не рано ли было бы делиться всем тем, чем поделился он, не совсем владея собой, отчасти даже против воли? Не следует ли подождать, скажем, несколько десятилетий, прежде чем предаваться подобным изысканиям и комментариям? Да и тогда, даже и тогда, окажутся ли эти изыскания и комментарии оправданы? Во всяком случае, я убежден, что сам Бунин возмутился бы вмешательством в его личную жизнь, когда бы допущено оно ни было, теперь или через полвека. Единственное, что я хотел бы засвидетельствовать, относится к его жене, Вере Николаевне: о ней Бунин говорил в тот день со страстной преданностью и благодарностью, будто особенно ясно сознавая, что человек он не легкий и что не легка должна быть и совместная жизнь с ним. Это, впрочем, было для меня очевидно и без его слов. Двум величайшим русским писателям Пушкину и Толстому судьба дала жен не таких, какие бы были им нужны, — хотя о больной несчастной Софье Андреевне это позволительно было бы сказать, имея в виду лишь последние годы ее жизни с мужем. Глядя на Веру Николаевну, я не раз думал, что она вытерпела бы все прихоти Толстого, подчинилась бы всем его требованиям, и вспомнил некрасовские строки: «Делай, что хочешь со мной! Сердце мое, исходящее кровью, всевыносящей любовью полно, друг мой».

Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже столетия вперед, и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе попрежнему оставалось для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло. Пишу я эти строки с одним только желанием: сказать о Бунине правду, ту, которую я видел и знал, не добавляя ничего от себя, не позволяя себе оценки, положительной или отрицательной. Ничьи возражения, никакие домыслы не убедят меня, что правда могла иногда оказаться и другой.

За ходом военных действий Бунин следил лихорадочно и сетовал на союзников, медливших с открытием второго европейского фронта. Гитлеровцев он ненавидел, и стал ненавидеть еще

яростнее, когда вслед за сравнительно беспечными, даже добродушными итальянцами южная часть Франции была оккупирована именно ими. Каждый день, тут же в двух шагах, мы убеждались в их дисциплинированной бесчеловечности, каждый день давал нам возможность предвидеть то, во что они обратили бы мир в случае своего торжества.

Бунин не в состоянии был себя сдерживать. Однажды я завтракал с ним в русском ресторане на бульваре Гамбетта, недалеко от моря. Зал был переполнен, публика была в большинстве русская. Бунин по своей привычке говорил очень громко и почти исключительно о войне. Некоторые из присутствовавших явно прислушивались к его словам, может быть, и узнали его. Желая перевести беседу на другие темы, я спросил его о здоровье, коснулся перемены погоды: что-то в этом роде. Бунин, будто бравируя, во всеуслышание воскликнул, — не сказал, а именно воскликнул: — Здоровье? Не могу жить, когда эти два холуя собираются править миром!

Два холуя, т. е. Гитлер и Муссолини. Это было до крайности рискованно. По счастью бунинская смелость последствий для него не имела. Но могло быть и иначе, т. к. доносчиков, платных или добровольных, так сказать «энтузиастов», даже не требовавших за свои услуги вознаграждения, развелось в Ницце достаточно и некоторые были известны даже по именам.

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил: «Это вы — тихоня, а я не могу молчать». И лукаво улыбнувшись, будто сам над собою насмехаясь, добавил:

— Как Лев Николаевич!

К концу войны, после освобождения Франции, Бунин вернулся в Париж еще полный сил и даже замыслов. Русский Париж в первые послевоенные дни находился в большом возбуждении. Было много споров, немало раздоров, а, пожалуй, еще больше иллюзий и надежд. Казалось, в жизни эмиграции наступает перелом, причем во Франции эти настроения распространились гораздо шире и быстрее, чем в Америке. Из Москвы, например, приехал Илья Эренбург, выразивший желание встретиться с молодыми эмигрантскими поэтами, что прежде было невозможно (пишу «молодыми поэтами» по давней, до сих пор удержавшейся привычке: Зинаида Гиппиус однако не без основания называла их еще в тридцатых годах «подстарками»). Вместе с

Эренбургом приехал и Симонов, два или три раза встретившийся с Буниным.

Об этих встречах Симонов не так давно рассказывал в московской печати. В его воспоминаниях, по-моему, не все точно, впрочем, лишь в мелочах. Обед, о котором он пишет, и на котором присутствовал и я, был не у Бунина, а у Бориса Пантелеймонова, состоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, которому покровительствовала Тэффи. Мне представляется, что именно у Пантелеймонова Бунин с Симоновым и познакомился, потому что я хорошо помню, как он, с изысканной, слегка манерной, чуть не вызывающе-старорежимной вежливостью обратился к нему, едва мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество... Как позволите величать вас по батюшке?

Если и была встреча и до того, как пишет Симонов, то очевидно совсем короткая, ограничившаяся рукопожатием.

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто «закусил удила», что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову мало уместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: «Не могу знать».

— Константин Михайлович, скажите пожалуйста... вот был такой писатель, Бабель... кое-что я его читал, человек бесспорно талантливый... отчего о нем так давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк... ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно... Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд... Гремел, гремел, даже, кажется, «Гамлета» перевернул наизнанку... а теперь о нем никто и не вспоминает... Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина это была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно смешное. Бунин расхохо-

тался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку, шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара — и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафе и провел с ним с глазу на глаз часа два или даже больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт. Говорили они, вероятно, не только о литературе, должны были коснуться и политики. Думаю поэтому, что Симонов мог бы подтвердить правильность того, что я сказал о бунинских политических настроениях во время войны и после ее окончания.

В последние годы жизни Бунин тяжело болел — или вернее — мучительно слаб. Свела его в могилу по моим наблюдениям и догадкам не какая-нибудь одна, определенная болезнь, а скорей общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхается: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде,— хотя с первого взгляда было ясно, и с каждым взглядом становилось все яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, уже не будет. Помню последний год-полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели мертвенно бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша,— пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой-то... Ты, что спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы... садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете.

Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но, по-видимому,— и об этом мне не раз говорила Вера Николаевна,— я принадлежал к числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся,— в чем я не уверен,— то страх этот был

в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил, наоборот, убеждал его, что он поправится, что у него сегодня, например, вид гораздо лучше, свежее, чем в прошлый раз, — как всегда это делается, как это надо делать, потому, что больным нужен обман. «Как делишки?», — хочет у Толстого спросить врач, входя к умирающему Ивану Ильичу, и только видя его состояние, понимает, что пристойнее на этот раз обойтись без «делишек». Бунин, конечно, знал, что умирает. О смерти он думал, кажется, больше всего физически: представлял себе, — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков он будет в своем «смертном безобразии» (его подлинные слова). А если и размышлял о возможном или невозможном «после», то едва ли настойчиво. В этом «после», даже если оно будет, и каково бы оно ни было, во всяком случае не будет того, что он всем своим существом, сердцем, плотью, умом любил: не будет неба, ветра, солнца, не будет повседневных мелочей существования, утрата которых казалась ему величайшим из несчастий. Был ли он религиозен? Если действительно «стиль это человек», то, вчитываясь в бунинские писания, в склад и тон их, ответить приходится скорей отрицательно. Он уважал православную церковь, как установление, сроднившееся в течение веков с дорогой ему Россией, он ценил красоту церковных обрядов. Но не более того. Истинная, требовательная, вечно-встревоженная религиозность была ему чужда, хотя, признаюсь, это с моей стороны только догадка. Бунин, при всей своей внешней открытой порывистости, был человеком с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как-то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк».

Мои с ним беседы, у его постели, были главным образом литературными. Бунин был до мозга костей литератором и мало-помалу оживлялся, когда представлялся случай о литературе поговорить. Принимался бранить Достоевского, или, кашляя, с трудом переводя дыхание, делился впечатлениями от чего-нибудь недавно прочитанного (точнее, выслушанного в чтении Веры Николаевны). Постоянно говорил о Чехове, которым в то

время усиленно занимался для будущей, оказавшейся уже посмертной, книги: с восхищением о чеховских повестях и рассказах, с раздражением и даже недоумением о пьесах, лиризм которых находил невыносимо слащавым. «И ты улыбнешься, мама!», издевательски повторял он, подражая манерности плохих актрис. «Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах...» По его убеждению, в том, что Чехов, наделенный от природы острейшим слухом к фальши, ввел этот дешевый лиризм в свои пьесы, повинна его жена, Книппер, и сделано это было будто бы в уступку ей и ее театральному окружению. <...>

На похоронах Ивана Алексеевича я не присутствовал. Смерть его болезненно отозвалась не только в сознании его друзей. Было общее, согласное чувство, что с этой утратой что-то оборвалось, хотя никто не ждал от Бунина новых книг, дальнейшего творчества. По возрасту он принадлежал скорей к нашему веку, но больше, чем кто-либо другой, напоминал своим присутствием о связи столетий и о роковой опасности исчезновения преемственности и пренебрежении ею. Он не торопился жить вровень с эпохой, не уступал жалкому желанию, столь часто встречающемуся даже у самых талантливых людей, быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особенную ценность и привлекательность. С величавой простотой и величавым спокойствием он жил чуть-чуть в стороне от шумного, суетливого и самонадеянного века, недоверчиво на него поглядывая и все больше уходя в себя. Он был символом связи с прошлым: не в каком-либо реставрационном, социально-политическом смысле, а с прошлым как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро добром, природа природой, искусство искусством... Я упрощаю, конечно. Никогда человек не жил в мире, где все окружающее было бы ему понятно, и Бунин не был исключением, Бунин ничем не мог этой непонятности, этой неизвестности предотвратить. Но как с последним лучом солнца от него еще исходил свет, ясный и щедрый, а с исчезновением его стало как будто темнее и холоднее.

Позволю себе поделиться личным впечатлением: я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его, без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо

бы его наслушаться — именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Все встречавшиеся с Буниным знают, что он никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые пререкания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось. А обаятелен он бывал как никто, когда хотел, когда благоволил быть обаятельным. Но даже не это было важно. Важно было, что его словами о любой мелочи говорило то огромное, высокое, то лучшее, что у нас было: дух и голос русской литературы. И вместе с тревогой от сознания, что это уходит, было и удовлетворение от того, что это еще здесь, перед нами, за столом, в халате, с книгой в руках, испещренной на полях сердитыми, пусть даже не всегда справедливыми замечаниями.

Анна Ахматова писала о «великом русском слове», которое должно быть в сохранности передано нашим внукам и правнукам. Это не только великое слово, это и особое слово, без которого мир был бы беднее, как-то более плоским, и нет никакого патриотического самообольщения в признании истины, которую признают и многие из самых проницательных иностранцев.

Бунин — один из редких наших старших современников, который об этой истине напомнил.

Игорь Чиннов

ВСПОМИНАЯ АДАМОВИЧА*

По-моему, это был человек большого обаяния, хотя обаяния, которое раскрывалось не сразу и не всем, как и неподдельный адамовичевский аристократизм. Георгий Адамович со всеми без исключения говорил совершенно просто, вежливо и естественно-изящно, может быть, с еле уловимой нотой в голосе, дававшей понять, что он ничего вам не навязывает, даже и своего обще-

* Печатается по тексту «Нового журнала». Нью-Йорк, 1972. № 109.

ства, и тотчас готов прекратить разговор, если вам скучно. Но скучно с ним быть не могло.

Об Адамовиче-собеседнике — ниже, сперва надо сказать про его ораторский дар. Он был одним из четырех-пяти замечательных ораторов, которых мне посчастливилось слышать. Помню, Маковский, разводя руками, удивлялся: ни одного ораторского жеста, никаких ораторских интонаций, в сущности монотонно, и голос какой-то тонкий, а все точно замерли, гипноз какой-то.

В последний раз я слышал его весной прошлого года на моем вечере в Париже. Мысленно возвращаюсь, вхожу в зал Русской Консерватории. «Иных уж нет», но, слава Богу, здесь еще девяностолетний Борис Зайцев, еще здесь, слава Богу, рядом с ним на эстраде, четыре наших поэта-критика*, которых так жадно читал я уже лет тридцать назад; трое из них причастны еще Серебряному веку. И вот «первым докладчиком» встает Адамович, и он почти тот же, как двадцать лет назад, когда в этом же зале обсуждали поэты стихи Анатолия Штейгера и мою первую книжку. Почти тот же.

Правда, лицо желтое, желтизна в белках черных глаз (глядящих как бы внутрь и как бы вдаль). Он по-прежнему без очков, держится прямо, как всегда, корректно одет в темное, с хорошо повязанным галстуком, волосы тщательно расчесаны на косой пробор. И тот же голос, как двадцать лет назад, как бы с отзвуком надтреснутого стекла, и по-прежнему умная речь, с тем же ненавязчивым и непоказным изяществом.

Не знаю, изящество ли в костюме и манерах или что-нибудь другое не простила Адамовичу поэтесса Надежда Павлович, эта Магдалина у ног Христа — Блока, не охотница до акмеистов. В своих «Думах и воспоминаниях» (это стихи, и дум там немного), вышедших в 1962 году (М.: «Сов. Писатель»), она, между характеристиками Кузмина и Гумилева (стихотворение «Клуб поэтов»), дает такой образ:

И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.

* Видимо, речь идет о Г. Адамовиче, В. Вейдле, И. Одоевцевой, Ю. Терапиано.

Плохо верится, чтобы Адамовичу когда-нибудь приходилось остроты заготовлять впрок. Вероятно, поэтесса, простившая, к счастью, Блоку и красивую его одежду, и педантическую аккуратность на его письменном столе, за что-то сердится на Адамовича. «Снобизм...» Упреки к Адамовичу обращали не раз. В частности, делает это известный Вл. Орлов в предисловии к стихам Бальмонта (Большая библиотека поэта. М.: Сов. Писатель, 1969). «Чистым снобизмом» кажется Орлову невысокое мнение Адамовича о поэзии Бальмонта... Итак, Адамович был сноб? Но едва ли можно сводить к «снобу» человека, написавшего такие, например, строки:

За слово, что помнил когда-то
И после навеки забыл,
За все, что в сгораньях заката
Искал ты и не находил,

И за безысходность мечтанья,
И холод, растущий в груди,
И медленное умиранье
Без всяких надежд впереди,

За белое имя спасенья,
За темное имя любви
Прощаются все прегрешенья
И все преступленья твои.

Едва ли это стихи сноба. А к тому же — ведь и Пушкина подозревали в снобизме. С Кольцовым, мещанином, Пушкин (носивший, кстати, золотой наперсток на длинном ногте мизинца, чтоб не обломать) в своем кабинете разговаривал, не предложив тому сесть — оба стояли (Адамович бы сказал: садитесь, пожалуйста). А Толстой? Помните в «Юности» его убеждение: раз ногти не миндалевидные, в хорошее общество человека пускать нельзя. И мнительные люди могут спросить: полностью ли преодолел Толстой свой «снобизм»? Нет, конечно, снобизм не то слово. Мы, русские, часто не различаем между снобизмом и «чувством изящного», как говорили в старину: чувством красоты. Вот это чувство красоты у Адамовича было всегда, вопреки тяготению его к аскетизму. И, забыв об этом, понять автора книги «Комментарии» нельзя.

Как Василий Слепцов, как Герцен, как тургеневский Нежданов, Георгий Адамович ощущал в себе постоянный разлад. Этика, нравственное чувство, по-радищевски «уязвленное страданиями человеческими», это чувство всю жизнь боролось в нем с тем, что так неточно называют «эстетизмом». Он мог бы повторить о себе гетевские слова о двух душах у него в груди.

Разлад есть в его поэзии. Но скажем сперва о других ее чертах. Мастерство Георгия Адамовича — поэта... Оно менее явственно, чем у Цветаевой или Ходасевича. Однако вот, например, строфа из «Единства»:

Я помнить не могу, но помню, помню
Коронационные колокола.
Вся в белом, шелестящем — как сегодня! —
Мать улыбаясь в детскую вошла.

Во второй строке (звукоподражание и даже звуковая метафора) торжественный размах, разлив могучего колокольного гула. А в строфе:

Но смерть была смертью. А ночь над холмом
Светилась каким-то нездешним огнем,
И разбежавшиеся ученики
Дышать не могли от стыда и тоски —

третья строка (правда, за счет мелодичности) совершенно отчетливое ощущение, что ученики Христа именно разбежались в разные стороны.

Думается и без выучки в гумилевском Цехе поэтов Георгий Адамович писал бы не беспомощно. Но роль мастерства, как известно, он склонен был преуменьшать. И на Монпарнасе, в отличие от Ходасевича, не обучал ремеслу, а больше призывал молодых поэтов «сказаться душой», если не «без слов», как мечтает Фет в одном стихотворении, то с минимумом слов — самых простых, главных, основных — ими сказать самое важное, самое нужное в жизни. Так возникла «парижская нота».

Хотя Адамовичу с восторгом внимали все, однако в монашески-суровый орден этой «парижской ноты» вошли немногие и — не знаю, самые ли талантливые. Всех точнее выразил ее канон Анатолий Штейгер — в стихах по пять-шесть строчек, про-

заических по тону, не музыкальных, но щемящих. У самого Георгия Викторовича все лучшие стихи к этой предельной простоте стремятся, ядро адамовичевской поэзии, в принципе, аскетическое, сознательно обедненное и, принципиальное, уже незаменимое в своей окончательной, как бы подвижнической очищенности ото всего «неокончательного», необязательного, декоративного. Вот пример:

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...

Писать стихи, утверждал Георгий Викторович, надо, «отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой». Но порой уступал он и желанию выйти за пределы аскетической поэзии. Тогда... тогда, нарушая свой догмат: «делать стихи из самых простых вещей, из стола и стула», — он допускал в свою поэзию такие, сказал бы зоил, «предметы роскоши», как «розовый идол, персидский фазан», как «арфы, сирены, соловьи, прибой». Больше того: он вводил патетические сравнения: «как голос из-за океана», вводил декламационные, риторические интонации. И он, апостол аскетизма, включил в свою книгу даже такой, словно заимствованный у осуждаемого им Фета, почти романс:

И даже ночь с Чайковским заодно
В своем безмолвии предвечном пела
О том, что все обречено,
О том, что нет ни для чего предела.

Это очень талантливо, но это не Адамович. Это совершенно чужеродно в книге, основной тон которой аскетичен. И все-таки книга названа (с необычной для него и к нему мало идущей подчеркнутостью) — «Единство». Не странно ли?

Пожалуй, хорошо, когда человек не однозначен, когда не умещается он в одной категории. Душевно живые люди особенно часто двоятся. Если Адамович противоречил сам себе, то в житейском плане это, пожалуй, составляло часть его обаяния. Но в искусстве… в нем разностильность в пределах книги стихов (да еще названной «Единство») оправдана, только если вызвана какими-то поисками. Но тут поисков не было… Могут возразить, что порой большое единство стиля утомляет. Действительно, вот вы видите сразу в собрании картин: это — Миро, это Бюффе, это Утрильо, это Модильяни… А в поэзии: это — Цветаева, это Пастернак… Не всегда доставляет это, говоря мандельштамовской строкой, «выпуклую радость узнаванья». Но, думаю, мы бы предпочли в поэзии Адамовича скорее монотонность, чем эту добавку «контрастной поэтичной» риторики.

Конечно, нельзя не любить такие его стихи, как «Невыносимы становятся сумерки…», «Один сказал: нам этой жизни мало…», и особенно прекрасное «Там где-нибудь, когда-нибудь…», а также «Ну вот, и кончено теперь. Конец….», затем «Патрон за стойкою…» — с этим щемящим призывом несчастного пьяного эмигранта выпить «за небо вообще!»:

Патрон за стойкою глядит привычно, сонно,
Гарсон у столика подводит блюдцам счет.
Настойчиво, назойливо, неугомонно
Одно с другим — огонь и дым — борьбу ведет.

Не для любви любить, не от вина быть пьяным.
Что знает человек, который сам не свой?
Он усмехается над допитым стаканом,
Он что-то говорит, качая головой.

За все, что не сбылось. За тридцать лет разлуки,
За вечер у огня, за руки на плече.
Еще, за ангела… и те, иные звуки…
Летел, полуночью… за небо вообще!

Он проиграл игру, он за нее ответил.
Пора и по домам. Надежды никакой.
И беспощадно бел, неумолимо светел
День занимается в полоске ледяной.

Пусть это, может быть, не просто, не тихо, несколько декламационно — все равно. Зато это пронзительно, незабываемо.

В своей книге «Комментарии» Георгий Адамович о поэзии говорит особенно много. Говорит, в частности, о том «воздухе», в котором «парижская нота» возникла. В его статьях большое единство голоса. Они радуют уже одной своей стилистической стройностью. Очень многие до сих пор склонны в Адамовиче, вне его стихов, видеть только критика — не больше. Столь ограниченное толкование, может быть, еще простительно, более или менее, когда речь идет о Ходасевиче. Пусть прекрасного ходасевичевского «Державина» в рамки «только критики» не вместить, все же за пределами замечательной своей поэзии Ходасевич порой может показаться почти лишь критиком и литературоведом, да еще мемуаристом (хотя нечто гораздо большее приоткрывает в нем этот удивительный контраст между демоничностью главных его стихов и стилизованной ампирно-пушкинской, умно-ограниченной, суховатой, вылощенной прозой его статей). Но, в отличие от Ходасевича, в «нестихотворном» наследии Адамовича литературно-критические статьи — не самое важное, как они ни значительны. Еще менее исчерпывается он рецензиями. Ни они, ни статьи не заслоняют его «вольных философствований».

Рецензии его импрессионистичны, в них больше от абсолютного слуха, от интуиции, чем от пристального изучения. Разумеется, критика не литературоведение, но именно от человека, одаренного такой чуткостью, хотелось нередко большей доказательности: более подробного разговора о том, что, кроме него, у нас способны заметить только человек семь-восемь. Хотелось подробностей и тогда, когда встречались у него возражения комунибудь. Но всякую аргументацию, разборы, медленное чтение — это он оставлял в удел литературоведам. К сожалению, труд их он был склонен недооценивать. О давней статье Бор. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель” Гоголя», хотя и односторонней, но во многом полезной, Г. В. мне писал: «К чему это копание? Как сделана “Шинель”... Сделана — и сделана». Он так и не захо-

тел признать, что слишком часто без тщательного всматривания в произведение искусства видишь лишь туманный его силуэт.

Случалось Адамовичу и отводить глаза навсегда от чего-нибудь, что почему-либо ему не пришлось по душе. Как известно, уничижительно отзывался он о Марине Цветаевой — пусть, пожалуй, невыносимой, но драгоценной же, драгоценной. Да, демонстративный титанизм ее, «ячество», вечный крик с отбиванием чуть ли не каждого слога — все это раздражает. Но как отрицать силу и новизну ее ритмов? Увы, Адамович это делал, тем вновь напоминая о тягостной их ссоре, заставляя вспомнить запальчивую цветаевскую статью «Поэт о критике»*, перепечатанную недавно в СССР. В некоторых своих статьях — не только тех, что вошли в «Комментарии», сколько в других — «недооценивал» Георгий Адамович даже Достоевского. Аллергию к Достоевскому можно понять. Многое у него, может быть, «чересчур», слишком нажата педаль, почти «белая горячка» то в стиле, то в шовинистических чувствах. Но... как же не видеть, Боже мой, гениальность Достоевского, его великую глубину? Конечно, Адамович в нем видел и признавал гораздо больше, чем отрицавший его начисто Бунин. Но как бы то ни было, в некоторых своих статьях Адамович соглашался за Достоевским признать чуть ли не одно только то, что Достоевский непревзойденный мастер темы страдания, почти не желая видеть даже и того, что страдание Достоевский не только ведь чувствует и «описывает», но и пытается осмыслить, едва ли не более страстно, чем пытались и до него, и после него. Тему же свободы, в связи с темою Бога, Адамович у Достоевского вовсе игнорировал, как и многое другое. Даже Легенда о Великом инквизиторе интересовала его не в связи с «тоталитарной альтернативой»: свобода или насильственное «счастье» (а это как уж близко касается русского читателя!).

В «Комментариях», на стр. 123, Адамович приводит слова великого английского поэта Одена о Достоевском: «Общество, которое забудет то, что он рассказал, недостойно называться человеческим». Да — и спасибо, Георгий Викторович, что вы эти слова привели. Спасибо, что на стр. 102 вы пишете: «Достоев-

* Статья появилась в 1926 году во втором номере брюссельского журнала «Благонамеренный». См. об этом ниже в воспоминаниях М. Слонима о М. Цветаевой.

ский — великий, огромный писатель». Но... вот что сказано на стр. 87: «В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок». (Три? А как же с Пушкиным, Тютчевым, Некрасовым, Гоголем, Розановым, Цветаевой? Хорошо, пусть все они не в числе «только трех».) Но если, говоря об интонации, назвать надо только три имени, то без Достоевского никакие «три» неубедительны.

В «Комментариях» Георгий Адамович говорит «на разные темы». Это — вольное философствование о многом, для него самом существенном. Тем в книге Адамовича много — и тем важнейших. Он говорит о Боге и мире, о Христе, христианстве, говорит о России и Западе в их противостоянии друг другу, о культуре как вечном заимствовании и продолжении — не подражании, а продолжении. Адамович пишет о католичестве и социализме, о равенстве и свободе и вечном, неустранимом конфликте между свободой и равенством; пишет об аристократизме красоты и несовместимости ее со справедливостью. В «Комментариях» идет речь о Толстом и Достоевском, об их полярности, о Пушкине и Лермонтове, в их тоже противоположности друг другу; Адамович говорит о музыке Вагнера, о Блоке, о Серебряном веке, о декадентстве, его грехах и его правоте, говорит о модернизме в поэзии и невозможности поэзии абсолютной... Отсылаю читателя к тексту «Комментариев». Эту книгу надо прочесть самому, чтобы почувствовать ее органическое и стройное единство, при внешней отрывочности и порой даже противоречивости.

Георгий Адамович — собеседник... Чаще всего беседы бывали о стихах и о том, чем поэзия должна быть. Правда, после войны он об этом говорил не так охотно, как в монпарнасские времена. Но вера в высокое назначение поэта в нем оставалась, как и уверенность, что стихи должны быть «ответом на все». Он повторял: «все можно сказать в стихах — и как сказать!». И не соглашался, когда ему возражали, что поэзия никогда полноты жизни не вмещала и не вместит. До конца остался он, по существу, максималистом и анархистом в поэзии, с эсхатологическим порывом к «финальному аккорду» — и от поэта требовал — «чтобы просиял ты — и погас!». Адамовичу хотелось, чтобы поэзия стремилась вверх, как готический шпиль, истончилась бы до высокого сияющего острия — чтобы свершилось мировое чудо, — а затем пусть, как молния, поэзия исчезнет. Не правда ли,

странно? Стихов, в которых это стремление стать острием (вонзающимся в небо) ослаблено орнаментом, он не признавал: «лучше останемся без стихов». И только головой качал на возражения, что не стоит «оставаться без стихов», что и так уже остались мы, или всегда были, без очень многого...

А порой, апостол простоты, он удивлял собеседника, говоря, что писать надо, как Анненский написал свое «О нет, не стан...»:

О нет, не стан, пусть он так нежно-зыбок,
Я из твоих соблазнов затаю, —
Не влажный блеск малиновых улыбок, —
Страдания холодную змею.

Это вызывало на спор. Да, в стихотворении этом, поразительном, незабываемая концовка:

Оставь меня. Мне ложе стелет Скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе...

Незабываемо и это прозаическое и все же насквозь преображенное «где-то там», но первая строфа — «югендштильная», манерная, и редкостное и драгоценное ее великолепие никак не тот насущный и насыщающий хлеб, которого Адамович от поэзии требовал.

Чаще же он осуждал метафоры, уверял, что без них стихи лучше, приводил в пример «Я вас любил, любовь еще быть может...»: «Там ни одной метафоры. Ни одной», говорил Адамович. Он был не совсем доволен, когда я возразил, что удача Пушкина доказывает только, что можно обойтись без метафор, но вовсе не то, что нужно обходиться без них.

Да, он не всегда принимал возражения, и все-таки с ним было очень легко говорить. Он был гораздо веселей и шутливей в разговорах, чем можно предположить по его писаниям, веселей, особенно с теми, кого причислял к способным понимать оттенки. Грусть, которой, конечно, было много в его душе, он скрывал от всех. Бесед «по душам» не любил, как и «трагических» разговоров о смысле жизни. Предпочитал, чтоб ум собеседника проявлялся в болтовне о пустяках. Стихи свои он читал редко, и как

бы стесняясь, тоном очень обыденным и сдержанным, с еле заметным дребезжанием как бы за строками — и не забыть, как прочел он однажды одно из самых прекрасных своих стихотворений:

Там где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

Он прочел если и с каким-то волнением, то все-таки стараясь его скрыть, как бы уверяя собеседника, что ничего ему не навязывает. Ничего не навязывающим тоном он и говорил, словно намекая голосом, что предоставляет слушателю полную свободу. И все же предпочитал, когда собеседник с ним соглашался... И все-таки на этих страницах я иногда ему возражаю...

Может быть, скажут, что еще не время для «споров» с покойным. Не знаю. У открытого гроба, конечно, не спорят. Но несколько месяцев спустя, думается, пора раскрыть полнее облик покойного и оценить, хоть и приблизительно, им написанное. И это требует разговора и о том, что в наследии Адамовича спорно. Я надеюсь, статья эта при всей ее недостаточности, не вызовет обвинений в неуважении к писателю, памяти которого мне сейчас снова хочется низко поклониться. Однако всего нужней не поклон, а показ (хотя бы и не в полный рост), ибо кое-кто предпочитает, чтобы Адамовича не показывали.

Странное дело: дня через два после кончины Г. В., еще не зная о ней, я вдруг мысленно его увидел, даже услышал. Это было в Остине, Техас, на Международном фестивале поэзии. Был перерыв, полчаса уединения, я думал о том, как изменилась жизнь с тех пор, когда в Париже мы, несколько поэтов, еще продолжали как-то «парижскую ноту». Уже почти никого из участников этой «ноты» нет в живых, нет молодых на смену, и я уже не «сравнительно еще молодой», как назвал меня Адамович в «Комментариях». Захотелось об этой «ноте» сказать что-то прощально-благодарное, сказать, что в чем-то все еще остаюсь верен ей, —

и пришли на память те адамовичевские строки, с отзвуком знаменитого «декадентского» стихотворения, в которых говорит Г. В. о своей верности покинутому им «декадентству»:

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...
Тень несозданных созданий
По наследию храню.

Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услыхать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать,

Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,

И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

Я прочел скорее мысленно, чем произнося, но все отчетливей вспоминая его интонацию — и вдруг увидел его и услыхал с совершенной ясностью, будто не в воображении, а в двух шагах... Через час, на фестивале, я читал стихи, очень далекие от «парижской ноты». А вернувшись домой в Нашвилл, развернул «Русскую мысль» и — имя Адамовича в траурной рамке.

В тот самый день, когда он так отчетливо мне вспомнился, его хоронили. Да — как это сказано у него:

Ну, вот и кончено теперь. Конец.
Как в мелодраме, грубо и уныло.
А ведь из человеческих сердец
Таких, мне кажется, не много было.

Но что ему мерещилось? О чем
Он вспоминал, поверя сну пустому

Как на большой дороге, под дождем,
Под леденящим ветром, к дому, к дому.

Ну, вот и дома. Узнаешь? Конец.
Вся ясно. Остановка, окончанье.
А ведь из человеческих сердец...
И это обманувшее сиянье!

Обманувшее? Но хочется верить, что ширится над ним сиянье, которое не обманывает.

Игорь Чиннов

ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ О ГЕОРГИИ АДАМОВИЧЕ*

Р. Х.: Считаете ли Вы, что русская зарубежная литература и особые условия жизни в эмиграции оказали влияние на литературную критику Г. В. Адамовича?

И. Ч.: Мне кажется, что не зарубежная литература повлияла на Адамовича, а наоборот, Адамович повлиял на целый ряд зарубежных писателей (особенно на Штейгера, Червинскую, Варшавского, Фельзена).

Но возможно, что известное влияние на А. оказали устные высказывания (в частных беседах с ним) Мережковского, Гиппиус, Шестова, отчасти Фельзена.

«Особые условия жизни в эмиграции» — да, они, я думаю, не могли не повлиять на А. То сужение аудитории, сужение все большее и большее, которое связано с длительным пребыванием в эмиграции, без отклика на родине, а также и обеднение в материальном смысле, недостаточность денег — все это естественно должно было обострить те пессимистические, минорные тона, которые были в некоторой степени свойственны А. и в Петербурге.

---

* Американский славист Роджер Хагглунд, профессор Вашингтонского университета, обратился к разным людям, знавшим Г. Адамовича, с просьбой ответить на вопросы анкеты об Адамовиче, т.к. он собирается писать об Адамовиче докторскую диссертацию. Позже Р. Хагглунд выпустил об Адамовиче книгу на английском языке. Публикуемые ответы И. Чиннова на анкету сохранились в его архиве.

ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ

Владимир Васильевич Вейдле — искусствовед, ученый, критик, поэт — родился в 1895 году в Петербурге. Учился в Петербургском университете. Потом преподавал там историю искусства. Эмигрировал в 1924 году. Поселился в Париже. Стал профессором Православного богословского института и читал там лекции по истории христианского искусства. Позже был профессором университетов Германии, Бельгии, Америки. Вейдле автор нескольких книг по истории искусства и культуры, написанных им на итальянском, французском, немецком, русском языках. В 1931 году А. М. Ремизов, отвечая на анкету «Новой газеты» о наиболее значительных произведениях зарубежной русской литературы, написал, что самое выдающееся явление последних лет — появление «писателей с западной закваской. Такое явление могло произойти только за границей: традиция передается не из вторых рук, а непосредственно через язык и памятники литературы в оригинале. Для русской литературы это будет иметь большое значение». Владимира Вейдле безусловно нужно отнести к таким выдающимся явлениям русской культуры. «Другого такого у нас нет и не скоро будет», — писал о нем Юрий Иваск. Вейдле был награжден двумя европейскими премиями. Премией ЮНЕСКО «Prix Diogènes», присуждающейся за новые теории происхождения и сущности искусства, и «Prix Rivarol», которую присуждает Французская академия автору не французу за лучшую книгу на французском языке о французской культуре.

Отец Александр Шмеман считал, что Вейдле был «поистине чудесным воплощением культуры. Он жил в ней и она жила в нем... Для Вейдле культура была не профессией и не специальностью, а, прежде всего, прекрасным и светлым домом, в котором он родился и вырос... Его домом, где он знал и любил и своими ощущал все комнаты... назывались ли они — итальянской, французской, немецкой, английской, испанской, русской... Все, что писал он о России, ... направлено было на то, чтобы Россию убедить в неотделимости самой ее

сущности от Европы, а Европу в том, что без России она неполная, ущербная, увечная Европа. Но писал это человек, твердо знавший, что место его — внутри русской культуры, что служение его — служение русского писателя. В темные годы немецкой оккупации читал он на частной квартире, почти конспиративно, цикл лекций о русской поэзии. ... Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него».*

*И. Чиннов познакомился с В. Вейдле в Париже после войны. В начале 1950-х годов Вейдле предложили быть директором русской программы на открывающейся в Мюнхене радиостанции «Освобождение» (позже — «Свобода»), и он пригласил И. Чиннова. Чиннов работал там в русском отделе с 1953 по 1962 год, а когда уехал преподавать в Америку, они с Вейдле поддерживали отношения, обмениваясь письмами**. Переписка не прерывалась до смерти Вейдле. Последним письмом, пришедшим Чиннову с парижского адреса Вейдле, было письмо от его вдовы:*

«21 августа 1979. Дорогой Игорь Владимирович. Спасибо за Ваши письма — за сердечное соболезнование. Я знаю, как Вы ценили В. В., и о его дружеском (очень) отношении к Вам. Последние месяцы В. В. чувствовал себя значительно бодрее (его в апреле освободили от кортизона), много писал, читал, подготавливал разные работы. Собирался в Испанию. Непредвиденное несчастье случилось 15 июля утром. В первую неделю врачи надеялись его спасти. Ухудшение наступало постепенно. Третья неделя была безнадежная: В. В. был почти все время без сознания. И сердце не перенесло воспалительного процесса в легких с очень высокой температурой. Он скончался 5 августа и похоронен на кладбище в St. Genevieve des Bois. Мне трудно писать. Передайте, пожалуйста, мою благодарность за его доброе сочувствие Юрию Павловичу <Иваску>. Искренне и дружески Ваша. Людмила В.».

Незадолго до смерти Вейдле в письмах Чиннову и Иваску (от 5 апреля 1979 года) писал о своей новой идее — общем «советско-эмигрантском» журнале «Опасные связи». (Он всегда говорил о неизбежности воссоединения эмигрантской и советской литератур.)

---

* Прот. Александр Шмеман. Памяти Владимира Васильевича Вейдле // Вестник русского христианского движения. 1979. № 129.

** В 1991 году И. Чиннов опубликовал часть писем В. Вейдле в «Новом журнале» (№ 183). Они не входят в эту подборку, за исключением письма от 6 мая 1966 года.

Но тогда это казалось совершенно невероятным — все понимали, насколько опасно для «советских» участие в таком журнале. О судьбе литературы в СССР и за рубежом Вейдле писал и в статье «Традиционное и новое в русской литературе двадцатого века». Она публикуется ниже. Как и его интервью «О кризисе культуры», напечатанное в «Русской мысли» за полгода до смерти. Вейдле был глубоко верующим человеком. Теряя веру, искусство гибнет — таково было его убеждение. К этой мысли он возвращается не раз, не только в этом интервью, но и в книгах, статьях. Писал Вейдле и стихи. Они печатались во многих эмигрантских изданиях. В последние годы начал писать прозу. Умер В. В. Вейдле в 1979 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Мюнхен. 16 ноября 1964

Милый поэт,

спасибо, что не сердитесь на меня за червячка[1], обнаруженного в строках менее мрачных, чем те, что рассекают его тяжкою лопатой[2]. И спасибо за весть, а то лень Ваша ими меня не балует. Из Мексики долетают до меня от Вас какие-то уже не червячки, а микроскопические мотыльки, из Канзаса же вовсе ничего не долетает. Пока я тут проповедую немчуре, которая — совестно сказать — на вокзале с цветами меня встречает за то, что я ее язык коверкаю. Напишите мне, на каких сковородках мерикашки Вас поджаривают или под какими райскими кущами обретаетесь Вы там, в самой их сердцевине. Тут я на весь зимний семестр, до конца февраля, но с рождественским парижским перерывом, после которого собираюсь привезти сюда Людмилу Викторовну. А теперь еще выходит, что грозятся меня на весну позвать во вновь основанный зальтзбургский университет, после чего я, вероятно, и по-русски говорить разучусь. По-французски — чувствую — уже разучился.

Бахрах поправляется, я его видел; Адамович тоже, его навещала Л. В.[3]. Гуль[4] «отдыхает» и «Новый журнал» тяжело дышит, как локомотив на запасном пути. Филиппов же так же мало приглашает меня, как и Вас. Думаю, что меня он не очень жалу-

ет: на присылавшиеся им книги я не откликнулся, очень уж были они плохи, а на предложение вступить в какое-то необыкновенное общество защиты Православия тоже ответил молчанием, чтобы не ответить чем-нибудь похуже, ибо программа этой «акции» была верхом нелепости. Но, быть может, он не журнал, а книги будет издавать — есть и такой слух[5]. Это бы мне подошло. У меня одна почти готова — «О поэтах и поэзии». Запалить ею в Струве, что ли? Да ведь деньги-то достал Филиппов. Жаль, что он такое сукно, такое солдатское сукно.

В субботу уезжаю в Вену на неделю, а по возвращении в этот некогда наш с Вами стольный град, буду ждать письма. Сердечный Вам привет. Пишите стихи*. Ваш В. Вейдле.

---

* но и письма *тоже*

[1] В статье «О смысле стихов», вошедшей потом в книгу «О поэтах и поэзии» (Париж, 1973) В. Вейдле писал о Чиннове: «Я недавно прочел стихи высоко ценимого мною поэта:

И птица пронеслась — не с червяком,
С масличной ветвью, вечность обещая...

И немного пожалел, что червяка он не вовсе из них изъял, понадеявшись должно быть на силу отрицательной частички. Быть может, я не прав, но мне все кажется, что пронестись-то птица пронеслась, а червяка на страницу все-таки обронила».

[2] Имеются в виду строки В. Ходасевича:

Смотрю в окно — и презираю,
Смотрю в себя — презрен я сам.
На землю громы призываю,
Не доверяя небесам.
Дневным сиянием объятый,
Один беззвездный вижу мрак...
Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

[3] Людмила Викторовна — жена В. Вейдле.

[4] Р. Б. Гуль — с 1959 года член редакции «Нового журнала», с 1966 по 1986 — главный редактор.

[5] Б. А. Филиппов — вместе с Г. П. Струве действительно стал заниматься издательской деятельностью. Много лет они возглавляли Международное литературное содружество, где вышло несколько десятков книг советских и зарубежных авторов. А присылал В. Вейдле он, видимо, свои книги.

Лукка. 6 мая 1966

Милый мой поэт,

простите, что так поздно Вам отвечаю — ровно через месяц после даты вашего письма. Был «завален» в Париже работой, как говорится, — придавлен, вернее, немецким опусом, над которым корпел два с половиной месяца, страшно философским с тяжелейшими примечаниями (такие и не стряпаются ни в каком другом языке). По замыслу это фундамент целой теории искусства (искусства как языка, на котором говорится несказанное, а не как уменья изготовлять предметы, способные нравиться [или не нравиться]). Боюсь только, не получился ли бетонный вместо гранитного...

Но несмотря на эту теорию, я очень доволен, что изготовленные мною два предметика понравились именно Вам. Особенно же рад я, что Вы первое стихотворение особой похвалой отметили, «рыданье» его услышали. Оно несомненно лучше второго, которое ведь в сущности полушуточно: чего же хвалить запах за то, что он не для ушей и не для глаз. Первое же, по-моему, вместе с «Берегом Искии», — лучшее, что мне удалось метрически срифмовать в старости (да и в юности)[1].

Теперь о традиционности. На такой вопрос много есть ответов. Перенумерую их даже в качестве венка на могилу педантической моей статьи (*надо* быть порою педантом: правильно Флобер сказал «le bon Dieu est dans le dètail»[2]).

1. Сам В. В.[3] менее традиционно писать бы не мог: вернулся к тому, чему когда-то научился, слегка только кое-что доделав, уточнив (le bon Dieu est dans le dètail); с него этого достаточно. В «Открытке»[4] он пытался сочетать белый стих с не-стиховыми, но точно выверенными строчками. Это не новаторство, это дело слуха; он ведь и прозу свою все точней пытается слухом выверить.

2. Русская поэзия до настоящей modern poetry еще не доросла: молода, т. е. язык ее, наш литературный язык, молод. У нас

еще и Малларме невозможен, G. M. Hopkins невозможен, Гельдерлин (1800–1802!) невозможен — каждый по другим причинам, но всегда по языковым (хотя языковое, это, конечно, и человеческое). Ведь и Джойс у нас невозможен (да и Пруст). «Петербург» Белого? Да ведь это еще за век до «Улисса», за полтора до «Finnegan's Wake»[5] <...>. Наши модернисты (не только Маяковский, Хлебников, но и Пастернак) — нéдоросли, поженились раньше, чем научились. Топором рубили. Дубинкой работали. Есть близкие к западной выцеженности *отдельные строчки* у Пастернака (особенно в двух отмеченных мною заумно-цыганских стихах), в бóльшем количестве у Мандельштама. Ну, а уж теперешние, Вознесенский, например, просто, ведь, младенцы (так вот, как у меня написалось, «ну, а уж» и пишут) со своей «слабой блондинкой», которую Владимирская Божья Матерь (экий, ведь, грубиян: высечь мальчишку) должна на коленях умолять, чтобы это порождение Игоря Северянина полюбило поэта.

3. Может быть, и *не надо* вовсе быть модернистом, если пишешь по-русски. У нас поэт как-то, ведь, еще отвечает за смыслы своих слов. Смотрите, Бродский, например; модернизм у него — шелуха, а есть стихотворений пятнадцать в сборнике (и места в других), где он *сквозь слова,* прямо как Блок какой-то, обращается к нам, и мы его слышим: поэта, который живет жизнью поэта и умрет смертью поэта.

Но, разумеется, традиция была бы не традицией, а повторением пройденного, если бы... Но это Вы сами знаете как поэт, и соответственно поступаете как поэт. Ваши стихи читал уже и в «Мостах» накануне отъезда, а в «Новом журнале» мне всего больше понравилось первое[6]. Жду с нетерпением «Мелодию»[7]. Насчет Моршена совершенно с Вами согласен. Иваска стихи в своей капризности очень милы. Елагин совсем неплох, но как-то я к нему равнодушен.

Лукка — очень поэтичное место, оттого я тут так и разговорился о делах. Вывод: русский язык еще не исчерпан в своих «традиционных», т.е. не только пользующихся смыслом, но смысла ищущих, живущих смыслом силах и возможностях. Я уже 5 дней в Италии. 23-го возвращаюсь в Париж. Ваш В. В.

[1] В. В. Вейдле писал стихи еще в молодости, до эмиграции. После большого перерыва, в середине 60-х годов, он вновь стал писать стихи. Некоторые из них Чиннов критикует в ответных

письмах к Вейдле. Приводим упомянутое В. Вейдле стихотворение:

Берег Искии

Ни о ком, ни о чем. Синева, синева, синева,
Ветерок умиленный и синее, синее море.
Выплывают слова, в синеву уплывают слова,
Ускользают слова, исчезая в лазурном узоре.

В эту синюю мглу уплывать, улетать, улетать,
В этом синем сияньи серебряной струйкой растаять,
Бормотать, умолкать, улетать, улететь, умереть,
В те слова, в те крыла всей душою бескрылой врастая...

Возвращается ветер на круги свои, а она
В синеокую даль неподвижной стрелою несется,
В глубину, в вышину, до бездонного синего дна...
Ни к кому, никуда, ни к тебе, ни в себя не вернется.

[2] Для Бога важны и детали (*фр.*).

[3] В. Вейдле иногда писал о себе в третьем лице.

[4] Стихотворение В. Вейдле «Открытка с Аппиевой дороги» было напечатано в книге В. Вейдле «На память о себе» (Париж, 1979). Оно начинается так: «Та, да не та, уже давно, двадцать лет: // Вся черная, и на солнце кажется липкой.// Бензиновый едкий дух. Грузовики грохочат.// Помнишь — май, жасмин?..».

[5] Роман Дж. Джойса «Поминки по Финнегану» вышел в 1939 году. «Улисс» — в 1922.

[6] Речь идет о стихотворении «Одним забавы, другим заботы. Затем забвенье...», напечатанном в «Новом журнале» за март 1966, № 82.

[7] Одно из предполагаемых названий книги И. Чиннова «Метафоры».

Париж. 13 апреля 1973

Очень Вы рассеянны, милый поэт: «в догонку» гротесков не прислали, а только сопроводительное к ним письмо. Брюхо мое давно уже пришло в норму (но этого, конечно, Вы не знали и

навряд ли могли знать). Головою я теперь болен, артерии мои там «пошаливают», и называется это болезнью Horton'a. Она в постель не кладет, а прямо на пол или под землю. Лечусь кортизоном, мне лучше, но лечиться буду еще долго, а это само по себе и утомительно, и грозит другими недугами, вроде диабета, например. Кортизон очень любопытным образом стимулирует мысль, но не на большие пробеги. Однако, если русским (московским) вахлакам повпрыскивать его немножко, была бы Россия живей, — даже и прежняя.

Насчет рецензии, поэтому — ни-ни. Да и здоровым не стал бы я ее писать. Пусть другие пишут в том же «Н. Р. С.»[1] (где, очевидно, Цвибак нынче царь?). Это не помешает мне дать туда, как помышляю — утешьтесь, милый поэт, — серию статей «Насчет стихов», куда помещу я в качестве 3-го или 4-го номера даже и отзыв о «двух сборниках 70-го года»[2] (так что Моренщильду теперь не надо его писать), после чего и «Композицию» разберу по всем косточкам, только держитесь.

Е. б. ж.[3], а пока лечите свою печень и прочую внутренность, и чревоугодствуйте *в меру,* а то я Национальную Галерею вспоминаю двубоко: роскошь вижу не знать какую — ее картин или тамошнего Вашего завтрака-обеда в 5 часов дня.

Гротесков жду. «Возрождения»[4] не видел. Выхожу мало. Ваш В. Вейдле.

[1] Газета «Новое русское слово» выходит в Нью-Йорке с 1911 года. Ее редактором тогда был Я. М. Цвибак (Андрей Седых).

[2] В «Новом русском слове» за 16 сентября 1973 года появилась статья В. Вейдле «Два поэта (1970)», а 21 октября 1973 года статья «Те же двое (1973)» о стихах И. Чиннова и Ю. Иваска.

[3] Если буду жив — так в письмах писал Л. Н. Толстой.

[4] Журнал «Возрождение», выходил в 1949–1974 годах в Париже.

Париж. 17 августа 1973

Дорогой Милый Поэт,

Вы очень обрадовали меня внимательным дружеским письмом; дружески Вас обнимаю, прочитав его; конечно, и похвалой Вы меня обрадовали, но вниманием больше всего. Я мог при-

Турин, 14 XI 73

Милый поэт,

спасибо за чудесное письмо — и мне посвященное стихотворение, за возвращенный „Мимесис", и за два письма, предыдущее и это. Жду теперь Державина, когда будете меньше заняты. Перерыв между двумя письмами, однако, меня [illegible], что Вы м.б. не одобрили моих [illegible], — тем более, что Егорушка давно уж мне ничего не [illegible] — м.б. я его [illegible]? [illegible], что на Поплавского, а [illegible] могли благодарить критиков. Я благодарности не заслужил, но у меня в сердце есть ведь маленький камень на то, что я [illegible] критических [illegible] моей критике.

А насчет [illegible] = Вы правы. Неудачно я выразился. У меня ведь поэтика широкая и терпимая (не как у покойного Г.В.А.). Не всякое „мастерство" нужно уважать" (хотя Пушкин свое очень искусно прятал, а Тютчев о своем, как будто и сам ничего не знал). [illegible] надо терпеть, только слишком показное. [illegible] не [illegible] было. Это лучшее свойство его — самое [illegible] (для себя =). Поэтому я не очень доволен этой статьей, (как и следующей); торопился, в Испании писал; чувствовал себя плохо. Как и потом в Турине. Теперь лучше. Пишите мне. До скорого, милый поэт!

Ваш друг В.В.

Письмо В. Вейдле к И. Чиннову от 14 ноября 1973 года

менить и применял к себе слова Валери: «je ne cherche pas l'admiration, je cherche l'attention»[1], и как раз внимание соотечественники мои очень редко мне уделяли. Я проверил все Ваши сноски. Всегда Вы отмечаете или что-то в самом деле удачно сказанное, или мысль, которую и в самом деле стоит подчеркнуть. Такого рецензента, пусть и более скупого на похвалы, днем с огнем не сыщешь. Часто и иноязычные мои писания восторгали невпопад, и не тех, чью мысль я хотел пробудить. Но среди французов, немцев, итальянцев кое-кто все-таки... Среди русских почти никто.

Насчет перевода — увы, трудно меня переводить. Clirence Brown — мысль хорошая, я послал бы ему книгу, но не знаю в Принстоне ли он еще и не записан у меня *личный* его принстонский адрес. Думаю, однако, что не захочется ему неблагодарным таким трудом заняться. Look around, dear friend, do it, I shall be glad...[2]

Относительно жрецов Вы не ошибаетесь. В пятой из этих статей будете жрецами Вы с Егорушкой[3] (подогретое жаркое о двух сборниках 70-го года), а шестую, новую, думаю Вам одному посвятить, или верней двум Чинновым — «Монолога» и «Партитуры» и тому, как второй первого искусно к рукам прибрал. Вот только не разыскал еще «Монолог». Другие Ваши книги тут как тут, а та, первая, куда-то запропастилась. Кажется, я ее в Испанию не увозил. Найду, найду... Слоним уже писал о Вас в НРС[4] и неплохо, но Седых, я уверен, напечатает и меня.

Оттисков статьи моей о Мимесисе[5] сохранилось у меня крайне мало. Посылаю Вам (отдельно) один для — простите — прочтения и возвращения. Эта моя работа (из «работ» я ценю ее выше всех) тоже внимания не встретила — я же филолог-классик, напечатана она не в одном из тех изданий, которые у них считается обязательным читать. Но все-таки один из лучших знатоков вопроса <фамилия нрзб> (старик в отставке) прислал мне открытку, где признал, что я первый понял, в чем дело, однако в печати, насколько мне известно, не откликнулся. Два других оттиска — в подарок[6]. Всего Вам счастливого. Ваш В. Вейдле.

[1] Я не ищу восхищения, я ищу внимания (*фр.*).

[2] Сделайте это, дорогой друг, я буду рад (*англ.*).

[3] Юрий Иваск.

[4] Статья М. Слонима в «Новом русском слове» от 6 мая 1973 года — «Поэзия Игоря Чиннова».

[5] Мимесис — термин древнегреческой философии, характеризующий сущность человеческого творчества, искусства.

[6] Один из оттисков — статья «Традиционное и новое в русской литературе двадцатого века» (из кн. «Русская литература в эмиграции». Питтсбург, 1972). Мы ее ниже публикуем. На оттиске рукой В. Вейдле сделана дарственная надпись: «Игорю Чиннову, поэту, которого из русской поэзии нашего века изъять нельзя, дружески от автора. Париж, 1973».

Париж. 5 апреля 1976

Милый поэт,

получил только что Ваше письмо. Раз уж Вы так настаиваете, прилагаю два curriculum'a[1], написанные в прошлом году — один для друга нашего Егорушки, а другой для Темиры Пахмусс <...>. Они лишь частично совпадают, отчасти друг друга дополняют. Не потеряйте! Если пожелаете — снимите копию, но верните мне оригиналы.

А главное — не увлекайтесь этой стороной дела. «Зимнее солнце»[2] написано для тех — вернее, и для тех — которым абсурдными должны казаться многие мои русские и нерусские писания (хотя бы даже о стихах в Н. Ж.). Разве не «доходчиво» книжка написана (хоть и хитрей, чем может показаться); ну и пусть дойдет, в человечности своей, совести нехитрой, до «малых сих». (Впрочем, — но да останется это между нами — Андрей Седых поспешил мне сообщить, что написана она, на его взгляд, «вычурно», тогда как в моих статьях вычурность эта «менее заметна».) По-моему, в русской прозе, если историю ее кто-нибудь сумеет толково написать, принадлежит мне маленькое место. А мыслями моими, «учеными» моими мыслями, которых было у меня немало, я все-таки бреши не прошиб. На Западе кое-кто меня оценил — очень хорошие люди — Беренсон, Элиот, Клодель, Валери, Унгаретти, Роберт Эрнст, Зедельмайр. Но все-таки сейчас, если я где-нибудь знаменит, то разве что (вот так номер!) в Японии, а в 40-х годах годах я был всего знаменитей в Аргентине. Что мне в этом? Ничего. Мысли мои в области истории и теории искусства лучше всего поняли и оцени-

ли немцы — недаром я читал в большой ауде[3] Мюнхенского университета на равных правах с Бубером и Гейзенбергом (Хайдеггер читал в той же серии пять лекций — за год до меня). Больше тысячи человек, преимущественно — студенты. Успех у меня был не меньше, чем у Б. и Г. Но сдается мне, что и там никакого потомства у них — у мыслей моих — не родилось. Да и очень уж «против течения» они. Кто знает, может быть, в России когда-нибудь воскреснут, скорее, чем на Западе.

Так что не задавите мою книжечку под тяжестью моей мнимо-величественной персоны. Я скромно-поэтически о ранних годах моих рассказал. Не всякий так сумел бы. Вот и все. Разве этого мало?

Гулю я сегодня как раз писал, что пришлю рецензию на книгу Милого Поэта[4]. На мою он до сих пор не откликнулся. Теперь я отчасти понял, — отчего. Ну, как говорят охотникам, ни пера, ни пуху. <...> Ваш В. В.

[1] Автобиография.

[2] Воспоминания В. Вейдле «Зимнее солнце» вышли в 1976 году в Вашингтоне. И. Чиннов написал рецензию «Новая книга Вейдле — и он» (Новое русское слово. 1976. 30 мая).

[3] Большая аудитория в Мюнхенском университете.

[4] Рецензия В. Вейдле на книгу И. Чиннова «Пасторали» опубликована в «Новом журнале». 1976. № 123.

Париж. 22 июля 1978

Милый поэт,

я вернулся 18-го из Испании в Париж; Ваше письмо от 8-го меня тут ждало. Редко Вы мне пишете! Очень рад был его получить. Чувствую себя неважно. Слабеет зрение и сам я слабею (от перехода к минимальным дозам кортизона) и рука еще в порядок не пришла[1]. Но работать еще могу, да ведь и статьи мои появлялись за последнее время и в НРС и в РМ. Лучшая из них, правда, уже давно (в двух частях) о Цивилизации и Культуре[2]. Егорушка мне писал (как теперь и Вы), что Ульянов мне возражал, но я еще не получил номера с его статьей, которой и Вы, по-видимому, сочувствуете. Ах, милый поэт! Ветку Вы подрубаете, на которой сидите. Ночной горшок бельведерскому истукану

предпочитаете и сардинки Вашему замечательному стихотворению о сардинке[3]. Я ведь тоже сардинки потребляю, кошки тоже их очень любят, а Вы что ж, ими довольствуетесь, а без стихов готовы обойтись? Без хлеба не проживешь, но ведь «не хлебом единым...», а то, что здесь противополагается хлебу, это религия, а за неимением ее, то, что от нее осталось — культура. Что же до просветления или возвышения страданием, то ведь это — общее место христианства. Вялая мысль такими общими местами злоупотребляет и тем обесценивает их. Страдание, само по себе, мучит и только. Фет не выдержал и ткнул себе фруктовый ножик в горло. Но если мы *веруем*, что страдание возвышает, оно и возвысит нас, и мука наша облегчится, хоть и не физически.

Насчет эстетики, милый друг наш Егорушка путает — плохо меня читал, или я нечетко об этом написал. Если определить ее, как это делаете Вы, ничего против не скажешь. Кроме одного: большое искусство всегда нечто большее, чем искусство, а то, чем оно искусство (малое, а то и минимальное) перерастает, этого эстетика учесть не в состоянии. Что же до красоты, то нынешняя эстетика всячески чуждается этого понятия, что для приготовительного класса правильно, но не выше. Она однако и знать не знает никакого «выше».

Насчет «Младых лет» дело обстоит так — книга начерно написана. Я бы мог в два месяца подготовить ее к печати, если бы нашел издателя[4]. О серебряном веке там куда меньше говорится, чем в «Зимнем солнце», которое ведь не издано, а полуиздано. Вот пусть его издадут по-настоящему в Самиздате, которому я могу представить освобожденный от множества опечаток экземпляр.

Пишите, милый поэт. Я в Париже до 5 сентября. Сердечно Ваш В. Вейдле.

P.S. Роман длинный мой «Вдвоем друг без друга»[5] больше, чем наполовину, написан, но в Испании я, неожиданно, стихи писал.

[1] Сломал руку.

[2] В «Новом русском слове» за 19 января 1978 года было напечатано интервью В. Вейдле «О кризисе культуры». Мы его публикуем.

[3] Стихотворение «Я недавно коробку сардинок открыл...».

[4] Издателя не нашел.

[5] Роман опубликован в «Новом журнале». 1979. № 135, 136. В последние годы жизни Вейдле начал писать прозу: романы «Вдвоем друг без друга», «Белое платье». Чиннов считал, что беллетристика удается Вейдле гораздо хуже, чем критические и научные статьи, и в письмах к Вейдле писал, что именно в статьях он непревзойденный мастер.

Париж. 1 сентября 1978

Дорогие друзья,

милый Поэт и Егорушка, друг сердешный, оба вы мне голову вскружили насчет того, что иные писания мои могли бы выйти в Самиздате. Вот я вам обоим и пишу сие простодушно-рассудительное послание.

Вот почти что готовая уже книжка, страниц в сто:

«Распознание имен»

1. Новогодняя речь о свободе (была напечатана в Н.Р.С.)

2. Слова-кулаки, слова-ярлыки (дописывается)

3. Пять скользких слов (пять статей в Н.Р.С.)

4. Враждующие близнецы (три главы — шесть статей в Н.Р.С.)

5. Благообразие (было напечатано в «Вестнике Р.Х.Д.»)

6. Вера. Религия. Культура (доделывается, частью появилась там же, давно)

Если по-вашему это пригодно, могу соответственные вырезки, фото- или машинокопии прислать одному из вас уже из Испании, куда уезжаю на днях, до 15 октября. Созвонитесь и напишите мне туда.

Мыслю и другую книжку того же размера, состоящую сплошь из кратких записей. Туда пошли бы «Поздний ропот» и «Из архива страшного суда» (Н. Ж.). Плюс такие же неизданные четыре главы. Все вместе называлось бы «Поздний ропот», а то и более плакатно: «Россия. Революция. Религия». Эта книга тоже почти готова к печати. Первая заставит думать, вторая — кто знает — то ли покажется излишней, то ли «ударит по сердцам с неведомою силой». Не мне судить.

Итак, подумайте оба и сообщите о результатах раздумья. Практический вопрос. Удобно ли посылать издателю газетные вырезки? Сам все переписать не могу, а на переписчицу денег нет.

Прилагаю и по личному письму каждому.

Старичище ВеВеище, не преминув похвастать — немецкий издатель предложил ему в книгу собрать все его немецкие статьи — руку приложил — В. В.[1]

[1] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 61 письмо и 12 открыток В. В. Вейдле.

ПРОФ. В. В. ВЕЙДЛЕ О КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ*

Понятия **культура** и **цивилизация** всегда различались, но по-разному в разное время. Незадолго до Второй мировой войны был во Франции даже созван съезд для истолкования этих понятий. Они, конечно, родственны, но не тождественны. В общих чертах и не вдаваясь в подробности, **культура — это то, что проистекает из религии и во что входят все искусства.** Цивилизация от религии более отдалена. В цивилизации важную роль играют общественная жизнь, ее устройство, ее порядки, форма государства и, конечно, науки, особенно прикладные, т. е. техника. Цивилизация может обходиться одними рассудочными категориями и понятиями, т. е. такими, которые так или иначе доказуемы либо математической дедукцией, либо опытным путем. Тогда как то, что образует культуру, поскольку она отличается от цивилизации, не подлежит ни дедукции, ни проверке опытом.

Это значит, что культура затрагивает не одну лишь интеллектуальную сторону духовной жизни человека. В культуру входит все то, что обычно называется **душой.** Я считаю, что в наше время в кризисном состоянии находятся и культура, и цивилизация. Цивилизация сравнительно недавно, культура — давно. Так, первая еще не находилась в кризисе до войны 14 года, тогда как культура находится в нем с конца XVIII века. Кризис культуры обнаруживается прежде всего в судьбе искусств.<...>

Искусство XVI–XVII веков было проникнуто религиозным чувством жизни, природы, человека. А Рембрандта я считаю не только гениальнейшим художником, но и настоящим религиоз-

* Интервью из газеты «Русская мысль» от 19 января 1978 года. Подготовлено К. Померанцевым. Печатается в сокращении.

ным гением. Протестантство не создало такого второго религиозного гения не только в живописи, но и вообще.

Дальнейшее развитие современной живописи в ее крайних формах, начиная с отказа от изображения, как у нашего Кандинского (одного из первых), затем Малевича и западных мастеров, равняется отказу от слов в искусстве слова. Пусть слово и сказано, но на языке, не известном никому. Как же мне его понять?

Формы, краски могут быть приятны — или устрашающи — но этого мало. Прежде художник что-то высказывал, что было понятно и другим людям. Нынешние молчат или нечленораздельно кричат.

— Почему же все это произошло?

Из-за ослабления духовного момента в жизни человечества. Изменения произошли даже в области чистой науки: они обесчеловечили науку. Все происходит так, словно математики, физики, химики не понимают сами того, что открывают, не могут всего этого изложить на человеческом языке. На съезде в Мюнхене в 1960 году, где выступал, как и я, знаменитый физик Гейзенберг, он мне сказал, что в институте Планка, где под его руководством работает ряд физиков и математиков, он понимает лишь некоторых, тогда как в работах других он не понимает ничего, не понимает даже их математические расчеты. Результаты, что и говорить, налицо: ядерные бомбы, космические полеты... Ньютоновская физика была еще грандиозной картиной мироздания (правда, Ньютон был еще и богословом, во всяком случае, верующим человеком). Но теперь наблюдается другое. Научная мысль как бы перестает быть человеческою мыслью, отрывается от человека, забывает человека.

В. Вейдле

ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА*

<...>Помню, что в ранней юности моей, около 1910 уже года, это чувство нового начала ощущал я, как и многие мои сверст-

---

* Печатается в сокращении. По тексту сборника статей под редакцией Н. П. Полторацкого «Русская литература в эмиграции». Питтсбург, 1972.

ники, очень сильно, на прошлое, до меня бывшее, оглядывался со снисходительной улыбкой, и двадцатый век девятнадцатому отчетливо предпочитал. В России тех лет чувствовать так было вполне естественно: открывались новые возможности, подъем ощущался во всех областях жизни, и прежде всего духовной жизни.

Понимаю это чувство, сочувствую ему и сейчас. Будущее, предчувствовавшееся тогда, и сейчас ощущаю, утверждаю. Оно не сбылось. Даже и образ прошлого, то есть традиции, из которого вырастала эта новизна, вновь подвергся искажению. Запоздалые шестидесятники, полуинтеллигенты, пришедшие к власти после «Октября», вновь лишили Россию тех благ, к которым она и привыкнуть не успела. Началось новое оскудение, и уже безо всяких искупляющих его Достоевских и Толстых.<...>

Не все серебро «серебряного века» было вывезено в эмигрантских чемоданах, и не все, вывезенное в них, было серебром. Захолустье тоже не сплошь осталось у себя дома. Рубеж оказался рубежом между стариной и новизной,— пусть и относительной новизной: обновляющей старину, а не рвущейся ее уничтожить.

В Советском Союзе тех лет уже выпалывали всяческую новизну, и столь же усердно выкорчевывали традицию, или, по крайней мере все то, что в ней шестидесятничеству противоречило или хотя бы с ним не совпадало. Задачей эмиграции было и традицию сохранить, и новизну оберегать. Коренного противоречия тут нет. Традиция без обновления не жива, а при ее отсутствии и обновлять нечего: таланту не от чего оттолкнуться, как и не к чему примкнуть. Но традиция и обновление составляют все же, хоть и неразрывное, но двустороннее единство, и совершенно ясно, что эмиграции, желавшей сохранить свою русскость, его обращенная к прошлому сторона представлялась поначалу и дороже, и нужней <...>.

Можно пожалеть, что лучший журнал эмиграции между двух войн, «Современные записки», как и лучшая газета, «Последние новости», руководились не литературными людьми и не людьми, вполне понявшими и принявшими обновление нашей литературы, совершившееся незадолго до того. Шестидесятничество, хоть и не столь малограмотное, как у новых хозяев страны, и ими еще владело. Но печатали все-таки и в журнале, и в газете, Набокова <...>. Бунин лучшее им написанное — и самое «новое», впервые определившее подлинное его место в истории нашей литературы, — написал будучи «белоэмигрантом» (как и Герцен, в другие времена, будучи красноэмигрантом).

О Мережковском, Гиппиус, пожалуй и о Ремизове, этого нельзя сказать, но позволительно разве написанное ими за рубежом вычеркнуть из русской литературы? Или из русской поэзии — Ходасевича «Европейской ночи», Георгия Иванова как раз последних его лет, пражскую, потом парижскую Цветаеву? <...> Русская литература двадцатого века, где бы ни писались ее книги, к понятию «советская литература» сведена не может быть. Пусть «советская» остается при Шолохове, а эмигрантская (поскольку оба термина применяются полемически, а не топографически) при столь похожем на него генерале Краснове. Это будет и с точки зрения традиции или новизны вполне уместно. Традиция — не повторение пройденного, как у этих двух авторов, не седьмая вода на толстовском киселе; а новизна — не новаторство <...>.

Позже, когда вышла «Жизнь Арсеньева», я не раз думал, что в ней не меньше новизны, хоть и совсем другой, чем в «Защите Лужина» или «Даре». Взаимоотношение новизны и традиции гораздо сложней и вообще, чем обычно думают. Бывало новое у Поплавского, на основании раннего Блока и чего-то на лету схваченного французского. Было у Штейгера, у несчастного Одарченки, почти целиком выцеженное у обоих из стихов Адамовича и его суждений о стихах. Было и есть той же «нотой» питаемое, нынче весьма осложненное, у Чиннова; очень (без «ноты») прихотливое у Иваска и (совсем по-другому) у Моршена. У Елагина, *его* новое возросло на «советской» всецело основе, чем средостение еще раз отрицается. И о прозе, в заключение скажу, что неповествовательная (то есть без вымысла обходящаяся) ее отрасль, столь долго находившаяся у нас в загоне, именно за рубежом дала новые ростки (в «Комментариях» Адамовича, например, а также у Ходасевича, Муратова).

Когда-нибудь, может быть, в этом, нашем веке, будет подведен итог всей этой запутанной игре преемственности и новизны. Тем более запутанной, что происходила она, едва только первая четверть века подошла к концу, по обе стороны «рубежа», в условиях болезненных и жестоких. <...> Но, главное, не сомневаюсь, что никакой справедливой оценки не будет дано, никакого итога не удастся подвести, пока самый рубеж этот не будет осознан в своей хоть и реальности, да никчемности. Был он, и не было его. Были сталинско-ленинские премии, был хлам, и с нашей стороны был хлам; но не было двух литератур, была одна русская литература двадцатого столетия.

В. Вейдле

ПОХОРОНЫ БЛОКА*

Кое-где вдоль Невского на домах были расклеены белые бумажки. Выйдя из вокзала, я почти сразу их заметил, подошел к одной из них и прочел мелким шрифтом напечатанное извещение: умер Александр Блок, панихида тогда-то, погребение там-то, тогда-то.

Сорок лет прошло с тех пор. Было девятое августа. Три дня я провел в поезде: в Петербурге не был с апреля. Надо было занести вещи домой. Оттуда я пошел прямо к нему на квартиру.

Тогда я еще только собирался стать писателем. Никогда у него не был, не встречался с ним, да и видел только два раза издали, когда он читал стихи, один раз «Под насыпью, во рву некошенном» и еще что-то из третьего тома, другой раз недавно, перед самым моим отъездом, третью главу «Возмездия». Неподвижный, сухощавый, прямой, он читал своим глуховатым голосом ровно, почти не меняя интонаций, и все же с предельной их точностью и выразительностью.

Отец лежит в «Алле роз»,
Уже с усталостью не споря...

Читал, как этого больше никто прочесть не сумеет. Такого чтения стихов и раньше мне слышать не доводилось, и позже не довелось.

Вид у него и тогда уже был измученный, обреченный. Но теперь его нельзя было узнать. Это темно-желтое, кости да кожа, чужое лицо в гробу... Похожим могло быть разве что лицо рембрандтовского блудного сына в Эрмитаже до того, как он склонил колени и припал к груди отца.

Панихида только что кончилась. В полутемной комнате оставались близкие, женщины с платками у глаз, в глубоком трауре. Но были и такие как я, знавшие его только по стихам. Я постоял немного, подошел, нагнулся над ним, поцеловал его сложенные на груди руки и вышел поскорей на лестницу.

---

* Глава из книги В. Вейдле «О поэтах и поэзии». Париж, 1973.

Потом мы его хоронили; десятого; на другой день. «Мы», то есть все в тогдашнем Петербурге, кто был причастен к литературе и просто кому дорог был Блок и дорога была поэзия. Нас было много. Гроб мы несли на руках, сменяясь по четверо, от дома на Офицерской до Смоленского кладбища. Вспоминая об этом, слышу внутри себя его голос, читающий «Возмездие», и чувствую до сих пор на плече тяжесть его гроба. Два раза со мной рядом нес его Андрей Белый, и мне казалось, что своими водянистыми, зелено-прозрачными глазами он глядит прямо перед собой и не видит никого и ничего. Помню бледность Ахматовой и ее высокий силуэт над открытым гробом, в церкви, после отпеванья, когда мы все еще раз подходили и прощались с ним.

На следующее утро я пошел к нему на могилу, но еще издали увидел сухонькую фигурку в черном, склонившуюся у креста. Кто же, как не мать его, могла еще так плакать, так молиться? Лучше было уйти, горю ее не мешать.

* * *

Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше — за всю страну и отозвавшееся по всей стране — значило все-таки не одно это, не одним этим было вызвано. Провожая его к могиле, мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, что было ему и нам всего дороже, все, что сделало его тем, чем он был, и что сделало нас, все, чем мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разрушена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в русской поэзии, все равно говорит ли эта поэзия прозой или стихами. Неся его гроб, мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия — нечто более хрупкое, чем видимая. Пусть и не отдавая себе в том ясного отчета, мы скорбели именно о ней. Мы не предполагали, конечно, что больше не будет выходить книг, что литература кончится, или, хотя бы, что больше не будут писать стихов (зная, что всего, высказываемого стихами, прозой высказать нельзя). Мы только думали, что общий смысл всего публикуемого в стихах и прозе начал уже меняться, будет меняться еще больше, и что смерть Блока — нечто очень важное в ходе этих перемен.

Что бы мы ни думали, каждый в отдельности, это оставалось общей нашей думой. Перемены были таковы, что в их результате. — мы это видели и знали, что Блок это видел (стал видеть в последние два года перед смертью) — намечался полный разрыв не с одним лишь государственным и общественным строем нашего прошлого, но и с той любимой нами невидимой Россией, которой перемены эти сулили если не истление, то немощь и немоту. Всей русской письменности предстояло жить в таких условиях, в каких она никогда раньше не жила, ей грозила неволя, какой она никогда, хотя бы и в худшие, давно прошедшие времена, не знала. Настоящего представления об этой новой неволе у нас тогда еще не было. Свобода слова в то время еще не совсем была отменена. Нельзя было высказывать политических мнений слишком для власти неприятных, но на другие темы можно было писать и печатать почти все, что угодно, а главное еще не давалось положительных распоряжений насчет того, о чем — да и еще как именно — следует писать. Эта относительная свобода не сразу исчезла и после смерти Блока, удержалась до середины, а в жалком остатке и до конца двадцатых годов. Однако предвидеть это исчезновение можно было давно, — или почувствовать, даже и не обладая тем особым внутренним слухом, который у Блока был неотделим от его поэтического дара. Пушкинская его речь «О назначении поэта», и прежде всего о свободе поэта, произнесенная всего за полгода до его кончины и повторенная три раза, была самым точным и для всех самым очевидным выражением этого предчувствия.

От предчувствий такого рода он и занемог, от них и вкус к жизни потерял; и еще оттого, что пришли они к нему все-таки слишком поздно. Слушал он, слушал «музыку революции» и других призывал слушать, а этого в ней не расслышал. Когда именно он стал это слышать, никто в точности не знал, не знает и теперь, но что услышал, это было известно всем сколько-нибудь к нему близким и всем, кто с этими близкими был знаком, а после пушкинской речи в этом и вообще нельзя было больше сомневаться. Шедшие за его гробом не сомневались, но и никто из них, я думаю, не истолковывал того, что с ним произошло, так лубочно, как это делалось иногда впоследствии. Мы знали: от «Двенадцати» он не отрекся. Возвращения к прошлому, столь ненавидимому им, справедливо или нет, он желать не мог. В «Записке» о своей поэме, помеченной 1-ым апреля 1920-го года, впер-

вые опубликованной в 1922-ом году и которую столь неохотно и с такими пропусками печатают в советских изданиях, он высказывается вполне ясно: «Поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над ними. Я смотрел на радугу, когда писал "Двенадцать"; оттого в поэме осталась капля политики». После чего он спрашивает себя о будущем поэмы, но тут же замечает: «Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией». Отчего же «теперь» с иронией? Оттого, что понял: то будущее, ради веры в которое написана поэма, еще во всяком случае очень далеко, а путь, по которому решено идти к нему, таков, что он-то как раз и делает это будущее недостижимым или для поэта неприемлемым. В пушкинской речи он говорил, не в прошедшем времени, а в настоящем, о чиновниках, «которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу». И все мы слышали или читали, все мы помнили слова, сказанные им в той же речи: «Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».

Мы знали, почему Блок умер, и знали, что его не уберегли. Знали, как тяжело ему было последние годы от всего, что творилось кругом, от всего, что он почувствовал, услышал вопреки и наперекор «Двенадцати», так тяжело, что эта душевная боль привела его к болезни, или помешала бороться с ней, и ускорила его кончину. Знали также, что когда он слег, стали хлопотать о его выезде за границу для леченья, и что разрешение на этот выезд долго не приходило, а пришло, когда он умирал. Знали и о встрече, которую приготовили ему за пять месяцев до смерти, в московском «Доме искусств», молодые и называвшие себя революционными литераторы, кричавшие ему, уже больному, что стихи его — никому не нужное старье и сам он — живой труп, мертвец. Слова эти он принял как правду: да, мертвец. Передавали, что и сам незадолго до смерти сказал: «Россия меня слопала, как глупая чушка своего поросенка». Та ли это была Рос-

сия, которая его родила? В этой странной России, съевшей или заспавшей его, много ли места осталось для русской поэзии?

Наша грусть от этого не становилась светлее. Нет, не его одного провожали мы в тот день на кладбище. Издалека, со стороны ничего не стоит, разумеется, сказать, что грусть наша была преувеличена, опасения напрасны. Разве со смертью Блока перевелись на Руси поэты? Он был драгоценнейшим — и младшим — в том их поколении, которое создало наш «серебряный век»; но разве следующее, шедшее на смену поколение не расцвело как раз к тому времени, когда его не стало? Разве Ходасевич, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак не в двадцатые как раз годы дали лучшее или многое из лучшего, что ими было вообще написано? А Есенин? А Маяковский? Да еще и другие. И не одними ведь стихами живет литература, а проза после 21 года разве не была интересной и живой? На это, мне кажется, я могу ответить от имени всех, кто вместе со мной шел за гробом Блока и с тревогой думал о будущем: да, эти возражения и нам казались вескими, мы и сами утешались ими; после похорон утешались, но именно тогда, в двадцатых годах, в начале двадцатых годов. После утешаться ими становилось все трудней. Двадцатые годы двигались в очень определенном направлении: от стихийных бедствий и бессистемных свирепств к систематическому искоренению всех попыток мыслить по-своему и всякой возможности делать свободно свое писательское дело. Символически — и вполне точно по датам — это можно выразить так: двадцатые годы шли от расстрела Гумилева к самоубийству Маяковского. И середину их тоже весьма точно можно определить: это год, когда повесился Есенин.

Угасание Блока было предвестием. Через три недели после его смерти убили Гумилева: как политического врага; в его лице была убита несогласная с революцией поэзия. В лице Есенина покончила с собой революционная, но обманутая революцией крестьянская, пусть и несбыточная, мечта. В лице Маяковского поэзия, всего теснее связанная с революцией, но полностью исчерпанная и упершаяся в тупик, сама на себя наложила руки. К тому времени Мандельштаму, Ахматовой, Пастернаку заткнули рот, а Ходасевич, Цветаева были за границей, и в Россию их стихов не пропускали. Проза к тому времени становилась там все менее живой и интересной, а советская литература следующего десятилетия, сравнительно с предыдущим, вся в целом пред-

ставляется в высшей степени серой и казенной. О дальнейшем не говорю ничего, но неудивительно, что с середины пятидесятых годов молодое литературное поколение так жадно тянется к двадцатым, или к Пастернаку, прославленному уже тогда, и некоторым его сверстникам. То поколение было последним, которому дано было высказать свое, вместо того, чтобы полусвоими словами пересказывать чужое. Те годы, двадцатые, для нынешней молодежи, это годы, когда слово не было еще удушено. Только это все-таки годы, когда его удушали и удушили.

Нет, наше чувство было верным, когда, оплакивая Блока, мы скорбели не о нем одном. И тем более оно было верным, что и тогда уже очерчивалось, а вскоре и совсем определилось то разделение русской литературы надвое, которое, конечно, ни частям, ни целому счастья принести не могло. Для всех пишущих по-русски оно было и есть несчастье. Литературу нашу оно калечит, и если что в нем хорошо, то разве лишь то, что две ее части калечит оно по-разному. Никто не может судить и тем более осуждать ни тех, что ушли, ни тех, что остались. Одни знали, что нельзя им оставаться, другие знали, что нельзя им уходить. Слава Богу еще, что некоторые из оставшихся написали как-никак, хоть и почти чудом иногда, то, чего не написали бы, если бы не остались (например, «Доктора Живаго»). Слава Богу, что некоторые из ушедших завершили то, чего не написали бы, если бы не ушли (хотя бы потому, что жизнь их кончилась бы раньше). Там литературу нашу (усерднее всего поэзию) душили; здесь она задыхалась от узости круга, в котором пришлось ей жить: писательского, читательского, вообще русского, при разбросанности и относительном немноголюдьи нашего зарубежья. Быть может, когда-нибудь соберут ее обломки по обе стороны границы, отбросят рабское, захиревшее, пустое, и тогда увидят, что в глубине все же не две их было, что она была одна. Одна, как ее видели те, что потом ушли, и те, что остались, когда вместе хоронили Блока.

* * *

Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце в муке погасшее...

Во всей истории нашей не было таких похорон. Пушкина тоже не уберегли. Пушкина любили. Но, прощаясь с Пушкиным, прощались все же только с ним. Тут было другое прощание: оно продолжается по сей день. И если бы, после стольких лет, Бог весть какими судьбами, я повстречался снова с Анной Андреевной Ахматовой, или наши тени повстречались бы в Елисейских полях, я уверен, она согласилась бы со мной, что прощание это еще не кончилось.

ДМИТРИЙ КЛЕНОВСКИЙ

Дмитрий Иосифович Кленовский (настоящая фамилия Крачковский) — поэт — родился в 1893 году в Петербурге. В эмиграции — с 1941 года. Жил в Германии. Первый поэтический сборник вышел в России, остальные одиннадцать появились уже в эмиграции, где Кленовский получил известность как поэт и в середине двадцатого столетия верный традициям акмеизма. После смерти Г. Иванова в прессе развернулась полемика — может ли Кленовский претендовать на ивановское «кресло первого поэта эмиграции».

Известный в то время критик, литературовед и писатель Н. Ульянов считал, что — может. В «Новом русском слове» (14, 18 декабря 1958) и потом в «Новом журнале» он писал: «Не много в наши дни найдется мастеров такого чеканного, простого, но сильного стиха... Правда и простота, в соединении с изысканностью, составляют неотразимую прелесть образов Кленовского». Который к тому же «знает какую-то тайну мира и человека. В его стихах можно подметить подобие учения. Оно связано с перевоплощениями, со странствием души через миры и времена...» А относительно того, велика ли «заслуга выступить через тридцать лет продолжателем отошедшей в историю школы, не принявши во внимание совершившегося с тех пор литературного прогресса», — Ульянов замечал: «Но кто сказал, что последние тридцать лет означают прогресс?» («Новый журнал». 1960. № 59).

С точкой зрения Ульянова, — и относительно Кленовского, и относительно вообще поэзии последних тридцати лет, — в эмиграции далеко не все были согласны. Завязалась дискуссия. И. Одоевцева возражала, выступив со статьей «В защиту поэзии», где она развеивала миф о каком-то особом «признании» Кленовского Георгием Ивановым. Она писала, что когда Иванов впервые прочел стихи Кленовского, он «действительно ахнул, особенно понравился ему образ ангела-лебедя[1]*. Откуда у молодого ди-пи*[2] *этот культурный тон, эти акмеистические приемы, эти дореволюционные манеры? «Читаю и*

---

[1] Строки из стихотворения «Долг моего детства». Оно публикуется ниже.

[2] Ди-пи — аббревиатура английского «displaced person» — перемещенные лица. Так называли эмигрантов, оказавшихся за границей в сороковые

молодею, — говорил Георгий Иванов, — будто сейчас 13-й год, и я читаю стихи Кленовского в каком-нибудь "Альманахе Муз". Впрочем, они и в "Аполлоне" могли бы печататься. Из него безусловно выйдет толк». С такими чувствами Георгий Иванов и написал о Кленовском — «он наш»[3]. *Узнав же о более чем почтенном возрасте Кленовского, Георгий Иванов потерял к нему интерес: — «"Ларчик просто открывался — Кленовский продолжает писать, как в молодости, ничему не научившись и ничего не забыв", — говорил Георгий Иванов...» («Русская мысль». 1959. 12 марта).*

И. Чиннов не очень ценил Кленовского как поэта. Глеб Струве, наоборот, горячий поклонник поэзии Кленовского, даже невзлюбил из-за этого Чиннова. Кленовский в свою очередь тоже к поэзии Чиннова относился с неодобрением. Особенно не нравились ему более поздние, новаторские стихи Чиннова, о чем он писал в письмах своему другу и поклоннику архиепископу Иоанну (Шаховскому): «Стихи Ч.<иннова> в № 90 "Н. Ж."[4] *огорчили меня очень... Поистине, нужна молитва о поэтах... Кому, как не Вам ее составить и читать! А ведь началось все с надуманности и жеманства — и вот как малый грех постепенно привел к большому! А когда-то поэт хорошо писал о стране, "где даже одуванчик сохранится", о пуле-желуде и "острый угол подушки, как больное крыло"»*[5]. *На что архиепископ Иоанн ему ответил: «Сетование на поэта может быть высшей любовью к нему и к его поэзии. Особенно, если это подлинный поэт, как в данном случае»*[6]. *Чиннов вспоминал, что когда Ю. Иваск был в Мюнхене, они вдвоем хотели навестить Кленовского, жившего с женой в Германии, в доме для престарелых. Но потом передумали — им сказали, что Кленовский расценивает всех гостей как «приехавших на поклон к великому поэту». Д. И. Кленовский умер в 1976 году в Германии.*

годы, во время войны. Это были люди уже советского поколения, т.е. более молодые, чем эмигранты эпохи революции.

[3] В статье «Поэзия и поэты» (Возрождение. 1950. № 10).

[4] В «Новом журнале» (1968. № 90) напечатаны стихи И. Чиннова: «Мне даже думать об этом странно...», «Да, неудачи, и ночь, и так далее...», «Мотаться нам да маяться...», «Ну что — отмучился? Залогом примирения...».

[5] Приведены строки из стихов И. Чиннова «В безветренных полях еще весна...», «Мы были в России — на юге, в июле...», «Острый угол подушки...».

[6] После смерти Д. Кленовского архиепископ Иоанн (Странник) издал книгу «Переписка с Кленовским» (Париж, 1981). Письма цитируются по этой книге.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

22.5.1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за сведения об издании книги! Цена как будто не дороже, чем у Башкирцева. Правда, я печатал у него книги более высоким тиражом (700–800 экз.) и, между прочим, не напрасно. На днях я к великому своему удивлению узнал, что в магазинах моего «Навстречу небу»[1] больше нет (только в «Посеве» несколько экземпляров), а заглянув в свой склад, увидел, что располагаю лишь полутора десятком экземпляров, т. е. книгу надо считать распроданной. Да и «Неуловимого спутника»[2] осталось уже мало. Я считаю, что тираж 350 экз. для такой книги, как Ваша[3], недостаточно высок. Отовсюду я слышу о ней самые наилучшие отзывы. И оформление очень всем нравится. Я, между прочим, запросил Бутова, примет ли он заказ на мою книгу, но он не отвечает.

Есть у меня к Вам просьба. Один мой знакомый, а Ваш большой почитатель, мечтает о Вашей новой книге, но не имеет средств ее купить. Не пожертвуете ли Вы ему экземпляр? Будем Вам за это очень признательны. Но за отказ, если у Вас почему-то не будет возможности послать книгу, конечно, никак не обижусь. Кстати: где можно в USA купить Вашу книгу? Меня кое-кто об этом запрашивал. Адрес упомянутого выше лица: M. V. Mort. 113 — 13th ave, East Seattle 2, Wash. USA.

Сердечный привет. Д. Кленовский.

[1] Книга стихов была издана в 1952 году во Франкфурте-на-Майне.

[2] Книга стихов, издана там же в 1956 году.

[3] Вторая книга стихов И. Чиннова «Линии» (Париж: «Рифма», 1960).

23 октября 1965 г.

Дорогой Игорь Владимирович!

Получил Ваш внимательный отклик на мой новый сборник[1]. Ваши слова об «убедительности переживания» в моих стихах

12.7.55

Глубокоуважаемый

Игорь Владимирович!

Спасибо, что прислали „скрипт". Отлично понимаю всю специфичность подобного рода миниатюр, т.ч. извиняетесь Вы, право, напрасно!

Охотно оставлю Вам эти мои книги. Жалею, что не могу заменить их лучше сохранившимися экземплярами. М.б. и Вы в свою очередь побалуете меня „Монологом" (если, конечно, им еще располагаете)? Я его читал, но не имею. Был бы весьма признателен!

Знаете-ли Вы в Зап. Германии какую-нибудь другую, кроме „Посева", русскую типографию, заслуживающую доверия? Если да, не откажите в любезности сообщить мне адрес. Дело в том, что „Рифма" согласна на то, чтобы мой третий сборник был напечатан в Германии (для меня это очень важно; я смогу лично проследить за всем), и я сейчас ищу типографию. Запросил, конечно, „Посев", но слышал, что он перегружен заказами и вряд ли согласится.

Сердечный привет!

Искренне преданный Вам

Д. Кленовский

Письмо Д. Кленовского к И. Чиннову от 12 июля 1955 года

было мне особенно приятно услышать. Не только достоинства образов и формы, именно убедительность мысли в стихах есть то, чему я придаю особенное значение, и я рад, если вы как раз это в моих стихах почувствовали.

Я рад, что Ваше письмо дает возможность зачеркнуть в наших добрых отношениях один давнишний эпизод, являющийся сплошным недоразумением. Уверяю Вас, что не дав Вам в руки тетрадь с прочитанными оттуда у Ржевских стихами, я никак не руководствовался опасением, что Вы покуситесь на плагиаторство! Уж кому-кому, а Вам нет никакой надобности пользоваться чужим поэтическим имуществом, — Вы достаточно богаты сами! Я не дал Вам стихи в руки исключительно только потому, что не все в тетради считал годным для опубликования, а следовательно, и для прочтения, и не хотел, чтобы Вы, просматривая тетрадь, на такие стихи натолкнулись.

Спасибо за откровенное признание в отношении моих стихов о России[2], включенных в сборник «Неуловимый спутник». Струве мне никогда Вашего мнения об этих стихах не передавал — он человек исключительно корректный насчет хранения в тайне чужих высказываний. Поверьте, что Вашим суждением я никак не обижен, тем более, что и сам к этим моим стихам более, чем равнодушен. Но вот какой курьез: Ольга Анстей особенно восхищалась стихотворением «Когда вернусь»! Занятна эта разноголосица симпатий и антипатий в отношении одного и того же стихотворения! Это же самое повторяется в отношении ряда стихов из моего нового сборника.

Обогнать числом изданий своих собратьев по перу — невелика удача, и поздравлять тут собственно не с чем! Я против лежания стихов под спудом, если считаю их доброкачественными. А удается мне издавать сборники, во-первых, потому, что обычно помогают в этом деле материально мои друзья, а, во-вторых, потому что все мои издания до сих пор хорошо расходились и себя в значительной части окупали. Я жалею, что эмигрантские поэты, причем лучшие, словно не заинтересованы в издании своих стихов! Вот Моршен выпустил за 20 лет одну книгу[3], Ольга Анстей не издавалась с 1949 года[4], да и Вы, располагая достаточным количеством превосходных стихов, тоже медлите... Может быть, моя «поспешность» вызвана старостью и ощущением приближающегося конца, о чем «молодежи» (к таковой в эмиграции относятся

поэты и писатели моложе 50 лет!) еще рано думать. Жму руку. Искренне Ваш Д. Кленовский[5].

[1] Д. Кленовский «Разрозненная тайна» (Мюнхен, 1965).

[2] Вот начало стихотворения о России, которое имел в виду И. Чиннов (оно называется «Когда вернусь»):

«Мачеха в дом мой родной вошла,
Свела наговором отца в могилу,
С жабьей начинкой пирог спекла
Лампаду задула и котят утопила.

С ней мне не жить! И подался прочь
Нищим мальчонком, босым и рваным,
В черную, злую, глухую ночь,
В черные, злые, глухие страны...»

[3] Книга Н. Моршена «Тюлень» (1959).

[4] Книга О. Анстей «Дверь в стене» (Мюнхен).

[5] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 5 писем Д. Кленовского.

Дмитрий Кленовский

СТИХИ

* * *

Мы с тобою ее запомнили,
Эту медленную весну:
Гиацинты на подоконнике,
Восковую их белизну.

А за ними весь в колких лужицах,
Тихий дворик, московский, тот,
Что, — прикажет весна, — закружится,
Защебечет и зацветет.

С Новодевичьего, с соседнего,
Мирно пели колокола.
И любовь наша тоже медленной,
Вот как эта весна, была.

Все прилаживалась, примеривалась,
Подмерзала то там, то здесь,
Чтобы, словно сперва не веря в нас,
После вдвое щедрей расцвесть.

... Вспоминаешь, и в сердце — лужицы,
Гиацинты, колокола,
И та девушка, в косах, в кружеве,
Что тобою тогда была.

«Новый журнал». 1952. № 29

ДОЛГ МОЕГО ДЕТСТВА

Двоился лебедь ангелом в пруду.
Цвела сирень. Цвела неповторимо!
И вековыми липами хранима
Играла муза девочкой в саду.

И лицеист на бронзовой скамье,
Фуражку сняв в расстегнутом мундире,
Ей улыбался, и казалось: в мире
Уютно как в аксаковской семье.

Все это позади. Заветный дом
Чернеет грудой кирпича и сажи,
И Город Муз навек обезображен
Артиллерийским залпом и стыдом.

Была пора: в преддверьи нищеты
Тебя земля улыбкою встречала.
Верни же нынче долг свой запоздалый
И, хоть и трудно, улыбнись ей — ты.

Из антологии «На Западе». Нью-Йорк, 1953

* * *

Когда-нибудь (быть может, скоро)
На том, нездешнем, берегу,
На том единственном, который
Себе в наследство берегу, —

Я обернусь и вдруг замечу,
Что, труден и неумолим,
Но этот путь мой человечий
Был все-таки необходим.

Что в тесноте земных свершений,
В борьбе мужей, в объятьях жен,
В огне молитв, в бреду сомнений
Я слеплен был и обожжен.

И уходя теперь отсюда,
Я вижу: мы бы не смогли
Небесного коснуться чуда
Без страшной помощи земли.

Из кн. «Разрозненная тайна». Мюнхен, 1965

АРХИЕПИСКОП ИОАНН САН-ФРАНЦИССКИЙ (ШАХОВСКОЙ)

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской (поэтический псевдоним — Странник) родился в Москве в 1902 году. Учился в Александровском лицее. В 1920 году эмигрировал. Окончил Лувенский университет в Бельгии. До принятия монашества выпустил три сборника стихов под своей фамилией. В 1926 году на Афоне принял монашеский постриг и поступил в Русскую духовную академию в Париже. С 1932 года назначен настоятелем Свято-Владимирской церкви в Берлине. В 1946 году переехал в США, где был священником, а потом архиепископом Сан-Францисским. Издал несколько богословских книг, мемуары, исторические и литературоведческие труды. Под псевдонимом Странник выпустил ряд поэтических сборников.

И. Чиннов в некрологе памяти архиепископа вспоминает, что владыка Иоанн «был интеллектуалом. Но немалый свой культурный багаж он не выпячивал, и его беседы по "Голосу Америки" были понятными, доходчивыми, как и его стихи.<...> Архиепископ, пишущий стихи, это редкость, и хотя его поэзия была гимном Творцу и красоте Божьего мира, кое-кто его корил за "приверженность мирской суете". Между тем его творчество предельно аскетично. В одном из последних писем ко мне он писал: "Мне от поэзии теперь не нужно ничего, кроме простоты". Только раз я видел его — молодого. В нем была одухотворенность, внешнее и внутреннее изящество. Он был явлением эстетического порядка. <...> А людей нашего круга в эмигрантской литературе с его уходом почти не осталось. Одним из последних был Дмитрий Кленовский, переписку с которым владыка издал отдельной книгой <...> О владыке Иоанне — Страннике можно было бы сказать еще много. Но сейчас хочется просто повторить о нем его слова из*

---

* Странник. Переписка с Кленовским. Париж, 1981.

“Продолжения лирики”: “Скончавшегося — начавшегося прими, Господи, в Свою жизнь”».*

Дату своей смерти архиепископ Иоанн предсказал за восемнадцать дней. Умер он в 1989 году в Сан-Франциско.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

24 июня 1969 г.

Сердечно благодарю Вас, дорогой Поэт,

за Вашу книгу, на которой столь явственно лежит печать Вашего лица и дара. У Вас есть, если позволите так сказать, особая поэтическая жадность, алчность интегрального «поглощения мира» и — обратное лицо этого дара,— Рог Изобилия, некая ниагарная щедрость, изливающаяся в мир (бумажный и воздушный). Вероятно, некоторые читатели и критики, довольные, не будут ничего с Вас «требовать» большего, чем то, что Вы имеете и даете. Но мы все, пишущие, знаем, что у каждого есть путь вперед. Поэт же всегда пророк иррациональности и проявитель жадности (жажды!) духовной. Но дух его поэзии может меняться в соответствии с духом полнящим, утешающим и мучающим его человеческую душу. Здесь возможен у нас всех и путь высветления, и — обратный. И никакая форма не может заменить человеку его пневматологическую сущность, его дух, степень его освященности духом или отъединенности от Него. Никакие гении словесные — или бессловесные — не способны прикрыть свою пневматологическую реальность...

В Вашей поэтике мне особенно дорого и близко все чуть заметное, полутеневое, полусветовое, в пол- и четверть и восьмушку — световое и теневое... Поэзия есть музыка, какой еще не может быть в музыке на земле. Поэзия распадается на радугу очень многих выражений Света. Так, капля крови дает, при известном процессе обработки, изумительную цветоносную кристаллизацию, показывающую и здоровье, и все болезни человека. В поэзии, вышедшей из притяжения рациональности этого мира

---

* Чиннов И. Памяти архипастыря и поэта // Новый журнал. 1989. № 176.

(тяжелой его словесности), проглядывает всегда эта кристаллизация мира. В прозе она, конечно, тоже бывает (и тогда такие произведения как «Мертвые Души» делаются «поэмой»)... К сожалению, критика литературная обычно очень грубо говорит о литературе и поэзии. Критическая лодка ее часто бывает плоскодонной. И сами поэты втягиваются под эту плоскодонку («социалистический реализм» это лишь логическое развитие привычной для литературы плоскодонности. Оттого в условиях Советского Союза так ценны критики такие, как Лакшин). Вы же прямо вырываетесь, бурля водой, из-под нее и шуршащих под ней камышей, «мыслительных тростников»... Прекрасны Ваши две последние строфы стр. 15 «Метафор»[1] (в первых еще как бы притаился — сидит занозой — старый мир, от которого автор хочет отчалить). Прекрасны стр. 19-ая и 36-ая и 39-ая и 41-ая[2] (всего я не перечисляю).

Менее органичным для автора я бы счел последнюю строфу стр. 27[3], в сближениях ее образов есть (на мое ощущение) насилие: «озеро озарено осанной», «серебрятся рыбы, ветки рая», «ветер воздухом играет», «шевелит немеркнущей осиной». Начало стихотворения сильное. Большая человечность на стр. 28[4]. Только Христос там лишь «душевно» дан, в плане только этого мира. Если из этого мира вырывается сама поэзия, то как же Христа в него замыкать? Милосердие Слова, миры создавшего и в них засветившего, не только в том, чтобы «охранить, спасти» (для этого порядка вещей!) — «непрочный мир непрочных дел», а и для гораздо большего, ради чего пришло Слово в мир... Очень хороши первые строфы на стр. 21-ой[5]. (Я бы даже остановился — на этих двух.)

Надеюсь, Вы простите меня за мою быструю прогулку по миру Вашему и даже некоторое привередничество, может быть, только «старческое» и потому несправедливое. Исправлять всегда хочется лишь хорошее. И такое исправление имеет, конечно, и корыстную цель: прочесть с еще большим веселием следующую книгу этого автора. Если будете в Калифорнии, заезжайте. (Телефон мой в Сан-Франциско: 751-1480.) Обнимаю Вас и желаю светлых сил Вам, Игорь Владимирович. Ваш А. Иоанн.

P.S. На днях был тут в SF один советский писатель-романист (им получена была Сталинская премия) и был у меня, принес письмо — живое, личное и литературное от Евг. Евтушенко... Там все-таки что-то происходит подо льдом.

[1] Стихотворение «Позабудь о грязи и о безобразии...». Последние две строфы:

«...Только так родится чистая поэзия,
Как мерцающая в никуда,
Нет, не путеводная, нет, не полезная,
Но блаженно-нежная звезда.

Все равно ведь — и другой поэзией
Больше ничего не изменить,
И тупое обрывает лезвие
Нежную, страдающую нить».

[2] Имеются в виду стихотворения: «Прости мне те лунные, снежные, синие горы...», «Я знаю — не всё ненужно...», «Сады, цикады, цыгане...», «Увядает над миром огромная роза сиянья...». Большинство из упоминаемых здесь и в других письмах стихов помещены в приложении в конце этого сборника. Те, что в приложение не вошли, можно прочесть в собрании сочинений Игоря Чиннова (М.: Согласие, 2000).

[3] Стихотворение «Слетают желтоватые пушинки...».

[4] Строки стихотворения «А если все-таки война...»:

«А если все-таки — война?
А если — не минует чаша?
Ночь выжидательно темна
И черный сад — как злая чаща.
(А Гефсиманский сад — шумел?)

И странный, тихий спор (ты слышал?):
— Как много надо искупить...
— Как беззащитно спят и дышат...
— Непрочный мир непрочных дел...
Да, все как тоненькая нить,
Но если есть Христос, тогда, ведь,
Он может — правда? — охранить,
Спасти, остановить, исправить?»

[5] Стихотворение «О, душа, ты полнишься осенним огнем...».

13 апреля 1973 г.

Дорогой Игорь Владимирович!

Большая это тонкость вежливости — извиняться за «а» вместо «о»[1]... только поэт, играющий на буквах, как на флейте волшебной, может быть способен на такое «чувство стиля»... Право, «а» — буква предпочитаемая, — в «о» есть что-то холодное, монументальное, — она более к 18 веку русской поэзии относится... Спасибо за Ваши строки. Согласен, что глава «Эйзенхауэр» в этой книге «О ком речь», нечто вроде интермедии, м. б. «отдыха для читателя» (его «душевности» средь мира духовного). Но вряд ли кто (кроме поэта) это заметит... Стихи Ваши «Композиция» — получил и читал их, как «Партитуру», «Метафоры», «Линии» и «Монолог» (значительный в русской поэзии)... В Вас есть большая раскованность, ненадуманность, хотя иногда и «изобразительность» поэтическая (Моршен тут с Вами «состязается», уходя в архитектонику). Материальная толщина страниц, листов книги этой[2] обратно пропорциональна метанию стихов, как бабочек, со страницы на страницу (на поле флоры и электромагнитном). <...>

Вчера был на вечере у Елагина в SF Штатном Университете... Хорошие стихи он читал и читал их мастерски, без монотонности (какая есть у И. Бродского) и без излишних риторических экспрессий... Иван Буркин, поэт и профессор (кто-то недавно сказал: «Все поэты русского зарубежья — профессора, но не все профессора — поэты»), сказал вступительное слово... Я взял с собой на вечер гостящего у меня Дм. Дм. Оболенского (проф. Оксфордского Университета) — он был под сильным впечатлением от стихов Елагина и чтения их автором.

Если будете, Игорь Владимирович, в SF, не минуйте. Желаю Вам сил светлых и композиций. Сердечно Ваш А. Иоанн.

P.S. И. Бродский относит и Елагина и Моршена к поэтам «советского стиля». Не лишенное тонкости замечание. При всей нашей разности, мы с Вами — другого стиля. И важно, чтоб в Зарубежье русском шла поэзия по тому и другому направлениям. Солженицын ценен именно своей советской инаковостью... Нужна инаковость и советская, и другая. Я имею хорошие свидетельства от тамошних поэтов, что они ценят и эту другую.

[1] Видимо, речь идет об обращении «Владыка», которым И. Чиннов начинал свои письма к архиепископу Иоанну Шаховскому. Вариант: «Владыко».

[2] Книга И. Чиннова «Композиция» по типографской ошибке была напечатана на очень толстой бумаге.

Архиепископ Иоанн С. Ф. (Шаховской)

ТАЙНА ВРЕМЕНИ*

Философ и профессор физики Принстонского Университета, Джон Вилер, опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» статью о новом открытии в области нюклеарной физики. «Наука сделала, — сказал он, — еще шаг в обнаружении "самого основного фундамента материи" ("the most basic level of matter"). Как в тумане мы начинаем видеть трудно воображаемый, немыслимый мир самого малого, столь малого, что если его сравнить с миром атома, то это будет как бы комната рядом с солнечной системой».

Вилер говорит, что эта крайне малая область кипит взаимодействиями энергий огромного значения, и энергии эти действуют не только внутри материи, но и в том, что мы наивно называем «пустотой». О времени Вилер так высказывается: на бесконечно малом пространстве время ничего не значит. Действия, исходящие из квантовых волн, могут быть определяемы только в терминах вероятности, и происходящее на столь чрезвычайно малом пространстве, не может быть определено в терминах «сперва» или «после». Ученый назвал свои мысли о времени: «Конец времени».

Наука подходит к понятию вневременности, вечности. Обнаружен огромный потенциал энергии и жизни, за пределами зем-

* Печатается по тексту книги Архиепископа Иоанна С. Ф. (Шаховского) «Московский разговор о бессмертии» (Нью-Йорк, 1972). На первой странице книги посвящение: «Эта книга писалась и говорилась для всех людей — верующих, маловерующих и неверующих. Но она, прежде всего, обращена к Москве, к русским людям. Я посвящаю эту книгу Москве, восьми векам ее религиозного опыта».

ного времени и пространства. И это прямо совпадает с Откровением 10-ой главы книги Иоанна Богослова, где сказано, что Ангел, стоящий на море и на земле, клянется Сотворившим небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, что *«времени уже не будет».*

В связи с мыслями профессора Вилера, мне вспоминаются рассуждения другого большого американского ученого, доктора Корнельского Университета, Франка Аллена о взаимоотношениях науки и религии. Аллен считает, что возможны только четыре гипотезы о возникновении мира. Первая, что «мир есть иллюзия, обман чувств». Такое предположение противоречит реальному существованию мира. Вторая гипотеза: «мир возник сам собой, из ничего». Третья гипотеза: «мир не имеет ни начала, ни конца, он всегда был и будет». И четвертое утверждение: «мир создан Творцом».

Тот, кто признает мир только иллюзией, считает основной реальностью человеческое сознание и исходит из него. Но и сознание человеческое, в таком случае, тоже приходится рассматривать как иллюзию. И тогда, конечно, нельзя на нем базироваться. Подобную идею мы находим в современной физической теории сэра Джемса Джона. Этот ученый, опираясь на данные современной физики, считает, что «мир уже стал отвлеченным понятием». «Следуя такой теории, — замечает проф. Аллен, — надо считать, что мир есть некий волшебный поезд, полный эфемерных пассажиров, несущийся по абстрактным мостам, чрез несуществующие реки». И Аллен думает, что гипотеза о том, что «мир материи и энергии сам себя создал», так же нелепа, как и гипотеза об иллюзорности всего существующего.

Но мысль о том, что «мир всегда существовал» и «вечен», близка к мысли, что «мир создан Богом». Во всяком случае, что-то должно быть вечным, — или мир, или Творец. Человеческий разум способен восприять ту или другую мысль. Но все эти бесчисленные звезды-солнца мироздания, как и наша усложненная, утонченная планета-земля, с ее величайшим богатством форм и изумительной целесообразностью строения, свидетельствуют ясно о том, *что мир был когда-то сотворен* всеобъемлющей, вечной, всеведующей, вездесущей, мудрой и всемогущей Силой, которую человечество называет Богом и Творцом. Вселенная есть создание Божьей силы и мудрости. Таков вывод профессора биофизики Франка Аллена. Все бесчисленные факторы существования и возникновения условий жизни на земле, приводят его к прямому выводу, что явление жизни не есть случайность, слу-

Дорогому Игорю Чиннову
изумительному поэту
наших дней, шлю сей привет,
как память о горячей
душе собрата, честного в своих
чувствах, но иногда ошибавшегося,
как все мы.

Сердечно —
Странник

*Дарственная надпись архиепископа Иоанна (Шаховского)
на выпущенной им книге «Переписка с Кленовским» (Париж, 1981)*

чайно возникнуть земля и жизнь человека не могли. Творческая сила, создав землю, «ОБРАЗОВАЛА ЕЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЬСТВА», как говорит пророк Исайя (гл. 45).

Но, если бы вопреки очевидности и столь удивляющей нас согласованности мельчайших частей и гармонии мира, мы всетаки стали бы считать, что жизнь на земле не имеет замысла, то надо было бы признать, что жизнь началась случайно. Но случайность сама *подчинена закону* вероятности. И возможно математически вычислить ВЕРОЯТНОСТЬ ЧЕГО-ЛИБО. Математическая теория вероятности дает принципы, следуя которым можно научно учесть возможность тех или иных явлений.

Вот некоторые факты, относящиеся к существованию на земле жизни. *ПРОТЕИН* — основная часть всех живых клеток. Основной протеин состоит из пяти элементов: углерода, водорода, азота, кислорода и серы. Беря число химических элементов (это число недавно равнялось девяносто двум, а теперь превышает сотню) и беря число атомов протеина, достигающих в тяжелых молекулах сорока тысяч, можно высчитать вероятность случайного соединения в мире, в одну молекулу протеина, его элементов. И можно установить, какое количество мировой материи и в течение какого именно времени, нужно беспрерывно «встряхивать», чтобы достичь соединения пяти элементов мира в одну молекулу протеина. Швейцарский математик Карл Евгений Гай высчитал вероятность возникновения в мире одной молекулы протеина. Это — одна возможность на 10^{160}. Число 10^{160} настолько безмерно, что не может поддаться никакому определению. Количество же материи, необходимое для образования в мире одной только молекулы протеина, должно быть в миллионы раз больше *всей вообще материи, существующей во вселенной.* Для процесса образования одной молекулы протеина на нашей земле, потребовалось бы 10^{213} биллионов лет. Это почти бесконечное число. Таков результат вычислений швейцарского математика Карла Евгения Гая. Эти вычисления показывают, что *жизнь сама из себя не могла* явиться. И, если мы верим, что мир не есть ни иллюзия, ни мираж, а — реальность, то данные науки прямо нас приводят к той истине, что мир *сотворен Великим Творцом.* Иного вывода не может быть. Истину сотворения мира, ясную для веры, наука открывает уму. Но эта истина будет живой, двигающей нашу жизнь только тогда, когда мы уверуем в Бога Живого, в великий мир Его правды.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН

Владимир Николаевич Ильин — философ, богослов, литературовед, музыковед, композитор — родился в 1891 году под Киевом. Оказавшись в эмиграции, поселился в Париже. Человек широчайшей эрудиции, он обладал фотографической памятью и все, что прочитывал, запоминал навсегда. Автор нескольких богословских книг. Статьи В. Н. Ильина появлялись в разных эмигрантских изданиях. Но написанная им «История средневековой философии» и многие другие работы, в том числе и богословские, так и не увидели свет. А сочиненные оперы никогда не были исполнены.*

«Владимир Николаевич был странный человек — неудачник и при этом очень талантливый, — вспоминал И. Чиннов. — Впервые я его видел еще до войны. Он приехал к нам в Ригу с докладом "Тютчев и Цветаева". Речь шла о мировоззрении конечно, только. Потом, после войны, я с ним встречался в Париже, иногда в кафе. Тогда это уже был совершенно несчастный человек. Он смешно себя вел. Это выражалось в чрезмерной вежливости, заискивании, льстивости. Его выгнали из Богословского института в Париже за "сочувствие немцам". Он сотрудничал во время войны в пронемецкой прессе, а в частных письмах выражал "согласие с Гитлером". Дело в том, что он боялся за свою жену-еврейку. Она, кажется, занималась недвижимостью. Потом он читал лекции в других институтах и в русском летнем лагере РСХД под Греноблем, где русская молодежь (дети эмигрантов) говорили между собой по-французски, а по-русски — с акцентом. Он читал — историю и философию, а я — русскую литературу. В лекции о Бердяеве с первых же слов вдруг говорит, что Бердяева надо выкапывать из могилы и вбивать осиновый кол. Бердяев в свое время первый заговорил, что "Ильину не место среди нас, профессоров Богословского института". В лагере РСХД Ильин часто вызывался помочь кухонному персоналу — разносил

---

* В 1997 году в Петербурге вышел сборник В. Ильина «Эссе о русской культуре», куда вошли некоторые из его публикаций.

кашу. А в последний день я отправился с котлом. Это вызвало большой энтузиазм. Меня начали качать, но я возопил, что качанья не переношу и меня поставили на землю. Все в голове вертится. Пришел в себя. Как-то Владимир Васильевич Вейдле мне сказал: "Владимир Николаевич — забубенная головушка". Да! Ильин написал хорошую книгу "Семь дней творения" (Париж, 1930), где объясняет библейский миф, говоря, что день у евреев означает не 24 часа, а что-то огромное. Он был религиозен, и в нем было ханжество и цинизм. Говорил, что загробная жизнь — это нечто ужасное, что рая нет, только ад. Написал книгу "Арфа Давида" — о религиозных мотивах в русской литературе. Религиозные стихи — это худшее, что есть в русской поэзии! Кроме Лермонтова, там все очень плохо. Вот псалмы Давида — это да! Нет, никакой дружбы между нами не было. Он был очень сложный человек». (Магнитофонная запись 1995 года.) В. Н. Ильин умер в 1974 году в Париже за пишущей машинкой.*

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

27.5.1971 г. Paris (7e). 26 av. de Tourville

Дорогой и глубокочтимый Игорь Владимирович!

Простите, что не сразу ответил: я был с Верой Николаевной[1] в Риме в составе паломнической группы и, вернувшись позавчера, застал письмо от Вас, пересланное мне кн. С. С. Оболенским[2]. Письму я несказанно обрадовался — ведь мы с Вами так долго не виделись и не переписывались. Очень бы был счастлив повидаться с Вами до 1 июня, то есть до Вашего выступления[3]. Если Вам не трудно, сделайте Вере Николаевне и мне честь, тем более, что поговорить есть о чем, и об очень серьезном и интересном, т. е. интересующем нас, обоих. Что касается Ваших книг, то я их пока еще не получил, но очень радуюсь тому, что высылая их, Вы обо мне подумали.

Итак, с величайшим нетерпением буду ждать нашей встречи. Обнимаю и целую. Искренне Вас любящий и ждущий Вл. Ильин.

---

*Книга издана после смерти В. Н. Ильина в Сан-Франциско в 1980 году.

[1] Жена В. Н. Ильина.

[2] С. С. Оболенский — один из редакторов парижского журнала «Возрождение». В. Н. Ильин там сотрудничал. Об этом см. ниже, в письме Э. М. Райса от 10 декабря 1970 года.

[3] Первого июня 1971 года у И. Чиннова в Париже был его поэтический вечер.

19.07.1971 г. Paris

Дорогой и глубокочтимый Игорь Владимирович!

Мне чрезвычайно отрадно думать вообще, что после такого мучительного и трудно переносимого перерыва, какой образовался силой судьбы, этой ужасной «мойры», которой страшатся даже боги, все же между нами восстановилось дружеское общение. И вот, после долгих размышлений о стиле письма, направляемого Вам в Америку, я все же решил писать как Бог на душу положит и не бояться того, что, может быть, этот стиль Вам не понравится, или, как принято говорить, «не подойдет» (имею в виду чисто литературную сторону дела, ибо эпистолярный жанр — самый трудный). Ваша необычайная литературно-поэтическая одаренность и исчерпывающая осведомленность в литературных делах, конечно, невольно принуждает к оглядке, дабы не сделать литературной гафы. Если же что-нибудь подобное случится, то надеюсь — Вы меня простите, ибо сердце у Вас доброе — это видно хотя бы из того, что Вы подумали обо мне, приезжая в Париж и, что еще более умилительно, подумали об устройстве моих лекторских дел в Америке,— в наше время сплошного эгоизма и сердечного холода это есть нечто совершенно исключительное и невероятное. Да воздаст Вам Господь сторицею и за Вашу доброту, и за Ваш ум. Даже если ничего из Ваших хлопот не выйдет — все равно сам факт того, что Вы обо мне подумали, наполняет мое сердце несказанною радостью... А если бы вы знали, какое это утешение в тех трудностях, и, прямо скажу, бедах, которые давно душат меня и Веру Николаевну... И особенно теперь, когда я, несмотря на мой продвинутый возраст, только теперь начинаю приходить к кое-каким существенным (senseblеs) результатам в философии, в науке и в музыке. Последней я ведь не только интересуюсь теоретически и научно, но и практически, говоря проще, я стал по-настояще-

му КОМПОНИРОВАТЬ и, может быть, даст Бог смогу передать искусству звуков Ваше великолепное искусство слова. У меня есть симфонии, сонаты, много инструментальных вещей, написанных мною как до моего поступления в Парижскую консерваторию в качестве профессора, так и после, когда я, после нескольких лет преподавания смертельно заболев и будучи оперирован (это, кажется, в Ваше отсутствие), более года поправлялся, и по беспощадности директора В. И. Поля был заменен другим лицом, а хлопотать о моем восстановлении на прежнее место мне помешало самолюбие... Правда, некоторые мои композиции были исполнены публично и по радио благодаря симпатии к ним директора радио. Но последний по болезни покинул свой пост, а новый подпал под влияние В. И. Поля, скоро впрочем умершего. Но мне как-то противно опять предпринимать хлопоты, тем более, что симпатизировавшие мне лица уехали или умерли, а новых я просто не знаю, как и с какой стороны к ним подойти... Бог с ними. Вы же старый друг, и меня хорошо знаете, и Америку изучили в совершенстве. Кстати сказать, я написал большой труд по истории Русской музыки, что, может быть, подойдет для Америки, тем более, что там есть отделы почти не изученные, или во всяком случае мало разработанные в научно-историческом отношении — напр., история колокольного звона в России, — как церковного, так и оркестрово-симфонического и оперного, а также много разных других «угощений» для читающей культурной публики.

Если Вам не трудно — черкните мне хоть одну строчку, чтобы я знал, что письмо дошло до Вас. Господь Вас храни. Желаю Вам всякой удачи. Обнимаю и целую. Искренно Вас любящий и чтущий Влад. Ильин.

17.01.1972 г. Paris

Дорогой и глубокочтимый Игорь Владимирович!

От всей души благодарю Вас за письмо (со «вложением»), которое принесло мне ВЕЛИЧАЙШУЮ отраду и во много раз повысило мое моральное самочувствие. Значит Вы не забыли меня и по-христиански относитесь ко мне и к бедной Вере Николаевне, жалеете нас — а это самое главное!

Дорогой и глубокочтимый
Игорь Владимирович!

Простите, что не сразу ответил: я был с Верой Николаевной Вл. Ильиной в составе паломнической группы и вернувшись позавчера застал письмо от Вас пересланное мне кн. С.С. Оболенским. Письму я несказанно обрадовался — ведь мы с Вами так долго не виделись и не переписывались. Очень бы был счастлив повидаться с Вами до 1 июля, т.е. до Вашего возвращения. Если Вам это не трудно, сделайте Вере Николаевне и мне эту честь, тем более, что поговорить есть о чем, и об очень серьезном и интересном, т.е. интересующем нас обоих. Что касается Ваших книг, то я их пока еще не получил, но очень радуюсь тому, что вспомнили, Вы обо мне подумали.
Итак, с величайшим нетерпением буду ждать Вашей весточки. Обнимаю и целую. Искренно Вас любящий и чтущий

Вл. Ильин

26, av. de Tourville
Métro École Militaire

15/ – 27 – 5 – 71
Paris (7e)

Письмо В. Ильина к И. Чиннову от 27 мая 1971 года

Даже в наших болезнях мы оказались поправленными — я так думаю! А болели мы оба ужасно в эти недели. У меня в связи с гликемией (сахар в крови, преддиабетическая стадия) появились нарывы по всему телу и на пальцах, что сопровождалось невозможностью писать как стилом, так и на пишущей машинке — а у меня срочные заказы — надо добывать хлеб насущный. У Веры Николаевны — флегмона на обеих ногах, а ей нужно все время ходить, ибо она разыскиванием квартир добывает свои гроши. Словом, беда со всех сторон. И вот, как добрый хороший христианин и друг, Вы пришли на помощь! Господь да воздаст Вам сторицей! Обнимаю и целую Вас. Вера Николаевна со слезами благодарит Вас. Пишите. Еще и еще обнимаю и целую. Ваш преданный друг Вл. Ильин.

19.02.1972 г. Paris

Дорогой и глубокоуважаемый Игорь Владимирович!

Тяжелая и мучительная болезнь, к тому же в обстановке полной нищеты, приковала меня и Веру Николаевну к одру терзаний и унижений всякого рода. С трудом поднявшись, и медленно выползая из-под развалин, я принялся приводить в порядок свои рукописи, недописанные и неотправленные письма. К моему великому стыду я обнаружил, что благодарственные письма мои, Вам написанные, оказались неотправленными — по болезни — я в это время лежал в жару и кашлял, и мучился, и плакал... Но все-таки в конце концов поднялся и теперь ползаю с трудом, подавляя кашель — продолжаю свои чтения о Платоне, Канте — с рядом других сюда примыкающих имен. Мои французские и русские слушатели прощают мне мой кашель и такое состояние, тем более, что аудитория моя тоже наполовину лежит в кровати. О, как бы мне хотелось Вас увидеть, тем более, что Вы мне как-то пообещали это удовольствие и эту честь. Приезжайте! Обнимаю и целую от всего сердца! Искренне Вас любящий и ждущий Вл. Ильин[1].

[1] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 6 писем В. Н. Ильина.

В. Н. Ильин

СТИЛИЗАЦИЯ И СТИЛЬ*

У русских классиков от Пушкина до Толстого как-то не ставится проблема стиля и вкуса. Это объясняется тем, что гармония замысла и выполнения, содержания и формы, превосходный язык и, наконец, органическая связь мировоззрения (философии и самого художественного произведения, понимаемого как артистический шедевр) не дают места возникновению, или даже самой постановке вопроса о стиле и вкусе. Вещь хорошо известная: вопрос приходится ставить тогда, когда что-то пошатнулось, что-то плохо стоит, треснуло, словом, когда появилось внутреннее или внешнее неблагополучие.

Профессор Б. Вышеславцев как-то раз очень остроумно сказал, что каноническая проблема брака возникает тогда, когда в супружеской жизни обнаруживаются большие нелады и супруги близки к разводу. Так же, скажем мы, вопрос о технике игры на каком-нибудь инструменте и о технике музыкальной композиции ставится тогда, когда замечаются какие-либо недочеты, трудности и даже погрешности в этой области. Когда их нет, когда мы близки к совершенству, то сам вопрос отпадает.

Но вот наступает, начиная с шестидесятых годов, и еще раньше, с легкой, а лучше сказать, с нелегкой руки Белинского, господство «светлых личностей». Дурной и уродливый стиль, или, в лучшем случае, отсутствие всякого стиля и вкуса, стало обязательным.

Литературный рынок быстро стал походить на лавку старьевщика или на меблировку трактиров средней руки. Чехов заметил в своем «Припадке», что здесь приличная мебель или хорошие картины были бы совершенно неуместны. И действительно, для критиков вроде властителя «народнических дум» Н. К. Михайловского, повесть, написанная хорошим или просто корректным языком, технически приличное стихотворение были чем-то вроде личного оскорбления. Поэтому, когда появился Чехов с его культурным стилем и языком, сдержанными джентельмен-

---

* Фрагмент статьи печатается по тексту парижского журнала «Возрождение» за февраль 1964. № 146, 147.

скими манерами и вообще с хорошим тоном в литературе, — он был встречен «светлыми личностями» частью молчанием, частью улюлюканьем. Стоит только вспомнить, что писал о Чехове Н. К. Михайловский. А ведь Чехов не представляет ничего особенного именно в отношении стиля. Он только абсолютно приличен и культурен и держит себя, выражаясь фигурально, как принято держать себя в хорошем обществе.

Таким образом, противоположности сошлись, и круг хорошего, адекватного содержанию, стиля — и полного отсутствия стиля — замкнулся. В силу этого во второй половине XIX и в первой половине XX века возникает и становится, как в теории, так и на практике, проблема хорошего вкуса, хорошего стиля и языка в качестве проблемы центральной, основной и насущной. <...> Натиску воинствующего бесстилия и обязательного дурного вкуса воспротивилось то движение, которое именуется *русским Ренессансом* конца XIX и начала XX века. Оно особенно было ярким и талантливым в эпоху между двумя революциями 1905–1917 гг. <...>

В эпоху «золотую» стиль и вкус рождались спонтанно и были имманентны своему творчеству и той культурной обстановке, которая их породила. Они были органически связаны с творчеством и с шедевром. В этом сказалась огромная творческая сила органической эпохи, еще не разрушившей своих связей с национальной религией и национальным государством.

Совсем другое дело — потом. Органическая эпоха уходила безвозвратно. Место культа национальной государственности стало мало-помалу занимать безразличное отношение к его судьбам, а то и откровенное пораженчество, исходящее из разных мотивов и разных общественных слоев. Национальная идея единого русского народа, «гордого Росса», стала быстро разъедаться коррозивной кислотой социального вопроса, или, вернее, социальных вопросов. Наконец, идея национально-государственной религии, «русской веры», была уже давно и в разных смыслах скомпрометирована, сначала старообрядческой трагедией, а потом — главным образом, «просветительской» критикой, «вольтерианством» и т.п. Появились и все умножались со дня на день те настроения, которые Гоголь назвал кощунством над святыней из-за того, что попался не весьма умный поп. Бердяев очень верно и остро заметил, что *раз* утраченный старый стиль православия восстановить невозмож-

но. Процессы и здесь необратимы. Остается идти вперед, «в просвещении становиться с веком наравне». В религии и церковной проблематике это означает утончение и углубление религиозно-философской мысли, развитие церковного искусства на почве лучших образцов прошлого. <...>

В такие эпохи начинается явление — очень важное в культурном и творческом отношении: литературно-артистическое использование колоссальных и лежащих мертвым капиталом долгие века сокровищ преданий и апокрифов, как и многих других церковных и «около церковных стен» существующих материалов, мемуаров, легенд, полулегенд и т.п. Здесь искание *подлинного стиля* и *высококачественная стилизация* часто идут рука об руку. <...> В эпохи, которые можно назвать «серебряными», и где искусство построено на археологических, апокрифических и мемуарно-архивных данных,— *опыты артистического стиля, какого бы высокого качества они ни были и как бы ни были талантливы их авторы, всегда соединяют стиль со стилизацией.* Этот, так сказать, *комбинированный* вид творчества предъявляет очень высокие требования своим оценщикам и ценителям, и может достигать чрезвычайно высоких степеней совершенства. <...> Уже давно невозможно писать о так называемой любви, не впадая в пошлятину и мелкотравчатость. Надо обладать размерами Бунина, чтобы сказать здесь что-то новое или достаточно сильное. Но и Бунин обрывается порой... Здесь можно говорить только языком символических стилизаций, да и то чрезвычайно высококачественного стиля, доступным только талантам размера Лескова или Ремизова, в крайнем случае — Андрея Белого (в «Серебряном голубе»). <...>

Что еще очень характерно для высших форм стилизации — это ее обоснованность на знании, ее научный литературоведческий и фольклороведческий характер. Творчество, исходящее из стиля, из стилизации или из обоих вместе, требует одновременно **дара, знаний и вкуса**. <...>

Лесков, подобно Тургеневу, дал целый ряд очерков из того мира, который мы назовем вместе с Розановым «миром неясного и нерешенного». Заметим, кстати, что так Розанов называл проблему брака и любви. Мы же здесь применили это выражение к миру таинственных метапсихических и оккультных явлений, всегда очень занимавших большую русскую литературу, но оставшихся в пренебрежении у русской горе-критики. <...>

Великие трагики от Эсхила до Шекспира и от Шекспира до Достоевского, Ибсена и Эдгара По не уставали показывать взаимопроникновение областей сознания и подсознания, бодрствования и сна, состояния светлой свободы и кошмарной связанности. В нашу эпоху среди крупных писателей следует назвать нашумевшего и действительно очень интересного в этом смысле Кафку.

Мы уже указывали на господствующую роль этого явления в прозе Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. Этот элемент настолько существен, что трудно сделать большое произведение «интересным» не введя в него этого элемента в том или ином виде. Необычайная скука, бездарность, которыми отмечен советский период литературы до появления «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака, надо отнести на счет тщательного выхолащивания поля действующих лиц от воздействия таинственных сил белых или черных, *которые собственно и составляют основу настоящего реализма*. <...>

Почти всегда большие писатели испытывают потребность как бы «раскрывать ставни» в потусторонний мир и показывать «его клочки и обрывки», пользуясь удачными выражениями Достоевского и С. Л. Франка. Тогда появляются так называемые «фантастические рассказы», которые на деле не только не фантастические, но показывают нам самое реальное, — ибо потустороннее есть самое реальное — то, что нас сковывает, и то, что нас освобождает.

Знать это необходимо, ибо для каждого из нас наступит такой момент, когда не только ставни окажутся распахнутыми на короткое время, но откроются настежь врата, через которые к нам войдет «судеб посланник роковой». Забота всех подлинных философов, мудрецов, мистиков, аскетов, великих художников — так или иначе «познакомиться с картой потустороннего мира» (о. Павел Флоренский), увидеть хотя бы издали ту страну, где нам придется поселиться навсегда, увидеть ее, подобно Моисею, взиравшему на обетованную землю с вершины Нево. В сущности, вся аскетика сводится к тому, чтобы эта земля оказалась действительно обетованной, а не «юдолью», не мрачной обителью безобразных тварей и вечного непрекращающегося кошмара. Но для этого надлежит смотреть опасности в глаза, не закрывать малодушно глаз и не прибегать к позорному и смешному, недостойному человека, трусливому отрицанию потусторонних реальностей. <...>

РУССКИЙ ПАРИЖ

Игорь Чиннов

О «ЧИСЛАХ» И ЧИСЛОВЦАХ*

В заметке о довоенных журналах русской эмиграции («Новое русское слово» от 19 апреля 1993 г.) Э. Штейн мельком назвал журнал совершенно замечательный — парижские сборники «Числа».

Вот что сообщает Эдуард Штейн:

«Одним из самых красивых в полиграфическом плане журналов русского Парижа, бесспорно, были "Числа". Это был аполитичный журнал, значительное место в нем уделялось живописи, скульптуре и современным течениям в искусстве... Чтение "Чисел" даже сейчас доставляет большое эстетическое наслаждение... Последняя, десятая книга "Чисел" вышла в свет в июне 1934 года, почти шестьдесят лет тому назад. В этом номере помещена общая фотография всех сотрудников журнала — 34 литераторов. Сегодня здравствует лишь один из них — поэт Игорь Чиннов».

Здравствует? Скрипит было бы точнее. Но не в этом дело. Мимолетные замечания Штейна верны, но очень уж кратки. И мне, последнему числовцу, захотелось сказать и об ушедших собратьях, и о самих «Числах» хоть немногое.

Журнал «Числа» был основан в 1930 году Николаем Авдеевичем Оцупом, младшим акмеистом, членом Цеха поэтов, учеником и другом Гумилева. Николай Степанович, правда, к нему относился критически, вменяя себе в заслугу, что «научил писать стихи даже Оцупа. Но, научил писать хорошо». Оцупу удалось найти свой стиль, его можно узнать. Это был очень энергичный, очень активный человек. В годы военного коммунизма он ухитрялся доставать двойные пайки, почему злые языки расшифровали фамилию Оцуп как Общество Центрального Употребления Продуктов. В Париже он единственный из русских литераторов сделал научную карьеру: защитил при Сорбонне, где когда-то слушал Бергсона, диссертацию о Гумилеве и стал преподавате-

---

* Воспоминания «О "Числах" и числовцах» печатаются по машинописному тексту, хранящемуся в архиве И. В. Чиннова (ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Ф. 614).

лем русского языка и литературы в престижнейшей Ecole Normale Superieure. Удалось ему найти и мецената для «Чисел», это было совсем поразительно. Вечный работник, написал он толстенный «Дневник в стихах» — произведение прелюбопытное, хотя при долгом чтении и утомительное.

Держался Николай Авдеевич несколько чопорно, джентльменом. Всегда сохранял дистанцию. В сером безупречном костюме он был подчеркнуто comme il faut. Один мой знакомый смеялся над его шикарными перчатками. Напрасно смеялся. Погиб Оцуп трагически, раздавленный грузовиком, и, конечно, это было для эмигрантской литературы крупной потерей. Вдова Диана Александровна, красавица, им восторженно воспетая, когда-то под именем Дианы Карен сыгравшая в синема Анну Каренину, поставила на Sainte Genevieve des Bois изящную серую большую плиту с надписью в левом углу: Николай Оцуп, русский поэт. Похороны были по католическому обряду — Николай Авдеевич и в религии был не без снобизма. И ему, и его «Числам» вечная память! Для эмиграции журнал этот остается патентом на благородство, testimonium nobilitatis. Запомнились эти его четыре строки:

Не знаю имени этой птички,
Но сердце сразу узнает,
Что это голос твоей сестрички
И не напрасно она поет.

В 189-й книге (дек. 92 года) «Нового Журнала» о нем, в числе прочих парижских литераторов, вспоминает Александр Бахрах, мой добрый приятель, умница, острослов, человек очень образованный, не всегда приятный, но преинтересный и очень наблюдательный свидетель. Кое-что из сказанного им об Оцупе я здесь приведу:

«...В 51 году ему было около шестидесяти лет, он защищал докторскую диссертацию о Гумилеве. Его диссертация — это мне поведал один из экзаменаторов — имела крайне субъективный характер и не всегда отвечала академическим нормам, но на неоднократные вопросы об источниках того или иного гумилевского высказывания Оцуп неизменно отвечал: "Да ведь это мне говорил мой друг Гумилев". После таких разъяснений работа была единогласно одобре-

Юрию Иваску

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Игорь Чиннов.

Автограф одного из первых стихотворений И. Чиннова. Рига, 1930-е годы. Подарен автором Ю. Иваску

на жюри, и, получив диплом Парижского университета, Оцуп стал преподавать русский язык и литературу в одном из самых прославленных учебных заведений Франции — в Высшей нормальной школе <Высший педагогический институт>...

<...> Хочется напомнить, что после ареста Гумилева, в трагические дни 21-го года, после раскрытия какого-то мифического заговора, Оцуп был одним из первых, кто стал предпринимать весьма рискованные для него шаги, чтобы вызволить своего старшего друга и отчасти учителя, культ которого он сохранил на всю жизнь. А за это ему многое зачтется».

Как ни странно, провозгласил Николай Авдеевич и новое литературное течение: персонализм. Увы, на этот раз не повезло, ни последователей, ни последствий это не имело.

* * *

Зато стал основателем школы другой числовец — Георгий Викторович Адамович. Именно его суждения о поэзии стали основой «парижской ноты». Нота требовала простоты, неукрашенности, сосредоточенности на главном. Он заразил аскетизмом Анатолия Штейгера, Лидию Червинскую, Юрия Терапиано. Но сам порою от аскезы бежал, соблазнялся пышностью и к любимому существу обращался так:

Розовый идол, персидский фазан,
Птица, зарница...

Он заявлял, что его пышные стихи следует читать очень просто, маловыразительно, как бы understatement. Но был, разумеется, неправ: пышный слог требовал и пышной декламации. Последнюю свою книгу назвал он «Единство», но именно единой его поэзию назвать нельзя. Смесь роскошества и аскетизма в единство слиться не могла.

Приведу конец стихотворения, в котором дал он действительно образец парижской ноты:

Холод. Пустая телега
Изредка продребезжит.

Полное близкого снега
Небо недвижно висит.

Господи! И умирая,
Через столетье, едва ль
Этого мерзлого снега,
Этого мертвого рая
Я позабуду печаль.

Конечно, был Адамович эстетом, снобом, и тяготение его к аскетическому христианству надо понимать в соответствии с замечанием Петра Верховенского о Ставрогине: «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен».

Вспоминается стих Евгения Евтушенко, в начальной строфе с именем «Георгий Викторович Адамович», а в конце:

...Быть может, вернуться в Россию Вам поздно —
Еще вернется Россия к Вам[1].

Слава Богу!

Из-за нелепого своего толстовства он, к сожалению, упростил в своей книге «Комментарии» замечательный слог свой, оставив только прекрасные строки о том, какими должны быть стихи. Кстати, в книге этой полстраницы обо мне начинаются странно: «У нас в эмиграции есть поэт, сравнительно еще молодой». Дело в том, что статья камкинского издания лежала в ящике стола несколько лет, и к выходу ее я, увы, перестал быть сравнительно молодым.

Каким был Георгий Адамович внешне? Помню смуглое (остатки разлития желчи), очень сморщенное лицо, увенчанное густой шевелюрой, — настоящей, но цвета воронова крыла. Никто не решался ему сказать, что черная эта краска его только старит. Помню изящно повязанный, удачно подобранный галстук, аккуратный темный пиджак и очень некрасивые руки — предмет его страданий.

Кроме замечательного слога в эссе, был Георгий Викторович и столь же замечательным оратором. Он говорил без пафоса, без напора, очень свободно, непринужденно, раскованно, плавно, грамматически безупречно — и говорил незабываемо.

После войны приехав в Париж, я вскорости имел честь и счастье считать его своим старшим другом. Повторяю, его литературные беседы в «Современных записках», «Числах» были по художественному блеску лучше всего, написанного кем-либо когда-либо на вольные темы.

После встречи с ним Андрэ Жид написал: «Запомним имя Георгия Адамовича» — «Retenons le nom de Georges Adamovitch» — хотя отличный французский язык (а говорили они, конечно, по-французски) не давал представления о его прекрасном русском. Книга, написанная им по-французски, «L'autre patrie» («Другое отечество») — «вольные размышления» — к сожалению, осталась незамеченной.

* * *

Третьим членом редакции «Чисел» был Георгий Иванов, автор прекрасных стихов и недостоверных воспоминаний. Это был сложный человек, настаивавший на том, что он по ту сторону «Добра и Зла». Помню, взяв у Евгения Евгеньевича Климова почитать редкую книгу, он ее тут же продал — и угрызениями совести отнюдь не терзался. «Но я — поэт», — улыбаясь, говорил он мне стихами Сологуба о предстоящей встрече с апостолом Петром[2].

Любимый им Петербург, еще будучи членом Цеха поэтов, воспевал он стихами классически совершенными. Георгий Владимирович был очень остроумен. Мне рассказывали, что как-то в салоне Марии Самойловны Цетлин, чистейшей души человек Илья Фондаминский как-то сказал, что элита спасет Россию. Иванов, ехидно усмехнувшись, прошепелявил, намекая на народную поговорку: «Элита едет, когда-то будет». Все расхохотались.

Когда я впервые увидел Георгия Иванова в Риге, он поразил меня своей элегантностью и — шепелявостью. Встреча произошла от того, что в нашем журнальчике «Мансарда» ему понравились мои писания. Так и началось мое сотрудничество в «Числах».

В эмиграции издал Георгий Иванов два сборника нарочито красивых, прелестных стихов, особенно это видно в сборнике «Розы». А в последние годы становилась его поэзия печальнее и горче. Лишь иногда находил он какое-то утешение:

Трубочка есть, водочка есть,
Всем в кабаке одинакова честь.

* * *

Выделялся в «Числах» Борис Поплавский, которого я уже не застал. Он отравился, и это очень большая потеря. Его стихи крайне своеобразны, хотя и не без влияния французских «проклятых» поэтов. Его дневники были отмечены самим Бердяевым в большой статье. Там Поплавский писал, что непрестанно думает о Боге, и что Бог, как он чувствует, непрестанно думает о нем. Тут приходится заметить, что Создатель огромной вселенной едва ли может непрестанно думать даже о трижды гениальном человеке. А что до того, что Поплавский непрестанно думал о Боге, это вызвало у зоилов ремарки, что мол, если все время думать о Боге, надо и додуматься до чего-то.

* * *

Редко, к сожалению, появлялся на страницах «Чисел» Владимир Васильевич Вейдле, человек удивительный и наиболее из всех числовцев европеец. Внешне крайне респектабельный, как бы сановный, хорошо одетый, он иногда удивлял чем-то ребячливым. Помню, прочтя мои стихи «Жил да был Иван Иваныч», он грузный, большой, тяжеловесно прыгал вокруг меня, крича: «ха-рошие стихи, ха-рошие стихи!»

О моих стихах Владимир Васильевич писал, как и Адамович, несколько раз.

Он прекрасно говорил по-французски и по-немецки, долгие годы сотрудничал в «престижных», как теперь говорят, журналах, в сверхэлитарном «Nouvelle Revue Française», «La vie intellectuelle» доминиканцев, в немецком «Merkur».

Это был ученый муж. В опубликованном Славянским институтом в Париже толстом томе «Эмбриология поэзии»[3] он очень дельно возражает самому Роману Якобсону, царю американской славистики. Его «милый поэт» и «милый друг», как он меня звал, гордый дружеством Адамовича, Маковского и многих других, растроганно радуется счастью — доброму отношению к нему человека столь умного, как Владимир Васильевич Вейдле.

* * *

Иногда появлялся в отделе числовской прозы и Гайто Газданов, осетин, недоучившийся студент Сорбонны с очень бойким

французским (скорее простонародным) языком. Был он весьма самоуверен. Владимир Васильевич Вейдле как-то с улыбкой сказал мне: «Георгий Иванович мнит себя Сент-Бёвом». Но беллетрист он был неплохой, если отвлечься от его сверх-интеллектуальных французов и крайне глубокомысленных авторских монологов, романы его отличаются очень плавным ритмом и написаны правильным языком. Атмосфера чаще всего одна и та же: ночь, снег, в темноте далекая музыка.

Подчеркнутый цинизм, скепсис, сарказмы, не первоклассные остроты Газданова многих, естественно, раздражали. Мережковский говаривал о нем: «Христос заповедал любить врагов своих. Газданов мне не враг, вот я его и не люблю».

Бедой Газданова было существование в литературе Набокова. Георгий Иванович с горечью чувствовал свою второстепенность и свое плебейство. Снобизм ему и помогал жить, и мешал. Очень его помню: низкорослый, коренастый, с вечной сардонической улыбкой на очень морщинистом лице.

* * *

Я рад от него перейти к людям, снобизма лишенным. Из них очень теплые чувства до сих пор вызывает во мне Сергей Иванович Шаршун, милый мой друг, упорно называвший меня «нашей новой надеждой». Чистокровный словак, он был, трудно вообразить, участником знаменитой досюрреалистической группы «Дада» [4]. По слухам, его ценили и Андрэ Бретон, и Курт Швиттерс и Макс Эрнст. Но в Париже ему жилось тяжело, и одно время пришлось ему работать уборщиком в том доме-сарае, где когда-то бедствовали Пикассо, Пикабия, Вламинк. Каково было ему убирать за следующими поколениями, трудно себе представить. Но «душе настало пробужденье»: он внезапно стал известен, разбогател! В мой очередной приезд в Париж я видел в Музее современного искусства, на Rue de New York его персональную выставку. Два зала, увешанные картинами в белых тонах: ангелы, кометы, белые звезды. Деньгами он распорядился странно: поехал не в Грецию, не в Италию, а на остров Галапагос, где всего-то достопримечательностей — огромные зеленые черепахи, якобы древние.

Проза Шаршуна довольно странная. В ней он выводил себя под именем Долголикова[5] и делал это не без насилия над син-

таксисом и особенно пунктуацией. Одна его «информация», которые на листочках он раздавал друзьям, запомнилась: «С мокротой выплюнул клопа».

Это был человек очень чистой души, бессребреник, неудачник, покорно принимавший свою непризнанность. Не верится, что вошел наш милый Сергей Иванович в Царствие Небесное.

* * *

Выделялся в эссеистском отделе Григорий Адольфович Ландау, берлинец, с которым посчастливилось мне познакомиться у моего друга Николая Белоцветова в Риге, куда семья Ландау переехала из-за Гитлера. Это был державшийся с достоинством, корректный человек двух культур; его немецкий был безукоризнен. В «Числах» вызвали общее внимание его «Тезисы против Достоевского» [6]. Григорий Адольфович, например, упрекал Достоевского в том, что тот изображал почти только одних бездельников: ни один не работает, все только болтают. Ну, изобрази Достоевский второго гончаровского Штольца, было бы это интересно?

Все же беседы с Григорием Адольфовичем питали, обогащали. Он и его жена, очень интеллектуальная, милая дама, погибли от нацистов...

* * *

Немало было в «Числах» и чудаков — и первым был, конечно, незабвенный Алексей Михайлович Ремизов, к которому случалось мне заходить на 5, Rue Boileau. (Странное дело: в Москве я дал интервью редактору газеты «Северо-Восток» — оно потом появилось и в парижской газете «Русская мысль». В нем почему-то оказались перепутаны ремизовский адрес с бунинским: 1 Rue Jacques Offenbach. Там тоже мне случалось бывать частенько. Жил Иван Алексеевич рядом со знаменитым борделем — где, увы, мне побывать не пришлось.)

В многочисленных книгах, получаемых мною от Алексея Михайловича, он писал, например: «... моему предстателю и заступнику на черном суде самоуверенных рабов»,— и замечательная его ультра-каллиграфическая подпись.

Махонький, в черной шапчонке, черной блузке, запачканный мелом и перхотью, он встречал, улыбаясь прелукаво: «Вот и хорошо, что забежали, только угостить-то мне вас нечем. Ну что, посмотрите в холодильнике, может, что найдется». А в холодильнике (дело было на Пасху) лежали два окорока, четыре Пасхи, десятки крашеных яиц, и, помнится, восемь куличей.

Я засиживался у него в кукушкиной — с кукушкиными часами, и развешанными на веревочках скелетиками: летучие мыши, кроты (тоже слепенький был), скелетиками селедок, птичек и пр. Слушать его было великим наслаждением. А читать — едва ли. Уж больно затейливо, и затейливость эта не кажется оправданной. Да, слог, как ни у кого. Еще в России повлиял на многих, но читать скучно. К концу жизни пересказал по-своему кое-какой французский и арабский эпос, где, как у Лиона Фейхтвангера, в Древнем Риме и средневековой Европе ходят автомобили.

Он был великий каллиграф — и каким несчастьем стала для него слепота! На книгах, посылаемых мне регулярно, вместо произведения искусства появились каракули...

Думаю, странности его объясняются просто смешной наружностью: убедился, что галстук и пиджак не для него. Вспоминается Лев Толстой. Решаюсь заподозрить, что его широкий мужицкий нос был вообще причиной его толстовства и вообще опрощения. Паскаль как-то заметил, что будь у Клеопатры другой нос, мировая история сложилась бы иначе. Так вот, думаю, что и нос Толстого повлиял на мировую историю.

* * *

Печаталась порой в «Числах» и Тэффи Надежда Александровна. Веселая, подозрительно черноволосая, сильно накрашенная, но «со следами былой красоты» была она, увы, с каким-то налетом некоторой вульгарности. Но, забавно было ее злое остроумие.

Иван Алексеевич Бунин, тоже добротой не отличавшийся (и в своих деловых письмах прескучный) загодя придумал надпись для ее будущего надгробия: «Здесь лежит писательница Тэффи, в первый раз одна». Ну, простим зоилу неджентльменскую эту выходку.

* * *

Всегда приятно было читать в «Числах» послания Владимира Варшавского, действительно милого, благородного человека. Мускулист, атлетически сложен, был он в душе хрупкий, незащищенный. Иногда писал в модернистской манере, потом перешел на реализм, затем написал книгу «Незамеченное поколение» с очень полезной информацией о молодых эмигрантских писателях. Его увлечение русской религиозной философией было подлинным, глубоким.

Володя Варшавский был редкостной разновидностью социалиста: он был социалист-христианин, как Георгий Федотов. Человек чистой души, он был мученик своего писательского призвания: писал с большим трудом, медленно, но написанное им было доброкачественно.

* * *

В моей памяти живы два чудака: супружеская пара — Анна Присманова и Александр Гингер. Считалось, что они уроды. Что могло показаться только в плане каноно-классической Греции. Для людей, переживших модернизм, и Аня Присманова, и Сашуня Гингер были красивы. Недаром Борис Поплавский в незаконченном своем романе назвал Гингера Аполлоном Безобразовым.

Был этот Гингер существом преоригинальнейшим — и это без всякого старания. Он был очень храбр, и когда немцы по Парижу искали евреев, Александр Самсонович преспокойно играл на бильярде, и вошедшие в ресторан немцы его не взяли: ну раз в такое время играет на бильярде, значит бояться ему нечего.

Александр Гингер выпустил книги «Стая верных» (переделанную Георгием Раевским в «Стаю скверных»), «Жалоба и творчество», «Весть». Он называл себя формистом, хотя и неясно, чем формизм отличается от некоторых других течений. Запомнились мне две строки:

Я вас прошу настойчиво и прямо:
Не приходите на мою траву[7].

Созерцательная его натура привела его к буддизму, и хоронили его по буддийскому обряду. Два его сына били в большие гонги, ламы в оранжевых одеяниях курили фимиам.

* * *

Очень своеобразным человеком была и его жена, Анна Семеновна Присманова — Присман, незабвенный мой друг. Она как Варшавский была мученицей, билась неделями над строфой, добиваясь очень богатых рифм и разговорной убедительности. Я называл ее Рыбка, она меня Игрушка. Я часами сидел у них, не скучая. Как и Ремизов, и многие другие в те парижские годы, взяли они советские паспорта, но скоро передумали и не поехали — слава Богу! По отъезде моем из Парижа подписывала она свои письма, написанные крупным детским почерком, графически: изображением рыбки. Это был человек на редкость чистый душевно. И на похоронах (она приняла православие) многие были явно взволнованы ее кончиной. О них обоих — Сашуне Гингере и Рыбке — я вспоминаю с волнением. Думаю, Борис Поплавский дал в образе Терезы отчасти ее портрет. Она была задумчива, искренна, прямодушна.

* * *

Были тогда среди числовцев несколько чудаков, тогда мало признанных, но достойных признания. Помнится мне чистый сердцем тоже милый мой друг Эммануил Матусович Райс. Выходец откуда-то из Буковины, он знал восемнадцать языков и был необыкновенно начитан. В молодости случилось ему записаться во французскую компартию, а в мое время ударился он в ультра ортодоксальный иудаизм. Помню, как в столовке накрывал он плечи, надевал ермолку, и, раскачиваясь, бормотал что-то. Неожиданно стал он членом НТС [8]. И странно было видеть его большой семитский нос среди русейших физиономий энтеэсовцев.

Эммануил Матусович был снобом и всегда хотел эпатировать собеседника, вот как В. Марков, вдруг заявивший, что романтизм — ничто. В умных людях это удивительно. Он был очень проницательным критиком, и его двадцатистраничная статья обо мне в «Возрождении» меня порадовала меткими и толковыми замечаниями.

Как досадна старческая забывчивость! В году пятидесятом был я свидетелем интереснейшего разговора между Гингером и Райсом о философских романах — «Волшебной горе» Тома-

са Манна, «Человеке без качеств» Роберта Музиля и «Тошноте» Жана-Поля Сартра, тогда очень модного. По Парижу ходила молодежь нарочито запачканная, во всем черном — экзистенциалисты, почитатели автора «Тошноты». Увы, напрягаю память, но вспомнить, что говорили оба оратора 40 лет назад, не могу. (Знаю только, что и петербуржцы Серебряного века, и интеллектуалы третьей волны прислушивались бы к их словам с интересом и вовсе без снобистской усмешки.) Впрочем, одно замечание Райса всплывает в памяти. Он сказал, что раньше писали Bildungsromane — романы о взрослении, становлении человеческой души — вот, как «Годы ученичества Вильгельма Майстера» у Гете, или «Воспитание чувств» у Флобера, или «Жан Кристоф» у Ромена Роллана. Теперь психология в большой моде, а психологических романов на тему становления характера почти нет. Почему? Кажется, ответа мы не нашли.

* * *

На моем письменном столе снимок: группа сотрудников «Чисел». В центре Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Георгий Адамович, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов, которому обязан я личным участием в «Числах». Из этой группы нет уже в живых никого. Один я еще «влачу существованье».

О Георгии Владимировиче думаю я с благодарным чувством. Храню записку, которую, на третьем году моего парижского бытия, после очередного чтения стихов, он мне неожиданно протянул. Привожу ее текст: «Расписка. Обязуюсь при первой возможности написать о поэзии Игоря Чиннова, которую я очень ценю и люблю, так сериозно и уважительно, как она того заслуживает. Георгий Иванов».

Я уехал из Парижа в 53-м году, а когда вернулся, Георгия Иванова уже не было, не было и Бунина. Но были живы Адамович, Одоевцева, Вейдле, Сергей Маковский, в прошлом редактор блистательного «Аполлона» [9]. На моем втором вечере в Русской консерватории, под эгидой Объединения поэтов и писателей[10], я слушал прекрасную речь Георгия Адамовича, четыре лестных доклада. В следующий мой приезд тоже кое-кого уже не было. Председательствовал на моем вечере Борис Константинович Зайцев, еще до революции широко известный в России.

В «Числах» он печатал свой перевод «Божественной комедии» Данте[11].

Всматриваюсь в «общую группу сотрудников» «Чисел» с большой грустью. Вот уже лет сорок, как улетели их души за Коцит. Но к грусти примешивается и радость. Я имел счастье знать этих парижских русских поэтов. И благодарно кланяюсь их светлой памяти.

Хочется закончить стихами, как и подобает поэту. Вот строки Екатерины Таубер, автора сборника «Верность», дочери белого офицера, милой хромоножки:

Так страшно быть последним в стае,
Прощальный отдавать салют.

И уже совсем на личной эгоистической ноте, повторю тютчевское:

Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.
Но не будем сентиментальны.

Флорида, 1993–1994

[1] Стихотворение Е. Евтушенко «Письмо в Париж».

[2] Речь идет о стихотворении Ф. Сологуба «Я испытал превратности судеб...», где есть строки:

...Когда меня у входа в Парадиз
суровый Петр, гремя ключами, спросит:
— Что сделал ты? — Меня он вниз
железным посохом не сбросит.

Скажу: — Слагал романы и стихи,
и утешал, но и вводил в соблазны,
и вообще, мои грехи,
апостол Петр, многообразны.
Но я — поэт.— И улыбнется он,
и разорвет грехов рукописанье,
и смело в рай войду, прощен,
внимать святое ликованье...

[3] «Эмбриология поэзии» В. Вейдле вышла уже после его смерти в Париже в 1980 году с предисловием Е. Эткинда.

[4] «Дада» — модернистская художественная группа, ставшая предшественницей сюрреализма, возникла в 1916 году в Цюрихе из представителей интернациональной богемы, эмигрантов. Затем центр ее перекочевал в Париж. В число дадаистов вошли многие известные художники, такие как Курт Швиттерс, Пауль Клее, Макс Эрнст, Франсис Пикабия и др. Дадаистами руководила нигилистическая идея разрушения образности ради «великого Ничто», они отвергали логическую систему мышления ради утверждения бессознательного творчества. К 1922 году дадаизм закончил свое существование.

[5] Долголиков — главный герой в книге С. Шаршуна «Без себя» (Париж, 1972). Книга эта была подарена И. Чиннову автором с автографом: «Игорю Владимировичу Чиннову, поэту — искателю. С. Шаршун. 8.5.1972». Что касается сентенции Шаршуна по поводу *клопа,* то, по словам И. Чиннова, Шаршун время от времени изготовлял своеобразные «листовки» с подобными высказываниями и дарил их друзьям. Выше упомянутое «сообщение» было на одной из листовок.

[6] В «Тезисах против Достоевского» (Числа. 1932. № 6. С. 163) Г. Ландау в частности писал: «Для Достоевского осталась скрытой жизненная и духовная полнота. Он видит человека во зле, но не видит человека в творчестве. Он видит человека в мрачном страдании, но не видит его в светлой радости».

[7] «Я вас прошу...» — строки Александра Гингера из стихотворения «Жалоба и торжество». Публикуется ниже.

[8] НТС — Национально-трудовой союз нового поколения — политическое движение, возникшее в эмиграции в 1930 году. О нем подробно рассказывает В. Варшавский в своей книге «Незамеченное поколение», вышедшей в Нью-Йорке в 1956 году. По словам автора, «этот союз, во многом перестроив свою идеологию, является в настоящее время, вероятно, единственной организованной партией в эмиграции» (цит. указ. изд. С. 68). Задачей НТС было противостоять коммунизму. При этом в основе его программы лежали идеи национализма и «социальной правды». Фашистский характер движения в период довоенного времени «ни у кого в эмиграции не вызывал сомнений»,— пишет Варшавский. Именно в этом плане Варшавский отмечает изменения в идеологии послевоенных лет. В программе НТС, опубликованной в 1951

году, заметна демократизация позиций, в частности там говорится о равенстве всех российских граждан и о «недопустимости классовых, сословных, имущественных, партийных, расовых, религиозных и иных привилегий» (указ. изд. С. 116). В этот период Э. Райс и стал членом НТС.

[9] Журнал «Аполлон» выходил в Петербурге в 1909–1917 годах. Его редактором был Сергей Маковский. Большое участие в нем принимали акмеисты. В библиотеке И. Чиннова сохранилась подшивка журнала с 3 по 10 номер с автографом Маковского. Чиннов рассказывал, что даже у Маковского не было подшивки всех номеров, и он хотел купить их у Чиннова, но Чиннов не согласился.

[10] «Объединение русских писателей во Франции» вновь возникло после войны. До войны, в 1925 году, был создан «Союз молодых писателей и поэтов» (первым председателем стал его инициатор Ю. Терапиано). В 1931 году «Союз» был переименован в «Объединение русских писателей». После войны в «Объединение» вошли многие парижские поэты, в том числе И. Чиннов. Сохранился членский билет Игоря Чиннова номер 57 за 1947–1948 годы, подписанный председателем «Объединения» Георгием Раевским, и такой же билет за 1950–1951 годы, подписанный уже другим председателем «Объединения» Георгием Адамовичем. Чиннов вспоминал, что в «Объединении» тогда были те, кто разделял «левые» убеждения. Например, Г. Адамович. Литераторы с более «правыми» взглядами входили в «Союз русских писателей и журналистов в Париже», существовавший с 1920 года и много лет возглавляемый Б. Зайцевым. Туда вступил И. Чиннов, о чем свидетельствует его членский билет, датированный 1951 годом. Для проведения творческих вечеров «Объединение» арендовало зал Русской консерватории. В данном случае Чиннов говорит о своем втором вечере, проходившем в 1971 году, после выхода его четвертой книги «Партитура». На нем выступали с докладами Г. Адамович, В. Вейдле, И. Одоевцева, Ю. Терапиано. Первый вечер был устроен после выхода в 1950 году первой книги Чиннова «Монолог». Всего вечеров было пять.

[11] Главы из «Божественной комедии» Данте в прозаическом переводе Б. Зайцева печатались в «Числах» (1931. № 5). А кроме того в журналах «Возрождение» (1928 год), «Опыты» (1955 год), «Вестник РСХД» (1958 год).

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Георгий Владимирович Иванов — поэт, писатель, критик — родился в 1894 году в Ковенской губернии. Его молодость прошла в Петербурге. Учился в Кадетском корпусе. Рано начал писать стихи. Первые публикации появились, когда Г. Иванову было пятнадцать лет. До революции он был знаком со многими известными русскими поэтами, в том числе с Блоком. В России им издано несколько поэтических сборников. Иванов был членом гумилевского «Цеха поэтов». В 1922 году Г. Иванов уехал за границу — в Берлин, потом в Париж, где они с женой, поэтессой Ириной Одоевцевой, прожили многие годы. В эмиграции у Г. Иванова вышли такие поэтические книги, как «Розы», «Отплытие на остров Цитеру», «Портрет без сходства», «Посмертный дневник». Как поэт Иванов состоялся именно в эмиграции, там написаны самые сильные его стихи, и уже при жизни современники признавали его лучшим поэтом зарубежья. По словам Р. Гуля, Георгию Иванову принадлежало «кресло первого поэта эмиграции», унаследованное после его смерти Игорем Чинновым. Вообще Иванов сыграл в судьбе Чиннова большую роль. Он Чиннова и «заметил», и «благословил». Дело было так.

В тридцатые годы, когда Георгий Иванов с Ириной Одоевцевой приезжали в свободную еще от большевиков Ригу, где у них (вернее у отца Одоевцевой, известного адвоката) был роскошный дом, рижская литературная молодежь из объединения «На струге слов» решила устроить Поэту торжественный прием. Чиннов тоже входил в это объединение и печатался в выпускавшемся в объединении журнальчике «Мансарда». Он тогда был студентом рижского университета, следуя семейной традиции, — по курсу права, хотя его литературные способности стали очевидны еще в гимназии. Прием Поэта решено было устроить на квартире Чиннова, признанной самой приличной из имеющихся в наличии, хотя самого Чиннова в тот момент в Риге не было. Беседуя с молодежью, Георгий Владимирович перелистывал разбросанные на столе у Чиннова журналы и наткнулся в «Мансарде» на статью Чиннова. «Это каша, — сказал

поэт,— но это творческая каша. Пусть он ко мне зайдет». Чиннов зашел, принес что-то из своих стихов. Посмотрев, Иванов предложил ему составить протекцию для публикации в самом солидном тогда эмигрантском журнале «Современные записки» и даже написал его редактору письмо. Правда, это письмо так и осталось у Чиннова неотправленным: «Я не хотел посылать туда свои стихи, потому что считал, что потом мне за них будет стыдно»,— вспоминает он.

Но после одобрения Иванова Чиннов стал больше писать и продолжал сотрудничать в другом крупном эмигрантском парижском журнале «Числа», где, с шестой книги по десятую и представлял русскую литературную Ригу. На парижском фото сотрудников «Чисел» Игорь Чиннов как иногородний помещен особняком в углу фотографии. А в Париже он оказался более чем через десять лет, когда, после окончания войны, был освобожден американскими солдатами из немецкого лагеря и перевезен во Францию. Тогда он и познакомился, уже лично, со многими из числовцев и возобновил свое знакомство с Георгием Ивановым.

Кстати, как ни парадоксально, именно из-за Георгия Иванова Чиннов чуть было не лишился такой престижной литературной трибуны, как «Числа». В двадцатые, тридцатые годы в буржуазной, независимой от советской России, Риге, как впрочем, и вообще в Европе, среди молодежи были довольно сильны коммунистические настроения. И вот приятели Чиннова выпустили коммунистическую газету и попросили его подержать номера в своей квартире до распространения. «Я согласился, потому что мне хотелось выглядеть храбрым». Сам факт (без этого объяснения) дошел до редактора «Чисел» в Париже, Николая Оцупа, ученика Гумилева, который ни за что не стал бы печатать большевизана. «Конечно, это Георгий Иванов и Ирина Одоевцева рассказали Оцупу,— вспоминал Чиннов,— они вообще любили делать гадости. Но, в конце концов, я решил обо всем просто забыть. Эти двое так талантливы, что они уже за пределами добра и зла». А оказавшись в Париже, он увидел, что в эмиграции знают об этой склонности Иванова к злым розыгрышам и неожиданным каверзам и тоже прощают его жестокие шутки за необыкновенный поэтический талант.

Но тогда, чтобы восстановить «доброе имя» начинающего поэта, в историю пришлось вмешаться известному рижскому журналисту Петру Пильскому, давнему другу семьи Чинновых, который написал Оцупу в Париж, что знает Чиннова с детства и никаких

коммунистических настроений у него не замечал. И действительно, знавший детство Игоря Чиннова, мог не сомневаться в отсутствии у него симпатий к большевикам. Он научился бояться их уже в восемь лет, когда жил в Рязани, потому что понимал — если большевики заберут его отца, присяжного поверенного, члена окружного суда, — то неминуемо расстреляют. Оттого-то их семья и бежит с Белой армией на юг, и он ест сушеную селедку с мороженой картошкой, оттого на Рождество, замерзая с матерью в каком-то казенном доме, вместо всех подарков — он получает от сердобольной дворничихи морковку, а потом, в Ставрополе, они всей семьей болеют тифом, и чудом оставшись в живых, — едут в Ригу. Туда, где нет большевиков.

А бдительность Оцупа вполне объяснима — в отличие от европейской публики, многие эмигранты в тридцатые годы не имели коммунистических иллюзий. (Они распространились достаточно широко лишь в послевоенные сороковые.) Несмотря на «железный занавес», эмигрантам было уже хорошо известно о положении советской интеллигенции при «жесточайшей из деспотий». Так назван политический строй нового коммунистического государства в письме от «группы писателей» из России, обращенном к «Писателям мира». Это письмо, рассказывающее о «тюрьме для слова — о коммунистической цензуре» и взывающее к поддержке гибнущей русской литературы, так и осталось не замечено миром, взволновав только эмиграцию. Оно было опубликовано в парижской русской газете «Последние новости» 10 июля 1927 года. «Ни один “писатель мира” не откликнулся на это письмо, ни одна газета, ни один журнал не комментировал его»[1]. Западные писатели с интересом наблюдали за коммунистическим экспериментом в этой экзотической стране, ожидая рождения чего-то нового. «Человечество идет вперед», — написал тогда Ромен Роллан. Русская литература зарубежья, попавшая в опалу у советского правительства (равно как и ее живые представители), «писателей мира» тогда совершенно не интересовала.

Русские писатели оказались за границей в полном вакууме, который предполагал не только отсутствие читателей, но и отсутствие каких-либо средств к существованию — в Париже русские эмигранты как иностранцы не имели права на постоянную службу. Только на сдельную работу.

---

[1] Берберова Н. Курсив мой. М., 1996.

Игорь Чиннов возмущался, что Георгий Иванов — такой поэт! — вместо того, чтобы писать стихи, вынужден был искать литературных заработков и «отвлекаться» на прозу (так появились «Петербургские зимы», роман «Третий Рим»). А когда денег все же не хватало, то он занимал. И хоть отдавать было нечем, ему все же одалживали, потому что, по словам Чиннова, тогда уже многие понимали, какой Иванов крупный поэт, и находились меценаты, готовые его поддержать. Сам Чиннов в Париже жил тоже, как все эмигранты, без денег, зарабатывая то публичными лекциями по литературе, то преподаванием немецкого в гимназии. И все же Париж он вспоминал как самую интересную пору своей жизни, а о Георгии Иванове всегда говорил с особенным уважением, преклонением перед его талантом. Я не раз видела, как проговаривая то или иное стихотворение Иванова, например «Портной обновочку утюжит...», Чиннов был тронут до слез. «Как сделано! Как сделано!» — восклицал он. Среди бумаг И. Чиннова сохранилась короткая записка на обычной салфетке, которые бывают в кафе. Речь там идет о Георгии Иванове. Поскольку никаких своих выступлений Чиннов никогда не записывал, потому что говорил легко, всегда без бумажки, то остается предположить, что это просто «вырвалось», написалось, возможно, в тот момент, когда Чиннов узнал о смерти Иванова. Тогда Чиннов уже жил в Мюнхене. Вот этот текст: «Знаю, что то, что скажу сейчас, может вызвать улыбку, но — все равно. Мне хочется прийти на его могилу. Прийти, постоять — и низко поклониться ему за его удивительные стихи. Нет никакой веры даже в малейшую возможность того, чтобы хоть что-то отсюда могло до него дойти. И все-таки, обращаясь неизвестно куда, совершенно убежденный, что говорить это уже поздно и ненужно — все-таки говоришь: “Спасибо Вам, Георгий Владимирович. Спасибо Вам”». Умер Георгий Иванов в 1958 году в Йере, в Русском доме на юге Франции.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

22 октября 1950 г.

Дорогой Игорь Владимирович, поздравляю Вас с очень большой удачей. Ваши стихи, собранные вместе, чрезвычайно выиг-

Расписка

«Расписка» Г. Иванова. Париж, май 1948 года

рали. А Вы сами знаете, как это важно. Обычно получается наоборот... Короче говоря, прочтя «Монолог», я убедился, что недостаточно ценил Вашу поэзию. Считаю, что Ваш сборник дает Вам большие «права» — в частности, право на надменность по отношению к «суду глупцов». Я не читал, но слышал, что Вы удостоились уже кислой рецензии[1]. Плюньте и не обращайте внимания. Теперь Вы автор книги такого «класса», какие появляются — и не только в эмиграции — очень нечасто. И которой, одной, достаточно, чтобы Ваше имя «осталось». Поймите меня правильно. Мало ли что я хвалю по соображениям дружеским или житейским. Но то, что я пишу сейчас, я действительно думаю. При первой возможности постараюсь подтвердить в печати это мое мнение. Пока же всем и каждому буду говорить, что считаю Вашу книгу не только очаровательной, но и очень значительным явлением. Очень рад за Вас. И очень советую побольше писать — «по горячему следу» Вашей несомненной и большой удачи. Ваш всегда Георгий Иванов.

<Рукой Ирины Одоевцевой:> Я вполне согласна с мнением Г. В. Я до «Монолога» не знала Ваших стихов. И. О.

[1] Имеется в виду рецензия Н. Берберовой в «Русской мысли» (октябрь 1950) на первую книгу стихов И. Чиннова «Монолог».

РАСПИСКА

Обязуюсь при первой возможности написать о поэзии Игоря Чиннова, которую я очень ценю и люблю, так сериозно и уважительно, как она того заслуживает. Георгий Иванов. Париж, май 1948[1].

[1] И. Чиннов вспоминал, что эта шуточная «расписка» на небольшом листке сейчас уже пожелтевшей бумаги с «размахайчиком», которого Г. Иванов любил рисовать, была написана на какой-то вечеринке.

Георгий Иванов

СТИХИ

* * *

Перед тем, как умереть,
Надо же глаза закрыть.
Перед тем, как замолчать,
Надо же поговорить.

Звезды разбивают лед,
Призраки встают со дна —
Слишком быстро настает
Слишком нежная весна.

И касаясь торжества,
Превращаясь в торжество,
Рассыпаются слова
И не значат ничего.

1930. Из кн. «Розы»

* * *

Мелодия становится цветком,
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком.
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет,
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?...

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Из кн. «1948–1953. Стихи»

* * *

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога —
И бессмыслица и грех.

Из кн. «1948–1953. Стихи»

* * *

Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.
Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые»

О беспамятном счастье цыганском,
Об угарной любви и разлуке,
И — как вызов — стаканы с шампанским
Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то — что не надо другого!

Из кн. «1948–1953. Стихи»

* * *

Александр Сергеич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Вы мне всё роднее, вы мне всё дороже.
Александр Сергеич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

«Посмертный дневник (1958)»

* * *

Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый легкий голос твой
Преобразит стихотворенье
Последнее, написанное мной.

«Посмертный дневник (1958)»

Владимир Марков

О ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА*

<...> Не знаю, насколько правильно называть Георгия Иванова «последним русским поэтом». Но назвать его первым русским поэтом из живущих сейчас есть много оснований. Единственным соперником в конкурсе на получение звания был бы Пастернак, и если брать творчество каждого из них в целом, выбор очень труден — не только сами поэты несравнимы, но и аудитории их взаимно друг друга исключают. Хотя некоторые литературные группы за рубежом (например, в Праге) в свое время Пастернаком увлекались, эмиграция в целом его не приняла, и даже лучшие ее критики плохо в нем разбираются. С другой стороны, наиболее курьезные отрицательные отзывы

* Печатается в сокращении по тексту журнала «Опыты». 1957. № 8.

о Георгии Иванове приходилось слышать чаще всего от «новых эмигрантов».

Тем не менее, если присуждать пальму первенства сейчас, в 1957 году, она скорее всего должна была бы достаться Георгию Иванову. Пастернак,— не по своей вине, пожалуй,— постепенно терял внутренний поэтический накал, хотя виртуозность его остается тою же, и он (совсем как Георгий Иванов) может писать даже «левой рукой». Пастернак позрелел за последние годы, но куда делось волшебство его первых книг? По-прежнему ждешь его новых стихов, но их уже не любишь. Тогда как Георгий Иванов именно в зрелом своем творчестве стал незаменимым, и в каждом его новом цикле есть хоть одно стихотворение, само собой ложащееся «навсегда» на самую заветную полку поэтической памяти. Тем не менее, поэзия в России скорее пойдет за Пастернаком, чем за Георгием Ивановым. Но это уже явление «историко-литературное».

Из множества реакций на поэзию Георгия Иванова две кажутся мне особенно типичными.

Среди его хулителей немало людей, которые, в общем, признают «довольно высокое» качество его стихов, но их отталкивает, раздражает, возмущает то, что они называют «нигилизмом». (Впрочем, злоупотреблением словечка «нигилизм» грешат все, кто пишет о Георгии Иванове.) На низших ступенях эстетического восприятия тут чаще всего недоразумение. В строке «хорошо, что нет Царя» не слышат интонации, читают слова, как читали бы их в газетной передовице, или же не дочитывают стихотворения до конца. Это эстетические зубры, которых, к сожалению, больше, чем политических (и в политике они частенько «левые»).

На более высоком уровне (мне приходилось встречать даже поэтов) этот род отрицания встречается у так называемых «цельных» людей, которые не любят неблагополучия. Пессимизм они принимают и в больших дозах, но в «классической» упаковке. Так Боратынскому прощают то, чего не прощают Георгию Иванову, ибо у Боратынского — человек с большой буквы, значит не я, всё в порядке. Но ивановские стихи кусаются, и это не нравится. Очень часто в связи с этим начинается неизбежное отделение так называемого «содержания» от так называемой «формы». Я встречал людей, которых до глубины души возмущали строчки:

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

Они советовали Георгию Иванову быть последовательным и «цельным» (как они) и идти самоубиваться, а не соблазнять других.

<...> Георгием Ивановым возмущались, его пробовали оправдать, объяснить, им восхищались, но, кажется, никто не писал, как и за что он любит его стихи. В самом деле, за что любить этого бывшего молодого петербургского сноба, «объевшегося рифмами всезнайку», избалованного ранним признанием «лучших кругов» — в безвоздушной эмиграции вдруг ощутившего бессмыслицу, пустоту, дырку (жизни, искусства ли) и не в очень приятной форме доложившего об этом читателю? Но это — в лично-поэтическом, внешнем плане. Если же обратиться к «стихов виноградному мясу», то где еще сейчас найдешь эту простоту и вместе неуловимость, это чувство современности в сочетании с ароматом недавнего прошлого, эту смесь едкости и красоты?

Георгия Иванова любишь за современность. Это не значит, что он «откликается на современность». Это значит, что он задумывается о том, о чем я задумываюсь, дышит одним со мною воздухом, говорит на моем языке, каждое слово которого мне понятно (ведь последнему пушкинскому современнику завидуешь именно потому, что он ощущал каждое слово, степень новизны или архаичности этого слова, его взаимодействие с окружающим — всё, что для нас почти целиком утрачено). Георгий Иванов верен веку и себе больше, чем пишущие статьи о политической сущности момента, он открыт ему, как пушкинское эхо, может окрасить строку и в политику, ничего не удешевляя при этом.

Георгия Иванова любишь за человечность, качество, в значительной степени утерянное поэзией. Его человечность в том, что он не лжет ни себе, ни другим; что он с ворчаньем говорит истины, которые принято вещать; что вместо «este procul profani» он просто скажет:

И с ученым или с неучем
Толковать мне, в общем, не о чем,

и этой фразой творит чудо: простой разговорной интонацией, какой-то повседневной сложностью самой мысли, он очеловечивает мизантропию. И почти во всех своих стихах он, одному ему ведомым путем, объединяет те две поэтовых ипостаси, которые сам Пушкин так резко разделил: «ничтожного» и «широкошумного».

Георгия Иванова любишь за редкую, ни на кого не похожую красоту его стихов. Кстати, те, кто любит говорить о его «нигилизме», забывают, что замечательное произведение, — как и вообще все удачное в искусстве, всегда утверждает, даже если повествуется о всеобщем отрицании. Не хочется подсчитывать гласные и согласные (хотя, кто, кроме Батюшкова, умел так инструментовать на «н», так расставлять слова на «енье» и «анье»), и хорошо, что Георгия Иванова еще нельзя изучать: его красота живая. Зато чувство этой красоты, которое ни одна эстетика не может определить, у него безошибочное, и с какой небрежностью рассыпана она «волшебно на авось». В «Распаде атома» автор чуть не на каждой странице жалуется, что «чуда сотворить уже нельзя», но как удалось Георгию Иванову сотворить чудо, скажем, в «Желтофиоли» или в «Полутона рябины и малины»?

... Как-то до войны, в Ленинградской филармонии, я слушал с хор третью симфонию Малера. Уже играли последнюю часть; я прилежно следил за развитием тем, а зрительно представлял себе движение планет вокруг солнца. Вдруг незнакомый старичок, стоявший рядом, блаженно улыбаясь, шепотом закудахтал: красота, красота-то какая! И я вдруг понял, что вот сейчас купаюсь в этой красоте, и дело не в скучных темах и глупых планетах...

В стихах Георгия Иванова тоже дело не в нигилизме. И есть еще нечто в этих стихах, за что любишь поэта, нечто, может быть, самое главное. Но здесь хочется сказать ивановским неблагожелателям: да, конечно, духовный план важнее эстетического, но вы в духовном-то плане видите у Георгия Иванова не то, что нужно. Нечто, о котором мы говорим, выражается в одном слове: всё-таки.

И всё-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

Ну а всё-таки милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

И счастье «бессмысленно», и тучка «неособенно важная штучка», а всё-таки. Блок писал о «бессмысленном и тусклом свете», Фет жаловался, что «сердца бедного кончается полет одной бессильною истомой», т. е. основные отрицательные мотивы поэзии Георгия Иванова не столь уж оригинальны. Но у кого было такое «всё-таки»? Разве только у Чайковского в последней части Четвертой симфонии («жить всё-таки можно»), но насколько это и беднее, и мельче. Стихи Георгия Иванова не о нигилизме, а о невозможности нигилизма, о преодолении его. Даже там, где нет слова «всё-таки», оно всё-таки присутствует. На тротуаре поэт нашел розу, и он ее «выбросит в помойное ведро». Всё будет так, исхода нет. Но всё дело-то в том, что двумя строчками выше «на ее муаре колышется дождинок серебро», что такой живой в своей красоте розы нет больше нигде в русской поэзии (да и в иной поэзии, кроме «Die Rosenschale» Рильке). Короче говоря: в помойное ведро роза брошена в одном плане, но в другом, несравненно более высоком, милая роза,

Я тебя в это сердце возьму

и серебро ее дождинок будет всегда колыхаться в моей памяти.

Есть и менее важные вещи, за которые любишь Георгия Иванова. Хотя бы за то, что он пишет стихи об Антуане Ватто в век, когда того почти забыли.

Любишь, наконец, за отдельные стихи. Например, за «Эмалевый крестик в петлице», лучшее и единственное стихотворение о царской семье. Оно написано автором строк: «Хорошо, что нет Царя». А «настоящие» монархисты пишут сейчас так:

«Наступило время, когда деятельность Великого Князя должна быть расширена до предела, когда необходимо организовать учет кадров борцов за русскую государственность» (листовка Центрального Комитета по сбору средств в Казну Великого Князя).

В газетном стишке на сходную с ивановской тему обязательно фигурировало бы, даже в короткой строке, слово «мученичество» — мучная ламца-дрица, где в середине усатится Ницше, и конец — как ответ денщика офицеру.

А «эмалевый крестик» будет и через сотню лет преследовать совесть русского и наполнять его душу неизъяснимой печалью:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

Стоит ли перечислять другие стихи Георгия Иванова — и кусающиеся, и очаровывающие, об эмиграции и о России, о розах и о звезде («сквозь сухие ветки», «на болотистом дне»), о творческом процессе и так, о пустяках.

Эта статья не разбор, не похвала к юбилею, даже не суждение. Скорее всего, это выражение благодарности — может быть, и не поэту лично — за то, что вот есть сейчас такие стихи. Потому что большое счастье быть современником большого поэта. Но современника также трудно оценить, его трудно увидеть целиком, он еще не переплетен в полное собрание. Зато учиться у него молодым поэтам есть чему. О, не технике (хотя можно и технике) — а умению не врать. В его «позе» больше правды, чем в нашей претенциозной серьезности.

Оценка современника затрудняется еще и тем, что настоящий поэт всегда в движении. «Ворчливые» стихи Георгия Иванова заметно ухудшаются в качестве, но зато «волшебные» попрежнему волшебны. Не доказывает ли это, что настоящее всегда остается настоящим, а из «манерки», из «позы» он стремится выйти? Совсем недавно появилось его «Отзовись кукушечка», не похожее ни на что другое. Значит, еще не одна неожиданность может соскользнуть с его пера.

Но могут быть и счеты с Георгием Ивановым. Здесь нечего спорить, даже упрекать не за что. Но герой «Распада атома» заявил: «Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен». Мне (не лично мне, а моему поколению) кажется, что и моя вина тут есть. Это, может быть, единственная поправка к любимому поэту. Я всё-таки верю в ценности этого мира, несмотря на его безобразия и бессмыслицы. И розу *я* в помойное ведро постараюсь не бросать даже в этом низком плане. Несмотря на дурной пример «последнего поэта России», из глухой европейской дыры царящего над русской поэзией.

Георгий Адамович

НАШИ ПОЭТЫ*

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Есть люди с литературным дарованием — иногда огромным, а то и сравнительно незначительным,— которые пишут статьи, романы, рассказы, между прочим пишут и стихи. Георгий Иванов родился для стихов, пришел в мир, чтобы писать стихи, как Бальмонт «пришел в мир, чтоб видеть солнце». Это, пожалуй, основная его черта: для него стихи — тот воздух, которым ему от природы предназначено дышать. Как всякий подлинный поэт, он способен, конечно, писать и прозу, порой прекрасную прозу,— да и могло ли быть иначе? Стихи ведь требуют слишком бережного, взыскательного и умелого отношения к слову, чтобы, привыкнув к ним, не быть в состоянии справиться и с прозаической фразой. Но истинная стихия Иванова — стихи. Покойный Бицилли сделал когда-то о Пушкине удивительно правильное замечание, одно из немногих содержательных замечаний, вообще сделанных о Пушкине в последние десятилетья, среди пустых, стереотипных фраз о «гармонии», формалистических мелочах с подсчетом цветовых или иных эпитетов и кропотливых биографических изысканий. Пушкин — сказал Бицилли — редчайший пример писателя, который в стихах свободнее, чем в прозе. Как верно! Действительно, насколько «Онегин» свободнее, непринужденнее, как-то окрыленнее в самом словесном составе своем, чем «Пиковая дама» или «Капитанская дочка»! Не знаю, можно ли было бы сказать о Георгии Иванове то же самое. Но что стихи — его исключительная область, его «царство», в этом сомнений нет,— а раз я упомянул о «царстве», то готов повторить и глагол «царит», употребленный недавно в статье В. Маркова. Г. Иванов действительно «царит» над современной нашей поэзией. Скажу мимоходом, что я редко бываю согласен с Марковым, мне редко бывают по душе его статьи, в которых явно что-то еще не «перебродило» и где при этом **не заметно** признаков, что затянувшееся брожение к чему-либо наконец приведет. Но Марков — талантливый человек, в его капризных и ре-

* Печатается по тексту «Нового журнала». 1958. № 52.

бячески-запальчивых писаниях есть неподдельная свежесть, есть игра живого ума, эти писания украшают сейчас нашу поблекшую и посеревшую печать, и я рад случаю хоть в чем-либо с ним согласиться.

Я, я, я... как будто слишком много о самом себе! В связи с Марковым это вышло случайно, но боюсь и дальше местоимение «я», досадное и неизбежное, будет мелькать чаще, чем следовало бы (не начать же манерничать, прибегая к «пишущему эти строки», будто этот «пишущий» — вовсе не я!). За сорок с лишним лет я так часто и подолгу виделся с Ивановым, так сблизился с ним, — правда, иногда и расходясь, — так много накопил воспоминаний и впечатлений, что мне трудно писать о нем, не вплетая в то, что пишу, и самого себя. Должен однако заметить сразу: никакого литературного родства между нами нет и не было; и не имея ни малейшей претензии (говорю это совершенно искренне) сравнивать или хотя бы только сопоставлять те стихи, которые мне случалось писать, со стихами Иванова, я всегда воспринимал его поэзию как нечто духовно-далекое (а если духовно, то значит и стилистически). С его стороны отношение было, кажется, такое же. Дружба возникает порой в силу сходства, а иногда и наоборот, по контрасту.

Еще в Петербурге, до революции и даже до 1914 года, мне представлялось, что он весь в будущем и должен, как говорится, «найти себя». Самый звук его стихов, особая и чудесная ладность их явно обещала нечто более значительное, чем тогдашние его темы и тот круг образов, которым он себя ограничивал. В многотомной советской «Истории русской литературы», обстоятельной и содержательной в своей чисто исторической части, но вздорной по отношению к современности, что-то сказано — на страницах об акмеизме — о фарфоровых чашках и безделушках, которые будто бы составляют предмет вдохновения Георгия Иванова. У меня нет книги под рукой, не могу процитировать точно, но за смысл ручаюсь. Конечно, фарфоровые безделушки — нарочитое преувеличение, тем более нелепое, что еще в России, до эмиграции, ивановские темы изменились, и составителям истории следовало бы об этом знать. Но действительно, первые стихи Иванова — «Отплытие на остров Цитеру» и другие — были как-то нарядно и весело вещественны без всякого прорыва в области иные. Отчасти это, может быть, и восхитило в них Гумилева, тогда начинавшего борьбу со всякими тумана-

ми и мистически расплывчатой тоской о недостижимом. Должно было восхитить его, впрочем, и то, к чему он был особенно чувствителен: безошибочность напева, возникновение поэзии именно из напева, независимо от логического содержания фразы, а вовсе не из поэтичности замысла. Стихи Иванова были вполне земными стихами, но ils creusaient le ciel — формула Бодлера: «la poesie creuse le ciel»* — безотчетно и все же очевиднее, нежели многие из тех стихов, где только о небе и говорится.

Вспоминаю сравнение. В те годы авиация была еще новинкой, и мы, в сущности еще детьми, ездили весенними вечерами на какой-то пригородный аэродром,— кажется, Коломяжское шоссе — любоваться полетами смельчаков, кружившихся невысоко над землей на своих хрупких аппаратах с полотняными, большей частью двойными крыльям. Упадет или не упадет? — уверенности не было. Казалось, каждую минуту может упасть, и если в отдалении пролетала птица, сразу угадывалась разница: птица упасть не может. Даже большие поэты не всегда в стихах своих дают почувствовать, что не сорвутся, не упадут, не исказят ритма, не подменят органически спаянной строфы словесной толчеей, которую можно счесть стихами лишь в силу наличья рифм и размера. У Иванова страховка от срыва всегда подразумевалась сама собой: он был птицей, а не машиной, в которой тут надо было бы что-то смазать, там подвинтить и скрепить. В горьковском афоризме хотелось, читая и в особенности слушая Иванова, сделать перестановку: «рожденный летать ползать не может».

Позднее, в первые революционные годы, его стихи как будто по-настоящему вырвались на простор из мира несколько душного и в себе замкнутого. Мне, да и не мне одному, тогда казалось, что Иванов, в расцвете сил, дотянулся до лучшего, что суждено ему написать, и хотя формально это не было верно, я и сейчас вспоминаю его тогдашние стихи, широкие, легкие, сладкие без всякой приторности, нежные без сентиментальности, как одно из украшений новой русской поэзии. Биографическую справку к ним давать было бы рано, этим, надо надеяться, займется будущее. Но по внезапному переходу от образов декоративных к таким строкам, как — «но разве мог бы я, о, посуди сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!» — всякий догадается, что именно с поэтом происходило. Я не случайно вспом-

---

* Они поднимаются в небо. Поэзия поднимается в небо (*фр.*).

нил из целого ряда ивановских любовных стихов именно эти, «о, посуди сама» — как вспомнил о них и Роман Гуль в своей статье 1955 года,— пожалуй, ни в каком другом стихотворении ему не удалось с такой же непосредственностью и убедительностью передать и выразить путаницу любви, мучение любви, сплетенное со счастьем, те «блаженство и безнадежность», которые в старости, по Тютчеву, может быть и обостряются до крайности, но по существу друг от друга неотделимы. Несомненно, к этому времени Иванов был уже зрелым мастером, сумевшим найти равновесие между прежней своей изысканностью и свирепствовавшими тогда крайностями противоположными, в стиле «а в морду хошь?», крайностями, которые нередко бывали всего только эстетизмом наизнанку. Он говорил своим языком, теми словами, которые были для него человечески-естественны, поняв и почувствовав, что иное отношение к поэзии для нее оскорбительно и ведет к ее предательству. (Анненский утверждал, что поэт должен «выдумать себя». На деле однако мало было у нас поэтов менее «выдуманных», чем он. В каждом своем стихотворении, где виден прежде всего он сам, Иннокентий Федорович, филолог, чиновник, мечтатель, западник, которому Рязань или Чухлома все-таки не менее дороги, чем Париж, человек одинаково испуганный и жизнью, и смертью, в каждом своем стихотворении Анненский опровергает свою теорию. Если что-нибудь он действительно «выдумал», то именно ее, и выдумкой она и осталась.)

Однако, в коротком очерке было бы невозможно рассказать об «эволюции» Иванова на всем протяжении его деятельности, да это и не входит в мою задачу. Прошлое я затронул лишь потому, что и в нем, в этом прошлом, бывали у Иванова моменты, когда кривая линия, которой схематически можно изобразить развитие всякого творчества, резко взвивалась вверх. Оттого ли, что это были только моменты, оттого ли, что к поэзии у нас, при внешнем, может быть даже напускном, интересе к ней, мало внимания, эти стихи Иванова не были по достоинству оценены. Их мало знают, не очень твердо и помнят. Сейчас, в последние десять-двенадцать лет, он наконец достиг признания подлинного, заслуженного и, кажется, сам этим удивлен. В эти последние годы Иванов нашел новый для себя стиль, который многих поразил. Его стихи «дошли», и действуют они сейчас на читателей глубже и шире, чем когда бы то ни было прежде.

Что это за стиль? Я полумеханически, не то по привычке, не то по инерции, задал себе этот критический вопрос, собираясь тут же на него ответить, — и надолго задумался... Ответ дать не легко. В самой попытке сформулировать его заключен риск упростить, сгладить (жаль, что нет глагола «уплощать», «уплостить», от слова плоский) нечто сложное, болезненное, непрерывно противоречивое и уклончивое.

В нашей литературе не было еще стихов, где о крушении всех возможных человеческих надежд было бы рассказано с таким своеобразием и очевидностью, даже с такой настойчивостью, с отказом от всяческих экранов или «снов золотых». И не только о крушении, а и о чем-то вроде гоголевского «над кем смеетесь? над собой смеетесь!», что придает ивановской поэзии ее особый оттенок и выводит ее за пределы «дневника», как Иванов сам ее теперь определяет: может быть, это и дневник, но дневник, в котором личное сцеплено с общим и даже общественным. Думаю, что если стихи эти нашли сейчас подлинный отклик, то вовсе не только по своим чисто литературным достоинствам. Нет, они задели одну из тем нашего века в особом, русском ее преломлении, они внушены веком и всеми его чудовищными перетасовками, пусть и предлагают к нему комментарий, который не для всех приемлем, а иных и раздражает. В той же статье Романа Гуля, о которой я упомянул, приведено заявление человека, стоящего — как пояснил Гуль — «на педагогических позициях Белинского и Михайловского». Он говорил об Иванове: «мне хочется его приговорить к лишению всех прав состояния и, может быть, даже отправить в некий дом предварительного заключения». Собеседник Гуля, разумеется, шутил. Но по существу подобная реакция не удивительна, и было бы удивительнее, если бы поэзия Иванова последних лет, рядом с восторженным ее признанием, никого не отталкивала.

Люди живут, или стараются жить, как обычно: организуют разного рода союзы, ходят на заседания, издают программы по земскому самоуправлению в будущей России или устраивают бриджевые конкурсы, да, порой и в тех условиях, где надежды должны бы полностью смениться воспоминаниями, люди в большинстве своем отказываются сдаться судьбе. Это не страусовая тактика, о нет, это — торжество жизненного инстинкта, приспособляющегося к любым формам существования или даже наспех создающего эти формы, это в целом — нечто напоминаю-

щее тот репейник, о котором рассказано в предисловии к «Хаджи-Мурату». Да и как знать, может быть, в конце концов придет награда, придет оправдание усилий и жизненной стойкости? Как знать, в самом деле? Кто это знает? Кто? Не лучше ли верить, упорствовать, «бороться» или «тянуть лямку», чем на все махнуть рукой?

Надо ответить: да, лучше — даже если не стоишь на «педагогических позициях». Но вот является поэт, притом поэт с каким-то Страдивариусом в руках, и, как будто ни о чем, кроме своего личного горестного опыта не рассказывая, превращает всё без исключения, что составляет самую ткань существования, в чепуху, «мировую чепуху» по Блоку. Смущение, волнение должны были возникнуть в ответ, тем более, что музыкальное и стилистическое «оформление» этого монолога неотразимо. Мировая чепуха преподнесена в нем поистине обольстительно, и вкрадчиво она пробирается в самую сердцевину жизни, разъедая ее и отбивая к ней охоту... Но Георгий Иванов, усмехнувшись, скажет,— и ни о чем другом стихи его не говорят: «я жить и не собираюсь, по крайней мере в вашем понимании этого слова! а если вам, господа, тот мир, который вы изволите называть Божиим, нравится, что же, дело ваше — живите! Честь и место!»

Что это, в конце концов, «литература»? Здесь, в связи с этой внезапно мелькнувшей мыслью, могло бы возникнуть возражение более основательное, чем то, которое внушено педагогической опекой над читателями и писателями. В самом деле, если всё идет к черту, как можно писать стихи? Стихи именно о том, что всё идет к черту? О мировой, непоправимой бессмыслице? Зачем их писать? На первый взгляд — «или-или»: если же одно за другим появляются стихи, отравленные, но прелестные, дело, пожалуй, еще не так страшно. Как будто бы так! Но художник себе не принадлежит, и в сущности тот же недоуменный вопрос можно было бы предложить еще Блоку, когда он писал, что «нашел весьма банальной смерть души своей печальной». Объяснение, по-видимому, в том, что Блок и Георгий Иванов — прежде всего художники: им было бы легче поступить в согласии с требованиями рассудка, если бы не становились они самими собой лишь в стихии ритма и образов.

Есть в нашей новой поэзии стихотворение, которое уместно было бы сопоставить со стихами Блока или Георгия Иванова.

Принадлежит оно Андрею Белому, «Золотому блеску верил...» Позволю себе предварительно высказать суждение, идущее вразрез с мнением общепринятым: Андрей Белый был, по-моему, в стихах мало талантлив, хотя в других областях наделен был дарованиями исключительными. Еще совсем недавно, перечитывая посвященную Белому книгу Мочульского, где приведено множество его стихотворений, я удивлялся: одно хуже другого, и даже те знаменитые строфы Белого, где он в страстно-страдальческом тоне обращается к России, до нелепости напоминают Некрасова и при этом великом воспоминании мгновенно превращаются в стилизованный и лубочный прах. Мочульский по своей привычке, — несколько портящей его умные и содержательные работы, в частности книгу о Достоевском, — почти непрерывно восхищается, и чем голословнее его восторги, тем сильнее вызываемая цитатами досада. Однако раз или два в жизни Белому удалось в стихах как бы прорваться дальше, за стихи, и таково это стихотворение «Золотому блеску верил». Блок его не написал бы, Георгий Иванов — тоже: не могли бы и не хотели бы. Оба, вероятно, почувствовали бы, что самая материя этих строк серовата, порочна, их дарование увело бы их в сторону от этих сводящих скулы своей непосредственностью загробных стенаний. Стихотворение Белого и гениально, и слабо, и надеюсь, дорогой читатель, — вернемся на минуту к «белинско-михайловскому» критическому жанру! — надеюсь, читатель, что вы не пожмете плечами, а если надо, подумав, согласитесь, что в этом сочетании слов нет нарочитой парадоксальности! Гениально, — потому, что Белый был необыкновенным человеком, истерзанным, но грандиозно истерзанным своими умственными исканиями и катастрофами, и иногда это ему удавалось в своих писаниях отразить: именно отразить, а не выразить. Слабо, — потому, что он не был поэтом. Искусство имеет свои непреложные законы, имеет и свои пределы, и случайному гостю в нем легче те и другие переступить.

Закроем, по давнему, вечно мне памятному совету Льва Шестова, книгу, постараемся забыть отдельные стихи Георгия Иванова, отдельные его строки, — что остается от них в памяти? Не колеблясь, я скажу — свет, да и не это ли, не именно ли свет, в сознании задерживающийся, есть основное свойство, основной признак всякого творчества, достойного имени поэзии? У Георгия Иванова это удивительно. Насмешки, намеки, умышленно

смешанные с поэтическими условностями куски самой низменной, повседневной обывательщины, вроде какого-нибудь «вчерашнего пирожка», грязь вперемежку с нежностью, грусть, переходящая в издевательство, а надо всем этим — тихое, таинственное, немеркнущее сияние, будто оттуда, сверху, дается этому человеческому крушению смысл, которого человек сам не в силах был бы найти... Кстати, если когда-нибудь стихи Георгия Иванова дойдут в советскую Россию, как будут они там восприняты? Нет сомнения, что возбудят они страстный и длительный интерес, тревожно-напряженное внимание, сколько бы критики ни бились над разъяснением их «упадочного» характера. У Ник. Тихонова есть, помнится, строка,— если не ошибаюсь, относящаяся к англичанам: «... И дубовых наплодят ребят». В России сейчас массовое производство «дубовых ребят» стало целью, идеалом и объектом всех государственных усилий, но едва ли, едва ли цель эта окажется полностью достигнутой. Будем надеяться, во всяком случае, что в нашей России, где должны же все-таки остаться «русские мальчики» карамазовской складки, она полностью недостижима, и что после бойких и ловких од в честь какой-нибудь «доярки, успешно перевыполнившей норму», ивановские стихи заставят этих «мальчиков» встрепенуться: так вот куда может уйти поэзия, вот что может произойти в душе человека? Но это — другая, да и большая тема, которая увела бы нас от поэзии Георгия Иванова далеко.

Останемся с ней: исчерпать ее трудно, сказать о ней всё, что сказать следовало бы, тоже нелегко, отчасти потому, что в попытках анализа мысль цепляется за мысль почти до бесконечности. «Господи, воззвах к Тебе...»,— может быть, именно в этом сущность ивановской поэзии? Не знаю. Слов таких у Иванова не найти, а если бы они случайно у него под пером и мелькнули, рядом оказалась бы, конечно, усмешка, капля серной кислоты «во избежание недоразумений» и слишком благонамеренных выводов. От выводов ивановская поэзия ускользает. Но откуда же свет? И если бы его не было, могла ли бы эта поэзия не только восхищать и прельщать своим словесным блеском, но и волновать, мучить, обещать, в самой безнадежности таить и внушать надежду, одним словом «царить»?

Игорь Чиннов

GEORGII IVANOV*

(ABSTRACT)

Надежда Мандельштам во «Второй книге»[1] пишет Георгия Иванова непривлекательными красками: он денди, фат, пшют, лощеный хлыщ. Это *было* в Иванове — наряду с другим. Он сын русского Серебряного Века, с его культом Красоты, эстетизмом. Изящный гость петербургских салонов, он писал изящные стихи-безделушки. Но в стихах бывало очарование большее, нежели прелесть только изящества.

Опять заря! Осенний ветер влажен,
И над землею, за день не согретой,
Вздыхает дуб, который был посажен
Императрицею Елизаветой.

Как холодно! На горизонте дынном
Трепещет диск тускнеющим сияньем...
О, если бы застыть в саду пустынном
Фонтаном, деревом иль изваяньем!

Не быть влюбленным и не быть поэтом
И смутно грезя мучившим когда-то,
Прекрасным рисоваться силуэтом**
На зареве осеннего заката...

Георгий Иванов был членом гумилевского Цеха Поэтов, где Гумилев учил писать только выверенные стихи о вещах, обычно — красивых вещах, без символики и «туманов». Иванова считали «младшим акмеистом», но мажорность Гумилева, его культ

---

* В архиве И. В. Чиннова это резюме (ABSTRACT) сохранилось в рукописном варианте и без даты. Скорее всего, это заготовка к докладу о Георгии Иванове в связи с его восьмидесятилетием в ноябре 1974 года.

** Обратим внимание на «прекрасным силуэтом», которым И. «*рисуется*». (*Прим. И. В. Чиннова.*)

силы — были Иванову чужды. В его стихах была смесь классической ясности с романтически-элегической «меланхолией».

В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываетесь, воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то.

В отличие от Гумилева, Иванов воспевал «краски увяданья». У него подсознательное ощущенье обреченности, утонченная культура обречена, ее сметет «грядущий хам», о котором писал Мережковский.

В эмиграции Иванов продолжает писать *изящные* стихи, хоть и не о фарфоре уже, но по-прежнему о закатах и розах. Книжка «Розы», изданная очень изысканно, начинается так:

Над закатами и розами —
Остальное все равно —
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено.

Счастье мучить или мучиться,
Ревновать и забывать.
Счастье нам от Бога данное.
Счастье наше долгожданное,
И другому не бывать.

Все другое — только музыка,
Отраженье, колдовство —
Или синее, холодное,

Бесконечное, бесплодное
Мировое торжество.

Из словаря Георгия Иванова изгнано очень много: нет уже и красивых вещиц. Осталась только красивая природа.

Но уже врывается в этот «эстетский ансамбль» другое:

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Что черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Все же и тогда оставался, по мнению Владимира Вейдле, Георгий Иванов скорее утонченным стихотворцем, чем поэтом, способным «задеть за живое». Лишь после второй войны начал он писать стихи, говорящие нашим сердцам:

Холодно... В сумерках этой страны
Гибнут друзья, торжествуют враги.
Снятся мне в небе пустом
Белые звезды над черным крестом.
И не слышны голоса и шаги,
Или почти не слышны.

Синие сумерки этой страны...
Всюду, куда ни посмотришь, — снега.
Жизнь положив на весы,
Вижу, что жизнь мне не так дорога.

И не страшны мне ночные часы,
Или почти не страшны...

Или:

По дому бродит полуночник —
То улыбнется, то вздохнет,
То ослабевший позвоночник
Над письменным столом согнет.

Черкнет и бросит. Выпьет чаю,
Загрезит чем-то наяву.
...Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу.

Не обижаясь, не жалея,
Не вспоминая, не грустя.

...Так труп в песке лежит, не тлея.
И так рожденья ждет дитя.

Конечно, в этих стихах есть self-pity[2], недопустимая в английской и американской поэзии. И конечно, эта self-pity обнаруживает в Георгии Иванове по-прежнему слабого человека, если хотите — жалкого человека. Но насколько это убедительнее, чем поза титана или хотя бы поза «сильного духом», в которую становятся некоторые другие поэты. Какая-то «достоевская» нота, щемящая нота, чуть-чуть мармеладовская даже, порой звучит в поэзии Георгия Иванова:

Если бы жить... Только бы жить...
Хоть на литейном заводе служить.

Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой рекой.

«Ухнем, дубинушка!..»
Все это сны.
Руки твои ни на что не нужны.

Этим плечам ничего не поднять.
Нечего, значит, на Бога пенять:

Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь!

Характерно, что поэзия Георгия Иванова дошла и до столь непохожего на него Евгения Евтушенко. Посетив меня в Нашвилле[3], Евтушенко читал мне эти Ивановские стихи:

Иду и думаю о разном.
Плету на гроб себе венок.
И в этом мире безобразном
Благообразно одинок.

Думаю, что недолго уже поэзии Георгия Иванова оставаться в одиночестве: скоро придет к ней русский читатель.

[1] «Вторая книга» (Париж, 1972) — книга воспоминаний Н. Я. Мандельштам, жены поэта О. Э. Мандельштама.

[2] Жалость к себе (*англ.*).

[3] В журнале «Vanderbilt Alumnus» (1972. № 4) помещена статья о приезде Евтушенко в Вандербилтский университет в Нашвилле, где преподавал тогда И. Чиннов, и фото беседующих поэтов — И. Чиннова и Е. Евтушенко.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Ирина Владимировна Одоевцева (Ираида Густавовна Гейнике) — поэт — родилась в 1895 году в Риге. С 1923 года жила во Франции. Автор нескольких книг стихов, нескольких романов, а также двух книг воспоминаний: «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На берегах Сены» (Париж, 1983) — ставших довольно известными. Жена поэта Георгия Иванова. Ей он посвятил немало стихов, а умирая, в 1958 году, оставил письмо с просьбой ко всем, кто его ценит, позаботиться о ней. И. Чиннов высоко ценил Одоевцеву как поэта. Он вспоминал, что это была удивительная пара. И через много лет семейной жизни они по-прежнему любили друг друга, хотя каждый жил довольно свободно. Иванов в стихах называл ее «кукушечкой» — она совершенно не умела «вить гнездо», создавать домашний уют. Познакомился Чиннов с Одоевцевой уже после войны в Париже, хотя видел ее не раз и в Риге, где жил до войны, когда Одоевцева приезжала туда к отцу, преуспевающему адвокату. «По городу Иванов вел ее под ручку, и все обращали на них внимание — под ручку ходить было не принято», — рассказывал Чиннов. После смерти Георгия Иванова Одоевцева из старческого дома, где они жили, на юге Франции в Йере, переехала в русский дом такого же типа в Ганьи, недалеко от Парижа. В 1978 году она вышла замуж за писателя Якова Горбова. А когда он умер, приняла решение уехать в Россию. И с 1987 года она жила в Ленинграде. Чиннов тогда написал:

...Ну и шутку выдумала душечка!
(Позавидовать? Не презирать?)
Женушка, Ириночка, кукушечка,
В Петербург вернулась умирать.

И. В. Одоевцева умерла в 1990 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

18 сентября <1958 г.>

Дорогой Игорь Чиннов,

Спасибо Вам за Ваше письмо. Мало кто умеет писать так по-настоящему. Большинство «сочувствий»[1] только раздражают своей ненужностью.

Если хотите, я пришлю Вам несколько его последних стихов. Их после него осталось очень много — на целую книгу.

Но я еще не в состоянии заняться разборкой его записей. Я не могу даже заставить себя перечесть те, что он мне диктовал, когда не был уже в состоянии писать — слишком больно. Пошлю Вам те, которые я помню наизусть — около десяти. «Посмертный Дневник», как он говорил. Они почти все о его смерти.

Кажется, это в первый раз в литературе, чтобы поэт так писал о своей смерти. Мне даже страшно думать о них. Желаю Вам всего всего-всего хорошего. И еще раз спасибо. Ваша И. Одоевцева.

[1] Муж И. Одоевцевой, поэт Георгий Иванов, умер 27 августа 1958 года.

19-го декабря
18, Av. Jean Jaures. Gagny

Дорогой друг,

Посылаю Вам несколько посмертных стихов Г. В. <Иванова> и его последние фотографии, к сожалению, все плохие. Верните мне их, пожалуйста. Напишите, как пройдет вечер. С сердечным приветом. Ирина Одоевцева

<Стихи Георгия Иванова написаны рукой И. Одоевцевой:>

А может быть еще и не конец?
Терновый мученический венец
Еще мой мертвый не украсит лоб
И в fasse commune мой нищий ящик-гроб
Не сбросят в этом богомерзком Иере.
Могу ж я помечтать, по крайней мере,
Что я еще лет десять проживу,

Свою страну увижу наяву —
Нева и Волга, Невский и Арбат —
И буду я прославлен и богат,
Своей страны любимейший поэт...

Вздор! Ерунда! Ведь я давно отпет.
На что надеяться, о чем мечтать?
Я даже не могу с постели встать.

В зеркале сутулый, тощий,
Складки у бессонных глаз
Это все гораздо проще,
Будничнее во сто раз.

Будничнее и беднее —
Зноем опаленный сад,
Дно зеркальное. На дне. И
Никаких путей назад —
Я уже спустился в ад.

Немного бы теперь беспечности
И взгляд на Павловск из окна.
А рассуждения о вечности,
Да и кому она нужна?
Не избежать мне неизбежности,
Но в свете августского дня
Мне хочется немного нежности
От ненавидящих меня.

Зачем, как шальные свистят соловьи
Всю южную ночь до рассвета?
Зачем драгоценные плечи твои,
Зачем?.. Но не будет ответа
Не будет ответа на вечный вопрос
О смерти, любви и страданьи,
Но вместо ответа в сиянии роз,

Омытое ливнями звуков и слез,
Сияет воспоминанье
О том, чем я вовсе и не дорожил,
Когда на земле я томился и жил.

Кукуреку или брекеке?
Жаба в груди или крыса в руке?
Можно о розах. Можно о пне.
Можно о том, как неможется мне,
Ну и так далее. И потому,
Ангел мой, зла не желай никому
Бедный мой ангел, прощай и прости!
Дальше с тобой мне не по пути.

На барабане бы мне прогреметь!
Само-убийство.
О, если б посметь!
Если бы сил океанский прилив —
Другу, врагу, да и прочим, простив.
Без барабана. И вовсе не злой
Узкою бритвой иль скользкой петлей.
Страшно?.. А ты говорил: развлеченье.
Видишь, дружок, как меняется мненье.

Ночь, как Сахара, как ад горяча
Длинный рассвет. Полыхает свеча.
Вот вывожу на блокнотном листке
Я Размахайчика в черном венке.
Лапки и хвостика черная нить —
В смерти моей никого не винить.

Это, конечно, значит, что винить следует — Г. В. умер оттого, что ему с его высоким давлением никак нельзя было остаться в убийственном климате Иера. Но его, несмотря на все хлопоты, не перевели в Gagny. Только после его смерти я попала туда. Смерть Г. В. на совести эмиграции. Это всячески стараются за-

тушевать теперь. Он будто бы умер от «неизвестной болезни» и прочий вздор. Он не умер, а его убили.

26 апреля 1971 г. <открытка>

Воистину Воскресе!

Дорогой Игорь Владимирович,

Боюсь, что Вы не получили моего письма — наш почтальон, которому я поручила отправить его, сознался мне, что потерял несколько писем и не помнит чьих. Я была больна и не могла сама пойти на почту. А Вы, возможно, думаете, что я обиделась. Нет, я совсем не обиделась. Ведь я понимаю, что это «дружеский дар сердца» и очень благодарна Вам за Ваше красное яичко.

С удивлением прочла в «Р. Мысли» статью Юрия Павловича <Иваска> об «американской ноте»[1]. Зачем он произвел Вас в американского оптимиста? Эта не существующая «американская нота» никак не звучит. Да и парижская нота уже всем надоела до чертиков — Адамович о ней слышать не хочет. Ждем Вас — очень ждем — в Париже. С самым сердечным приветом, до — свидания. Ваша Ирина Одоевцева.

[1] Статья Ю. Иваска «Американская нота» в «Русской мысли» от 15 апреля 1971 года.

28 января 1975 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Начинаю с восторга от Ваших новых стихов. Очень они меня «пронзили», как говорилось когда-то в Цехе поэтов. Особенно птица[1].

Но, конечно, чтобы сообщить Вам это, я вряд ли бы превозмогла свою эпистолярную лень. Вот в чем дело — будьте милым, пришлите мне адрес составителя будущей энциклопедии[2]. Он мне прислал стихи, которые он отобрал, но без своего адреса ни на письме, ни на конверте. А мне надо ему вернуть исправленную корректуру. «Дедушке на деревню». Вот я и решаюсь при-

бегнуть к Вашей помощи, как к главному соучастнику. Кстати или не кстати, — раз я уже пишу Вам — нельзя ли мне получить обратно «Зеркало» и «Ангела Смерти»[3], посланные Вашей студентке, «грозившейся» написать обо мне диссертацию.

И еще вопрос — отчего Иваск, в бытность свою в Париже, не удостоил нас с Терапиано лицезреть его? А его интервью в «Р. Мысли» мне очень понравилось — то, что он хочет писать о рае. Понимаю, сочувствую и сама этого хочу, т. е. райских стихов — чужих. И своих. Кланяйтесь ему и себе от меня. И примите оба мои пожелания счастья и славы, хотя от нее и «безнадежно черствеют сердца». Ирина Одоевцева.

[1] В «Новом журнале» (№ 116 за 1974 год) появилась подборка стихов И. Чиннова, в том числе и стихотворение «Был южный сад. И птицы — самоцветы...», которое, скорее всего, имеет в виду И. Одоевцева. Там есть такие строки:

А птичка розовато-голубая,
Головкой утвердительно кивая,
Твердила, что она — из Уругвая.

Я отвечал: я тоже издалёка,
Из края, где береза и сорока
И снег лежит широко и глубоко;

Но в край иной придется удалиться
И надо поскорее насладиться
Игрою красок, маленькая птица.

[2] Видимо, речь идет об антологии эмигрантской поэзии «Вне России» (Мюнхен, 1978), составленной Б. Чалзмой. Она должна была выйти в 1975 году.

[3] Романы И. Одоевцевой, опубликованные в эмиграции.

22 апреля 1976 г.

Христос Воскресе!
Дорогой Игорь Владимирович,
Сообщаю Вам, что моя статья о «Пасторалях» готова.

Несколько дней тому назад я сообщила Я. М. <Седыху>, что пишу о Вас и теперь жду его решения. Было бы очень обидно, если бы он не поддался моим доводам, но во всяком случае постараюсь ее напечатать[1]. Хотя бы в «Современнике». А может быть, еще и Гуль, когда он немного оправится от горя, согласится ее напечатать. Сейчас с ним еще рано беседовать о делах. Кто о Вас пишет у него?

Заметки Плетнева[2] я еще не видела — «Н.Р.С.» приходит к нам с большим запозданием. И зачем он совался в воду не спросившись броду? Кто его просил? До чего досадно! Все же, надеюсь, что моя статья сумеет — где-нибудь — «прославить» «Пасторали» — я ее писала с вдохновением. С пасхальным приветом Ирина Одоевцева.

P.S. Подумайте только — Т. Фесенке не была известна легенда о пеликане, кормящем собой своих птенцов, и она сомневается, было ли Вам лестно, что я Вас увидела пеликаном[3]. А у некоторых поэтов это вызвало зависть — почему Вас одного? Они-то поняли, в чем дело.

[1] Статья появилась в «Новом русском слове» 16 мая 1976 года.

[2] Статья Р. Плетнева «О поэзии Игоря Чиннова» появилась в «Новом русском слове» 26 апреля 1976 г.

[3] Речь идет о стихотворении И. Одоевцевой «Открытка — море и скала...». Оно приведено И. Чинновым в статье «Вот и Одоевцева умерла», здесь опубликованной.

<1977 (?) открытка>

Дорогой Игорь Владимирович,

Спасибо за поздравление с будущим бракосочетательным торжеством[1] не столь уже важным. В свою очередь поздравляю Вас с торжеством поистине великим, прибавляя к поздравлению пожелания еще небывалого счастья — на многое годы! Ирина Одоевцева.

[1] 17 сентября 1977 года И. Одоевцева была помолвлена с Я. Горбовым.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Вам, Игорь Чинов,

этот ПОРТРЕТ
В
РИФМОВАННОЙ РАМЕ

стихи

Ирины Одоевцевой,
в знак нежности
и любви.
И восхищения

17/II/76

, ПАРИЖ
1976

Дарственная надпись И. Одоевцевой на ее книге «Портрет в рифмованной раме» (Париж, 1976)

14 июля 1980 г.
4 rue de Casablanca. 75015 Paris

Дорогой Игорь Владимирович,

От Вас давно ни слуха, ни духа, а я почти год болела и только теперь начинаю приходить в себя. А бедный Ю. Терапиано проболел четыре года и, как видите, умер. Смерть его действительно была трагичной — Аглая Шиманская самопожертвенно ухаживала за ним все то время, но два месяца тому назад сломала свою больную ногу и лежит в клинике с тяжелейшим аппаратом на колене. Без нее ему сделалось совсем плохо, и его, чего она никогда не допустила бы, отправили в госпиталь, где он и умер в больших страданиях. Я была у него в день его смерти. Он так изменился, что я не узнала его. Конечно, он был обречен. Но on pouvait le faire durer[1], а это для Аглаи было очень важно. Она в отчаянии. Такого горя я никогда не видела.

Пожалуйста, напишите ей «позадушевнее». Может быть, Вы могли бы послать некролог о нем в «Русское Слово»[2]? Это бы ее хоть немного утешило. Я тоже буду писать о нем в «Р. Мысли» и, если удастся, в «Н. Р. Слове». А как насчет «Нового Журнала»? Ведь он был его сотрудником, а потом стал его доброжелательным критиком. Не могли ли Вы и там?

Но так как мы с Вами еще живы, мне хотелось бы знать, что с Вами происходит в поэтическом и земном плане. Не собираетесь ли Вы в Париж, что меня бы очень обрадовало — здесь больше никого не осталось. Напишите мне о себе, и подлиннее — о себе. Всего, всего хорошего и главное — многие лета!

Неизменно дружески Ваша Ирина Одоевцева[3].

[1] Это могло еще продлиться (*фр.*).

[2] Стихотворение И. Чиннова «Памяти Юрия Терапиано» появилось в «Новом русском слове» 8 февраля 1981 года.

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 16 писем и 6 открыток И. Одоевцевой.

Ирина Одоевцева

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ*

В январе 1934 года, вернувшись из Риги, где мы с Георгием Ивановым провели год, мы отправились к Мережковским на «воскресенье». Не успела я поздороваться со всеми и ответить на многочисленные вопросы Зинаиды Николаевны, как раздался звонок и в столовую вбежал взволнованный, растерянный Злобин, звонко крича:

— Бунин!

Минута замешательства.

Это действительно была историческая минута, и все сразу почувствовали ее значение.

Бунин недавно вернулся из Стокгольма. И это был его первый (и последний) визит к Мережковским. Ответный визит: Мережковский еще до отъезда Бунина в Стокгольм для получения Нобелевской премии ходил поздравлять его в отель «Мажестик». Но не застал.

— Не был принят. Не удостоился лицезреть,— уверяла Зинаида Николаевна.— Понятно — зазнался Иван. Теперь уж он к нам ни ногой.

И вдруг Бунин, «сам» Бунин, во всем сиянии и блеске своего величия и славы...

Шум отодвигаемых стульев. Все, за исключением одной Зинаиды Николаевны, встали и почтительно замерли на своих местах.

Мережковский, побледнев до пепельной серости, вскочил и еще больше сгорбившись, суетливо, почти вприпрыжку бросился встречать.

Казалось, даже тусклая лампа над столом засветила ярче, когда в столовую легко, твердо и не спеша, вступил, держась необычайно прямо, ново-Нобелевский лауреат. Его худое, бритое лицо с зоркими глазами, с чуть презрительно сжатыми тонкими губами, выражало царственную, высокомерную благосклонность.

---

* Фрагменты из книги воспоминаний Ирины Одоевцевой «На берегах Сены». Париж, 1983. Книга подарена И. Чиннову И. Одоевцевой с ее автографом.

За ним, придавая еще большую торжественность его появлению, скромно шли Вера Николаевна и Галина Кузнецова.

Зинаида Гиппиус одна среди этого моря почтительного волнения сохраняла спокойствие и хладнокровие, внимательно рассматривая вошедших сквозь стекла своего лорнета. Грациозно подавая руку Бунину, она протянула лениво:

— Поздравляю, — добавив после короткой паузы: — И завидую.

Она здоровается с Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой, в упор уставляя на них свой лорнет.

— Какое на вас красивое платье, Вера Николаевна, — растягивая слова, произносит она, — верно страшно дорого стоило? — улыбка в сторону Галины Кузнецовой. — И на вас тоже... С каким вкусом и, верно, тоже страшно дорогое... Садитесь возле меня, Иван. Мне так интересно услышать, как вас приветствовал шведский король и как он вам кланялся.

Бунин, перед тем как занять место около нее, с той же царственной благосклонностью обошел всех, принимая поздравления. Я удостоилась даже его картавым передразниванием:

— Здрравствуйте, здрравствуйте. Страшно пррриятно вас видеть.

Галина Кузнецова садится возле меня. Я очень люблю Галину и всегда рада встрече с ней. Она смотрит на меня своими прелестными, грустными глазами и тихо вздыхает:

— Ах нет, Ириночка, совсем не так чудесно, как вам кажется, — это было очень утомительно. И беспокойно. Новый год мы встретили в поезде. На обратном пути Иван Алексеевич хотел непременно в Германии заехать к Степуну. Я простудилась. И там...

Я слушаю ее взволнованный, милый, чуть задыхающийся голос. До чего она вся мила. В ней что-то невинное, трогательное, девичье, какой-то молодой «трепых», особенно очаровательный не у девушки, а у женщины. Русский молодой «трепых». У иностранок его не бывает.

Бунин красноречиво описывает свою поездку в Швецию, церемонию получения премии.

Мережковский, успевший овладеть собой, пускает в него несколько отравленных стрел, плохо закамуфлированных лестью. Недолет. Перелет. Ни одна стрела не попадает в цель, Бунин просто не замечает их и отвечает на вопросы Мережковского с той же величавой благосклонностью.

Снова звонок. На этот раз двери открывает прислуга, а не Злобин, весь ушедший в свою роль jeune fille de la maison[1] — в угощение «высоких гостей» — чаем, печеньем и появляющимся только по большим праздникам ликером Moine miraculeux. Из прихожей быстро входит известный художник X., останавливается на пороге и, устремив взгляд на сидящего в конце стола Мережковского, как библейский патриарх, воздевает руки к небу и восклицает:

— Дождались! Позор! Позор! Бунину дать Нобелевскую премию!

Но только тут, почувствовав должно быть наступившую вдруг наэлектризованную тишину, он оглядывает сидящих за столом. И видит Бунина.

— Иван Алексеевич! — вскрикивает он срывающимся голосом. Глаза его полны ужаса, губы вздрагивают. Он одним рывком кидается к Бунину: — Как я рад, Иван Алексеевич! Не успел еще зайти принести поздравления. От всего сердца...

Бунин встает во весь рост и протягивает ему руку.

— Спасибо, дорогой! Спасибо за искреннее поздравление, — неподражаемо издевательски произносит он, улыбаясь. <...>

Если бы меня спросили, — кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их было много.

Но я твердо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них.

В нем было что-то совсем особенное, не поддающееся определению, почти таинственное, что-то — не нахожу другого слова — от четвертого измерения. Мне он часто казался не только странным, но даже загадочным, и я, несмотря на всю нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен. В нем уживались самые противоположные, взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за насмешливого отношения к окружающим и своего «убийственного остроумия», как говорили в Петербурге. Гумилев советовал мне, когда я еще только мечтала о поэтической карьере: «Постарайтесь понравиться Георгию Иванову. Он губит

репутации одним своим метким замечанием, пристающим раз и навсегда, как ярлык».

Зинаида Гиппиус уверяла, что в нем таятся метафизические прозрения и глубины и невероятная легкость мыслей, что она особенно ценила. Она же называла и считала его «идеалом поэта — поэтом в химически чистом виде».

С тем, что Георгий Иванов был «поэтом в химически чистом виде», я вполне согласна. Ни один из известных мне поэтов, даже Блок или Мандельштам, не воплощал так полно и явственно стихию поэзии, как он. Никто из них не был так орфеичен. Он действительно был абсолютным воплощением поэта.

Но он старался скрыть от чужих глаз это и казаться совсем не тем, чем он был, создавая свой «портрет без сходства» и забавляясь тем, что ему это ловко удается. Только очень немногие близкие ему знали его таким, каким он был в действительности.

Большинство поэтов долго учатся поэтическому ремеслу. Но Георгий Иванов никогда ему не учился. Оно было дано ему с самого детства. Ни в рифмах, ни в размерах он никогда не ошибался, у него был абсолютный поэтический слух.

Стихи давались ему невероятно легко, как будто падали с неба законченными. По известной формуле Теодора де Банвиля: «Стихи — то, что совершенно и не требует исправления». Именно такими и были стихи Георгия Иванова. Они не требовали исправления. Он, впрочем, и не стал бы их исправлять. Стихи были для него своего рода живыми существами. Он считал, что они должны оставаться такими, какими родились, что невозможно «производить над ними операции и вивисекции», как он говорил. Они «появлялись вот так, из ничего», почти мгновенно.

Возвращаясь домой после недолгого отсутствия, он часто приносил с собой два-три стихотворения, сочиненные им по дороге. Многие из стихов «Дневника» такого происхождения, т.е. сочинены им на ходу.

Друг друга отражают
зеркала,
Взаимно искажая отраженья

— было сочинено им во время приготовления обеда. Однажды, сидя со мной за утренним чаем и ведя самый незначительный разговор, он вдруг прервал самого себя на полуфразе:

— Постой, постой, подожди... — задумался на минуту: — Вот я сейчас сочинил. Послушай:

Туман...Туман... Пустыня внемлет Богу,
Как далеко до завтрашнего дня!..
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня[2].

Я почувствовала дрожь в груди и закрыла глаза от волнения. То, что эти гениальные стихи были созданы здесь, при мне, мгновенно, казалось мне чудом. А он, не понимая моего волнения, спокойно рассказал мне, что только что, бреясь в ванной, он сочинил начало стихотворения «Мелодия становится цветком...» и сейчас, размешивая сахар в чашке, досочинил его конец.

Он совсем не понимал, не отдавал себе отчета, что эти стихи — одна из вершин русской поэзии XX века.

Музыка, мелодия стихов была его стихией — в них воплощались «звуки небес», главное в поэзии. <...>

О Георгии Иванове я услышала впервые осенью 1919 года в Студии на лекции Гумилева о трехстопных размерах.

Гумилев изобрел — для запоминания их — свою систему, основанную на именах поэтов: дактиль — удар на первой стопе — Анна Ахматова, анапест — удар на третьей стопе — Николай Гумилев, амфибрахий — удар на второй стопе — Георгий Иванов.

Но кто такой этот амфибрахийный Георгий Иванов, я понятия не имею.

Я толкаю локтем своего соседа по парте:

— А вы слыхали о Георгии Иванове? — Он кивает:

— Еще бы! Георгий Иванов член «Цеха поэтов», сотрудник «Аполлона», Автор «Вереска»[3]. В «Лукоморье»[4] косяками печатались его военные стихи. Его даже прозвали маститый лукоморец.

Вот он какой известный этот амфибрахийный Георгий Иванов! Я не знала. Так вот же он какой!

Надо хорошенько запомнить его имя, не путать его с Вячеславом Ивановым — стихов его я тоже не читала. Амфибрахий — Георгий Иванов, Георгий, а не Вячеслав Иванов.

В том, что я никогда не слыхала о Георгии Иванове, я не решаюсь сознаться Гумилеву.

А через несколько дней, когда я возвращалась из Студии вместе с ним, — мы живем по соседству, он на Преображенском 5, я на Бассейной 60 — передо мой промелькнул, как видение, этот самый амфибрахийный Георгий Иванов. Он несется во всю прыть по противоположному тротуару. Увидев Гумилева, он, не останавливаясь, кричит: «Николай Степаныч! Прости, — лечу! спешу!», — и срывает с головы клетчатую, похожую на жокейскую, шапочку. Под ней челка, спускающаяся до резко очерченных бровей. Я успеваю заметить еще удивительные белые зубы, удивительно красный рот на удивительно белом лице и то, что он высокий и тонкий. Гумилев машет ему вслед рукой, улыбаясь:

— Ночевать тебе, Жоржик, в милиции! — и, повернувшись ко мне: — Сумасшедший! Ведь ему на Каменноостровский, а комендантский час начинается через десять минут. Захлопают милиционеры когда-нибудь.

— Кто это, — спрашиваю я. Гумилев удивлен:

— Как? Вы никогда не видели Жоржика Иванова?

— Неужели это Георгий Иванов? Я думала — он старый, с бородой, раз его называют «маститый лукоморец», а он...

— А он молодой и с челкой, — перебивает меня Гумилев. Самый молодой член Цеха. И самый остроумный. Даже остроумнее Михаила Леонидовича Лозинского. Язык у него, как бритва. Чик, голова долой! Непременно старайтесь ему понравиться. Его называют общественное мнение. <...>

Я вышла замуж за Георгия Иванова 10 сентября 1921 года и прожила с ним до самого дня его смерти тридцать семь лет.

[1] Молоденькая горничная *(фр.)*.

[2] Не совсем точная цитата. В стихотворении «Мелодия становится цветком...» есть такие строки:

«Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
— Так далеко до завтрашнего дня!..»

[3] Книга стихов Г. Иванова, вышла в Петрограде в 1916 году.

[4] «Лукоморье» (1914–1917) — сатирический и литературно-художественный журнал, выходил в Петрограде.

Игорь Чиннов

ВОТ И ОДОЕВЦЕВА УМЕРЛА*

Когда Николай Гумилев увлекся Ириной Одоевцевой, он посвятил ей стихи. В них проступает, хотя и неясно, ее облик:

Я придумал это, глядя на твои
Косы — кольца огневеющей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Когда я впервые увидел Одоевцеву в 1933 году, кос уже не было. Но некоторая зеленоватость в глазах, как бы русалочьих, оставалась.

В первые годы «маленькая поэтесса с огромным бантом», как она себя называла, поэтесса, любившая носить на руках цветы, походила на женщин «ар нуво», «югендештиля»: овальное лицо в копне ниспадающих волос и какое-то впечатление водяных лилий и водорослей. А в эпоху «арт деко» мы видим ее с прической средневекового пажа, «буби-копф», в шляпке без полей, с лицом «бледным и порочным», танцующую канкан или чарльстон в духе Марлен Дитрих — помните «Голубого ангела»?

Да, но молоденькая красотка была членом «Цеха Поэтов». Писала стихи. И тут знавших ее ожидал сюрприз: стихи были по-мужски крепкие, твердые, плотно сбитые, вот как эта «Баллада о площади Вилетт» — баллада о парижском «плохом районе» — с драками арабов, поножовщиной, с ночными криками о помощи:

Ложатся добрые в кровать,
Жену целуя перед сном,
А злые будут ревновать
Под занавешенным окном.
А злые будут воровать —
Не может злой не делать зла.

---

* Печатается в сокращении по тексту «Нового Журнала». 1991. № 184—185.

А злые будут убивать
Прохожего из-за угла,
И окровавленной полой
Нож осторожно вытрет злой.

А в спальню доброго луна
Глядит, бледна и зелена,
И злые снятся сны ему
Про гильотину и тюрьму.
Он просыпается, крича,
Отталкивая палача.

А злой сидит в кафе ночном
Над рюмкой терпкого вина
И засыпает легким сном,
Хотя ему и не до сна.

Во сне ему двенадцать лет,
Он в школу весело бежит
И там, на площади Вилетт
Никто убитый не лежит.

Это написано рукой мастера! Какая точность, твердость, какая экономия средств, как незаменимо каждое слово! Как угрюмо, жутко звучат эти «у»:

И злые снятся сны ему
Про гильотину и тюрьму.

И как внятны эти «а», это крик убиваемого:

Он просыпается, крича,
Отталкивая палача.

Раннюю славу Одоевцевой принесли ее баллады, особенно «Баллада об извозчике» и «Баллада о толченом стекле». Обе очень «на темы дня», отражают страшную жизнь тех лет, но художественное их совершенство обеспечивает им жизнь и сегодня.

В начале 20-х годов «маленькая поэтесса» оказалась в Берлине. Там был тогда, как известно, центр русской эмиграции, а

время было странное: марка упала настолько, что коробка спичек стоила 50 миллионов; спекулянты богатели, валютчики наводняли подъезды. Уже в Париже, вспоминая это время, Одоевцева писала:

Угли краснели в камине,
В комнате стало темно.
Все это было в Берлине,
Все это было давно.

И никогда я не знала,
Что у него за дела.
Сам он рассказывал мало,
Спрашивать я не могла.

Вечно любовь и тревога...
Страшно мне? Нет, ничего.
Ночью просила у Бога,
Чтоб не накрыли его.

И, уезжая кататься
В автомобиле, одна,
Я не могла улыбаться
Встречным друзьям из окна.

Это стихотворение — абсолютное совершенство. Заметьте, как быстро, стремительно разворачивается повествование. Уже во второй строфе:

И никогда я не знала,
Что у него за дела.

А третья строфа — словно сжатая психологическая повесть, как было сказано о некоторых стихах Ахматовой. Мы «видим» психологию влюбленной женщины: она бодрится, отвечая «нет, ничего» на вопрос — страшно ли ей. И тут же:

Ночью просила у Бога,
Чтоб не накрыли его.

10 — 8850

Отметьте это обыденное, вульгарно-разговорное «накрыли», придающее такую убедительность облику этой обыкновенной женщины. И упоминание об автомобиле — символе преуспеяния мужа-валютчика.

А вот стихотворение полностью автобиографическое — и очень доброе, очень сердечное. Она под руку с мужем, Георгием Ивановым, идет по набережной Сены. Напротив — Нотр Дам.

По набережной ночью мы идем.
Как хорошо — идем, молчим вдвоем.

И видим Сену, дерево, собор
И облака...
А этот разговор
На завтра мы отложим, на потом,
На послезавтра...
На когда умрем.

Какой удивительный поворот в этом — «А этот разговор». «Разговор» вынесен в конец строки, и тем подчеркивается его значение «выяснения отношений».

Три стихотворения, здесь приведенные, можно отнести к акмеизму, к неореализму. При всем их совершенстве, они — не новые слова в русской поэзии. Новым словом явились «Стихи, написанные во время болезни». Я знаю, где эти стихи писались — в Париже, в отельчике на улице Святых Отцов, поблизости от Латинского квартала. Когда я зашел проведать Ивановых, Георгий Владимирович сказал: «Она больна, но зайдите». Одоевцева лежала в постели, под пледами. Слабым голосом проговорила: «Голубчик, хочется соленого огурца». Я съездил к Суханову, в лавку, принес. Откусив, она сказала: «Вот новые стихи, хотите, прочту?». Картавя, прочла:

Началось. И теперь опять
Дважды два не четыре, а пять <...>

Позднее довелось мне услышать, тоже в ее картавом, прелестном чтении, едва ли не наиболее сюрреалистическое из «Стихов, написанных во время болезни»:

Вот палач отрубил мне голову,
И она лежит на земле.
И ни золотом, и ни оловом...
Кончен спор о добре и зле.
И теперь уж, плачь не плачь,
Не пришьет головы палач <...>

«Стихи, написанные во время болезни» — редкостный в русской поэзии образец романтического сюрреализма. Ирина Одоевцева всегда была «лунная» — очень многие из ее стихов в мерцании лунного света, романтические стихи. Но сюрреализм ее начался именно стихами, написанными на улице Святых Отцов в Париже, неподалеку от улицы Гийома Аполлинера. Кстати, ей, прекрасно знавшей французский язык, особенно близки были Аполлинер и Жюль Лафорг, один из наиболее «лунных» во французской поэзии.

Одоевцева писала и романы — тоже в романтическом духе, с любовью à la Ромео и Джульетта. Писала их в неприятном, по-моему, praesens historicum, в настоящем времени о прошлом — это якобы приближало действие к читателю. Дмитрий Мирский в своем учебнике объявил их ненужными. Один из них начинается описанием женских чувств во время полового акта.

Последний ее роман — «Оставь надежду навсегда» — надпись над вратами Дантова ада в применении к сталинской действительности — едва не вышел по-французски. Она погубила это издание, явившись к Гастону Галлимару и устроив скандал: почему он медлит с книгой, что за безобразие? По уходе Ирины Владимировны Галлимар, царь и бог французского книжного рынка, велел рассыпать набор. Странно, что такая умная женщина так наглупила. Ведь она была — «ума палата»! Ведь даже Гайто Газданов, Георгий Иваныч, писатель хороший, но критикан, завистливый зоил, присяжный остряк (не без вульгарности, увы), всегда «игравший на понижение», как-то мне сказал: «Одоевцева — умница».

Она была, кроме тех случаев, когда скандалила, очень обаятельна. Мое восхищение, о котором я ей писал в дарственных надписях на всех своих книжках, относилось не только к стихам, но и к ней. Она отвечала надписями «со взаимным восхищением» (и это, увы, относилось только к стихам). Впрочем, на «Портрете в рифмованной раме», кроме «взаимного восхищения», ска-

зано еще — «в знак нежности и любви». А на десятой странице там напечатано вот что:

Открытка — море и скала,
И на скале три пеликана.
И я подумала:
Бодлер не прав,
Поэт не альбатрос, а пеликан —
Ведь отрывает он от сердца своего
Куски, сочащиеся кровью,
Звенящие живою болью,
И превращает их в стихи,
Кормя свои стихи собою,
Как кормит пеликан своих птенцов
Своею плотью.
Мне это ясно стало,
Так ясно, что себя я вдруг —
На мимолетное мгновенье —
Увидела зобастым пеликаном,
С широковейными крылами
Средь моря, на скале.
Со мною рядом
Увидела я, тоже пеликаном,
Вас, Игорь Чиннов, Вас, недавно
Приславшего открытку эту мне.

И тут же рядом на скале —
Совсем как на открытке —
Сидел и третий пеликан,
Точь-в-точь такой же, как мы с вами.

Но не поэт, а птица-пеликан.

В последний раз я видел Ирину Владимировну на своем утреннике[1] в парижской Русской консерватории. Она председательствовала, как в прошлый раз Борис Зайцев, а перед этим Георгий Адамович, но — молчаливо. Говорить ей было трудно и статью ее о моей седьмой книге (из «Нового Русского Слова») читала милая Н. В. Ровская, артистка. Ни Сергея Маковского, редактора «Аполлона», ни Владимира Вейдле уже не было —

русский литературный Париж сузился, как бальзаковская шагреневая кожа.

Повторяю, в Одоевцевой было много очарования. Как мило картавила она свое обычное: «Здрасте-здрасте! Страшно рада вас видеть!» Впрочем, за восемь лет нашего парижского знакомства, почти еженедельных встреч, так она меня приветствовала редко.

Давно уже не было в живых Георгия Иванова, ее мужа, собеседника, «сочувственника». Вскоре после его смерти Ирина Владимировна напечатала:

Не во мне, а там, вовне,
В сердце ночи, в глубине,
Как на плоском дне колодца
Светодумная луна.
Лунный луч спиралью вьется,
Образуя на стене
Искрометного уродца.

В сердце ночи, у окна,
Где стихи и тишина,
Безысходно, точно встарь,
Мутностеклый, длинный-длинный
Блоковский горит фонарь
И в его бессмертном свете
В зеркалах и на паркете
Рябь отчаянья видна.

— Друг мой, незнакомый друг,
На одной со мной планете,
Очень мне «и ску и гру»,
Не с кем мне вести игру...

Некому, жалуется Одоевцева, сказать ей —

— Здравствуй, здравствуй! — поутру.
Вечером — Спокойной ночи.
Спи, закрывши звезды-очи,
Спи до завтрашнего дня!..

Иль, точнее и короче, —
Нет в лазури одиноче,
Белопарусней меня!

Такой она подводит итог. И вот точное о ней слово: она была белопарусная. Да, она была лермонтовский «парус одинокий», и было ей по-лермонтовски «и ску, и гру» — «и скучно, и грустно, и некому руку подать».

Она вернулась в Петербург. «Захотелось славки», — шутливо объяснила и мне, и другим. И там она убедилась, что славка, слава не прошла: на своих вечерах слушала долгие аплодисменты: «племя младое, незнакомое» вознаграждало ее за годы одиночество и забвения.

Если меня пустят в рай (сомнительно — но вдруг?!), встречусь ли я там с Ириной Владимировной? Вот, если бы встретился, и она, как всегда, сказала бы мне, мило картавя:

— Здрасте-здрасте! Страшно рада вас видеть!

Флорида

[1] «Утренник» по случаю вышедшей в 1979 году в США седьмой книги стихов Игоря Чиннова «Антитеза» был 23 мая 1982 года.

АННА ПРИСМАНОВА

Анна Семеновна Присманова (наст. фамилия — Присман) — поэт — родилась в 1892 году в Лиепае (Латвия). Эмигрировала в начале 20-х годов и почти всю остальную жизнь прожила в Париже. Когда, после войны, И. Чиннов оказался в Париже, они с А. Присмановой и ее мужем А. Гингером очень подружились, а после переезда Чиннова в 1953 году в Мюнхен — переписывались. Обычно в письмах Чиннову Присманова вместо подписи рисовала рыбку: Чиннов звал ее Аня Рыбка. В Париже у нее вышло три сборника стихов. А. Бахрах в рецензии на последний («Соль». Париж, 1949) писал: «Анна Присманова один из наиболее самостоятельных и продуктивных наших поэтов... Поэзия для нее сливается с жизнью, поэзия и есть ее жизнь» («Новоселье». 1950. № 42–44). Юрий Терапиано в книге «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» пишет, что о манере Присмановой спорили многие. Сам он считает, что стихи Присмановой немало теряли из-за «умышленного щеголяния гротесками, экстравагантностями, нарочито нелепыми словосочетаниями», и приводит строки, «вызывавшие бурное веселье и смех у слушателей на публичных чтениях»:

...Неузнаваем лебедь на воде —
Он, как Бетховен, поднимает ухо...

...Как поздно вырастает мудрый зуб.
Как трудно безо лба душе бодаться...

...Луг, кусаемый овечкой... и др.

«Если бы не это желание "обновить поэзию", Анна Присманова, при своем несомненном таланте, легко могла бы сделаться одним из видных поэтов», — заключает Терапиано. Чиннов тут с ним не совсем согласен. Он считал, что как поэт Присманова состоялась, и относил ее как раз к одним из лучших, называя ее первой среди по-

этов своего окружения (конечно после Георгия Иванова). Терапиано вспоминает, что в конце сороковых годов А. Присманова, А. Гингер и В. Корвин-Пиотровский объявили себя принадлежащими к новому течению, которое они назвали «формизмом», и собирались даже опубликовать программу «формистов», но постепенно их группа распалась, хотя по складу Присманова вполне могла бы быть лидером. «Она была в курсе теории литературы, умела говорить, порой страстно, но убедительно, сыпала цитатами и этим производила впечатление, особенно на младших». Среди этих «младших» оказался и Чиннов, писавший, правда, тогда в совсем другой, чем Присманова, манере «парижской ноты», далекой от сюрреалистических экспериментов, но в шестидесятые годы тоже столкнувшийся с необходимостью «обновления поэзии», и даже прослывший первым модернистом эмиграции. Писала Присманова и рассказы. В том числе — по-французски. Умерла А. С. Присманова в 1960 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

4-мая 1954 г. Париж

Милый Егорушка, дорогой друг,

Всю эту неделю, когда я вспоминала о Вас, я чувствовала какое-то треволнение в голове и в сердце и зуд в пальцах. Полагаю, это вызвано желанием Вам писать и получить от Вас быстрый ответ! Да, быстрый, несмотря на то, что сама я бесконечно долго Вам не писала. Не стану объяснять причин этого — их было много... Но верьте одному: я часто думала о Вас, была Вам благодарна за весточки и чувствовала искреннее раскаянье за свое неприличное молчание.

У нас есть кое-какие новости. Первая: Саша[1] получил работу корректора в типографии Резникова, где печатаются русские и иностранные тексты. Он ринулся в работу с остервенением: уезжает из дому в 7 утра, возвращается в 8 вечера. Мы с Васей в ужасе от такого рвения, боимся, что при таком темпе ненадолго хватит и рвения, и самого «фактического». Увидим, что будет. (Покамест я решила откладывать франки на фрижидер[2]...) Вторая новость: Вася по делам службы время от времени летает в Африку и обратно. Он был уже несколько раз в пустыне и, ког-

да возвращался, из него — буквально — сыпался песок. Теперь у него личность коричневая, а волосы розовые, так как песок, оказывается, розоватого цвета... Новость третья: после трех лет перерыва я разразилась тремя русскими стихотворениями, два из коих посылаю Вам для ознакомления и критики. Я так давно не писала, что почти утеряла способность судить о своих продуктах. Разберите их, пожалуйста, по зернышкам. Что до Ваших литературных плодов, то прозаические меня не очень удовлетворили, а поэтические пришлись весьма по вкусу. Думаю, что все три строфы одинаково хороши и завершены. Надеюсь получить в скором времени еще такие же...

Что у Вас нового? Мне кажется, что-то есть, но, как будто, скорее плохое, чем хорошее. Жду с нетерпением письма от Вас. Кстати, как здоровье? У меня приблизительно по-прежнему: в иные дни чувствую себя ниже всякой критики, потом вдруг — неизвестно по какой причине — гораздо лучше. Но пополнеть все никак не могу, по-прежнему кожа да кости, причем кожа даже стала от неудовольствия морщиться, очень уж ей неприятно покрывать одни косточки... Может быть, Ваш приезд (о котором Вы давно ничего не пишете) немного пополнит (можете поставить любое ударение) меня. Надеюсь, мы все-таки увидимся с Вами летом. Лично мы — будем, вероятно, у себя в поместье. О литературных новостях и членах разъединенного Объединения писать как-то совсем не хочется, но, вероятно, Вам пишут об этом другие. Французская проза у меня медленно, но неукоснительно, подвигается.

Еще раз прошу: пишите мне и не ругайте, Игрушка, милый! Объясняюсь Вам в прочной дружеской любви и надеюсь на таковую же с Вашей стороны. Целую по случаю Пасхи и вообще. Плывущая мысленно по направлению к Вам <рисунок рыбки>. Она же А.

Сейчас напишу Ваш адрес на недавно приобретенной французской машинке. У нее, как Вы сам убедитесь, очень красивый шрифт.

<К письму приложено одно стихотворение[3]. Вот оно:>

ВОДА

Двуногие, доживши до седин,
завидуют весной четвероногим,

и даже тот, кто в мае спит один,
ночам весны обязан очень многим.
　　Луна, покинув пригород в цвету,
　　неслышно приближается к уроду,
　　который майской ночью на мосту
　　стоит и смотрит на речную воду.
Он только что со скрипкой говорил,
и, водному отдавшись тяготенью,
застыл у неподатливых перил,
одолеваемый верблюжьей тенью.
　　Как мало равновесья изнутри
　　в хребте его, на много слишком веском,
　　когда он лунной ночью, в два иль в три,
　　висит над влажной тусклостью и блеском.
Вода вошла в большие города,
чтоб слышать музыкальные фа-соли...
В его глазах такая же вода,
но только в ней немного больше соли.
　　Его страданье выдано струной:
　　как и других, весна томит калеку.
　　Весной вода беседует с луной
　　и закрывает губы человеку.

Анна Присманова

[1] Александр Гингер — муж А. Присмановой. Дальше она его называет «фактический». Дома они звали друг друга по имени и отчеству. Вася и Сергей — их сыновья.

[2] Холодильник.

[3] Стихотворение позже было напечатано в журнале «Опыты». 1956. № 6.

23-го декабря <1954 г.> Париж

Милый Егорушка, милая моя Игрушка, имейте в виду:

Сперва Вы провинились передо мной, а потом я перед Вами, так что мы теперь расквитались, и ни один из нас не должен сердиться на другого!

Не помню уже, когда я писала Вам в последний раз и за какой период времени не сообщала о себе новости. Поэтому я, мо-

жет быть, чего-нибудь не доскажу, а что-нибудь, может быть, повторю... Думаю, однако, что не известила Вас о том, что одна половина моей «икры» метнула в свою очередь икру этой осенью: у Сережи родилась дочурка. Называется она «по-нашему» Арина, а «по-ихнему» Ирэн. У нас имеется уже целая коллекция фотографий этой замечательной малютки, замечательной тем, что она невероятно шустрая: когда ей было 10 дней, она уже переползала через стол (где ее пеленали), пользуясь локтями и коленями, как Маугли из Книги Джунглей.

Вторая новость, тоже довольно интересная, касается Васи: он купил автомобиль и, в ожидании его получения (его очередь дойдет через три месяца), научился править и получил «перми-де-кондюир». Теперь сей премудрости учится «фактический». Другой работы у него, к сожалению, опять нет: та типография закрылась, а новая пока работает с сильно сокращенным штатом...

Месяца два назад нашу квартиру ремонтировали, т. е. нашу комнату и кухню, куда провели, между прочим, горячую воду. Это, конечно, страшно удобно, но именно это заставляет меня теперь все время мыть посуду и даже кастрюли! Последнее необходимо ввиду того, что я теперь обхожусь почти без фем-де-менаж: мой сумасшедший цветок (Роза) окончательно взбеленился и больше не приходит, а заменяющая ее молодая и толстая римлянка (она действительно итальянка из Рима) является раз в неделю и — отличаясь слоновьей грузностью — во время уборки опрокидывает, ломает и давит все на своем пути. К тому же она, будучи круглой не только по формам, но и по деревенщинскости, считает, что я должна работать одновременно с нею, и мне неудобно ее разочаровывать..... Так что о литературных начинаниях или, вернее, продолжениях пока нет речи. Из «Cahiers du Sud»[1] пока корректуры не прислали и совершенно неизвестно, когда еще это будет, а новое витает в тумане и никак не хочет выкристаллизовываться. Это будет, может быть, нечто совершенно не похожее на предыдущее... А может быть, не будет ничего. Вообще я стараюсь не задумываться, а когда задумываюсь, то прихожу в минор. Письмо Вам — первое, которое я пишу за последние два месяца — я как-то совсем отбилась от пера и бумаги и даже от машинки. Все это время я не без удовольствия занималась обновлением нашей комнаты: теперь на новых светло-серых обоях висят картины в рамах, и скоро на

оконных рамах повиснут новые холщовые светло-серые (или белые) шторы. Думаю, что это будет неплохо... И заранее радуюсь тому, что покажу все это Вам, когда Вы приедете весною.

Что до Ваших произведений, то первое, которое кончается строками «...развлекаюсь сочетаньем
равнодушья и тоски»[2], мне весьма пришлось по вкусу, а второе — очень чуждо, особенно по форме. Но в первом есть одно неправильное ударение в строчке... «ветром гóнящим листву», а надо гоня́щим, как маня́щим.

Полагаю, что это (полное всяких домашних новостей) письмо не останется долго без ответа; и что Вы, пользуясь праздничным роздыхом, напишете не только поздравление, но и настоящее послание. С тем остаюсь, любящая и поздравляющая и не забывающая Вас, а интересующаяся Вашим житьем-бытьем. Ваша рыбка.

П. С. за лето я отлично поправилась, и многие даже удивлялись моему виду. Но зимние месяцы опять доконали! Впрочем, главное, конечно, не столько погода, сколько ненормальный «ночной» образ жизни и нерегулярное питание. ПИШИТЕ!

[1] «Южные тетради» — название толстого французского журнала. А. Присманова писала рассказы на французском языке.

[2] Строки из стихотворения «То, что было утешением...». Это и еще одно стихотворение — «Голод в Индии, голод в Китае...» — появились в 1954 году в альманахе «Литературный современник» (Мюнхен).

30 декабря 1955 г.

Милый Егорушка, милый мой Игрушка!

Клянусь бородой Пророка, что если бы от Вас не поступило ни картинного конверта, ни шоколадной коробки, я бы все равно сегодня написала и послала Вам письмо! Но все-таки, как приятно видеть, что настоящий «приятельский» друг (и друг приятный) не забывает, и относится с любовью, т. е. с прощением! Слава Богу, что Вы не в претензии на рыбу, которая молчала так долго, как будто набрала воды в рот, — логика не слишком явна в последней фразе, но это не беда. Это от избытка чувств и сообщений, которые я имею Вам сделать. Во-первых, когда, нако-

нец, я увижу Вас? А Вы мои обои? Другими словами — когда мы обои увидимся в Париже? Во-вторых, мы были месяц тому назад в Голландии, да, да! Вася-рыбка повез нас на своей машине обозревать города и села Нидерландов. Мы приехали поздно вечером в Амстердам и целый час кружили вокруг одной слабоосвещенной, но священной площади, чтоб найти номер Буровского дома — на этом почему-то страшно настаивал фактический. Когда мы, наконец, этот дом нашли и поднялись по широкой, но совершенно отвесной лестнице с веревочными перилами, мы увидели на площадке ряд дверей с нескончаемым количеством электрических звонков, позвонивши в кои мы в конце концов убедились, что Бурова нет дома! После этого факта фактический облегченно вздохнул, и машина, сильно облегченная, уже смогла спокойно двигаться по городу, осматривая его и отыскивая отель с кулер-локалем[1] и комфортом в одном здании. На узкой улице мы нашли индокитайские рестораны и нидерландские отели: поужинали в одном из первых и легли спать в одном из вторых! Комната огромная, с тремя кроватями, но оказалось, что плата взимается не с комнаты, а с кровати, т. е. с головы, ибо каждая голова имеет на другое утро право кушать гигантский утренний фриштык: яйца, масло, мед, хлеб трех сортов (не считая сухарей и пряника), колбаса, ветчина и холодное мясо и, конечно, огромные ломти королевского сыра! Не говоря уж о кувшинах кофе и молока! О том, чтобы завтракать вторично (т. е. в 12 или в 1 час дня), не могло быть и речи — пришлось весь день переваривать утренний завтрак, — осматривая в промежутках музеи... Видели где-то дом, где лет тридцать подряд жил Рембрандт. Дом этот почему-то в еврейском квартале города, который (т. е. город) весь изрезан темноводными каналами, с плывущими по ним осенними листьями и сказочными лебедями. А рядом, на острове, — рыбачья деревушка, к сожалению бутафорская, раздражающая своей не только парадностью, а прямо пародийностью! Только чайки — были настоящие, балтийские, наши. И белье — которое рыбачки, в театральных нарядах, развешивали на мрачных черных двориках за фасадами сценических домиков (за кулисами, куда доступ публике воспрещен!)... Мы осматривали Роттердам — вновь возведенный (после разрушения) город с очень интересной статуей на одной из портовых площадей — громадная чугунная женщина с воздетыми к небу руками и странной дырою на месте сердца и

внутренностей — с зиянием, через которое видно небо! Эта скульптура Цадкина действительно производит сильное впечатление. Я могла бы еще многое написать Вам о нашем путешествии, но оставлю это до какого-нибудь другого раза, потому что надо все-таки написать и о другом.

Например, о том, что в толстом журнале «Кайе дю Сюд» появились, наконец, мои «Петухи», которые имеют успех даже у французских «представителей литературы». Сейчас я совсем закончила другой рассказик, который будет называться «Les langues»[2], и который я с замиранием сердца собираюсь послать опять в тот же журнал. Что Вы думаете по этому поводу? Считаете ли Вы, что это возможно? Т. е., что так вообще делается? Потому что мне говорили, что та редакция сама никогда не приглашает.

Что касается здоровья, то оно — не хуже (что уже хорошо). А что с Вами, дорогой Егорушка? На что жалуетесь? Напишите об этом и о другом — подробно.

Остальные члены моей семьи Вам кланяются, а я — Вас целую. А.

Жду письма. Ваша <рисунок рыбки>

Прилагаю к этому письму одну французскую карточку и три русских «спасибо»: одно за поздравление, второе за подарок и третье (самое большое!) за несержение. Простите, что я столько места потратила на описание нашего «voyage», т. е. того, что вряд ли может занимать Вас!

[1] С местным колоритом.

[2] «Языки» (*фр.*).

Воскресенье, 23-го декабря 1956 г.

Милый Егорушка, дорогой мой Игрушка, милый мой друг!

Кажется, я не реагировала на три Ваших письма, а вынашивала свой ответ столько времени, сколь вынашивают ребенка, но Вы должны понять меня и простить... Дело в том, что все это время я чувствовала себя отвратительно, главным образом в смысле физическом, но это неблагополучие отражалось и на моральном самочувствии, конечно! Я дошла до такого состояния

апатии (и даже какого-то отупения), что моему родному сыну Сереже не писала около шести месяцев... Но имейте в виду — став немой, я отнюдь не стала глухой: каждое слово упрека принимается мной как должное и глубоко меня ранит. Короче говоря, я чувствую свою вину перед Вами.

Только что мы с фактическим вернулись с «банкета», которым Буров себя (по обыкновению, с нашей помощью) чествовал. Обед был вполне достоин и нас, и его: селедка, салат рюсс, кулебяка с грибным соусом, жареная курица с горошком, мороженое-пломбир, горячие домашние пирожные, сыры — все это орошалось в хронологическом порядке водкой, винами, минеральной водой, кофием, коньяком и ликерами... все пили, кто сколько мог, и все-таки, к моему удивлению,— до конца оставались трезвыми. Георгий Виктор. <Адамович> — пользуясь тем, что у него в три часа должен был быть доклад в обществе бывших студентов петербургского университета,— на этот банкет не пошел. В общем было человек 35 или 40, точно не знаю, причем семья дэ Корвэн[1] явилась в количестве сам-три, чем чрезвычайно всех поразила.

Этим обедом открылась, по-видимому, серия полулитературных, полупраздничных сборищ: в ближайшую среду будет у нас Екатерина Таубер со своими стихами и частью своей публики: Величковской, Доброхотовым и некоторыми другими, причем эта «среда» с нашей обычной «средней» публикой (в корне которой имеются обычно Червинская, Померанцев и Бахрах) составит, боюсь, довольно многолюдную группу. Мне страшно жаль, что в числе завсегдатаев не насчитываетесь Вы, мой незаменимый Игорушка, с которым мне так легко и приятно проводить бесконечные часы в беседе и взаимопонимании, в результате коего получается, безусловно, взаимопомощь... Не знаю, как Вы, но я это так чувствую! Когда, наконец, Вы появитесь опять на моем горизонте? Есть ли надежда, что этот момент в скором времени наступит? Может быть, весною? Помните, что я, и моя квартира, и, в частности, моя кухня соскучились по Вас (Саша говорит, что надо писать «по Вам», но мне это как-то не по нраву). Кстати, у нас этой осенью произвели ремонт: реставрировали переднюю, ванную и еще один уголок, назвать который мне препятствует моя всем известная чинность. Ванную мы в смысле окраски разделили на две части — главную, с санитарными принадлежностями и приспособлениями, выкрасили белым ла-

ком, а более узкий предбанник — бледно-желтым, в цвет мимозы. Получилось очень аппетитно.

Вася в данное время в Лондоне, куда поехал на несколько дней, пользуясь образовавшимся на его службе «мостом». Сейчас он сидит, вероятно, за чайным столом у моей подруги Наташи (у которой три дочки-барышни и муж художник). Думаю, что ему приятно будет встретить и провести Рождество в Англии. Пользуюсь случаем, чтоб поздравить Вас, милый мой Игрушка, и завидую Вам, что Вы сидите под зажженной елочкой в протестантском городе, где во вторник утром будут торжественно звонить колокола и по притихшим улицам двигаться принаряженные люди с аккуратными пакетиками в руках. Обнимаю Вас крепко, милый родной мой земляк, и жду подробного письма. Не наказывайте меня молчанием за мое, поистине неприличное, поведение!

Всегда Ваша, любящая Вас <рисунок рыбки>

Спасибо за отзыв об «Облаке»[2].

<Рукой А. Гингера приписка:>

Ты пишешь «прилагаю дополнительно на «protege-bas», однако в конверте этого приложения нами не обнаружено. Таким образом, пока продолжаю иметь в твоем распоряжении 200 франков. А. Г.

[1] Имеется в виду семья поэта В. Корвин-Пиотровского. А. Бахрах в воспоминаниях «По памяти, по записям» (Париж, 1980) рассказывает, что Корвин-Пиотровский был очень хорошим семьянином и любящим отцом. Легкая насмешка Присмановой по поводу его дворянских корней вызвана тем, что, как пишет Бахрах, Корвин-Пиотровскому «почему-то доставляло необыкновенное удовольствие распространяться о древности своего рода...»

[2] Стихотворение А. Присмановой.

28.12.1958 г.

Дорогой Егорушка, поздравляю, как полагается, и желаю всего, что полагается... Главное — Вы сами знаете, конечно, здоровья! Слыхала от других и прочла в Вашем письме, что Вы чув-

ствуете себя весьма неважно, и что это якобы главным образом от сердца (которое лечить, как мы знаем, не легко!). Я жалуюсь на то же самое, плюс на очень многое другое. В общем с каждым годом все худею, таю и слабею. А за последние шесть месяцев впала в совершенную апатию и потеряла всякую способность заниматься отвлеченным умственным трудом: меня хватает только на повседневную домашнюю работу, да и то она сводится в сущности только к мытью посуды под краном с горячей водой... Без моего сумасшедшего двуногого цветка — Розы — я бы совсем пропала. Хотя у меня поденщица только два раза в неделю, но для меня и это «лафа». (Кстати, не вижу совершенно, откуда происходит это слово!)

Фактический занят ежедневно в типографии корректурой, по пятницам проводит вечер и часть ночи за картами, по субботам ходит на базар, который, к счастью, рядом с нами, — против нашего дома, на бульваре. Зато Вася в скором времени должен будет ездить на свою работу не в северный аррондисмант Парижа, а в Банлье, что, к сожалению, будет отнимать больше времени.

MEILLEURS VOEUX ET SOUHAITS SINCERES[1]

P.S. Приложенное Вами поздравление юбиляру было ему передано на другой же день. — Надеюсь, дорогой Егорушка, что на этот раз Вы ответите мне быстрее, чем обычно, и что Вы, наконец, избавились от своего «ползучего» гриппа! Да, редакция «Южных тетрадей» сообщила, что собирается напечатать все три рассказика в одном номере, под общим заглавием. Ваша А.

(продолжение и окончание)

Сережа, метнув икру трижды, кажется, угомонился, по крайней мере, я надеюсь, что это так... Дети, правда, прелестные, если судить по фотографиям. Живьем мы их видим приблизительно 1 (один) или 2 (два) раза в год. Старшей уже 4 года, а мальчику — 1 год.

Когда, наконец, я смогу видеть Вас в Париже? Я все-таки не теряю надежды, что это будет еще на этом свете! Месяцев десять тому назад мною рождена довольно удачная «прозочка», в количестве двух маленьких рассказиков, которые (плюс один старый) я послала в «Кайэ дю Сюд» и, представьте себе мою радость, — вся продукция была сразу принята, о чем меня извес-

тили очень хвалебным письмом! Но пока — ничего еще не напечатано. Будьте здоровы, милый друг. Обнимаю Вас. А.[2]

[1] Всего наилучшего, с искренними пожеланиями (*фр.*).

[2] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 12 писем А. Присмановой.

А. Присманова

СТИХИ

На первой странице книги «Близнецы» из библиотеки И. Чиннова надпись рукой А. Присмановой:

«Не все ль равно, что выскажут потомки:
дурны у нас стихи иль хороши...
Для нас важнее разговор негромкий
и пониманье дружеской души»

ПУСТЫНЯ

Ужели в третий раз поет петух,
ужель столь поздний час, вернее ранний?
Еще свечи остаток не потух,
а свет уже вздымается в тумане.

О зыбкий час меж сумраком и днем!
Еще не стары мы, уже не млады.
Еще полуденным горим огнем,
уже вечернему покою рады.

Идя чрез этот свет во тьму из тьмы,
на жертвенность глядящие бесстрастно,
осуждены словами мерить мы
избыток сил, растущих в нас напрасно.

Не все-ль равно, что выскажут потомки:
дурны у нас стихи иль хороши...
Для нас важнее разговор негромкий
и пониманье дружеской души.

АННА ПРИСМАНОВА

БЛИЗНЕЦЫ

ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ
1946

Дарственная надпись А. Присмановой на ее книге стихов «Близнецы» (Париж, 1946)

Как жар пустыни, жадные слова
всечасно поедают нашу душу.
Так рыбу, выплеснутую на сушу,
небесная съедает синева.

Из кн. «Близнецы». «Объединение русских писателей во Франции», Париж, 1946

ЯД

Георгию Иванову

Всю суть души мы отдали для пенья.
Для головы похерил тело Кант.
Художник под конец лишился зренья,
и слуха — совершенный музыкант.

К потере сердца — пусть хотя бы части
(но самой, по несчастию, большой),
пришла и я, у слов своих во власти,
без устали работая душой.

Слова мои ко мне приходят сами,
во сне, когда совсем их не зову.
И я с рассыпанными волосами,
Офелией, большие розы рву.

И так живу я, отроду имея
неизмеримо больше сотен лет:
мой яд еще у райского был змея,
и у Орфея — узкий мой скелет.

Не к раю приближаюсь я, а к краю
мне данной жизни, плача и звеня...
От музыки, друзья, я умираю:
вся сердцевина рвется из меня.

Из кн. «Близнецы». «Объединение русских писателей во Франции», Париж, 1946

РЫБА

Судьба дала мне снов с излишком
и сердца учащенный бой,
но к сожалению я слишком
упорно занята собой.

Душа во мне от слез сырая:
мне дождь осенний нипочем.
Несу, от боли замирая,
куль соли за своим плечом.

Я лью живой раствор в сухие
слова и знаю для чего:
нужна соленая стихия
для продвиженья моего.

С колючей костью в узком теле
и с удлиненной головой —
похожа я и в самом деле
на гостя хляби вековой.

Есть многое во мне от общих
от первых наших предков — рыб.
Слова мои и чувства, в общем,
как рыбьи позвонки остры.

Пусть нет для жажды утоленья —
в соленое погружена —
не ледяной струей мышленья,
а сердцем — я дойду до дна.

Из кн. «Соль». «Объединение русских писателей во Франции», Париж, 1949

АЛЕКСАНДР ГИНГЕР

Александр Самсонович Гингер — поэт — родился в 1897 году. Эмигрировал в начале 20-х годов. Жил в Париже. Автор пяти книг стихов. В 1926 году женился на поэтессе Анне Присмановой. Постепенно он отошел от литературной деятельности, не дающей средств для существования. Работал корректором в типографии. И. Чиннов считал, что Гингер «уступил дорогу своей жене», чей поэтический талант очень ценил. Г. Адамович в статье «Об Александре Гингере» («Мосты». 1966. № 12) писал:

«В его стихах есть та же прямота, несговорчивость, духовная требовательность, которые были в нем, как в человеке. Есть в них — и это пожалуй самое важное, — неуклонный духовный подъем и то, что теперь принято определять как "message": то есть это стихи, вторгающиеся в душевный мир читателя, поддерживающие или нарушающие его строй, может быть, вызывающие отпор... В этих стихах есть образ жизни и мира, есть свое видение их».

Борис Поплавский, знавший Гингера, вывел его в своем романе в образе Аполлона Безобразова. И еще Поплавский посвятил Гингеру несколько стихотворений. Например, это, датированное 1926–1931 годом и напечатанное в «Мостах» после смерти Гингера (1966, № 12):

А. С. Г.

Блестит зима. На выгоне публичном
Шумит молва и тает звук в трубе.
Шатается душа с лицом поличным,
Мечтая и покорствуя судьбе.
А Александр курит неприлично,
Отлично дым пускает к потолку.
Потом дите качает самолично.
Вторично думает служить в полку.
И каждый счастлив боле или мене
И даже рад, когда приходит гость.
Хоть гость очами метит на пельмени,

Лицом как масло, а душой как кость.
Но есть сердца, которые безумно,
Бесшумно и бесчувственно горят.
Они со счастьем спорят неразумно.
Немотствуют и новый рвут наряд.
На холоде закрылся сад народный,
Темнеет день, и снег сухой шуршит.
А жизнь идет как краткий день свободный,
Что, кутаясь в пальто, пройти спешит.

Под псевдонимом Агния Нагаго Гингер писал критические заметки и эссе. В одном из них, «Борьба за тепло» («Опыты». 1958. № 9), он размышляет о природе стиха, «о мучительном (в частности для писателя) вопросе о соотношении между формой-звуком и содержанием-смыслом». «Уместны ли переводы священного писания? — Задается вопросом Гингер. — Ведь первоначальный язык откровения есть орудие, посредством которого откровение проникает в умы; и спрашивается, не есть ли перевод — порча орудия... Имеется ли в звуках древнего языка нечто, сообщающее слову значимость, которая умаляется вследствие перевода?». И, отвечая на вопрос, Гингер продолжает: «Стихи — это и музыка, и мысль, и воля... Звуки не всегда главное в слове: можно орудовать и размышлением...» Гингер принял буддизм, и завещал похоронить себя по буддийскому обряду. После его смерти в письме И. Чиннову Ю. Иваск писал: «...Пришло французское извещение о кончине бедного Гингера, с русской цитатой из ЭСТАФЕТЫ... Он как будто стал буддистом... Почувствовал, что Гингер и Присманова очень близки — чистые сердцем юродивые, неописуемые супруги-дети. Близки и стихи их — некоторый метафизический футуризм. Поэзия эта чревата будущим, поэзия нелепая и прекрасная! Напишу сыну — попрошу прислать фотографии...» «Эстафетой» Иваск называет стихотворение Гингера «Факел», о бегуне, участвующем в эстафете, где Гингер писал:

... Все мы гости праздника земного,
В землю мы воротимся домой.
Торжеству квадратная основа —
Я, мой сын, мой внук и правнук мой.

Я хочу тебя увидеть, правнук,
Не хочу я скоро умереть,

Мне бы жить примерно, жить исправно,
Чтобы очень медленно стареть...

Я тебя люблю, благое лето;
Хорошо, что не умрешь со мной.
Я сойду, отдавши эстафету
Новым слугам прелести земной.

Умер А. С. Гингер в 1965 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

1960 г.

Дорогой Игорь

Ты постарался написать все, что в данном случае можно было найти утешительного. Пожалуйста, скажи Бахраху и Червинской, что я им не пишу потому, что они видели Аню сравнительно недавно.

Нас, то есть моих сыновей и меня, сноху и свояченицу больше всего поддерживает мысль, за которую мы и цепляемся, что это была такая смерть, о какой молятся: безболезненная и мирная; как говорят старики — Божья милость. Она спокойно спала, а сердце постепенно останавливалось...

Но понять, что именно она, именно Аня, умерла — мы не можем. Мы не были подготовлены к этому удару. Вернувшись с работы, я нашел ее спящей, и только много времени спустя коснулся ее руки... уже безжизненной и превращавшейся в мраморную. Я не могу сказать «мир ее праху», потому что это все равно, как если бы я обращался к части самого себя. С тех пор, как это произошло, я чувствую себя как побитая собака. Спасибо, за участие. Г.

1961 г.

Дорогой Игорь

В общем я ни с кем не переписываюсь: весь мир сделался для меня враждебным. Но так как ты потрудился мне написать, я отвечаю.

Дорогой Игорь,

В общем я ни с кем не переписываюсь: весь мир сделался для меня враждебным. Но так как ты потрудился мне написать, я отвечаю.

У Эльканы в мозгу лопнул кровеносный сосуд, она помешалась и находится в „лечебнице".

16 декабря в субботу в Р. М. О. З. вечер памяти Ани. Вход свободный и бесплатный. Я не пойду, потому что будет магнитофон с ее голосом. (См. на обороте.)

Был на отпевании Смоленского. Врачи не понимали почему он так долго живет… Это они могут — не понимать. А вот вылечить!

Спасибо за память.

Шват Гингер А.

Письмо А. Гингера к И. Чиннову от 1961 года

У Элькан в мозгу лопнул кровеносный сосуд, она помешалась и находится в «лечебнице».

16 декабря в субботу вечер памяти Ани. Вход свободный и бесплатный. Я не пойду, потому что будет магнитофон с ее голосом.

Был на отпевании Смоленского. Врачи не понимали, почему он так долго живет[1]... Это они могут — не понимать. А вот вылечить!

Спасибо за память. Твой Гингер А.

Впрочем, это была моя собственная идея, я думал что это будет интересно для присутствующих, и сам это предложил. Но для меня это слишком огорчительно. Устройством вечера занимается С. Ю. Прегель, я не вмешиваюсь ни во что, кроме вот именно того, что посылаю моего сына с магнитофоном[2].

[1] У В. Смоленского был рак горла.

[2] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 5 писем А. С. Гингера.

Александр Гингер

СТИХИ

ЖАЛОБА И ТОРЖЕСТВО

У каждого растет своя березка,
и яблоня особая цветет.
Не следует чужого трогать воска
и медом пользоваться чуждых сот.

Я вас прошу настойчиво и прямо:
не приходите на мою траву.
Интересуемся другими зря мы,
Тревожа их во сне и наяву.

Хотя бы в удивительном бездельи
бесповоротно уходили дни,

не нарушайте тихого веселья
потрескиваниями болтовни.

Бодают ли меня коровки божьи,
и вышиваю ли я по канвам,
питаюсь я пшеницей или рожью —
поведайте, что нужды в этом вам.

Мне нравится неумолимый ветер
и английский прессованный табак,
и шоколад молочный Гала-Петер,
в особенности же люблю собак.

В мыслительных усилиях нешибкий,
сонливостью природной поражен,
я провожаем жалостной улыбкой,
презрением мужей и хладом жен.

Но все же вы не более как пешки
заранее разученной игры,
в отчаянной и недостойной спешке
себя морочащие до поры.

И утверждая, что свободна воля,
и непроизводительность кляня,
вы говорите: он расслаблен, что ли? —
вы к мертвецам относите меня.

Послушайте, ведь вы совсем не правы!
Ввиду того, что я живее всех,
пускай проходит век мой нелукавый
под ваш бессмысленный и быстрый смех.

Из кн. «Жалоба и торжество». Париж, 1939

* * *

Ознобов и бессонниц тайных
нас утомляет череда
сцепленьем слов необычайных
не оставляющих следа.

Средь ночи добровольно пленной
при поощреньи щедрой тьмы
мы пишем письма всей вселенной,
живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем как жених невесте,
нам перебоев не унять,
чужим и дальним шлем мы вести
о том чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
не вспыхнут и не возгорят,
ответных писем не напишут
и с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь,
тонический отживший звон,
зачем поешь, чего ты хочешь,
куда из сердца рвешься вон?

1948. Из кн. «Весть». Париж, 1957

ШАР

На что нам чудеса! Когда б ослепли мы,
    когда бы слышать перестали —
мы к бурям бы рвались из медленной тюрьмы
    и о пожарах бы мечтали.
Но несказанный шар сейчас осветит нас,
    и знак подаст; и звуки встанут.
И будет слышать слух, и будет видеть глаз,
    а ночь и глушь в могилу канут.
Каких чудес желать? Ведь их не может быть:
    они уже у нас и с нами.
О том, чтоб не заснуть. О том, чтоб не забыть.
    О том, чтоб не забыться снами.

1949. Из кн. «Весть». Париж, 1957

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО

Юрий Константинович Терапиано — критик, поэт, мемуарист — родился в 1892 году в Керчи. Был в Добровольческой армии. В 1920 году оказался в Константинополе, с 1922 года поселился в Париже. Выпустил несколько стихотворных сборников. В послевоенные годы в Париже известен как литературный критик «Русской мысли». Его статьи регулярно появлялись и в других эмигрантских изданиях. При оценке стихов — а чаще он писал именно о стихах — Терапиано стоял на позиции верного приверженца классической традиции в поэзии серебряного века, отдавая предпочтение акмеизму. О стихах Чиннова им написано несколько рецензий.

Терапиано — соредактор антологии русских зарубежных поэтов «Эстафета» (Париж — Нью-Йорк, 1948). Потом редактор антологии «Муза диаспоры. Избранные стихи зарубежных поэтов» (изд. «Посев», 1960). Некоторые из статей и мемуарных записей Терапиано вошли в изданный посмертно сборник «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974)» (Париж — Нью-Йорк, 1987), а при жизни вышла книга воспоминаний «Встречи» (Париж, 1953).

В молодости Терапиано побывал в Персии и встретился там с зороастрийцами. Возникший тогда интерес к восточной философии и религии он сохранил на всю жизнь. В 1968 году в Париже вышла его книга «Маздеизм. Современные последователи Зороастра». Последние годы жизни Терапиано провел в Русском доме в Ганьи под Парижем. Умер Ю. К. Терапиано в 1980 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

28.6.1953

Дорогой Игорь Владимирович,

С. К.[1] писал Вам, вероятно, что очень болен Ставров: у него,

как было у Ирины Николаевны[2], большая каверна в легких, но только форма другая — жар по ночам, сильная слабость — и в этом опасность, т. к. Ставров очень исхудал и едва держится на ногах, когда встает. Лечат его провинциальные врачи в Brunoy — и это тоже опасно — пичкают «стрептомицином» и «ремифоном». Манухин уже в 2 $^1/_2$ месяца закрыл каверну И. Н., и она уже чувствует себя совсем хорошо. (NB: От С. скрыли, что у него каверна.)

Анна Морисовна[3], С. К. и другие делают все возможное, чтобы доставать для Ставрова деньги. В прошлую пятницу (26) устроили в его пользу вечер «Памяти Есенина», было много публики.

Умно и очень по существу говорил Адамович — сначала о своих встречах с Есениным, затем — о поэзии позднейшего периода, о его теме «блудного сына», о непосредственности тона Есенина и т. д. К сожалению, Ильин[4] затем произнес сумбурно-метафизическую речь, совсем не уместную на вечере памяти, с отрицанием поэзии Есенина, эротикой, издевательством над ним, а заодно — и над Толстым, которого обозвал «Ерошкой». Провал был полный. В перерыве публика упрекала: «Зачем выпустили этого профессора?» После читал Анненков — интересно — он хорошо знал, лично, Есенина, но в его докладе была и рисовка, и сведение счетов с Маяковским[5], и игра (читая «Стихотворение о собаке», расплакался — м. б. искренне?). Публике (в частности, М. С. Цетлиной) он очень понравился. Затем «провыл» 2 стихотворения Е. Вырубов (сам просил читать — нельзя же было отказать!), и Померанцев закончил «Русью советской». Утешение — хороший сбор для Ставрова.

Говорил с М. С. Ц. об «Опытах»[6]. Они сделали ошибку, предоставив первую рецензию на волю случая. Теперь, если бы опять писать в «Н. Р. С.», — получится, что «сотрудник защищает». Но я буду писать «По журналам». Критика об «О.» здесь слышится повсюду, и, что греха таить, ошибок много. Но все-таки «О.» хотят быть литературным журналом вроде «Чисел» — и за это одно их следует поддержать в их «общей линии». Со временем все в них наладится, произойдет какой-то отбор (как было и в «Числах»), прибавятся новые лица, особенно, прозаики и т. п. — об этом идут сейчас разговоры — если ... Гринберг и Пастухов сумеют быть достаточно гибкими, как нужно хорошим редакторам. Иваск не сумел, насколько могу судить по опыту,

воспользоваться рядом добрых советов, которых сам же спрашивал во время становления «Антологии»[7], а линия авторитарная почти всегда оказывается неправильной. Ну, об «О.» еще поговорю в «По журналам». Кстати, я нисколько не удивлен и не огорчен местью Гуля — все в N. Y. великолепно поняли, в чем дело, и Гуль скорее унизил себя, а не меня, своей «хамской» рецензией[8]. Мельгунов[9] же (с которым я недавно познакомился) совсем «не Гуль», на критику не обижается и полон доброй воли в смысле расширения литературного отдела.

Не могу послать Вам вырезки статьи П. об Иваске (о стихах), т. к. не имею ее. Заголовок, по словам П., — «Неудачная попытка», дала редакция, без П., по своей воле. Он критикует И. — но без злобы и в хорошем тоне. Попрошу П., если у него есть, послать Вам вырезку[10] — сейчас газету эту уже нельзя купить иначе как в редакции, а ехать в редакцию за ней — мне не с руки.

Ваши новые стихи — очень «Ваши» в смысле тона, звука, манеры. В первом интересный прием — «ломаная 3-я» строка; во втором (кое-кто, конечно, будет против «содержания») я бы возразил только против «эти трупы».

Очевидно, «неопределенное время» еще удерживает Вас в Мюнхене. Впрочем, в Париже все то же, погода ужасная, ехать куда-либо, даже если была бы возможность, не стоит, и до осени вряд ли будет что-либо интересное в литературной среде. Книга Раевского отложена на осень[11]. О расширении моей «литературной деятельности» сейчас думать не могу, т. к. скопилось очень много сюжетов, о которых должен писать, и думаю сейчас только о том, как бы от всего этого «отписаться»! Стихов же давно не писал, в «О.» были последние.

Желаю Вам всего доброго. Ваш Ю. Терапиано.

[1] Сергей Константинович Маковский.

[2] Жена Ю. К. Терапиано.

[3] А. М. Элькан — секретарь Объединения писателей и поэтов во Франции.

[4] В. Н. Ильин — философ, литературовед.

[5] Юрий Анненков в воспоминаниях «Дневник моих встреч» в главе о Сергее Есенине писал: «Маяковский был полной противоположностью Есенину. Маяковский провозгласил: "В наше время

тот — поэт, кто полезен". Есенину "миссия служительства" пришлась не по нутру. Есенин всем своим творчеством стремился доказать, что в наше *материалистическое* время полезен тот, кто — *поэт*».

[6] «Опыты» — журнал, начал выходить в 1953 году в Нью-Йорке. Мария Самойловна Цетлина — издатель журнала. Редакторы: Р. Н. Гринберг и В. Л. Пастухов. Потом — Ю. П. Иваск. В первом номере печатались среди прочего стихи Ю. Терапиано, И. Чиннова и рецензия С. К. Маковского на книгу стихов И. Чиннова «Монолог».

[7] Антология Ю. П. Иваска «На Западе». Нью-Йорк, 1953.

[8] В «Новом журнале» (1953. № 32) была рецензия Р. Гуля на книгу Ю. Терапиано «Встречи» (Нью-Йорк, 1953). Гуль пишет, что в этой мемуарной книге Терапиано «не передал "воздух" Монпарнаса и Парижа», и что иногда ему «неприятен тон» рассказа.

[9] С. П. Мельгунов в 1951—1954 годах редактировал журнал «Возрождение».

[10] Вырезки из «Русской мысли» с этой статьей (видимо, К. Померанцева) в архиве И. Чиннова нет.

[11] Стихи Георгия Раевского «Третья книга» действительно вышли в 1953 году.

13.11.1953

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы, конечно, уже знаете из газет о смерти Бунина. Умер он в ночь с субботы на воскресенье 8-го ноября, как мне рассказывали,— скоропостижно. В субботу до 12 час. ночи он слушал Чехова, кот. ему читала Вера Николаевна, потом заснул. Около 2 ч. ночи проснулся с криком: «Вера, мне дурно, сердце!» — встал с постели и почти сейчас же умер. Узнали в Париже об этом позже, А. М. <Элькан> позвонила мне в понедельник утром. Панихиды шли три дня на дому, а вчера, в четверг, хоронили на Rue Daru. Служил Митрополит с полным причтом, народу было очень много, а писателей не так много: кто в отъезде (Адамович, Маковский), кто болен (Ремизов), а кто просто не был, не знаю — почему, например, Г. Иванов, Одоевцева, Алданов (говорят, он в Париже). Зайцевы были, была С. Ю. <Пре-

гель>, Н. Оцуп, почти все Объединение[1]. Гроб вынесли на руках Раевский, Смоленский, Софиев, Титов и еще 2 к.-то мне неизвестных. Затем — в St. Genevieve. Те, кто не поехали, — пошли в кафе: А. М. <Элькан>, Раевский, Мамченко, Ставровы, я — вспоминали былые годы и всех, кого уже нет. В общем — очень грустно.

Венка от «Союза писателей и журналистов» не то не было, не то его вовремя не принесли, цветов было немного. Выделялся огромный венок от Гукасова — «Возрождение», а при выносе на гроб поместили нашу «gerbe» от Объединения.

Адреса Злобина не знаю, если Вы в переписке, — спросите Маковского, он сейчас в Ницце и на днях возвращается в Париж.

Зурову лучше[2], он пришел в себя. Его, вероятно, скоро возьмет на поруки Вера Николаевна[3], это к лучшему, все-таки будет занята и не так одинока.

Сейчас, конечно, все другие интересы отошли на второй план. Будут статьи, речи на собраниях, а потом — живые забудут...

Об «Опытах» ни слуху, ни духу.

«Все» шлют Вам привет. Только что вышла новая книга в переводе Кета — издана отлично. Крепко жму руку. Ваш Ю. Т.

[1] Объединение писателей и поэтов во Франции.

[2] Л. Зуров был психически болен и находился в лечебнице. См. о нем ниже, в воспоминаниях А. Бахраха.

[3] Вдова И. Бунина.

25.7.1954

Дорогой Игорь Владимирович,

Как Вам живется сейчас, по-прежнему ли усиленно работаете? Читал в «Н. Р. Слове», что Ваше учреждение переходит в Вашингтон[1] — правда ли это?

У нас сейчас, с большим опозданием, что-то похожее на лето. Кто может — уезжает на vacances, кто не может — смотрит во след уезжающим. К последней категории принадлежу я.

Сезон вечеров был «блистательный»: Червинская изрекла даже: «Опять воскресает довоенное время». Ее вечер, со вступи-

тельным словом Адамовича (А. говорил о «Парижской ноте» как о том мироощущении, которое создалось в довоенное время, произвел Ч. от Ахматовой и Пушкина) собрал на $^{2}/_{3}$ полный зал, успех чтения был средний, т. к. Ч. читает плохо, к тому же кривляется, закатывает глаза, закидывает голову, что было публикой отмечено. А стихи многие были хорошие, материальный успех — тоже хороший. У Одоевцевой был полный зал, 4 выступавших с суждениями о ней (достаточно, по-моему, было бы и двух, т. к. Кирилл[2] на сей раз решил почему-то удариться в христианские рассуждения, не очень к месту, а 4-й докладчик — брат философа Иванова, понес явный вздор на ту же библейскую тему. Первым читал я о книге, затем Адамович сказал очень удачно об Одоевцевой как писательнице вообще). В конце Одоевцева прочла «Стихи, написанные во время болезни» и Иванов[3] 2 стихотворения.

Сверхполный зал собрал Смоленский — негде было сидеть. Он очень хорошо читает для публики, стихи его Вы знаете, слушали его очень внимательно. Кроме стихов была русско-французская певица под гитару (забыл имя — Madi или Marly, а м. б. и иначе!) с песенками resistance[4] и другими. Публика была в восторге, сбор тоже был очень хороший. Итак, «все в этом мире по-прежнему...»

Сергей Константинович <Маковский> все время в разъездах, т. что я давно его не видел. Ржевского я знаю только по очень короткой переписке, приятно, что он умный и культурный человек. Будет ли что-либо Ваше в «Гранях», и когда выходят «Г»? — до сих пор их не видел, а они должны были выйти. Таубер там написала большую статью о Раевском. Вот и все парижские новости. Те парижане, которых я встречаю, шлют Вам привет. Осенью, полагаю, литературная жизнь «заживет» — раз сезон кончился так приятно. Всего доброго. Ваш Ю. Т.

[1] Речь идет об отделении радио «Свобода» в Америке. И. Чиннов работал на «Свободе» в Мюнхене.

[2] Кирилл Дмитриевич Померанцев — критик, мемуарист.

[3] Георгий Иванов — поэт.

[4] Сопротивление *(фр.)*. Антифашистское движение во Франции.

18, av. Jean Jaures, Gagny s/o
10.3.1955

Дорогой Игорь Владимирович,

Одно — за другим: узнал о смерти Д. Кнута. В свое время мы были с ним очень дружны, вместе начинали, первые литературные годы — Ходасевич, «Зеленая лампа», «Перекресток» и т. д. связано у меня с ним.

Даже страшно становится — один за другим уходят «парижане», какой-то рок их убивает; ведь Кнуту было только 54 года, и физически он всегда был здоровым и сильным человеком. Я переехал в «русский дом» в Gagny (устроенный Кровопусковым). Дом очень комфортабельный, все блестит и сияет, все удобства (не то, что Медон!), у нас с женой своя очень хорошая и большая комната. Единственное неудобство — пока не устроюсь с ночевками в городе,— не могу бывать в Париже по вечерам, т. к. «дом» запирается в 10 ч. в. и дорога длинная — сначала до Gare de l'Est, потом по железной дороге 4 станции.

Погода у нас, вот уже 2 недели,— холод и снег; езжу днем порой в Париж и все вспоминаю наше паровое отопление — у нас в Gagny не замерзнешь.

Литературных новостей пока немного: С. К. в это воскресенье возвращается. Книга А. С.[1] еще не готова. От Яковлева — ни слуху, ни духу, не знаю даже, вышел ли «Современник»[2] или нет? Здесь вышла книга Ремизова о снах («Мартын Задека») и книга Мочульского об Андрее Белом. Читал ее и расстраивался — вспоминал прошлое, в России. Получил от Иваска[3] предложение написать в № 5 «О» два некролога — о Ставрове и Кнуте. О Ставрове я уже написал, в «Н. Р. С.», а о Кнуте[4] — как о поэте, главным образом,— могу и для «О». Кроме того, у меня есть никому не известный и считавшийся специалистами нигде не опубликованным текст одноактной пьесы Гумилева «Актеон», пожалуй,— самое изящное из гумилевских драматических произведений. Не знаю, заинтересует ли Иваска Гумилев[5]?

Разговоры о «съезде»[6] понемногу двигаются, думаю, что это дело «в крепких руках», хотя я бы на те деньги, что пойдут на это представление, мог 5 лет издавать хороший журнал, жаль! Хотя, конечно, рассуждая не поэтически, а по-деловому, съезд имеет свой большой смысл.

В Чеховском издат. вышла книга воспоминаний С. К.[7], мне пишут из N. Y., что она там понравилась. А что у Вас? Не собираетесь ли приехать на пасхальные вакансы? Как стихи? Я с лета — ни одной строчки. Когда все время пишешь о других, пропускаешь через себя чужое, как-то трудно писать стихи, м. б. статьи даже вредны тем, кто хотел бы остаться поэтом.

Помню, как в свое время, еще до войны, Г. В. <Адамович> жаловался — «четверг» — все время «четверг» (по четвергам — его статьи в «Посл. Нов.»), — вот теперь понимаю эти «четверги» — пятидолларовые ныне.

Желаю Вам всего доброго. Ваш Ю. Т.

[1] Аглаида Сергеевна Шиманская. Книга «Новолунье» вышла в 1955 году в парижском издательстве «Рифма».

[2] Б. Яковлев был редактором журнала «Литературный современник», в 1954 году вышедшего как альманах.

[3] Юрий Павлович Иваск был редактором журнала «Опыты» с № 4 за 1955 год по № 9 за 1958 год, ставший последним.

[4] Некролог появился в «Опытах» № 5 за 1955 год.

[5] В «Опытах» пьеса не появилась.

[6] Имеется в виду съезд писателей в эмиграции. Он не состоялся.

[7] Книга С. К. Маковского «Портреты современников». Нью-Йорк, 1955.

11.10.1957

Дорогой Игорь Владимирович,

Слышал, что Вы были в Италии, — где? Такая поездка должна много дать Вам, т. к. Вы умеете воспринимать — может быть, написали и стихи об Италии?

Здесь жизнь как-то окончательно разбросала всех.

Анна Морисовна замучена работой и всякими личными делами, у нее больше не собираются. Иногда — случайно, «несколько человек» — т. е. Сергей Константинович, Кирилл Дмитриевич, Софья Юльевна, я — но это редко случается.

Адамович — проносится по парижским горизонтам (говоря по-модному), как «Спутник», и его так же трудно наблюдать здесь.

С Рахилью Самойловной[1] случилась большая беда. Приехав в Париж, она заболела, поехала в Швейцарию, а оттуда принуждена была возвратиться прямо в N. Y. и подвергнуться операции.

Операция, как сообщили мне наши общие друзья из N. Y., прошла благополучно, но, конечно, Р. С. придется долго приходить в себя, — знаю по личному опыту. Очень ее жаль, такое потрясение!

Журнальные дела и вообще «литературные» сейчас — никакие, идет себе «рутина», и все то же, и все — в большинстве — серо и неинтересно. «Грани», Вы правы, как будто нарочно хотят подвести находящихся в СССР писателей: ну что это за предложение передавать конспиративным образом рукописи за границу, кому это нужно, разве что ГПУ? — Головотяпство какое-то!

«Возрождение» так низко по уровню, что не о чем говорить, не только что — писать, — как ни злится на меня и на «Р. М.».

«Н. Ж.» (последнего № еще не получил) находится в ведении Георгия Викторовича <Адамовича>, он о нем должен писать.

Ваши стихи там меня несколько удивили[2] Вам не свойственной «модернизацией», хотя сделаны они, как всегда, очень хорошо.

Те стихи, которые Вы прислали (о Воркуте...), я уже знал через С. К. «Отозваться на 20 век», вероятно, нужно только так, как сделали Вы, — непрямо. Даже некоторые ивановские стихи слишком прямолинейные — неудачны, а такие, как его последние в «Возрождении» (о Берии и т. д.)[3], — просто соцзаказ, и притом — не стоящий усилия. Кирилл Дмитриевич (если Вы читаете стихи в «Р. М.») в стихах впал в последнее время в сомнение относительно бессмертия души, — не одобряю эту линию, лишь псевдо-значительную и глубокую. Стихи <Корвин->Пиотровского в «Н. Ж.»[4] обнаруживают его основной дефект: при возможности сказать (ямбические способности у него есть, т. е. стихотворческие) — сказать по существу — не о чем. Вот и говорит — о проткнутом палкой листе или о Патагонии. Меня огорчил Моршен[5] (кроме стихотворения с эпиграфом из Г. Иванова). Я его так «расхвалил» (это было как раз к приезду Р. С. <Чеквер> сюда, чтобы продвинуть его книгу), а он вдруг растекся в отражениях, — тут и Пастернак, и другие, а самого Моршена стало не видно.

Одарченко — как Одарченко. Его можно принимать всерьез, его можно не принимать всерьез, — результат будет один и тот же.

Вернулся из поездки С. К. Видел его мельком, в редакции, рассказать он успел только ряд мелочей. Говорит, что нашел Вас в добром здравии и что у Вас очень красивая квартира. 27/X он читает лекцию «Иннокентий Анненский — критик», — примечание: слушатели, вероятно, никогда не читали (за исключением 2–3 человек) критических статей И. А. Вот и все парижские последние новости.

Крепко жму Вашу руку и желаю всего доброго. Ваш Ю. Т.

«Парижане» шлют Вам привет.

[1] Р. С. Чеквер — издатель, субсидировала «Рифму», поэтический псевдоним — Ирина Яссен. Она умерла в конце ноября 1957 года.

[2] Речь идет, видимо, о стихотворении «К луне стремится, обрываясь...», напечатанном в «Новом журнале» (1957. № 49). В стихотворении «О Воркуте, о Венгрии...» есть строки: «Но на двадцатый век тебе в стихах // Не удается отозваться».

[3] В «Возрождении» (1957. № 64) напечатаны «Стансы» Г. Иванова. Первое стихотворение начинается словами «Судьба одних была страшна...», второе — «И вот лежит на пышном пьедестале...» (имеется в виду Сталин). Там есть строфа: «Какие отвратительные рожи,// Кривые рты, нескладные тела:// Вот Молотов. Вот Берия, похожий// На вурдалака, ждущего кола...».

[4] В «Новом журнале» (1957. № 49) у В. Корвин-Пиотровского были напечатаны «Стихи о России».

[5] В «Новом журнале» (1957. № 49) у Н. Моршена были напечатаны стихи: «Постулаты бессмертия» и «Карло Гронко».

20.5.1958

Дорогой Игорь Владимирович,

Обеспокоило меня Ваше сообщение о болезни печени, что у Вас точно и почему «надо ложиться в санаторию»? Еще этого не хватало!

Померанцев получил на днях письмо от Одоевцевой, что Иванову стало плохо, отвезли — там же, в Hyeres[1], в госпиталь

и сказали, что нужно оперировать. Какая болезнь и какая операция — не пишет. Ждем подробностей.

В общем — мутно на душе, мутно вокруг, до стихов ли тут, и кому сейчас стихи нужны?

Вы правы относительно журналов, но и я, и А. С. <Шиманская> не очень стремимся сейчас «в них» — к чему?

Иваск предлагал мне написать что-либо, кроме стихов, но я как-то не очень сейчас расположен писать для журнала, газетная работа высасывает силы, а дает, конечно, мало. Но нужно же как-то жить?

Вы прекрасно знаете карту «отношений» сегодняшнего журнального мира,— «почему Гуль» или «почему Иваск», или «почему «Возрождение» и «Грани» (им, кстати, я тоже так и не собрался написать что-нибудь)... но от всего этого сейчас хотелось бы отойти.

Кашин — типичный «голос современности». И Ремизов его хвалил, и я о нем, особенно вначале, писал сочувственно (последних его писаний в «Гранях» уже не одобрил...), а он поносит весь прошлый Париж, как типичный «человек оттуда». Я его не узнаю. Он приезжал сюда, пьянствовал со Смоленским и, вероятно, у него же, в его окружении, открыл, что «Париж» и «Числа» и Штейгер с Поплавским — «импотенты». Я спросил тогда Смоленского: как выглядит Кашин, каков он, как человек? Смоленский ответил: да так все время был пьян, что не рассмотрел. А «Н. Ж.» — не читал, редакция не удостаивает теперь наш «Дом» подобным подарком, жалею лишь, что не читал Ваших стихов, статьи Адамовича и кое-что другого, а все эти Евсеевы и К°, которые у Гуля представляют последнее слово зарубежной поэзии,— ну их!

Трубецкой с Яссен, как говорится, переборщил. Верю в его добрые намерения, но все же Анненский тут ни при чем, и «в первом ряду зарубежной поэзии...» — к чему все это? А Т. огорчился на мою критику, хотя иного ни я, ни Вы и никто из самых расположенных к нему людей сказать не мог.

Был 18-го вечер памяти Ирины Яссен, сошел хорошо, создалась даже нужная атмосфера. Читала ее стихи Греч, как артистка, конечно, но на фоне общей настроенности некоторые стихи Р. С. <Чеквер, псевд.— Яссен> прозвучали по-настоящему. М. быть, каждому поэту именно и нужно умереть, чтобы после, хотя бы один-единственный раз, его стихи так прозвучали? Са-

мое интересное: это был отрывок из записи[2], сделанной Р. С. по-английски незадолго до смерти, который нашла в ее бумагах С. Ю. <Прегель> — перевела и прочла: по-настоящему значительное и очень трагическое переживание близящейся смерти, а слова — веские, нужные, так что даже не предполагали мы в ней такой глубины и подлинности. Нужно было бы напечатать ряд таких отрывков, если еще есть, хочу поговорить об этом с С. Ю.

Мария Вениаминовна[3], бедная, действительно, несла молча большую тяжесть и свою, и чужую, ее нужно было ближе знать, а также все обстоятельства ее жизни.

«Рифма» — будет[4], но еще не составлен комитет, и не знаю, кого она будет издавать (2 книги в год). Л. И. <Чеквер> уехал сейчас в путешествие по Европе и вернется в Париж 15–20 июня. С. К. вдруг как-то очень состарился: похудел, сгорбился, весь как-то сжался, смотрел на него на вечере, и еще грустнее от этого становилось. Все мы, «бывшие парижане», идем к концу и, среди общей грубости и общего снижения вкуса — просто не к месту. Но, с другой стороны, все же пока что из лагеря «новых» — Кашиных, Ильинских и т. д., не вышло ничего такого, что заставило бы нас, как говорил Гумилев,— «вздохнуть: ах, как жаль, не я написал!». Быть вне «Чисел» или «Круга» — одно, а вне «Нового журнала» — другое[5].

Обратите внимание на печень (говорю по опыту), не запускайте. Все «наши» и Кот шлют Вам привет. Ваш Ю. Т.

В конце июня здесь будет Иваск, каков он — увижу при встрече.

[1] Г. Иванов и И. Одоевцева жили в русском доме для престарелых в Hyeres на юге Франции.

[2] Возможно, именно этот отрывок прислал И. Чиннову по его просьбе муж Рахили Самойловны Л. И. Чеквер. См. письма Р. и Л. Чеквер.

[3] М. В. Абельман — мать А. М. Элькан. У них С. К. Маковский снимал комнату.

[4] После смерти Р. С. Чеквер издательство «Рифма» возглавила С. Ю. Прегель.

[5] В послевоенном «Новом журнале» печатались эмигранты старшего поколения достаточно демократических, «левых», убеждений. (Более «правые» писатели этой, первой, волны группиро-

вались вокруг парижского «Возрождения».) А довоенные «Числа» возникли как издание «молодых талантов», т. е. молодежи из той же «первой волны». И заявили себя журналом «вне политики».

25.2.1959

Дорогой Игорь Владимирович,

Не знаю, сообщил ли Вам Юрий Павлович о моей тяжелой болезни? Именно поэтому я не мог вовремя ответить Вам и послать поздравление с Праздником и с Новым Годом.

Болезнь (желчные пути) эта уже привела меня к 2 операциям, а в последний раз, благодаря новым средствам, обошлось пока без операции (лежал в госпитале 6 недель), но выздоровление, увы, будет длительное, и диета — «зверская». Прихожу в себя постепенно, даже начал немного писать, но о еженедельных фельетонах пока и думать нельзя. Как Ваше сердце и прочее? Не запускайте ничего, чтобы потом вдруг не получить что-либо острое.

Я не могу выезжать из Gagny. Единственная связь с литературной жизнью — чтение, письма, рассказы Одоевцевой, которая живет в нашем доме, и редкие визиты друзей — в Gagny всетаки часто не поездишь.

Слышал, что сейчас все возмущены грубой статьей Ульянова на тему: «Хвалите нас, новых»[1]. И в Нью-Йорке, и здесь были возражения.

Из статьи Глеба Струве выяснилось, что Кленовский — старый поэт, начавший еще в 1912 г., «старше по возрасту Г. Иванова и Г. Адамовича», а Л. Алексеева — белградская «старая» эмигрантка. Спрашивается, почему же они все время позволяли называть себя представителями «новой эмиграции» (под этим термином все разумеют людей советской формации), а Кленовский требовал внимания к себе со стороны критики, как к «новому». Вопрос, конечно, наивный: делали свою карьеру на «новых», пользуясь паспортом «Ди-Пи» и их привилегированным положением в редакциях.

Второй повод к сомнениям — «Мосты», где политически сделан огромный гафф — эмигрантские авторы подтверждают то, что говорит советская пропаганда. (Статья Сергеева в «Р. М.» и т. д.) О «Мостах» будет писать Георгий Викторович (с лите-

ратурной точки зрения) — интересно, что он скажет? Я совсем не в восторге от всего, даже Марков понес чушь — видит «спасение» поэзии в «километровых» поэмах. Тогда пальму первенства нужно отдать Корвин-Пиотровскому, он написал поэму, которую нужно читать $1^1/_2$ часа — я, слава Богу, болел и не был на чтении.

Поэты (оставшиеся в живых) собираются теперь каждую субботу в кафе «Alsacienne» около Шиманских на Vaugirard). И туда я пока ездить не в состоянии.

Стиль Гуля именно рядом со стихами Г. Иванова (ответ на Ваш вопрос) невыносим. И зачем он так ломал язык именно для предисловия? Вот о Пастернаке — написал же в № 55 «Н. Ж.» вполне по-русски. Вот почему я и ругнул его за предисловие, хотя знаю, что, будучи фактически «всем» в «Н. Ж.», он привык теперь к комплиментам от всех (а раньше — до войны — кто вообще принимал всерьез его писания?). Все «наши» шлют Вам приветы. Всего доброго! Ваш Ю. Т.

А критиком в «Возрождении» сделался даже не Злобин, а Станюкевич — читали?

[1] «Новых», т. е. эмигрантов «второй волны», или «ди-пи». Статья Н. Ульянова «Десять лет» появилась в газете «Новое русское слово» 14, 18 декабря 1958 года, а затем перепечатана в «Русской мысли» за февраль 1959 (№ 1328). В «Русской мысли» от 12 марта 1959 года И. Одоевцева в статье «В защиту поэзии» спорила с Н. Ульяновым. (Подробнее см. выше, в биографической статье о Д. Кленовском.)

3.12.1960

Дорогой Игорь Владимирович,

Согласен заменить два Ваших стихотворения другими[1], по Вашему выбору. Вам я поэтически, в смысле вкуса, доверяю вполне, а кроме того, нельзя и откладывать дела надолго. Поэтому, пошлите, пожалуйста, выбранные стихотворения прямо Наталии Борисовне Тарасовой (или Неймироку)[2], с указанием, какие стихи нужно заменить ими.

Статья в «Новой заре» называлась «О новых поэтах». Она была помещена 28 июня 1950.

Статьи «Поэты “Рифмы”» у меня вообще не было — у Трубецкого.

Жду Ваши «Линии» и надеюсь о них поговорить.

Вы, конечно, уже знаете о смерти Присмановой. Хотя я никогда с нею не дружил и не все принимал в ее поэзии, все же очень грустно, — уходят те, кого знал с 1925 года.

И бедный Одарченко, так трагически-нелепо покончивший с собой!

О Смоленском слышал, что его жену, как будто, вылечили гипнозом, и она уже дома, а сам Смоленский (говорить он попрежнему не может[3]) якобы стал снова работать бухгалтером в своем бюро — дай Бог, чтобы этот слух был правильным.

Сегодня — Толстовский вечер, выступление Адамовича и Степуна. Вечер в Salle Playel, как полагается, и ждут «наплыва». — Увидим, что получится, этот вечер устраивает шеф нашего «Дома», председатель «Скорой Помощи» Тер-Погосьян и другие «общественники».

В «Рифме», кроме выходящей «на днях» (?) книги И. В. Одоевцевой[4], будут еще наверное 2–3, а там, «что Бог даст».

Я все время нажимаю на Софью Юльевну с «Терновником» Трубецкого[5] — своего рода «терновый венец», т. к. столько он уже ждет, ведь ему еще Рахиль Самойловна обещала. Желаю Вам всего доброго.

«Наши» все благополучны и шлют Вам привет. Ваш Ю. Т.

Natalie Tarassow
Frankfurt am Main
Hermannstrasse 46-a

P. S. Пишу Вам адрес и имя так, как на конверте.

[1] Речь идет о составлении антологии «Муза диаспоры» («Посев». 1960), которую Ю. Терапиано редактировал. Там у И. Чиннова шесть стихотворений.

[2] Сотрудники журнала «Грани», где издавалась антология.

[3] У поэта В. Смоленского был рак горла, в 1961 году он умер.

[4] Книга И. Одоевцевой «Десять лет» вышла в 1961 году.

[5] Эта книга стихов Ю. Трубецкого вышла в «Рифме» в 1962 году.

11.12.1961

Дорогой Игорь Владимирович,

У нас все теперь грустное. А. М. Элькан больна психически и находится в лечебнице. Каковы будут последствия болезни, врачи еще не могут сказать. Знаю это стороной, так как уже больше года я прекратил знакомство с нею, ввиду ее крайне нелояльного отношения ко мне во время конфликта с Корвин-Пиотровским. Такая болезнь, конечно, позволяет все ей простить и все забыть...

Я получил от Дианы Александровны[1] пока только 2 тома стихов Н. Оцупа, остальное — после (когда заслужу), если она останется довольна (а она никогда и ничем не бывает довольна!), — так понял я, но и к лучшему, т. к. переизданная «Беатриче в аду»[2] — ужас, а «Портреты»[3] — хотя и лучше, но все же стихи Н. О. гораздо интереснее.

В двух томах «Ж. и С.»[4] много хорошего, но много и совсем слабых вещей, вероятно, забракованных Н. А. <Оцупом>, или из черновиков, отсутствует много прежних его стихов «додиановского» периода.

Говорят, отбирать стихи помогали Горская и Можайская.

Самое же досадное в том, что Д. А. отвергла предисловие, написанное Георгием Викторовичем, и поместила известный Вам опус Кирилла: «Отчего умер Оцуп? Оцуп умер оттого, что срок его жизни пришел к концу...»[5] и т. д. Впрочем, и в статье о Смоленском Кирилл сделал не меньшее богословское открытие: «Смерть и Бог-Отец — одно».

16-го будет вечер памяти А. Присмановой, в январе — Г. Иванова, затем, вероятно, Н. Оцупа и Смоленского — все «памяти», «памяти», как-то неловко уже устраивать свой вечер...

Аглая Сергеевна пишет сейчас серию стихов в новом духе и надеется издать в этом году новый сборник. Но ее здоровье, к сожалению, не блестяще.

Вышла книга С. Маковского «На Парнасе Серебряного века». Прочел пока лишь начало. Хороши «Религиозно-философские собрания», «З. Гиппиус», но «Соловьев» мне не очень по душе, боюсь, что и о Блоке С. К. <Маковский> написал не то. Сам же он, хотя и мало выходит из дому по вечерам, но все еще держится, много пишет (кажется, будет еще том), хочет издать еще книгу стихов.

Ирина Владимировна занята книгой воспоминаний[6] — с 1918 г. по сей день, будет целая панорама. Если ей удастся закончить, книга ее будет, вероятно, очень и очень интересной.

Все «наши» просят передать Вам сердечный привет.

Жалею, что Вам не удастся добраться до Парижа, хотелось бы побеседовать, мы, оставшиеся, теперь так разъединены и уединены.

Сердечно Ваш Ю. Терапиано.

[1] Д. А. Карэн — жена поэта Н. А. Оцупа. Издала после смерти мужа его книги «Жизнь и смерть», «Современники», «Литературные очерки».

[2] Роман Н. Оцупа, изданный в 1939 году в Париже.

[3] Воспоминания, вышедшие книгой под названием «Современники» (Париж, 1961).

[4] Двухтомник стихов Н. Оцупа «Жизнь и смерть» (Париж, 1961).

[5] Цитируется предисловие Кирилла Померанцева к двухтомнику Н. Оцупа «Жизнь и смерть», от предисловия Г. В. Адамовича жена Оцупа отказалась.

[6] Речь идет о книге И. В. Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967). В книге воспоминаний И. В. Одоевцевой «На берегах Сены» (Париж, 1983), ставшей продолжением первой книги воспоминаний, есть такие строки о Ю. Терапиано: «“На берегах Невы” обязаны своим появлением только ему одному <Ю. Терапиано>. Без его настойчивости я бы их никогда не написала... Так началась наша дружба. За двадцать лет ежедневного общения мы ни разу не поссорились и даже не повздорили». И. Чиннов вспоминал, что И. Одоевцева и Ю. Терапиано действительно были очень близки в то время.

10.11.1962

Дорогой Игорь Владимирович,

Думаю, что Вас нужно поздравить с переменой места работы и занятий[1]. Вид университетского здания на открытке напомнил мне Саратовский Университет, куда в 1915 году, ввиду наступления немцев, временно был эвакуирован наш Киевский[2].

Как Ваше здоровье, самочувствие, довольны ли Вы Вашими слушателями?

Что сообщить Вам о наших «литературных делах»? 8–XI была панихида по Смоленскому. После нее Таисия Ивановна[3] пригласила Ирину Владимировну, Зурова, Злобина и меня к себе. Вспоминали прошлое, смотрели юмористические стихи Смоленского и эпиграммы (превосходно — на Щербакова), — но все грустнее и грустнее наши встречи с «оставшимися».

25–XI будет вечер памяти Тэффи, со вступительным словом Адамовича. Он очень похвалил Евтушенко, даже слишком («Лермонтов, Анненский» — надо бы: «Маяковский, Пастернак» после «Второго рождения»[4]) и уже совсем удивительно восхитился Ганским (Гатинским, мужем Тани Мандельштам, не знаю, встречали ли Вы его?), а тот, нахал, считая себя гением (гением его объявил Райс), очень кисло отнесся к рецензии Адамовича — «разве это похвала?».

«Грани», очевидно, скончались, пока о них ничего не слышно, и Тарасова[5] перестала мне писать, — значит отзывы о «Гранях» больше не нужны.

Пишете ли Вы теперь стихи? Давно не встречал Ваши подписи — ни в «Мостах», ни в «Новом Журнале» — надеюсь, теперь у Вас будет больше времени для работы.

Аглая Сергеевна выпускает книжку[6] под маркой «Рифмы» — под маркой, т. к., увы! «Рифма» теперь существует только в виде марок, — тут, отчасти, — Софья Юльевна, отчасти, — меценат один, — понравились стихи А. С.

Вышла книга покойного Мочульского «Валерий Брюсов» — есть много материала, но, как сам Мочульский мне говорил, книга недоработана, он многое хотел в ней изменить, но не успел.

Обратили ли Вы внимание на 22 стихотворения Вяч. Иванова в № 69 «Н. Ж.»? Есть кое-что «новое», в смысле чувства, какое-то смягчение прежнего «великолепия» и риторики, но, в общем, все же не очень увлекательно.

Приезжал сюда музыкант Дукельский (автор «посланий в стихах» и эпиграмм, выпущенных не так давно отдельной книжкой). С. Ю. привела его в кафе около «Р. Мысли», где мы теперь встречаемся, — но он сразу стал читать, читал, читал, так что рассмотреть его не удалось, а внешне он похож чем-то в лице на Смоленского. Вот и все наши не сладкие новости. Все «наши» шлют Вам привет. Ваш Ю. Терапиано.

[1] И. Чиннов в 1962 году оставил службу на радиостанции «Свобода» в Мюнхене и переехал в США, где стал профессором русского языка и литературы в Канзасском университете.

[2] Там Ю. Терапиано учился.

[3] Вдова В. Смоленского.

[4] Книга Б. Пастернака, изданная в 1932 году.

[5] Н. Б. Тарасова была заместителем главного редактора в журнале «Грани». Журнал продолжал выходить.

[6] Книга А. Шиманской «Я вам прочту...» (Париж: «Рифма», 1963). После смерти Р. Чеквер, субсидировавшей «Рифму», издательство лишилось средств, но авторы, которым удавалось найти деньги на свою книгу, могли, при согласии возглавившей «Рифму» С. Ю. Прегель, ставить на книгах марку этого престижного издательства.

18.12.1962

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за поздравление! С нашей стороны все: Ирина Николаевна и я, сестра и Кот и все друзья-парижане шлем Вам поздравления и наилучшие пожелания.

Хорошо бы продолжить линию «Линий» в 1963 году еще одной книгой! Давно не видал нигде Ваших стихов, но, надеюсь, придя в себя от перемены плана существования, Вы вскоре начнете опять присутствовать в «Н. Ж.» и в «М.».

Я еще не получил книги И. Гуаданини[1], но готов уделить ей все возможное внимание ввиду обстоятельств, сообщенных Вами. Да, случается, одним поэтам везет, другим — все как-то не удается, хотя они и «не хуже других», — судьба. Но постараюсь, насколько будет возможно, смягчить это «невнимание к ней».

Что делает Ю. П. Иваск? Он промелькнул здесь летом, был у нас в Gagny, затем началась грандиозная забастовка, и связь с ним прервалась. А потом — до сего дня — от него ни слуху, ни духу! Читаю его «Леонтьева» в «Возрождении»[2], но место уж больно тенденциозное, Горбов[3] разогнал почти всех литературных сотрудников — и Веру, и Станюкевича, осталась одна Горская, ставшая к тому же и критиком. (А Горбов написал рецен-

зию к «Горбатовых» Всев. Соловьева, переизданной теперь, как о новой книге!..)

Ах, да — по поводу критиков, точнее — «жритики», как говорила З. Н. Гиппиус. Померанцев как-то сообщил мне, что Рафальский сейчас собирается заняться Иваском — за какие-то непонравившиеся ему высказывания о Евтушенко. Однако, пока я не видел в «Н. Р. С.» его произведения. Рафальский и Померанцев все волнуются по поводу «склоки в литературных кругах», но где «склока», где какая-нибудь перебранка или выпады, кроме... статей Рафальского и Померанцева? И кому идет на пользу эта брань? — Большевикам. — Кому другому нужны ссоры? Впрочем, П. сейчас каялся перед И. В. <Одоевцевой>, которую задел в своем фельетоне, и «помирился» с нею. Увидим, надолго ли?

О вечере памяти Тэффи сказать можно немного: как всегда, очень хорошо, блестяще говорил Адамович. Зайцев мило прочел ее рассказ. А артисты (+ Mme Яконовская) выли со слезой и выбрали все не комические, а трагические рассказы, так что публика поняла их ошибку и жалела. А людей собралось множество, — явление времени, — стали ходить на вечера.

Были здесь Сурков, Паустовский, Некрасов (писатель), поэт-футурист Вознесенский («Н. Мир», «Треугольная груша» — футуризм 1913 г.)

Еще явление: в «Доме Книги» и у «Объединенных издателей «Рифмы»» нет книг (кроме книг — догадайтесь кого? — Мамченко и Корвин-Пиотровского) — все раскупили летом советские туристы. «Их» молодежь очень интересуется поэзией. Книга Ладинского[4] «Анна Ярославна» (кажется) (последняя — еще должна выйти) издана в количестве 30.000 экземпляров и разошлась в несколько дней (как писал Софиев Мамченко). Вероятно, выйдет книга стихов Ирины Кнорринг[5].

Медленно, пока, зарубежная поэзия стала просачиваться «туда». Увидим, что дальше будет. Пока желаю Вам всего самого лучшего, «все» шлют привет. Ваш Ю. Терапиано.

Ирина Владимировна благодарит Вас и шлет привет.

Евсеев собрал на свою книгу в 250 стр. по подписке у казаков 430.000 фр. — рекорд! Книга выйдет[6] в первой половине января.

Вот, вспомнилось, для развлечения, эпиграмма[7] на К.-Пиотровского (см. его поэму «Поражение»):

Потомок славы европейской,
Венгерской и других корон,
Ты не «сошел в квартал еврейский»,
А из квартала вышел вон.

[1] Речь идет о книге стихов «Письма», единственной выпущенной И. Ю. Гуаданини. Это та самая Ирина Гуаданини, в которую был влюблен Владимир Набоков (в 1937 году), их роман закончился после отъезда Набокова из Парижа, ее мать, Вера Кокошкина, была вдовой известного кадета Ф. Ф. Кокошкина, убитого во время революции. И. Чиннов хлопотал о Гуаданини, т.к. они были знакомы — вместе работали на радиостанции «Свобода», когда Чиннов уехал из Мюнхена, Гуаданини сняла его бывшую квартиру, с его мебелью, книгами и пр. (потом, как следует из ее писем к Чиннову, книги она ему отправила). В письмах она жалуется на жизнь, а бывшие сослуживцы из Мюнхена пишут Чиннову, что Гуаданини заболела — видимо, у нее началась мания преследования. Умерла И. Ю. Гуаданини в клинике под Парижем в 1976 году.

[2] Журнал «Возрождение» печатал по частям книгу Ю. Иваска «К. Леонтьев» в 1961–1963 годах.

[3] Я. Н. Горбов — редактор журнала «Возрождение».

[4] Поэт и писатель А. Ладинский после войны взял советский паспорт и последние шесть лет своей жизни (он умер в 1961 году) прожил в СССР, где в конце 1950-х — начале 1960-х были изданы такие его романы, как: «Когда пал Херсонес» (М., 1959), «В дни Каракаллы» (М., 1961).

[5] Посмертный, четвертый, сборник стихов И. Кнорринг вышел в 1963 году в СССР (в Алма-Ате). Там в это время жил ее муж, поэт Юрий Софиев, который после войны взял советский паспорт и в пятидесятые годы вернулся в СССР.

[6] Книга «казацкого поэта» Н. Евсеева «Дикое поле». Вышла в 1963 году.

[7] И. Чиннов вспоминал, что В. Корвин-Пиотровский любил говорить о своем знатном роде Корвинов, но его рассказам в эмиграции не очень верили. Книга В. Корвин-Пиотровского «Поражение» вышла в 1960 году.

5.11.1964

Дорогой Игорь Владимирович,

О № 77 «Н. Ж.» я вчера дал Водову[1] отзыв — В. Вейдле сделал там Вам hommage[2], который я отметил, да и стихи Ваши, положа руку на сердце, — лучшие в №, мне особенно по душе второе[3].

Борис Филиппов писал мне о своем намерении издавать журнал[4], но с тех пор что-то о нем не говорит, — может быть, теперь снова нашел возможность?

Георгию Викторовичу лучше. Он сейчас находится в Residence Bineau, 54, B^a^ Bineau, Neuilly s/Seine. Это дом отдыха для выздоравливающих, и его теперь можно навещать. В будущем — он поедет на юг, а дома ему устроят так, чтобы он не должен был подниматься наверх по лестнице. На Ваш вопрос — кто заботится о Георгии Викторовиче: Кантор и С. Ю. Прегель. Он заболел внезапно, внезапно был отвезен в госпиталь, и к нему даже ездить туда было нельзя. Я не в курсе его денежных обстоятельств, но думаю, что при астрономических нынешних ценах на все, требуется очень много затрат. Во всяком случае, если можно что-либо сделать, было бы хорошо. Не уверен, можно ли говорить сейчас о таких делах с самим Г. В.? Может быть, Вы сами, в письме, спросите[5] его как-нибудь дипломатически об этом? — В письме всегда удобнее, боюсь взволновать его.

Что случилось с Бахрахом, какой «несчастный случай»[6]? С Капланом у него давно была какая-то история, но не помню уже, в чем было дело.

Квартира племянника уже ликвидирована, — все это было для меня очень тяжело, и упало на меня, т. к. его отец живет на Юге, и мне пришлось всем заниматься за него. Каникулы мне не удались, — осложнилась моя хроническая болезнь желчных путей, болел долго, только недавно стало лучше.

Собраний и вечеров у нас еще не было, впрочем, всем нам, как видите, «не до веселия» сейчас. Желаю Вам всего самого лучшего и крепко жму Вашу руку. Ваш Ю. Терапиано.

[1] С. Водов до 1968 года был редактором «Русской мысли».

[2] Похвала (*фр.*). В конце статьи «О смысле стихов» В. Вейдле процитировал «прелестные строчки» из стихотворения И. Чиннова «Уже сливалась с ветром дальних Альп...»:

А что стихи? Обман? Благая весть?
— Дыханье, дуновенье, вдохновенье.
Как легкий ладан, голубая смесь
Благоуханья и — благоговенья.

[3] Стихотворение И. Чиннова «Выдумываешь утешения...»

[4] Намерение не осуществилось.

[5] Вместо вопроса, И. Чиннов послал Г. Адамовичу денег. Вот ответ Г. Адамовича И. Чиннову (из письма от 29.11.1964): «...Получил сегодня Ваше письмо и доллары. Я потрясен и тронут, правда. Зачем Вы мне послали этот чек?! Возвращать подарки нельзя, я его принимаю, — но зачем? Спасибо, дорогой Игорь Владимирович, но ради Бога (и моего спокойствия, которое доктора считают необходимым), никогда ничего больше мне не присылайте — по крайней мере до того дня, как у Вас на счету будет миллион...».

[6] А. Бахрах во время поездки во Флориду разбил стеклянную дверь и сильно поранился. (См. письмо А. Бахраха от 23.X.64 к И. Чиннову.)

4.10.1965

Дорогой Игорь Владимирович,

Благодарю Вас за внимательный и тонкий разбор «Парусов»[1], особенно за мою любимую «занавесочку» (у каждого автора свои пристрастия).

Да, жаль бедного Гингера, которого, по-моему, недостаточно ценили при жизни. Все: Гуль, Хомяков и т. д., вплоть до Гринберга, имеют «своих» поэтов, которых печатают из номера в номер. Даже если представить себе, что это Блок, Ахматова, О. Мандельштам, то и так может наскучить, потребуешь большего разнообразия!

А тут, — кроме Вас (Вы сейчас как раз «весь в движении» и в каждом новом цикле находишь новое, еще не бывшее), — все остальные — «одно и то же». Хуже, лучше — та же музыка!

Кленовский рассудителен и сентиментален (чем заставляет исходить водой сердце Аргуса), Л. Алексеева — чувствительна, однообразна и мало содержательна. Какая-то провинциальная учительница гимназии, научившаяся писать стихи (ну, умение ее

приблизительно,— сколько уже плохих строчек!), и, наконец, Иван Елагин, которому Бог дал талант, но забыл прибавить «содержание», он все может поднять, но только, если силач все время начнет, с большим умением, поднимать тяжести в золотник весом, то можно умереть от скуки.

Будучи принужденным «отзываться», каждый раз ломаешь голову, что можно сказать об их произведениях, не вызывая обиды и гнева?

А вот Гингера при жизни не печатали, да и не его одного. Хоронили его по-буддийски: нужно сжечь в присутствии только членов его семьи. Сожгли тело в крематории Pire Lachaise. Затем, через некоторое время,— публичные «воспоминания о нем». Нет траура, всех просят «не быть грустными»: он жив и находится в другой жизни — планов высших, чем земной. Алтарь в пять уступов. На каждом — статуя Будды, зажженные свечи и цветы. Бонза, в оранжевой рясе, с бритой головой, ведет службу, сидя около алтаря в кресле. Говорит о покойном: по-французски, а затем на языке «Пали» читает отрывок о бессмертии души. Потом сын Гингера прочел любимое Гингером послание ап. Павла к коринфянам о любви. (Любовь — это тема буддизма). Затем просят всех присутствующих сосредоточиться на добром чувстве в отношении покойного. В это время старший сын льет из ритуального кувшинчика воду в хрустальный бассейн, который держит младший, льет медленно, а бонза на языке «Пали» поет молитву,— передавая таким способом добрые мысли и чувства,— покойному. Странно, но красиво. А сыновья Гингера — один католик, другой — православный. Были их жены и дети — внук и внучка.

Я сам заметил и «Чиппова» и «ХорошАя» — посылаю в «Р. м.» исправления. Как Вы видели, внизу статьи о «В. П.», мне уже только что пришлось сделать поправку — время летнее и наши наборщики «отличаются». Имя-отчество Раича: Евгений Исаакович Рабинович. Он — знакомый С. Ю. Прегель, она дала ему марку «Рифмы»[2]. Говорят,— ученый атомист — и хороший ученый. Но адреса его не знаю, а С. Ю. Прегель увижу только в будущую среду — сообщу Вам дополнительно.

Лето у нас было ужасное, просто — осень, а теперь пока что солнце и тепло — надолго ли?

Что делает Юрий Павлович (Иваск), и где он? Давно от него нет известий. Адамович уже в Париже и на вид совсем по-

правился — дай Бог! Он выпускает книгу стихов[3].— Вы, наверное, слышали.

А так у нас пока все то же, а каков будет новый литературный сезон — еще не видно. Желаю Вам всего самого хорошего. «Наши» шлют Вам привет. Ирина Владимировна тоже просит передать ее привет.

Как Злобин? Ваш Ю. Терапиано.

P. S. Надеюсь, Гринберг не будет огорчен рецензией, на этот раз я написал, как будто, совсем «мало».

PP. S. Глаз мой все лечу, а то косит — видите, какие у меня строчки.

[1] Речь идет о «разборе» в письме книги стихов Ю. Терапиано, вышедшей в Вашингтоне в 1965 году. В стихотворении «Летом душно, летом жарко...» есть такие строки:

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

[2] Сборник стихов Е. Раича «Современник» вышел в издательстве «Рифма» в 1965 году.

[3] Книга стихов «Единство». Нью-Йорк, 1967.

7.8.1967

Дорогой Игорь Владимирович,

Жаль, что Вы в Иллинойсе, а не в Париже. У нас — лето очень (пока) теплое и хорошее, что бывает редко, а из Иллинойса приезжает сегодня Темира Пахмус,— знаете ли Вы ее? Она пишет книгу о З. Гиппиус и хочет интервьюировать меня о З. Г. и Д. М<ережковском>.

О Злобине у меня нет новых известий. Его буйная форма перешла в тихую, но это, пожалуй, еще хуже, т. к. буйные легче «выздоравливают», чем тихие. «Союз писателей» собирался хлопотать о переводе Злобина в Русский дом для «incurables»[1] в Chelles (очень хороший дом, там есть отделение и для психических больных). Но пока еще Злобин по-прежнему в Париже.

Мамченко же, бедняга, помимо инфаркта, от которого его вылечили, разбит параличом, — отнялась вся правая сторона, говорить не может, и сознание только по временам, видимо, возвращается к нему, а так ни на что не реагирует. Из госпиталя его выписали, он теперь дома. Бедная его жена: врачи сказали, в таком положении он может жить еще годы.

Книга Георгия Викторовича очень хорошая, — буду писать о ней (позже, сейчас нет смысла, — никого нет), поэтому не буду пока «разбрасываться».

Ваши стихи в № 87 «Н. Ж.» — лучшие изо всех.

Но что делает Елагин — просто не понять, зачем это ему нужно? Какие-то грубые фельетоны в стихах. Впрочем, — пишут мне из Москвы, — он и там знаменит, «наравне с Евтушенко, Вознесенским, Ахмадулиной и прочими «гениями». (Пишущий, видимо, не сторонник такой поэзии).

Георгий Викторович в Ницце, Ирина Владимировна только что вернулась из Мюнхена, где провела $1^1/_2$ месяца (и довольна), а Софья Юльевна с братом только что уехали в Остенде. ... Летом пуст Париж, а я...

Ирина Николаевна и все наши шлют Вам дружеский привет и жалеют, что не могут с Вами повидаться.

Всего, всего доброго! Ваш Ю. Терапиано.

[1] Для неизлечимо больных (*фр.*).

21.1.1969

Дорогой Игорь Владимирович,

Ирина Владимировна так интересно рассказывает об Америке. В частности — о съезде славистов, о том, как читали стихи, и какие поэты.

Но вижу, что все же есть большая разница между нашим прежним «довоенным» воздухом в Париже и теперешним. То, что теперь, — все же уже не в «петербургской» линии; сказывается советская провинция, влияющая и на вкус, и на отношение к поэзии, например, — к «новизне». И «пуристы», вероятно, слишком в себе уверены. Вспоминаю Маковского, строго выговаривавшего Блоку за язык в его «Италианских стихах».

Прочел и написал о «Мостах». Стихотворный отдел на этот раз удачен, о чем и говорю, но вот в «Н. Ж.» № 93 Моршен позволил себе уже давно ставшее пошлостью издевательство, с неприличными словами[1]. Удивляюсь, как Гуль мог это напечатать. Неужели Моршен, в его более чем зрелом возрасте, не понимает, что «новизну» таким приемом не создать, это вроде как войти на какое-нибудь собрание и выругаться там по матушке. Поплавский раз это сделал в начале 20-х гг. — мы его тогда просто поколотили.

У нас все увлечены Солженицыным[2] и Булгаковым[3].

А в «Н. Ж.» 93 напечатан тот же рассказ[4] Солженицына, что и в «Гранях» № 69, о котором я только что уже дал отзыв!

Пишу Вам пока на Канзас, известите, пожалуйста, каков будет Ваш новый адрес[5]. Ирина Николаевна и я шлем Вам сердечный привет.

Ваш Ю. Терапиано.

Аглая Сергеевна просит передать Вам привет.

[1] Речь идет о стихотворении Н. Моршена «На выставке»:

Здесь подражатели увешали все стены —
Не то го-го, не то ге-ге, не то Гогены.
Одни красавицы расписаны цветисто
И под ма-ма, и под ти-ти, и под Матисса.
Другие смахивают радостно и вяло
То на ша-ша, то на га-га, то на Шагала.
А есть холсты совсем загадочного класса:
Полу-пи-пи, полу-ка-ка, полу-Пикассо.

[2] В 1968 году произведения А. Солженицына начали печататься за границей. В 1969-м он был за это исключен из Союза Писателей СССР. В 1970-м — ему присуждена Нобелевская премия. По поводу предложений советского правительства А. Солженицыну покинуть СССР, редактор парижской «Русской мысли» З. Шаховская в статье «Свободы, гения и славы палачи» писала: «Вероятно, “свободы, гения и славы палачам” известно, что, так же как и Пастернак, Солженицын не хочет покинуть свою одичавшую и страдающую страну. Для этой страны Солженицын живет и пишет» (Русская мысль. 1969. № 2767).

[3] Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован в СССР в журнале «Москва» в 1966–1967 годах. В «Новом журнале» (1968. № 92) напечатана статья Р. Плетнева «О "Мастере и Маргарите"». В докладе на международном симпозиуме о советской литературе в Мюнхене в 1968 году З. Шаховская говорила: «Появление в СССР, даже в ущербленном виде, "Мастера и Маргариты" — необыкновенное событие, и, пожалуй, самое значительное в советской литературе за долгие годы. Роман этот всколыхнул интеллектуальные круги страны...». (Доклад был опубликован в «Русской мысли» 1 августа 1968 года.)

[4] Рассказ А. Солженицына «Правая кисть».

[5] В сентябре 1969 года И. Чиннов из Канзасского университета перешел на место профессора русской литературы в Питтсбургский университет города Питтсбург, штат Пенсильвания (Visiting Associate Professor. University of Pittsburg. Pittsburg, Pennsylvania), где проработал один год, а затем перешел в Вандербилтский университет.

22.12.69

Дорогой Игорь Владимирович,

Ирина Николаевна и я поздравляем Вас с Новым Годом и наступающим праздником Рождества Христова и шлем наилучшие пожелания.

Очень хотелось бы — среди новогодних пожеланий, — чтоб осуществились планы Софии Юльевны о возрождении, в новой форме, «Новоселья»[1]. Все-таки, прежний, «довоенный уровень», и отношение к поэзии, понимание ее, и до сих пор важны и нужны. Мы видим, как «новые люди» порой никак не могут подняться выше уровня «общепонятного», и принимают за поэзию часто то, что выше стихотворчества, хотя бы и удачного, подняться не может.

Юрий Павлович писал мне, что Перелешин, кажется, находится в состоянии моральной депрессии. На днях я получил от него, на «Р. мысль», поздравления с Рождеством более, чем странного, содержания, — конечно, курьеза ради, прилагаю[2].

— Какую я начал полемику? Какой он «академик»?

Чтоб написать подобное письмо совершенно незнакомому человеку, на которого только что так грубо нападал, нужно быть

исключительным наглецом,— негодяем, или же — душевно больным. Думаю, к Перелешину скорее подходит последнее. А приписка: «Не проспите Христа...» — да что он, за Христа себя принимает?

Был у нас вечер памяти Блока,— с Жабой[3] и чтением стихов Горской и К. Ни Георгий Викторович, ни я выступать не захотели, т. к. атмосфера вечера — доказать, что Блок никогда не сочувствовал никаким левым и был православным христианином,— к этому не располагала.

Но «Союз писателей и журналистов» теперь, по своей «установке», походит на «союз русского народа», кажется.

Рад буду, если Вам удастся приехать этим летом в Париж,— давно хотелось бы повидаться и поговорить обо всем «живым голосом».

Ирина Николаевна и все «наши» шлют Вам сердечный привет.

Ваш Ю. Терапиано.

[1] Журнал «Новоселье» С. Ю. Прегель издавала в 1942–1949 годах. Возродить что-либо подобное позже ей не удалось.

[2] Письмо не сохранилось.

[3] Жаба Сергей Павлович — один из руководителей Союза писателей и журналистов в Париже, муж поэтессы Т. Величковской.

16.3.1970

Дорогой Игорь Владимирович,

Начну с курьеза: в «Н. Р. Слове» отпраздновано 90-летие Бориса Зайцева. На самом деле ему 89 лет (мы праздновали их недавно),— газета, казалось бы, должна быть в курсе. Бедный Зайцев очень расстроен: «А вдруг я не доживу до моего 90-летия теперь?». Самое замечательное то, что редакция «Н. Р. С.» попросила Георгия Викторовича написать статью по поводу 90-летия Б. З., и он ответил, что 90-летие будет через год.

С большой радостью увидел в «Р. М.» Ваши стихи,— надеюсь, теперь не в последний раз. Подбор стихов «ближайших сотрудников» и покойных поэтов (которые, как, например, Вл. Хо-

дасевич, сотрудниками «Р. М.» не были и быть не могли) случаен и... небрежно сделан. Даже в оформлении С. Рафальский оказался позади Странника, что не очень вежливо (хотя Рафальского я не люблю). Но вся беда в том, что Зайцев ревниво охраняет свои редакторские права на весь литературный отдел и ни за что не хочет допустить к редактированию стихов ни И. Одоевцеву, ни меня.

В «Единение», чтобы не тратить на него слишком много сил и времени (на что нет ни сил, ни времени!), посылаю сокращенные и переработанные отчасти статьи из «Р. М.». По журналистическим правилам я на это имею полное право (даже на воспроизведение целиком), а для тамошней публики, «Р. М.» не видящей, все-таки, как мне пишут, они интересны.

Мамченко на днях удалось устроить — до конца его дней — в Русский дом в Chelles, где есть отделение для «incurables» и где прекрасный, добрый директор. Теперь главная тяжесть — плата в госпиталь и опасность, что его могут перевести в провинцию, отпала. Chelles близко от Gagny, собираюсь к нему съездить, как только кончится период снега и ледяного ветра.

Георгия Викторовича я еще не видел, но знаю, что он вернулся из Ниццы (нашел время возвращаться!).

Софья Юльевна, видимо, очень тоскует, особенно когда остается по вечерам одна, но мужественно переносит свое горе и хорошо держится на людях.

Аглая Сергеевна в последнее время прихварывает, что неудивительно при нашем «сезоне».

Почему бы О. Можайской не поместить своей статьи[1] в «Н. Р. С.» — ее там теперь часто печатают?

Жаль, что литературные проекты,— и Ваши, и наши — увы! — пока что не осуществились. Все же надеюсь увидеть Вас летом здесь. Все «наши» шлют Вам сердечный привет,— и я тоже. Ваш Ю. Терапиано.

[1] Статья О. Можайской о стихах И. Чиннова «Муза поет в луче» появилась в «Гранях» (1971. № 82).

10. I. 66

Дорогой Игорь Владимирович,

Название для книги — всегда мучительно трудно. В «Мелодии» есть правда и прелесть, но только для стихов Ваших это название, мне кажется, немного узко, выражает далеко не всё. Хотелось бы более выразительного названия, но... ломал-ломал голову — всё, что придумал — тоже не то...

Может быть, 'Melodia' — самое лучшее, как "Tristia"? — не по-русски это слово глубже и шире.

Простите за недостаток воображения!

Ваш Ю. Терапиано

Письмо Ю. Терапиано к И. Чиннову от 10 января 1966 года

19.5.1971

Дорогой Игорь Владимирович,

Вчера вернулся из Нормандии и нашел дома Ваши письма и письмо З. Шаховской, в котором она просит меня написать заметку к Вашему вечеру[1]. Сегодня сделал это — и сейчас же отправляю З. Ш., вместе с отзывом о 102 книге «Н. Ж.», где есть Ваши стихи.

31-го утром, если Вам удобно, можно было бы встретиться с Вами часов в 11 — раньше из Gagny трудно добраться. Надеюсь, письмо это дойдет в Nachville до Вашего отлета. Я предпочел бы встретиться с Вами в большом кафе «Cluny», на углу St. Germain и St. Michel, т. к. на улице Bulle Chasse я никогда не был и пришлось бы ее искать. Если можно, подтвердите мне, пожалуйста, это свидание. Пишу кратко, чтобы успеть поскорее отправить это письмо. Итак — до скорой встречи. Ваш Ю. Терапиано.

[1] Речь идет о творческом вечере И. Чиннова в Париже 1 июня 1971 года. Председательствовал Б. Зайцев. Выступали Г. Адамович, В. Вейдле, Ю. Терапиано и др. З. Шаховская в 1968–1978 годы была редактором «Русской мысли», а Ю. Терапиано был постоянным критиком этой газеты.

29.8.1971

Дорогой Игорь Владимирович,

Почта у нас действительно оставляет желать лучшего. У меня пропала статья, посланная из Gagny в «Р. М.», это обошлось мне, увы! — в цену ее. В статье о 103-ей кн. «Н. Ж.» я поговорил немного о модернистской поэзии наших дней, особенно о Моршене, который просто наскучил своими опытами под 1913 год и «откровенностями»,— как две капли похожими на давно прошедшее время.

Помните, у А. С. <Шиманской> мы говорили о стихах, в частности, о двух Ваших, поистине «новых», которые ни в каких трюках и комментариях не нуждаются. Вот это и есть настоящий «шаг вперед», способный обновить поэзию. Не уверен, что Вы во всем согласитесь со мной, но «не могу молчать», Моршен не одного меня доводит до отчаянья.

Сейчас литературный Париж, Швейцария и Мюнхен заняты переживанием статьи Н. Ульянова о Солженицыне[1]. Не понимаю, как такой старый опытный редактор, как Вейнбаум[2], мог поместить статью Ульянова без редакторской заметки, что «статья печатается в порядке дискуссии (или свободной трибуны) и редакция с автором не солидарна». О самой же статье уже многие писали (в том числе и у нас, З. Шаховская[3]), и ломиться в открытую дверь уже не хочется. Не понятно, почему, зачем?.. Ульянову понадобилось нападать на Солженицына, положение которого очень опасное и без того? И как неблагородно: почему мол, Солженицын не бежал за границу, где его ждут слава и деньги? Очевидно, для Ульянова «Ubi bene ibi patria»[4], и он просто не может понять человека, способного, несмотря на все преследования, любить свой народ и свою страну.

Жаль, что для «Современника» ничего не выходит.

Но при нынешнем кризисе нельзя было и ожидать ничего хорошего.

Ирина Николаевна, я и «все наши» шлют Вам привет, как всегда.

Ваш Ю. Терапиано.

[1] Н. Ульянов считал, что А. Солженицына как реальной фигуры не существует, а его «сделали» спецслужбы. Любопытно, что это же заблуждение разделял, например, В. Набоков. Вера Набокова, вдова писателя, в письме редактору «Русской мысли», напечатанном там 6 июля 1978 года, приводит воспоминания Странника о том, что Набоков стал его уверять «тоном, не допускающим сомнений, что вся эта шумиха за границей с Солженицыным — дело КГБ». Далее она объясняет смысл этих слов: Набоков и Ульянов «были далеко не единственными, предполагавшими, что КГБ использует Солженицына в целях какой-то колоссальной провокации, так как многим казалось невозможным, чтобы человек, живущий в СССР, мог печатать столь убийственные разоблачения чекистов, оставаясь при этом живым и невредимым. Таких сомневающихся было много, и все сомнения их рассеялись только тогда, когда Солженицын выехал из России и продолжал свою деятельность за границей». А. И. Солженицын был депортирован из СССР «за измену Родине» в 1974 году.

[2] М. Вейнбаум — редактор «Нового русского слова».

[3] За период с 1969 по 1977 годы З. Шаховская напечатала в «Русской мысли» более десяти статей о А. Солженицыне. Они вошли в ее книгу «Рассказы, статьи, стихи» (Париж, 1978). В статье 1971 года «О правде и свободе Солженицына» (с. 128–131) она пишет, что главный персонаж всех произведений Солженицына — русский народ. И что Солженицын «образ внутренней и независимой от тирана свободы несет через все свои книги и показывает путь к ней».

[4] Где хорошо — там и родина (*лат.*).

25.8.1973

Дорогой Игорь Владимирович,

Уже сравнительно давно, в августе, отнес на почту своими руками пакет Р. Гулю с отзывом о «Композиции» И. Одоевцевой[1], — на мой взгляд, талантливо написанным. Так что — «гора с плеч»...

В только что вышедшей книге В. Вейдле «О поэтах и поэзии»[2] Вейдле говорит о Вас очень для Вас лестно.

Ваша поэзия теперь «торжествует». Хорошо и то, что И. В. <Одоевцева> в конце концов решила не возражать М. Слониму[3], — так лучше для статьи, да и к чему, — ведь Слоним не такой уж знаток поэзии, и его мнение не столь уж убедительно.

Зато И. В. отметила главное у Вас, — то, что Ваша поэзия не только «сейчас», но и для «будущего», — чего нет у других наших знаменитых поэтов.

А. С. <Шиманская> была все это время больна — упала на улице, поскользнувшись, но теперь уже ей лучше, и она могла съездить с Рубисовым и мною к морю, хотя ее «район действия», в смысле ходьбы, был очень ограничен. А «Композицию» она получила, знает и новые Ваши стихи и очень их любит.

Желаю Вам всего доброго, все «наши» и И. В. шлют Вам привет.

Ваш Ю. Терапиано.

[1] Статья появилась в «Новом журнале» (1973. № 113).

[2] Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973.

[3] Статья М. Слонима «Поэзия Игоря Чиннова» напечатана в «Новом русском слове» 6 мая 1973 года. В этой статье М. Слоним дает высокую оценку стихам И. Чиннова, утверждая, что ему «принадлежит одно из первых мест в эмигрантской поэзии». Возразить можно было, в частности, на то, что, по словам М. Слонима, «совершенно ясно, что ... Чиннов не разделяет иллюзий о бессмертии» души. Тогда как на самом деле — это как раз «совершенно **не** ясно» для Чиннова. Чиннов многократно возвращается к этому вопросу, так и не находя (естественно) окончательного ответа. И это — одна из главных тем его поэзии.

16.4.1975

Дорогой Игорь Владимирович,

Перед тем, как лечь в госпиталь перед своей смертью, Софья Юльевна, во время последнего свидания с нею, просила меня, в присутствии Ирины Владимировны, в случае, если явится возможность продолжать «Рифму», заняться ею и быть ее заместителем. Поэтому «Рифма» охотно предоставляет Вам для «Пасторалей» свою марку[1]. Ирина Владимировна тоже выпускает книгу стихов «Златая цепь», она должна быть готовой в конце мая,— и тоже в «Рифме». «Рифма», таким образом, возродившись, выпускает книги двух лучших поэтов эмиграции, а потом, Бог даст, еще будут и другие сборники.

Рад, что у Вас все хорошо.

Мы здесь все болеем всякими не столь опасными, как изводящими болезнями, что не мудрено теперь, т. к. у нас — вот уже месяц — настоящая зима, со снегом и холодным ветром. Ось земли, видимо, наклонилась снова и, может быть, эта погода — предвестие нового Ледникового периода!

А в литературе — все то же. Приезжал опять Солженицын и давал на av. Kliber пресс-конференцию, а Вейдле с ним сражался в «Р. мысли», т. к. Солженицын требует, чтобы было одно только его мнение.

Синявский же блистает тоже. О нем советую посмотреть в № «Р. М.» от 10 апреля,— не пожалеете.

Я же на все эти собрания не хожу, политика — не мое дело.

Все «наши» с Ириной Владимировной в первую очередь, шлют Вам сердечный привет.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим Праздником Св. Пасхи и желаю всего самого доброго и светлого. Ваш Ю. Терапиано.

[1] Книга И. Чиннова «Пасторали» вышла в 1976 году под грифом издательства «Рифма».

9.4.1976

Дорогой Игорь Владимирович,

Сегодня отправил в «Р. М.» статью о «Пасторалях»[1] — на конец апреля.

Дал «Пасторали» на прочтение Аглае Сергеевне, — она в восторге и говорит, что Вы — лучший современный новый поэт, я думаю, она не ошиблась.

Ирина Владимировна говорила мне, что послала уже А. Седых письмо, в котором она говорит, что о «Пасторалях» в «НРС» будет писать она[2].

Читали ли Вы в «НРС» письмо Гидони, который, видимо, очаровал всех в «Современнике»? Его обвиняют в N. Y. и здесь некоторые «вновь-прибывшие» в том, что он, якобы, провокатор. Э. Штейн, которого я не знаю, живущий в Америке, в «Р. М.», в своем письме в редакцию «Р. М.», которое З. А. Ш<аховская> поместила недавно, повторяет эти обвинения. Если так, как бы «С.» не нажил себе с ним большой беды[3].

На 66, Bd Exelmans, как оказалось, во дворе частного дома стоит бюст М. Волошина, сделанный с него в 1905 году, в то время, когда М. В. жил в Париже. Я разыскал этот бюст, Рене Герра сделал снимок с него. Действительно, очень похож, я узнал сразу. (В последний раз я встречался с М. В. в Феодосии в марте 1920 г.)

Поздравляем Вас с наступающим Праздником Св. Пасхи и шлю наилучшие пожелания. «Наши» — тоже. Ваш Ю. Терапиано.

[1] Статья Ю. Терапиано появилась в «Русской мысли» 29 апреля 1976 года.

[2] Статья И. Одоевцевой появилась в «Новом русском слове» 16 мая 1976 года.

[3] Об этом см. в письмах Б. Нарциссова от 3 марта 1977 года, Р. Гуля от 28 января 1978 года, Г. Андреева (Хомякова) от 14 марта 1978 года.

20.9.1977

Дорогой Игорь Владимирович,

Надеюсь, Вы получили мое недавнее письмо.

Сейчас хочу поделиться с Вами большой новостью: 17 сентября состоялась помолвка И. В. Одоевцевой с Яковом Горбовым. Свадьба будет позже, когда пройдут все формальности, что для эмигрантов очень важно, т. к. требуются бумаги, которых часто не достать, и всякие формальности.

На днях получил «Перекрестки»[1], — что напоминает наш довоенный «Перекресток», о котором я писал и во «Встречах», и в «Р. М.». О содержании — выскажусь в свое время, пока что я не имел времени в него по-настоящему вчитаться.

Надеюсь, у Вас все хорошо. С искренним приветом. Ю. Терапиано.

[1] Поэтический альманах, выходивший в Филадельфии.

29.12.1977

Дорогой Игорь Владимирович,

Благодарю за поздравления и со своей стороны шлю Вам наилучшие пожелания к Новому Году.

У меня сейчас опять осложнение моей болезни, лечусь и страдаю — к праздникам.

Вы, конечно, уже знаете о смерти Галича? Его нашли мертвым перед телевизором в его квартире. Обе его руки были черные, — предполагают, что он задел что-то в нем, и был убит коротким замыканием. «Р. М.» полна Галичем, он был «вожатый» «новых». А человеком он был симпатичным и культурным, правда, я видел его только раз в «Р. М.», давно, а потом мы с ним сидели в кафе. Затем я забыл о нем и на его выступлениях быть не мог.

Приехал Бродский, был его вечер, в «Р. М.» — триумф, — «первый поэт современности!» Не первый, но хороший, правда.

Что у Вас? Какие у Вас планы на будущее?

С сердечным приветом. Ю. Терапиано[1].

[1] В архиве И. Чиннова сохранилось 96 писем от Ю. Терапиано.

Юрий Терапиано

ОБ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВОЙНЕ*

Дон Аминадо, назвавший в своих шуточных стихах Георгия Иванова «Жорж опасный», был прав. Георгий Иванов имел дар с убийственной меткостью попадать в самое больное место своего врага, находить у него самое уязвимое и подносить это читателю столь убедительно, что каждый как будто сам произносил этот приговор, принимал мнение Георгия Иванова за свое мнение.

Недаром еще в Петербурге, как пишет в своих воспоминаниях Ирина Одоевцева, в кругах участников гумилевского «Цеха поэтов» Георгию Иванову дали кличку «Общественное мнение».

В конце июня 1926 года, когда после благосклонно-снисходительного отзыва Антона Крайнего в «Последних новостях» о моей первой книге стихов «Лучший звук» («Последние новости». № 1947. 22 июля 1926) Владислав Ходасевич повел меня знакомиться с Мережковскими, он по пути наставлял:

— Особенно опасайтесь Георгия Иванова. Не старайтесь заводить близких отношений с ним, иначе вам, рано или поздно, не миновать больших неприятностей... Он горд, вздорно обидчив, мстителен, а в своей ругани — убийственно зол.

Выслушав такое предупреждение моего Вергилия-водителя по кругам литературного «ада», в который я в тот же день готовился вступить, я пообещал себе следовать совету Владислава Фелициановича. И действительно, постоянно встречаясь потом с Георгием Ивановым на воскресеньях у Мережковских, на Мон-

* Печатается в сокращении по тексту журнала «Мосты». Мюнхен, 1966. № 12.

парнасе, в «Зеленой лампе» и на всевозможных литературных вечерах, всюду я был с ним вежлив и до самой его смерти, несмотря на завязавшуюся в последние годы его жизни переписку с ним, держался «на расстоянии».

Зато и никаких журнальных неприятностей от него не имел.

Конечно, за глаза, быть может, или в письмах и мне, вероятно, от него иногда попадало — кто из писателей этим не грешил?

Но думал ли Ходасевич, предупреждая меня, начинающего поэта, которому он тогда покровительствовал, что не мне, а ему попытка сближения с Георгием Ивановым обойдется так дорого и что именно ему судьба назначила принять на себя один из тех литературных ударов, которые вызывают всеобщее волнение, споры, запоминаются надолго всеми — и писателями, и читателями и даже влияют на дальнейшую литературную судьбу пострадавшего?

О таком случае — о столкновении Георгия Иванова с Владиславом Ходасевичем — я и хочу рассказать, так как думаю, что будущему историку зарубежной литературы эта «война» будет интересна и поучительна.

Иногда какое-нибудь ничтожное обстоятельство влечет за собой настоящую трагедию, а если участник этой трагедии поэт, существо одаренное чрезвычайной чувствительностью, то слово действительно приобретает разрушительную силу, и тогда становится ясно, как важно быть осторожным в высказываниях.

Владислав Ходасевич, с детства болевший туберкулезом и другими болезнями, был чрезвычайно впечатлителен, нервен, подозрителен и обидчив. К своей поэзии он был необычайно требователен и сам себя критиковал беспощадно, если находил какую-нибудь погрешность в своих произведениях. Кроме того, по натуре, он был горд и надменен, как настоящий польский шляхтич, обид не прощал, к литературным врагам был беспощаден, но — необходимо заметить — не обладал ивановским даром совершать литературные убийства.

Строгий, иногда даже придирчивый критик, он не умел так уязвить своего врага, чтобы того, по выражению Корнея Чуковского, «тяжело раненого унесли с поля битвы».

Георгий Иванов критиком не был, а если и писал о ком-либо, то обыкновенно, спустя рукава, иногда — «по-дружески», слишком мягко и приятно, и сам не придавал своим таким писаниям особенного значения.

Но если он хотел поразить своего врага — его страшное умение видеть слабые стороны, как бы в фокусе, и наглядно выявлять их, раскрывалось в полной мере.

Говорят, потом Георгий Иванов даже жалел о некоторых своих статьях, о Ходасевиче в частности, но в момент острой борьбы остановить его было невозможно.

В конце двадцатых годов, устав возиться с окружавшим его «младшим литературным поколением» (начавшим писать уже за рубежом), порой очень утомлявшим его и отнимавшим у него много времени, Владислав Ходасевич объявил как-то им, что отныне он намерен сблизиться с «петербуржцами», членами гумилевского Цеха поэтов, «людьми моего поколения и моего литературного стажа».

1926, 27 и 28 годы были временем расцвета поэтической репутации Владислава Ходасевича за рубежом. Он принадлежал к числу поэтов, которых вначале мало замечают и обращают на них внимание лишь с течением времени. Ходасевич сам, в предисловии к собранию своих стихотворений, составленному в 1927 году, отрекся от своих двух ранних книг — «Молодость» и «Счастливый домик», признав их (несправедливо и слишком придирчиво) слабыми юношескими опытами.

Так или иначе, в России, только в Петербурге (а не в Москве, где Ходасевич жил и работал) Гумилев говорил о его поэзии очень положительно, советуя молодым поэтам учиться у Ходасевича умению писать стихи.

Максим Горький тоже очень любил стихи Ходасевича и в своих воспоминаниях чрезвычайно похвально отозвался о его поэзии.

Основание известности Ходасевича за рубежом положил Андрей Белый своей статьей, напечатанной в «Современных записках», в Париже, в которой он назвал Ходасевича замечательным мастером: «Из Ходасевича постепенно выработался большущий поэт».

«Выработался», а не «Божьей милостью», — это для Ходасевича было роковым определением.

Он и сам осознавал, что его поэзия в значительной мере держится на его исключительном мастерстве, уме, вкусе, чувстве меры, а затем — на иронии, оригинально найденной теме протеста против нелепого устройства этого мира, против пошлости и

низости быта, малости и убожества современного человека и т. д., но что в верховной музыке, которая дана, например, Блоку, ему отказано.

— Если в истории русской литературы и обо мне будут хотя бы две строчки — это для меня счастье,— перефразируя Брюсова, сказал он как-то.

Само собой разумеется, что, зная свои слабые стороны, Ходасевич умел ценить и свои достоинства. Он с гордостью ощущал себя хранителем традиций великой русской поэзии первой половины девятнадцатого века, особенно сейчас, в эпоху революционной разрухи и всеобщего снижения.

Он ненавидел футуристов и Маяковского, вместе с «заумными» поэтами и заклеймил их:

Жив Бог! Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Пасу послушливое стадо
Я процветающим жезлом,
Ключи таинственного сада
Звенят на поясе моем.
Я — чающий и говорящий.
Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,—
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осиянный,
Не лютый зверь, не глупый бык,
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык...

Когда в 1925 году Ходасевич переехал из Италии во Францию, он вскоре завоевал себе видное место не только как критик (сначала в газете «Дни»), но и как поэт. К слову сказать, в «Днях» Ходасевич первый начал печатать стихи молодых поэтов и тем дал пример «Последним новостям», а затем «Современным запискам» и «Возрождению».

Стихи самого Ходасевича печатались в «Современных записках», а иногда и в других журналах.

Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус в те годы были в самых хороших отношениях с Ходасевичем. Он с Н. Н. Берберовой часто бывал у них на «воскресеньях» и открыл своим докладом 5 февраля 1927 года первое собрание «Зеленой лампы».

«Зеленая лампа» была так названа в память петербургского кружка, собиравшегося у Всеволожского в начале девятнадцатого века (в нем участвовал и Пушкин).

Д. Мережковский в поэзии искал главным образом отзвука на «проклятые вопросы». К чистой лирике он был скорее холоден, несмотря на то, что очень любил Лермонтова и замечательно читал его «По небу полуночи...»

Зинаида Гиппиус, тоже очень чуткая к «содержанию», но также и к форме, ценила стихи Ходасевича за его формальное мастерство, хотя и прибавляла, что, к сожалению, Ходасевич «не имеет на спине креста, как паук-крестовик», то есть не находила его поэзию достаточно христианской — в чем, пожалуй, ошибалась.

У Ходасевича была репутация скептика, желчного отрицателя, чуть ли не атеиста. На самом деле — это знали только близкие к нему люди, — он был верующим католиком, ходил в костел, а в своих стихах не допускал частых обращений к Богу и всяких символистских «бездн и тайн» не по неверию или скептицизму, а из духовного целомудрия.

Поэзия Ходасевича, если внимательно читать, при всей ее кажущейся «трехмерности» и скептицизме, по существу религиозна, в ней есть и отражение духовного опыта, например, в стихотворении «Эпизод» (книга «Путем зерна») — ощущение отделения от тела, что даже заставило некоторых считать Ходасевича антропософом. Но антропософом он не был.

— Всякое сектантство, — говорил он, — а доля сектантства есть в каждом объединении мистиков, отталкивает.

Поэтому-то он всегда отклонял делавшиеся ему предложения вступить в число членов всяческих духовных братств, он хотел оставаться абсолютно свободным.

Слишком бесцеремонная игра символистов с «небесным» также шокировала его, и Ходасевич порой очень ядовито подшучивал над ними, хотя и называл себя «последним символистом».

Стихи Ходасевича, вышедшие в издательстве газеты «Возрождение» («Собрание стихов», 1927, Париж), очень понрави-

лись Мережковскому, и он напечатал в «Возрождении» большую статью, сравнивая Ходасевича с Блоком — был «наш Блок», а теперь — «наш Ходасевич», Арион русской поэзии и т. д. Статья эта многим показалась чрезмерно хвалебной, а сопоставление Ходасевича с Блоком совсем не понравилось. Зинаида Гиппиус, помнится, нашла, что «Дмитрий хватил через край» — и тут опять вспомнила о пауке без креста на спине.

Георгий Иванов тоже был задет Мережковским (и другими восторженными хвалителями поэзии Ходасевича), но ревновать — не ревновал: поэзия, в его представлении, должна была быть иной.

Однако ошибаются те, кто считают, что статья Георгия Иванова «В защиту Ходасевича» была вызвана статьей Мережковского. Дело было иначе[1].

Не учтя того, что сотруднику «Последних новостей», идейно враждовавших с «Возрождением», бесполезно обращаться в издательство «Возрождение» с предложением рукописи, Георгий Иванов попросил В. Ходасевича позондировать почву — *как будто от себя и очень секретно*, не согласится ли издательство «Возрождение» выпустить книгу его воспоминаний «Петербургские зимы»?

Ответ был дан немедленно — в очень обидной для Георгия Иванова форме. В редакцию «Последних новостей» пришла на его имя открытка с извещением, что *его* предложение издать книгу не может быть принято.

Открытку, конечно, прочли в редакции «Последних новостей», и у всех создалось впечатление, что *сам* Георгий Иванов ходил в издательство «Возрождение» и просил издать его книгу.

Георгий Иванов пришел в ярость и решил отплатить. Свою статью он назвал «В защиту Ходасевича», появилась она в 2542 номере «Последних новостей». Привожу ее полностью:

В защиту Ходасевича

Еще недавно, в «Тяжелой лире» Ходасевич обмолвился:

Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду.

Казалось — именно так. Казалось — Ходасевич поэт, еще до войны занявший в русской поэзии очень определенное место, вряд ли в ней когда-нибудь «переместится», все равно как гонимый или прославленный. Не такого порядка была природа его поэзии.

Прилежный ученик Баратынского, поэт сухой, точный, сдержанный — Ходасевич уже в вышедшем в 1914 году «Счастливом домике» является исключительным мастером. Последующие его книги: «Путем зерна» и особенно «Тяжелая лира» в этом смысле еще удачнее. С формальной стороны — это почти предел безошибочного мастерства. Можно только удивляться в стихах Ходасевича — единственному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И, если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения...

Но можно быть первоклассным мастером и остаться второстепенным поэтом. Недостаточно ума, вкуса, уменья, чтобы стихи стали той поэзией, которая хоть и расплывчато, но хорошо все-таки зовется поэзией «Божьей милостью». Ну, конечно, прежде всего должны быть «хорошие ямбы», как Рафаэль прежде всего должен уметь рисовать; чтобы «музыка», которая есть у него в душе, могла воплотиться. Но одних ямбов мало. «Ямбами» Ходасевич почти равен Баратынскому. Но ясно, все-таки, «стотысячеверстное» расстояние между ними. С Баратынским нельзя расстаться, раз «узнав» его. С ним, как с Пушкиным, Тютчевым, узнав его, хочется «жить и умереть». А с Ходасевичем...

Перелистайте недавно вышедшее «Собрание стихов», где собран «весь Ходасевич» за 14 лет. Как холоден и ограничен, как скуден его внутренний мир. Какая не щедрая и не певучая «душа» у совершеннейших этих ямбов. О да — Ходасевич «умеет рисовать». Но что за его уменьем? Усмешка иронии или зевок смертельной скуки:

Смотрю в окно — и презираю,
Смотрю в себя — презрен я сам.
На землю громы призываю,
Не доверяя небесам.
Дневным сиянием объятый,
Один беззвездный вижу мрак...
Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

Конечно, Ходасевич все-таки поэт, а не просто мастер стихотворец. Конечно, его стихи все-таки поэзия. Но и какая-нибудь тундра, где только болото и мох, «все-таки» природа, и не ее вина, что бывает другая природа, скажем побережье Средиземного моря…

… Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду.

Казалось бы — именно так. Не откуда, не за что. Но Ходасевич ошибался. В наши дни, в эмиграции, к нему неожиданно пришла «грубая слава». Именно «грубая», потому что основанная на безразличии к самой сути его творчества.

Неожиданно для себя, выступаю как бы «развенчивателем» Ходасевича. Тем более это неожиданно, что я издавна люблю его стихи (еще в России, где любивших Ходасевича можно было по пальцам пересчитать и в числе которых не было никого из нынешних его «прославителей»). Люблю и не переставал любить. Но люблю «трезво», т. е. ценю, уважаю, безо всякой, конечно, «влюбленности», потому что какая же влюбленность «в дело рук человеческих», в мастерство. И нет, не развенчивать хочу, но трезво любя, трезво уважая, даже преклоняясь, вижу в хоре «грубых» восхвалений — новую форму безразличия, непонимания…

Прежде: Борис Садовский. Макс Волошин, какой-нибудь там Эллис, словом, второй ряд модернизма и — Ходасевич.

Теперь: Арион эмиграции. Наш поэт после Блока. «Наш певец».

В новой форме — то же искажение.

Как не вспомнить тут словцо «одиозного» критика[2]: «Ходасевич любимый поэт не любящих поэзии». Пусть простят меня создатели вокруг имени Ходасевича «грубой славы». Да, поэзии они, должно быть, не любят, к ней безразличны. Любили бы — язык бы не повернулся сопоставить Ходасевич — Блок. Не повернулся бы выговорить: Арион.

Но не любят, равнодушны и поворачивается с легкостью.

«Арион эмиграции». О чем же поет этот «таинственный певец», суша «влажную ризу» на чужом солнце? Какую «радость» несет его песня?

Смотрю в окно — и презираю,
Смотрю в себя — презрен я сам…

... Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

Арион, таинственный Пушкинский певец? Арион, душа Пушкинской (вселенской) поэзии?

... Она, да только с рожками,
С трясучей бородой...

В статье «Поэзия Ходасевича» В. Вейдле пишет:

«... Поэзия (Ходасевича), от которой отвернуться нельзя, которую нельзя одобрить и на этом успокоиться.

... Не стихи, которые могут писать мастера и ученики... а другие, способные сделаться для нас тем, чем сделались в свое время для нас стихи Блока.

... Впрочем, может быть, надо еще объяснить кому-нибудь, что нас связывает с этим поэтом..?»

Мережковский обмолвился «Арион эмиграции». Антон Крайний поставил вопросительный, правда, до чрезвычайности вопросительный, знак равенства: Ходасевич — Блок. В. Вейдле, в обстоятельной статье, подводит под эти обмолвки кропотливый, многотрудный фундамент. Но обмолвиться много проще, чем «научно обосновать». Да и как обосновать и оправдать в поэзии отсутствие тайны, «крыльев» (Вейдле сам признается: «бескрылый гений»). Как заставить полюбить... отсутствие любви, полное, до конца, к чему бы то ни стало? Как скрыть, замаскировать глубочайшую скуку, исходящую от всякой «бескрылости» и «нелюбви»?

Да, критик прав: конечно, ученики так не пишут, на то они и ученики, а Ходасевич первоклассный мастер. Но для прилежного, умного ученика поэзия эта не является недостижимым образцом. Все дело в способностях и настойчивости. Да, «Ходасевичем» можно «стать». Трудно, чрезвычайно трудно, но можно. Но Ходасевичем — не Пушкиным, не Баратынским, не Тютчевым... не Блоком. И никогда, поэтому, стихи Ходасевича не будут «тем, чем были для нас» стихи Блока: они органически на это неспособны.

Поэзия Блока, прежде всего, чудесна, волшебна, происхождение ее таинственно, необъяснимо ни для самого поэта, ни для тех, для кого она чем-то стала.

Блок явление спорное. Сейчас еще трудно сказать, преувеличивает ли его значение поколение, на Блоке воспитанное, или (как иногда кажется) напротив — преуменьшает. Но одно ясно: стихи Блока, «растрепанная» путаница, поэзия взлетов и падений, и падений в ней, конечно, в тысячу раз больше. Но путаница эта вдруг «как-то» «почему-то» озаряется «непостижимым уму», «райским» светом, за который прощаешь все срывы, после которого пресным кажется «постижимое» совершенство. Этому никакой ученик не может научиться, и никакой мастер не может научить. Да, «таким был для нас Блок», и никогда не был, никогда не будет Ходасевич.

Кстати, начав свою статью высокомерным: «... впрочем, может быть, нужно еще объяснить кому-нибудь», В. Вейдле после подробнейших и обстоятельных объяснений, на протяжении целого печатного листа, кончает ее гораздо менее уверенно:

«... Быть может, это теперь яснее, хотя именно потому, что это правда, это так трудно объяснить, именно потому, что мы все так близки к нему, нам трудно его показать друг другу...»

Короче говоря:

— Поверьте, господа на честное слово.

И кому, в самом деле, все это понадобилось? Меньше всего, конечно, самому поэту. Ходасевич не заменит нам Блока, «нашим» поэтом не станет. Но поэзия его была и останется образцом ума, мастерства, редким и замечательным явлением в русской литературе.

Георгий Иванов

Редко когда эффект уничтожающей статьи бывал таким полным.

Георгий Иванов попал в самое уязвимое место поэзии Ходасевича: «Блоком» нужно родиться, «Ходасевичем», хотя это и очень трудно, можно стать. Даже и сейчас, перечитывая статью Георгия Иванова, нельзя не согласиться с его аргументацией. Георгий Иванов сказал как раз то, что думали тогда многие, читая некоторые восторженные статьи о поэзии Ходасевича.

Не буду утверждать, что эта статья стала прямой причиной «молчания» Ходасевича, — он и раньше мучился невозможностью найти выход из того тупика, в который зашла его поэзия,

слишком изысканно-скептическая, отрицающая смысл земного существования, лишенная любви, насыщенная презрением к обывателю[3], но каплей, упавшей в переполненную до краев чашу, она, конечно, явилась.

Ходасевич был глубоко потрясен, обижен, оскорблен и открыто упрекал редакцию «Последних новостей» в том, что она могла напечатать такую статью о нем.

Друзья Ходасевича, молодые поэты, составлявшие идеологически дружественную группу «Перекресток», стали на сторону Ходасевича, тогда как другая — и более многочисленная — группа «молодых» поддерживала Георгия Иванова.

Споры на Монпарнасе не раз грозили перейти в открытое столкновение.

«Числа», орган младшего поколения, редактируемый Николаем Оцупом, стали опорной точкой для оппозиции идеологической линии Ходасевича, а он в «Возрождении», не раз едко нападал на «Числа», не имевшие, по его мнению, определенного направления:

— «Числа» верят в то, что со временем идеология у них сама собой возникнет. Это все равно, что варить в котле воду, в надежде, что когда-нибудь в ней окажется курица.

Во втором номере «Чисел», по поводу двадцатилетнего юбилея литературной деятельности Ходасевича, отпразднованного в Париже, появилась весьма ироническая и острая статья, с обзором поэтической и жизненной карьеры В. Ходасевича, подписанная «Е. Клементьев». Нечего и говорить, что автором этой статьи был Георгий Иванов, а этот псевдоним он взял наудачу — первое пришедшее ему на ум имя.

Но в Варшаве, неожиданно, оказался настоящий Клементьев, притом — Евгений, старый и мало известный литератор, который не замедлил открыто заявить протест, и объяснение с ним доставило немало хлопот редакции «Чисел».

Д. Мережковский и З. Гиппиус с самого начала «Чисел» очень им симпатизировали. Вскоре от их добрых отношений с Ходасевичем не осталось и следа, а о своей статье о Ходасевиче Мережковский никогда больше не вспоминал в разговоре с посетителями своих «воскресений».

Все ждали — и даже предупреждали Георгия Иванова, что теперь уж Ходасевич «выживет его (и заодно его жену И. Одоевцеву) из литературы», «не даст им ходу», «погубит в конец», —

но никакой литературной репрессии со стороны Ходасевича не последовало.<...>

Зато о «парижанах» и «Монпарнасе» (а под это понятие, за исключением его любимцев, во главе со Смоленским, подпадали почти все) Ходасевич не раз высказывался в «Возрождении» как об упадочниках и снобах. Эти нападки он продолжал и после примирения с Георгием Ивановым.

— Алкоголь, наркотики, нездоровая атмосфера Монпарнаса,— говорил он,— губят их и вряд ли можно чего-нибудь ждать от них действительно ценного. <...>

В 1931 году вышла книга стихов Георгия Иванова «Розы», лучшее из всех его тогдашних книг, которая в поэтических кругах эмиграции стала настоящим событием. Меня эта книга настолько очаровала, что я совсем потерял способность считаться с реальностью.

Мой опыт литературной «тактики» в те годы, впрочем, был невелик, и я сохранил еще несколько наивное отношение к тому, что называется «независимостью суждений». И вот на большом вечере в «Союзе молодых поэтов и писателей» я прочел доклад о «Розах» Георгия Иванова, доклад восторженный, хвалебный, опрометчивый! На этом вечере, собравшем очень много публики, были все сторонники Георгия Иванова, ожидавшие, что я разнесу «Розу» в отместку за Ходасевича.

Присутствовали и все «перекресточники» — они были возмущены «изменой». В результате, в один какой-нибудь час, я потерял прежних союзников, а новых тоже не приобрел, не сделав потом никакой попытки сблизиться с Георгием Ивановым и с его партией.

Преступление мое осложнилось еще тем, что присутствующий на вечере М. О. Цетлин, которому очень понравился мой доклад, предложил поместить его, в сокращенном виде, в «Современных записках», что и было сделано.

Отношения мои с В. Ходасевичем испортились навсегда.

Позже, уже после примирения с Георгием Ивановым, когда вышла моя вторая книга стихов «Бессонница», я подвергся «репрессии» весьма придирчивой, но об этой истории (так как эта «репрессия» тоже имела свою историю), чтобы не отвлекаться в сторону, расскажу в другой раз. Расскажу и о столкновении Н. Оцупа с В. Ходасевичем, едва не кончившемся трагически, тоже — отражении этой печальной «войны».

Время шло. Оба лагеря оставались на своих позициях.

В марте 1933 года, вследствие внутренних несогласий, раскололся прежний «Перекресток», из которого вышла часть членов, а «провинциальная» пресса стала довольно бесцеремонно вмешиваться в «парижские» споры.

В 1934 году председателем «Союза молодых поэтов и писателей» в Париже был избран Юрий Фельзен, принципиальный противник всяких литературных споров и разъединения, не лишенный к тому же дипломатических способностей. Он решил помирить В. Ходасевича с Георгием Ивановым.

В моем архиве сохранилась вырезка из газеты «Последние новости», помеченная «1934 год»:

Памяти Андрея Белого

3-го февраля в Малом зале Сосьетэ Савант (8, рю Дантон, метро Одеон) литературная группа «Перекресток» устраивает вечер памяти, посвященный памяти Андрея Белого, по следующей программе: 1) В. Ф. Ходасевич: Черты из жизни Андрея Белого (Детство и юность. Нина Петровская. Брюсов. Несостоявшаяся дуэль. Неудачная любовь. Петербургские встречи. Занятия ритмом. Революция. Опять Петербург. «Первое свидание» Берлин). 2) Стихи Белого в чтении Н. Н. Берберовой и В. А. Смоленского. Начало в 8 час. 30 м.

Под этим объявлением о вечере памяти Андрея Белого приписка:

На вечере, во время перерыва, Ходасевич подошел к Иванову и помирился с ним (к общему неудовольствию «Наполи»[4]).

[1] Рассказано в 1953 году Георгием Ивановым, подтверждено Ириной Одоевцевой в 1965 г.

[2] Кн. Д. Святополк-Мирский (прим. сост.).

[3] Подробно о творческой трагедии В. Ходасевича — «Встречи», том первый, изд. Имени Чехова, 1953.

[4] «Napoli» — кафе на Монпарнасе, где в тридцатых годах была штаб-квартира русских молодых поэтов и писателей.

Юрий Иваск

ЮРИЙ ТЕРАПИАНО*

Юрий Терапиано, как и некоторые другие эмигрантские поэты, Владимир Смоленский или Николай Туроверов, участвовал в Добровольческой армии. Не был он фанатичным националистом, вообще политикой не занимался, но был верным рыцарем России и утверждал (вместе с Мережковским): мы не в изгнании, а в послании. В стихах он вспоминал не о победах или поражениях Белой армии, а о страданиях и просветлении в военном госпитале:

Раненый, в Ростове, в час бессонный,
На больничной койке, в смертный час,
Тихий, лучший, светлый, примиренный,
До рассвета не смыкая глаз,
Я лежал. Звезда в окне светила.
И сквозь бред, постель оправить мне,
Женщина чужая приходила,
Ложечкой звенела в тишине.

Многие читатели запомнили эту *ложечку*, и слышится в ее звоне милосердие, утешение, надежда.

Ему иногда трудно жилось в Париже, где он провел лет около шестидесяти. Он во Франции не акклиматизировался, но не так уж страдал от ностальгии. Чудились ему в Париже тени поэтов — Верлена, Рембо или Леконта де Лиля, и он посвящал им стихи. А в юности нравилось ему щеголять парижанином:

Я люблю по-парижски закутавши шею
Черным в крапинках шарфом без цели идти...

В мирном, населенном детьми Люксембургском саду, неожиданно посетило его видение конца мира: он увидел, как «над часами каменной башни» опустился Архангел Божий... И: «время

* Статья Ю. Иваска печатается по тексту «Нового журнала». Нью-Йорк, 1981. № 144.

остановилось». Ту же вневременность (вечность) он ощутил в позднейших — как бы прощальных стихах:

И как будто время стало
Занавесочкой такой,
Что легко ее устало
Отвести одной рукой.

Тема смерти господствовала в стихах многих парижских поэтов 30-х гг., и иногда даже казалось, что они кокетничали пессимизмом... Терапиано никогда не забывал о «мементо мори», но сохранял спокойствие мудреца, принимающего и жизнь и смерть, как его любимые герои Гомера.

Ему удавались прерывистые «дольники» (паузники), но вообще он чуждался всякого экспериментирования в поэзии. Его можно назвать неоакмеистом. Но близок он не столько Гумилеву, сколько Мандельштаму с его антично-классическими реминисценциями. Не было у него надтреснутости т. н. «младших акмеистов», принимавших участие в гумилевском Цехе поэтов, но в эмиграции очень далеко отошедших от акмеизма: он не знал метаний Георгия Иванова между музыкой бытия и бытовым цинизмом, вызванным отчаянием. Редко звучал он в Парижской ноте Георгия Адамовича, призывавшего писать скромно, тихо, бедно, почти прозаически, не обольщаясь ни метафорами, ни мифологией. Терапиано тоже писал просто, обходясь без речевых орнаментов, но Навзикая, играющая в мяч, оставалась ему близкой и в современном Париже.

Позиция Юрия Терапиано в эмигрантской поэзии была *средней*: не любил он крайностей — ни авангардных, ни романтических и был чужд модного в 30-х гг. пессимизма. Он предпочитал *золотую середину*. Был всегда уравновешен в поэзии, но не холоден, не равнодушен к современному миру, к человеку. Есть во многих его стихах сердечность, нежность, хотя бы в его «Ласточке» (посвященной Аглаиде Шиманской):

Стань мне подругой вечернего света,
Нежной сестрой в небесах у Создателя.

Ю. К. Терапиано издал шесть сборников стихов: «Лучший звук» (1926), «Бессонница» (1935), «На ветру» (1938), «Стран-

ствие земное» (1950), «Избранные стихи» (1963), «Паруса» (1965). Были изданы его книги «Путешествие в неизведанный край» (1946), «Встречи» (воспоминания и статьи, 1953), книга о маздеизме, и под его редакцией — антология «Муза Диаспоры» (1960). Он сотрудничал во многих эмигрантских журналах (в «Современных записках», «Числах», «Новом журнале» и др.), а также в газетах. В продолжение многих лет Терапиано писал отзывы о книгах и больше всего о сборниках стихов в «Русской мысли». Пожалуй, можно его упрекнуть в некоторой чрезмерной снисходительности к слабым стихотворцам: он не любил кого бы то ни было хулить, обижать. Но, несомненно, многое верно угадал в поэзии значительных поэтов, будь то Георгий Иванов, Ирина Одоевцева или Игорь Чиннов.

Юрий Константинович Терапиано род. 9 (21) янв. 1892 г. в Керчи, где окончил классическую гимназию, а в 1916 г. юридический факультет Киевского университета Св. Владимира. В 1917 г. воевал на Юго-западном фронте, а в конце лета 1919 г. добровольно вступил в Белую армию. Поселившись в Париже, Терапиано, вместе с Д. Кнутом, А. Ладинским, В. Мамченко, В. Андреевым организовал Союз молодых писателей и поэтов. Он скончался 3-го июля 1980 г. под Парижем, в Ганьи. Отпевание состоялось в православной церкви Русского дома.

Я много раз встречал Ю. К. в разных парижских кафе и ресторанах. Говорили, конечно, о поэзии, но и о литературном быте. У меня сохранились десятки его писем — это целая хроника литературных событий лет за 20. Был он среднего роста, плотный, и казался здоровым, хотя давно уже, после сложной и серьезной операции, должен был соблюдать строгую диету. Киевлянин — был он по-петербуржски подтянут, несколько сдержан и неизменно доброжелателен.

Лучший венок на его могилу — поэта-мастера и верного друга — эти стихи Игоря Чиннова:

Памяти Юрия Терапиано

По утрам читаю Гомера
И взлетает мяч Навзикаи.
Ю. Т.

В кафе «У Денизы» нас было трое:
Ирина Одоевцева, Вы и я.

И Вы читали стихи о Трое
И что не будет небытия.

Я плохо помню строфу о Гомере.
Был вечер, Париж, бульвар Распай.
И я завидовал Вашей вере,
Что души бессмертны, есть Бог и рай.

Уже полгода, как нет Вас на свете.
Есть то кафе, каштан, Монпарнас.
Афина в шлеме на древней монете,
Мной привезенной, бессмертней Вас?

Я в Греции был. Я не видел Трои.
Не мчался на битву Алкивиад.
Не Одиссей валялся на зное
У опрокинутых колоннад.

Но... мир Одиссеи, мир Илиады...
Солнечный диск метал дискобол.
Рыжебагряный лист винограда
Трогал, играя, ветер Эол.

Над горным обрывом мелькнула серна,
В долине шли овцы и пастухи...
Это голос Ваш, глуховато, мерно
Скандирует греческие стихи?

... Над Люксембургским садом сияя,
Как над Акрополем, как тогда
Круглится месяц. Нет — мяч Навзикаи!
А души — бессмертны. Бессмертны, да?

Юрий Иваск

ПИСЬМО И. ЧИННОВУ

18.3.1981

ДОСИФЕЙ[1],

Вот в полутра накатал некролог о ЮКТ<Терапиано>

Прилагаю. Не туда сунул твои стихи, ему посвященные. Хотел бы процитировать. Спешно пришли и мою статью, и лирическую — прекрасную — эпитафию. Айнц-цвай-драй. В ВОЗРАЖЕНИЯХ[2] Валерию ничего менять или добавлять не хочу.

Все возражения всегда скучны, а я написал НЕСКУШНА. Оцени.

С ЮКТ и ИВО<Одоевцевой> мне всегда было приятно встречаться. Я кормил их, скромно на Монпарнасе и в «РАХМАНИНОВЕ».

По существу, о поэзии, с ними не беседовал, но наслаждался сплетнями. ЮК был моим агентом в Париже (1955–1975), и его теперь заменил Бахрах.

ЮК написал поносную статью о моей антологии[3] в РМ, но так и должно быть, пч не ему дали составление этого сборника. В 58 году и позднее, в Париже, ЮК и ОДОЯ ухаживали и за мной, и за Тамарой[4], пч «американцы» вошли в силу... И это естественно. ЮК неплохо отзывался о моих виршах, хотя они, конечно, были ему чужды, как и Адамовичу. Стал я ИХ, а они НАШИ.

ЮК не был де ля мезон у ГВА[5].

Его популяризация поэзии была полезной.

Шиманская — где-то видел. Показалась мне симпатичной и несчастной. Аглаида любила Юрия — и это свято. Я упомянул о ней — ЛАСТОЧКЕ. <...>

Вот выделил белогвардейство Ю. К. и православное отпевание. Значит не был он маздеистом. Ко всяким тайнам мира — об Атлантиде, о континенте Мая относился весьма скептически.

Маздеизм готов простить, если «персияне» его как-то поддерживали, но едва ли это было. Вероятно, они настолько же скупы, как и вольные каменщики.<...>

[1] Иногда Ю. Иваск так обращался в письмах к И. Чиннову. Досифей — монах-схимник с Афона.

[2] Статья Ю. Иваска «О рецензии Перелешина на "Антитезу" Чиннова» (журнал «Русский язык». 1982. № 123–124), где Иваск спорит с Перелешиным, защищая Чиннова.

[3] Антология «На Западе» (Нью-Йорк, 1953). Составитель Ю. Иваск.

[4] Жена Ю. Иваска, урожденная Межак.

[5] «Де ля мезон» — так Г. В. Адамович характеризовал людей высшего круга, которые, по его мнению, могли быть причислены к петербургской элите.

РАХИЛЬ ЧЕКВЕР

Рахиль Самойловна Чеквер (поэтический псевдоним Ирина Яссен) — журналист, издатель, поэт — родилась в 1893 году на Украине. Училась в Петербурге. В 1923 году эмигрировала в США, где и прожила всю жизнь. Первый сборник стихов вышел в 1944 году. Потом появились еще три и один — посмертно. Но главное, за что ценили Р. Чеквер в эмигрантских литературных кругах, были не ее поэтические успехи, весьма скромные,— И. Чиннов вспоминал, что они с С. Маковским доделывали ее стихи, чтобы их можно было напечатать,— а ее меценатская деятельность. В 1950 году в Париже Р. С. Чеквер создала издательство «Рифма», выпускающее поэтические сборники русских парижан, и в течение семи лет, вплоть до своей смерти, поддерживала его существование — «она давала по 200 долларов на книгу»,— вспоминал Игорь Чиннов. Невозможно себе представить жизнь русского Парижа пятидесятых годов без «Рифмы». Благодаря этому издательству многие эмигрантские поэты получили возможность выпустить свои книги. Всего (издательство несколько лет существовало и после смерти Р. С. Чеквер) там вышло около 30 сборников. В том числе и первая книга стихов И. Чиннова «Монолог». Редактором издательства был С. К. Маковский. О создании «Рифмы» рассказывает К. Померанцев в своем очерке о Маковском (см. соответствующий раздел). Помогала Р. Чеквер и бедствующим в послевоенном Париже русским поэтам. В письме за март 1950 года И. Чиннов писал своему другу Ю. Иваску, жившему в США: «Только что получил письмо, очень ласковое, от Р. С. Чеквер и 5 долларов. Испытал к ней прилив благодарности. Деньги в особенности кстати потому, что уроки в гимназии кончились: директор меня выжил за "левизну" (!!). Жаль — все-таки 1200 fr. в месяц оплачивали прачку и, частично, разъезды. И с учениками были хорошие отношения, выказывали мне свою симпатию. <...> Порадуйте Чеквер, скажите ей, что у нее в стихах

есть "что", и это очень важно, не менее чем "как", есть тема; и что стихи ее "добрые" (это все правда!). Скажите, что согласны с моим мнением о ней. Я отмечал, что стихи у нее искренние, без позы, без вульгарности, без фальши — это уже важно. Многие ее стихи мне милы. Она добрый, простой, естественный человек, и это очень освещает все, что она пишет. И как благородно она себя вела в отношении серии: выходит едва ли не последней, не хочет, чтобы о ней упоминали как о финансисте этого дела — это все трогательно. Послала деньги, и полгода терпеливо ждет выхода первой книжки. И ей вовсе не так легко эти деньги давать — муж на это средств не отпускает. Вы правы, когда пишете, что таких людей надо ценить: доброта — это реже и важнее всего другого». Однажды И. Чиннов еще раз получил от нее такой же денежный перевод. В письмах она убеждала его оставить нищий Париж, перебираться в США и на первых порах остановиться у них. Из многих ее писем Чиннову сохранилось одно, которое ниже публикуем. После смерти Р. Чеквер издательство продолжало существовать, но деньги на издание книг приходилось каждый раз находить — или новому директору издательства С. Ю. Прегель, или самому автору готовившейся к печати книги. Выпустить поэтическую книгу под маркой «Рифмы» считалось весьма почетно. Хотела того Р. С. Чеквер или нет, но она вошла в историю эмигрантской литературы главным образом как видный парижский издатель. Поэт «Ирина Яссен» безнадежно затерялась в тени Рахили Самойловны Чеквер. Умерла Р. С. Чеквер 28 ноября 1957 года в Нью-Йорке.*

В Париже, на вечере, посвященном памяти Р. С. Чеквер, София Прегель читала найденные среди бумаг Р. Чеквер записи, сделанные за два месяца до смерти. Ю. Терапиано после вечера писал И. Чиннову в Мюнхен, что записи Рахили Самойловны всех поразили (см. его письмо от 20 мая 1958 года). Тогда И. В. Чиннов обратился ко Льву Иосифовичу Чекверу, мужу Р. Чеквер, с соболезнованиями и просьбой прислать написанное Р. Чеквер. Ответное письмо Л. И. Чеквера и записи Р. С. Чеквер мы публикуем ниже.

---

* Речь идет о книге Ирины Яссен «Лазурное око», вышедшей в серии поэтических сборников издательства «Рифма» за 1950 год.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

18 января 1952

Дорогой Игорь Владимирович,

Иваски были в N.Y. и зашли меня повидать. Я спросила его об альманахе, и он мне сказал, что никакого альманаха не будет, но что предполагается печатание антологии[1]. Пользуюсь случаем, чтобы ответить на Ваше замечание об Иваске: 1. Не из-за меня только его книга была отложена[2]. Задолго до моего письма Сергей Константинович <Маковский> мне писал, что его стихи слабые и что придется их отложить на неопределенное время. Выходит, что Вы меня не знаете: никакие личные мотивы не могли бы играть роли, если бы эта книга была действительно принята и вполне одобрена Сергеем Константиновичем. Но потом вышло так, что Иваск действительно поступил плохо — написал рецензию, совершенно не упомянув о «Рифме», как будто ее и не было. Напрасно Вы легкомысленно говорите, что он не хотел льстить. Здесь дело совсем не в лести, а в ответственном и добросовестном отношении к делу. Он вовсе не обязан был писать о «Рифме», но если уж писал, то следовало написать иначе. Обо мне, например, он написал несколько хороших слов[3], но этот небрежный тон был мне неприятен, и я «завидовала» Терапиано, о котором он не сказал ни слова.

<Не сохранилось несколько слов> мне сказал, что получил от <слово не сохранилось> письмо, что с Вашим приездом обстоит неблагополучно. Но в открытке ко мне Ваш тон спокоен. Хотелось бы знать, как обстоит дело, так как мы с С. Ю. <Прегель> часто говорим о Вас и уверены, что Вы в Америке сравнительно легко устроитесь. То же говорил Иваск С. Ю.: «Только бы он поскорее приехал, а уж он быстро устроится здесь». Оплата за лекции[4] смехотворна — 500 фр. — это меньше полутора долларов по нынешнему курсу. Пишете ли Вы новые стихи? Я пишу много. Выйдет ли из количества — качество? Возможно. Пишите о себе. Шлю сердечный привет. Ваша Р. Чеквер.

Пять миниатюрных снимков прилагаю для Вашего удовольствия[5].

[1] В 1953 году в «Издательстве имени Чехова» (Нью-Йорк) вышла антология русской зарубежной поэзии «На Западе», со-

ставленная Ю. П. Иваском. Там среди прочего напечатаны и два стихотворения Ирины Яссен, приведенные ниже. В одном из писем Ю. Иваск писал И. Чиннову, что помещает стихи Яссен, руководствуясь выбором Чиннова.

[2] Книга стихов Юрия Иваска «Царская осень» все же вышла в издательстве «Рифма», но в 1953 году.

[3] В письме от 27 февраля 1951 года Ю. Иваск отвечает И. Чиннову на замечания Чиннова по поводу рукописи будущей рецензии Ю. Иваска: «О Яссен еще прибавил, что третья книга лучше первых двух: это, вроде, можно сказать. Должна быть и этому рада. За меценатство ей monumentum, но не за стихи». Рецензия Ю. Иваска «Новые сборники стихов (А. Штейгер "Дважды два четыре", И. Чиннов "Монолог" и др.)» вышла в «Новом журнале» (1951. № 25). Сборники вышли в издательстве «Рифма». Позже, в 27 номере журнала, Ю. Иваск напечатал рецензию и на некоторые другие сборники издательства: «Новые сборники стихов (Н. Оцуп, Ю. Терапиано, Е. Щербаков)». К моменту написания письма Р. Чеквер еще не видела этого последнего за 1951 год номера.

[4] В Париже И. Чиннов читал публичные лекции по русской литературе.

[5] Снимки не сохранились.

Лев Чеквер

ПИСЬМО И. ЧИННОВУ

Сентябрь, 20, 1958

Дорогой Игорь.......(?)

Спасибо за письмо. Прошу извинить мне за невнимание[1]. Это несколько объясняется настроением, с которым я вернулся сюда после моей злополучной поездки в Советскую Россию.

Я имею в виду те тяжелые впечатления, которые я вынес оттуда.

Конечно, Вы передо мной ни в чем не провинились. Если я не заехал в Мюнхен или в Нюрнберг, то это было просто потому, что мне еще трудно принять Германию[2], и я во всех своих

путешествиях избегал эту страну и народ. Я об этом писал также Трубецкому. Авось, я это пересилю в себе в будущем.

Я с удовольствием выполняю Вашу просьбу и включаю при сем копию предсмертной записки Р. С-ны. У меня нет пишущей машинки. Пришлось переписать рукой. Как видно по дате — это было написано за 10 недель перед смертью, когда ей стало известно, что она будет оперирована, и конечно, она догадывалась о серьезности этой операции.

Для меня сейчас наступили тяжелые дни. Скоро будет открытие памятника (12-го октября). Приближается также боль годовщины ее ухода.

Грусть и печаль овладевают мной при мысли, что ее нет. Приходится жить образом и воспоминаниями. А образ этот выступает совсем по-иному, когда смотришь с высоты и расстояния.

Жду с нетерпением выхода последнего сборника ее стихов[3].

Позвольте мне Вас уверить в полной своей признательности к Вам и глубоком уважении. Преданный Вам Л. И. Ч.

[1] Так в тексте письма.

[2] Из-за отношения к евреям фашистов во время войны.

[3] Сборник «Последние стихи» (Париж: «Рифма», 1959).

Рахиль Чеквер

<1957> 12 сентября 3 часа ночи

Проснулась ночью, сижу в постели и думаю о том, что скоро должна буду уйти из жизни. Страх парализовал меня, когда я услышала слова врача... Теперь страха нет. Только вопрос, сколько это продолжится, и через какие муки придется пройти прежде, чем упадет занавес.

Жизнь я любила горячо, нежно, но к себе относилась без любви, всегда казалось, что не сделала чего-то главного. Что такое жизнь? Грандиозный, потрясающий спектакль, по ходу действия которого умирают маленькие люди. Тут и любовь, которая иногда может быть всесильной, и Красота. Та, что от Бога, и та, что создана смертными. Должно быть, я слишком любила все пре-

красное, и душа моя не могла примириться с собственными своими «ограничениями».

Да, я все еще не знаю, для чего мы существуем. У меня всегда была тяга к самоуничижению (саморазрушению?), я часто терзалась навязчивым: есть ли что-нибудь там, за порогом смерти. Мысль о смерти пугала меня и отталкивала. Но и жизнь пугала меня и отталкивала. Но и жизнь я не могла принимать легко, не умела давать себе передышку — много спрашивала с себя и с других. Думаю сейчас о тех, кто посвятил себя служению идее и восхищаюсь всеми, кто не мигая смотрит смерти в глаза.

Семь часов утра

Перед лицом смерти человек познает глубинный смысл одиночества. Все как-то уходит в туман... Что представляет собой жизнь для миллионов обездоленных? Стоит ли она человеческих усилий? Люди религиозные смотрят на нее, как на переход в иной мир, и это примиряет их с долиной плача. Но я никогда не понимала, как Бог может принять человеческое страдание, и потому не чувствовала его присутствия.

Бедная мышь, пойманная Великим Истребителем — это я, да, это я!

Была ли моя жизнь бесполезна, бессмысленна? Бессмысленно ли каждое человеческое существование? Куда ведет оно?

Толстой не верил в смерть. Он говорил: Любовь есть Бог. Я знаю Любовь. Она была для меня постоянным устремлением к недостижимому. Только Любовь может сражаться с силами зла, со страхами, которые нас осаждают... Но свершить ей дано не много. И что она — только легкая искра, промелькнувшая в кромешной тьме...

Ирина Яссен

СТИХИ

* * *

Так вот оно счастье, нежданное счастье,
Другим незаметное, близкое мне:

Уйти от обиды, не встретить участья,
Забыть малодушье неверных друзей,
И быть одиноким и быть беспристрастным,
Следя за полетом волнующих дней.

Из антологии «На Западе». Нью-Йорк, 1953

* * *

И снова день встает из тьмы,
Но даже тьма здесь не тревожна,
И нет следа седой зимы —
Лишь светлая улыбка Божья.

Под тенью пальм слежу за тем,
Как море нежится, сияя,
И, убаюканная всем,
Живу, часов не соблюдая.

Не наши грустные поля,
Не наше сумрачное горе:
Здесь дышит щедростью земля
На очарованном просторе.

Из антологии «На Западе». Нью-Йорк, 1953

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ

София Юльевна Прегель — поэт, издатель — родилась в 1904 году в Одессе. В эмиграции с 1922 года. Были Берлин, затем Париж, где она выпустила три книги стихов. В годы войны С. Прегель переезжает в Нью-Йорк и с 1942 года начинает издавать там, вместе с М. Слонимом журнал «Новоселье», который продолжает издавать и после возвращения в Париж. Журнал выходил восемь лет. После смерти владелицы парижского издательства «Рифма» Р. Чеквер Прегель становится директором «Рифмы».

Одоевцева вспоминает в статье, посвященной памяти С. Прегель («Русская мысль» от 21 сентября 1972 г.), что Адамович называл Прегель «директрисой эмигрантской литературы»: «София Юльевна должна была бы здороваться, как скаут, левой рукой, — говорил Адамович смеясь, — правая у нее всегда наготове для помощи. Она без устали помогает, хотя люди так неблагодарны, — и прибавлял уже серьезно — но она и не требует благодарности. Она делает добро из добра». «Ее запрашивали по всевозможным вопросам, — продолжает Одоевцева, — обращались к ней с просьбами "навести справки", составить протекцию у редактора, выслать нужную труднонаходимую книгу, устроить встречу с советским писателем. Она все точно и охотно исполняла. Не было ни одного более или менее крупного писателя или общественного деятеля, с которым она не была бы так или иначе в контакте».

После войны у Прегель вышло еще четыре книги стихов и мемуары «Мое детство». Умерла С. Ю. Прегель в 1972 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

10 апреля 1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович,
Простите, что пишу Вам с некоторым опозданием, но мне не

7 марта 1960 г.

Дорогой Игорь Владимирович,
предлагаем следующий выход из положения:
Вы печатаете книгу под маркой „Рифма", а Лев Иосифович вернет Вам деньги, когда будет в Европе (приблизительно, в конце марта).
Лев Иосифович согласен покрыть половину расходов по изданию книги в 3 печатных листа.
В данный момент мы не можем обещать нашу кассу, поэтому предлагаем Вам такое решение вопроса.
Если оно Вас устраивает, пошлю Вам последние книги „Рифмы" и Вы ознакомитесь с новой маркой издательства.
Набросаю, примерно, так!

РИФМА 1960
Издательство имени Ирины Яссен

Простите, что пишу кратко и по-деловому, но все хочется „будущего"?..
Жду ответа
Дружески Ваша
Софья Прегель
P.S. О стихах в след. раз.

Письмо С. Прегель к И. Чиннову от 7 марта 1960 года

хотелось ограничиваться письмом после получения книги[1]: слишком ценю и высоко ставлю Ваши стихи! А я была погружена в самые тяжелые перспективы в связи со смертью П. Н. Туниной. Пока только один раз прочла Вашу книгу, второе чтение откладываю на потом...

Но и теперь я вижу, что отметила тогда все ваши стихи. В каждом столько trouvailles[2], что просто удивляешься — «Кровать плывет, куда хочу — по блеску крыш, как по ручью» — и такие находки в каждом стихотворении! Вы один из немногих, а может быть, и единственный, кто видит «лилии долины под нежно-солнечным дождем».

Но не только «сияющие пустяки», а человеческую нашу неприкаянность, неустройство всех «Иван Иванычей» почувствовали Вы, как истинный поэт. В этом современность! никогда еще человек не был так одинок, как в век «думающих машин»...

У Вас все время борьба: Вы хотите уйти от «мирового безобразия», но оно неотступно следует за Вами. И сквозь «нежную празелень ночи» видна другая — бесконечная ночь. Много в Ваших стихах музыки, лунной легкости, звездного света. Понемногу привыкаю к названию и радуюсь, что Вы издали эту книгу!

От души Вас поздравляю Ваша С. Прегель.

P. S. Оформление выше всяких похвал!

[1] Книга стихов И. Чиннова «Линии» (Париж: «Рифма», 1960).

[2] Находки (*фр.*).

11.1.1971 г. Париж

Дорогой Игорь Владимирович,

От души благодарю Вас за «Партитуру»! Из-за неправильного адреса она долго путешествовала и наконец-то чудом попала ко мне!

Начну с конца. Мне очень понравилось оформление Вашей книги, давно не было такого... Теперь перейду к стихам и тому, как я их восприняла.

Говорить о качестве Ваших стихов, о Вашем уменье — даже смешно. Тут Вы выше всяких похвал! Но меня больше всего по-

ражает не бесконечное количество «находок», а стройность книги, ее исключительная продуманность.

Новаторство (почти всегда неоправданное) у Вас всегда оправдано глубоким трагизмом Ваших стихов. Есть среди них и стихи пленительные. Например, «Как это солнцу спокойно сияется», «Душа становится далеким русским полем» и даже «Казалось становится небо» и «Задуматься, забыться, замечтаться»... В стихах «В долине плача» — весь Ремизов с его «пиши-пропало». Чудесно стихотворение, посвященное А. Присмановой, особенно его начало. И как хорошо звучит у Вас «прекрасное слово печаль». Никто так не писал о печали и о смерти, «недостоверной, как легенда»... Желаю Вашей «Партитуре», дорогой Игорь Владимирович, очень большого и трижды заслуженного успеха! Еще раз благодарю Вас за подарок. Ваша Софья Прегель[1].

[1] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 9 писем С. Ю. Прегель.

София Прегель

СТИХИ

* * *

Стало на улицах дымно и пусто,
Не зажгли еще свет за окном.
Продавала торговка капусту
В потемневшем ведре жестяном.

Талый лед под перилами булькал,
На мостах вырастали горбы.
На ходу обломала сосульку
У кривой водосточной трубы.

Тонкий лед не мгновенно растаял,
Но на жаркой ладони размяк.

Был закат, голубиная стая,
На извозчике в складку армяк.

Старый пудель на лапах ученых,
Запах дыма, что так домовит,
И скрипенье ворот огорченных
И такое желанье в крови
Все иметь: от великой любви
До желтеющих яблок моченых.

Из антологии «На Западе». Нью-Йорк, 1953

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ

Анатолий Евгеньевич Величковский — поэт, писатель — родился в 1901 году в Варшаве. Детство его прошло на Украине, в имении отца, и на Волге. Отец был преподавателем в юнкерском училище, и в семнадцать лет А. Величковский уже участвовал в боях, вступив в ряды Белой армии. Эмигрировал. В 1920 году оказался в Польше, затем во Франции, работал на заводе, потом ночным шофером такси. Во время войны переселился в Париж, где и прожил всю жизнь. Первый сборник стихов «Лицом к лицу» вышел в 1952 году в парижском издательстве «Рифма». Потом появились еще два сборника и третий — посмертно. Стихи Величковского печатались во многих эмигрантских изданиях. Есть у него и проза. Например, рассказ о работе шофера такси «Голубое пэжо» («Возрождение». 1953. № 26). А его повесть «Богатый» появилась в 1972 году отдельной книгой. Вскоре после смерти Величковского в письме И. Чиннову от 10 марта 1981 года Ю. Иваск писал: «Герра свез меня к умирающему Анатолию Величковскому. Пятый этаж без лифта. Эмигрантская полунищета. На одре величественный старец, напомнивший мне самого короля Лира. Добрая несчастная жена... конечно, хвалил его, а он отвечал неясно: задыхался. У него за последние годы было немало острых и скорее атеистических строчек. А некролога не пишут...» Третий, посмертный, сборник стихов Величковского «Неукротимый свет» (Париж, 1981) вышел с предисловием Ю. Иваска, где есть такие строки:

«Анатолия Величковского можно назвать парижским поэтом не потому, что он долго жил в Париже. Он русский парижанин — по своей близости к другим, уже почти вымершим русским поэтам-парижанам. Кое-что сближает его поэзию с т.н. "парижской нотой", с поэтами из окружения Георгия Адамовича: простота в изложении, недоверие к риторике и к авангардным экспериментам. Величковского, несомненно, привлекал и Владислав Ходасевич — антипод Адамовича и его поклонников. ...

Я познакомился с Анатолием Величковским лет двадцать тому назад в Париже, но это была мимолетная встреча. Во второй и последний раз я видел его там же, осенью прошлого года. Меня привез к нему наш общий друг Р. Ю. Герра.

Крутая лестница. Тесное помещение под самой крышей. На широком диване, обложенный подушками — величественный старец, если не по летам, то по виду. Был он тогда уже сильно болен. Кого он напомнил? Короля Лира? Нет, скорее князя Меньшикова в сибирском Березове: уже не "счастья баловень", не "полудержавный властелин", а смирившийся изгнанник... Длинный нос, с горбинкой, высокий лоб, нависшие седые брови, густая грива... Внимательные умно-печальные глаза. В них тоска и будто вопрос: что нас ждет всех "там"? Тихий голос. Ему трудно говорить. Он задыхается... Было жаль Анатолия Евгеньевича, но и охватывало восхищение его тронутой морозом серебристой осенью...

Помнится, я говорил ему, и вполне искренно: "Как и многие другие поэты, писатели, вы, А. Е., в поэзии молодеете, растете! Вспомним Б. К. Зайцева, ведь он написал свой лучший рассказ «Река времен», когда ему было за восемьдесят! Так что не сдавайтесь, живите, пишите"». Но жить ему оставалось только несколько месяцев. Умер А. Е. Величковский в Париже в 1981 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

15/III 74

Дорогой Игорь Владимирович,

Очень Вам благодарен за доброе письмо. Для Вас жизнь в Париже была трудной, как и для почти всех. Мы до сих пор перебиваемся «из кулька в рогожку». Книга[1] моя никогда бы, конечно, не вышла, если бы не дал на ее издание теперь очень известный и даже славный художник Шаршун. Это он мне посоветовал и помог матерьяльно издать. (Правда взял с меня слово, что я об этом благодеянии буду молчать). Но уже все знают. Так что я не нарушаю слова. Но, правду сказать: есть, конечно, известное удовлетворение, но если бы я знал, как эта несчастная книжонка будет встречена, никогда бы ее не печатал. В Париже

~~SOFRELEC-ATRAS~~
~~PARIS · TEHERAN~~

Дорогой Игорь Владимирович. 15/III 74

Очень Вам благодарен за доброе письмо. Для Вас жизнь в Париже была трудной, как и для почти всех. Мы до сих пор перебиваемся „из кулака в роточек". Книга моя, которую Вы помните, и вышла, чем Я не дал на ее издание, теперь очень известный и даже слава-богу художник Шаршун. Это он мне посоветовал и помог материально издать. (Правда взял с меня слово, что я об этом благодеянии буду молчать) Но уже все знают. так что я не нарушаю данного слова. Но, правду сказать: есть конечно известное удовлетворение, но если бы я знал, как эта несчастная книженка будет ведома, тогда бы я ее не печатал. В Париже Éditeurs Réunis взял 10 кн. Дом книг. 10. и до сих пор не распродали. В Америке Камкин и Раузен взяли по 20 к. и ни слуху ни духу. Только Нейманис как-то продает и платит, но тоже мало продает. Не знаю, как Ваши сборники? идут? Вы ли нуждаетесь, уже один. Не буду, думаю, что Вы захотели похвастаться? Пусть так ругают другие, кто завидует Вам. Я наоборот очень рад тому, что Ваши стихи теперь стоят на самом высоком месте. Этого не признать не может никто. Отсюда быть может и зависть утрет свое что-то.

Крепко жму руку А. Величковский

Письмо А. Величковского к И. Чиннову от 15 марта 1974 года

Editeurs Reunis[2] взяли 10 кн. Дом Книги 10 кн. и до сих пор не распродали. В Америке Камкин и Раузен[3] взяли по 20 кн. — и ни слуху ни духу. Только Нейманис[4] кое-что распродает и платит, но тоже мало продает. Не знаю, как Ваши сборники? Идут? Вы бы прислали мне один. Не буду думать, что Вы захотели «похвастаться». Пусть так думают другие, кто завидует Вам. Я наоборот очень рад тому, что Ваши стихи теперь стоят на самом высоком месте. Этого не признать не может никто. Отсюда, быть может, и зависть делает свое дело.

Крепко жму руку. А. Величковский.

[1] Книга А. Величковского «С бору по сосенке». Вышла в 1974 г.

[2] Книжный магазин.

[3] Книжные магазины.

[4] А. Нейманис — владелец книжного магазина в Мюнхене.

Париж. 27/IV–76

Дорогой Игорь,

Спасибо за книгу. Тамаре[1] я пересылаю. Получил сначала для нее и удивился: как же так? Почему ей, а мне нет? Но на другой день получил и свою книгу. Стихи твои теперь мне нравятся больше, чем прежде. Не сразу я понял их пленительную прелесть. Легкость, прозрачность, чистота, гармония. Видна культура, которой, сказать по правде, у многих, в том числе и у меня, не хватает. Если в «Линиях» есть ивановское влияние, то в «Пасторалях» его уже и с огнем не сыскать. Мне очень нравится твое освобождение. Иванова, на мой взгляд, слишком прославили. Ведь если сказать по правде, он вырос из Ходасевича, ограничиваясь эмигрантским самоуничтожением. А если взять его, так называемую, музыкальность, то эта музыка примитивная, созданная на мотивы романсов Вяльцевой. Но зачарованность, конечно, могла быть. Петербургская нота в парижском преображении ограничена царскосельским парком так, словно за его оградой пустое место. Это у них у всех, из Петербурга. Мне хотелось еще тебе бы сказать, что напрасно ты так неприязненно относишься к Бунину. Неверные слухи о его поэзии распространили горожане петербуржцы со своим ограниченным понятием о

вселенной, кончающейся городскими парками. У Бунина есть то, что недоступно пониманию людей, выросших в городе. Меня даже поражает: как ты, так прекрасно чувствующий природу, не чувствуешь очарования бунинских стихов о ней. Правда в них есть, быть может, слишком много точности. Это не кривляка Есенин (хотя он и крестьянин), который заставляет цвести ромашки весной, и многое в этом роде. У тебя мне именно, главным образом, нравится такая же точность. По отношению к образам и делам Божественной красоты нерукотворного мира. Ты очень глубокий и умный поэт. Проникши в замысел твоих стихов, я получаю эстетическое удовольствие. Спасибо тебе за внимание.

Желаю тебе всего самого наилучшего. Твой друг Анатолий.

[1] Т. Величковская — поэт, невестка А. Величковского. Живя в Париже, И. Чиннов нередко бывал у нее в гостях, где регулярно собирались поэты и писатели.

Анатолий Величковский

СТИХИ

Военное время 41 года

Город истерзан, город расхристан.
Подхожу, неспеша, к знакомому дому,
Начал подниматься по лестнице.
Кто-то рассыпал везде солому,
Сквозь прорубь крыши — профиль месяца.
На стенах серые гнезда паучьи,
Летучие мыши в центре города.
Первой молодости разве не лучше
Выпала мне вторая молодость?

Из кн. «Нерукотворный свет». Париж, 1981

* * *

Солнце греет, пахнут липы медом.
Мы идем в толпе других прохожих.

Перед нами Сена, блещут воды,
Длинный мост мы переходим тоже.
Смотрим вниз на быстрое теченье:
Пароход плывет в Медон с народом,
Ходят волны, выступает пена
Золотым углом за пароходом.
Винт шумит, а пассажиры, сидя,
Пьют вино со льдом, считают сдачу.
Я с тобою часто это видел,
Много раз хотелось нам на дачу
Плыть на этом пароходе белом,
Пить вино со льдом и прохлаждаться,
Много раз нам этого хотелось,
Только как-то не пришлось дождаться.
В жизни мы — как в голубом сияньи
Все прекрасно, все цветет и блещет,
Но труднее даже подаянья
Достаются нам простые вещи.

Из кн. «Лицом к лицу». Париж, 1952

ПРО ДАДАШКУ

Меня, невольно, поражает
Невинных глаз прекрасный свет,
Но этого она не знает,
Тщеславья у Дадашки нет.
Когда, гуляя, мы встречаем
Людей, давно знакомых нам,
Она не очень доверяет
Улыбкам, ласке и словам.
И если я ее цепочку
Передаю кому-нибудь,
Она, как истинная дочка
Ко мне бросается на грудь,
Старается лизнуть мне руку,
В ее глазах мольба, упрек,
И даже выражает муку
Ее испуганный зрачок.

Когда, кончая шутку эту
Я поводок беру назад,
Весельем и восторгом светит
Ее собачий, чудный взгляд,
И хвостик куценький с помпоном
Виляет все быстрей, быстрей...
Жизнь по неписанным законам —
Была бы проще, веселей...

Из кн. «Нерукотворный свет». Париж, 1981

* * *

Моей России больше нет.
Россия может только сниться,
Как благотворный, тихий свет,
Который перестал струиться.
Советским людям будет жаль,
Навек исчезнувшего света,
Россия станет, как Грааль
Иль Атлантида для поэта...
Мы проиграли не войну,
Мы не сраженье проиграли,
А ту чудесную страну,
Что мы Россией называли.

Из кн. «Нерукотворный свет». Париж, 1981

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

Александр Васильевич Бахрах — критик, мемуарист — родился в 1902 году в Киеве. В 1920 году эмигрировал в Варшаву, затем в Берлин, где в 1922 году был секретарем «Клуба писателей», основанного высланными из России философами и писателями — Н. Бердяевым, С. Франком, Ф. Степуном и др. С 1923 года поселился в Париже. Там они с Чинновым и познакомились, когда Чиннов после войны оказался в Париже. Бахрах помог Чиннову при издании в 1950 году его первой книги «Монолог» — перепечатал рукопись на машинке. В 1950–1960-е годы жил в Мюнхене и работал на радиостанции «Свобода», где в это время работал и Чиннов. После отъезда Чиннова в США в 1962 году они двадцать лет поддерживали переписку. В начале 70-х годов Бахрах оставил службу на радиостанции и вернулся в Париж. Печатался во многих эмигрантских изданиях. Имел репутацию «блестящего парижанина», широко образованного, с изысканными манерами. Произвел сильное впечатление на М. И. Цветаеву, с которой познакомился заочно, в письмах (поводом послужила рецензия Бахраха на ее книгу «Ремесло», 1923). Письма М. Цветаевой к нему Бахрах частично опубликовал в «Мостах» (1960. № 5; 1961. № 6). Бахрах был дружен с И. А. Буниным. Во время войны четыре года жил в его доме. Издал книгу воспоминаний «Бунин в халате» (США, 1979). В «Русской мысли» постоянно печатались воссоздаваемые им литературные портреты современников из мемуарного цикла «По памяти, по записям», в 1980 году изданного в Париже отдельной книгой. О стихах Чиннова им написано несколько статей. А. В. Бахрах умер в 1985 году в Париже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Мюнхен, 28 мая 1964

Дорогой Йух,

Давно собирался черкнуть Вам несколько слов, но Адамович, который тут теперь валандается, говорит, что Вы так заваж-

ничали, что писать Вам можно только на «гербовой» бумаге. Слышал также о Ваших академических успехах[1] и еще пространнее о Ваших успехах на антикварном фронте. Говорят, что Вы вскоре будете избраны академиком (имею в виду Академию[2], руководимую Прегелем!) и от души радуюсь молниеносности Вашей карьеры. Впрочем, если Вам захочется снова засесть за «панорамы»[3], то сообщите, хотя у нас теперь такой «панорамщик», что любо-дорого. Около 15-го сентября я еду с Кирсти[4] на двухмесячное турне по Соединенным Штатам, связанное с президентскими выборами. Комитет[5] решил, что пора мне, наконец, показать Америку, и потому мне предстоит поездка по разным городам, как то Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон — сам еще толком не знаю, что им взбредет в голову. Не исключена возможность, что в мой командировочный маршрут будет включен и Канзас-Сити, хотя для этого надо делать крюк, так как сперва мы будем три недели отдыхать во Флориде, около Майами, где у одного из моих близких друзей имеется вилла. На всякий случай сообщите, каковы Ваши летне-осенние планы и будете ли Вы в Вашем Лоренсе примерно во второй половине октября. Здесь у нас все более или менее по-старому, тянем лямку, но на Бога не ропщем.

Недавно вернулись из Парижа, который все более и более сиротеет. Только что получили оттуда известие, что Гингеру предстоит операция — по мнению все того же Адамовича, весьма серьезная: и грыжа, и аппендицит, а он еще фордыбачится и уверяет, что буддисты не дают свое бренное тело хирургам. Между тем, у него все время боли. Ну, да ладно — на сегодня довольно с Вас. Жена моя, которая испытывает к Вам непонятную слабость в память Ваших «кюссдихандов»[6], просит Вас всячески приветствовать. Жму Вашу лапу. Ваш АБ.

[1] И. Чиннов переехал в 1962 году в США, где стал профессором русского языка в Канзасском университете города Лоренса.

[2] Прегель Борис Юльевич, брат поэтессы С. Ю. Прегель, был президентом Академии наук в Нью-Йорке.

[3] Еженедельный обзор событий, которые И. Чиннов готовил, работая на радиостанции «Свобода».

[4] Жена А. Бахраха с 1952 года.

[5] Американский комитет по борьбе с большевиками субсидировал радиостанцию «Свобода», где работал тогда А. Бахрах.

[6] От немецкого «Целовать ручку».

Coral Gables Flo. 23.X.64

Дорогой Йух,

Мой билет был выставлен по маршруту Монреаль — Майами — Н. Орлеан — Лос-Анджелес — С.-Франциско — Канзас-Сити и т.д. И мы твердо надеялись нанести Вам визит и повидать милейшего Штаммлера[1]. Но поистине человек предполагает, а Бог располагает. За несколько дней до предполагаемого отъезда из Майами произошла со мной подлинная катастрофа: я попал в стеклянную дверь (sliding glass door), в результате чего сильнейшая потеря крови; операция, длившаяся 4 $^1/_2$ часа; десятидневное лежание в клинике; хождение на костылях еще по крайней мере в течение 6 недель и сильнейшая слабость, связанная, как Вы можете догадаться, с полным моральным упадком. Путешествие, которое началось блистательно (мы успели осмотреть Канаду), кончилось подлинным крушением. Помимо всего, по просьбе Глеба Струве я предполагал прочесть доклад в Berkeley о Державине и Чиннове или что-то в этом роде! Все ухнуло. Теперь только мой хирург нехотя дает разрешение покинуть эти очаровательные и ненавистные места и в воскресенье, т. е. послезавтра мы летим в Нью-Йорк. Черкните туда бедному инвалиду либо на станцию, либо THE ROYALTON, 44 WEST 44[ш] STR. — Слышал, что с Адамовичем тоже нехорошо. Его уложили в больницу, а потом должны отправить в санаторию. Сердце его сильно пошаливает. И продолжать жить на его вышке ему катастрофически запрещено. Словом, старость не радость. Напишите мне несколько слов о Мексике и передайте мой сердечный привет чете Штаммлеров, присовокупив, что только force-mageur'ные обстоятельства не позволили мне выполнить обещание и посетить их в Лоренсе. Жена моя, которая почему-то имеет к Вам слабость, сердечно Вам кланяется. Жму лапу. Ваш АБ.

P.S. Как Ваш точный адрес?

[1] А. Штаммлер — профессор из Канзасского университета.

Париж, 25 марта 1973

Дорогой поэт-лауреат,

Прочтя в местных «Епархиальных ведомостях» заметку о Вашем триумфальном шествии по необъятным университетским пространствам Соединенных Штатов, невольно вспомнил о Вас. Последняя весточка от Вас, которая дошла до нас, была Вами составлена в большом миноре и Вы горько сетовали на очередной припадок «холодного гриппа», который помешал Вам отправить рождественские послания к Рождеству. Кстати сказать, в этой драгоценной «для россиян» карточке Вы что-то буркнули касательно Ваших «Композиций»[1], и я было надеялся, что в один прекрасный день почтальон постучится в мою дверь и вручит мне экземпляр оных. Но не тут-то было! Никаких «Композиций» и в помине не было. А между тем...

У нас, провинциалов, все по-прежнему, жизнь идет без сенсаций. Позавчера вернулся из Брюсселя, где, между прочим, завтракал у бывшей Аллы Головиной. Не видал ее около 20 лет. Впрочем, я не уверен, знали ли Вы ее. Побывал недавно в Мюнхене. Там тоже все на своем месте, хотя все время продолжается игра в крыловский «Квартет».

Жена моя просит Вам кланяться и спрашивает, не пожалуете ли Вы в течение лета в старую Европу, и если да, то когда?

Засим жму Вашу поэтическую руку. Ваш Александр Бахрах.

P.S. Бунин любил в «таких» случаях говорить: «А я Вам еще могу пригодиться»!

[1] «Композиция» — пятая книга стихов И. Чиннова.

Мужен, 4 июля 1975
Villa Val du Pré
(06250) Mougins

Дорогой поэт,

Думал о Вас неоднократно, читая там и здесь плоды Вашей рвущейся ввысь Музы, и хотел было написать Вам — «Милый друг, спасибо за молчание: /Сладко слушать тишину...»[1], но

Ваша пост-колумбийская открытка, пересланная мне на средиземноморское побережье (или почти), овеянное традициями и мистралем, доказала обратное — спасибо за открытку, сладко видеть Ваши ацтекские буквы. Кстати, эти Ваши вирши меня «пронзили», как говорил Оцуп, но только две строки «Будут тени, в бархаты одетые, / В узких лодках проплывать»[2] мне что-то до боли напоминают и я не могу вспомнить, что именно и это меня раздражает.

Как бы там ни было, Вам до Европы во стократ ближе, чем нам, вышедшим на грошовую пенсию старикам, до какой-то Колумбии. Так что... Сколько времени мы здесь пробудем еще — неизвестно, хотелось бы до середины августа, но удастся ли — один Аллах ведает. Я сейчас в Париже, был занят сочинением скриптов для моей или, вернее, нашей общей кормилицы, озаглавленных «Встречи» — воспоминания о всяких «великих» и менее великих людях под довольно личным углом. Нацарапал уже 58 штук, но только о покойниках, чтобы никого не обижать. Об одном Бунине начпокано 17 скриптов!

Буду рад получить от Вас более конкретные известия, а не туристические впечатления о стране[3], которая у меня уважения не вызывает — вероятно, потому что был знаком с целым выводком колумбоевреев из Боготы! Как Ваша работа? Остаетесь ли Вы в насиженном университете и правда ли, что Вы купили поместье под Хомяковым?[4]

Моя эскимоска сердечно Вам кланяется, а я дружески жму руку Вашу и умоляю следующий Ваш «бух» не печатать на картоне[5] — мне каждый сантиметр на полке дорог, а Вас я ставлю среди «ливр де шеве»[6].

Всегда Ваш АБ.

[1] Строка из стихотворения И. Чиннова «Милый друг, спасибо за молчание...»

[2] Из того же стихотворения.

[3] И. Чиннов много путешествовал. В данном случае речь идет о Колумбии.

[4] Г. Хомяков — Г. Андреев (см. соответствующий раздел) купил дом под Нью-Йорком, а Чиннов недалеко от него купил квартиру.

[5] Книга И. Чиннова «Композиция» печаталась по недоразумению в типографии на очень толстой бумаге.

[6] Настольные книги (*фр.*).

(06250) Мужен, 14 июля 1975
Villa Val du Pré

Дорогой Игрушка (кажется, так Вас именовала Ваша сестра по Музе[1] — и я, написав эту кличку, почти автоматически, вдруг вспомнил эту милую, единственную, талантливую чету и их журфиксы и мне стало очень грустно от сознания, насколько все это далеко и невозвратимо).

Пишу Вам в знаменательный день, когда со всех сторон доносятся звуки оркестров и, как писал Мандельштам, «марсельской песни», которая еще и теперь способна вызывать у меня слезы.

Вы оказались, дорогой мой, «без вины виноватым». Я злился на Вас, злился сам на себя из-за того, что две Ваших строки «Будут тени, в бархаты одетые, / В узких лодках проплывать» чуть ли не две недели мучили меня — они мне казались страшно знакомыми (за слово «страшно» прошу прощения, выстукалось нечаянно!) и я никак не мог вспомнить, откуда это, что они мне напоминают. И вдруг сегодня ночью, почти спросонья, все неожиданно разрешилось: Боже мой, да это почти точный перевод из Ронсара. Будь он у меня здесь под рукой, я бы Вам охотно ронсаровские строки процитировал, но делать этого по памяти не могу. Мне даже мерещится, что ритм взят ронсаровский. Думаю и считаю — если это действительно так — что это большой Вам комплимент. Вот только «стилеты» — это уже от Чиннова.

Видите, какой у Вас в далеком Провансе, среди олив и вблизи «этой Ниццы», вид которой меня тревожит только своими полунебоскребами, нашелся злосчастный поклонник!

Кстати, о Гингере и отдельно об Ане я непременно в ближайшие осенние дни должен что-то для радио сочинить. Меня только тревожит, как их подать: вместе не хотелось бы, а если делать отдельно, то неизбежны повторения, ибо в чем-то они все-таки едва отделимы.

Засим (в двойственном числе) чиао, Ваш АБ.

Мы здесь еще с месяц — минимум.

[1] А. Присманова.

15, Rue Lakanal
Париж, 27 мая 1976

Дорогое поэтище,

Если Вы еще не на Гаити и Вас там тамошние негры не утютюкали, то Вы сможете прочесть эти несколько моих строк в своей альмаматери. Дело в том, что Вы меня не совсем поняли: я, действительно, с охотой бы «ругался» по поводу «Пасторалей», но при введенной теперь бюрократически-крити*ни*ческой (опечатка, действительно, из породы «досадных») системе — это не моя область — собственно, будучи в отставке, — моей области вообще нет.

Поэтому, чтобы не трудиться зря, я должен запросить Мюнхен и узнать, не писал ли какой-нибудь холуй из «третьей эмиграции» о Вашем сборнике, и только по получении их ответа смогу приступить к тяжелой работе. Вся зарытая собака в том, что мюнхенские американцы заранее решили, что эта самая еврейско-хамская (не упрекайте меня в антисемитизме!) волна — единственно отражает истину, только они и знают о русских делах в любой области, а мы — старики — как бы шамкающие полуидиотики. Суммируя сказанное, добавлю, что то, что было, того больше нет, а то, что есть, начинается на четвертую букву русского алфавита. Дикси эт анимам левави[1].

Поздравляю Вас попутно, что Вы оставлены еще на один год[2]. Я знаю, что это не только не «типичный» случай, но напротив — весьма редкий. Одновременно думаю и надеюсь, что поднос подносом[3], а эмеритус, вероятно, связан еще с кое-какими жизненными благами, выражающимися в кое-каких, хоть и не поэтических, но очень полезных зеленых бумажонках.

Что за идея мчаться на Гаити или в Эквадор? Это для оригинальности? Или там, кроме переворотов и землетрясений, бывает еще что-то интересное? Отчасти завидую Вам, что в Вас еще клокочет страсть к путешествиям. Мне часто — впрочем, я старше и мудрее Вас — поехать в какой-нибудь Версаль уже кажется сложностью. Это, конечно, не мешает тому, что в конце будущего месяца мы предполагали отправиться в наш излюбленный подканнский Мужен. Если я несколькими строчками выше воспользовался словом «мудрее», то это, собственно, относится к Паскалю, который сказал, что все наши несчастья происходят оттого, что мы не можем усидеть на месте. Вы меня поразили

тем, что не знали процитированных строк Ронсара — ведь эти стансы из его «Амуров» — по-моему — одна из вершин его наследия.

Готов Вам поверить по части Коржавина[4], но не лежит моя душа к тому, что я читал (впрочем, читал очень мало).

Огорчила меня неожиданная-ожидавшаяся кончина Слонима, тем более, что за два-три дня до смерти он написал мне из Болье (где и умер) письмишко, и никаких признаков роковой развязки, как говорят в таких случаях, не было.

Ну, я записался. Жмаю Вашу парнасскую ручку и передаю приветы и сожаление, что Ваши пути не ведут в Париж, от имени Кирсти. Ваш АБ.

[1] Сказал, и успокоил свою душу (*лат.*).

[2] В отставку И. Чиннов вышел в 1977 году в звании эмеритуса — заслуженного профессора (Professor Emeritus).

[3] По случаю присвоения звания заслуженного профессора И. Чиннову был вручен серебряный поднос с надписью.

[4] Стихи Н. Коржавина И. Чиннову нравились.

Париж, 20 января 1978

Ваше Превосходительство, дорогой Эмеритус,

Я был очень рад получить Ваше рождественское послание, потому что не раз о Вас думал и говорил о Вас с Кирсти. Знал, что Вы осели во Флориде, но адреса Вашего не знал и связаться с Вами оттого никак не мог. С нашей европейской стороны мы желаем Вам всяческих благ, поменьше акул и барракуд, гурриканов и подземных толчков и, вероятно, поменьше солнца, которое у Вас жарит до позднего вечера. Я толком не знаю, где эта Ваша Дайтона, но от Флориды у меня осталось грустное впечатление, потому что именно там я месяц провел в клинике и на кресле, да и это было удачным исходом! Впрочем, ежели пришлете билетики, непременно Вас навестим! Я только могу вообразить, какой дворец Вы себе там выстроили — вероятно, некое подобие Виллы Д'Эсте... Да, кроме того, предполагаю, что Ваша пенсия по сравнению с моей, как Эйфелева башня по сравнению с той избушкой, которая красна одними только углами.

Все же живем мы кое-как в свое удовольствие, хоть и скромно. Только недавно вернулись из Италии, где все праздники гостили у Кирстиной племянницы, проживающей между Миланом и Комо, а затем неделю провели в Мюнхене. Однако, станцию я не посетил — не знаю, кому там можно подавать руку, скорее всего никому...

Что касается манентных скриптов, то как только пришлете соответствующую взятку, хотя бы борзыми щенками, я возьмусь за дело!!!

Кирсти, которая по-старому испытывает к Вам непонятную слабость, приветствует Вас и мы оба ждем, когда Вы посетите Париж... этаким заокеанским туристом. Напишите побольше и поподробнее о себе, о своих трудах и днях. Дружески Ваш АБ.

Париж, 15 марта 1978

Дорогой поэт — чуть не написал с большого «П»,

Не теряя времени, отвечаю на Ваше письмишко, недоумевая по каким таким причинам Вы просите извинения за зеленые чернила: они сразу напомнили мне сочную зелень флоридских джунглей, в которых судьбой Вам дано баобабствовать.

Вы задали мне сложную задачу — переделать статейку[1] труднее и заковыристее, чем написать новую. При случае Вы можете сказать Седыху (он, оказывается, к моему удивлению, склоняется!), что его пожелание — копия того, что мне когда-то написала редакция «Литературного наследства», желавшая напечатать что-то о Бунине, появившееся в покойных «Мостах»[2], — только в конце концов цензура на них прикрикнула и шасть... Тем не менее и из любви к Вам я постараюсь сделать Вам это удовольствие, но дайте мне чуть времени. Сейчас я слишком погружен в политику: то есть, волнуюсь в ожидании второго тура выборов. Вам хорошо возлежать на карибских берегах, а нам сидеть под Марше не так уж сладко. Еще Вы можете намекнуть Цвибыху, что я люблю получать гонорар за статейку (слышал, что он этого совсем не любит), даже заставил Гуля это сделать — хотя бы гонорар символический, ведь другого от них не добиться.

Дождь стучит в оконные рамы, но я все-таки спущусь, чтобы отправить это послание.

Копите доллары для поездки в Европу — копите их побольше, все равно им «грош цена». Засим обнимаю. Ваш Ангел Ла-Канайский.

[1] Статья А. Бахраха об И. Чиннове — «Один из последних» («Русская мысль» от 16 февраля 1978). В «Новом русском слове» от 25 июня 1978 (редактор — А. Седых) появилась статья А. Бахраха о поэзии И. Чиннова «Спирали и параболы».

[2] В журнале «Мосты» (1966. № 12) были напечатаны воспоминания А. Бахраха об И. Бунине «По памяти, по записками (2)».

Париж, 7 мая 1978

Дорогая Игрушка,

Взволнованный Вашим посланием и чтобы не откладывать дела в долгий ящик, я тотчас позвонил в Ватикан, но Папа был простужен и не мог подойти к телефону, так что мне пришлось вести беседу с кардиналом Пичикатто. Он, кстати, был в курсе дел и подтвердил, что Его Святейшество не возражает против моей беатификации, но добавил, что эта процедура, как водится, требует уплаты значительных гербовых пошлин. А у меня их сейчас нет. Поэтому я надеюсь, что во время переговоров с нью-йоркским раввином Вы ему указали мой адрес и № моего счета в банке, хотя я знаю, что он на этот счет туг или считает, что платить гонорары — пошлость. Таковы Цвибахи[1]. Кстати, мне какой-то непрошеный благодетель женского пола вдруг прислал пачку воскресных номеров НРС, и я был в некотором смятении. Это ведь просто забор, на который каждый клеит какие-то полотнища без всякой системы, программы, не считаясь с потенциальным читателем. Конечно, РМ не лучше.

Что до «скобарей», то если Вы можете у какого-нибудь спеца узнать, изменила ли мне память или нет, то я был бы Вам весьма признателен. Гуль так давно теребит меня, чтобы я дал ему, наконец, энциклику на тему «Бунин и Зуров». Это, действительно, существенная страница в бунинской биографии, и кроме меня, никто не может на эту тему высказаться. А это весьма щекотливо, хоть никого из драматических персон нет в живых. Припоминается, что Бунин всегда звал Леню «скобарем» — конечно, скорее за глаза. Но в «скобаре» я не 100%-но уверен, и если

я ошибся, то будет глупо. Мне все-таки кажется, что я прав и что эта кличка отнюдь не оскорбительна — ну, как «хохол», «кацап» и т. д. Читайте № 30 и 31 «НЖ», там начинается «Буниниада».

О Перелешине я писать не собираюсь — даже не знаю толком, что можно сказать. Это скорее какие-то упражнения в сонетописании (порой удачные), чем поэзия, даже без заглавного «П». Не понимаю, чем прельстился Иваск, хотя, как Вы изволили выразиться, мне и его стихи кажутся безблагодатными, хотя порой и ловкими, но уж очень ему хочется прыгать выше головы.

Если будете в Нью-Йорке, набейте морду Яновскому. Что он набрехал об Адамовиче, о Ходасевиче и о самом себе... Не могу понять, как Цвибых мог это напечатать, будучи якобы приятелем Гогоси, а за ним поплелась и Шахиня, которой я учинил разнос и кажется подействовало. «Я подошел к бриджевому столу и сказал Адамовичу, что "Бесы" дрянной роман». Это из ненапечатанного в РМ, но, вероятно, это уже появилось в НРС.

А живем мы, как полагается кандидату в святые, по-монашески и 5 июля летим в Финляндию подышать соленым воздухом шхер. А дальше полная неизвестность. Форсе ке Юг, форсе ке наше поднебесье — мне юг чуть надоел, но Кирсти настаивает, правильно уверяя, что дареному коню в зубы не смотрят, а помещение на Юге дареное.

Кирсти Вас ждет в Париже, поскольку Вы нам не присылаете билетов для полета в ненавистное Майами. Впрочем, мне уже не рекомендуется купаться, так что море потеряло долю очарования, и барракуды меня больше не пугают. Ваш АБ.

[1] Цвибак Яков Моисеевич — он же Андрей Седых — редактор «Нового русского слова».

Париж, 18 июня 1978

Дорогой флоридский цветик,

Никак не мог собраться ответить на Ваше последнее, столь же лаконичное, сколь очаровательное письмишко, в котором, собственно не было ничего «такого», что требовало бы ответа. Во всяком случае, я Вам благодарен за Ваши заботы о «скобаре» и, кстати сказать, я случайно увидал в какой-то статейке (уже за-

был чьей, если не ошибаюсь, Филиппова), что скобарь, действительно, что-то вроде хохла для псковитян.

С Струве я, действительно, в «нежных» отношениях, и он не устает мне писать. Меня удивило Ваше отношение к нему — он, конечно, педант и во многом придира, но у него есть — особенно на нашенском фоне — большие достоинства. Вы должно быть не знаете, что на безптичье и жопа — соловей, подробности узнайте у Даля, но непременно в издании Бодуэна де Куртенэ. Даже теперь до того дошло, что, как мне пишут некоторые американские друзья (в частности, Ваш Иваск), в меня неожиданно влюбился «сам» Гуль. А Вы говорите...

Слышал, кстати сказать, что Вы, со свойственным Вам изяществом, наслаждаетесь флоридским дольчефарньентизмом[1], но все-таки замышляете нанести визит королю Марокко. Неужели, если он состоится, Вы готовы будете миновать Париж?

Хотел бы услышать от Вас о судьбе моего опускула[2] (не знаю, какова рода это слово), касающегося поэта-лауреата Игоря Чиннова, и что сделал с оным разбомбленный Цвибых. Если он его не выбросил на помойку, хотел бы получить некоторый чек и хотя бы экземпляр номера его газеты.

Здесь стало холодно, а я эти дни в особенном миноре из-за смерти Терешковича[3], который в течение 25 лет был одним из самых близких моих приятелей. Впрочем, как Вы неоднократно доказывали в ямбах, хореях и дактилях, мы все на очереди сидим пока здесь, словно в зале ожиданий провинциального вокзала. Впрочем, это не мешает нам приготовляться к отъезду в дорогую Финляндию, где мы будем находиться с 5-го по 26-е июля. Кирсти приветствует Вас и говорит, что будет очень обижена, если Вы не посетите Парижа. Имейте в виду, что на берегах Сены мы будем почти весь август, но в сентябре, е. б. ж., собираемся по традиции на с нашей точки зрения Юг, а с Вашей, вероятно, Север, то есть, на Лазурный берег или вроде — ведь «наш» Мужен в 8 километрах от моря.

А что Вы, действительно, целый день делаете, когда освобождаетесь от стрижки купонов? Засим обнимаю Вас и дружески жмаю руку. Ваш АБ.

[1] Сладостным бездельем.

[2] Статья А. Бахраха о поэзии И. Чиннова «Спирали и параболы» («Новое русское слово» от 25 июня 1978).

[3] В связи со смертью этого художника А. Бахрах напечатал в «Русской мысли» за 6 июля 1978 года некролог «К кончине Константина Терешковича».

Париж, 7 ноября 1978

Дорогой Игорь Владимирович,

Пользуюсь горестными «каникулами», так как Кирсти уехала на несколько дней в Швейцарию проведать старую свою подружку, и у меня появилось много «свободного» времени, я могу Вам ответить.

Не скрою, что Вы очень меня огорчили и теперь я вижу, что написали Вы мне под влиянием Иваска, который Вам об этом шепнул. Да, мне было горько, что Вы писали мне, пока не появилась в НРС статейка о Вас, а потом даже не ответили на мое письмо из Финляндии, где мы были в июле, то есть в незапамятные времена. Но Бог с Вами, я не злопамятен и не сержусь и — честно говоря — был рад (здесь уместно множественное число) получению от Вас известий. Дикси энд форгет ит![1]

Я знал, что когда-то в больших отелях была мода наклеивать на багаж своих постояльцев этикетки, и это даже почиталось очень шикарным — иметь чемодан в такого рода этикетках. Видел в Мюнхене специальные магазины, в которых можно было приобрести этикетки таких «паласов», чем дороже отель, тем дороже этикетка! Но я не знал до того, что можно получить бутафорские фотографии якобы собственного жилища, и, рассматривая присланные Вами, обалдел — настолько все здесь неправдоподобно. Вот только картинки на стенах не мог разобрать, хотя что-то мне показалось бакстообразным и, кажется, на другой стене русские литографии.

По поводу издания статей могу только сказать, что приведенный Вами пример Шаховской — доказательство от обратного! Не написал «от противного», чтобы не получилось двусмысленности. Но все-таки собираюсь по одному заморскому предложению издать книжечку разговоров и заметок о Бунине[2]. Их набралось уже страниц 100, если не 150. Седых не только прислал гонорар, но — не в пример Вам — кормит меня бильедушками[3] и молит о постоянном и частом сотрудничестве, что

я пока делаю. Вижу, что газеты его Вы не читаете, поскольку о Вас в ней пока ни х<...>. Но я слышал, что Вы готовите еще какие-то «Антипротезы»[4]...

О Терапианце сказать Вам ничего толком не могу, не видал его года два, слышал, что он совсем стал гагой[5] и, кажется, из своего обиталища не вылезает. Да, Вы правы: я к прозе его равнодушен, и стихи не обожаю, зато ценю все, что он когда-то писал о вертящихся дервишах и о внеполовых совокуплениях в Атлантиде[6]. Одоевцевой не знаю, но знакома мне теперь мадам Горбова, коей «берега»[7] возмутительны и стопроцентно лживы, но саму ее по старой памяти вроде как люблю, была она как-то перед нашим отъездом в южные края, а с тех пор не видал ее — не хочу тревожить молодоженов. Что Вы на съезде славистов посвятили ей доклад — это не фунт изюма. Впрочем, все-таки, вероятно, лучшее у нее это «Двор чудес», только я его плохо помню.

О парижской дороговизне Седых преувеличил, и видно заказал он не сосиски, а шукрут и, конечно, вопрос, где это было. Могло быть и 16 долларов, и не наша вина, что Ваш этот самый доллар ничего не стоит,— вот если бы Седых считал марки и приехал не из какой-то провинции вроде Нью-Йорка, а из такого столичного города, как, например, Мюнхен, то он был бы в восторге от того, как тут все дешево. Впрочем, я никого сюда не зазываю — ведь Вы сами мне писали, что думаете о европейском турнэ. Но теперь, узрев Ваше палаццо (если, повторяю, это не бутафория), я понимаю, что Вас никуда тянуть не может. Только есть ли вокруг Вас «человеки», а не люди? Засим, будьте здоровеньки. Наше Вам с кисточкой АБ.

[1] Я сказал, и забудем об этом (*англ.*).

[2] Книга «Бунин в халате» вышла в издательстве «Товарищество зарубежных писателей» (США,1979).

[3] Любовными посланиями.

[4] Седьмая книга стихов И. Чиннова «Антитеза». США, 1979.

[5] Доходягой.

[6] Ю. Терапиано интересовался восточной культурой. В 1968 году в Париже вышла его книга «Маздеизм. Современные последователи Зороастра».

[7] И. Одоевцева вышла замуж за Якова Горбова. Речь идет о ее книге воспоминаний «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967).

Париж, 5 марта 1979

Дорогая Игрушенка,

Получил Вашу епистолу (Иваск настаивает на начертании «е», ибо так делал Сумароков) и рад был узнать, что Вы ездили в Нью-Йорк специально для того, чтобы прочитать доклад о нашей Сафо[1]. Игра, конечно, стоит свеч, и я надеюсь, что в скором будущем Вы его где-нибудь тиснете совместно с продолжением комментария к «берегам Сены», которая пока еще омывает Питер, Ригу и Берлин[2]. Что-то будет. Я очень оценил Ваше знаменитое замечание о том, что Вы, прочтя эти самые «берега», начали сомневаться в существовании Гумилева. А я даже усумнился в существовании Георгия Иванова, который все свои шедевры сочинял за бритьем. Эрго, брейтесь почаще...

«Мой» Зуров[3] Вас, Вы пишете, заколдобил, но, как Вы можете знать, я принадлежу к тем, кто по возможности (это кстати сказать, не всегда возможно) — «аут Цезарь, аут нихиль»[4] и враг разведения розовой водицы. Если будут всякие Пахмусы собак вешать, пусть вешают (Пахмус я назвал нарицательно). Мне, как с гуся вода. Я, наконец, переправил через океан мою буниниану, которая занимает что-то вроде — по приблизительным подсчетам редакторов — не меньше 130 страниц печатного текста, и ее будут тискать, но, конечно, Ваши «интермедии»[5] выйдут до этого. Кстати, Вы о них что-то не заикаетесь, в чем дело?

Возвращаясь к Бунину, смею Вас уверить, что ни один из моих героев публично не каялся, к сожалению, они не каялись и «приватно» и, собственно, в этом и была вся драма.

Владимир Васильевич <Вейдле> все в том же положении. Его водят от одного профессора к другому, делают один анализ за другим, а «воз и ныне там». Во всяком случае, теперь мысль о какой-либо операции, даже если бы она была необходима, приходится отставить, никто на нее решиться не хочет, как из-за кортизона, так и из-за возраста. Он все-таки работает и даже сочинил «Костер Геракла»[6], но Вы его несомненно прочли и потому комментировать его не стану.

Любовницу, как Вы ее прозываете, Маяковского[7] я когда-то знал и даже она мне весьма услужила в страшном 40-м году, а ее супруга наименовали Александром чуть ли не в мою честь. Но это даже не древняя история, а еще древнее, и я оной четы с

того сорокового года не видел, да и видеть не особенно хочется. Забыл о них.

А что, Вам за выступления с полетами и бродскими[8] платят, или в Вас и так еще сильна любовь к Музе поэзии?

Кстати, теперь я собираюсь взяться за Ходасевича. Но это до невозможности трудная тема, именно из-за упомянутой «водицы», и «помои» тоже не хочется выливать. А человечек был не без «странностей» и даже «страшностей» — только уж очень я невзлюбил его эксбабу[9], с которой Вы, как я слышал, цацкаетесь, как с писаной торбой.

Жена моя шлет Вам всяческие кюссы, а я жму Вашу слишком работоспособную руку. Одумайтесь, пока не поздно и не забывайте, что у Вас письменный стол не хуже того, что стоит на Кэ д'Орсэ и именуется «ла табль де Мосье де Верженн».

Засим шаркаю ножкой и киваю ручкой. Ваш АБ.

[1] Имеется в виду И. Одоевцева.

[2] Воспоминания И. Одоевцевой «На берегах Сены» (Париж, 1983) начинаются с описания Петербурга, Риги, Берлина.

[3] Имеются в виду воспоминания А. Бахраха «Бунин в халате», которые сначала печатались в «Новом журнале», а в 1979 году вышли в США отдельной книгой.

[4] Или Цезарь, или ничего (*лат.*).

[5] Книга И. Чиннова «Антитеза» вышла в 1979 году.

[6] Стихотворение В. Вейдле; оно было напечатано в «Новом журнале» (1978. № 133).

[7] Имеется в виду Татьяна Яковлева (в замужестве Либерман). Она была невестой Маяковского.

[8] Речь идет о симпозиуме по художественному переводу в Мерилендском университете (США), где И. Чиннов и И. Бродский по очереди читали свои стихи, а переводчики давали их перевод.

[9] Н. Берберова.

Париж, 4 августа 1979

Дорогая Игрушка,

После бесконечно долгого промежутка получил вчера Ваше послание, на которое спешу сразу же ответить, иначе, вероятно, отвечу на греческие календы. Письмо Ваше пришло в тревож-

ный момент, потому что без преувеличения я вот уже несколько дней буквально боюсь подходить к телефону, когда он звонит, чтоб не услышать роковую весть из уст Милочки[1] о том, что ВВ <Вейдле> смежил очи. Он уже около трех недель находится в беспамятстве или иногда в полубеспамятстве, и врачи уверяют, что дольше конца этой недели он не дотянет. 84 года + куча болестей, усложнившихся, как водится, воспалением легких и температурой, приближающейся к 40°. Удивляться, конечно, нечему, но в Париже уже не с кем будет поболтать о том, о другом. Спасибо за Вашу оценку моего «Гингера» — таких тоже больше нет — а о Присмановой я тоже, конечно, вспомню, когда настанет час, она у меня на очереди, но я умышленно хочу их отделить один от другого. Рыбка, как Вы ее называете, во многом была «золотая». Возвращаясь к ВВ, не могу следовать за Вами в оценке его поэзии, а тем меньше его прозы с ее неудовлетворенным эротизмом, как слон в посудной лавке, он занимался словесной мастурбацией. «Но тебе то» недурственно, но все-таки не его это занятие, а то получается «Костер», который так вредит его репутации, и пятипудовый ненаписанный, но задуманный роман, который, увы, окажется его последним незаконченным опусом[2]. А Вы, как медведь, рядом вспоминаете Бунина. Отменю просьбу послать Вам мою книжонку о нем, которую еще сам не получил, но жду с часа на час — оказывается, что и американские типографы не церемонятся со сроками сдачи. Во всяком случае, я моему издателю, сиречь Хомякову, послал какую-то наклейку (вздорную) для Вас[3] — не посылать же опус, какой он ни невесомый, туда и обратно через бушующий Океан. А кстати, где Ваш обещанный гроссбух? Из Вашей аэрограммы можно понять, что Вы летом будете ильямуромствовать в своем палаццо. Конечно, оно понятно, и от добра добра не ищут. А мы 14-го летим на «пару» недель на Юг, в «наш» Мужен, чтобы говорить, что и мы ездим на вакации. Я с удивлением читал (правда сказать с некоторым «презрением») последний № «Нового журнала», впервые заметив, что в нем нет Чиннова — может быть, поэтому мне показалось, что, собственно, не грех прикрыть лавочку, которая неминуемо попадет в руки «третьей» волны стервецов-Лимоновых, да и сам Максимов не лучше. Бррр. Дорогой мой, годы, а не секс без любви — величайшее из свинств, единственная радость, что «Эр-Франс» делает нам 50% скидки, а только что я вернулся из мэрии, получив карточку на бесплатный проезд по автобу-

сам, метро и парижским музеям. А Вы говорите... Теперь думаю кататься с утра до вечера и еще радоваться септимам Вашего друга Иваска, который так закручивает их в узел, что не распутать, а Кирсти просит ей перевести, и Вы можете понять страдания немолодого Вертера (тьфу, это из Дукельского). Надеюсь, что следующую весточку от Вас я получу до Рождества 1981-го года, а засим моя кюссдихандствующая половина посылает Вам нежный привет, а я желаю Вам под небом Флориды бесконечных оргазмов. Жму руку — хотя, вероятно, если уж жать, то следовало бы что-то другое. Извечно Ваш АБ.

Обратите внимание на мой аррондисман — 75015

[1] Жена В. В. Вейдле.

[2] В конце жизни В. Вейдле, крупный ученый, историк искусства, литературовед, начал писать романы, что многие в эмиграции не одобряли, в том числе и И. Чиннов, считая их слабыми. Неоконченный роман В. Вейдле «Вдвоем друг без друга» в 1979 году публиковал «Новый журнал» (№№ 135, 136). Упоминаемый «Костер» — это стихотворение В. Вейдле «Костер Геракла». Что означает «Но тебе то» можно только предположить, т.к. такого стихотворения у В. Вейдле нет. Видимо, речь идет об опубликованном в «Новом журнале» (1979. № 134) стихотворении «Всевышнему», которое начинается со слов «Не видел я Тебя...», и дальше Вейдле все время обращается к Богу: «Тебе», «с Тобой» и т.д.

[3] «Наклейка» с дарственной надписью А. Бахраха вклеена в экземпляр его книги «Бунин в халате» (США, 1979), хранящийся в библиотеке И. Чиннова: «Флоридскому помещику Игорю Владимировичу Чиннову на память о "коробке сардинок" и с дружескими чувствами. Александр Бахрах. Париж, 1979». «Коробка сардинок» — образ из стихотворения И. Чиннова, символизирующий мир, в котором живет эмигрант.

Париж, 28 апреля 1980

Дорогая капиталистическая игрушка,

Рад был получить Вашу епистолу (так писать меня научил Ваш альтер эго — Юрий Бароккович[1]) и узнать, что Вам во Флориде живется как у Христа за пазухой, и только не хватает времени, чтобы стричь купоны. Настригли бы для поездки в

Париж, долларов за сто в день Вы бы уже могли найти комнатушку на мансарде какого-нибудь второразрядного отельчика... Я не имею удовольствия знать госпожу Таубер, но представьте какое совпадение: почти одновременно с Вами мне об этом написал мой гимназический товарищ, коего я не видел с 17-го года, и который нашел меня через «Новое русское слово», так как в статье о Бенуа я упоминал, что мы учились в одной с ним гимназии, хоть и в разное время, а он с Таубериxой дружит. Госпожу почти вице-губернаторшу, кою Вы не вполне почтительно, несмотря на ее сравнительно немолодой возраст, упоминаете в Вашем письме, я давно-давно не видал и не хочу нарушать ее медовый год[2]. Она перестала писать, может быть, обратив внимание на то, что свою бель-мер она начала описывать[3] в роли губернской львицы, а потом ни с того, ни с сего она оказалась на берегах Невы, не упоминая, из присущей ей скромности, что носительница фамилии Иванов из ветви Рюриковичей стала оберштал-мейстериной.

Поживаем мы, как поживают почтенные люди нашего возраста. Кирсти только что вернулась из своей Финляндии, где провела две недели, а я сижу сиднем, как Илья Муромец и никуда двигаться не хочется, но вот только ездил в Женеву делать какой-то приуниверситетский доклад о Бунине, а теперь зван для того же в Кельн и, вероятно, съезжу посмотреть на Берлин, который я не видел с 30-го года.

Вижу, что Вы продолжаете творить и вытворять, в большинстве случаев по объявлениям, ибо самой этой х<...> прессы я не получаю и иногда удивляюсь, что такой высокопочтенный юноша, как Вы, даете свое имя куда не следует. Когда выходит следующий Ваш бух? Не говорите, что мол, пока об этом «думать не думаю», все равно не поверю. Надеюсь, что в сей «девичьей игрушке» Вы посвятите мне соответствующее послание. Хорошо бы, если бы Вы сочинили его по-латински.

В связи с Таубер Вы загадочно пишете — цитирую — «Можно попросить адрес?» Что Вы имеете в виду — чтобы Тауберша дала свой адрес для меня или чтобы я Вам дал адрес незнакомой пожилой женщины? Ни за что!

Начинаю думать, что «Бунин в ватер-клозете» было бы более понятным названием.

Кстати, о Мужене — вероятно, мы все-таки туда направим наши стопики, но еще не знаем дат, это зависит от наших бла-

годетелей, то есть, когда виллочка будет свободна и их там не будет.

Милочка совсем расклеилась и никто не ожидал, что она так сдаст после смерти В. В. На нее смотреть страшновато. Зато Лида[4] ноет по-старому и иногда к нам теперь ходит. Иваск прислал ей септиму, но никто, в том числе и автор, не понимает, о чем он забубнил.

Надеюсь, что Вы не слишком предаетесь рукоблудию и сохранили свой раблезианский аппетит. Не будьте скупердяем, скупым рыцарем, аваром и купите по сходной цене билетик в Париж — мы Вас накормим одним брекфастом с колбасятиной и яйцом всмятку и еще в придачу дадим миску порриджа. Молоко а волонте.

Засим, флоридский Обломов беззахарный, жму Вашу ручонку и передаю нежный привет от моей мадамы. Вечно Ваш АБ.

Что Ваши янки натворили...

[1] Ю. П. Иваск — его приверженность барокко была известна в эмиграции.

[2] В 1978 году И. Одоевцева, о которой пишет А. Бахрах, вышла замуж за писателя Якова Горбова.

[3] Речь идет о книге воспоминаний И. Одоевцевой «На берегах Сены», где описывается детство ее покойного мужа — поэта Г. Иванова.

[4] Лидия Червинская — поэт.

Париж, 4 ноября 1980

Дорогой поэт и учитель (тавтология!)

Спасибо за письмо и его классическую краткость, хоть и удаляющую его от мадам де Севинье, но показывающую Вашу непоколебимую мужественность. По моей воображаемой эпистолярной бухгалтерии Вы мне не отвечали на мое последнее письмо около года, но это к слову пришлось, и я никакие претензии к Вам не предъявляю. К тому же, ежели память не изменяет, я послал Вам не так давно открыточку с берегов того моря, по которому колесил (можно ли колесить по морю?) хитроумный Улисс. Кстати, Иваск мне говорил, что Вы перестали уподобляться оному греку и долгие путешествия Вам уже лень совершать.

А надо бы... А то Вы застыли на померанцах и протуберанцах и не лучше ли «взлетев, спуститься ниже»? Ведь не у всякого под руками словарь классической древности, но зато он очевидно есть у Гуля. Впрочем, его убьет стыдливость, что видно из «примечания редактора» (о Набокове!). Мое здоровье пока в порядке, вопреки непорядочному возрасту, а Кирсти как раз сегодня, пока я стукаю это письмо, отправилась к лекарю: чувствует себя неважно, легкий жар и тяжелая мнительность, которая ухудшает ее состояние, а я никогда не знаю, что от медицины, а что от психологии. Почтил меня своим визитом сперва разболевшийся в Париже Глеб Струвий и, кажется, кроме меня и клиники ничего в Париже не увидевший, и Юрий Иваск, которого предпочитаю, как корреспондента, а не как собеседника. «Мои москвичи»[1] — выскакивающие подобно духу из махины (их, вероятно, трое) — меня убивают. Зато провел два дня, к ужасу Кирсти не отрываясь от второго тома записок Лиды Чуковской[2]. Это Вам не «унесенная Россия», где Зинаида Гиппиус шествует во главе погромщиков из Союза Русского Народа. Бумага и это вытерпит, хоть и не любил я старуху, а все-таки всякому вранью есть пределы, даже одоевцевскому[3], уже расчистившей площадь в Керчи для памятника Терапианцу[4]. Ну, бувайте здоровы, не поминайте нас лихом, готовьте восьмой том и посвятите мне в нем какой-нибудь звукосмысл[5].

Мы Вас приветствуем. Ваш АБ.

Приедете — угостим котлетками.

[1] Ю. Иваск вел дружескую переписку с несколькими людьми в СССР, в том числе с литературоведом А. Богословским, переводчиком и поэтом Е. Витковским, автором статей и стихов религиозно-философского содержания В. Никитиным. К ним, видимо, и относится определение «мои москвичи». Этой дружбой Иваск очень гордился, тем более, что знал, насколько такая переписка опасна для советских людей.

[2] Чуковская Л. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Повести. Воспоминания. Т. 2. Дневники. Письма. Переиздано в издательстве: Гудьял — Пресс, 2000.

[3] Трудно сказать, что имеет в виду А. Бахрах. Во всяком случае, ни в двухтомнике воспоминаний И. Одоевцевой, ни в книге Р. Гуля «Я унес Россию» об этом не говорится. Союз русского народа образовался в 1905 году как монархическая организация, бо-

ровшаяся против либеральных и революционных партий за сохранение и укрепление неограниченной монархии, за преимущественное положение русской нации и православной церкви. Союз имел отделы практически во всех городах и крупных населенных пунктах России, издавал газету «Русское знамя». Председателем Союза был А. И. Дубровин, с 1910 года — Н. Е. Марков.

[4] Ю. Терапиано родился в Керчи.

[5] И. Чиннов так и не посвятил А. Бахраху ни одного стихотворения.

Mougins, 5 сентября 1984

Дорогая Игрушенция,

Ваше письмо я получил только вчера, переслали мне его из Парижа, а мой консьерж всегда ждет, чтобы набралось достаточно корреспонденции для достаточной отправки. Но должен сказать, что это Ваше письмо противоречит предыдущему: Вы послали мне корректуры и вдогонку просили поспешить, потому что якобы какие-то темные личности тоже хотят писать об «Автографах»[1] и их надо предупредить. А теперь Вы призываете меня к «медленному чтенью»[2] по формуле Гершензона. Кстати, я не знаю, кого Вы имели в виду из писак «НРС» и, кроме того, было столько прецедентов нескольких рецензий на страницах сего уважаемого органа, что не привыкать стать. Я даже как-то уже жаловался Седыху, что хоть бы писалось разное, а то через 2–3 месяца повторяют сказанное мной — (с теми же цитатами) и я хотел бы ставить copyright!

Что касается посылки копии (если мой опус еще не опубликован[3]), то ввиду того, что я нахожусь в 1000 кил. от Парижа, уже поэтому сие невыполнимо. Но, кроме того, у меня скверная привычка не оставлять копий — «подписано и с плеч долой» — черновики сразу же в boile d'ordures[4] и как можно быстрее на почту, ибо если что залеживается, я автоматически начинаю чиркать и получается размазня.

Насчет «третьих» — я не думаю, что они в маракули «вчитываются», потому что ни с одним из них я общего языка не нашел — и после двух-трех встреч наступало полное отчуждение — я их не «понимаю» и понять не стараюсь, во всяком случае «не уважаю» издали.

Мы тут, вероятно, до первого октября, если позволят климаты — изредка (очень редко — доктор чаще не велел) окунаю свое бренное тело в Одиссеевы воды и могиле Герцена поклониться не ездил, а у Кирсти, к сожалению, ее астматические явления Юг не рассеял. Но все-таки — хоть сегодня с утра идет дождь — мы довольны и закусываем провансальскими специальностями. Засим препровождаю Вам при сем кирстины ответные кюссы — приветствую поэта и человека. Ваш АБ[5].

[1] Восьмая книга стихов И. Чиннова «Автограф».

[2] И. Чиннов объяснял, что после получения книги А. Бахрах слишком быстро написал на нее рецензию, и Чиннов беспокоился, что из-за спешки рецензия не удалась.

[3] Статья А. Бахраха об «Автографе» И. Чиннова появилась в «Новом русском слове» 1 сентября 1984 года.

[4] Мусорный ящик (*фр.*).

[5] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 40 писем А. В. Бахраха.

Александр Бахрах

РАЗГОВОРЫ С БУНИНЫМ*

... Мне уже приходилось вкратце описывать мое появление в Грассе на бунинской «Жаннетте» поздней осенью сорокового года, такого трагического для Франции, и как этот визит оказался словно внушенным мне моей доброй феей. Действительно, трудно учесть, как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда, будучи в силу слепого случая мобилизован в Сент-Максиме, одном из курортов средиземноморского побережья, не вздумал «забрести» в Грасс перед тем, как принять дальнейшее решение.

Помимо привязанности к Бунину, мой визит в Грасс был еще продиктован тем, что пока я был в армии, я вел учащенную переписку с его женой Верой Николаевной и был у нее в «фаворе».

---

* Из цикла А. Бахраха «По памяти, по записям» («Новый журнал». 1978. № 133). Печатается в сокращении. Вошло в книгу А. Бахраха «Бунин в халате» (США, 1979).

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

БУНИН в Халате

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

Флоридскому помещику
Игорю Владимировичу
Чиннову
на память о "коробке сардинок"
и с дружескими чувствами
Александр Бахрах
Париж.
1979.

Товарищество Зарубежных Писателей
1979 США

Дарственная надпись А. Бахраха на его книге «Бунин в халате» (Париж, 1979)

Надо сказать, что ее длинные письма, приходившие по полевой почте, были для меня своего рода праздником и я могу только сожалеть, что они не сохранились. Эти письма несомненно представляли бы определенный историко-литературный интерес. В них со свойственной ей дотошностью, наряду с описанием всевозможных мелочей и курьезов парижской литературной жизни в военные месяцы, неизменно, пускай даже чуть однобоко, но все же достаточно рельефно и не без крупицы иронии, восстанавливалась некая хроника бунинского быта. Потому я заранее в общих чертах мог догадываться об атмосфере на «Жаннетте», в которую Бунин с домочадцами возвратились незадолго до моего посещения.

Да, после вступления в войну муссолиниевской Италии они, чтобы спастись от возможных напастей (до итальянской границы было «рукой подать»), бежали из Грасса и, кстати сказать, по их собственным признаниям, ничего более нелепого, чем это бегство в каком-то ветхом, полуразваливающемся такси, двигавшемся на древесном угле по запруженным беженцами дорогам Франции, трудно себе вообразить. Если бы не трагизм положения, описание их бесцельного мыканья из Грасса в Монтоблан (а это тысяча с чем-то километров) и почти сразу же обратно было бы с руки одному только Лейкину.

*

Мне не хочется здесь говорить о себе, но все-таки я должен отметить, что мне не раз приходилось читать (даже в советских изданиях), что я, мол, пришел к Бунину с «просьбой приютить меня», что я на «Жаннетте» «скрывался». Когда я приехал в Грасс, я был еще в военной форме, никакой другой одежды у меня не было и мне в голову не могло тогда прийти, что придется от кого-то скрываться. Я всегда был фаталистом и жил у Буниных легально под своим именем, получал письма, имел все виды «карточек». А когда появились немцы, меня, как и всех грасских жителей поочередно, мэрия повестками вызывала на рытье каких-то ерундовских окопов и установку проволочных заграждений, которые бы свалились от одного порыва сильного ветра. Затем — и это было страшнее всего — я получил приглашение явиться в «S. T. O.» «Service obligatoire du travail» «обязательная трудовая повинность», то есть отправка на работы в Германию. Я предстал

перед синедрионом врачей, с радиографиями под мышкой. Не буду распространяться, хотя это посещение страшной комиссии могло бы стать темой небольшого трагикомического рассказа, но в результате каких-то черных пятен на моих радиографиях я был признан непригодным «в нулевой степени». Я до сих пор сохранил эту бумажонку, которая, вероятно, спасла меня, когда я, незадолго до освобождения, был арестован эсесами. Можно ли тогда говорить, что я скрывался?

*

Когда я очутился на «Жаннетте», бунинское «семейство» состояло из четырех «душ» — кроме самих Буниных с ними жила Галина Кузнецова и сестра философа Степуна, Марга, певица, обладавшая сильным характером и недюжинным голосом, в прошлом выступавшая на некоторых провинциальных немецких оперных сценах, а теперь услаждавшая редких гостей пением «Ich grolle nicht». Зуров*, непременный член бунинского «семейства», тогда еще не приехал, он был где-то на излечении и появился несколько позже.

Галя и Марга, именовавшиеся «барышнями», обитали наверху, в так называемой «башне», и мне почти сразу бросилось в глаза, насколько они неразлучны, как редко спускались вниз поодиночке. Не надо было быть чародеем, чтобы обнаружить, что они тяготятся пребыванием в бунинском доме и только ждут случая, чтобы из него «выпорхнуть» и самоопределиться.

Забегая вперед, укажу, что случай этот совершенно непредвиденно представился им примерно год спустя, и они смогли на время перекочевать в Канны, а затем уехать под крылышко Степуна в Дрезден. Впрочем, там их ожидали невеселые события: во время пресловутой бомбежки саксонской столицы они, хоть сами уцелели, но потеряли все свое имущество, даже носового платка не осталось.

Иван Алексеевич счел этот «отлет» его домочадцев, с которыми у него тогда установились довольно прохладные отношения,— что было естественно — все же счел изменой, долго не силах был с этим примириться и весьма не по-светски порвал с той французской литературной дамой, которая этому «отлету»

---

* Л. Ф. Зуров — писатель, автор таких произведений, как «Отчина», «Древний путь», «Поле» и др. Жил у Буниных.

14 — 8850

содействовала и была под влиянием своего старого друга, Андре Жида, пламенной поклонницей Бунина.

Но я отклонился от темы. Вспоминая эти безрадостные в их однообразии дни, мне думается, что в бунинском решении приютить меня и не выпускать из-под своей опеки (он потом неизменно брюзжал, когда я на несколько дней покидал Грасс и отправлялся проведать старых приятелей, в Ниццу или Канны, а когда я только заговаривал о том, чтобы покинуть его гостеприимный дом, он буквально приходил в неистовство) некоторую роль попервоначалу сыграли именно «барышни». Им непременно захотелось видеть на «Жаннетте» человека «нейтрального», который внес бы известное равновесие в жизнь виллы и мог стать своего рода звеном между двумя «враждующими коалициями».

*

В одну из первых недель моего пребывания под бунинской крышей, после того как все домашние уже разошлись по своим комнатам, Иван Алексеевич появился у изголовья моей лежанки. Благо осень была теплая и я еще тогда спал на застекленной веранде.

Он пододвинул стул к моему изголовью и затеял длинный разговор, жалуясь на свою участь или, как он говорил, на «величие и падение» Бунина, говоря о своем нынешнем положении «нищего старика», которого ни за что, ни про что честит какой-то нахальный садовник. Вот, мол, когда-то интервьюеры вертелись вокруг него, как пчелы вокруг сот, а теперь он нищ как Иов, и никому в мире до него нет дела.

Особенно пессимистично он смотрел на будущее, которое в те дни действительно должно было казаться мрачным. Исход битвы за Англию еще не определился, а подцензурные французские газеты да заодно с ними и «Журналь де Женев», который иногда еще можно было купить в киосках, шумели о гитлеровской непобедимости. Между прочим, потом Бунин признавался, что умышленно сгущал свой пессимизм, чтобы не дай Бог не сглазить.

Чувствовалось, однако, что говорить со мной в тот вечер ему хотелось совсем о другом, и он поначалу только кружил вокруг да около, перескакивал с одной темы на другую, словно с трудом поднимаясь по некой воображаемой винтовой лестнице.

После короткой паузы — он докурил папиросу и сразу же вставил другую в свой вишневый мундштучок — без малейшей связи с предыдущим вдруг спросил, словно выстрелил:

— А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал,— он улыбнулся,— но для вас они, конечно, недостаточно пряны и изысканы. Вас съел Блок.

Мне было трудно ему ответить, да едва ли он моим ответом интересовался, потому что тут же добавил, что, по словам Горького, какие-то его стихи хвалил Толстой, который вообще к стихам относился «свысока». (Я запомнил это бунинское словцо!).

— Иван Алексеевич, мы когда-то уже с вами на эту тему говорили в Париже, когда после выхода тома ваших избранных стихов я клянчил у вас экземпляр этой книги, а вы якобы не хотели мне его подарить, и только чуть попозже, вняв моим «слезам», вытащили откуда-то, чуть ли не из-под кровати.

Он прервал меня: «Ах, негодяй, запомнили-таки, что я люблю укладывать новые книги под кровать, чтоб не сперли, заглянуть туда никто не догадается».

— Вы тогда и написали на нем что-то вроде «Аля, зачем вам мои стихи», поставив тут же целую колонку восклицательных знаков. (Том этот у меня сохранился, и бунинское посвящение я в точности запомнил.)

— Неужто? Значит, зря я вам его преподнес. Неужто вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян ветер сдует угрюмый
Золотого сухого шмеля!

Я много раз слышал, как Бунин читал свою прозу, но, кажется, в этот осенний вечер я впервые услышал, как он наизусть читает свои стихи. Несмотря на безыскусственность его чтения, на отсутствие в нем малейшего напряжения, эти строки до сих пор звучат в моих ушах.

— Ну, что — продолжал он,— разве это хуже швырянья ананасами да еще в небеса! Впрочем, вы несомненно приняли бы ближе к сердцу одну из самых ранних моих вещей, которую начал сочинять еще в Ельце, будучи гимназистом, значит, как вам известно, как бы под столом еще ходил, а закончил, когда уже

жил на приволье в имении моей бабки. О, это был «роман в стихах» — «Петр Лихачев». В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе, и я ими невольно заразился. Подумал, что с ними будет «вкуснее». Я был тогда очень горд моим созданием — но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту несколько строк, которые почему-то врезались в память.

Мне до сих пор досадно, что я тогда же не записал весь фрагмент его «романа в стихах», который он продекламировал. Впрочем, я думаю, что записывать его строки он бы мне не позволил. А на утро я запомнил всего лишь две строки из печальных строф — запомнил, потому что, вероятно, не понял их смысла и записал в тетрадь.

И над калиткою стояло:
Сей дом четвертого квартала...

Это, вероятно, самое раннее, что дошло до нас из всего бунинского творчества. А объяснил он мне смысл этих строк на следующий день: оказывается, в те допотопные времена в Ельце на каждом доме красовалась ржавая, жестяная дощечка с надписью — «дом мещанина такого-то, такого-то квартала», а номеров у домов не было.

Тут же он стал рассуждать на тему о том, как мудро он поступил, бросив гимназию, в которой пытались втискивать в него никому не нужные знания, и не давали того, что могло впоследствии пригодиться, и каким мудрым был его отец, который не принуждал недоучившегося четвероклассника вернуться в опротивевшую ему гимназию. Зато потом с помощью брата он сам себя образовал, четыре года всецело отдав чтению, изгрызая любимых поэтов. «К ним,— словно каясь, произнес он,— притесался и Надсон. Не взыщите, время было такое, но эта “любовь” продолжалась у меня недолго. Вы ведь хорошо знаете, что я не следую моде,— и тут, еще раз, чтобы “уколоть”,— не всегда питаюсь “ананасами”!».

За этим и без малейшей логической связи с «ананасами» он спросил, читал ли я Саади и, в частности, замечательный его

«Гюлистан» и, если читал, то запомнил ли слова великого перса о том, что «у всякого клада находится стоглавый дракон, который этот клад оберегает»?

«К чему бы это» — подумал я про себя.

Он точно угадал мои мысли. «Нет, это я так, вспомнилось, а то ведь если произнести имя Саади, все сразу тычут вам в нос — "иных уж нет, а те далече". А тут, собственно, и мудрости нет. Да, милый мой, вам еще не дано знать (и радуйтесь тому), что мерещится старикам ночью, когда им не спится. А пришел на память Саади собственно потому, что всяческих драконов вокруг нас видимо-невидимо, даже если никакого клада у нас нет и в помине. Есть драконы большие, большущие, которые иногда завывают по радио, но есть и малые, которые царапаются пребольно. Они до поры до времени затаились, но погодите... вы еще вспомните старика!»

Тут он мне стал, значительно (как мне тогда казалось) сгущая краски, излагать «соотношение сил» в его доме.

— Вот вы думаете, все у нас идет как по маслу. А ведь никакого масла мы и по продовольственным карточкам не получаем! В этой английской вилле вы уже несомненно успели рассмотреть — знаю ваше библиофильское пристрастье — стоящие внизу шеренгами какие-то мудреные богословские фолианты (владелица виллы была вдовой англиканского пастора), ткнулись носом в стоящую в саду, заслоненную деревьями, заколоченную часовенку, которую нам не велено открывать, и вот вы невольно думаете, что очутились в тихой пристани. Между тем, это одна видимость... В этом полузатерянном и, слава Богу, полузабытом всякими злыми людьми — а вы даже толком не знаете еще, как их на свете много («злых людей на свете много» — была одна из любимых его присказок, которую он вставлял в разговор кстати и некстати) — оазисе пока все спокойно и закономерно, если не считать, что подаваемую к обеду и возвещаемую гонгом бурду мы по традиции продолжаем именовать супом. Да, здесь пока все спокойно, но так же спокойно, как спокойно было на Шипке! Вы бы в свое время спросили у Немировича-Данченко, как там было... Но теперь мы вступаем в полосу блаженных «роковых минут», пропади они пропадом. Что Тютчеву могло померещиться? Скажите на милость, какие такие роковые минуты он переживал? Кажется, самой роковой была та, когда его выставили из Турина, и он лишился своего дипломатического поста! А все-таки

я, из упрямства, об этих минутах, даже более серьезных, и помышлять не хочу. Я предпочитаю уподобляться страусу и зарыться головой, если не в песок, то в мою подушку и принять легкое снотворное. Но я о другом. Вот скоро, чуть ли не на днях, прикатит сюда «скобарь» и тогда вы, а заодно с вами все жители «Жанетты» запоют уже по-другому...

Я переспросил его: "Скобарь?" Какой такой "скобарь"? Что за бука такая?»

— Ну, не прикидывайтесь, ведь вы его хорошо знаете, хотя, может быть, недостаточно хорошо. Вы его встречали только «на людях», а это другое дело, зато теперь узнаете поближе. Вы уже, конечно, догадались, что я имею в виду Леню (Зурова). Ведь он родом из псковского края, это у него на бровях написано, а в старину псковичей и прозвали скобарями.

В то время Бунин за глаза частенько величал Зурова «скобарем», но открыто этого прозвища применять не решался и мне до сих пор не удалось точно установить, был ли в этой кличке какой-нибудь пренебрежительный оттенок.

Было естественно, что после этой тирады я стал недоумевать, хотя был уже осведомлен о непрестанных трениях между Буниным и Зуровым. Все-таки мне было еще не вполне понятно, как же к человеку, который уже годами живет под его крышей (а Зуров с редкими промежутками прожил у Буниных до самой их смерти, унаследовав часть их парижской квартиры, а заодно с ней и архивы Ивана Алексеевича), человеку, которого он сам выписал из Прибалтики, которому поначалу всячески литературно покровительствовал, мог он относиться с такой нескрываемой неприязнью? Мне хотелось разгадать, было ли это у Бунина постоянным чувством или минутной вспышкой.

Оказалось (и это я мог обнаружить только впоследствии), отношения между ними были не только нелегкими, но настолько запутанными, что распутать их уже не было возможности. Сознание того, что, может быть, через час-другой ему предстоит вступить в какие-то препирательства с одним из своих сожителей, выдержать очередной наскок, неизбежно накладывало известный отпечаток на последний период жизни Бунина, действовало на его нервы.

Отношения между этими двумя людьми, если можно было бы изобразить графически, шли неравномерными зигзагами, иногда поднимаясь, чтобы затем резко упасть. Бывали, конечно,

периоды, когда Бунин был даже рад обществу Зурова, его присутствию, спорам с ним, несмотря на то, что они всякий раз кончались взаимной пикировкой, и каждый из них пытался всадить в другого какие-то «бандерильи» и тут же, как полагается по правилам тавромахии, отступить, чтобы подготовиться к новому нападению.

Время было военное и иной раз, прослушав лондонские радиопередачи, которые порой удавалось разобрать через глушение, Зуров с напускной важностью объяснял Бунину ход военных операций. Он был всеми жителями «Жаннетты» признан домашним Клаузевицом, и перед военным авторитетом Бунин вынужден был пасовать. Никакие стратегические движения, никакие диспозиции в его голове не укладывались. Он был человеком глубоко штатским и только негодовал, что события разворачиваются в слишком медленном темпе.

Зато иногда (точно его какая-то муха укусила) он начинал Зурова ненавидеть, и это сразу выходило у него наружу. Можно было тогда заметить, что в такие минуты в разговоре с Верой Николаевной он упоминал Зурова не иначе, как «твой воспитанник», а потом, чтобы ее поддеть, громыхал — «уже Чехов говорил, что если человек не понимает шуток, то пиши пропало... а твой воспитанник подлинно меднолобый — шуток не понимает, женщин боится, не только никогда не был влюблен, но никогда ни с одной никаких шашен не заводил, даже не пытался. Тоже мне, прекрасный Иосиф... Меня не провести — я знаю, где собака зарыта...»

Отношения между Буниным и его подопечным подлинно складывались волнообразно чуть ли не со дня его появления на бунинском горизонте. Многое мне оставалось в этих отношениях непонятным, даже когда я бывал непосредственным свидетелем происходившего, но многое потом мне объяснил милый, хоть и во многом наигранно наивный «Грасский дневник» Галины Кузнецовой. Отмечу при этом, что получив от нее книгу с надписью «в память далеких южных дней», я очень внимательно прочитал ее и потом спросил (мы оба жили тогда в Мюнхене) — как же так вышло, что она в своем дневнике с укоризной пишет о том, что «в нашем литературном кругу все всего боятся — боятся говорить, высказывать прямо мысль, суждение о ком-нибудь. Вдруг передадут? Вдруг выйдет сплетня? И от этого говорят только то, что безопасно, то есть пресно, скучно, обще,

никому не нужно, без красок. Все друг друга боятся», а на поверку выясняется, что, издавая свои записи примерно через сорок лет после описываемых ею происшествий, сама она, то и дело, чего-то побаивается, чего-то недоговаривает и пытается нарисовать грасскую довоенную жизнь, тогда еще на вилле «Бельведер», как некую идиллию, хотя когда ее дневник вышел из печати, мало кто уже оставался в живых из тех, кто был действующим лицом на страницах ее книги.

Бедная Галина отвечала довольно неопределенно. «Ах, всего, милый мой, не скажешь. К тому же я опубликовала только небольшую часть моих записей». С моей точки зрения — я не скрывал от нее моего мнения — эта «застенчивость» не была достаточным оправданием, тем более, что она отчасти умаляла ценность книги, которой будущим биографам Бунина придется пользоваться с оглядкой на то, что Кузнецовой не хотелось писать *обо всем* и она «наводила тень на ясный день». Психологически это, конечно, понятно, потому что, хотя викторианские времена и безвозвратно миновали, ее собственное положение не было вполне «нормальным» — непривычным на «Бельведере» и вдвойне непривычным в период житья на «Жаннетте».

Кузнецова в «Дневнике», между прочим, описала, как произошла эпистолярная встреча Зурова с Буниным. Зуров прислал на суд Ивана Алексеевича, которого он, мол, издали «боготворил», свою первую (и лучшую) книгу, «Кадет», за которой последовала и вторая, тоже изданная в Риге, «Отчина». Обе книги попались на глаза Кузнецовой, Бунин их куда-то ткнул, не читая. Кузнецовой они пришлись по вкусу, она их разрекламировала и настояла на том, чтобы Бунин ознакомился с ними. «Кадет» понравился ему, он учуял в книге свои собственные, бунинские акценты, а он грешным делом всегда бывал неравнодушен к своим эпигонам.

Сейчас уже малопонятно, как в «Отчине» его не оттолкнули хотя бы такие описания, как «Псков выплывал из туманов лебединым станом», которые своей васнецовской псевдо-красивостью привели в восторг Галину, но были всегда ненавистны Бунину. Сколько раз он насмешливо корил Блока за «лебедей, кричащих над Непрядвой», а тут под кузнецовским влиянием как бы на время прошел мимо них.

Как бы там ни было описано в «Грасском дневнике», Бунин «из самых благородных побуждений и вполне великодушно по-

советовал Зурову перебраться во Францию, стал через друзей хлопотать для него о французской визе, что тогда было связано с большой волокитой, и стал давать Зурову всевозможные советы, где и как устроиться в Париже. Впрочем, едва ли «практическая жилка» Ивана Алексеевича способна была сослужить службу кому бы то ни было!

Прошел год после получения «Кадета» и Зуров с кульком антоновских яблок (знал чем поддеть!), плетенкой клюквы и большим караваем черного хлеба, казавшегося, по словам Галины, «обломком лаврского колокола», появился на бунинском «Бельведере». «От него веяло древлянами и половцами», добавляла она и тут ей нельзя отказать в меткости.

Зуров быстро вошел в жизнь дома, но — я еще раз цитирую Кузнецову — «нельзя сказать, чтобы слился с ней». А когда он более или менее освоился, сразу перестал играть в ней «ученика», стал мечтать о полной самостоятельности и независимости, непременно хотел все делать «не как Иван Алексеевич» и досаждал довольно беспомощной Галине тем, что зазорно и не по возрасту им обоим быть на положении каких-то «полудетей». Это было вполне естественно для человека, который любил прибегать к формуле — «мы — писатели...»

Однако... однако в Париже Зуров должен был подыскать себе какое-нибудь пристанище, но все кончилось тем, что в бунинской столовой поставили ему кушетку (он только позже переселился в отдельную комнатенку) и на Оффенбаховой улице прожил он до конца своих дней. Было поэтому нормально, что постоянное присутствие постороннего человека в маленькой квартирке, когда от глаз этого человека ничто никак не могло скрыться, раздражало владельца квартиры, который свое недовольство нередко переносил «с больной головы на здоровую», то есть на мало в чем повинную и внешне покорную Веру Николаевну.

В «Грасский дневник», словно невзначай, вклинилась одна запись, на которой, пожалуй, стоит задержаться. Описывая периодически происходившие и всегда шумные, всегда с наскоками споры о Достоевском (они продолжались и в военные годы и всегда в несколько накаленной атмосфере), Галина отметила, что Вера Николаевна как-то довольно неожиданно обмолвилась, что «Достоевский ей многое объяснил и в самом Иване Алексеевиче, и в жизни всего их дома». Надо надеяться, что эта фраза не

дошла до ушей Бунина и что она вырвалась у Веры Николаевны необдуманно, вернее, ей не могло тогда прийти в голову, что кто-либо ее слова «увековечит». А между тем было немало глубокой правды в этой примитивно понимаемой «достоевщинке», которая нередко выскальзывала на поверхность их жизни. Она невольно создавалась в той нарочитой атмосфере, которую Бунин, не отдавая себе в этом ясного отчета, создавал сам, в той напряженности и накаленности, которая из-за этого возникала и не могла не возникнуть. Какой-то «ехидный», неласковый огонек всегда тлел под тем, что могло уже казаться пеплом, и всегда мог нечаянно разгореться. Вера Николаевна была отчасти права, и стоило бы только вспомнить иные сцены из «Села Степанчикова», чтобы понять, что ее замечание — выражаясь избитым штампом — было «криком наболевшей души», очень наболевшей и тем более для нее мучительной, что свою боль она непременно хотела от всех скрыть.

А Иван Алексеевич, обычно сдержанный, часто недослышав то, что ему было сказано или в чем-то не разобравшись, мог вдруг вспыхнуть и разъяриться, наговорить много лишнего, написать ненужно резкие оскорбительные письма, в конечном счете приносившие вред только ему самому и создававшие у него репутацию «скифа» — это словцо в применении к нему вырвалось у Андре Жида, который очень его ценил и литературно, и лично, хоть и знал очень мало. Впрочем, должен оговориться и подчеркнуть, что за четыре с небольшим года совместной жизни я подобные вспышки мог наблюдать не больше двух-трех раз, причем источник, их породивший, оставался всегда одним и тем же.

Между прочим, я всегда думал, что именно нечто подобное произошло у него когда-то в Линдау с немецкими таможенниками, когда он после путешествия по Германии переправлялся в Швейцарию. Об этом инциденте тогда много писалось в печати, но, вероятно, все было вызвано взаимным непониманием. Бунин, еще гордый своим званием нобелевского лауреата, при паспортном и валютном контроле разгорячился, не поняв вопроса, резко на него ответил и пришел в бешенство. Слыша его выкрики на непонятном языке, германские чиновники не только его обыскали, но с издевкой заставили раздеться и простудили. Этот случай он запомнил до своих последних дней и еще увеличил ненависть к гитлеровскому режиму!

Такого же порядка инциденты — конечно, без прискорбных результатов — периодически происходили у него с сумрачным стариком-садовником «Жаннетты», которому по контракту с владелицей виллы предоставлялось право пользоваться фруктовыми деревьями из сада и разводить в нем огород. Садовник естественно наведывался по нескольку раз в неделю, чтобы следить за своим огородом. С самого начала Бунин невзлюбил его, то ли за его не располагающий к разговору вид, то ли потому, что плохо его понимал. «Несносный старик», как Бунин его величал, говорил на местном жаргоне. Иван Алексеевич, чтобы позабавиться и подразнить садовника, иной раз срывал недозревший абрикос или какую-нибудь овощь из запретного огорода. Обычно садовник молчал, но иногда и он вскипал, и тогда не было сил остановить их перебранку — один извергал самые пронзительные русские ругательства, другой отвечал ему по-провансальски. Хоть это для Бунина и было своего рода развлечением, но все же после очередной перебранки сердце его колотилось сильнее. Впрочем, на следующий день все было как ни в чем не бывало, хоть начинай сначала!

Я упоминаю эти незначительные и, казалось бы, лишенные интереса эпизоды грасской жизни неспроста. В какой-то мере они могут объяснить дальнейшее.

*

Мысленно переношусь обратно к тем дням, когда из какой-то санатории приехал столь пугавший Бунина «скобарь» — это было в самом конце 40-го года, совсем незадолго до Рождества, и, действительно, как предупреждал меня Иван Алексеевич, что-то сразу же в распорядке жизни «Жаннетты» изменилось, хотя очень трудно словами определить, в чем это изменение заключалось, потому что оно вызывалось какой-то совокупностью каких-то мелочей.

Первое, что меня поразило, было то, что когда Зуров выходил из своей комнаты, хотя бы на минуту, он непременно запирал ее на ключ. Вслед за этим немедленно стал проделывать такую же церемонию и Иван Алексеевич. А так как он постоянно забывал, сходя вниз, захватить с собой папиросы, то после очередной трапезы неизменно просил меня подняться за ними. Теперь ему приходилось вручать мне ключ, и при виде моей гри-

масы он наставительно добавлял: «Только не забудьте запереть за собой дверь на ключ».

У нас были установлены повинности по кухне и каждый (конечно, кроме Ивана Алексеевича) должен был поочередно заниматься растопкой плиты и выработкой и приготовлением меню (большого искусства тут не требовалось, да и воли фантазии нельзя было дать — макароны да чечевица уже почитались роскошью!). До того все шло мирно и никогда ни с кем не было каких-либо пререканий, но тут Вера Николаевна заявила, что будет сама дежурить за Зурова, потому, мол, что кухонные обязанности могут отвлечь его от работы над романом. Этот повод естественно вызвал некоторый ропот и, главное, возмутил самого Бунина.

Досадно было и то, что по вечерам Иван Алексеевич стал реже появляться внизу, да и «барышни» из-за этого предпочитали оставаться в своей «берлоге», куда, кстати сказать, никто из домашних не допускался. Даже вечерние радиопередачи перестали на время привлекать Бунина (тут, конечно, было и то, что новости, которые он мог иногда, с большим трудом, услышать из Лондона, были сплошь неутешительные, а «какой смысл зря огорчаться», говаривал он), а о том, чтобы что-то почитать из написанного им, уже не было речи. Ведь это был период его непрерывной работы над «Темными аллеями», а до того, когда он был в хорошем настроении, он нередко читал вслух написанное, даже если оно еще не было окончательно обработано.

Напряженность создавалась еще и тем, что Зуров умел без слов напоминать о своем присутствии. Под чрезмерно вежливой оболочкой он умел вдалбливать в собеседника свое собственное мнение, не слушая возражений. Спорить с ним было не только трудно, но и совершенно бесцельно. Он повергал в прах своего оппонента ссылками на свой археологический опыт в эстонской части Псковщины или на те материалы, которые ему удалось собрать для его эпопейного романа «Зимний дворец», бывшего тогда еще в стадии «куколки» и никогда им не законченного. Эти ссылки он приводил постоянно, даже если они не имели ни малейшего отношения к дискуссии, вернее, к ее видимости.

Иван Алексеевич втихомолку — в каком-то смысле он побаивался резкостей Зурова — уходя в свою «обитель» и перед сном прощаясь с Верой Николаевной, приговаривал: «А кстати, как подвинулся "Зимний дворец", что удалось к нему пристро-

ить?» — и возмущенная Вера Николаевна, болезненно переживавшая эту иронию мужа, только бормотала: «Перестань, Ян, ведь он тебя не трогает...» — «Только этого не хватало». Этот обмен полумеждометий, кажется, был тогда ритуалом!

*

«Знаю я, как память коротка», написала Ахматова и я вспомнил эту ее строку, читая некоторые примечания и комментарии к советскому девятитомному собранию сочинений Бунина.

В качестве примера процитирую отрывок из бунинского письма, которое в этом издании приводится: «... В прошлом году еще мог писать, а теперь не имею больше сил. Холод, тоска смертная, суп из картошки и картошка из супа»[1].

Надо тут отметить, что департамент Приморских Альп, в котором находится Грасс, картошки и вообще овощей почти не производит, и в военные полуголодные годы, то есть в тот период, когда я у Бунина жил, картошка была у нас величайшей редкостью. Ее почти невозможно было достать даже на черном рынке, и только несколько драгоценных картофелин иногда, крайне редко преподносили Бунину в знак почитания знакомые русские куроводы из окрестностей Грасса, которые разводили эту редкость только для себя. Эти полузабытые нами плоды земли Бунин тотчас уносил к себе наверх, хранил за семью замками и ни с кем, конечно, ими не делился.

Не менее непонятно в этом письме заявление о том, что он не имеет сил писать: это был как раз период его напряженнейшего творчества, когда над рассказами, составившими его сборник «Темные аллеи», он работал с утра до вечера, почти без передышки, точно торопясь их дописать.

Еще менее понятна фраза в письме к старому другу, писателю Телешову, о том, что «мы пять лет просидели в Грассе, пережили много всяких лишений, были под властью то итальянцев, то немцев — гестапо которых долго разыскивало меня, что, однако, не помешало мне написать большую книгу рассказов»[2].

Последнее замечание прямо противоречит предыдущему, но заскок памяти не в этом: курьез в том, что Бунин распространяется о том, что его якобы разыскивало зловещее гестапо. О, если бы только это учреждение могло кого-то разыскивать, кто жил у себя на вилле, кого в маленьком городишке знал в лицо чуть ли

не каждый встречный-поперечный (что, кстати сказать, Бунину очень льстило!), и не найти...

Наряду с бунинскими письмами в упомянутом советском издании в качестве надежного источника приводятся и некоторые письма Зурова, адресованные советским бунинологам. Иные утверждения в них настолько мало соответствуют действительности, что кажутся не столько продиктованными фантазией, сколько сделанными с определенной целью.

Для пояснения: «Там — на вилле "Жаннетт" мы пережили итальянскую и немецкую оккупацию. Голодали... Скажу одно, в те годы население Грасса съело всех собак и кошек». Жизнь в Грассе Зуров, очевидно, спутал с описанием того, что происходило в Париже в 1871 году во время франко-прусской войны.

А дальше: «Грасские земли плодородием не отличаются, все заняты цветоводством. Немного помогал огород, который я, приехав, разбил на террасах (лук, чеснок, пуашиш, порей и помидоры...»[3]).

Я уже упоминал, что террасы были владением садовника, который на них, действительно, разводил, но исключительно для себя, небольшой огородик. Что касается зуровского огорода, то занимал он едва ли один квадратный метр и находился в том углу сада, где высилось замечательное, очень старое фиговое дерево, заслонявшее солнце, и поэтому огородник-профессионал не стал бы ничего разводить на этом клочке земли. Зуров же, действительно, за своим детищем ухаживал как только мог, носил воду для его поливки в кувшине из ванной комнаты и выращивал с десяток луковиц и примерно десятка два томатов. Так что все эти ботанические упражнения ни в какой мере не могли быть помощью в хозяйстве, а скорее игрой, приведшей к большим и драматическим осложнениям, о которых скажу несколько слов в дальнейшем.

Отмечу еще, что в тех же примечаниях к сочинениям Бунина, о которых я упоминал, приводится письмо Зурова, сообщавшего в Москву: «При немцах Иван Алексеевич не напечатал ни строчки. Ему из Швейцарии предлагали сотрудничать в издававшихся в оккупированных землях газетах и журналах, но он отказался. Был прислан потом к нам из Канн человек. Мы думали, что это очередной гость, но он предложил Ивану Алексеевичу и мне сотрудничать в журналах и газетах. Мы отказались»[4]. Тот, кто опубликовал это письмо, очевидно, не задумался над тем,

почему приглашение участвовать в «коллаборантской» прессе должно было идти через Швейцарию. А рассказ о каком-то таинственном незнакомце, под видом гостя проникшем к Бунину, чтобы приглашать его (по-видимому, в жеребковскую газету, другой русской печати в период оккупации не было) — сплошной миф, тем более, что случайных гостей никогда на «Жаннетте» не было.

Что до швейцарского предложения, то тут Зуров все перепутал. Это предложение относилось к французскому переводу еще не завершенных «Темных аллей». Я уже подробно описывал, в чем там было дело[5], и потому не хочу повторяться. Вкратце только скажу, что когда Андре Жид жил в Ницце, туда приехал видный лозаннский издатель в надежде получить от него какую-нибудь неизданную рукопись. Случайно я в этот день был в Ницце и зашел к Жиду, чтобы поиграть с ним в шахматы. «Как хорошо, что вы пришли вовремя»,— встретил он меня и сразу же предложил швейцарцу выпустить вместо его книги томик неизданных рассказов Бунина. Не спрашивая меня, он тут же добавил: «Вот рядом с вами сидит будущий переводчик, а напротив вас будущий редактор, ведь в деле переводов у меня немалый опыт!..»

Хотя значительная часть перевода была мной тогда же выполнена и Жидом отредактирована, в конечном счете из-за его отъезда в Африку и еще из-за того, что некоторые рассказы, входившие в переводимый сборник, были ему не по душе (осечка произошла на «Трех рублях», рассказе, впоследствии Буниным из сборника исключенным), вся эта затея лопнула и Ивану Алексеевичу, встретившему ее с восторгом,— шутка сказать: рассказы Бунина под редакцией Андре Жида — принесла больше горечи, чем радости.

*

Я должен немного отклониться и вспомнить, что в посвященной Толстому книге Бунин рассказывает, что «Лев Николаевич в кавказских делах и в осажденном Севастополе всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс. Однажды, сидя в севастопольских ложементах, он вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля — увидал крысу».

Думается, что Бунин вспомнил этот штрих из толстовской биографии неспроста, так сказать, для самооправдания. Крыс он,

правда, не боялся, и я не раз бывал свидетелем эпической картины: он гнался за ними в погребе «Жаннетты», вооруженный своей палкой, и крысы, совершенно обнаглевшие и иногда стаскивавшие со столов что попало, кидались на него и при этом издавали какой-то несносный удручающий визг, который разносился по всему дому. Но зато — я понял это только впоследствии — боязнь крыс Толстым была как бы параллелью к боязни пресмыкающихся у Бунина. Он панически боялся всего, что извивалось, что ползало по земле, не только змей, но даже ужей, не только неприятных своим видом ужей, но даже безобидных маленьких ящериц, которые в солнечные дни ползали по нагретым камнем на террасах бунинской виллы. Я смеялся над его страхами, потому что маленькие ящерицы были «симпатичны» и, казалось мне, чистоплотны.

— Вы их не знаете, — объяснял мне Бунин, — вы не думаете о том, что их предками были страшнейшие ящеры, какие-то там игуанодоны, картинки которых я с величайшим омерзением где-то недавно видел. Наверное, они сохранили инстинкт предков и если подрастут, черт знает что наделают!

Я вспомнил о крысах и ящерицах, потому что как-то в неурочный час, как будто во время послеобеденной «сиесты», я спустился вниз со своей «башни» (я унаследовал ее от «барышень»), как вдруг из кухни до меня донеслись отчаянные крики, словно туда проник тигр, потому что голоса кричавших было даже трудно сразу определить. Я опрометью кинулся к доносившимся крикам и увидал нечто совершенно невообразимое: перед моими глазами предстали две сцепившиеся друг с другом фигуры, у одной в руке был топор, тот самый, которым я утром колол дрова на террасе, другая размахивала тяжеленным кухонным пестиком, который обычно стоял в солидного размера ступе на кухонном столе. Это единоборство сопровождалось нечеловеческими криками и потоками самых «изысканных» ругательств, исходивших от обоих бойцов. Я не помню, как я ринулся разнимать взбешенных противников, с каким трудом (и с синяками!) все же мне удалось развести их и почти силой увести бледного, трясущегося от злобы и негодования Ивана Алексеевича в его комнату.

Такого рода сцены не забываются, но я должен сказать, что в этот день это был в своем роде зенит. Иван Алексеевич, после того, как мне для его успокоения пришлось поить его коньяком

(Вера Николаевна была занята «откачиванием» Зурова), поведал мне, что когда он зачем-то пошел на кухню, следом за ним туда буквально ворвался Зуров, который начал буйствовать, обливал его «трехэтажными» ругательствами и обвинял в том, что Бунин без пользы для себя и только, чтобы ему насолить, вырывает из его огорода незрелые луковички и срывает зеленые томаты, что он, мол, их пересчитал и давно за этим следит и, наконец, якобы поймал Ивана Алексеевича с поличным.

Я готов даже допустить, что подозрения Зурова не были измышлениями, недаром Бунин хвастался, что «саботирует» огородные труды ненавистного хозяйского садовника. Но, конечно, центр тяжести не в том, были ли основательны или неосновательны зуровские обвинения. Схватка на кухне оказалась каплей, переполнившей чашу. Успокоившись, Зуров сам догадался, что ему надлежит, хотя бы на время, испариться и несмотря на слезы и стенания Веры Николаевны, Иван Алексеевич был неумолим. Зуров был отправлен в «изгнание» — «пусть едет хоть на Чертов остров», кричал Иван Алексеевич бледной Вере Николаевне, не очень умело пытавшейся заступиться за бедного «Леню» и парировавшей нападение Бунина вопросами: «Ян, а может быть правда, что ты сорвал у него томат?», что, конечно, еще больше его раздражало.

Зуров был «сослан», но его «Чертов остров» оказался неподалеку, он отправился к своему приятелю-куроводу Т., человеку малокультурному, «от сохи», но доброму и симпатичному, который смотрел на Зурова, как лилипуты на Гулливера. Зуров сумел его убедить, что он чуть ли не великий русский писатель и не переставал поучать.

Кстати сказать, я долго хранил молчание об этом тягостном эпизоде и только поведал о нем при встрече Адамовичу, единственному, с которым мог тогда делиться моими переживаниями. К моему удивлению, Адамович, услышав мой рассказ, ничуть не был поражен. «Дорогой мой, — сказал он, выслушав меня, — ведь к этому шло и рано или поздно нарыв должен был лопнуть». Впрочем, Адамович оказался плохим пророком — нарыв не лопнул!

Прошло несколько дней, может быть, неделя. Все время Вера Николаевна была сама не своя, хотя на больную тему не заговаривала, но как-то душевно хирела и скрыть этого не могла.

В один прекрасный день она после мрачного завтрака исчезла, не попрощавшись, не предупреждая о своем уходе, что было весьма удивительно и не в ее характере.

Мы остались вдвоем с Иваном Алексеевичем и, так как после пережитых «потрясений» он некоторое время не решался никуда отлучаться из дому, мы гуляли с ним по саду.

— Вы, вероятно, догадались, куда исчезла Вера, — сказал он мне, не веря, что я не был поставлен в известность. — Вы должны понять, что в ней говорит неудовлетворенное материнство и с этим я ничего не могу поделать, это у женщин очень, очень сильное чувство. После короткого «карантина» мне пришлось дать свое согласие на возвращение «милого» (он произнес этот эпитет со скрежетом зубовным) Лени. Мне придется дальше продолжать нести свой крест, но у меня нет выхода. Вы видите, что из-за этого переростка она стала худой как скелет, а куда ей...

А потом добавил: «Бог меня за мои грехи наказывает, а тут ничего не поделать, надо смириться. Теперь-то вы поняли, почему я вам рассказывал какую-то притчу о стоглавом драконе. Ведь я не уверен, что эти слова принадлежат Саади. Я сослался на него, потому что вы говорили, что нашли в хозяйской библиотеке какую-то английскую книжку о персидских лириках и с интересом ее читаете, так что мое предупреждение должно было произвести на вас большее впечатление. Ведь и ваш друг — нет, наш общий друг — Адамович нередко пишет "как кажется, сказал Плотин или Фома Аквинский" и иди разберись, сказали ли они то, что он им приписывает или нет, зато как красиво и убедительно звучит! Чем я хуже!»

Я был рад услышать эти слова, потому что решил, что его «гнев» спал, но не тут-то было, он тотчас же вернулся к волновавшей его теме: «Нет, что же это за чудовище, которое за все годы, что я его наблюдаю, если какой-либо женщине и улыбнулся, то только за приглашение к обеду. Он меня уверял, что связь с женщиной тормозит его творчество, в которое он вкладывает все свои силы — слышите меня, — все. А я, грешным делом, именно в этом всегда черпал вдохновение, да и не я один, Толстой без этого бы не написал "Анны Карениной", а вот "Зимнему дворцу" это мешает. Да, сейчас он, вероятно, вернется, и только, пожалуйста, ничему не удивляйтесь, не ахайте и не охайте — вам-то что, а я проглочу эту горькую пилюлю, как проглотил те, которыми вы меня сами кормили после "драмы на кух-

не". А, кстати, недурное заглавие для небольшого рассказа, хотя скажут, что я его стянул у Чехова с его "Драмой на охоте". Нет, беру свои слова назад — даже иносказательно не хочу такую сцену описывать, слишком противно, давайте забудем о том, что было — пусть это будет "то, чего не было"».

К вечеру Зуров вернулся с «контрибуцией» — куском курицы, который был вручен Ивану Алексеевичу Верой Николаевной и так как, кроме того, он получил еще пять картофелин, то перемирие было «подписано». Насколько?

*

Говорится, что «худой мир лучше доброй ссоры». Этот «худой мир» и был установлен и, казалось бы, жизнь «Жаннетты» пошла без бурных инцидентов, обе стороны себя сдерживали, а ведь Иван Алексеевич был незлопамятен. Общее внимание было сосредоточено на событиях, развертывавшихся на русском фронте. Бунин привез из Ниццы огромные карты пограничных областей Советского Союза, начав было отмечать булавками ход военных действий, но его «штабная» деятельность продолжалась недолго. Когда гитлеровские армии проникли вглубь страны, он заявил, что ему не под силу передвигать тесемку, отмечавшую линию фронта, тем более что не может верить германским сводкам, так как и мест, которые в них упоминаются, нет на его картах. «А к тому же лучше карты со стены снять, неровен час, заглянут сюда какие-нибудь мордастые оккупанты и по голове за эти карты не погладят».

Он был особенно мрачен, когда в его сводках стали появляться знакомые ему названия — Елец, Орел, Тула. Но в настоящий раж он был приведен, когда у небольшого лесочка, к которому примыкал сад «Жаннетты» и куда можно было пройти через полускрытую, едва заметную калитку (до того мы считали, что в случае чего через нее можно улизнуть!), появилась доска с изображением черепа и с надписью — «Осторожно — лес минирован». «Нет, они потеряли голову,— негодовал Иван Алексеевич,— минировать *наш* лес, ведь это патология!»

Так шло — почти без перебоев — медленно, угрюмо и главное, однообразно — в Ниццу или в Канны Иван Алексеевич ездить перестал, все его знакомые куда-то оттуда поисчезали и дела у него там больше не было никакого. Но вот в одно прекрасное утро (это было в августе 44-го года) щемяще завы-

ли сирены. Воздушные тревоги уже не раз раздавались и в небесной сини Прованса иной раз можно было приметить черную точку летевшего бомбардировщика. Однако, как правило, отбой никогда не заставлял себя долго ждать.

На сей раз, однако, что-то происходило не «по правилам». Проходил час, другой, третий, а отбоя не было и из-за этого «неуместного» внешнего спокойствия волнение Бунина не переставало нарастать. То, накинув свой потрепанный халатик, он отправлялся в сад, чтобы «отсидеться»в облюбованной им для подобных случаев будке, в которую «негодяй-садовник» складывал свои инструменты. Эта будка, крытая соломенным навесом, вплотную прилепилась к скале, была малоприметна и потому Бунин считал ее верным убежищем от бомб, неким «бункером»! То он снова поднимался к себе, может быть, он что-то увидит через окно, то опять сбегал в столовую, стараясь разузнать по радио, что, собственно, приключилось.

Но радио вдруг онемело, и только после полудня как-то случайно удалось выяснить, что воздушная тревога была вызвана высадкой союзного десанта на средиземноморском побережье, где-то в районе Фрежюса, примерно на расстоянии какой-нибудь сотни километров.

Несколько дней прошло в нервном ожидании, усугубляемом отсутствием информации и наполненном самыми противоречивыми слухами. Иногда со стороны Эстерели слышался артиллерийский гул, раз-другой дымки появлялись над островками, лежащими около Канн, но всего этого было Бунину недостаточно. Он готов был отчаиваться из-за той медлительности, с которой — по его мнению — развертывались военные операции. «Вы видите, ждать нечего, все погибло», — неистовствовал он, когда наступало долгое затишье.

А то радостное событие, которого мы ждали более четырех лет, наступило на рассвете 24 августа. Немцы из Грасса ретировались без боя, мы могли видеть, как последние их части спускались мимо виллы по Наполеоновой дороге в полном беспорядке, и через несколько часов первыми вступили отряды канадских военно-воздушных сил, высадившиеся на планерах вблизи пляжей.

«Что было у нас на душе — описать невозможно», — писал Бунин одному из своих корреспондентов. Он потом красочно повествовал, как, спустившись в город, он не узнал обычной грас-

ской толпы. «От радости словно все лица преобразились,— говорил он,— точно все вдруг похорошели!» И затем был совершенно ошарашен, когда, зайдя в один из кабачков, заказал, «чтобы отпраздновать освобождение», двойную рюмку коньяку, а хозяин провозгласил, что «сегодня все даром», и достал заветную бутылку с каким-то большим количеством звездочек. «Такого еще не было во всей истории Франции»,— говорил он, вернувшись домой, рассказывая о виденном со слезой в глазах.

Вскоре, едва только мне представилась какая-то возможность (железнодорожное сообщение вдоль побережья было восстановлено только позднее, так как большинство мостов было взорвано), я сложным кружным путем как-то добрался до Парижа.

Бунины еще некоторое время вынуждены были оставаться в Грассе, потому что их парижская квартира была еще «оккупирована». На время их отсутствия она была сдана с условием, что жильцы освободят ее по первому требованию, но не тут-то было — они отказывались съезжать, и для их изгнания и водворения хозяев пришлось применить угрозы и чуть ли не шантажировать их. «В Париж, очевидно, ехать нельзя еще долго, я в отчаянии и взбешен»,— писал мне нетерпеливый Иван Алексеевич, а чуть позже: «Всем пишу, чтобы вышибли этих негодяев, которые не хотят съезжать. А меж тем мне, может быть, придется вдруг сорваться в Париж из-за моей печени».

Он не переставал жаловаться на всяческие недомогания, но, мне кажется, что главное было в том, что почти сразу после моего отъезда из Грасса атмосфера на «Жаннетте» сильно сгустилась.

Чтобы лучше осветить создавшееся там положение, я лучше всего приведу здесь полный текст одного из бунинских писем от 25 января 45-го года:

«Дорогой Захар (он иногда так называл меня в письмах, самого себя именуя Обломовым), уже давно получено ваше письмо, уже не помню от которого числа. С тех пор вы опять точно сквозь землю провалились. Не ответил вам сразу и не отвечал и потом, ибо я совсем никуда уже месяца 1 $^1/_2$: все болевая точка где-то справа — не то в печени, не то ниже, и слабость, и что-то противное во вкусе (м. б. от мерзкой пищи — у нас еще никогда, кажется, не было так скверно в отношении еды). Январь лютый — холод, снег. С 24 декабря обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Ник., Зурова вижу раз в неделю,

случайно встретясь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем вовеки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей вашей (наверху) — выскакивает как бешеная собака: "Где мой хворост?" — "Не знаю" — "Вы сейчас взяли и заперли на замок!" — "Не брал" — "Нет, взяли!" — "Что ж мне божиться что ли?" — "А что ж вам стоит побожиться! Вы же нахал!" — "Вы с ума сошли?" — "Вы жук, вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого только учились! У Чехова, у Толстого!" и т. д. Я остался на этот раз совершенно спокоен, — даже отпер комнату и показал ее, — хворост был не его, но уж довольно с меня наконец! Точка! Вот и все новости. Был у Коломбана (нашего общего доктора), он меня осматривал, сказал, что надо съездить в Ниццу, сделать радиографию. Но денег у меня на это нет — целую. Ваш Илья Ильич Обломов»[6].

По дальнейшим письмам могу только судить, что в излюбленном им Грассе ему стало неуютно и он стал там себя чувствовать «не в своей тарелке», да и могло ли быть иначе, если подобные описанному инциденты могли происходить в его собственном доме, и не было больше рядом с ним того подобия громоотвода, которое предоставляло мое присутствие.

Но прошла и эта полоса его жизни. К маю того же года Бунины — втроем — благополучно вернулись к своим парижским пенатам.<...>

[1] Бунин. Собрание сочинений. М., 1966. Т. 7. С. 369.

[2] Исторический архив (издание АН СССР). М., 1962. № 2. С. 160.

[3] Там же. С. 157.

[4] Там же.

[5] Журнал «Континент». № 8. С. 366–367.

[6] Я полностью сохранил бунинские знаки препинания, изменив только орфографию (он писал по старой) и «вы» у него всегда с заглавной буквы.

ЭММАНУИЛ РАЙС

Эммануил Матусович Райс — критик, литературовед — родился в 1909 году в Киеве. После революции семья уехала в Бессарабию. Райс окончил Бухарестский университет. Оказавшись в Париже, сдал экзамены на библиотекаря и работал в Париже в Национальной библиотеке. Он был настоящим эрудитом. Знал 18 языков, изучал историю философии, религии, искусства. Его критические статьи о современной литературе печатались в разных эмигрантских изданиях. Выпустил книгу «Под глухими небесами» (США, «Содружество зарубежных писателей», 1967) — из дневников 1938—1941 годов. При помощи друзей, в том числе и И. Чиннова, он в середине 1950-х годов устроился на службу на радиостанцию «Свобода». Но из-за экстремистских антикоммунистических убеждений, которые он не скрывал, из-за высказываний типа: «Эйзенхауэр — наймит Хрущева» ему пришлось оставить радиостанцию. Позже Райс преподавал в Парижском университете. А когда в последний год жизни заболел и оказался в университетском госпитале, то, по воспоминаниям К. Померанцева («Сквозь смерть». Лондон, 1986), для больных в столовой читал «настоящие ученые доклады по истории древних культур и религии, начиная с персидских, индусских, греческих, римских и кончая европейскими. Он много говорил о поэзии, зная наизусть буквально тысячи стихотворений на различных языках». Умер Э. М. Райс в Париже в 1981 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Париж. 23 марта 1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Ваши «Линии» получил, благодарю и уже сделал им первый осмотр. В последнем стихотворении сборника Вы обвиняе-

те нас, читателей, в том, что мы «перелистаем(ют) не читая»[1]. Это Вы напрасно. Вот я, Ваш покорный слуга, не только «перелистал», но и прочел и даже не без внимания и понравилось. По отношению к «Монологу» Вы сделали *большие* успехи и Ваша личность очень обособилась независимо от «Парижа», то бишь от Терапианы[2]. Некоторые стихотворения (4–5) совершенно замечательны и окончательны. Мастерство высоко-квалифицированное, даже «штучки» начинаете себе разрешать, и выходит удачно.

Если так будете продолжать расти — всю эмиграцию перерастете и не одну только эмиграцию. Если бы я писал стихи, то проникся бы к Вам завистью, кусающею ногти. Есть у Вас и недостатки, но об этом, как и подробнее (точнее) о достоинствах — устно, если бы Бог дал снова с Вами свидеться в ближайшее время.

В общем — обвинение мое Вас в классицизме — заколебалось, но — дерзайте! Плевать Вам на Терапиан. Вы теперь «сами с усами» и почище ихняго. Непременно пущу о Вас рецензию[3]. Вот послезавтра тут будет Н. Б. Тарасова[4] — оговорю с ней и пущу. У меня тут целый выводок талантливых за 1960 год. Кроме Вас еще пущу Одоевцеву, Ильинского и Форштетера. Если двух последних еще не знаете — охотно покажу — весьма и весьма интересно. Это Вам не Анатолий Штейгер! А если знаете — интересно было бы узнать Ваше о них мнение.

Покамест же, будьте здоровы и да не ослабит Ваш успех смирения и строгости к себе. Они необходимы для дальнейшего роста. Привет плантаторам и индейцам. Искренне Ваш Э. Райс.

[1] Строчка из стихотворения И. Чиннова «Пожалуй, и не надо одобрения...»

[2] Ю. Терапиано считал, что для русской поэзии единственный перспективный путь — следовать ее классическим традициям. Акмеизм, с его точки зрения, был лучшим достижением серебряного века. К новаторским поискам, в том числе и И. Чиннова, он относился настороженно. И с его мнением нельзя было не считаться, т.к. он был ведущим критиком «Русской мысли».

[3] Рецензия вышла в журнале «Грани». 1960. № 47.

[4] Заместитель главного редактора «Граней».

Париж. 4.10.1964

Дорогой Игорь Владимирович,

Ну — как Вы привыкаете к новой стране[1]? Все-таки Шекспир и Эмили Дикинсон стали Вам доступными. Уж это одно кое-чего да стоит, хотя с долларниками, вероятно, скучновато. Интересно будет узнать Ваши впечатления. Понимаю, что Вам на первых порах приходится трудно, а потому не удивлялся Вашему молчанию.

Что до меня — специализируюсь на новой русской поэзии, хотя дело приходится иметь больше с подсоветской. Но и там появилась надежда на выздоровление. Евтушенко — это еще, конечно, «не то», но уже подрастает ему смена,— всякие там Сосноры и Матвеевы и прочие — обещают. Кое-кто из них — из молокососов, подвизающихся в «Юности» и пр., возьмет да и вылупится.

Наконец у меня появилась тень возможности на издание антологии русской поэзии по ... русски. Собираюсь заняться всем поэтическим наследием, начиная со «Слова о полку» и с «духовных стихов» (былины — бейте меня — не люблю — не доходят) до молокососов из «Юности».

Конечно, и Вы, надеюсь, не откажете в любезности в ней фигурировать. Я и подобрал у Вас следующие тексты:

«Немного рыбы и немного соли...» (по мнению большинства, как и по моему,— пока Ваш шедевр).

«Нам кажется, все ясно, очень просто»

«Петух возвещает, чуть свет»

«Вот опять вдали кряхтенье»

«Скажи, что случилось с миром» и

«О Воркуте, о Венгрии...»

Как Вы понимаете, для включения всех этих текстов, понадобился бы тот объем книги (1000 страниц), который я потребовал.

Но, как Вы тоже, верно, понимаете, получу я наверняка меньше — страниц 800, а то и 600 только (на меньше, пожалуй, не стоит и соглашаться, не правда ли?). Так что, скорее всего из вышеуказанного выбора придется сделать новый, сокращенный — в зависимости от места. Но Вы, верно, и в Мюнхене видели, что торгуюсь я упорно. Не всегда же иметь дело с заведомым недоброжелательством! Легко не сдамся. Так что есть надежда на 2–3 стихотворения, а то и на больше.

Только не в этом дело. В случае этой антологии, Ваша судьба будет разделяться всей русской поэзией. Если придется сокращать Чиннова, надо будет сократить и Пушкина. И наоборот. Но, как Вы видели, до сих пор мой выбор основывался на Ваших обоих до сих пор опубликованных сборниках. Я уверен, что со времени выхода второго, Вы не переставали творить и... расти. Так что, вероятно, в настоящее время у Вас есть новые стихи, не только не хуже, но и лучше прежних. Поэтому был бы Вам очень благодарен, если бы Вы согласились прислать мне некоторое количество Ваших новых стихов для пополнения моего выбора[2].

Кроме того — Вы мне как-то говорили, что лучшее, по-Вашему, стихотворение Алексея Эйснера начинается строчкой «Человек начинается с горя»[3]. Мне так и не удалось его отыскать. Так что прошу Вас не отказать в любезности сообщить мне, где и когда оно было напечатано. А еще лучше (особенно если оно не длинное) — переписать мне его от руки. Простите за беспокойство и заранее Вас благодарю. Искренне Вам преданный Э. Райс.

P. S. Если встречаетесь с Ю. П. Иваском или переписываетесь с ним — передайте ему, пожалуйста, мой сердечный привет.

E. RAIS 5 Rue Gudin Paris XVI[e].

[1] В 1962 году И. Чиннов переехал из Мюнхена в США, где стал профессором русского языка и литературы.

[2] Издание антологии не состоялось.

[3] В этом стихотворении А. Эйснера первая строфа такая:

Начинается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части...
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье...

Париж. 14.XI.1965

Дорогой Игорь Владимирович,

Был чрезвычайно огорчен Вашим заявлением насчет того, что Г. А. Хомяков[1] пугается людей с репутацией «чудаки, еретики и парадоксалисты...». Только как же с ним, в таком случае

сотрудничать? Если ему не нравятся «чудаки, еретики, парадоксалисты», то выходит, что ему желательны обыватели, конформисты и вещатели общих мест? Так ведь?

Вы меня достаточно знаете, для того чтобы Вам было ясно, что ничто мне не чуждо столь, как всякое нарочитое чудачество, оригинальничанье или снобизм. Разве не держу я себя со всеми окружающими, насколько могу, просто, дружественно и... прямодушно без напускных хитростей и притворства?

Так и не понимаю, что его могло «испугать» в моей статье о Заболоцком... Конечно, когда я сажусь писать, я смотрю за тем, чтобы не повторять бесполезно того, что уже известно и без меня и было сказано другими, а также за тем, чтобы предназначать для печати только мысли, могущие представлять хоть некоторый самостоятельный интерес, даже если им случается быть спорными.

Разве не полезнее, в печатном органе, спорная мысль, чем лишний раз повторение, что Волга впадает в Каспийское море? Если кто-нибудь со спорной мыслью не согласен — то пусть он ее оспаривает, — это и есть жизнь мысли, одна только могущая оживить журнал и придать ему интерес.

Но увы... Г. А. не один. Вообще в нашей русской зарубежной печати сложилось обыкновение не отходить от неких, раз навсегда, невесть кем, когда, на кой черт установленных обязательных штампов. Поэтому, может быть, она и стала столь серой и безобидной. Как и для всех моих прочих редакторов, и для Г. А. я буду писать, в первую очередь, искренне, то, что и как я думаю, возможно более ясным и точным слогом.

Если же там будут ему мерещиться невесть какие страхи и гласности, то... достаточно имеется за рубежом скучающих дам (порою в брюках, пенснэ и прочих атрибутах «мужественности»), которые будут твердить, что вода мокрая, дважды два четыре, и сокол лучше ужа (см. горьковскую «Песнь о соколе»). Но я думаю, что в интересах журнала, который быть хочет органом зарубежных, т. е. в принципе свободных русских писателей, чтобы Вы образом, который сочтете для этого наиболее подходящим, изложили ему то, что я Вам пишу.

В частности, из трех предложенных мною Вам (т. е. ему) сюжетов, он выбрал самый бескрылый, т. е. безопасный: историю литературы Ло Гатто[2]. Ну что же, если я сам предложил, то я от него и не отрекаюсь. Но не ручаюсь за его «ручной» и «комнатный» характер.

Я уже взялся за работу, и, если Богу будет угодно, чтобы она закончилась успешно, то я в ней излагаю концепцию истории литературы и литературной критики (что по сути дела одно и то же), которая не только кажется мне наиболее здравой, но и разделяется рядом других современных специалистов, из числа наиболее выдающихся среди них я назову только T. S. Eliot'а и A. Tate'а, но я мог бы назвать и многих других, хотя бы Andre Gide'а или Paul Valery. Подделываться же под «средний» тон, скажем «Русской мысли» или «Нового журнала», ни нужным ни желательным не считаю. Совсем наоборот.

Что же касается моих слов о поединке Вашем с действительностью США (не только Вашем — в него вступают почти все европейские писатели, попадающие в США), то, во-первых, говоря, что «Америка на вас навалилась и т. д.» — я, в первую очередь, передавал мое *впечатление* от Ваших новых стихов (тогдашних). Попытаюсь высказаться полнее. Впечатление у меня создалось такое, что жизнь в США оказалась для Вас затруднительной своей непривычностью, а, может быть, и еще иными своими сторонами, мне здесь в Европе не ясными.

И вот — или эта затруднительность, эта новизна (в хорошем и в дурном смысле слова), несомненно стремящаяся видоизменить Ваше, сложившееся в Европе «я», настолько Вами овладеет, что Ваш поэтический дар и Вы замолкнете, как, например, Вадим Андреев или украинец (не меньше Вашего одаренный) О. Стефанович. Это может произойти в том случае, если Вы дадите этой чужой действительности себя обезличить, если путем ряда незаметных уступок (каждая из которых будет приносить Вам маленькое облегчение) Вы превратитесь в стандартного yankee с chewing gum'ом[3], с автомобилем и с долларами. Или же, если Вы сошли на степень пассивной жертвы, «выносящей» сигары и gin, хотя им и не причастной, но с ними молча примирившейся.

Ваше стихотворение об отпуске обратило на себя мое внимание потому, что в нем чувствуется борьба, поединок, неприятие, но и боль, усилие, трудность. Опасность сдачи на милость американского победителя, по-моему, имеется. Так вот, я Вам предлагал быть твердым и не сдаваться. В этом трудном пути — залог победы.

Но, и я понимаю, может случиться, что, несмотря на все Ваше сопротивление, среда Вас сломит. Или же — что не лучше, что все Ваши силы, вместо стихов, уйдут на это сопротивление.

Так вот, мне бы хотелось, чтобы Вы нашли способ — не то что приспособиться — но, как бывает в плохих семьях, чтобы Вы нашли Ваш modus vivendi[4] с Америкой. Такой modus, который и оставлял бы в целости Ваш внутренний мир, куда бы Вы научились не пускать тех и то, что может возмутить его воды (прибегая к терминологии тютчевского «Silentium'a»)[5], и не делал невозможным пребывание в США.

Знаю, что это очень трудно. Но если это удалось ряду других (Ю. П. Иваск, Б. А. Филиппов, Нарциссов и др.) — то почему бы оно не могло удасться и Вам. А если бы оно удалось, то внесенная Америкой в Вашу жизнь новизна, вместо того, чтобы подтачивать Ваши силы сопротивлением или обеднять Вашу душу, — несомненно обогатила бы Вас собою, и от этого Ваше творчество только бы выиграло присоединением к себе нового измерения.

Как *именно* это провести, живя от Вас вдалеке и не зная по личному опыту the American way of life[6], — не могу Вам сказать. Это дело Вашего умения разобраться в себе и в обстоятельствах своей жизни. Знаю только по опыту, что нет таких трудностей, которые, при желании, невозможно было победить. Верю в то, что Вы это сумеете, и охотно готов посильно отвечать Вам и отныне, и впредь на все могущие возникнуть у Вас по этому поводу вопросы. Если только расстояние не убивает их действенность.

Не унывайте и растите. Старайтесь обеспечить цветку Вашей поэзии наилучшие условия для произрастания. Искренне Вам преданный Э. Райс.

E. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5[e]

[1] Г. А. Хомяков (псевдоним — Г. Андреев) — редактор журнала «Мосты».

[2] Ло Гатто — итальянец, профессор русского языка и литературы. Работал в Риме и Неаполе. Выпустил «Историю русской литературы» (1927–1945) в семи томах, а в 1958 году — «Историю русской современной литературы» в двух томах. О ней-то и идет речь. Статья Э. Райса в «Мостах» не появилась.

[3] Американец с жевательной резинкой (*англ.*).

[4] Образ жизни (*латин.*).

[5] В этом стихотворении Ф. Тютчева есть строки «Молчи, скрывайся и таи // И чувства, и мечты свои...».

[6] Американский образ жизни (*англ.*).

Париж. 23.IX.1967

Дорогой Игорь Владимирович,

Вернувшись с каникул, с великим удовольствием прочитал присланные Вами стихи. Одно только меня огорчило: что их так мало. Америка не только Вам (как столь многим другим) не повредила, но наоборот Вы выросли так, что я, должен признаться, даже не считал вероятным, что Вы сможете так вырасти.

Присланные Вами стихи — совсем хорошие, из таких, что можно полюбить, которыми можно увлечься. И Вы стали сильнее прежнего! Нагоняете Георгия Иванова, даже! Только... не повлиял ли он на Вас?

Впрочем, я не из тех, кто боится влияний: от Еврипида до Расина ведь не так уж далеко, как и от Бодлэра до Анненского! Поскольку у Вас есть свое лицо и свой голос (а они у Вас были и раньше этих новых, замечательных стихов), то нет ничего дурного в том, если сегодня Вы что-то черпаете у одного, а завтра у другого, а послезавтра имя рек такой-то будет черпать у Вас. А что и у Вас будут черпать, теперь стало для меня несомненным. Молодец! Здорово!

Буду очень рад с Вами встретиться, когда побываете в наших краях.

Будьте здоровы и привыкайте. Сердечно Ваш Э. Райс.

Париж. 10.XII.1970

Дорогой Игорь Владимирович,

Вот о чем я подумываю на Ваш счет: раз Вы уже достигли 4-ой книги, и до сих пор все время возрастали как поэт, почти от одной журнальной публикации до следующей, то следовало бы написать о Вас не просто «рецензию», а большую обстоятельную статью — о всей совокупности Вашего творчества[1]. Я уверен, что пора для этого наступила, что это уже созрело.

Но имеются у меня только первые два Ваши сборника стихов. «Партитуру» я еще не получил, но ввиду того, что почта обыкновенная всегда идет медленней воздушной, это только естественно, подождем еще.

Все-таки, я был бы Вам благодарен, если бы для такой ретроспективной статьи о Вашей поэзии в целом Вы смогли мне

доставить не только Ваш сборник, тот, что был до «Партитуры» (и после «Линий» — я забыл его заглавие), но и побольше стихов из журналов, не вошедших в Ваши сборники, а также и немного неизданных стихотворений, еще не напечатанных. Насчет последних, обязуюсь, конечно, никому их не показывать без Вашего на то предварительного согласия, во избежание возможных плагиатов. Я думаю, что Вам будет не трудно изготовить для меня эти материалы фотокопией (но не фотостатом, потому что я не располагаю аппаратом для чтения пленок).

Относительное молчание В. Н. Ильина и мое объясняются только недосугом, а никак не нашей ссорой с «Возрождением», которому, наоборот, мы оба стараемся помочь изо всех сил, и которое, по-моему, *необходимо* вытянуть на дорогу. Пока жив и здоров чудеснейший и умнейший С. С. Оболенский[2], «Возрождение» будет жить. В этом я *твердо* уверен. Возможны задержки, опоздания и т. д., но *жить* оно будет.

В частности, С. С. Оболенский был бы очень рад, если бы Вы согласились послать ему для «Возрождения» немного Ваших стихов. Этим Вы бы оказали журналу большую услугу, потому что нас упрекают в низком качестве стихотворной продукции. Упрек совершенно справедлив, но виноваты в этом исключительно хорошие поэты сами (вот как, например, Вы). Так что за неимением хороших, приходится публиковать посредственных.

Но у меня на этот счет есть вот какая идея: если бы, например, Вы собрали некоторое количество неизданных стихотворений, по Вашему мнению хороших, все равно чьих, поэтов известных или не известных, уже покойных или только начинающих, словом все равно чьих, лишь бы стихи были хорошими, отвечающими серьезным требованиям, и опубликовали такую подборку в «Возрождении»,— вот это было бы интересно! Конечно, под Вашей редакцией.

Я лично уверен, что в природе такие хорошие стихи имеются, даже в зарубежной, что только опытная и умелая рука должна их отыскать и собрать. Я сам знаю фамилии некоторых поэтов, несомненно интересных, например О. Ильинского, которого почему-то давно нигде не печатают, но у которого что-то есть. Теперь центр русской зарубежной жизни перешел в США — Вам, на месте, виднее... подумайте. Верно, можно найти неизданные стихи и у Набокова, и у Туроверова, и у Одоевцевой, да и у бывших дальневосточников. Может быть, осталось что-нибудь

еще неизданное от Белоцветова... словом, Вам, на месте, опять-таки, виднее, чем нам тутошним провинциалам. Ну, будьте здоровы, всего Вам самого лучшего.

Искренне Вам преданный Э. Райс.

P.S. Заглавие Вашей, не дошедшей до меня книжки, — «Метафоры».

[1] Статья Э. Райса о стихах И. Чиннова появилась в журнале «Возрождение» за сентябрь 1971. Ниже мы ее публикуем. Четвертая книга стихов И. Чиннова «Партитура» вышла в 1970 году. Третья книга называлась «Метафоры».

[2] Редактор журнала «Возрождение». Вторым редактором был Я. Н. Горбов. И. Чиннов в «Возрождении» напечатал насколько своих стихов.

Париж. 9.X.1972

Дорогой Игорь Владимирович,

Давно Вам не писал — весьма перед Вами грешен, но все последнее время здоровье треклятое подводит — поверх университетских и прочих дел, которых тоже — по горло. К тому же разленился. Вы человек молодой, всего этого — к счастью для Вас — не понимаете.

«Партитура» — в русской литературе — событие, и, несомненно, будущие историки будут ее считать таковою, несмотря на то, что из-за фактического отсутствия периодической печати, прошла она как бы незамеченной.

Но Ваши стихи, написанные после «Партитуры», — то, что про Акакия Акакиевича[1], или вот теперь «Гротески» в «Возрождении»[2] — еще новый взлет. До каких же пор Вы будете расти, и кого Вы еще перерастете? С Вами становится страшно, предела не видно Вашему росту. А вдруг в будущем будут говорить о нас всех прочих: «современники Чиннова», «чинновская эпоха русской литературы». С Вас и такое может статься.

Один умнейший француз мне говаривал: «Soyez tres prudent surtout au lendemain d'un succes»[3]. Повторяю это и Вам — не возомните о себе и не свалитесь с высоты, на которую Вам удалось вскарабкаться. Чем человек выше взбирается, тем легче ему

провалиться. Помните об этом. Для Вас еще есть невозможное и, если хотеть придираться к отдельным словам и т. д., то есть к чему (придраться). Сваливались поэты покрупнее и Вас.

Ваш ядовитейший, доходящий до жути нигилизм, — для меня — источник «неизъяснимых наслаждений», — я не стану его порицать, ни по-человечески, ни даже, тем более, с точки зрения искусства.

Но — как Вам дальше из него расти?

Тут — близок предел. Вы к нему близки, как и, например, Henry Miller, — хотя Вы уже, пожалуй, зашли дальше, как, например, в изумительном стихотворении «Таракан Тараканий Великий...» или в опаснейшем «Законы»[4], в котором, на сей раз, Вам удалось блестяще опасность (схематизации) обойти. Впрочем, может быть, и путь вниз, на который Вы вступили, тоже бесконечен. Не знаю. Ваш случай будет для меня показательным.

Особенно замечательна в Ваших последних стихах близость греческой мифологии. Это все-таки нечто прочное.

Боюсь также быстроты, с которой Вы пишете. Нейманис[5] объявил еще один сборник Ваших стихов. Не забывайте, что *все* дело в одном только качестве, а никак не в количестве. Иной барокковый немец обессмертил себя только шестью строчками. Будьте здоровы и, если меня не обессудите, — пишите. Буду рад Вас читать.

Искренне Вам преданный Э. Райс[6].

[1] Стихотворение «Акакий Акакиевич...» было напечатано в «Новом журнале» (1970. № 100).

[2] В «Возрождении» (1972. № 239) были напечатаны стихи И. Чиннова: «И яблоко, по зрелом размышлении...», «Обожжены, обнажены, обижены...», «Живу, увы, в страдательном залоге...».

[3] Будьте особенно осторожны на следующий день после успеха (*фр.*).

[4] Видимо, речь идет о стихотворении

«Мир, созданный Богом, и мир, возникший
Сам по себе...
Который из них, мой ангел притихший,
Понятней тебе?

Философы лгут. И лгут богословы.
Физик, о чем ты? Брось.

Законы природы, закон Иеговы —
То вкривь, то вкось....» и т.д.

[5] А. Нейманис — немецкий издатель, владелец магазина, где продавались и книги И. Чиннова.

[6] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 20 писем Э. М. Райса.

Эммануил Райс

ПОЭЗИЯ ИГОРЯ ЧИННОВА*

Значительное в поэзии всегда приходит с самой неожиданной стороны. Впрочем, как и все в жизни. В этом сказывается действие прерывистых функций Николая Бугаева и П. Флоренского. Судьбы мира и даже отдельных людей продвигаются ходом шахматного коня. Им свойственна не правильность, не систематичность, а непредвидимость, нарушение привычных представлений.

Человеческий разум, наоборот, любит упрощенья, схематизацию, симметрию, прямые линии и правильно вычерченные циркулем круги, логику и достоверность, подтверждение действительностью наших предположений, без особенно больших усилий с нашей стороны.

А миру и жизни свойственно приводить нас в замешательство, сбивать нас с толку, озадачивать, разрушать с трудом выработанные нами схемы. Все-таки жизнь всегда сильнее неодушевленной природы, качество сильнее количества, личность важнее общества, исключение — правила, дух — материи.

Даже самое тщательное изучение всех предварительных условий возникновения крупного поэтического дарования, на каком угодно количестве конкретных примеров, не дает ни малейшей возможности предвидеть или предопределить появление нового поэта. Он всегда приходит неведомо откуда, самым неожиданным образом. <...>

---

* Печатается в сокращении по тексту парижского журнала «Возрождение» за сентябрь 1971.

Русская литература ни прекратиться, ни умереть не может. Это вопрос законов космического бытия. Не знаем как, где и в какой именно момент, знаем только, что в мгновение, когда всем будет казаться, что русская литература достигла точки замерзания, случится что-то такое, что снова пустит ее в ход.

Уже сейчас перед нами явление, явно нарушающее ход историко-литературных законов: появился поэт, притом подлинный и крупного калибра и буйно растет вопреки любым, не только экономическим и социологическим обобщениям, но даже просто здравому смыслу: это Игорь Чиннов.

Уже первая его книжка «Монолог», вышедшая в Париже в 1950 году, была замечательным, отнюдь не заурядным дебютом. В ней автор сразу оказался настолько зрелым поэтом, что с тех пор уже в его творчестве почти ничего существенно не переменилось*. Темы и жизнеощущение определились уже тогда, хотя со временем, напряженность повысилась, ремесло достигло совершенства, стих стал живее, гибче, легче, сильнее и развилась кажущаяся небрежность — неопровержимое доказательство утонченного мастерства. Голос его окреп, палитра стала ярче и разнообразнее.

Уже в этой первой книжке есть несколько стихотворений, до сих пор им не превзойденных: «Петух возвещает, чуть свет...», «Немного рыбы и немного соли...» или «В углу, над шкапом, от стены...». В них уже проявилась свойственная поэту манера, начиная с малого, почти что с чего попало, немногими словами приводить читателя к сложнейшим и глубочайшим проблемам человеческой жизни и судьбы. <...>

Ось переживаний Чиннова — желание счастья и страх смерти. Непоколебимая уверенность в неизбежности конечной

---

* После 1971 года, когда была написана эта статья, у И. Чиннова за границей вышло еще четыре книги стихов, где стало появляться все больше гротесков. А среди последних его стихов, уже не вошедших в эти книги, — почти сплошь гротески. Двадцатью годами позже Райса М. Крепс пишет в статье «Поэтика гротеска Игоря Чиннова» («Новый журнал». 1990. № 181) о стихах Чиннова, «одного из наиболее оригинальных поэтов нашего времени», что в них гротеск, т. е. «разлад между трагическим и комическим, но одновременно и симбиоз», сочетается с эстетизмом и утонченным изяществом. Крепс считает Чиннова «несомненно единственным и, по-видимому, последним эстетом нашего времени».

гибели, доведенная до отчаяния, заставляет его шутливо утверждать, что он ее не боится:

И грызут проворно мыши
Жизнь, дарованную свыше,
И не долго ждать

Дня, когда не станет скуки
И навек затихнут звуки,
Что мешали спать.

<...> За яркой красочной поверхностью мира — все та же смерть:

И взяв рыбешку копченую,
Что золота золотей,
Пошел к святому Антонию
Какой-то рыжий Антей.

Ну да — хотелось бессмертия,
И я запомнил навек
Трактир, собор и безветрие
И море, и вечер, и свет...

Издевательство ради издевательства становится как бы «беспредметным» в замечательном стихотворении «Лошади впадают в Каспийское море», которое следовало бы привести целиком, если бы не его сравнительно большие размеры.

Все-таки, не указывает ли именно его упорство в отрицании наличие у поэта глубокой потребности в духовной жизни и в бессмертии?

Но он — дитя нашей эпохи, а потому у него больше не осталось настоящей живой веры, тогда как шестое чувство, для непосредственного уловления духовных реальностей, еще не развилось. Поэтому поэт Чиннов, блуждая по миру, с горечью и с едкой иронией измывается над непрочностью, несущественностью и иллюзорностью его красоты, которая тем не менее непреодолимо влечет его к себе. В насмешку, он иногда прибегает к поговоркам, якобы случайное нагромождение которых оставляет впечатление горечи и всеохватывающего равнодушия:

Кисельные реки, молочный берег —
И мы там были, и пели и пили.
По усам текло, а в рот — попало?
Да нет, не попало, пиши пропало…

Из-за этого равнодушия, ему может быть не дано настоящее примирение — даже в самых спокойных его строках трепещет горечь:

Пора не жаловаться, не надеяться
(Судьба шутила, обещая…)
Пора стихам, как дыму, дать развеяться
(Перелистают не читая).
Пора понять, что не на что надеяться.

Поэт не может забыть, что…

И карты — прекрасно, премило.
(К несчастью, душа проиграла).

Да оно и не могло быть иначе во вселенной, в которой ему суждено было поселиться.

Главная сила его поэзия — в способности видеть красоту мира, несмотря на неизгладимое сознание ее преходящести и бессилия что бы то ни было изменить. М. б. именно благодаря ему:

Банально-прелестное пение,
один лимонад на двоих,
бессмертная ветка сирени,
увядшая в пальцах твоих.

Или:

Позабудь о грязи и о безобразии,
позабудь о вечном зле.
Говори о ледяном алмазе и
белой розе в голубом стекле…

<…> С точки зрения теоретической, Игорь Чиннов — модернист. В «Монологе» еще заметно влияние Георгия Иванова. Попадаются также следы пресловутой «парижской ноты». Стихосложение традиционно. Но постепенно намечается обновление

рифмы. Позже рифма и совсем исчезает, как напр. в «Здесь пахнет лазурью, ты знаешь...», «Так проплывают золотые рыбки...», «Увядает над миром огромная роза сиянья...». В этих и некоторых других стихотворениях сборника «Метафоры» все-таки еще сохраняется «правильное» стихосложение с одинаковым количеством слогов в строке. В стихотворении «Тени войны на замерзшей дороге...» или «В газете пишут...» уже не найти ни рифм, ни подсчета слогов — они уже построены по более сложным и точнее передающим оттенки переживаний законам поэтики, утвердившейся в творчестве нашей эпохи, во всех странах, кроме России.<...>

Многие из лучших стихотворений Чиннова написаны в формах очень близких к стихосложению авангардных кругов свободного мира:

Прямо на тротуаре
валяется пятно света,
круглое,
похожее на золотое блюдо

или:

Так и живу,
жуком, опрокинутым на спину,
жертва своей скорлупы...

<...> Звучание в его стихах играет ту же роль, что и чрезвычайно изысканная, смелая и до резкости яркая образность.

А я повидал бы жемчужно-блаженное царство,
Алмазный оазис в лазурном дыханье фонтана,
Сапфирную розу в тени голубого анчара,
Змеиную тень у гробницы Омара Хайяма,
Пятно скарабея на мертвой руке фараона...

<...> Вообще же развитие Чиннова в сторону модернизма столь же невероятно, как и показательно. Хоть традиционные формы стиха явно себя исчерпали, переход ко всевозможным разновидностям верлибра нигде не происходил незаметно и безболезненно. Только нормально растущая и развивающаяся свободная литература обычно бывает в состоянии перенести период необходимых изысканий, не теряя преемственности. Тогда как в СССР

Игорь Чиннов

Эта льдинка в хрустальном стакане...
Да, ледышка, растает сиянье.
Ну и тай, ну и тай, ну и тай!

(А на полюсе солнечный глетчер
Ослепителен, дивен и вечен
И, за вычетом холода — рай).

Уплывает, как тающий айсберг,
Эта жизнь и кончается праздник.
Говорят: нынче есть, завтра нет.

Но душа, как бушующий гейзер,
Вдруг прорвется сквозь холод и ветер...
Или нет? Или да? Или нет?

Автограф стихотворения И. Чиннова, опубликованного в парижской газете «Русская мысль» 21 апреля 1977 года

раскрепощение стиха требует недюжинного гражданского мужества, которого невозможно требовать от каждого одаренного поэта. Зарубежье же страдает не только от малолюдности, но и от общего снижения культурного уровня, вызванного социалистической революцией во всем мире, что конечно, с особенной остротой ощутимо у нас.

В этом отношении, работа Чиннова, человека на самом деле культурного, хорошо знакомого с передовыми достижениями современной мировой поэзии, может и должна сыграть крупную роль в истории русской литературы и открыть молодежи путь к обновлению поэзии и в СССР, и за рубежом.

Но главное, конечно, безотносительная ценность его стихов, как таковых. В настоящее время, уже мало кто сомневается в значительности места, занятого Чинновым в современной русской поэзии по обе стороны железного занавеса.

Поэзия Чиннова — о самом серьезном, о самом главном, о самых глубоких и поэтому в конец неразрешимых загадках человеческого бытия. При всей его субъективности, доходящей до прихотливости, то, что он говорит, относится к каждому из нас. Каждый из нас может сказать: «это он обо мне, о моих недоумениях, о моих грехах, о моем страдании». Поэзия Чиннова касается человека вообще, как такового, метафизических условий его пребывания в космосе.

Говорит Чиннов об этих серьезнейших проблемах языком новым, своим, ярким и острым. Большего от поэта требовать нельзя. Поэтому, нам думается, что за ним обеспечено в русской литературе прочное место среди самых подлинных самых «нужных» поэтов. <...>

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПЛАНЕТА — НЕ ДОМ...»

ЮРИЙ ТРУБЕЦКОЙ

Юрий Павлович Трубецкой (наст. фамилия Нольден) — поэт, писатель — родился в Риге в 1902 году. Жил в Петербурге, Баку, на Украине. Печататься начал в 1916 году в России. Встречался с Блоком, Гумилевым, Ахматовой. Жил в Крыму у Волошина. В тридцатые годы попал в сталинские лагеря. Во время войны оказался в Германии, где и провел всю оставшуюся жизнь. Короткое время работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Трубецкой издал три сборника стихов, несколько повестей, рассказов. Его стихи и критические статьи появлялись в разных эмигрантских изданиях, но печатали его неохотно, в значительной мере из-за того, что, как говорили, в войну он сотрудничал с немцами. «Даже после его смерти мою статью о нем Седых поэтому не хотел печатать. Но все же напечатал»,— вспоминал Игорь Чиннов. В этой статье — «О Юрии Трубецком» («Новое русское слово». 1974. 28 июля) — Чиннов писал:

«Признаться, Юрия Павловича я помню плохо. Мне довелось с ним встретиться всего несколько раз, было это лет двадцать назад. Зато вспомнился почему-то не столько он сам, сколько его горячая и абсолютно убедительная для меня любовь к стихам и поэтам, то благоговение, с которым упоминал он имена Блока, Георгия Иванова, Адамовича. Он очень тянулся к литераторам, искал встреч, заводил переписку. Но не все были склонны к беседам, к обмену письмами. В числе нерадивых корреспондентов был и я. И вот теперь сознаешь свою вину перед ним. Особенно за то, что поленился ответить на последние его письма с упреками благополучным и очерствевшим...».

Обычно, ни об умерших, ни о живых литераторах Чиннов отзывов не писал, объясняя это своей ленью. Но здесь, видимо, чувство вины за те самые три оставленные без ответа письма Трубецкого было так сильно, что Чиннов просто не мог не написать, но — только как о поэте! «Биография Юрия Павловича мне почти не известна»,— подчеркивает в статье Чиннов.

«Что можно сказать в защиту поэзии Юрия Трубецкого? Обвинить ее просто: она, несомненно, вторична, в ней отражаются "парижская нота", Георгий Иванов, Ахматова, еще кое-кто, — замечает Чиннов. — Но так ли уж страшно такое обвинение? Во-первых, бывает оригинальность, которая никого не радует, неинтересна, никому не нужна. Во-вторых, разве неоригинальное не может доставить радости? <...>

Ненужный свет залег давно
И месяц просится, ныряя
В подслеповатое окно
Полузабытого сарая.

Там не лежит уже никто,
Соломы клок застыл и высох.
И только ветхое пальто
Шевелят, пробегая, крысы...

Еще одно «беженское» стихотворение:

...И опять все то же — пустая,
Германская тишина.
Льдиной медленно день растаял
У бессмысленного окна.

Если хочешь — молись. Не можешь?
Там в закате сияет крест,
Разве сердце свое положишь
В этот черный чужой подъезд?

Вновь задымленный день уходит.
Одиноко стучит клюка,
Изо всех надоевших мелодий,
Надоедливее — тоска.

<...> Он скончался, кажется, в том немецком старческом доме, где с женой провел — почти затворником — последние годы своей мало радостной жизни. Красивый, старинный, под старинку отстроенный город наводил на него тоску, германская культура вообще была ему неинтересна — она так и осталась для него непрони-

цаемой. Литературных собеседников не было. Мысленно возвращался он в Петербург Серебряного века, подходил к Блоку, слушал, как Гумилев учит писать хорошие стихи. И сознавал, что из Нюрнберга, из старческого дома, уже не уйдешь...». Для Трубецкого планета так и не стала домом. Лишившись родины, он всю жизнь был глубоко несчастен, о чем свидетельствуют его письма. Ю. П. Трубецкой умер в 1974 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

25.3.1958

Дорогой Игорь Владимирович!

Сообщаю Вам: сегодня получил еще 55 стихотворений Анненского (почти целиком «Тихие песни»). Из 55 стихотворений 35 — оригинальных, из этой книги, и 20 переводов из «Парнассцев и проклятых»[1] (Бодлер, Верлен, Роллина и еще некоторые). Пожалуйста, напишите, готовить для Вас все «чохом» или без переводов? Не знаю точно, это *всё*, а м. б. еще и не все. И я однажды еще получу транспорт! Когда получу от Вас ответ, — сразу же сяду за машинку. Вашей бумаги у меня есть еще достаточно. И как Вам писать, по-прежнему ли в 2 экз.? Я тогда буду печатать в 3-х. Два для Вас, один для себя.

Относительно скрипта[2] на пасхальную тему — со стихами у меня пока ничего не выходит. Но у меня есть отрывок из повести моей «Нищий Принц»[3]. Пасхальный и очень жизнерадостный. Есть одно стихотворение, пасхальное, короткое, но, как увидите, очень декламационное! Его прилагаю здесь[4]. Думаю, что НЕ ПОДОЙДЕТ *(А может, подойдет?).* А вот отрывок, если я решу послать, — мне кажется, что подойдет. На днях пошлю. Напишите, можно ли послать прозу???

Затяжная зима меня совсем замучала. Я думаю, что и Вас тоже. Получил письмо от Софии Юльевны <Прегель>. Она больна гриппом. Несмотря на мою астму, я все же продолжаю курить трубку. Жена и доктор ругают меня предпоследними словами. Но я упрям как осел. И так же, вероятно, глуп. Итак, жду скорейшего ответа. Жму руку. Ваш Юр.Трубецкой.

[1] Сборник Иннокентия Анненского «Тихие песни» с приложением сборника стихотворных переводов «Парнассцы и проклятые» (СПб., 1904).

[2] Речь идет о тексте для радиостанции «Свобода», где И. Чиннов тогда работал.

[3] Повесть печаталась в 1952–1954 годах в парижском журнале «Возрождение».

[4] Почти нигде в письмах Ю. Трубецкого стихи, которые, по его словам, — прилагаются — не сохранились.

2.9.1958

Милый Игорь Владимирович!

Почему такое долгое молчание? Здоровы ли?

Смерть Георгия Иванова — ужасно. Оказывается — рак. Но чего? Легких? Желудка? Не знаете ли подробностей? Читали мои стишки в № 53 Нов. Журн.? Уже послал туда прозу (о которой писал — там есть кое-что о Вас). Судьба ее мне неизвестна пока[1]. Скучаю зверски от отсутствия с кем-то перемолвиться на общем языке. Почитать стихи и т. д. На днях пошлю Вам «Приглушенные голоса»[2] обратно. А как с Антологией сов. поэзии (I том)[3]? Вы, помнится, что-то писали...

Здоровье мое «очень так себе». Изнуряет жара. Не терплю ее. Получил от Смоленского его книгу[4]. Неплохо, очень и очень даже, — просто хорошие стихи. Читали? Пишите. Жму руку. Ваш Юр.Трубецкой.

[1] В № 53 «Нового журнала» за 1958 год появились два стихотворения Ю. Трубецкого «Чтоб забыть, надо только беззвучно...» (оно опубликовано ниже) и «Да, безразличье, пожалуй, труднее...». Проза Ю. Трубецкого в «Новом журнале» не появилась.

[2] Антология послевоенной поэзии под редакцией В. Маркова «Приглушенные голоса. Поэзия за железным занавесом» (Нью-Йорк, 1952).

[3] В другом письме Ю. Трубецкой просит И. Чиннова прислать для прочтения «Антологию сов. <советской?> поэзии», которая, как он пишет, есть в библиотеке радиостанции «Свобода».

[4] Книга стихов В. Смоленского «Собрание стихотворений» (Париж, 1957).

PRIMAVERA.

До дамбы каменной преграды
Спокойная плывет Нева
И за дворцовой колоннадой,
За перспективой, — острова.

И в час урочный, в клубах дыма,
Неуслѣдима, нешумна,
Печальная, проходит мимо
Гипперборейская весна.

Тогда ямбическія строфы
Со взморья вѣтры шепчут мнѣ,
В садах безпечных Петергофа
И в царскосельской тишинѣ,

И неразрывны с прошлым узы,
Когда остановя полёт
Глядят классическія Музы
В летейскую прозрачность вод.

—

Дорогому Игорю Владимировичу эти строки „давно минувших дней". С лучшими и сердечными чувствами.
9/VIII 52
Nürnberg
Юрий Трубецкой

Автограф стихотворения Ю. Трубецкого из его самодельной книжечки стихов «Петербургские строфы. 1920–1923», которую он послал в письме И. Чиннову

30.11.1958

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за письмо. Хотелось бы о многом поговорить лично, а не эпистолярно. Пять лет мы с Вами не виделись[1]. Я вспоминаю один чудесный вечер, когда я был у Вас в Мюнхене, и мы сидели в Вашей уютной комнатке и беседовали. Потом Вы пошли меня провожать и промокли, промок и я, но, несмотря на это маленькое приключение, я с удовольствием вспоминаю этот вечер.

Ведь я живу в медвежьем углу и одиночествую хронически. Болею. Сейчас как-то периодически, то хуже, то лучше. А что такое с Вами? Вы написали, что больны, но ни словом не обмолвились, что такое. Напишите при случае. Переписываюсь по-прежнему с Ю. К. <Терапиано>, Софией Юльевной <Прегель>, с Мамченко, Померанцевым, Эристовым, Сумбатовым, Марголиным (Вы, вероятно, читали мой перевод из израильской поэтессы Рахель[2] — мне текст прислал Марголин).

Пишу ли я? Конечно, пишу. Не писать не могу. Но стал в тупик. Уперся как бык лбом в дилемму: «так писать, как писал до сих пор — уже нельзя». А как??? Дело, конечно, не в форме. Формально — можно отойти от канонов, но в старые меха вливать новое вино трудно. И ведь меха изветшали! Тематика. Какая? Заняться политическими инвективами противно. А уйти в себя, заняться философскими самоковыряниями что ли? Мистика? Пожалуй это самая неисчерпаемая тема. Поэтическое **искусство** не терпит двух, трех и тысячи правд. Правда в искусстве одна. А вот найдите ее!

Мне очень понравилось Ваше стихотворение в № 54 Нового Журнала[3]. Настоящее лирическое глубокое дыханье. И оно связано невидимой цепью с Вашим творчеством вообще. Ведь есть какая-то железная логика последовательности творческого индивидуума и творческого движения. Этот закон неуловим, но он есть. Проанализировать его невозможно, его можно лишь почувствовать. Это та музыка, которую слышали Анненский, Блок, Георгий Иванов. Вы ее тоже слышите. А мне иногда «закладывает уши». А м. б. я ее слышу, но «мой рояль не резонирует на нее».

Заняться «брюсовщиной» или выдавливать из себя строчки, подобно Мандельштаму, не хочется. Вот эти мысли беспоко-

ят меня все время. То ли я чересчур «щедро» разбрасываю себя, то ли еще что-то.

Относительно литературных дел — РИФМА, по-моему, не сдвигается с мертвой точки. С. Ю. прислала мне изданные Нов. Журн. стихи Георгия Иванова. Смоленский прислал свою книгу, а Померанцев «В венке из воска» Поплавского. Посылаю Вам «свежие стихи». Не знаю, придутся ли они Вам по вкусу. Это поиски. Удачные или неудачные — не мне судить.

Так и нужно «Освобождению» и «ЦОПЭ», что Овчинников[4] дернул обратно в Хрущевию. Пора уже научиться разбираться в людях и отличать советских шпионов от порядочных людей. Я не говорю о себе. И если бы даже сейчас мне предложили службу в «О.», я бы уже **физически** не мог.

Вы, вероятно, читаете «Доктор Живаго». Я читаю только то, что дает НРСл. И пока мнения не имею. Но вся шумиха вокруг его имени только вредит ему, т. е. Пастернаку. Стихи его хорошие, но это «не то».

Смерть Георгия Иванова меня больше поразила, чем, скажем, Бунина. Хотя сравнивать нельзя. Вы, наверное, тоже имеете Н.-Йорк. издание его стихов. Я бы хотел иметь «Вереск», «Лампаду». Но имею лишь «Сады», «Отплытие на о. Цитеру» (с «Розами»), «Портрет без сходства», «Распад атома», «Петербургские зимы» (подарок Иванова — две последние) и вот Н.-Йорк. издание. Но «Лампады» и «Вереска» не найти[5]. Будьте здоровы, перестаньте болеть! Крепко жму руку. Ваш всегда Юр. Трубецкой.

P. S. Ваше письмо меня в общем огорчило: оно такое печальное, какое-то в минорных тонах. Сочувствую. Я м. б. Вас больше и дружественней люблю, чем Вы думаете. Здесь зима и начал мерзнуть — медвежий угол.

[1] В 1953 году Ю. Трубецкой работал на радиостанции «Свобода» вместе с И. Чинновым.

[2] Рахель Блувштейн (1890–1931) поэтесса, родилась в Саратове. Писала на иврите.

[3] Стихотворение «Я все еще помню Балтийское море...».

[4] Сотрудник радиостанции «Свобода», которая первое время называлась «Освобождение». «ЦОПЭ» — «Центральное общество политических эмигрантов из СССР».

[5] Перечислены книги Г. Иванова.

26.12.1959

Дорогой Игорь Владимирович!

Вы написали «посылочка», а мне вчера днем почтальон вносит целый комод!

Спасибо Вам, дорогой, за память обо мне и за постоянную заботу. Все, что Вы прислали, мне, конечно, очень нравится. Только с лампой придется повозиться, пока ее присобачишь над письменным столом. Но у меня есть знакомый электротехник, я его и мобилизую на это дело. Пишу 26, а отправить придется 28.

Праздник проходит исключительно скучно. На «Хайлиге Абенд» к нам пришла одна одинокая старушка, петербуржанка 77 лет, но бодрая, и один музыкант, тоже старый квакер. У нас маленькая елочка, зажгли свечки и слушали как радио передает рождественские песни. Сегодня целый день льет дождь и 10 гр. тепла.

Позавчера получил письмо от Ю. П. Иваска. Он хочет мне прислать очерк о Вашей поэзии и хочет, чтобы я отозвался на него[1].

Я ему отвечу 28 и охотно отзовусь на его очерк. Тем более, это о Ваших стихах.

«Возд. Пути»[2] мне уже выслали. У меня теперь есть в Н.-Йорке приятель, живший прежде в Касабланке, с которым мы дружны с 1922 г., он инженер химик и художник. Он для меня нашел в Н.-Йорке II и III тома Блока в старом издании, а через несколько времени «Вереск» Г. Иванова и сборник «Цеха поэтов» — тоже в старом издании. Теперь ищет Ахматову — тоже в старом издании. Он же послал мне «Возд. Пути». В общем, будет (как он пишет) поставщиком книжек. Получил от Гуля его «Азеф».

Не знаю, как «Рифма», сдержит ли обещание издать мою вторую книжку стихов «Терновник»!? Прегель и Терапиано, вероятно, «за», а вот Померанцев — не знаю.

9/1 будет вечер Корвин-Пиотровского, и, кажется, выйдет его книга. Он мне обещал прислать, когда выйдет...

Сейчас пишу большую статью «Помраченный Парнас»[3] о положении зарубежной и советской поэзии. Если что-нибудь выйдет, пошлю в НРСл.

Кое-кому «достанется». Но немного. Достанется гг. меценатам, вроде Генри Форда.

Посылаю Вам стихотворение из будущего (?) «Терновника».

Неплохо, если бы Вы прислали мне Ваше новое. А оно есть, несомненно! Это было бы включено в отзыв об очерке Ю. Иваска.

Ю. П. И. пишет, что будет летом в Баварии и хотел бы повидаться со мной. Вот бы вы вдвоем и прикатили ко мне.

В Мюнхене советские агенты активизируются, сволочи! Будьте осторожней в знакомствах, в прогулках, в одиночестве, в ресторанных кушаньях и т. п. Здесь ко мне летом в городе подошел какой-то тип и спрашивает: Вы русский? Я ему ответил: «Nein, ich bin Deutscher! Was wünschen Sie von mich?»[4]. Он что-то пробормотал и смылся. Еще раз спасибо, милый, за презенты, заботу и ласку. Жена благодарит Вас за память и поздравление. Она у меня умная, культурная по-настоящему, и мы с ней большие друзья и никогда не ссорились. Мое здоровье то так, то сяк.

Жму крепко руку. Ваш Юр.Трубецкой.

Срочно ответьте, есть ли у Вас «Избранное» Гумилева. У меня случайно два экземпляра. Если у Вас такового не имеется — вышлю Вам, тот час же!!!

Посылаю еще «Рождественское», вдруг оно окажется приемлемее, чем два предыдущих?!!?

«Воздуш. Пути» получил 27/12.

[1] Очерк — это статья Ю. Иваска на правах рукописи (Канзасский университет, США, 1959) «Разбор двух стихотворений И. Чиннова». О ней Ю. Трубецкой написал в «Русской мысли» 21 января 1960 года в статье «Иваск о стихах Игоря Чиннова».

[2] «Воздушные пути» — альманах, выходивший в 1960–1967 гг. в Нью-Йорке.

[3] Статья была опубликована 17 января 1960 года в «Новом русском слове». «Помраченный», то есть подернутый тучами Парнас — Ю. Трубецкой имел в виду, что поэзии в эмиграции мало уделяют внимания, и читатели, и меценаты, которые материально ее не поддерживают.

[4] Нет, я немец. Что вы от меня хотите? (*нем.*)

10.4.1960

Дорогой Игорь Владимирович.

Если Вы пишете, что Андреев[1] ко мне «не благоволит», то черт с ним. Мне его благоволенье не нужно. Никогда я о нем ни-

чего не написал и не собираюсь писать. Относительно сплетен: уверяю Вас, ничего особо серьезного нет и не было. Ю. К. <Терапиано> прохаживался относительно Вашей любви покушать и о каких-то «парижских грехах», называя Вас «Дусинька». Издевался, что возвожу Вас в ранг «лучшего из лучших», и, мол, не следует писать «Иваск о Чиннове», это не Блок о Гумилеве и не Достоевский о Тургеневе... Это конечно «шипенье» и завуалированное недоброжелательство. Что было бы, если бы я, допустим, опубликовал письма Георгия Иванова, где есть неприятное, даже очень неприятное о том же Ю. К. Но я себе не позволю даже намеком об этом сказать и т. д. Тоже Корвин съязвил: — не пишите вздора... Вот Ю. К. мне намекает о том, что у нас с Вами «петухокукушкинство», а потом говорит, что я, вероятно, от Р. Березова получаю посылки за благожелательные отзывы. Кстати: когда Иваску надо было написать мне о том, чтобы я «отозвался» на его работу,— он дважды мне написал. Я отозвался. Иваск и замолчал. А я получил неприятные письма от Ю. К., Померанцева, Корвина. Если меня просят — я по глупости или по добродушию исполняю, и вот результат. А с Хомяковым мне свиней не пасти. Тоже в отношении Вашего РАДИО. Теперь никогда, ни строчки. Скажите им, что они сошли с ума,— когда я возвращался в СССР? Может, они решили, что я незаконный сын Гитлера от брака его с дочкой Ленина и приемный сын Секу-Туре, а в общем — потомок Бориса Годунова? Идиоты.

Если РАДИО нужны не стихи, а автобиографии, то пусть они и берут не поэтов, а автобиографов. С Овчинниковым и прочими носились как дураки с писаной торбой, а они, эти господа, шпионили. Черт с ними. Я с голоду не умру без их гонораров, а выворачивать себя наизнанку перед ними не желаю. Может, у Вас и есть искренние друзья, но не в Париже. А у меня их **вообще нет**. Были, да все вышли. Вот и Вы не верите в мою дружбу (или сомневаетесь — Бог Вам судья).

Советую Вам не обращать внимания на шипенье. Тут дело в зависти. Вы хорошо зарабатываете. Вот Вам и разгадка.

За Ваше намеренье написать Л. И. Чекверу о том, что нужно издать мою книжку,— спасибо. Но, вероятно, там, в Париже, есть «подземные течения», которые помешают благим намереньям того же Льва Иосифовича. Я знаю, что на очереди в РИФМЕ — Присманова[2].

У меня есть некая догадка (может, я и ошибаюсь). Юрий Яковлевич <Большухин> м. б. мне «подгаживает». Он-то нет, но у него супруга — особа сволочная, а он у нее «под башмаком».

Все мои догадки и сообщения **прошу считать ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ!!!** Что касается Вашей новой книги[3] — я имею неотъемлемое право написать и свое мнение. И, по-моему, совершенно неважно, если я буду 8, 10, 25-м, о ней пишущим. Я ведь подойду под иным углом зрения, чем другие. Впрочем, если Вы против — буду молчать.

Относительно Анненского. У меня эта книга заказана в трех местах. **Имея и Вас в виду**. Для меня ее заказали в Н.-Йорке, мой друг художник. Вот это единственный друг. Даже из Марокко, где он был раньше, приезжал ко мне навестить и жил у меня 4 недели. И теперь пишет каждую неделю, несмотря на невероятную занятость. Он работает как инженер-химик. Это я Вам говорю не в укор и не с целью какой-нибудь.

Мое поздравление с Пасхой придет своим чередом. Это письмо только ответ на Ваше. Так что Вы *особенно* не настаивайте перед Андреевым. У них, видно, своя компашка — Кленовский, Елагин, Анстей, Юрасов, Кашин и пр. Я, видно, не ко двору. Хотя я знаю, что мои стихи, если не лучше, то во всяком случае не хуже елагинских «лестничек» под Маяковского. Или анстеевской «пастернакипи». Или Кленовского хотя бы. Вероятно, Андреев обиделся за Моршена и Кленовского: вот где зарыта собака.

Будьте здоровы. Пишите. И плюйте на все, как я плюю.

Ваш Юр.Трубецкой.

[1] Г. Андреев (Хомяков) — главный редактор журнала «Мосты».

[2] Книга ее не вышла.

[3] Книга стихов И. Чиннова «Линии» (Париж: «Рифма», 1960).

17.4.1961

Дорогой Игорь Владимирович.

Не сразу Вам ответил, получив Ваше письмо и (главное!) книгу. Я должен был как следует вчитаться, впитать Ваши стихи. Что я могу сказать о Ваших стихах? Все то же, что и говорил раньше: стихи прекрасные. Это <u>то, то самое</u>. Т. е. настоящая

поэзия, без примеси холодной версификации. Музыка прежде всего. Об этом в моей статье в 1953 г.[1] (а остальное — чернила и проза). У Вас — гармония. Даже трудно мне сказать, какая именно стихотворная пьеса меня больше всего «пронзила»! Всё сразу. Я и рассматриваю Вашу книгу, как нечто целое, гармоничное. После стихотворных «упражнений» Елагина и всяких рифмованных рубленных «пассажей» прочих (имя же им легион) читаешь подлинное. Радует среди событий нашего подлого времени.

Вы знаете, что я всегда с Вами откровенен предельно. Конечно, Вы ни на минуту не подумаете, что в этом письме я льщу и т. п. Внешне книга — с большим вкусом. Буду писать о «Линиях» в торонтском «Современнике»[2]. Мне очень интересно, что будут писать о Вашей книге Адамович, Терапиано et cetera. Когда «Совр.» напечатает — пришлю Вам. Жду обещанного <u>большого</u> письма. Знаю, что заняты. Ну уж уделите 15 мин. «отшельнику» в его «берлоге». Жене Ваши стихи очень нравятся (больше, чем мои!!!). Спасибо за книгу, дружески обнимаю. Ваш сердечно. Желаю книге огромного успеха. Она этого заслуживает. Юр.Трубецкой.

P.S. К сожалению, я все больше болею, болею. Сердце. Все доктора говорят разное. Но от этого не легче. Шлю Вам новое стихотворение. Теперь пишу очень мало, без надежды на выход 2-й кн. («Терновника»).

PP. S. Я уже начал писать статью для «Совр.» Но боюсь, что повторяюсь.

[1] Статья Ю. Трубецкого «Игорь Чиннов» из серии «Портреты современников» («Новое русское слово», 20 сентября 1953).

[2] Статья Ю. Трубецкого «О стихах Игоря Чиннова» появилась в «Современнике» (1961. № 3).

1.5.1962

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за посылку. Все мне очень нравится. Интересно, что — сорочка эта — «Noilon» или нет? Она мне подошла по мерке.

Заинтересовала ли Вас книжка Шаршуна, которую я Вам послал? У меня их случайно было три. Правда ли, что мне сообщили из Парижа, якобы Вы уезжаете в Америку[1]? Если это правда — досадно, что мы не увидимся уже, в таком случае, никогда! А если правда — Вы, конечно, мне сообщите Ваш американский адрес.

Мне Ю. П. Иваск уже написал. Я ему уже успел ответить. А Вейдле и Адамович молчат. И Хомяков-Андреев тоже не посчитал нужным написать хоть пару слов. Читали Вы рецензию на «Терновник»[2] Андрея Седых? Рецензия Ю. К. мне тоже очень понравилась. Я послал книжку Гулю, но он тоже пока не ответил, я думаю, что и не ответит.

А как здоровье Ваше? Летите или плывете? И вообще, правда ли это?

Если бы Вы до отъезда «заскочили» ко мне в Nürnberg! Будьте здоровы. Еще раз спасибо за подарок. Жму руку. Ваш Юр.Трубецкой.

[1] Осенью 1962 года И. Чиннов уехал из Мюнхена в США, где стал профессором Канзасского университета.

[2] Книга стихов Ю. Трубецкого «Терновник» вышла в 1962 году.

1.1963

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы не представляете, как мне досадно, что Вы потратились на посылку портфеля, а я ничего не получил. Верно, Вы плохо упаковали, и все рассыпалось или утеряно. Или, что еще досаднее, — где-то завалялось. Вам надо сделать рекламацию на почту (Вы сами сдавали или поручили кому-то, и тот не сдал?), м. б. найдут...

Спасибо за привет, который Вы написали вместе с Ю. П. Но он ошибся: Большухин — не Ю. П., а Ю. Яковлевич. Это только Анненков мой тезка. Я читал доклад о Блоке очень успешно и буду продолжать 16/1–63. Профессор славист Zineger будет переводить мою повесть «Нищий принц» на немецкий язык и пристраивать в какое-то издательство. Но это еще нескоро, так

через $^1/_2$ года. Я переписываюсь с Ал. Биском и Г. Евангуловым. (Вы знаете их? Биск в США, Евангулов в Гамбурге).

Но здоровье мое довольно скверно. Сердце и прочие немощи. На обороте стихи, которые Вы не знаете. Почему же Вы не выпишете НРС и «Р. Мысль»? Я не представляю, как можно жить без русских газет, журналов, книг. «Современник» растет, улучшается, крепнет, там много моей прозы. И стихов, конечно. Не сердитесь на предыдущее письмо[1]. Оно — с досады. Помните, что я Вас искренне люблю! Но я скучаю, дохну от домоседства, холода. Жена шлет привет.

Крепко жму руку. Не забывайте. Ваш Юр.Трубецкой.

P. S. Ваш ex-ученик К. Фотнев сделался священником. Он всегда был ханжой и лицемером — сплетником.

И. Ю. Гуаданини прислала мне свою книжку, я ей послал «Терновник», но умолкла почему-то.

* * *

Должно быть и бывает иногда
Бессонницей — какие-то все счеты,
Приметы и протекшие года
И даже удивленье сквозь дремоту.

Сам удивляешься, что вынес все —
Такой уже родился — толстокожий.
Да, скоро ветер зиму принесет,
Последнюю надежду уничтожив.

* * *

Все забыл. И то, что было,
Кажется баснословным.
Вьюга позаносила
Саваном ровным.

Голос и все движенья,
Колокол повечерья —
«Ave Maria, gratia plena»...
И золотые деревья.

Никому не расскажешь,
Покажется слишком длинным.

Все забываю. Даже
Глаза с монгольской косинкой.

Письмо получилось какое-то сумбурное. Извините. В сочельник (по н./ст.) визитировал Черубино. Он перенес операцию желудка. Но, видимо, старая дружба не ржавеет. В 1963 г., вероятно, переєду на новую квартиру. Тогда сообщу новый адрес. Но это будет не так еще скоро!

Жаль, что Вы не читаете «Совр.». Там был один рассказ — вольное продолжение пушкинской «Пиковой Дамы» и будет «Дуэль Пушкина» (глазами Николая I-го). Меня в прозе тянет к историческому жанру. В НРСл был фрагмент из biographie romance Римского-Корсакова. Неужели Ваш университет не выписывает русской литературы? Вы же по кафедре русского языка и литературы!? Ю. Т.

[1] Письмо не сохранилось.

28.8.1963

Дорогой Игорь Владимирович,

Наслышан о Ваших успехах. Душевно рад за Вас. Вы должны знать, как я нежно люблю Вас, и, прежде всего, — как поэта. Но я никогда не отделяю поэта от его личных качеств. Ведь поэт это нечто большее, чем, скажем, лектор! В нашу страшную эпоху сохранить в себе поэта — большой подвиг. Вы должны это сделать. Пусть Вас не затронет «славы обольщенье». Толпа? Ей нужны «panem et circenses»[1], а не подлинная поэзия — т. е. то, чем Вы обладаете. Не желая Вам льстить, скажу: я ставлю Вас выше всяких Елагиных, Моршенов, Ильинских и Кленовских. Они виршеплеты, а Вы поэт. Вам в конце концов безразлично, что Вам пишет какой-то тип из Нюрнбергской дыры. Но... мне не хотелось бы, чтобы Вы превратно меня поняли. Я Вам начал писать это письмо 7 августа, в день смерти Блока. День, когда кончилась жизнь и началось бессмертие. Из этого не следует, чтобы Вы умирали, а наоборот: жить, жить, писать, писать. Вы, конечно, могли бы не ограничиться открыткой из Урбани. Это упрек (без права на таковой!).

Когда-нибудь не пожалейте пары долларов и пришлите мне какой-нибудь пустяк, который был бы у меня перед глазами и напоминал бы мне о том вечере, когда мы сидели вдвоем в Вашей комнате в Мюнхене. После этого мы не виделись. Прошло 10 лет, десять мигов. Прекрасная Дама — бедность — от меня не уходит. Это, конечно, фигурально, я не голодаю, одет, имею крышу, удобства. «Но ведь не единым хлебом...» и т. д. Жизнь мне не удалась. Дай Бог, чтобы она Вам удалась!

Всякие злые языки шипят обо мне: «фальшивый Трубецкой». Но ведь тут просто: по рождению я кн. Трубецкой, но когда мне было три года, отец разошелся с моей матерью, и она вышла замуж за барона г. Nolden-Eberhardt, и отчим меня адаптировал. Вот в чем дело. И теперь я хлопочу, но безрезультатно. Единственно добился: двойной фамилии. Но писать мне нужно на «Trubezkoy». Это, так сказать, эпическое отступление. Я готовлю для Вас сборник моих стихов — не вошедших в «Терновник». Если, конечно, такой подарок Вам нужен и интересен. Слышал о Ваших новых стихах в № 72 Нов. Журн., но их, к сожалению, не читал. Я очень сомневаюсь, чтобы мы увиделись с Вами через 2 года. Почему именно через 2 года? Если Вы, живя в Мюнхене, не собрались, то теперь, из USA, и подавно. Потому я и сомневаюсь. Мне очень хотелось бы иметь Вашу фотографию. Я думаю, что у Вас найдется лишняя. Совсем маленькая (паспортная) у меня Ваша есть, присланная еще в 1951 году, у меня есть — Ваш подарок — книга повестей Гоголя. Я увлечен Гоголем. И вообще — не забывайте меня в смысле книг. Буду очень рад и признателен. Извините за зачеркиванье. Написал несообразные вещи. Иногда пишешь не то, что надо. Жена приветствует Вас. Будьте здоровы. А я не очень здоров. Крепко жму руку, милый. Ваш Юр. Трубецкой.

P. S. 26, 27, 28 августа лежал в постели. Так плохо себя чувствовал, не выходил, конечно. В общем, скисаю.

[1] Хлеба и зрелищ! *(лат.)*

11.12.1965

Дорогой Игорь Владимирович,

Спасибо, что вспомнили, спасибо за чек.

Я очень рад, что Вам понравились стихи и статья. Я бы чаще писал, но нужна тема, нужен повод. Книг издается мало новых. Вот скоро выйдут стихи Г. Струве[1], потом у меня есть нововышедший сборник стихов Л. Ганского[2]. Может быть, еще что-нибудь подвернется. Тогда и статья будет. Меня статьи тоже устраивают, потому что НРС платит.

Если бы я имел весь «Тихий Дон» Шолохова, я бы доказал, почему Ш. не стоил Prix Nobel. И доказал, что это весьма и весьма посредственная вещь. Ведь писал-то не Ш., а это рукопись какого-то белого казачьего офицера! Переделанная Шолоховым! Здесь живет тоже казачий белый офицер, который всю эту историю знает. Он за рубежом, т. к. служил в немецкой армии, в казачьих частях von-Pannwitz. До второй войны он знал Ш., знал и того офицера.

Вы пишете, что «Бог велел» Струве издать мои стихи[3]. Как бы не так! У него на очереди еще II-й том Мандельштама, II-й том Ахматовой, III и IV тома Гумилева и два тома Волошина. Спасибо — он мне — все, что у него выходит,— присылает! Р. Гулю тоже «Бог велел» печатать мои стихи, как это он делал раньше, но...

Между прочим, я часто вас вспоминаю. Читаю «Линии» и «Монолог». Стихи из НЖ. перепечатываю и вклеиваю в Ваши книги. Книжка для Вас готова. Ее и обратно Н. Ж. № 80 (спасибо) пошлю, когда схлынет рождественская перегрузка. Я бы послал и раньше, но меня смутил Ваш обратный адрес: Теннесси стрит. Я и сейчас хорошо не знаю, по какому адресу писать!? Заранее — желаю Вам веселых Праздников, счастливого Нового Года — здоровья, творческих удач и проч. и проч. Жена благодарит за привет и тоже того же желает. Ваш очень дружески Юр.Трубецкой.

Стихи Т. П. Фесенко (с которой давно знаком) уже давно послал! Когда Антология[4] выйдет?

Мне вспоминается вечер у Вас, в Мюнхене. Дождь. А потом вечер у Кумминга. Где он?

[1] Книга стихов Г. Струве «Утлое жилье» вышла в 1965 году.

[2] Книга стихов Л. Ганского «Слова» вышла в 1965 году.

[3] Г. Струве с Б. Филипповым возглавляли «Международную литературную ассоциацию», выпускающую русские книги, запрещенные в СССР.

[4] Составленная Т. Фесенко антология «Содружество. (Из современной поэзии русского зарубежья)» вышла в 1966 году в США. Туда вошли и стихи Ю. Трубецкого.

20.9.1965

Дорогой Игорь Владимирович,

Сегодня получил Вашу открытку от 16.9. из Калифорнии. 9.9 я написал Вам, благодаря за Ballograf Parker. Неужели у меня был неприятный тон — запальчивый? Прошу меня простить в таком случае. Но это не относится к Вам персонально, а вообще к жизни, которая мне не удалась, исключительно не удалась! Не того я ждал на Западе! Неудачи мои начались в 1918 г. и плодятся до сих пор беспрерывно. И просвета не было и нет.

Горько писать об этом. Горько знать, что ничего хорошего не предвидится. Так что, извините, если это настроение как-то передалось на тон моего письма. Вы знаете, что я Вас выделял и выделяю из толпы людей. И мне не хочется думать иначе. Все эти Елагины, Кленовские, Ильинские не стоят Вашего мизинца. Это не лесть.

Ну, довольно об этом. Почему Вам понравилось «Горем черным, смертью белой»? Ничего особенного. Правда ли, что вышла на русском языке «Лолита» Набокова? Если правда — когда-нибудь пришлите мне. Н. Ж. я еще, конечно, не получил. Получу, прочту и немедленно транспортирую обратно. Когда Ваша 3-я книга стихов? Пора. Моя — никогда.

Жена благодарит за память и тоже приветствует. Я — болею, болею. Иногда легче. Жму руку. Ваш Юр.Трубецкой.

На адресе пишите Trubezkoy. Так на двери.

P. S. Читали кн. стихов Е. Раича? («Рифма») «Современники». Очень неплохо, несколько академично только и с влиянием Ходасевича.

Я хочу Вам сделать маленький подарок: напечатать стихи 1963–5 гг. (на машинке). Буду печатать, но не быстро. Устаю.

1969 <?>

Дорогой Игорь Владимирович,

Поздравляю Вас со **Светлым Праздником Христова Воскресенья**. Желаю Вам здоровья и успеха. Жена присоединяется к поздравлениям и пожеланиям.

Мне много хотелось бы Вам написать. Да не хватает духу. Прежде всего о себе. Живу я по-прежнему, часто прихварываю. Но не забочусь ни о чем. Но ведь не хлебом единым и т.д.

Я, наконец, узнал от одного мюнхенца, почему в Н. Ж. и среди русских поэтов Америки такое предубеждение против меня. Это все пошло из радио СВОБОДА. Там был некий тип, который ославил меня, как советского агента, потому меня тогда и уволили. И оттуда все это и пошло.

Не трудитесь возражать! Меня Вы не переубедите. Это я узнал **документально**! Конечно, я бы мог поднять целое дело, привлечь к ответственности этого типа и вместе с ним тех, которые это передали дальше и дальше.

Вот потому меня и не печатает Р. Гуль. А раньше ведь печатал не только стихи, но даже поручал мне статьи (о Гингере, об Эристове)[1]. Посылал мне каждый раз НЖ. Это все идет оттуда. И отчасти от Елагина, который как будто распространил слухи, что я был в немецкой полиции. Но ведь он и сам «фольксдойч»! Так же как и Кленовский (Крачковский). Но это неважно. Каждый спасался как умел и мог.

Ваше отношение ко мне тоже заметно переменилось. Я ведь высоко ценил Вас, как поэта и как человека. Даже считал своим другом. Теперь я почти всеми забыт. Проще говоря **вышел в тираж**! Опять-таки виной тот мерзкий слух. Уверять Вас и других в обратном, я, мол, цаца, пай мальчик — слишком много чести.

Настоящие друзья НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТСЯ И НЕ ЗАБЫВАЮТ.

Впрочем — сочтите это письмо, может быть, за старческое брюзжанье. Но я ведь не так стар! Мне только 67 лет. НЖ. я получаю. Но мне хотелось бы услышать от Вас «почему все же меня бойкотируют»? Вас не переупрямишь. Я однажды уже у Вас спрашивал, но Вы отговорились.

Вообще — Вы, конечно, не балуете меня Вашими письмами. А вот именно сейчас, живя в старческом доме и будучи боль-

ным, БОЛЕЕ, ЧЕМ КОГДА, Я НУЖДАЮСЬ В ТЕПЛОМ СЛОВЕ И УЧАСТИИ.

Извините меня за тон письма. Другому я не писал бы так, а просто презрел. А Вы — совсем другое. Ваш Юр.Трубецкой.

[1] Рецензии были опубликованы в «Новом журнале» (1957. № 50).

5.3.1973

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы, очевидно, вычеркнули меня из списка. Я Вам послал два письма (это 3-е!). 1-е — извещение о смерти К. А. Морра[1]. 2-е — рождественские и новогодние поздравления. Ответа нет. Это письмо пишу наудачу. Я надеялся получить (по примеру прошлых лет) Вашу новую книгу стихов[2]. Но...

Я уже 6 месяцев прикован к своей комнате, нога и проч. Ослеп на один глаз. Всякие Фонды, видимо, существуют не для людей, пишущих уже 30 лет. Смерть Софии Юльевны <Прегель> меня потрясла. Несмотря на полуслепоту, я пишу все же цикл стихов «Надменная Роза».

Парижане меня не забыли. Но Вы... Вы, которого я так всегда любил...

Может быть, мои письма не дошли до Вас. Сомневаюсь. Просто — я для Вас неинтересный корреспондент. Я — повторяю — очень, объективно, плох. Желаю Вам всего лучшего. Надеюсь: а вдруг...! Ваш Юр.Трубецкой[3].

[1] Кирилл Александрович фон-Морр — троюродный брат И. Чиннова со стороны отца. Чиннов не поддерживал с ним отношений, хотя они были знакомы еще детьми. О нем И. Чиннов рассказывает в своих воспоминаниях. В предыдущих письмах Трубецкой пишет, что Морр появился в их доме для престарелых и много пьет.

[2] Пятая книга стихов И. Чиннова «Композиция» вышла в 1972 году.

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 68 писем Юрия Трубецкого.

Юрий Трубецкой

СТИХИ

* * *

И поздний дождь над миром, как тогда,
И все такое жалкое, и злое.
Поет, бормочет за окном вода
О нежном, о пленительном покое.

И дождь ночной, как прежде, как тогда,
И дом плывет в безвестные пустыни.
В разрыве туч — холодная звезда —
Такой же свет мучительный и синий.

Опубликовано в антологии «На Западе».
Нью-Йорк, 1953

* * *

Чтоб забыть, надо только беззвучно
Отойти. Всё ненужно, всё — боль.
Эти снегом грозящие тучи
Заслонили рассвет голубой.

Чтоб забыть, надо стать беззаботным,
Туже пояс, плотней воротник.
Слышишь, где-то там птиц перелетных
В поднебесьи стихающий крик?

Опубликовано в «Новом журнале».
1958. № 53

РОМАН ГУЛЬ

Роман Борисович Гуль — писатель первой волны эмиграции, журналист, главный редактор «Нового журнала» — родился в 1896 году в Киеве. Воевал в рядах Добровольческой армии. В 1918 году, попав в плен, был вывезен из Киева в Германию в лагерь для «перемещенных лиц», как он пишет в своей автобиографии. Потом жил в Берлине, где начал зарабатывать писательским трудом, издав в 1921 году книгу «Ледяной поход». Это воспоминания участника, бывшего члена Добровольческой армии, разочаровавшегося в идеалах Белого движения из-за жестокости военных. Глеб Струве («Русская литература в изгнании». Париж, 1984) говорит, что в кругах эмиграции, связанных с Белым движением, книга была воспринята как измена. Но зато ее приняли в СССР и «Ледяной поход» был «продан автором московскому отделу Госиздата». А два следующих больших романа Гуля, вышедшие в 1929–1931 годы в Берлине, — «Генерал БО» (в немецком переводе названный «Борис Савинков. Роман террориста») и «Скиф. Бакунин и Николай I», — многие в эмиграции склонны были относить к «советской литературе», вспоминает Струве, потому что «в манере Гуля чувствовалось влияние не столько Мережковского и Алданова, сколько советских исторических романистов». Но, при всем том, романы быстро распродавались в эмиграции и были переведены на многие языки. В 1933 году (Роман Гуль тогда жил в Германии) его арестовали, и он провел около месяца в первом гитлеровском концлагере. Его рассказ об этом мы публикуем. После освобождения уехал в Париж. Там вышли его книги: «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», «Дзержинский» и пр. В 1948–1952 годах Р. Гуль издавал журнал «Народная правда». С 1950 года жил в Нью-Йорке, где стал секретарем «Нового журнала», потом одним из его редакторов, а с 1966 года — главным редактором. Тогда же он был и главным редактором нью-йоркского отдела радиостанции «Свобода». В Америке у Р. Гуля вышли: «Конь рыжий. Моя автобиография», истори-

ческий роман «Азеф» — переработанный вариант романа «Генерал БО», «Одвуконь. Советская и эмигрантская литература», три тома воспоминаний «Я унес Россию» и пр. В своей биографии он писал: «Люблю Америку. И рад, что под занавес своей жизни приехал сюда, в Новый свет. Только когда я думаю о своем пути от пензенского имения, от дедовского дома в Керенске до Нью-Йорка, у меня кружится голова. И все же, несмотря ни на что, считаю свою жизнь счастливой и — если бы было можно — повторил бы ее сначала, от первого до последнего дня» («Новый журнал». 1986. № 164 — посвященный памяти Р. Б. Гуля).

И. Чиннов вспоминал: «Роман Борисович был очень известный, талантливый романист, несомненно, умный, очень даровитый и, несмотря на дворянское происхождение, далеко не аристократ. Это не зависит от происхождения или образования. Бывают аристократы духа... Он — не был и чувствовал, что он не совсем того круга, что Георгий Иванов, Адамович, Вейдле. Роман Борисович был политически связан с русскими демократами в Америке. Человек не злой, не вредный, не завистливый. У меня с ним установились деловые отношения. Мы встречались еще в послевоенном Париже. Ко мне он относился очень хорошо, и я напечатал у него в "Новом журнале" 80% моей поэтической продукции. Он делал хороший журнал» (Магнитофонная запись 1995 года). Р. Б. Гуль умер в Нью-Йорке в 1986 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

1 января 1957 года

Дорогой Игорь Владимирович,

ну, что же Вы за чудак! Почему, с чего я могу к Вам вдруг «измениться», как Вы говорите? Я не отвечаю на письмо? Но, вопервах (как говорят у нас на родине), из Америки не отвечать на письма принято: темпы, темпики, ничего не поделаешь. К тому же я все-таки работаю на радиостанции (да еще в Н. Ж.),— и Вы мое кручение-верчение должны же себе живо представить. До писем ли тут? Вы думаете, что я такая свинья только перед Вами? Вот с тех же самых пор, а может быть, и хуже,— я не ответил на письмо Жоржа Иванова (воображаю, как они меня

кроют и тоже, наверное, не понимают, что же случилось?). А случилось, в общем, то, что ничего не случилось как будто, а времени нет, оно так стремительно уходит в дурную (и в хорошую) бесконечность, что и хотел бы его схватить, остановить, но ничего не выходит. Вот и сейчас нас с Вами уже подмял новый 1957 год, который, может быть, будет не так уж страшен, как его малюют, а может быть, будет и страшен, Бог его знает. Одним словом, прошу нас любить и жаловать и обязательно прислать нам для очередной книги Нов. журн. несколько пронзительнейших и прекрасных стихов. Вы что-то нас совсем забыли, а это нехорошо и для нас, и для Вас. Итак, ждем! Поругать я бы Вас, конечно, мог, но это по линии станции[1]. Но в этот праздник — новогодний праздник (видите, я даже записал стихами) — мы не будем вспоминать.

Сердечно поздравляю Вас с праздниками Рождества и с Новым годом, искренне Ваш Ром. Гуль.

ПС. В частности, вот о чем. Мы сейчас (давно уже) обратились ко всем нашим сотрудникам, кому высылали журнал бесплатно, с мольбой о том, что «дальше так продолжаться не может». И ВСЕ ответили радостной подпиской на Н. Ж. (годовой). Но вот у меня и М. М. <Карповича>[2] не доходят руки, чтобы написать об этом же В. В. Вейдле и Г. И. Газданову, ну, просто нет силов и временов. Не скажете ли Вы им об этом при случае. Как все сотрудники радиостанции, они стали, конечно, «пленительно буржуазны», и потому им, я уверен, это будет совсем не тяжело материально и, конечно, бесспорно радостно «в духовном плане». Ей-Богу, покажите им эту мольбу русской культуры к ее представителям. Они сжалятся, я уверен...

Ваш Ром. Гуль.

В частности, Ваша открытка совершенно восхитительна. Она доставила мне короткое, но подлинное наслаждение. Показал ее Варшавскому, он как раз был. И он это тоже любит и оценил. Спасибо за «вкусовые» ощущения!

[1] И. Чиннов работал тогда в мюнхенском отделе радиостанции «Свобода», а Р. Гуль — в нью-йоркском.

[2] В 1946–1959 годах М. М. Карпович был главным редактором «Нового журнала».

26 сентября 1957 года

Дорогой Игорь Владимирович,

давно хотел Вам написать, да все никак не удавалось выбрать минуту. Во-первых, Ваши стихи в кн. 49[1] — превосходны, как Вам известно. Хочу сообщить Вам, что недавно Джордж Иванов в письме, среди прочего, написал: «Нахожу стихотворения Чиннова очаровательными. А как на Ваш вкус?». — Видите, старик Державин Вас заметил.

Небольшой гонорар, который Вам причитается за это стихотворение, мы — ввиду Вашего богатства и нашей бедности, а также ввиду ничтожности гонорара, — занесли на Вашу карточку подписчика.

Есть ли у Вас «горячие» стихи? Т. е. — прямо из печки? Не пришлете ли? Или м. б. (кроме стихов) есть еще ч. н.: отзывы. Все — ждем. Сердечно Ваш Роман Гуль.

[1] Стихотворение «К луне стремится, обрываясь...».

28 ноября 1957 года

Дорогой Игорь Владимирович,

получил Ваши оба стихотворения. Очень хороши. Одно лучше другого. Растете и растете. И, главное, совсем непонятно, «куда мы растем»? Одним словом, чтение Ваших стихотворений доставило большое удовольствие. Но, к сожалению, и крайне глубокому, стихи пришли уже после того, как декабрьский номер был сверстан. Поэтому пустим их с удовольствием в первом номере[1] 1958 года. Он выйдет, вероятно, в начале марта. Пишу так уверенно потому, что убежден, что и Михаилу Михайловичу Карповичу Ваши стихи очень понравятся. Да они и не могут не понравиться всякому, чувствующему «настоящую музыку». Было бы очень хорошо, если бы Вы к тому времени поднаписали еще что-нибудь, и мы бы Вас подали шикарно. Крепко жму руку. Дружески Ваш Ром. Гуль.

ПС. Почему ни Владимир Васильевич <Вейдле>, ни Георгий Иванович <Газданов> нам ничего решительно не посылают? Ведь не ждут же они от нас каких-нибудь специальных просьб и приглашений? Оба они старые сотрудники «Нового

журнала», и мы грустим, не видя их произведений на наших страницах.

[1] В мартовской книжке «Нового журнала» (№ 52 за 1958 год) помещены стихи И. Чиннова «Жил да был Иван Иваныч...», «Что же — взорвется...(и взрывом очистится)...».

24 февраля 1960 года

Дорогой Игорь Владимирович,

был очень рад получить Ваше письмо и «пук». Пук Ваш чудесный без всякой лести. Очень хорошо. И будем рады подать Вас шикарно в следующем номере Н. Ж., который выйдет, наверное, в апреле. Сейчас материал идет в набор. Спасибо за роскошные слова об «Азефке». «Азефка» неплох и, главное, выполняет все назначенные ему функции: хорошо расходиться по-русски, проходить в переводы и «интриговать» фильмовых «продюсеров» (чудесное слово, не правда ли?). Ах да, и свою последнюю, довольно гадкую функцию, — возмущать эс-эров — он тоже более-менее выполняет сносно. Вообще, «Азефка» функционирует... А, кстати, знаете ли Вы, что подлинная, живая жена Азефа, — жива и живет в одном со мной городе, сиречь в Нью-Йорке? И один сын жив — профессор. Другой умер.

Далее. О более интересном. КАРДИОГРАММЫ[1] мне не очень нравятся вообще, и есть — «в частности»: они были у Ивана Елагина в стихах. Сразу подумают: Чиннов заимствовал. Не надо. Придумайте ч. н. совершенно чинновское. Сегодня, прочтя Ваши стихи, говорил В. С. Варшавскому, что у Вас в стихах (у единственного теперешнего поэта) есть подлинно-анненковские ноты — какой-то настоящей душевной пронзительности. Очень приветствую Вашу книгу. Ее издание. И хотя о Вас уже писали настоящие критики — Иваск, Большухин, Адамович, Трубецкой, Маковский, — но все-таки, если бы Вы не очень артачились, — писнул бы о Вас и я при случае, хотя к поэзии не имею ровно никакого отношения. Я больше насчет Михайловского, Чернышевского, Шелгунова, Вишняка и Струве (Глеба, конечно, а не Петра). Тут ходит эпиграмма (приписываемая Елагину): «Орел-струвятник мышку-завалишку когтит за то, что мышка пишет книжку». Неплохо. Не находите ли Вы (хотел сказать

гадость — но раздумал — не стоит — м. б. Вы не любите скверных непечатных слов). Это Жорж Иванов мог оценить по достоинству всякий «скабрёз», так сказать.

Последнее. Думаю, что если Вам понадобится наше скромное имя «Нового Журнала»[2], мы сможем Вам его дать (хотя это зависит, конечно, не от меня, а от всей редакции*). Но в этом случае мы должны будем ознакомиться с книжкой полностью и с предисловием, если оно будет. Бог Вас знает, Вы закатаете к. н. «лолиту», — и погибнет наша солидная репутация.

А на закуску Вам вот: сегодня пришло письмо от Романа Якобсона, и он пишет, что, когда был в Москве, «один очень видный русский ученый» сказал ему о Н. Ж. так: «Как приятно читать такой прекрасный журнал, в котором все написано так свободно, так искренне и на таком прекрасном русском языке». И сей ученый читает нас регулярно. Теперь мы хорошо знаем, что и ректор Моск. университета** читает, и вообще вся элита читает. И в СССР, и в Польше, и Чехословакии. Всего Вам хорошего

Искренне Ваш Ром. Гуль.

---

* редакция сконструировалась: Н. С. Тимашев, Ю. П. Демин и я. *(Прим. Р. Гуля.)*

** со слов другого профессора — американца. *(Прим. Р. Гуля.)*

[1] Так И. Чиннов хотел назвать свою вторую книгу стихов, названную «Линии» (Париж, 1960).

[2] Две последовавшие после «Линий» книги И. Чиннова «Метафоры» и «Партитура» вышли под эгидой «Нового журнала».

7 апреля 1962 года

Дорогой Игорь Владимирович, спасибо за письмо. Жаль, что стихов нет. Но поступаете правильно: ждите, когда пробьет час. И тогда шлите в Новый журнал. Я? В июне? Нет. Гораздо позднее — да. В июне мы будем в Италии. К слуху о Вашем переезде[1] отношусь КРАЙНЕ положительно. Во-первых, потому, что люблю эту страну — «я другой такой страны не знаю». И жить тут приятнее, чем в к. н. другой стране. И возможностей больше, чем в к. н. другой стране (для нашего брата). Предложение, кото-

рое Вы получили,— блестящее. Обычно поступают на 6000 в год. Я знаю людей с дипломами (сов. вузов, специалистов по русскому языку — это особенно ценится! — и 6000 в год). Все, что больше,— это уже роскошно. 8000 — это первоклассное жалованье. Две тысячи Вы будете откладывать наверняка. И на них будете ездить либо по Америке (как я), либо по Европе (как многие). И из Америки Вас палкой не выгонишь тогда. А жить будете «ви кейзер», как говорила одна старая еврейка. Вуаля. Принимайте без всяких разговоров. И жизнь Ваша будет обеспечена во веки веков. Аминь.

Ваш искренне Ром. Гуль.

[1] И. Чиннов осенью 1962 года переехал в США по приглашению Канзасского университета и стал там профессором.

9 июля 1967 года

Нау хиир дис[1], дорогой Игорь Владимирович! Этим военным выражением я начинаю свой ответ Вам на присыл Ваших стихо. Писать буду очень всерьез, без всяких шуток и прибауток. Я думаю, что этот «пук» Ваших стихо — самое интересное из всего, что Вы написали за последнее время. Почему? Потому, что только в нем Вы «подбираетесь» к какой-то очень своей внутренней теме — и начинаете писать о ней со всей бесстрашностью — т. е. с искренностью. А искренность в писании (которую, конечно, отвергают и которой, конечно, пренебрегают всякие модники, вроде Набокова или Берберши) — это — как ни верти — не только самое главное, но единственно главное, ибо именно она определяет остроту произведения, его «доходчивость», его способность «ранить» читателя, и она же дает, рождает «от себя» и все формальные достоинства. «Форма» — «взятая с потолка» — никогда, никому нужна не будет. Недаром, кажется Шекспир, сказал, что гений это искренность. И старик был прав. Вот мне и показалось, что Вы подходите к какой-то своей внутренней теме во всем бесстрашии искренности. И это — именно это, на мой взгляд,— обуславливает ценность написанного. Тема Ваша, несомненно, бодлеровского характера, и многим она «приятна» не будет, но это не суть важно, важно, чтобы это были — цветы зла. И как будто (по моему разумению)

«пук» — становится именно цветами. Но «закругляюсь», не могу так длинно писать, ибо Вы ведь мне все эти рассуждения не оплачиваете гонораром, и никто другой тоже этим не занимается, а писем у меня — уйма уймущая. «Пук» я, конечно, посылаю в печать, но... увы... кроме одного стихо. Его НЖ проглотить не может, да и не должен. Поймите меня правильно. Я думаю, что оно одно из самых сильных,— «Я проживаю в мире инфузорий» (в частности — «голубая бацилла, большая поклонница литературы»,— это, конечно же, Берберша, уверяю Вас). В этом сильном стихо есть строка: «Я пью коктейль с ценителями гноя»,— это очень сильно, я ничуть не возражаю, и если, если бы я редактировал чисто литературный журнал (не общественно-политический), я б это напечатал. К тому ж, это моя тема — сейчас в мире литературы — везде — главенствуют «ценители гноя»* (ну, если не гноя, то чего-нибудь в этом роде!). Но я связан определенными «рамами» и не могу в НЖ дать таких строк. Нельзя. Прикиньте следующее. НЖ — будем выражаться довольно громоподобно (но, увы, правильно) — противостоит всем советским журналам (толстым), всей этой макулатуре (на 99%), он борется (да, да именно борется!) за какие-то культурные, политические, человеческие ценности. И в своей борьбе он должен быть очень осторожен — дабы «не подставляться врагу». Вот как-то я напечатал два стихо — одно Померанцева, другое Туроверова — оба с нытьем, с «душа устала» и пр. И их тут же, с соответствующими комментариями, перепечатали «Вести с родины», газетка КГБ,— посмотрите, мол, до чего эмигранты никуда не годны, дряблы, до какой степени слабости и импотенции они скатились. И, представьте себе, «Вести» в данном случае были правы, ибо стихо были слабые по форме и говенные по содержанию. Пусть Ваши «инфузории» сильны, но если этот «коктейль» перепечатают в советских газетах или журналах, то это будет удар по НЖ в целом. Вы, как Милюков, скажете — «обыватель глуп». Да, м. б. глуп. Но в общественно-политическом деле и с глупостью «обывателя» тоже надо считаться иногда. Нельзя потрафлять обывателю, ибо Вы скатываетесь в яму. Но «вести линию» необходимо, этим обуславливается успех предприятия. Обрываю, курц унд гут, Вы меня поняли, я

---

* нет, это неверно, «ценителем гноя» был Бодлер, а теперь — просто пошлая и мелкая сволочь. *(Прим. Р. Гуля.)*

вижу по Вашим глазам, по Вашему выражению лица во время чтения моего письма. Изменить эту строку? Я вот попросил Иваска изменить две строки в его стихо (но их легко изменить, они не «программны», могут быть так, а могут быть и этак). Тут, я думаю, изменить ч. н. трудно. Одним словом, все беру в НЖ (в сентябрьскую)[2], но «коктейль» — не могу. Подумайте над этой строкой. Может быть, вместо «гноя» Вы напишете «сои» (шучу!). Вряд ли тут возможны «перемены декорации». Ну, о стихах кончаю. О «Хвале»[3] напишите, конечно. Докажите все, что доказуемо. Но, ради Бога, не мучьте «Гуля жирный карандаш», а ему придется мучиться, если Вы трахнете ч. н. весьма кумовское. Даже и кумовское должно казаться не кумовским. Вот, в чем искусство кумовства в литературе.

Мой друг, Н. Берберова, писала мне, будто ее друг, В. Злобин, — в доме для душевнобольных — и спрашивала, правда ли это, нет ли у меня сведений? Видимо, она страшно взволнована. Я написал ей, что ничего не слыхал, но вполне допускаю, что он попал в это заведение после той травли, которая поднялась против него в то время, когда он был приглашен в Канзасский у-т. М. б. это и было последним «толчком» через порог сего заведения. Кто знает? Вы не слыхали о Злобине ничего? Я нашел три его стихо, которые были не напечатаны у меня, и даю их в сентябрьском номере[4]. Если это верно, то даю — «почти посмертно».

Обрываю, кончаю, всего Вам хорошего в мире инфузорий, куда я не хочу идти никак все-таки. Я хочу — наверх к ангелам! Если пустят. А почему нет? Пишите мне только по летнему адресу, сюда в Питерсхэм, Масс. 01366. Дружески Ваш Ром. Гуль.

P. S. Жена приветствует, но она, конечно, против всяких цветов зла. Она за утоли моя печали[5]? Кстати, Вы хотите именно — мо<u>и</u> печали — или классическое — мо<u>я</u> печали. Aufwiedersehen!

[1] Now hear this — Теперь послушайте это *(англ.)*.

[2] В «Новом журнале» (1967. № 88) напечатаны стихи И. Чиннова: «Ну, а тебе — дела не опротивели?..», «Ну, не бессмертие, хотя бы забытье...», «Разлетается сердце черными хлопьями сажи...».

[3] «Хвала» (США, 1967) — книга стихов Ю. Иваска, ближайшего друга И. Чиннова. Об этой книге И. Чиннов так и не написал.

[4] В «Новом журнале» (1967. № 88) напечатаны стихи В. Злобина «Мне голову отрубили на плахе», «О, как просто, и как прекрасно!..», «Темире Пахмусс». В. Злобин умер в 1967 году в лечебнице для душевнобольных.

[5] Стихотворение И. Чиннова «Утоли мои печали...».

<Открытка. На штемпеле — 1967 год>

Дорогой Игорь Владимирович,

В/статью о Мандельштаме[1] прочел, — первый класс! Никаких сокращений и изменений — ушла в набор в сент. №. Вы, оказывается, прекрасный прозаик. И «этюд» Ваш (некий «Бобок»)[2] прекрасно написан. Разворачивайтесь в марше! А какие чудные, хоть и знакомые, цитаты из Мандельштама — есть просто сногсшибательные — и никаких «прозаизмов» — все врезается в мозг и в сердце. Адамович прислал письмо — хочет писать о «Хвале» (вероятно, хвалу). Ю. П. оказался великим стратегом и тактиком. Но, кто же будет писать: Вы или он[3]. Выясните у хозяина, пожалуйста.

Дружески Ваш Ром. Гуль.

[1] В «Новом журнале» (1967. № 88 (сентябрь)) напечатана статья И. Чиннова «Поздний Мандельштам».

[2] Этюд не был напечатан.

[3] Статью написал Г. Адамович, опубликована в «Новом журнале» (1967. № 88).

14 мая 1971 года

Дорогой Игорь Владимирович,

Ваши стихо все получены, все (кроме последнего) сданы в набор и пойдут в кн. 103[1]. Последнее стихо — было, во-первых, «за много», а во-вторых, оно, кажется, и написано греческим размером, а мы считаем, что писать греческим размером в момент, когда Греция захвачена полковниками, установившими кровавую

фашистскую диктатуру, — неприлично, да-с. Что бы сказал Чернышевский и Вишняковский? Ай-ай-ай.

Никакие выступления для меня невозможны, увы. У нас сейчас жизнь вся покосилась, и я еле-еле тащу журнал, лелея мысль в первый же удобный момент оставить этот высокий пост «властителя зарубежной литературы» и «академии наук». Говорят, не подобает Дундуку такая честь...

Нет, всерьез. Жена моя нездорова, и вот мы вернулись из Флориды совсем не в хорошем виде. У нее поднялось неслыханно давление: 240 на 110 — поэтому ей прописана постель. Я тоже «сшибся с казанков» во Флориде, пошел сдуру против ветра 30 миль, и сердце мне сказало, что этого делать не след. Посему сейчас жизнь у нас «госпитальная», в сущности. И я с трудом тащу и с еще большим трудом отвечаю на письма (на уйму просто не отвечаю). Так что никаких выступлений от меня не ждите. Спасибо. Но не можно. Увы... Искренне Ваш Ром. Гуль.

ПС. Кое-кто на меня нападает за помещение Ваших стихов. Пишут письма. Но мы сами по себе (стоим фельзенфест и охраняем поэта. «Надо спасти поэта», сказал когда-то Блок (кажется о Кузмине). Вуаля. И Ауфвидерзеен.

[1] В «Новом журнале», № 103 напечатаны стихи И. Чиннова «В стране Шлараференланд...», «Мертвый пейзаж на луне...».

7 ноября 1973

Дорогой Игорь Владимирович, я пишу Вам это, во-первых, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, во-вторых, прошу Вас ответить на него по возможности быстро и СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО. Дело вот в чем. Я, как Вы знаете, хочу кончать свое редакторство, ибо у меня нет никаких сил тащить и дальше эту колесницу. Это чистые каторжные работы. Я думаю, нет и не было такого «явления», чтобы ОДИН человек заменял собой «оркестр» и тащил бы, один, толстый журнал. Приезжие люди воображают, что у Н. Ж. есть какая-то редакция, какой-то аппарат в 10 человек и пр. и приходят в полное удивление, когда узнают, что ничего этого нет, а есть один человек. Но один этот человек устал, физически устал, он больше не может. И потому ищет замены. Со всех концов несутся крики: бросать нельзя! это ко-

нец культурной эмиграции! и пр. ламентации. Один американец мне заявил, что бросать нельзя потому, что это «мировое» дело, и что оно важно не только России, но и Америке. Все это так. Со всем этим я согласен, и это верно, но силы есть силы. И я не могу лезть преждевременно в могилу, когда она и так уже не за горами.

Итак, курц унд гут. Я в прошлом году пробовал говорить с тремя писателями, предлагая им заменить меня, все КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались, сказав, что они идти в каторжные работы не хотят. Но вот я протащил еще год. И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ. Но у меня сейчас возник другой план — в смысле того, чтобы не бросить, не закрыть журнал, чтоб он как-то жил, что НАМ ВСЕМ НУЖНО. План такой — поделить редакторскую работу: Я бы себе оставил публицистическую часть (политика, экономика, вопросы культуры — статьи по этим вопросам, рецензии, воспоминания). А все иное пусть бы редактировал другой человек. При этом я бы оставил за собой — работу по экспедиции, т. е. — ежедневные (как сейчас) встречи, разговоры с секретаршей и распоряжения о высылке гонораров, об ответах на письма по конторе, о том, о сем, тут пропасть мелких дел. И оставил бы также всю возню с бухгалтером — чеки в сошэл секюрити, в анемплоймент[1] и пр., все разговоры с типографией, технические. А другой бы человек — редактировал бы полностью указанные материалы, вел бы корреспонденцию с авторами по поводу них, читал бы корректуру всю свою, вообще был бы полновластен во всей части Н. Ж., кроме публицистики. И вот, перебирая с женой имена наших друзей и сотрудников журнала, я наткнулся на — Игоря Чиннова. И подумал, почему же я думал о том, о другом, и не подумал о Чиннове, мне думается, он мог бы соответствовать, т. е. гарцевать на этом коне соредактора: на обложке было бы: под редакцией Гуля и Чиннова. Можно было бы указать, что именно редактирует Чиннов, а что Гуль. Если б Вы захотели «Чиннова и Гуля», — можно было бы и так, хотя, к В/несчастью, по-русски Чиннов пишется с «Ч», т. е. начинается. При этом факте — гонорар, который я получаю как редактор (500 д. в месяц), надо бы соответственно разделить (пополам, скажем). Что Вы обо всем этом плане думаете? Мне было бы важно и интересно узнать. Но хочу Вас — с последней прямотой — предупредить обо всех деталях такого предприятия. Вы, конечно, понимаете, что множество пишущих людей с восторгом согласились

бы разделить эту участь. Но из множества я считаю 97 процентов множества не подходящими по всяким разным причинам. Во-первых, журнал надо держать на том «высоком» уровне, на котором он есть, ибо спустить его до уровня «Граней» или «Мостов» можно в один миг, если начать печатать С. Ф. Б. Д. и многое другое. Это — не имеет смысла, ибо «Грани» уже существуют и существовать будут, вероятно. Надо оставить «лицо» Н. Ж. столь же умным и прекрасным, каким оно родилось и создалось. Только в этом и есть смысл его существования, что подтверждается и вновь прибывшими из СССР (если они интеллигентны и умны). Кстати, они тоже просят меня не бросать НЖ.

Я думаю, по многим данным, Вы писатель подходящий. Но я должен Вас спросить, во-первых, можете ли Вы РАБОТАТЬ, ибо редактирование, это есть работа, прежде всего (хватило б только пота!). Я знаю людей, которые с удовольствием взялись бы за это соредакторство, но я знаю и то, что эти люди будут приезжать, курить, рассказывать литературные анекдоты, и все. ЭТО НЕ ГОДИТСЯ. Я спрашиваю Вас: можете ли Вы, умеете ли Вы РАБОТАТЬ над чужими рукописями, редактировать их? Ведь мне приходится поднимать до «высокого литературного уровня» множество статей и даже не статей, а беллетристики. И это — самое трудное. Иногда я работаю над к. н., черт бы ее побрал, статьей три дня! Чтоб довести ее до уровня и... довожу. Так вот, работали ли Вы в «Либерти»[2], скажем, как редактор? Мне по Вашей прозе кажется, что Вы можете править, редактировать. Но я не знаю, я не уверен. И потому скажите Вы мне сами: как Вы думаете, Вы могли бы вести такую работу или нет, или Вас это не интересует. И еще вопрос. Вы писали, что Вы купили квартиру в Лейквуде[3], что, мне думается, правильно. Но, когда Вы туда переедете, сколько времени Вы еще остаетесь в Нашвилле? Это тоже очень важно, ибо, сидя в Нашвилле, — редактировать для НЖ — трудно, если не невозможно. И еще практический вопрос: сколько Вы можете подрабатывать, получая сош. секюрити и пенсию? Если б Вам было 72 года — Вы могли бы безгранично подрабатывать, хоть 200 тысяч в месяц, но Вы еще, конечно, такого Мафусаилова возраста не достигли, и потому за все, что Вы заработаете больше какой-то суммы, — Вы должны возвращать в сош. сек. доллар за доллар. Это зверство, но это так.

Должен еще сказать, что я не знаю, как сложится судьба Н. Ж., — и в смысле финансовом: будет ли та фондейшен, которая помогает Н. Ж. (и помогает все-таки солидно, хотя и не покрывает всех расходов), будет ли она продолжать свою помощь и в 1974 г., и далее. Я думаю, что будет. Вот одна фондейшен — Юманитис Фонд — приказал долго жить и два года тому назад известил нас об этом, дал всем своим клиентам за 5 лет вперед (мы тогда получили 10.000) и умер. Я запросил сейчас нашу фондейшен, как дела и на что можно надеяться, и жду ответа. Думаю, что будет какой-то «дефицит» в теперешнем годовом балансе, но это еще надо узнать, и м. б. небольшие это деньги и можно будет где-нибудь достать.

Еще скажу одну вещь: при редакторской работе (как Вы сами знаете) надо быть либеральным (и в ту, и в другую сторону). Нельзя печатать только то, что МНЕ нравится. Вот так вел «Опыты» Ю. Иваск, и это совсем не подходяще для НЖ, ибо НЖ — это, увы, не «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и не «Пощечина общественному вкусу», это РУССКИЙ ТОЛСТЫЙ журнал, основанный Алдановым, Цетлиным, Карповичем и т. д. Он и должен быть РУССКИМ ТОЛСТЫМ. В этом его рэзон д'этр[4]. Ну вот, более-менее написал, кажется, обо всем. И мне нужен Ваш ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ответ, т. е. — ответ В ПРИНЦИПЕ — согласен, мог бы, или — нет, не согласен, не мог бы. А там уж я дальше буду глядеть в подзорную трубу будущего и действовать. Письмо, думаю, надо оставить «между нами» пока что, ибо неизвестно, как и что выйдет, и выйдет ли и т. д.

Из В/стихо идут три (последние отложил, ибо технически не войдет — всего две стр.). А другим (массе) поэтов дадено только, в этом номере, по 1 странице, но зато их действительно масса.

Итак, крепко жму Вашу руку и жду деловой ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ.

Имейте в виду, я запрашиваю Вас — в принципе, — т. е. не приглашение в соредакторы уже, а хочу только узнать, как бы Вы к этому отнеслись, если бы дело сложилось. А потому и прошу Вас держать это пока в каком-то секрете, чтобы не было болтовни. У меня есть и другие переговоры на эту тему, но пока ничего решенного нет. Voila! Искренне Ваш Ром. Гуль.

P. S. А как Вейдле-то Вас расхвалил (и Иваска)[5] — прямо-таки — в гроб сходя, благословил. И как! Не к. н. портретом Лажечникова!

[1] Отчисления в страховую компанию и фонд для безработных.

[2] Радиостанция «Свобода».

[3] Местечко под Нью-Йорком.

[4] Смысл существования (*фр.*).

[5] Статья В. Вейдле «Жрецы единых муз. Два поэта» напечатана в «Новом русском слове» 16 сентября 1973 и 21 октября 1973.

28 января 1974 года

Дорогой Игорь Владимирович!

Получил Ваше письмо, из которого вижу, что Вы «всем недовольны»: и тем, что в «Азефе» нет необходимой для Вас орнаментальности (клянусь, что для Вас я напишу специально орнаментальную какую-нибудь другую книгу!), и тем, что Одоевцева Вас недостаточно оценила[1]. А, по-моему, рецензия — что надо. Кстати, я не убавил и не прибавил ни одного слова в этой рецензии — напечатал «ан-натюр». Если Вы хотите быть представленным поэтически в следующей книге, то стихи надо прислать быстро, ибо эту книгу я гоню. Опоздаете — не попадете.

С редакторством вышло так: поддерживающая нас фаундейшен сообщила, что будет оказывать поддержку еще только год. Поэтому я решил не делать никаких перестроек в редакции, а этот год протащить самому. А что будет дальше, Бог знает. Искренне Ваш Ром. Гуль.

[1] Имеется в виду статья И. Одоевцевой о книге И. Чиннова «Композиция», напечатанная в «Новом журнале» (1973. № 113).

28 января 1978 года

ДОРОГОЙ Игорь Владимирович!

Я видел объявление в журнале «Современник». Там есть Ваши стихи. Меня это очень удручило, п. что о редакторе журнала (А. Гидони) появлялись в печати самые неприятные сооб-

Поэту, прославленному в
этой книге ——

РОМАН ГУЛЬ

Дорогому Игорю Владимировичу
Чиннову
Дружески Роман Гуль

ОДВУКОНЬ

1973
X.4

СОВЕТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСТ» НЬЮ ИОРК 1973

Дарственная надпись Р. Гуля на его книге «Одвуконь»
(Нью-Йорк, 1973)

щения. А что я слышал о нем устно от лиц, его знавших, только добавляет темные краски для этой фигуры. К тому же, в «Современнике» он прямо начал печатать материалы из Москвы исключительно вонючие и подозрительные. О Скуратове (Москва) я слышал очень плохие вещи и не удивляюсь, что он прямо из Москвы посылает статьи в «Нашу страну» и в «Современник». К моему глубокому прискорбию, сотрудников «Современника» я печатать в «Новом Журнале» не хочу и не буду. Очень грустно будет Вас потерять, но ничего не поделаешь, в некоторых вопросах я твердокаменный. Пишу и другим сотрудникам «Современника».

Жду от Вас ответа: кого Вы выбираете?[1] Свобода печати не должна покрывать некоторые акции и некоторые органы, к которым нельзя иметь даже косвенное отношение. Вуаля! Дружески Ваш Ром. Гуль[2].

[1] А. Н. Гидони стал главным редактором журнала «Современник» с № 37–38 за 1978 год. До того у И. Чиннова в нескольких номерах были публикации. После этого письма Гуля Чиннов перестал сотрудничать в «Современнике».

[2] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 41 письмо Р. Б. Гуля.

Роман Гуль

Я УНЕС РОССИЮ*

МОЙ АРЕСТ

<...> В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог душевно и психологически жить, да и разум и интуиция говорили, что эта трагедия не только Германии, в этом убеждал больше всего — «Майн кампф». Всем существом захотел я вырваться

* Главы из книги Романа Гуля «Я унес Россию. Апология эмиграции». Т. 1 — «Россия в Германии». Нью-Йорк, 1981. Т. 2 — «Россия во Франции». Нью-Йорк, 1984. На экземпляре первого тома, сохранившегося в библиотеке И. Чиннова, дарственная надпись: «Дорогому Игорю Владимировичу Чиннову очень и очень дружески. Роман Гуль, 1981, май, Нью-Йорк».

из этого коричневого тоталитаризма — на свободу. Во Францию. <...>

Но 16 июля 1933 года в 11 часов утра, когда я работал в своем саду, к забору подъехал на велосипеде жандарм, слез с велосипеда и вошел в калитку. Этого жандарма я давно знавал. Поздоровавшись «гут-моргеном», он, подойдя, вытащил из портфеля бумагу и, глядя в нее, проговорил:

— Вы русский писатель Роман Гуль?

— Да.

— Вы написали книгу «Борис Савинков. Роман террориста»?

— Да.

— Это большевистская книга?

— Нет.

— Ну, это неважно. Берите мыло, полотенце, подушку, вы поедете со мной.

— Куда?

— В концентрационный лагерь Ораниенбург.

— За мою книгу? В Ораниенбург? Но это же анекдот, герр вахмистр?

— Я не знаю, что вы там написали. В Ораниенбурге разберут. Собирайтесь.<...>

Въехали в Ораниенбург; у древнего замка пересекли Луизенпляц; замок украшен громадным черно-красным плакатом — «Немец! Только Гитлер даст тебе хлеб и свободу!». В двух шагах от концлагеря лозунг звучал угрожающе. С Луизенпляц свернули в улицу и скоро слезли с велосипедов у концентрационного лагеря. На воротах надпись: «Konzentrazionslager Oranienburg».

Сквозь коридорчик караульного помещения, заполненного шумевшими вооруженными гитлеровцами, вслед за жандармом, я вошел во двор знаменитого лагеря. Жандарм шел быстро, мы пересекли вымощенный булыжниками двор, поднялись на третий этаж кирпичного здания и вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой комнату. Здесь сидел такой же жандарм.

Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидел высокого, импозантного гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордийца с множеством шевронов, черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого

было что-то нервное и резкое. Это — начальник лагеря штурмбанфюрер Шефер.

— Почему вы арестованы? В чем ваше дело? — спросил Шефер, не спуская с меня глаз. Шефер — не бурбонист, обращение корректное, «светский» офицер.

— Мой арест — чистое недоразумение. Я — писатель, русский эмигрант, арестован за свой исторический роман, вышедший на немецком языке четыре года тому назад и имевший хорошую прессу в газетах всех направлений. Этот роман, в переводах, вышел в десяти странах. Но, вероятно, по недоразумению роман конфискован тайной полицией, а вслед за романом, как видите, арестован и я.

— Вы состояли в какой-нибудь политической партии?

— Никогда, ни в какой.

— Ни в немецкой, ни в русской?

— Ни в немецкой, ни в русской.

— Были на военной службе? Участвовали в мировой войне?

— Был. Участвовал в чине поручика.

— Так вы думаете, что вас арестовали только за ваш роман?

— Никакого другого обвинения мне не предъявлено.

Я видел, Шефер опытный полицейский. Во время допроса он глядел на меня в упор, «глаза в глаза», и я чувствовал, что он сам понимает, что мой арест довольно нелеп. На минуту Шефер задумался, потом резко повернулся к вахмистру и бросил: «Я сейчас уезжаю, поместите этого господина в амбулаторию, а назавтра я запрошу Берлин». И так же шумно и резко Шефер вышел, громко захлопнув дверь. Когда я вышел на лестницу в сопровождении вахмистра, он, подмигнув мне, проговорил: «Я ему всё сказал, он сам не хотел вас принимать в лагерь, но бумага... Завтра разберут, а пока будете в амбулатории» <...>

ЧЕЙ ЭТО БЫЛ БРАТ?

После воскресенья, в понедельник, концлагерь жил редко нервной жизнью. В лагерь въехало несколько грузовиков с арестованными. Через мою проходную комнату из «Главной кассы» гурьбой прошли торопившиеся гитлеровцы. Я слышал: «Пой-

дем... брата... привезли». Фамилию я не разобрал, но фраза заставила и меня подойти к окну.

На дворе стояли выстроившиеся новые арестанты. К ним шел Крюгер, на ходу закричавший: «Здесь такой-то?» (фамилию я опять не разобрал, Р. Г.). Из первого ряда арестованных сделал шаг молодой человек.

— Назад, в строй! — заорал Крюгер. Это был один из приемов: вызвать по фамилии и, когда арестованный невольно делал шаг, кричать на него, обрушиваясь дикой грубостью.

Встав прямо против арестованного, Крюгер начал осыпать его угрозами. Это и был «чей-то брат», либо видного социал-демократа, либо рейхсбаннера, либо коммуниста. Под криками Крюгера он должен был стоять «смирно». Шатен, широкоплечий, с типично-немецким круглым лицом, интеллигент, по виду лет 22-х. Хорошо одет, коричневый пиджак, спортивная кепи, «пумпхозен», чулки и, на что я случайно обратил внимание, на ногах — красные туфли, именно такие, какие я люблю, без каблука с сквозной подметкой. В руках — картонная коробка с надписью фирмы «Хенкель».

Меня поразил контраст его корректного вида и бешеной ненависти, которую он вызвал у Крюгера и собравшихся национал-социалистов.

— Sie kriegen Feuer bei uns! — угрожающе бросил Крюгер молодому человеку.

Я отошел от окна, но до меня вскоре долетел новый крик Крюгера:

— ... посмотрим, как бегает...

Я подошел к окну. «Чей-то брат» бежал по булыжному двору, что есть силы. Но был сыроват, и Крюгер махнул одному из гитлеровцев:

— Наддай!

Под смех караульных здоровенный солдат бросился за арестованным и, нагнав, на бегу, изо всех сил стал наносить удары кулаком в спину, в затылок. Казалось, под ударами молодой человек упадет, но нет, он держался, стараясь бежать что было духу.

— Назад! — скомандовал Крюгер.

Молодой человек на бегу повернулся. Сейчас все видели его лицо. Оно было, будто сведено судорогой, как у притащенного на бойню, уже не упирающегося животного, на нем — и ожида-

ние удара сзади, и выражение полной беззащитности. На глазах всех он бежал прямо на Крюгера. И, наконец, по команде, встал, задохнувшись, перед ним.

— В «бункер»! — крикнул Крюгер. И собравшего свои вещи «чьего-то брата» повели в одиночку, в «бункер».

Часа через два я видел, как гитлеровец быстро вел его к Крюгеру на «допрос». Молодой человек на ходу ладонью отряхивал пиджак. По испачканной спине было явно, что в «бункере» он лежал на полу. Меня интересовало: чей же он брат, если встречен такой злобой?

Вечером, поужинав кружкой кофе с куском хлеба, я сидел возле главного здания. Из караульного помещения в лагерь вошел Нессенс. И остановился среди кучки караульных гитлеровцев.

— Мне в Берлине сказали, сюда пришлют брата (и снова, как я ни напрягал слух, фамилии не расслышал)... Привезли его?

— Так точно, герр штурмфюрер!

— Приведите-ка его ко мне! — произнес Нессенс, выходя из круга гитлеровцев.

Было ясно, Нессенс вызывал «на допрос» «чьего-то брата». И факт, что даже в Берлине ему говорили о «чьем-то брате», был подтверждением, что арестованный — брат крупного противника национал-социалистов.

Гитлеровец вывел «чьего-то брата» из «бункера». Они шли быстро. А Нессенс прохаживался возле караульного помещения, опустив голову. В двух шагах от Нессенса арестованный встал руки по швам. Нессенс взглянул на него, тихо сказав: «Пойдем ко мне», — и пошел в главное здание, арестованный за ним. Они прошли через мою проходную комнату, в «Главную кассу». Я выждал несколько минут. Потом тихо пошел к себе. Судьба этого человека меня волновала. Не успел я дойти до своего соломенного тюфяка, как услышал несущиеся из «Главной кассы» неистовые крики Нессенса — «Что?! — Что?! — Что?!» — и было слышно, как один за другим сыпались удары. По звуку казалось: Нессенс бьет по лицу и в ответ его исступленным крикам раздавалось только какое-то странное полумычание.

Я лег на свой мешок. Крики Нессенса становились дики. Вместе с ударами пошла какая-то возня. Оставаться в комнате я не мог. Стараясь не показать вида стоявшим возле здания гитлеровцам, я вышел и сел далеко от них, на лугу. Вдруг раздался

резкий шум отброшенной двери, быстрые шаги, из здания выбежал Нессенс, он даже не взглянул на солдат, пробежал в караульное помещение и тут же побежал назад в руках с резиновой палкой. Стало быть, избитый ждал его. Устав бить кулаком, Нессенс схватил теперь резиновую палку.

Вскоре солдаты разошлись кто куда. Одни — в караульное помещение, другие наверх — к Крюгеру. Я не мог решить: входить мне в проходную комнату или нет? На дворе стемнело. Посидев еще минут пять, я попробовал войти, но оставаться в комнате я не мог. В «Главной кассе» шла возня, с хрипами, мычанием, было ясно: Нессенс его убивает. Деваться мне было некуда. Единственное место — клозет. Арестованные сейчас уже в помещении. Я пересек пустой двор. В клозете — ни одного человека. Я остановился в одном из отделений прямо против окошечка, выходящего на главное здание. Я ждал: выведут ли изуродованного арестованного «чьего-то брата», поведут ли в «бункер» или не выведут (стало быть — убит).

Я простоял минут пятнадцать. Наконец, из двери главного здания быстро, мелкими шажками вышел Нессенс, на нем было штатское пальто внакидку, через караульное помещение он, очевидно, вышел на улицу.

Подождав немного, я пересек двор, вошел в проходную комнату, взглянул на дверь «Главной кассы» — полная тишина. Я лег на свой тюфяк. Было темно, тихо. В окне — легкий серп луны. Арестованные спали. Мимо моей загородки в «Главную кассу» прошел телефонист. Я думал, заперта ли дверь? Нет, он свободно отворил ее и даже оставил открытой. Стало быть, «чьего-то брата» не оставили там.

Я прикрылся одеялом, закрыл глаза, долго неподвижно лежал, слушая то смех и взвизги возле решетки лагеря девиц, пришедших в темноте к уставшим от своей службы гитлеровцам, то — тихие звуки гармоньи. Гармонист выбивал одно и то же, отчетливо: «Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!».

Я думал о «чьем-то брате». Представлял себе его мать. Вероятно — сырая, крупная немка. Этой ночью думает о сыне. Если у арестованного есть старший, известный брат, стало быть, она пожилая женщина. И эта мать, как тысячи немецких матерей, сейчас не спит, волнуясь за жизнь своего сына в лагере и еще не зная, что он уже мертв, изуродован, валяется на полу темной комнаты...<...>

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ

<...> Когда я вернулся в проходную комнату перед «обедом», ко мне подошел старший санитар. И сказал, что из Берлина приехал чиновник, звонил по моему делу раз шесть и меня, вероятно, сегодня выпустят.

— Он ругался, говорит безобразие! Человека зря держите! — засмеялся санитар. Этот санитар был неплохой мужик, машинный прусский солдат, но не злой.

Я понял, что партбилет № 4, мундир и регалии доктора Менчеля добились моего освобождения. <...>

3-го января 1919 года Господь унес меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию. А 3-го сентября 1933 года — от гитлеровского — в свободную Францию.

ВЪЕЗД В ПАРИЖ

<...> И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневатые домики, плещущие розами палисадники, как картонные, вертятся сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает, укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече. Даже лукавый, седорозовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад я не видел ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Ведь всего этого я не

видел уже лет двадцать; с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. А после войны — из окопов — возвращаться было почти некуда. А там — две гражданских войны и невольный вывоз в побежденную Германию. Но и в Германии я ничего подобного не видел.

Я совсем забыл даже, что где-то существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей пестротой алкоголей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата, и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными куклятами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью (joi de vivre).

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельса на рельс и наконец, всплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я так себе и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации, несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Перед вокзалом я останавливаю, по воде с брызгами шуршащий, красно-желтый, попугайный автомобиль, и в этой мокрети, в общем потоке машин, я уже двигаюсь по улицам, «входя в жизнь Парижа». На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой, как живые, распластались грязные тряпки, волнуемые водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичок, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц, и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильри, «батюшка Пале-Рояль», места «великих» французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной Площадь Согласия,

как она хороша в это синее утро и как тиха через полтораста лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские Поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутноилистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива Площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова Поля с поднявшейся воздушным кружевом состарившейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавчонок, подозрительных кабачков, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

Наконец я приезжаю на улицу, где в ошеломительном Париже поселился Борис Иванович. Расплатившись с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, поднимаюсь по лестнице. Знаю, что живет он у русских. Вот думаю, сейчас мы с Б. И. и обговорим, куда же мне определяться в столице Франции.

На мой звонок дверь отворяет русская хозяйка квартиры и неприветливо-безразлично говорит, что Бориса Ивановича нет, он болен — в госпитале. Это и был подлинный душ Шарко большой силы. Я даже не спросил неприветливую даму, чем Б. И. болен и надолго ли в госпитале? С чемоданом в руке я вышел на улицу. Что же мне делать? В портмонэ чуть побольше десяти франков. Я был, как говорят, «на границе отчаянья». Но отчаиваться никому не советую, это худший «выход из положения». Я стоял на улице. Первое, что пришло мне в голову: может быть, позвонить Владимиру Пименовичу Крымову — они переехали из Целлендорфа — в Шату, под Парижем. Я знал, что нацисты довольно нелюбезно налетели к Крымову ночью с обыском, вломились в виллу, все обыскали, искали что-то даже в саду какими-то приборами. Встретив его тогда, после обыска, я спросил, что же они у вас в саду-то искали? В. П., улыбаясь, говорит: «Не знаю, наверное, “царские бриллианты”». После такого налета-обыска оставаться Крымовым в Третьем Рейхе было не совсем подходяще. И они перекочевали в Париж, где В. П. тут же купил виллу в Шату, на берегу Сены, совсем под Парижем.

На мой звонок трубку берет Владимир Пименович. Я говорю, — Владимир Пименович, так и так, я приехал в Париж...

Хотел рассказать, что Б. И. болен и мне некуда деться, но В. П. сразу же удивленно перебивает: — «Вы в Париже? Прямо из концлагеря?! Чудесно! Приезжайте сейчас же к нам. У меня к завтраку будут интересные люди — Александр Иванович Гучков и Казем-Бек, нам всем будет интересно вас послушать — о Германии, о концлагере...»

Я забыл, это было как раз воскресенье, а по воскресеньям у В. П. всегда завтракают «интересные люди». В. П. объяснил, как доехать поездом с Гар Сан-Лазар (кажется). Я его спросил, сколько стоит проезд? Он сказал. Вижу, на проезд хватит. — Хорошо, еду! — говорю. И тут же решил, что попрошу у В. П. разрешения на первое время у них остановиться, пока Б. И. не выйдет из больницы. <...>

В. П. Крымов был человек необычный. Умный, сухой, к людям совершенно безразличный, без всяких сантиментов, только деловой, а целью «дел» были — деньги. Он рассказывал сам, как добивался в жизни богатства. И — добился. Впервые я встретил его в Берлине, в 1920 году, в редакции журнала «Жизнь». Разумеется, направление «Жизни» его не интересовало. Но как старый журналист («Новое время», «Столица и усадьба») он приехал познакомиться в редакцию единственного русского журнала в Берлине. Тогда В. П. только-только вернулся из кругосветного путешествия. Почему он попал — в кругосветное? Да потому, что в феврале 1917 года *во всей* России Крымов оказался единственным провидцем. Правда, по его рассказу, был еще кто-то второй (но, к сожалению, я забыл фамилию).

Провидчество В. П. Крымова состояло в том, что *в первый же день февральской революции*, когда во всей России царило *всенародное ликование* («Пойдем на весенние улицы! Пойдем в золотую метель!», писала Зинаида Гиппиус; Конст. Бальмонт вприсест создал гимн Свободной России, а Александр Тихонович Гречанинов положил его на музыку; даже идеолог русской контрреволюции в Зарубежье, Петр Струве, в феврале был среди «принявших»), а Владимир Пименович (как он рассказывал) сразу понял, что «*всему конец*!» и «*все обрушится*!» И тут же сделал практические выводы: весь свой капитал быстро перевел в Швецию, а сам (с женой) выехал из России. Так как покинуть Россию можно было лишь в восточном направлении, В. П. в 1-м классе сибирского экспресса пересек всю Сибирь и через Японию, не торопясь, отправился в кругосветное путешествие. Где он

только не побывал, каких только стран не повидал в то время, как в России «углублялась» и «углублялась» революция. В книге «Барбадосы и Каракасы» В. П. рассказал о своем кругосветном путешествии. Он останавливался на многих экзотических островах, объехал всю Центральную Америку, пересек Атлантический океан, приплыл в Марокко в Казабланку и, наконец, в 1920 году прибыл в Европу. Приехал в Берлин. Война была давно кончена, в России шел ленинский развал. <...>

В «Memoires d'outre-tombe» Шатобриан подробно описывает, как он, будучи эмигрантом в Лондоне, голодал: «...Голод меня пожирал; я сосал куски белья, которые мочил в воде; жевал траву, бумагу. Когда я проходил мимо булочных, мои страдания были ужасны. В один такой мучительный зимний день я, как приросший, простоял два часа перед магазином сухих фруктов и копченого мяса, глотая глазами все, что видел; я готов был съесть не только всю эту еду, но и упаковку, коробки, корзинки».

В Париже я не перед какими магазинами не стоял. Но мы с Олечкой достаточно хватили эмигрантской нищеты. В большом городе она начинается, когда не на что купить трамвайный билет. В эти дни бедности мы ели картошку и капусту, на это как-то хватало. За квартиру — не плачено за шесть месяцев. Это — привилегия парижан. В другом городе вас давно бы с полицией выкинули бы на улицу. А в Париже такая уж неписаная традиция: терпят. И правильно делают. В конце концов всегда приходит какое-нибудь чудо. (Приехал же через несколько лет Шатобриан французским послом именно в Лондон, где так «гомерически» голодал, жуя траву и бумагу.) <...>

МАРК СЛОНИМ

Марк Львович Слоним — публицист, критик, переводчик — родился в 1894 году в Новгороде-Северском. Был членом Учредительного собрания. Эмигрировал в 1919 году. Учился во Флоренции. Потом какое-то время жил в Праге и издавал журнал «Воля России», где печаталась Марина Цветаева. Затем в Париже возглавлял Европейское литературное бюро, о котором в книге «Я унес Россию» (Нью-Йорк, 1984) Роман Гуль писал:

«"Литературное Агентство" Марка Слонима: эс-эр, самый молодой член Учредительного Собрания (от Одессы), литературный критик, впоследствии профессор русской литературы в Америке, Слоним был настоящий делец. И вел свои дела прекрасно. Он продавал русские книги для переводов на иностранные языки. Продал изд-ву Берже-Левро мою книгу о вождях Красной Армии, "Тухачевского" — изд-ву Мальфэр, в Испанию продал "Азефа" изд-ву Zevs Editorial, Madrid, в Швецию "Вождей Красной Армии" из-ву Siderstrom. И когда я пришел получать присланный аванс за испанского "Азефа" — 250 франков (ничего кроме "авансов" иностранные издательства и не платили, т. н. "роялти" оставались только в договорах), у Слонима я столкнулся с Н. А. Бердяевым, тоже пришедшим получать аванс от испанцев за свою замечательную "Философию неравенства". Но его аванс был всего 200 франков».

С 1941 года Слоним занялся преподавательской деятельностью в университетах США и в Женеве, где преподавал историю русской и зарубежной литературы. По приглашению М. Слонима И. Чиннов ездил в Женевский университет читать стихи. Там они и познакомились. Марк Слоним участвовал в 1942 году в создании журнала «Новоселье», печатался во многих эмигрантских изданиях. У него вышло несколько книг. Среди них — на английском языке двухтомная история русской литературы и исследование по советской литературе. Умер М. Л. Слоним в 1976 году под Ниццей.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Женева, ноября 14, 71 г.

Глубокоуважаемый Игорь Владимирович,

Получил я оба Ваши письма, не могу понять, кто дал Вам фантастический адрес: жил я во многих странах и городах, но о рю де ля Мэри слышу впервые. Но Юрий Павлович уже сказал Вам, что я от поездки в Америку отказался — так что, к сожалению, не удастся присутствовать на Вашем чикагском съезде.

«Партитуру» в свое время получил, большинство вошедших в нее стихотворений я знал по «Новому журналу», я внимательно слежу и с интересом читаю все, что Вы печатаете, еще с давних времен (помните издательство «Рифма»?). Надеюсь, что удастся когда-нибудь встретиться и поговорить о Ваших темах бессмертия, уничтожения с повторяющимися образами рая и земного ада, смягченного красотой и нежностью — и о Ваших поэтических приемах, я их нахожу очень умными и, как говорят американцы, «эффективными». Недавно разговаривал с Вадимом Андреевым о восьмистишии, открывающем «Партитуру»: конечно, это тур де форс[1], и Вы показали, что можно играть на третьем лице изъявительного наклонения возвратных глаголов, но безусловно, повторять это не следует, да Вам и не нужно, много у Вас в поэтическом колчане других стрел, сразу попадающих в цель.

Насчет парижской ноты: думаю, что теперь, через сорок лет, можно подвести некоторые итоги. Не буду говорить вообще, а скажу только о том, *что* возглавляли Иванов (у него очарование есть, и оно искупает его душевный нигилизм и «распад атома») и Адамович, с умом, тонкостью и некоторым снобизмом, умудрявшийся занимать позицию зыбкую, двусмысленную и, зачастую, ложную (его оценка Цветаевой, Сирина, вначале Поплавского). Но уныние и некая меланхолическая, почти болезненная слабость «парижской ноты» не привели к интересным поэтическим образцам. Если вспомнить парижскую школу, то ведь те, кто в Париже выделились, не ее представляли (Поплавский, Ладинский, Гингер, Божнев и др.). А из группы «воспитанников» Адамовича вышли такие посредственные поэты как Червинская, Кельберин, Штейгер (Цветаева не могла мне простить, что я не признал ни его, ни Гронского) и еще несколько, бухнувших в

Genève, 15 апреля 1973

Дорогой Игорь Владимирович,

наши письма разминулись, но в Вашем Вы ничего не написали о согласии на дату лекции (16 мая), и я в своем ответе просил Вас указать ее заглавие и дать сведения для „представления Вас публике".

Мне очень понравилась „Композиция". Вы в этом убедитесь из статьи, посланной мною на днях в „Новое Русское Слово". С некоторыми изменениями — для советских слушателей — я наговорил на ленту основной текст и послал для передачи (13½ минут) в „Radio Liberty". Так что с этой стороны все сделано как обещал.

До скорого. Наилучшие пожелания к праздникам. Ваш сердечно

Марк Слоним

Письмо М. Слонима к И. Чиннову от 15 апреля 1973 года

Лету. Но все мои оценки вытекают из общего подхода к эмигрантскому микрокосму и его особому характеру. Это требует долгой беседы.

Очень рад, что Вам понравились мои воспоминания о Цветаевой[2]. Я из них выбрал для напечатания то, что казалось мне наиболее для нее типичным, а для этого пришлось много работать.

Если соберетесь в Европу, сообщите заранее, устроим свидание.

Всего наилучшего, еще раз благодарю за приглашение и память.

С искренним и дружеским приветом Марк Слоним.

[1] Проявление силы (*фр.*).

[2] Фрагмент из этих воспоминаний мы публикуем.

Женева, 31 мая 1975

Дорогой Игорь Владимирович,

Вы не видели моего имени в русских газетах и журналах по очень простой причине: с конца января, в течение трех месяцев я был болен, не мог работать и ослабел и физически, и морально. Только в мае я пришел в себя и «выскочил» — а одно время я — думаю и врачи — питали мало надежды на мое выздоровление. Но я их обманул — и опять «жив курилка».

Никакой рецензии о стихах Лии Владимировой в «Русской мысли» я не писал, а инициалы М. С. принадлежат не мне одному.

Письмо Ваше — спасибо! — нашел по возвращении из Глиона, над Мантре, где провел три недели, чтобы окончательно поправиться. Но Татьяна Владимировна так измучилась за последние месяцы, что сейчас она в усталом виде — и теперь мой черед заботиться о ней. Вообще, по словам Тэффи, «старость не порок, но большое неудобство».

Несмотря на болезнь, у меня перебывало множество народу из ново-приехавших — начиная от Максимова, Некрасова, Синявского, Галича и кончая блестящим литературоведом Эткиндом, Чертковым, Левитиным-Красновым и другими. Эта третья эмиграция очень пестра — и среди них много «дикобразов». Изобилуют поэты вроде Бетаки, которого почему-то выдвигает

Вейдле — но хотя среди приезжих есть несколько талантливых людей (даже с порядочной техникой и стихотворной культурой), никого, кроме Бродского и Корусавина выделить нельзя. Жаль, что Европу променяли на Гватемалу — и значит, не придется нам встретиться летом. Будьте здоровы, и да почиет на Вас благословение Муз и благосклонность Судьбы. Где я проведу лето — еще не знаю, и не хочу делать планов (суеверен стал!), даже «чрез бездну двух-трех дней». Привет от Т. В. Всего хорошего. Ваш сердечно и дружески МС.

(на этот раз — подражая Берберовой — «инициалы мои»)

Понравилась ли Вам статья Нарциссова?[1]

[1] Видимо, речь идет о статье Б. Нарциссова «Письма о поэзии» («Новый журнал». 1975. № 118), где Нарциссов пишет о стихах И. Чиннова.

В архиве И. В. Чиннова сохранилось 11 писем М. Л. Слонима.

Марк Слоним

О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Летом 1922 года в одном из берлинских кафе на Курфюрстендаме, где собирались русские писатели и издатели, Саша Черный познакомил меня с Мариной Ивановной Цветаевой. Я знал ее стихи, и мне нравился только что вышедший маленький сборник «Разлука». Мне захотелось поговорить о нем, но, услыхав, что я живу в Праге, МИ забросала меня вопросами. Она весной приехала в Германию из Москвы, а муж ее, Сергей Яковлевич Эфрон, офицер белой армии, с которым она не виделась несколько лет, попал после эвакуации деникинцев и врангелевцев в

* Печатается в сокращении. Полный вариант см. в сборнике «Воспоминания о Марине Цветаевой». М., 1992.

Чехословакию, поступил там в Карлов Университет, и они собирались поселиться в Праге.

Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, стриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах — тоже серебряных — сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское.

В кафе мы просидели долго. МИ рассказывала о своей голодной жизни 1918–1919 годов на московском чердаке с двумя дочерьми: одна умерла, вероятно от недоедания, другую — Ариадну (все ее называли Аля) она вывезла за границу. Тогда же я услыхал от нее о том, как однажды к ней забрался какой-то субъект — она потом догадалась, что вор. Сперва, приняв его по близорукости за какого-нибудь малоизвестного поэта — их много ходило к ней — она гостеприимно предложила ему морковного чая. От скудного этого угощения он в недоумении отказался, огляделся и, оценив убогую обстановку, ретировался, оставив на столе несколько рублей*. Вспоминая в юмористических тонах и об этом происшествии, и о том, как, благодаря марксистскому критику Марку Когану, она в 1921 году, наконец, получила писательский паек, МИ улыбалась, и усмешка приподымала кверху уголки ее большого, резко очерченного рта.

Я был в то время литературным редактором пражской «Воли России»: сперва ежедневная газета, она стала потом еженедельником, и мы собирались в ближайшем будущем превратить ее в ежемесячный журнал. Я предложил Цветаевой дать нам стихи и по приезде в Прагу зайти в редакцию в центре города, на Угольном рынке.<...>

В течение трех лет — с 1922 по конец 1925 года — мы часто встречались с МИ, часами разговаривали, гуляли и быстро сбли-

---

* Об этом случае упоминает в своих воспоминаниях кн. С. Волконский, свидетель цветаевской бедственной жизни тех лет, «не быта, а бытия», по его выражению. (*Прим. М. Слонима.*)

зились. Общность литературная скоро перешла в личную дружбу. Она продолжалась семнадцать лет и была неровной и сложной: размолвки и примирения, взлеты и снижения. В одном я оставался неизменным: я считал ее большим и исключительным поэтом, наравне с Пастернаком, Маяковским, Мандельштамом и Ахматовой, и еще в 1925 году писал, что в эмиграции ей соразмерен только Ходасевич. Этого мнения я держусь и по сей день. <...>

В 1924 г. я жил в небольшой квартире в квартале Дейвиц, рядом с Лебедевыми, и МИ часто у меня бывала. Однажды она прочла мне «Поэму конца» и потом сказала, что если чувство иссякает, рана еще не зажила, еще больно и жжет, но уже кровь свертывается, засыхает — и тогда приходит злость на себя, что опять поверила и обманулась, и желание разрушить тобою же сотворенного кумира и этим наказать и себя и его. Я потом понял, что через этот процесс возвеличивания, почти обожествления, а затем гневного отрицания, враждебности, насмешки — и даже мести — МИ проходила по отношению к самым разным своим знакомым. Исключение составляли два поэта — Рильке и Пастернак. МИ переписывалась с Рильке, он посвятил ей одну из своих «Дуинских элегий», но они никогда друг друга не видели. Она много о нем писала. Стихи Пастернака МИ «открыла» в 1922 г. в Берлине, и восхитилась, а он в это же время прочел ее «Версты» в Москве и был поражен ее талантом. Так началась их заочная — письменная — дружба. МИ часто говорила, что увлекаешься чужим, а любишь родное, а в Пастернаке — родная душа, он ей «равносилен». Своего сына, родившегося в феврале 1925 года, она хотела назвать Борисом в честь Пастернака, но муж ее переубедил, и его окрестили Георгием. Впоследствии МИ убедилась, что в плане жизненном между нею и автором «Сестра моя жизнь» ничего произойти не может, но продолжала обожать его издалека. После писательского съезда в июне 1935 г. в Париже, она в кулуарах виделась и разговаривала с неожиданно приехавшим Пастернаком. Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: «это была «невстреча», и потом вдруг повторила — не закончив — последнюю строфу своих стихов к Блоку:

Но моя река — да с твоей рекой,
Но моя рука — да с твоей рукой
Не сойдутся...

<...> МИ была исключительным и в то же время очень трудным — многие говорили — утомительным, собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова, в ней жило некоторое интеллектуальное нетерпение, точно ей было неохота истолковывать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать налету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть начеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам.

Как и в поэзии, МИ перескакивала от посылки к заключению, опуская промежуточные звенья. Самое главное для нее была молниеносная реплика — своя или чужая — иначе пропадал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым, и по молодости лет как-то стыдился этого, как признака неполноценности и скрывал это. Лишь много лет спустя я услыхал от других схожие признания об этих литературных турнирах. Впрочем, иногда МИ просто рассказывала о недавних впечатлениях или о своем прошлом — о последнем — обрывками, и тут проявлялся ее юмор, ее любовь к шутке, к изображению глупости и наивности ее соседей — но смех ее нередко звучал издевкой и сарказмом. Я не ощущал доброты в ее речах.

Почти всегда, расставшись со мной, МИ вдогонку посылала письмо, ей не терпелось договорить, добавить, или привести стихотворение, лучше всего выражавшее ее чувства и мнения. Вообще, она охотно писала письма — и мне порою казалось, что она забывала о том, кому пишет — так сильно было ее желание преодолеть молчание и найти «дружеское ухо». Этим объясняется множество ее умственных и эмоциональных излияний, отправленных, вероятно, не по адресу. Она писала четким, почти каллиграфическим почерком, с постскриптумами, добавлениями сверху, снизу, с боков, с выделенными словами — подчеркнутыми и в разрядку, чтобы сохранить интонацию. В корреспонденции своей — главной ее отдушине в годы одиночества — она тоже соблюдала «темп бега», как я ей говорил. Письма она отправляла немедленно по написании, и если не могла этого сделать (не было ни марки, ни денег на марку) — интерес пропадал, и когда письмо залеживалось дня на два, она его рвала и выбрасывала. И ответа она требовала такого же стремительного,

и если он медлил, яростно обвиняла корреспондента в небрежности, невнимании и прочих грехах. <...>

В одном письме к Тесковой в апреле 1929 г. МИ откровенно признается: «раньше я давала, как берут — штурмом! Потом смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать». Но дело было прежде всего в том, что она сама отбрасывала предложенное другими — она желала большего. Я же не мог принять ни штурма, ни ее абсолютов, сводившихся к отказу от жизни, от самого себя, от собственного пути. Она помнила, как я однажды ответил ей: «одна голая душа! даже страшно». Она этого не могла мне простить, а еще пуще ее обижало, что я не испытывал к ней ни страсти, ни безумной любви, и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек. МИ писала: «я хотела бы друга на всю жизнь и на каждый час (возможность каждого часа). Кто бы мне ВСЕГДА, даже на смертном одре радовался». А я знал, что наши жизненные пути не совпадают, только порою скрещиваются, и что у нас обоих совершенно неодинаковые судьбы. Отсюда ее ошибочное мнение, будто я ее оттолкнул, более того, променял на ничтожных женщин, предпочел «труху гипсовую» «каррарскому мрамору» (так она писала в «Попытке ревности»). <...>

Я думаю, что после рождения сына в 1925 г. никакой любовной, в широком смысле эротической, жизни у МИ больше не было. Ей минуло тогда 33 года. Во всяком случае, как раз после рождения Мура МИ решила покинуть Прагу и избавиться от чувства провинциальности, которое она там нередко испытывала. Она надеялась, что в Париже найдет и новых друзей, и читателей, и слушателей — и откроет более широкие возможности печататься. Ведь Париж стал, после заката русского Берлина, столицей нашей эмиграции. <...>

Так закончился пражский период жизни Цветаевой. 1-го ноября она была уже в Париже, где ей предстояло провести тринадцать лет трудов и мук. <...>

Интересно было бы выяснить, как в среде символистов, акмеистов, футуристов и пролетарских поэтов первых лет революции, могла сложиться такая своеобразная творческая личность, как Марина Цветаева, и эта тема еще ждет своего исследователя. Многие ее лирические стихи и поэмы, написан-

ные между 1912 и 1922 годами, очень хороши, но она их постепенно перерастает, и в них все резче выступают черты, отличающие ее от всех ее знаменитых современников, они составляют ее оригинальную поэтику — т. е. именно то, что определяет ее место и значение в русской поэзии двадцатого века. И дар Цветаевой достигает наивысшей полноты именно в изгнании, в некоем безвоздушном пространстве чужбины. Не может быть никаких сомнений, что перелом, который я отмечал в рецензии на ее сборник «Разлука» в 1922 году, завершился в это время, и что за семнадцать лет нужды, одиночества и эмиграции Цветаева написала свои самые значительные произведения. В частности пражский период (1922–1926) отмечен огромным творческим подъемом: то, что называют «цветаевской манерой» именно в 1922–1926 гг., получает свою наивысшую выразительность и в отдельных лирических стихотворениях, и в «Поэме Горы», «Поэме Конца» и сатирическом «Крысолове» (хотя к последнему, как и ко всякому выдающемуся произведению, имеющему свою собственную форму, не следует приклеивать литературные ярлыки). Я думаю, что творческий расцвет Цветаевой длился до самого конца двадцатых и начала тридцатых годов, точно, после быстрого разбега, взятого в Праге, она, не останавливаясь, все еще продолжала то же стремительное движение. «У меня бег летучий», говорила она о самой себе. В юношеских стихах у нее: «полы ее пальто как буря» или «мой шаг молодой и четкий// и вся моя правота // вот в этой моей походке» (1915, в «Дне поэзии», М., 1965).

Конечно, вся ее поэзия — кинетическая — в движении и полете слов и ритма. Но уже в 1931–32 годах чувствуется некоторое замедление темпа и растущее количество прозы. Я никак не склонен приписать это обстановке так называемого парижского периода. Только благодаря исключительной стойкости МИ выдержала в тридцатые годы все удары судьбы и не сломилась — сломилась позже, в России.

Если взять все пребывание МИ во Франции, то в нем можно легко различить несколько этапов. В 1926–1927 гг., несмотря на ряд неудач и зловещих признаков, МИ была полна надежд и верила, что найдет во Франции широкую аудиторию и новые литературные возможности. Подтверждением этих иллюзий был успех ее вечера в феврале 1926 года: он превратился в целое

событие, зал был полон до отказа, чтение МИ ее стихов, в том числе и «Лебединого стана», вызвало восторженные аплодисменты, а отчеты о выступлении появились во всех газетах, парижских и берлинских. Обрадовала ее и перемена позиции Святополка-Мирского: недавно он называл ее «распущенной москвичкой» и даже не включил в свою антологию «Русская лирика» 1924 года, а после выхода в свет «Молодца» и личного знакомства, превратился в поклонника ее поэзии и преданного друга. Устроенная им поездка МИ в Англию в марте 1926 года и ее двухнедельное пребывание в Лондоне эту дружбу укрепили.

В 1926 и 1927 гг. произведения МИ появились не только в «Воле России» («Крысолов», «Лестница», «Попытка Комнаты»), но и в «Верстах» («Поэма Горы», «Новогоднее», «Тезей») и в «Благонамеренном», издававшемся в Брюсселе молодым поэтом, князем Дмитрием Шаховским (ныне архиепископ Иоанн Сан-Францисский). Но именно статья ее во втором (и последнем) выпуске «Благонамеренного» сильно ухудшила ее отношения с видными эмигрантскими критиками. Меня не было в Европе, когда появилась эта статья — «Поэт о критике», с прибавлением «Цветника» — выборки отрывков из противоречивых литературных суждений и оценок Г. В. Адамовича. В ней МИ задела и М. Осоргина, известного своим крайне отрицательным и весьма неубедительным отношением к поэзии вообще (он этим даже несколько снобировал) и Юлия Айхенвальда. Этот последний — мой дядя с материнской стороны — судя по письму, полученному мною от него в июне, после моего возвращения из Америки, был удивлен и обижен нападками МИ — особенно потому, что он хвалил ее в своих статьях и рецензиях (под псевдонимом «Кременецкий») в «Русле», газете, издававшейся в Берлине. Он следил за всем, что МИ печатала, и считал ее выдающимся поэтом.

«Цветник» лишь углубил неприязнь Адамовича к Цветаевой. Они друг друга почти не знали, и никаких личных отношений не было. Вражда их была чисто литературной — и оказалась глубокой и длительной. Самый дух поэзии МИ был чужд Адамовичу, вышедшему из акмеизма и ценившему поэтическую сдержанность и ясность. Цветаева оскорбляла его слух — она была для него слишком шумной, бурной, вычурной, он морщился от ее выкриков, резких переносов, скачущих ритмов. От прозы ее он инстинктивно отталкивался и насмехался над ее пьесами

о Тезее и Федре и поэмами, навеянными русским фольклором. <...>

Нападки на Цветаеву усилились с разных сторон. Выход «После России» в 1928 году ничего не поправил. Об этом ее сборнике, бывшем итогом нескольких лет труда, во всей эмигрантской печати, появилась только одна хвалебная рецензия — моя в «Днях». Адамович в «Последних новостях» и Ходасевич в «Возрождении» отнеслись к «После России» отрицательно. Распространение ее, конечно, шло туго — я с трудом продал несколько экземпляров этой книги в невзрачной серой обложке. Сейчас она, разумеется, стала библиографической редкостью. Значительная часть ее перепечатана в московском издании Большой библиотеки поэта 1965 года.

МИ не подавала виду, что огорчена неудачей сборника, выпущенного после множества хлопот и усилий, благодаря финансовой поддержке одного мецената, но ей порою казалось, что против нее образовался заговор молчания. Во всяком случае к концу 1928 и в начале 1929 года положение МИ в парижской литературной среде стало очень тяжелым и по политическим и по литературным причинам. Правая эмиграция, забыв о «Лебедином стане», из которого были известны лишь несколько напечатанных отрывков, и не зная оставшегося в рукописи «Перекопа», неодобрительно косилась на сотрудничество МИ в «Воле России». «Цветаева кокетничает с левыми», заявил мне Илья Сургучев при случайной встрече. <...>

Благомыслящему эмигранту полагалось утверждать, что чаша русской литературы выплеснута в Европу, как писала Зинаида Гиппиус, она же Антон Крайний, и что мы не в изгнании — а в послании. С Востока не могло прийти ничего, кроме зла и распада, пропаганды и обмана. К этому присоединялось то, что я называл «литературным охранительством», т. е. обязательной преданностью традициям славного прошлого. <...>

Помимо всего прочего, в русском литературном Париже преобладала мода на изысканную минорную лирику, поощрявшуюся Адамовичем — я окрестил ее тогда «франко-петербуржской меланхолией». Для учеников Адамовича, сторонников «бемоля» в поэзии (Адамович охотно цитировал Валери, предостерегавшего от «диеза» и предпочитавшего «естественный тон»), цветаевское утверждение силы и страсти было грубым явлением природы, а не гармонией искусства. В 1927 году на конкурсе

журнала «Звено» стихотворение Цветаевой не попало в число двадцати отобранных из анонимно присланных двухсот, но удивляться этому не приходится: в жюри входили Адамович и Гиппиус (третьим был К. Мочульский). <...>

МИ особенно остро ощущала свое одиночество. В 1930 году, несмотря на возобновление сотрудничества в «Последних новостях», она была более изолирована в Медоне, чем за пять лет до того в чешской деревне. В эмигрантском литературном Париже она явно пришлась не ко двору. В лучшем случае ее терпели в газетах и журналах, где она могла печататься, и сотрудничество ее часто происходило в условиях, казавшихся ей оскорбительными. Она не заняла никакого места в эмигрантском «обществе» с его салонами, политическими и литературными, где все знали друг друга, как я говорил, «сидели за одним чайным столом», и, несмотря на различие взглядов и положений, находились «среди своих». Она же была дичком, чужой, вне групп, вне личных и семейных связей — и резко выделялась и своим обликом, и речами, и поношенным платьем, и неизгладимой печатью бедности. <...>

Ко всему этому присоединялось и одиночество в семье. О нем многие догадывались, но определенно знали лишь близкие люди. Прежде всего трудными и сложными были ее отношения с мужем, Сергеем Яковлевичем. Это был высокий тонкий человек с узким, красивым лицом, медленными движениями и чуть глуховатым голосом.

Несмотря на широкие плечи, отличное, почти атлетическое сложение — всегда держался прямо, чувствовалась в нем военная выправка,— он был подвержен всяким немощам. Худой, с нездоровым сероватым цветом лица и подозрительным покашливанием, он периодически болел туберкулезом и астмой. В 1925 году по просьбе МИ я устроил его в лечебнице («здравнице») Земгора под Прагой. В 1929 году у него вновь открылся процесс в легких, и ему пришлось провести восемь месяцев в санатории в Савойе, оставив МИ одну с детьми. Он не мог долго работать, скоро уставал, его то и дело одолевала нервная астма. Я всегда видел в нем неудачника, но МИ не только его любила, но верила в его благородство и гордилась, что пражане называла его «совестью евразийства». <...>

Сергею Яковлевичу не много было нужно, материальной нужды он как-то не замечал, и почти ничего не мог сделать, что-

бы обеспечить семью самым насущным. Зарабатывать он не умел — не был к этом способен, никакой профессией или практической хваткой не обладал, да и особых усилий для устройства на работу не прилагал, не до этого ему было. И хотя МИ он несомненно любил искренне и глубоко, не постарался взять на себя все тяготы быта, освободить ее от кухонного рабства и дать ей возможность всецело посвятить себя писанию.

А ведь МИ не только воспитывала детей, варила, стирала, убирала, но и зарабатывала — ее гонорары занимали главное место в бюджете семьи. Она все это принимала, о Сергее Яковлевиче заботилась, как о больном ребенке, ему безраздельно доверяла, видела вокруг его головы ореол идейной прямоты и честности. Эта вера так ее ослепляла, что, живя бок о бок с мужем, она и не подозревала, как далеко он зашел не только в политических взглядах, но и в своих тайных действиях.

МИ очень любила сына и дочь, но забота о них только утяжеляла ношу на ее плечах. Поэт — ставший пленником мелкой обыденности, прикованный к ежедневному постылому труду, — в этом была одна сторона цветаевской трагедии. А другая в том, что ее «век миновал». Какой горечью звучит эта фраза одного из ее писем: «есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, и я дома — посуда — метла — котлеты — сама понимаю». На свою долю она никогда не жаловалась. Вероятно поэтому я так хорошо запомнил ее слова во время одного из моих приездов к ней в Медон в 1932 году. Она сидела за кухонным столом, низко нагнувшись над тетрадью, Мур возился в углу. Я спросил, не помешал ли ей. Она, смотря вбок, по своему обыкновению не глядя на меня, ответила поразившим меня, ей не свойственным упавшим голосом, что просматривает старые черновики, а писать ей сейчас очень трудно. «Вы ведь знаете, — добавила она, — для меня самое лучшее время — утро, а тут готовь всем завтрак, надо мыть Мура, с ним гулять, потом идти на рынок, выбирать что-нибудь подешевле, какое тут писание. Иногда неделями не хватает времени. При настоящей работе самое важное — вслушиваться в себя, для этого нужны досуг, тишина, одиночество, могу их добиться только урывками, часто с бою».

В письмах к разным корреспондентам она упоминала неоднократно, что «жизнь за городом непомерно тяжела, даже мне», что из-за людской толчеи и ведения хозяйства — «чувства

спят». Обваливая рыбу в муке, можно думать, «но чувствовать не могу, запах мешает»**. <...>

Под влиянием Сергея Яковлевича, все более и более тяготевшего к Советскому Союзу, Аля уже с 1933 года стала помышлять о возвращении на родину, и из-за этого возникали новые размолвки с матерью.

В это время — начало тридцатых годов — МИ не скрывала своих чувств по этому поводу: «все меня выталкивают в Россию, в которую ехать не могу, здесь я ненужна, там я невозможна». «Все» это, конечно, семья. Помню, в 1935 году она не скрывала, как она выражалась, «отхода Али», и у нее возникали сомнения насчет судьбы Мура, если ему предстояло остаться бездомным эмигрантом. Через два года — в 1937 — Аля уехала в СССР, вскоре была арестована, провела около восемнадцати лет в лагерях и ссылке, и только после смерти Сталина, кажется, в 1955 году получила возможность поселиться сперва в Тарусе, а затем и в Москве. <...>

Между Алей и Муром была разница в тринадцать лет. <...>

Мур был постоянно со взрослыми, в школу МИ его не пускала, в десять лет он принимал участие в беседах сестры и родителей на общих основаниях, вел себя как взрослый. Я его не любил, он казался мне грубоватым и избалованным. В последний раз я видел его перед отъездом в Россию, ему шел тогда пятнадцатый год. Высокий, полный, женоподобный, он выглядел старше своих лет. К матери он обращался на «вы», но это не мешало ему резко ее прерывать — «вы ничего не понимаете», «это вздор». МИ терпеливо, но безуспешно пыталась объяснить ему, почему ее слова — совсем не вздор. У него было одно на уме — уехать в Советский Союз, он с упорством одержимого требовал этого от матери, и сыграл большую роль в ее окончательном решении. <...>

У меня сохранились заметки о поездке в Медон в 1931 году вместе с Сергеем Прокофьевым. Он тогда окончил свой пятый концерт, которым потом дирижировал в Берлине, и собирался писать «Ромео и Джульетту». Он знал стихи МИ и восхищал-

---

** На этом останавливается В. Каверин в романе «Перед зеркалом» («Звезда», 1971, кн. 1–2), в котором он вывел Цветаеву под именем Ларисы Нестроевой. Портрет ее дан на основании уже опубликованной ее переписки с разными лицами. Кроме того, имеются сведения и о личном знакомстве Каверина с Цветаевой в 1939–1940 в Москве. (*Прим. М. Слонима.*)

ся ими, говорил, что в них «ускоренное биение крови, пульсирование ритма» — я напомнил ему ее же слова: «это сердце мое искрою// магнетический рвет ритм». Мы ехали из Парижа в машине Прокофьева, его тогдашняя жена Лина Ивановна сидела позади и все время переругивалась с мужем. Полу-испанка, полу-русская, она в свои замечания вносила южный пыл и северное упорство. Впрочем, в одном была права: Прокофьев был никудышным водителем: на обратном пути из Медона он на бульваре Экзельманс въехал в пилястр воздушной железной дороги и чуть нас не убил.

МИ была очень рада нашему посещению. Накормила нас супом, читала свои стихи и много шутила. Когда Прокофьев в разговоре употребил какую-то поговорку, МИ тотчас обрушилась на пословицы вообще — как выражение ограниченности и мнимой народной мудрости. И начала сыпать своими собственными переделками: «где прочно, там и рвется», «с миру по нитке, а бедный все без рубашки», «береженого и Бог не бережет», «тишь да гладь — не Божья благодать», «тише воды, ниже травы — одни мертвецы», «ум хорош, а два — плохо», «тише едешь, никуда не приедешь», «лучше с волками жить, чем по-волчьи выть». Прокофьев хохотал без удержу, Лина Ивановна улыбалась снисходительно, а Сергей Яковлевич — одобрительно.

В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи МИ, и спросил, что она хотела бы переложить на музыку. Она прочла свою «Молвь», и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:

Емче органа и звонче бубна
Молвь — и одна для всех.
Ох — когда трудо, и ах — когда чудно,
А не дается — эх!
Ах — с эмпиреев, и ох — вдоль пахот,
И согласись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у Музы нет.

«А воображение? — спросил Прокофьев. — Разве не это самое главное у Музы?». Тут завязался спор. МИ утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображе-

нием. Колумб воображал, что между ним и Индией — вода, океан, — говорила она — и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения. «Что ж по-вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?». «Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее, и незримое как видимое». Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу. Когда он заметил, что она слишком абстрактно представляет себе воображение, она обычной скороговоркой, но отчетливо выделяя слога, сказала, что во-ображение значит во-площение образа. А так же пред-чувствие, пред-угадывание — и оно конкретно, а не абстрактно, потому что раскрывает существо предметов, а не просто их описывает. И закончила со смехом «зри в корень, но не по Козьме Пруткову». И прибавила: «а вот сюрреалисты для меня, пожалуй, слишком абстрактны». <...>

В 1936 году, когда Аля готовилась к отъезду, а Сергей Яковлевич уже служил в Союзе возвращения на родину и полностью сотрудничал с большевиками, МИ закончила поэму об убийстве царской семьи и решила прочитать ее у Лебедевых, но попросила, чтобы среди немногих приглашенных на этот вечер обязательно был я.

МИ объяснила, что мысль о поэме родилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского «Император». Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала: поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее.

Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбурга и Тобольска, напоминавшими отдельные места из цветаевской «Сибири», написанной в 1930 году и напечатанной в «Воле России» (кн. 3–4, 1931). Почти все они показались мне яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу, и после него все заговорили разом. Лебедев считал, что — вольно или невольно — вышло прославление царя. МИ упрекала его в смешении разных плоскостей — политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. МИ быстро повернулась ко мне и спросила: «А вы бы решились напечатать поэму, если б у вас был сейчас

свой журнал?». Я ответил, что решился бы, но с редакционными оговорками — потому что поэма независимо от замысла и желаний автора была бы воспринята как политическое выступление. МИ пожала плечами: «Но ведь всем отлично известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме». Тут все наперебой начали ее убеждать: дело не в том, что вы думаете, а какое впечатление производят ваши слова. Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл: спор ведь оставался чисто теоретическим, поэму все равно негде было печатать. МИ задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице: «Из посмертного наследия Марины Цветаевой». Но этому предсказанию не суждено было сбыться. Перед отъездом в Россию, в 1939 году, поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые МИ справедливо называла «неподходящими для ввоза в СССР», были — при содействии наших иностранных друзей — отосланы для сохранения в международный социалистический архив в Амстердаме: его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне.

Странная участь постигла длинное письмо, посланное мне МИ на другой день после чтения поэмы, она в нем с горячностью защищала право поэта говорить безбоязненно обо всем, о чем не полагается, и как «ему поется». И это, и все другие письма Цветаевой ко мне на литературные и личные темы (их было свыше полутораста), я дал на сохранение моему знакомому А. С. С-ву. После войны он уехал в СССР и либо уничтожил то, что я ему вверил, либо увез все с собой. Я все еще надеюсь, что весь этот очень ценный материал не погиб, и в будущем отыщется в каком-нибудь из советских литературных архивов.

В 1931 году положение МИ сильно ухудшилось — во всех отношениях. Она болела, от малокровия и плохого питания у нее вылезали волосы, денег совсем не было, она писала Тесковой: «Такая жизнь — живем в долг в лавочке, и часто нет одного франка пятнадцати сантимов, чтобы ехать в Париж — при моей непрестанной работе, все-таки незаслуженна. Погубило меня — терпение, моя семижильная гордость, якобы все могущая: и поднять и сбросить, и нести и снести». В 1932 году ста-

ло еще хуже: из экономии переехали из Медона в другой пригород — Кламар, сменили две квартиры, а позже обосновались в рабочем предместье Исси де Мулино. «Воля России» закрылась, в Праге шло сокращение «русской акции», и ежемесячной субсидии в пятьсот крон (около 400 франков) не стало. Были месяцы, когда пять франков в день за вязанье Алей шапочек, составляли единственный постоянный заработок семьи. «Мы медленно подыхаем с голоду», — говорила МИ. <...>

С 1935 года Сергей Яковлевич стал платным работником Союза возвращения на родину, но МИ, конечно, и не подозревала, что деньги, которые он приносил домой, шли из особых фондов советской секретной службы.

Уже в 1936 году МИ очутилась перед страшным для нее вопросом о возвращении в Россию. Ехать туда она не хотела, об этом откровенно говорила и мне, и Лебедевым, и писала близким знакомым. Аля и Сергей Яковлевич со дня на день должны были получить советские паспорта и визу. Остаться одна за рубежом МИ попросту была не в силах, не считая себя вправе разбить семью и сделать эмигрантом Мура, рвавшегося в Советский Союз. Но она совершенно не знала, что Сергей Яковлевич, для доказательства преданности Москве, сделался агентом НКВД в Европе. Аля уехала в начале 1937 года. В сентябре произошло разоблачение роли Эфрона в убийстве Игнатия Рейсса, оно было для МИ ошеломляющим ударом. Рейсс, крупный работник ГПУ, посланный за границу с особой секретной миссией, был «ликвидирован» в Швейцарии, где он, разочаровавшись в коммунизме сталинского образца, решил искать политического убежища. Сергей Яковлевич был членом группы, выполнившей приказ Москвы об уничтожении «предателя». МИ никак не могла этому поверить, как не верила она всему, что вдруг раскрывалось — и только поспешное бегство Сергея Яковлевича в конце концов раскрыло ей глаза.

Впрочем, во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала, сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь

матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее: «Эта полоумная русская (cette folle Russe)».

В то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром. Но все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило МИ, в ней что-то надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и как-то ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей. Потом, овладев собой, начала рассказывать почти в юмористических тонах о том, что называла «несчастьем». Мура при этой беседе не было. Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться не к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Маргарита Николаевна спросила о ближайших планах. МИ ответила, что придется ехать в Россию, а для этого надо идти в Союз возвращения на родину, в советское консульство, все равно оставаться в Париже нельзя, и денег нет, и печататься невозможно, и затравят эмигранты, уже и сейчас — повсюду недоверие и вражда. Действительно, ей скоро пришлось перебраться из Исси де Мулино в захудалый отель на Пастеровском бульваре.

Несколько строф из «Стихов к Чехии» передают душевное состояние МИ перед самым отъездом из Парижа:

О черная гора,
затмившая — весь свет!
Пора, пора, пора,
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей,
отказываюсь — жить.
С волками площадей

отказываюсь — выть.
С акулами равнин
отказываюсь плыть —
вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
ответ один — отказ.

В начале 1939 года МИ пришла с Муром провести у меня прощальный вечер и сообщила, что на днях — отъезд. После ужина мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам, и она вполголоса читала свои ранние стихи. Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор, и последовавшее затем чтение МИ ее последней вещи — «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы, и чувства комического, чтобы описать, как

препонам наперерез
автобус скакал как бес.

МИ на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ждет ее в Москве, и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, все будет отлично». МИ, не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу: «Писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, т. е. дышать».

МИ долго говорила о судьбе рукописей, которые она хотела оставить — помимо уже отосланных в Амстердам. «Лебединый стан», «Перекоп», вторую часть «Повести о Сонечке» и еще кое-что она собиралась отправить Елизавете Эдуардовне Малер[1], профессору русской литературы в Базеле, и спросила, может ли оставить один пакет для меня у Тукалевских, ее соседей по отелю***.

*** Все эти рукописи хранятся в архивном отделе Базельской университетской библиотеки. Е. Э. Малер скончалась в Базеле в 1970 году, 88 лет отроду. Из-за моего отъезда из Парижа пакет с материалами я получил от

Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, МИ поднялась и сказала с грустной улыбкой: «Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, до Пастера дойдем пешком». Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как МИ с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз — навсегда.

МИ и Мур уехали из Парижа 15 июня 1939 года, через Гавр. Не знаю точно, когда они приехали в Москву, где МИ — по ее же словам — мечтала найти свои утраченные детство и юность. Все дальнейшее можно восстановить только по отрывочным свидетельствам, слухам и разрозненным сведениям лиц, предпочитающим скрыть свои имена по разным причинам.

Одно несомненно: в Москве ее ожидали страшные новости: сестра ее Анастасия — в ссылке, Аля в сибирском концлагере, Сергей Яковлевич — в тюрьме. Как будто установлено, что он был расстрелян позже, либо через год, либо сейчас же после начала войны, когда шло массовое и безрассудное истребление политических заключенных.

Что делала МИ в Москве? За два года ее пребывания в СССР в печати появились два ее перевода (в журналах «Знамя» и «Интернациональная литература») и одно стихотворение, «Старинная песня» (в журнале «30 дней», 1941), помещенное в пражских «Студенческих годах» в 1924 году. Неизвестно, писала ли что-нибудь МИ в Москве — и что именно. Никаких ее произведений, помеченных 1940 или 1941, я до сих пор в советской печати не встречал. <...>

Один мой знакомый, знавший МИ еще за границей и видевший ее в Москве перед войной, рассказывает, что она носила коричневый берет, у нее был прежний легкий шаг и крепкое рукопожатие, но она очень изменилась: поредевшие, наполовину се-

---

Тамары Тукалевской (ныне покойной) уже после войны. Среди них была «История одного посвящения», поэма памяти Волошина и черновые тетради с вариантами и первоначальным текстом статьи о Маяковском и Пастернаке, напечатанной в «Новом Граде» (1933) и другими набросками и письмами. (*Прим. М. Слонима.*)

дые волосы, от носа с горбинкой к уголкам сжатых губ две горькие продольные морщины, глаза точно выплаканные. Ей было 48 лет.

Поражения на фронте, победы Гитлера, немецкое продвижение к Москве, а затем спешную эвакуацию на северо-восток МИ восприняла как апокалиптическую катастрофу, и пришла в совершенное отчаянье, добравшись с Муром 23 августа до Елабуги. Там они сняли в избе неких Бродельщиковых комнатку, отделенную от хозяев деревянной перегородкой. Вместе с убогими пожитками привезли они с собой свое главное богатство: 400 граммов сахару, немного рису, манной и других круп. Мур все время требовал, чтобы мать разрешила ему записаться добровольцем в армию: ему было 16 лет, но по его росту и обличью можно было дать и 18, и на него бросали косые взгляды: почему не мобилизован. На первое время он пошел на земляные работы, у Елабуги строили аэропорт. МИ предложили место судомойки в беженской столовке.

Известно, что МИ отправилась в соседний Чистополь, где жили и многие эвакуированные писатели, просить помощи у поэта Асеева. Никаких данных об их встрече у нас нет, но, очевидно, она оказалась наудачной, и Мур потом рассказывал, что вернулась она в очень подавленном настроении. По словам некоего Сикорского, 18-летнего соседа по избе, она якобы вспоминала о самоубийстве Маяковского. 31 августа она повесилась в сенях, затянув на своей шее веревку, прикрепленную к ручке двери. Она оставила два письма: одно Муру, другое Ланну. Эренбург в бытность в Америке упоминал также письмо к Асееву с просьбой позаботиться о Муре. Ее похоронили 3 сентября в безымянной общей могиле. Когда вернувшаяся из ссылки Анастасия, сестра МИ, в 1960 году приехала в Елабугу, она могилы не нашла и могла только написать на поставленном ею деревянном кресте: «В этой части кладбища похоронена...».

Сведения о судьбе Мура противоречивы. По словам Ахматовой, он был очень несчастен после самоубийства матери, одно время жил в Алма-Ате, в доме Алексея Толстого, который его приютил, а потом попросту забыл о его существовании; Мур вскоре умер от инфекционной болезни. Но советские источники, включая Вл. Орлова в его вступительной статье к избранным произведениям Цветаевой (Москва, 1965), утверждают, что Мур,

скрыв свой возраст, отправился добровольцем на фронт и был там убит. Эту же версию я слышал в 1965 году в Риме от Константина Паустовского.

[1] И. Чиннов вспоминал, что, уезжая, М. Цветаева оставила Е. Э. Малер свои рукописи. Е. Малер была подругой матери Ю. Иваска. Оказавшись в эмиграции, Ю. Иваск и И. Чиннов поддерживали с ней переписку. В архиве И. Чиннова сохранилось несколько писем Е. Малер. (*Прим. составителя.*)

Г. АНДРЕЕВ (ХОМЯКОВ)

Г. Андреев (это псевдоним Геннадия Андреевича Хомякова. Другой его псевдоним: Н. Отрадин) — писатель, журналист — родился в 1906 году. В России в тридцатые годы сидел в лагере. Воевал. Попал в плен к немцам. Оказавшись в Германии, эмигрировал. Жил в Мюнхене, где работал на радиостанции «Свобода», там же работал И. Чиннов, и они познакомились. С 1967 года Г. Андреев (Хомяков) поселился в США. Он писал прозу, в основном автобиографического характера. В 1950-м вышла повесть Г. Андреева «Соловецкие острова», потом двухтомник очерков и рассказов «Горькие воды», повести «Трудные дороги», «Минометчики». Главы из двух последних мы публикуем. Автобиографическая повесть «Трудные дороги» признавалась рецензентами одной из лучших вещей послевоенной эмигрантской прозы. В 1959 году Г. Андреев стал главным редактором журнала «Мосты», издававшегося ЦОПЭ (Центральным объединением политических эмигрантов из СССР). А когда в 1963 году, с прекращением деятельности ЦОПЭ, прекратилось и субсидирование журнала, Г. Андреев все же продолжил издание на деньги сотрудников журнала и других сочувствующих лиц. Так журнал выходил до 1970 года. В 1975–1977 годах Г. Андреев был соредактором Романа Гуля в «Новом журнале». Выйдя в отставку, поселился на берегу залива под Нью-Йорком и, по словам И. Чиннова, писал воспоминания. Последнее письмо от него Чиннову датировано 5 августа 1979 года. Умер Г. Андреев в 1984 году в США.*

---

* С 1958 г. (№ 1) по 1963 г. (№ 10) альманах «Мосты» издавался издательством ЦОПЭ. С 1965 г. (№ 11) по 1970 г. (№ 15) альманах издавался «Товариществом зарубежных писателей». С № 3 по № 15 (последний) — главным редактором был Г. Андреев (Г. А. Хомяков). В 1967 году под той же маркой «ТЗП» вышел юбилейный том «Мосты. Сборник к 50-летию русской революции».

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

10 мая 1964 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

перво-наперво, протестую против неравенства: Вам пиши все подробно и обстоятельно,— а Вы изволите отделываться чириканием (или начертанием) нескольких строк. Что же это получается? Во-вторых строках — желание Ваше принести лепту паки и паки приветствуется, ждем сию лепту, придумали Вы это хорошо.

Дальше пойдет, в-третьих, без соблюдения порядка, но обстоятельно. «Стишки», как Вы пишете, я не спрашивал еще ни у кого, это у меня намечено во вторую очередь, по причине той, что прежде надо собрать более солидный материал (а стишки — что ж? Будут). Но время уже приходит, почему — присылайте и стишки. Как всегда, задерживают наиболее сурьезные авторы — Вейдле, Степун, некоторые другие, которых теперь начну торопить более энергично. Я намеревался сдать в набор до отъезда в отпуск (10.6), но теперь вижу, что не выйдет: сурьезные подводят. Вместе с тем теперь надо собрать все, а потом уже сдавать в набор: надо точно рассчитать содержание и размер, из-за денег, коих мало, поэтому не особо важный и вообще плохонький материал придется исключать — если наберется более основательный. Каждые 50 стр. будут стоить минимум 1.000 марок, поэтому и приходится рассчитывать заранее, по одежке протягивая ножки. Это же не прежнее цопэвское время[1], когда посчитать можно было потом. Материала, думаю, будет даже с излишком: у меня уже есть на 200 стр., и еще жду не менее, чем на 150. Вероятно, можно было бы выпускать и в 400 стр., но на это денег недостает, надо бы ограничиться 300 страницами. 300, видимо, перешагнем, подойдем так к 350, что меня малость бросает в дрожь: денег ведь пока нет и на 300, пока «обеспечены» только 200 страниц. Но так как раньше осени все равно не выпустим, то к тому времени, надеюсь, и еще что-то набежит, в смысле денег; кроме того, около 300 экз. у меня обещают сразу взять и заплатить за них,— таким образом получу и монету, которой будет не хватать для расплаты с типографией.

Так что, как видите, это в самом деле не так, как прежде: приходится все рассчитывать, взвешивать, покрываться холод-

ным потом, останавливать дрожь в поджилках и т. д. Но вижу, что все это преодолеть можно, и поэтому издание вполне реально, и как только сурьезный автор даст свой материал, я сдам номер в набор. Между прочим, в нем будет, по-моему, и очень интересный материал. Так что, ждем Ваше приношение, одно и другое, благодарность за что выражаем заранее.

Беда еще, конечно, та, что времени у меня — увы и ах, даже в обрез иногда не хватает. Кроме «Мостов» вожусь еще с изданием одной книжки, которую нам совсем не надо было бы издавать, но Степун настоял, еще в прошлом году. И еще одна есть (советский материал, завидный), тоже хочу летом издать, она окупится и, может, даже малость прибыль даст. Так что, верчусь вроде той самой белки, что в колесе.

А Вы еще о станции[2] спрашиваете, — что же, тут все более или менее по-старому, работаем, — и работа, и обстановка Вам известны. Что нового там может быть? Жаль, времени много берет, но зато, конечно, «сыты и одеты». Сейчас у нас Адамович, временно (тоже должен еще статью дать); в июне-июле Струве должен приехать. Жизнь течет, как видите.

Наши приветы Вам и живите благополучно. Ваш Г. Хомяков.

[1] ЦОПЭ — Центральное объединение политических эмигрантов из СССР. В 1963 году деятельность его прекратилась, прекратилось на № 10 и субсидирование журнала «Мосты».

[2] Г. Хомяков работал на радиостанции «Свобода». До 1962 года там же работал и И. Чиннов.

27 июля 1964 г. Мюнхен

Дорогой Игорь Владимирович,

когда получите мое письмо, до Мексики или после, ей-ей не знаю: Вы же не написали, когда туда отплываете. Надеюсь и на то, что стишки пришлете все-таки заранее, ждать две-три недели согласен, — но не до бесконечности.

Милостив я так потому, что тут всякие катастрофы происходят, правда, местного значения. Вы пишете, жара, — она сама собой, но меня не от этой жары бросает и в пот, и в дрожь.

Материала у меня уже больше 300-т страниц, большую часть я еще до 1 июля приготовил к набору — и до сих пор не набрали ни строчки. Хоть разбейся о сыру землю — толку нет. Дело в том, что типография держалась почти только на заказах ЦОПЭ, а когда последнее скончалось, она захирела, и вдруг, недавно, почти приказала совсем долго жить. И не знаю, что делать: другая, Башкирцева, перегружена. Выход найду, но когда — сам не знаю. Боюсь и заглядывать в будущее: там все мрачно. В сентябре, как думал, нечего и говорить, не выйдем, хорошо, если в октябре.

Вот, оно вольготно было сидеть в ЦОПЭ и выпускать два номера в год. А тут туго. Да еще Росинский уехал сегодня на два месяца в Ваши края,— еще тужее, одному работы поверх головы на станции, программ сейчас значительно прибавилось. Ну, как-нибудь. И промежду прочим, мы все-таки еще одну книжку выпустим, недельки через две, какую — пока, вроде, секрет, пошлю Вам, когда вернетесь, если, конечно, сообщите, когда это произойдет.

Т. А.[1] — ведь я ее мало знаю, вернее, совсем не знаю, но не вижу причин, почему бы надо было к ней относиться худо. На днях она обратилась с тем, что хочет писать для нас (сейчас она работает в библиотеке), не знаю, выйдет ли что из этого: у нас же сложно с пристроением материала к какой-нибудь программе, Вы знаете. Но посмотрим.

А что это Вам так понравилась Мексика? Вы, похоже, ее патриотом стали, как и Юрий Иваск. Он тоже туда? Давно я ему не писал ничего, привет передайте самый сердечный.

Запропастились куда-то Ржевские[2], уже давно ничего не писали. Поехали куда-то отдыхать на озеро и, видно, заотдыхались, молчат как рыбы, которых он, наверно, из этого озера извлекает. Принимайте и Вы наши сердечные приветы и пожелания доброго путешествия (а стишки посылайте, все-таки не очень медлите), Ваш Г. Хомяков.

[1] Татьяна Александровна Шюрхольц (урожд. Рысина) — хорошая знакомая И. Чиннова, они были знакомы еще до войны в Риге. Чиннов помог ей устроиться на радиостанцию «Свобода» и просил Хомякова ее поддержать.

[2] Г. Хомяков дружил с писателем Л. Ржевским.

21 мая 1965 г. Мюнхен

Дорогой Игорь Владимирович,

время идет, дела тоже — и представьте, приходится уже думать о продолжении не столь в мечтах, сколь в реальности. В самом деле, прикинув, вижу, что половина денег на № 12-й в каком-то более или менее скором времени у нас будет, а т. к. нужны будут деньги не скоро, к выпуску, то к тому «моменту» наберется и что-то еще. Опять уже есть и добровольцы, изъявившие желание внести по 25 долларов (это, конечно, намек, и неприличный), так что, думаю, выкрутимся. Что-то опять задолжаем, но не привыкать. Главное — надо «использовать конъюнктуру»: хороший прием и общее желание, чтобы выходили и дальше. Кстати, к хорошему приему: Ваши стихи «мостовские» встречены хорошо, слышал и читал в письмах целый ряд комплиментов в Ваш адрес. Так что радуйтесь.

Есть даже такое дерзкое предположение: выпустить еще в этом году, в конце. И это может получиться — если удастся этак до середины августа собрать материал. Это крайне трудно, знаю по долговому опыту, но попытаться можно. Поэтому усиленно пишу всем авторам — в том числе и Вам. Имейте в неукоснительном виду этот срок,— а уж мы тут постараемся! Договорились? Имею уже твердые обещания от Вейдле, от некоторых других лиц,— очень прошу быть в их числе.

К «Циркулярному письму», посланному этак с месяц назад и Вам, уже есть изменение: Гуль отказался войти в правление. Ох, какой он трудный человек! А согласился ведь тогда охотно. Но у него изменилось положение: надобность в переводе сюда печатания отпала, так как ему прибавили денег на журнал,— с этим отпала и надобность в сотрудничестве с нами. Но на нашей работе это не отразится: будем делать, как делали.

Между прочим, а не стоило попросить написать в «Мосты» кого-либо из американцев? Как Вы считаете, например, Штаммлера[1]? Может быть, поговорите с ним от моего имени,— или мне написать ему? Или есть кто другой? Это было бы хорошо, придало бы «международный оттенок».

Вы, небось, уже упаковали чемодан и ждете, не дождетесь, когда можно будет тронуться в какую-нибудь Мексику. Желаю попутного ветра, но — пребывая в дальних краях, помните о

сроке! Привет сердечный от нас обоих и живите хорошо, Ваш Г. Хомяков.

[1] А. Штаммлер — профессор Канзасского университета, где в это время преподавал И. Чиннов. Статьи Штаммлера в журнале не появилось.

21 сентября 1965 г. Мюнхен

Дорогой Игорь Владимирович,

по всем моим расчетам, гавайской экзотикой Вы уже давно насытились и теперь пребываете дома. И вообще все Ваши летние похождения пришли к концу, — значит, опять можно заниматься серьезными делами. Согласны? Ясно, что Вы предпочли бы наоборот — и я тоже, — но, как говорится, ничего не попишешь. И поэтому пишу.

Прежде всего, могу поплакать в жилетку: автор пошел такой ленивый, что никак не шлет рукописей. И что делать с этим автором — с авторами — сам не знаю. Из тридцати обещавших получил рукописи пока только с десяти, — был тут Слоним, говорит: так это же большой процент! А мне что делать с таким процентом?

В самом деле, что-то туго на этот раз идет. Энтузиазма было по выходе № 11 хоть отбавляй, обещаний тоже, пожеланий, чтобы продолжали — и они были, а вот рукописей не вижу. Многие еще идут, но когда? Поэтому настроение у меня не из блестящих. Мог бы уже сдавать в набор, но что же сдавать, если едва на полномера только материал.

К Вам, к сожалению, больших претензий не предъявишь. Но и к Вам есть: когда пришлете стишки? Присылайте!

Есть и еще дело. Вы знаете, что Штаммлер тоже хотел написать статью для «Мостов», с Вашей помощью в части языка. Он писал мне, что «сядет осенью за статью». Так вот, к Вам просьба: передать ему поклон и справиться, можно ли рассчитывать для этого номера, страниц на 10–15 до 20. А потом мне отпишите, хорошо? Очень прошу об этом.

Как вообще живется на свете? Получив от Вас открытку со знаменитых (чуть было по привычке не написал: пресловутых) островов, от зависти я не задрожал, но опять подумал — ишь,

куда носит людей. А тут — скоро старость подойдет, и так не побываешь в таких местах. Грустно.

Ну, ничего, как-нибудь выдержим, не то выдерживали. Мы тут по грибы ездим, только недавно привезли из лесу целый ворох, сейчас жена чистит, а я письма пишу. Потом буду грибы есть, жареные со сметаной,— вот Вам, теперь Вы завидуйте! Приветствуем и желаем! Г. Хомяков.

28 ноября 1965 г. Мюнхен

Дорогой Игорь Владимирович,

вот, видите, в конце концов, все хорошо получилось и наша «перекрестная» переписка закончилась благополучно: стихи Ваши у меня, спасибо. Что называется, в последний момент захватил место для них: позвонил в типографию, чтобы оставили шесть страниц. Завтра отвезу, наберут и поставят; по необходимости место получилось в середке, не говенное, как Вы изволили выразиться, хотя и не перворазрядное, но тут Вы сами виноваты. На мой взгляд, стихи хорошие, «со значением», и их, конечно, надо дать вместе. Значит, так и пойдут, под цифирью, как у Вас указано: 1, 2, 3 и т. д., постройка будет бережно сохранена.

Что у нас происходит? А вот что: первый отдел заканчиваем (около 160 стр.) и будем набирать дальше. Еще нет пятишести рукописей, но если подойдут во время набора, как обещано, это не страшно. Ю. П. <Иваск> еще не прислал, Бахрах не закончил и т. д. Да, Райс Ваш безнадежно замолчал. Обещал прислать к 5–10 ноября, уже после этого послал ему напоминание — молчит как зарезанный. Пришлет, еще, наверно, втисну, но пришлет ли[1]? Нет, явно он малахольный, уж не взыщите.

А что у нас получится? Перебирая названия и авторов, так и этак тасуя и перетасовывая их (занятие необходимое, но, в общем, не слишком плодотворное: от перемены слагаемых и т. д.), подсчитывая строки, вижу, что получится около 400 страниц (может, малость больше, или меньше) самого разнообразного материала, в т. ч. и хорошего. Это вроде такой большой корзинки, куда напиханы разные покупки в пестрых обложках,— некоторые в серых,— различного веса, цены и т. д. Однако, почему бы и нет? Для ежегодника, альманаха это и нужно,— а дать только высо-

кокачественное мы, «русское зарубежье», все равно уже не в состоянии.

Утешать может только одно: то, как относятся к нам «там». Адамович писал мне недавно о «встречах в Париже»: он был одним из переводчиков на приеме у зама Мальро советских поэтов, — у него впечатление очень унылое, и я его вполне понимаю. Но вкусы ведь разные: Померанцев, наоборот, пишет, что он носится с этими поэтами, задрав хвост трубой. «Общается» и ведет длинные «задушевные» разговоры. И тут выясняется, с каким вроде бы даже благоговением относятся «они» к «Мостам». У Твардовского и подобных ему есть полные комплекты, некоторые в Париже взяли № 11, недостававший. Так что наше «не полное» удовлетворение, наша ворчня, в этом свете, не могут оправдываться, — хотя, вообще-то, это утешение не ахти, какое.
Шлем наши приветы и лучшие пожелания,

Ваш Г. Хомяков.

[1] Видимо, не прислал, т. к. статья Э. Райса в журнале не появилась.

3 июня 1972 г. Бейвилл

Дорогой Игорь Владимирович,

письмо Ваше только что добралось до нас: я ведь давно, еще 1 января, отряхнул прах комитетский[1] со своих ног, а нью-йоркский — 1 февраля. На станции, как Вы, вероятно, слышали, был большой дрожемент — закроют, не закроют; теперь малость им полегчало, но идут разные перемены. А мы переселились в свой домик и живем «на покое», как всамделишные пенсионеры.

Об отелях в Нью-Йорке ничего не могу сказать, по причине полного незнания. Ржевских в Нью-Йорке тоже нет, уже неделя, как уехали к себе в Нью-Хэмпшир. А в Комитет, на станцию, по-моему, Вам стоит зайти, может быть, и стишки возьмут для передачи, — что Вам терять? Оболенского там тоже уже нет, он ушел, — спросите Сосина, он там один из главных по передачам, или Рица, или Шидловского, если не будет двух первых.

Захотели бы заехать к нам, теперь или на обратном пути из Европ, — будем рады видеть. Автобусы в нашу сторону идут из Нью-Йорка каждые полчаса, дорога берет, на автобусе — 2 с

половиной и до трех часов. У нас можно переночевать. Если решитесь на такой отчаянный шаг, — во что я мало верю, предварительно позвоните, телефон пишу внизу, и я расскажу, до какого места ехать и прочие необходимые детали. Стоить звонок сюда будет меньше доллара. А какая нелегкая несет Вас в Европы, где Вы были в прошлом году? Грусть и тоска безнадежная? Между прочим, если помните наш разговор тогда о колонии пенсионеров, где-нибудь в Австралии или где еще в заокеании, то идея эта (я писал об этом и говорил некоторым, в шутку) неожиданно получила одобрение. Варшавский, например, не раз просил «не оставлять мысль о колонии». А Вы думаете о большом городе, но приличном, — да что Вы, где тут такой взять? Везде одно и то же: режут, грабят, вонь, грязь и прочие штучки. Приветствуем и напутствуем: попутного ветерка и счастливого плавания! Ваш Г. Хомяков.

[1] Г. А. Хомяков работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене, которая существовала на деньги Американского комитета по борьбе с большевиками. С 1 января 1972 года Г. А. Хомяков вышел в отставку и переехал жить в США.

4 апреля 1976 г. Бейвилл

Дорогой экс-лейквудовец!

Был я недавно у Ржевских, видел там Вашу новую книжицу[1] и подумал: ах он изменщик такой и этакий, от лейквудовки отказался[2], теперь книжку не посылает! Но вчера она пришла и могу поздравить: книжка опять хорошая, издана хорошо и содержание внешности соответствует, т. е. тоже хорошее. Подумал я только вот что: а не много ли? Т. е. не слишком ли обильно Вы в нее вложили стихов? Получается вроде бы переполнение, глаза разбегаются, и не знаешь, на чем надо бы их особенно задержать.

А вот за один стих, коий я вчера корректировал для НЖ, какой-нибудь особо железобетонный непримиримый может Вас, не разобравшись (а где же при железобетонности разбираться), жестоко изругать, за бездельника или что-то в этом духе. Осторожнее надо «на поворотах».

А как вообще жизнь движется? Вы как, окончательно решили отказаться от лейквудовки или как? А чем замените, где сухое место будете искать? В Аризоне, в Нью-Мексика? Там только ковбоям, наверно, хорошо, а поэтам? Не думаю.

Вы, несомненно, уже слышали о несчастье с Ольгой Андреевной[3]: у нее случился удар, она уже давно в больнице и, в сущности, при смерти. Поэтому Роман Борисович совсем из строя вышел, а без него журнал не выпустишь: все еще «вожжи» держит в руках. Вчера я проверил последние, наверно, корректурные оттиски. Журнал, в общем, набран и проверен, в середине апреля, думаю, выйдет.

А мы в марте на неделю даже во Флориду смотались, посмотреть, на что это похоже. Могу сказать, на что: на итальянскую Адриатику смахивает. Солнце только еще злее, Эли довольно сильно обгорела, я нет. Это у нас было вроде разведки, в первый раз там. Ничего, на немного ездить туда можно, но не все время. Бывайте здоровы, и живите богато. И приезжайте,

Ваш Г. Хомяков.

[1] В 1976 году у И. Чиннова вышла книга стихов «Пасторали».

[2] И. Чиннов купил квартиру под Нью-Йорком в Лейквуде, но потом решил после выхода на пенсию поселиться не там, а во Флориде.

[3] Жена Р. Гуля.

14 апреля 1976 г. Бейвилл

Дорогой Игорь Владимирович.

Сдается мне, что даже отсюда вижу, как Вы худеете — от беспокойства. Тут и мафия, и «полюшен», и чего только еще нет, но — а Вы-то, или мы-то тут при чем? Мафия такой мелочью никогда не занималась — и нам до нее дела нет. А «полюшен», в любом смысле, — тут тоже, в общем, минует нас. От времени, понятно, никуда не уйдешь, но вот, живем тут уже четыре года, и ни одной «полюшинной» напасти не было, ни у нас, ни у соседей. Ведь у нас тут самые спокойные сельские места с полагающимся им хорошим воздухом.

Неважный воздух в нашем штате — на севере, примыкающем к Нью-Йорку. Там и негров полно, в Нью-Арке, например,

что-то до 60%, там и мэр негр. А у нас и негров не видно. Там промышленный район, а у нас — были куроводы, а теперь и их почти не осталось. Огородники, земледельцы,— вроде последних могикан. Четыре года наш автомобиль стоит у дома, а не в гараже, как и у всех тут — и мы свой «кар» даже не запираем, незачем. Где в больших городах такое еще возможно? А у нас вполне.

Кстати, Ваш Лейквуд считается одним из самых здоровых мест. Недаром ведь и один из предков нынешнего Рокфеллера там обосновался, по совету врачей. А Вы беспокоитесь!

О стишках: их было два. На мой взгляд, первое очень хорошее, а второе с флером, о чем я Вам и отписал. Но не знаю: читал быстро, следя гл. обр. за опечатками, как всегда при корректуре, которую утром надо было сдать на почту.

О «Новом Журнале» — слухов, каких только не может быть. Позавчера говорил с Гулем по телефону, о следующей книге. Он собирается во Флориду, отдохнуть, что все ему советуют, включая врача, но до отъезда хотел еще часть материала сдать в набор. Так что, несмотря на кончину О. А., он полон бодрости и решимости в отношении продолжения выпуска НЖ. Он малость хандрил в конце прошлого года и в начале нынешнего, в связи с отказом в повышении дотации, но потом, как он сам говорил, именно из-за этого рассердился и снова взялся за работу. Пришлось только переменить типографию, перейти на офсет, что значительно дешевле. Посмотрим, как получится, 122-я книга делается уже «по-новому». Малость задержались, на месяц, но причина уважительная. В Москве толстые журналы выходят неизменно с 2–3-х месячным опозданием,— это при их-то возможностях и деньгах! Надеюсь, что успокоил Вас по всем статьям. Бывайте здоровы, и поздравляем с наступающим праздником,— Эли на кухне куличи печет, дух идет! А Вы где-то в отдалении! Ваш Г. Хомяков.

31 мая 1976 г. Бейвилл

Дорогой изменщик,

Значит, понесло Вас во Флориду[1], смотрите, не сгорите там без остатка. Открыткой Вашей нас не удивили: собачьи бега, правда, мы не смотрели, но в Орландо были, хотя и проездом

дальше, в диснеевский городок, нас не воодушевивший. Но — однажды посмотреть можно, чтобы иметь понятие.

Были мы там этак за месяц до Вас, в середине апреля. Вы пишете, что будете, наверно, в Дайтон-бич, — и там мы были.

Наша соседка Светлана, которую Вы, кажется, видели, когда были у нас, ежегодно снимает «апартамент» рядом, мили две к югу от Дайтоны — в Нью-Смирна бич, где мы у нее и гостили неделю. Там, между прочим, живет Вера Тэйт, с мужем, у них там домик, ее многие в Нью-Йорке знают (Новосильцева). Как нам показалось, Дайтона — довольно большой городишко, много шума и толкотни, в «Новой Смирне» меньше. Там тоже, на самом пляже, на океане, есть большие дома-кондоминиумы вроде отелей, сдающих «апартаменты». Состоятельных канадцев там много, в число которых можете, наверно, записаться и Вы. Обычай у них такой: выходят на пенсию, покупают там «апартамент» — и приезжают туда чаще всего весной, на месяц, два, иногда и больше. А остальное время — сдают, за довольно большие деньги (до 500 и 600 в месяц), через специальные конторы, которые все делают — сдают, следят за жильцами и т. д. Дело владельца лишь — получать монету, купоны стричь. Может быть, это Вам подошло бы лучше, хотя не знаю, что именно Вы замышляете, как хотите обосновываться там. У нас все по-старому, пока по-благополучному, надеемся, что и дальше будет так. Привет и всего лучшего. Ваш Г. Хомяков.

[1] В 1977 году И. Чиннов вышел в отставку в звании заслуженного профессора и переехал жить во Флориду в курортный городок на побережье Атлантического океана Дейтона Бич (Daytona Beach), где в кондоминиуме купил квартиру. Решение об этом он принял уже в 1976-м.

14 марта 1978 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Спасибо за то, что просветили: «Современник» ни последний, ни предыдущий я давно не видел. Слышал краем уха, что его словно бы захватили какие-то новейшие, но понятия не имел кто[1]. Значит, все та же шпана. Это даже не хулиганы, а какие-то мелкие пакостники, с которыми, конечно же, дел иметь нельзя,

чтобы случаем о них не запачкаться. Понятно, что НРС есть газета и как бы к ней ни относиться (есть и критикующие с основанием), грязнить ее, да еще всякой дряни, не след. Терапианец, которого мы хорошо знаем, тоже какой бы он ни был (я отношу его к «доброкачественной древесине»), преданнейший рыцарь — не только в недавнем прошлом Ирины Владимировны, но и русской литературы, что, конечно, неизмеримо выше (меня, правда, в эти высоты он упорно не пускает: о «Н. Журнале» пишет в «Р. мысли» только о «части литературной», в кою минометчиков[2] моих никак не пускает, не признает за литературу. Но я и не напрашиваюсь).

В ответ на Вашу информацию и я Вас малость «информну»: Гуль недавно позвонил Ржевскому и сказал, что «выгнал Енютина» — зазнался, начал, дескать, хамить и т. д. Одновременно Гуль зондировал почву, как я отнесусь, ежели обратится он ко мне. Я сказал, что на хамство хамством отвечать не собираюсь, но и что инициативы, конечно, проявлять никак не буду. Так он ее проявил: вчера позвонил, с предложением восстановления бывшего состояния[3]. Послезавтра поеду, будем «наново» договариваться. Особо, впрочем, не о чем: работать надо, а ему не с кем. Новейших, говорит, брать невозможно: это, говорит, не русские, и не евреи, а советские, генерации еще неизвестной и невозможной. Постепенно, кажется, к такому заключению приходят и американцы.

Любопытно будет Вам, думаю: Бахрах в последнем письме пишет — «попытаемся доказать, что Бродский все-таки не Пушкин». Не докажет! Выше Пушкина. Весь Ал. Серг. умещается сейчас в три или четыре нетолстых томика, — а Бродскому сколько томов надо? Пропасть! Я все вспоминаю нашего Георгия Викторовича <Адамовича>, говорившего о некоторых поэтах: он пишет стихи, как из ведра, — это и Бродскому применимо.

У нас погода, слава Богу, наконец-то стала теплеть. И с этим стали у меня проходить всякие радикулиты и прочие старческие немощи. Большое адью и будьте здоровы, приветы от нас обоих! Ваш Г. Хомяков.

[1] В журнале «Современник» (Торонто), № 37–38 за 1978 год, где и.о. главного редактора стал тогда А. Г. Гидони (его в эмиграции подозревали в сотрудничестве с советскими спецслужбами), появилась отрицательная рецензия Всеволода Рунина «Литера-

турные ничевошки» на книгу редактора газеты «Новое русское слово» А. Седыха «Крымские рассказы».

[2] В 1975–1978 годах в «Новом журнале» печаталась повесть Г. Андреева «Минометчики» (№№ 119–120, 122–128, 130–133).

[3] С марта 1975 по июнь 1977 Г. Андреев был соредактором Романа Гуля в «Новом журнале» (№№ 118–127).

5 августа 1979 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Вот спасибо, что вспомнили о нашем существовании, кое продолжается без больших сучков и задоринок, — а малые кто же считает?

Нет, в НЖ я больше не вернусь. В последний раз решил еще попробовать, но закаялся, только корил себя за новую попытку как-то «задержать» журнал «за нами». Нет, судьба его ясна: Гуль будет пытаться вести его либо до полного своего изнеможения, либо до смерти, — а потом он попадет «третьим». Это предрешено, зачем же иначе их выпускают сюда?

С ним, с Гулем, ничего поделать нельзя. Это самовлюбленный и капризный старикашка, — а они разве могут изменяться? Он не признает ни малейшей критики или несогласия, требуется угадывать его желания, — зачем мне этим гаданием заниматься? А сделать все равно ничего нельзя. Кое-как, например удалось протащить мне в последних номерах Кругового, затем Пополюйку о Достоевском, — не Бог знать что, но все же о литературе и оригинальное, а не перепечатку, на чем он стал специализироваться. Он никого не приглашает в журнал, сотрудников не ищет. Кое-кто из порядочных новейших прислал рукописи, — куда там, он выше этого! Чудом удалось мне и Бахраха «затащить», он и слышать о нем не мог, — а теперь пишет ему нежные письма. И «сибиряк» Седых, тоже, просто в любви объясняется (меня из НРС выперли, я новейшим не подхожу), — а прежде ругательства не находил, чтобы «охарактеризовать» Бахраха.

С издательским делом Леонида Денисовича <Ржевского> — у меня с самого начала его хлопот было полное неверие

в это предприятие, наверно, я и буду прав. А Ваше «альманашко» и, как там, прочее, — полагаю, сейчас тоже не может получиться. Нашей (и Вашей) публики осталось слишком мало (только что получил милое послание от А. В. <Бахраха>, пишет, что Вейдле при смерти, находится в кислородной палатке, при многих болестях, включая и воспаление легких), а у новейших совсем другие, и задания, и стремления. Может быть, на мой взгляд, лишь одно: какое-либо «целевое задание», например, издание определенной книги, или книг, не надеясь на периодичность.

Кстати, хотел Вас спросить: как у Вас были дела со Скорняковым, когда он издавал Ваш сборник? Он мне показал несколько изданных им книг. Я еще в прошлом году предложил Бахраху выпустить его Бунина[1], чтобы он собрал все, что писал о нем. Взялся он без торопления, в результате в конце марта прислал он рукопись, после еще досылал. Договорился я о наборе со Скорняковым, — к 20 июня все было готово для печати и мы вместе отвезли с ним в типографию, где он печатал все книги. Уплатил я, как полагается, половину цены, типограф заверил, что сделают через две-три недели (книга небольшая, всего получилось 176 страниц), — подождал их и стал звонить — и занимаюсь этим до сих пор. Все отвечают, что работают и что позвонят, когда кончат, я все же звоню сам, но без толку. Все типографии надувают, но не настолько же, да еще при условии, что все готово для печати. Не знаю, что и подумать: такое в моей практике первый раз. И Скорняков подвел: что за вожжа ему попала, в его возрасте, — женился и уехал к жене во Флориду (в С. Петерсбург), так что не могу тормошить и через него. Вот незадача. А у меня уже и покупатели примерно на тысячу экземпляров есть, — ковать железо надо пока оно горячее, иначе еще раздумают. Бывает же такое.

Однако послание получилось большое, вам «есть что почитать». Как Вы там выдерживаете нынешнее лето? Здесь за семь лет нынешнее — первое маловыносимое: жара, сырость, по ночам густые туманы (такого летом не бывало ни разу), — страсть, а не лето. В общем, переносим с трудом. Шлем с Эли приветы и желаем здравствовать. Гостит у нас Розвита, племянница, приехала из Рима. М. б. видели ее у нас в Мюнхене, было ей тогда 11–12, — сейчас она у нас с такого же возраста дочкой. Адью! Ваш Г. Хомяков[2].

[1] Речь идет о книге А. Бахраха «Бунин в халате», в 1979 году она все-таки вышла.

[2] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 48 писем Г. А. Хомякова.

Г. Андреев

СЕВЕРНАЯ РОБИНЗОНАДА*

Из повести «Трудные дороги»

В те дальние места я пришел в дни, когда зима неохотно уступала натиску весны. Ночью еще морозило; в полдень солнце поднималось над лесом, подтапливало снежные пуховики, искрилось в сосульках, подвешенных к веткам одиноких сосен.

В начале пути мы двигались по наезженному тракту, минуя концлагерные поселки и ночуя в редких деревнях. Еще можно было взбираться на тяжело груженые сани и ехать, бездумно удивляясь и радуясь. Всего пять-шесть дней назад я работал лесорубом и должен был остаться в лесу совсем: выхода не было. Я ничего не мог придумать, чтобы избавиться от штрафного лагеря, и знал, что больше месяца-двух тут мне не протянуть. Не оставалось и крохи надежды. Но случилась одна из тех неожиданностей, которые никогда не предугадаешь. Среди бела дня из чащи к месту, где работала наша партия, вынырнули розвальни — на них сидел знакомый из Управления, а около него лежал мой убогий скарб. Я не успел удивиться, как мне сказали, чтобы я садился и ехал, для меня даже неизвестно, куда и зачем. Воткнув топор, которым я работал, в бревно, я плюхнулся в сани, не зная, радоваться или терзаться; какая еще напасть ждет меня? Знакомый тоже не знал. Через двое суток лошадка вывезла нас из леса, мы добрались до города и пошли в Управление. Там мне дали пакет, облепленный сургучными печатями, и при-

* Печатается по тексту «Нового журнала» (1955. № 42). Повесть Г. Андреева «Трудные дороги» была опубликована в №№ 42, 44, 47, 49 «Нового журнала».

казали идти с обозом еще дальше на север, в отрезанную летом от нас экспедицию...

Скоро кончилась укатанная дорога, поселки, деревни, — мы свернули на первобытный **зимник.** Снег уже оседал, лошади и сани проваливались — садиться на сани больше было нельзя. Со дня на день могли вскрыться ручьи, а возчикам надо вернуться домой и они торопились. Усталый и истощенный, я напрягал последние силы, чтобы угнаться за ними. И на привалах, во время кормежки лошадей, я ложился пластом, чувствуя себя будто избитым палками.

Эта дорога осталась в памяти, как утонченная смесь пытки и сказки. Сказочным было чудесное спасенье: я еще раз ускользнул. Шел я туда, куда хотел и не раз просился, до того, как стал штрафником. Сказка сопровождала нас: дни и ночи был лес, которого никогда не трогала человеческая рука. Лес расступался коридорами и залами невиданного дворца. Свечами свисали блиставшие на солнце сосульки и снежная бахрома; мраморно белели опушенные снегом колонны сосен, — из-за них выбегали молоденькие елочки, в сверкавших нарядах. Похожими на седых леших стояли высокие пни сломанных бурей деревьев. А между ними, между колоннами, елочками и широкими лапами, пригнутыми книзу тяжелыми подушками белого атласа, вкрадчиво уходили вглубь синие, голубые, фиолетовые тени.

Поскрипывая, уползал обоз, а я стоял, завороженный, взволнованно смотря и прислушиваясь. Тело ломило от усталости, зудело и чесалось, подкашивались колени, но нельзя было не вслушиваться в молчание и неподвижность этого лесного сна.

Очнувшись, я ковылял дальше, торопился догнать обоз, чтобы увидеть людей, услышать их голоса: становилось жутко. Мурашками пробегал по коже страх. Стертые в кровь ноги не слушались, резала огненная боль, но я упрямо шел, вырываясь из пут лесного колдовства.

Два дня шли буреломом, полями исполинских битв. Сосны в два обхвата, с вывернутыми корнями, висели одна на другой; высились обломанные стволы; закрученные вихрями деревья переплетались, как ведьмы на шабаше. Что это было? Битва великанов?

Бурелом сменили столбы. Сколько ни смотри, одни толстые, тонкие, высокие, пониже, с обломанными вершинами прямые

столбы. Внизу из сугробов выглядывает мешанина упавших стволов, кустарника, сучьев, — выше торчат только почерневшие обгорелые столбы, остатки когда-то давно сгоревшего леса. Тишина, слепит снег и солнце; мы идем между столбами и нет даже тени: черные ленты на снегу кажутся продолжением столбов.

Этот путь занял две недели: под конец я обессилел и душевно. Я устал от беспрестанно менявшихся лесных видений, — разные, они сливались во что-то одинаковое и огромное, противостоящее тебе и словно обещающее поглотить тебя. И я с радостью встретил широкую реку, между высоких заросших берегов: по ее льду мы скоро доберемся к цели.

Цель открылась еще через день, из-за очередного поворота реки: на круче кто-то разбросал десяток домишек. База экспедиции. Сердце сжалось: сейчас будет дежурный по лагерю, баня, хозчасть — сдать продовольственный и вещевой аттестаты, — и снова барак.

На этот раз я плохо угадал. Дежурный не отправил в баню, а отвел в санчасть, в крошечный домик над берегом. Начальник санчасти, молодой приветливый врач с длинной бородой, выращенной от скуки, обрадовался мне, как развлечению. Угостив чаем, он поговорил со мною, удовлетворив свое любопытство, а потом смутился и сказал, что я должен пройти карантин: в лагере, мимо которого мы проходили в начале пути, свирепствовал тиф. Напрасно я доказывал, что мы не заходили в лагерь: приказ есть приказ. Смущавшая врача сложность состояла в том, что в экспедиции не было помещения для карантина; единственная койка стационара санчасти тоже занята, и меня некуда определить. Сидя в амбулатории на табурете, я пытался смеяться: редкий случай, лагерь не может принять заключенного, — а глаза слипались и хотелось лечь на пол и уснуть.

Доктор ушел выяснять, а я положил голову на стол и заснул. Вернувшись, он растолкал меня. Выход нашелся: километрах в трех по реке, там, откуда мы пришли, есть охотничья избушка — в ней и будет мой карантин. Мы отнесли мои вещи опять возчикам, — они уже сдали груз и торопились назад, — сказали, чтобы сбросили их против избушки. А я получил в каптерке сухой паек, топор, ножёвку, фонарь «Летучую мышь» и, не в силах даже удивляться новой превратности, заковылял в карантин.

Уже в сумерках я увидел на снегу у санного следа свои вещи. Напротив, на высоком откосе, виднелась охотничья избушка.

Я вскарабкался по сугробам на откос, добрался до избушки, с трудом открыл занесенную снегом дверь. Сквозь закопченное окно свет почти не проходил, в избушке черно. С потолка свисали лохмотья сажи. Слева от двери — скамья-кровать, за ней столик и углом узкие лавки по стенам; справа — от стены к стене нары, в углу на них, против столика, из дикого камня, печка-камелек, без трубы: избушка топилась по-черному. Над камельком в стене — дымовая дыра, задвинутая деревянной крышкой. И всё это вырублено топором; стены из бревен, крыша, нары, стол, скамьи — из толстых плах, наколотых топором и клиньями. И ни одного железного гвоздя, петли; единственный признак цивилизации — закопченные стекла в окне. Но избушка казалась обжитой, она казалась словно даже уютной.

Пахло холодной копотью, застарелым дымом. Я вздохнул, не решаясь думать, хорошо или плохо мое жилье. Можно ли на севере быть Робинзоном? Это всё-таки жилье: крыша и четыре стены.

Сумерки сгущались, надо торопиться с топкой, а не было сил выходить, искать дрова. Я снял толстую плаху с крыши, изрубил, развел в камельке огонь, насовал побольше поленьев — сухие, смолистые, они занялись сразу, жаркое пламя вымахнуло до потолка. Избушка в миг наполнилась выедавшим глаза дымом, нельзя продохнуть — я выскочил наружу и настежь распахнул дверь.

Камелек в избушке топился, а я сидел под окном и ждал, когда он утихомирится и можно будет войти в мою хату. Пришла ночь, мороз снова прохватывал до костей, я боролся со сном, боясь, что замерзну. А когда дым вышел и я, сгибаясь, чтобы не сбить сажу с низкого потолка, вошел в избушку, охватило блаженное тепло. Груда раскаленных углей в камельке дышала жаром: стоял сухой перегретый воздух. Заперев на засов дверь, я кое-как постелил постель, разделся за две недели первый раз, лег и провалился в сон, как в смерть.

Не знаю, как долго я спал. Из темноты бессознанья неуверенно, сначала робко пробился сон. Казалось, я еще иду с обозом; темная морозная ночь; мы входим в деревушку и стучим в первый дом, чтобы пустили на ночлег. Никто не откликается,

возчики идут по другим домам, а я поднимаюсь на крыльцо и стучу, колочу в дверь что есть силы — и вот уже сплошной грохот бьет в уши, в мозг, а никто не открывает, деревня как вымерла, и я чувствую, что остался один и замерзаю в этой пустыне, под бледно-мерцающим холодом звезд. Меня пробирает страх — и вдруг в сознание пробивается: это же не я стучу, стучат ко мне! Я подскакиваю на постели, раздираю глаза, кричу:

— Кто там?

— Да что вы, умерли, что ли, открывайте, я час стучу, окоченел,— слышится плачущий голос, в нем отчаяние, горе и зубная дробь. И тотчас же вспоминаю: начальник санчасти сказал, что пришлет компаньона, пришедшего на днях этой же дорогой и оставленного на одном из пунктов экспедиции.

Открываю дверь, зажигаю фонарь,— я не успел предупредить и гость, переступив порог, выпрямился в рост: на него и мимо, задевая меня, рухнула бархатная вата сажи, слоем сантиметров в пятнадцать. Только на другой день я разглядел, что мой сожитель в высокой меховой шапке и широченной кавказской бурке; ночью казалось, что он сплошь облеплен сажей.

Сев на нары, пришелец несколько минут прокашливался и чертыхался. Я снова лег: морил сон.

— Меня подвезли и оставили, я стучал, стучал,— говорил гость.— У вас же холодно, нельзя печку затопить?

— Нельзя. Топится по-черному, тогда нам придется выходить.

— Как же быть? Я промерз до кишек, а я только неделю, после тифа.

— Ничего не поделать. Ложитесь, спите, утром затопим,— бормотал я, проваливаясь в сон...

Компаньон по карантину оказался чудесным человеком, с детской душой. Высокий, худощавый, лет за тридцать, с простодушными глазами и лихо закрученными усами,— если его не знать, усы могли ввести в заблуждение, потому что придавали ему зверский вид. Телеграфист с малой станции где-то за Моздоком, рыболов, охотник, балагур и весельчак, он представлялся мне типичным железнодорожным служакой, любителем душещипательных романсов под гитару, бесхитростным совращателем женских сердец. Он даже вирши кропал — чувствительные, скверные, но способные тронуть своей беспомощностью и сквозившей в них любовью-благодарностью ко всему живому.

Быстро открыв себя и выложив свой душевный багаж, телеграфист успел передать и свое неутишимое горе: почему вырвали его из милой сердцу жизни под Моздоком и привезли сюда, в холодную северную глухомань? Он никому не делал зла — за что же его? Чего от него и от таких же, как он, хотят, зачем ломают жизнь, которая так хорошо у него шла? Зачем отнимают радость жить? Не находя ответа и не в силах заглушить свою боль, он загорался негодованием, жаждой действия — и скоро заговорил о том, что нельзя смиряться: надо бежать. Зимой нельзя, сотни километров снежных сугробов не одолеть, но придет лето... Он говорил об этом еще неуверенно, намеками и с жадной надеждой смотрел на меня: неужели я не пойму, не поддержу, не скажу, что он прав?

У меня за спиной было уже три года заключения и в них немало обветшалых надежд. И по себе, и по другим я знал эту тоску, боль по отнятой жизни — и желание уйти от этой боли, скрыться от незаслуженной обиды, от несправедливости, от всего, что взворошило, изломало, исковеркало жизнь. Это чувство переходит и в неспособный к примирению протест, в потребность не уходить, а противопоставить себя непонятному, сразиться с ним, побороть. И именно такие люди, как мой сожитель, чистые и смирные душой, чаще оказывались самыми сильными, идущими до конца. Я не переставал думать о побеге и знал, что лучшего спутника, наверно, мне не найти. Но узнал я за три года и другое: как постепенно притупляется, угашается боль,— не исчезая, она словно опускается на дно души и человек каплю за каплей теряет решимость. Житейская сутолока даже лагерной жизни, какие-то непредвиденные обстоятельства ежедневного бытия глушат, отодвигают животворную тоску, а с нею и представление о той силе, с которой надо бороться. Где она, в чем? Проходит год, два — и человек словно свыкается с болью, с тем, с чем свыкнуться нельзя, и нет уже у него силы, чтобы решиться.

Телеграфист из-под Моздока не пробыл в заключении и года — что будет с ним еще через полгода, через год? И я, двадцатилетний юноша, говорил с ним, как умудренный опытом и остывший старик: не обнадеживая, но и не расхолаживая, не гася горевшей в нем надежды. Каждому самому надо пройти свой путь и советы со стороны всё равно ни к чему...

Мы научились отлично топить камелек: надо накладывать не слишком много дров и поддерживать равномерный огонь.

Тогда сизый дым неподвижно стоит на одном уровне, на удивление ровно: будто его обрезали ниткой. Не надо даже открывать дверь: мы садились на пол, на корточки, — выше голова уже попадала в зону дыма, — варили суп, кашу из скудно отмеренного пайка, кипятили чай, глядя, как пляшет в камельке огонь, пожирая смолистые поленья. Так можно было сидеть часами. Где-то был лагерь, была жизнь, там суматошились люди, мучились сами и мучили других, а мы вдруг странно выпали из их числа, словно брошенные на необитаемый остров или задержанные на каком-то полустанке, на полпути к неизвестному. Это выпадает редко, и можно было пока отложить, отбросить мысли о побеге, о том, что будет, и окунуться в сонную очищающую дрему.

Изредка приходил изнывавший в экспедиции от безделья врач, приносил немного продуктов, что мог достать, мы пили чай и неторопливо беседовали втроем, в избушке за прокопченным столиком или снаружи под окном, на набиравшем с каждым днем силу солнце.

Тут нельзя было суматошиться, даже громко говорить. Внизу, под еще белоснежным покровом, текла река, угрюмо вставал напротив заросший высокими соснами скалистый берег, нас окружала тысячелетняя, никем никогда не нарушаемая тишина. И всякая суета в ней, хотя бы громкий голос, показались бы грубым и неуместным вторжением в величавое лесное бытие, не знавшее человечьей бестолочи.

Две недели карантина промелькнули, как два дня...

Г. Андреев

БЕРЛИНСКИЕ СКИТАНИЯ*

Из повести «Минометчики»

...С отдыхом на площадках, взобрались наконец на последний, пятый этаж. Дальше лестницы не было, как и коридоров по

---

* Печатается по тексту «Нового журнала» (1978, № 133). Повесть Г. Андреева «Минометчики» была опубликована в «Новом журнале» (№№ 119–120, 122–128, 130–133).

бокам: на лестничную площадку выходило только три двери. Среднюю солдат уже распахнул и ждал меня. Я дышал, как загнанная лошадь, с меня ручьями лил пот, тело дрожало крупной дрожью, я боялся, что свалюсь. За дверью просторная комната, по стенам двойные, «вагонные» койки, на десяток или больше человек, в середине колченогий стол. Доковылял до первой койки, она была свободная, лежал только соломенный матрас. Хотел снять шинель, но запутался в рукавах, шинель никак не слезала с плеч, солдат заботливо помог, стянул со спины. Поблагодарил, солдат кивнул и ушел.

— Вы что, важная птица, что вам немец холуем прислуживает? — спросил резкий неприятный голос. Я и не заметил, что в комнате были двое: один полулежал на койке у боковой стены и скучающим, словно ко всему привыкшим взглядом смотрел на меня. Другой спрыгнул с койки слева, сел напротив на табурет у стола и впился в меня колючими черными глазами.

— Никакая я не птица,— вяло ответил ему, удобнее умащиваясь на матрасе и стараясь унять дрожь.— Просто он видел, что я совсем обессилел и помог.

— Да, видок у вас тот,— так же резко отметил непрошенный собеседник.— Ночью встретить, испугаться можно, за привидение принять. Вы по какой части собрались родину продавать?

— Пока не собирался. И торговец из меня липовый, никакого таланта по этой части нет.

— А таланта тут и не нужно. Но раз в этот лагерь попали, придется научиться. Здесь же специалисты собраны, по разным областям, они немцам наши секреты выдают, помогают им военную технику совершенствовать. А вы что, не знали?

— Откуда же мне знать? Понятия не имею, что за лагерь.

— Да вы откуда свалились? Издалека?

— Из Норвегии привезли.

— Верно, не близко. Как там нашим приходится?

— Как видите, там тоже не мед.

— Да, по вас судить, какой мед! Вы в плен-то когда попали? Где? — он, похоже, не мог остановиться. Узкое черное, цыганское лицо было подвижным и тоже резким, как и немного пронзительный голос.— Сами перешли или как?

— Под Керчью, в мае прошлого года.

— Э, да мы с вами почти земляки! Я в то время в Севастополе был. Но меня вывезли, немцам не оставили: там много ос-

тавили, тысяч сто. А я подводник, механик, нас мало осталось, меня и эвакуировали, в Новороссийск. Но все равно к немцам попал, в Анапе. За каким чертом послали нас туда отцы командиры, они, дуботолы, наверно, сами не знали, там же ничего для нас не было. А немцы рядом оказались и, как на прогулке, меня зацапали. Теперь таскают вот по таким малинам, все стараются детали разные о наших подлодках узнать, то, чего они еще не знают. Да от меня много не узнаешь, так их и перетак и еще разэтак! — перешел он на соленую матросскую словесность, с петровских, наверно, времен привычную на флоте. Продолжая изрыгать замысловатые ругательства, подводник вскочил и, размахивая руками, помчался из комнаты.

Сидевший на койке другой обитатель нехотя сказал:

— Не обращайте внимания. Он, кажется, малость того, — покрутил он пальцем у своей головы. — Псих. Но ничего, успокаивается скоро, беды от него нет. Так вы из Норвегии? Экзотика. Куда только немцы не распихали нашего брата... — Спросил его, что здесь за лагерь.

— Псих в общем верно сказал, кроме агитации его о торговле: немцы держат здесь несколько десятков наших специалистов, разных отраслей. Есть крупный народ, но больше так, техники, чертежниками работают в разных бюро, лабораториях. Если не работать, тут не лучше, чем в любых лагерях, с голода можно загнуться. А работаешь — на работе обед дают, в дополнение к здешнему пайку, оно и можно держаться. Так что вроде бы верно: за чечевичную похлебку работаем. Конечно, не за нее, но и так можно расценивать, как подводник это делает. У нас у всех ведь есть счеты с «советской властью», все хватили от нее горячего до слез. В этом доме, говорят, до войны было общежитие работников советского посольства. Теперь на первом этаже помещаются немцы, там конвоиры — каждое утро выводят бригады, развозят их по разным заводам и учреждениям. Там же и кухня, кладовые: там выдают обед, хлеб, кофе (я поморщился: значит каждый день придется путешествовать на самый низ, и по нескольку раз). Второй этаж занимают французы, но среди них есть и бельгийцы, голландцы, тоже пленные специалисты, работают по тем же местам. Эти не бедствуют: посылки получают, живут не тужат. Общаться с ними запрещено. На двух следующих этажах наши живут. А здесь у нас — галерка, верхотурье, сюда только новых помещают, потом переводят ниже. В сред-

нем наших живет постоянно человек сто, чуть больше бывает, чуть меньше. И тоже в общем не бедствуем, учитывая добавочную кормежку на работе. Хорошо еще и то здесь, что ни полицейских, ни переводчиков и немцы обращаются сносно, не хамят.

Подумалось, что не похоже, чтобы это место было для меня. Посмотрим. Пока моя задача — хорошо отдохнуть от лестницы. Я даже снял верхнюю одежду: белье было мокрое от пота, можно выжимать. Надо высушить. Лег поудобнее и задремал.

Проснулся под вечер, когда пришли с работы трое, зашумели и разбудили. Оделся, говорят, надо идти ужин получать. Оставил, что мог, на койке: в дороге, по пословице, и иголка груз. Захватил котелок, ложку, кружку и стал сходить с лестницы.

Лагерь в самом деле крохотный: обо мне уже разошелся слух. Мимо проходили, вверх и вниз, и каждый рассматривал. Спустился на площадку третьего этажа,— здесь стояло несколько человек, видимо, поджидали меня.

— Так вы в Крыму в плен попали, в прошлом году? Значит, из дома уже давно? — без обиняков спросил один.

— Да, в Крыму, в мае.

— А в Москве когда были?

— Из Москвы эвакуировался в октябре 41-го.

— О, это интересно! А где в эвакуации были?

— В Самарканде и Ташкенте только коротко, проездом, а на Алтае жил, потом в Киргизии.

— Как же там? Не голодают? У меня туда семья уехала, из Москвы. Расскажите! — Я показал на котелок:

— Надо сначала ужин получить. Я сегодня и не обедал.

— Что привязались к человеку! — воскликнул пожилой, седой, небольшого роста.— Дайте ему ужин получить. Но уговор,— обратился он ко мне: — Поужинаете, заходите сюда, к нам, расскажете,— показал он на дверь за спиной.— Да сооружение это чудное напрасно взяли, здесь миски дают,— показал он на мой котелок. Но оставлять негде, пошел вниз с котелком.

Повар-немец, наверно, знал, что я обеда не получал,— другим давал миски среднего размера, а мне откуда-то выудил вдвое большую и наложил полную густой кашицы, которую здесь называли супом. Я так и не разобрал, что за крупа в ней, но показалось вкусно с голодухи. Рядом большая комната, в ней стол, скамьи, можно поесть без помех. Поужинав, пошел одолевать лестницу до третьего этажа, где меня ждали.

Средняя комната оказалась очень большой, тоже с двойными койками по стенам и длинным столом в середине. Меня усадили в голове стола, спиной к двери, по обе стороны сидели и толпились вопрошающие. Возглавлял сидевший справа пожилой, седой, его называли профессором, из Москвы. Оказалось много москвичей, все больше из несчастного московского ополчения, зачем-то собранного властями из стариков, инвалидов, полуинвалидов и почти безоружным брошенного «на защиту Москвы» осенью 41-го года. Часть ополчения была уничтожена, многие попали в плен — и погибли от болезней и голода в лагерях военнопленных в страшную зиму 41–42 года. Выжило, наверно, всего несколько сотен человек. Некоторые из москвичей успели еще отправить семьи на восток, кое-кто в Среднюю Азию, и беспокоились, не голодают ли они там. Этих я мог успокоить: в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане продукты были, крестьяне привозили на базары мешки риса, сахара. Власти вводили в Средней Азии посевы риса и сахарной свеклы и, чтобы поощрить, за сданное часть выдавали рисом и сахаром, не скупясь при этом, как в Европейской России, при выдаче колхозникам на трудодень. Я ахнул, когда попал на базар в Самарканде: к западу от Волги многие голодали или жили впроголодь, а там еда в избытке. На Алтае хуже, там почти голодали, хотя местное население как-то выкручивалось.

Рассказал об отправке в эвакуацию из Москвы в октябре 41-го: их все интересовало. Перед началом беседы принесли мне кружку сладкого чая и горку сухарей на бумажном кульке, все больше сухие корки черного хлеба. — Это вам вместо бисквитов, — сказал профессор, придвигая мне сухари. — Да вы не стесняйтесь, вам поправляться надо, а мы не голодные, нас на работе подкармливают.

Не заметили, как пролетело время: было уже поздно, часов десять. Пора отправляться на покой — и вдруг за окнами мощно заревела сирена. Воздушная тревога. Тотчас же снизу раздалась команда: «Все в подвал!» Немецкие солдаты забегали по коридорам, проверяя, все ли вышли, и гася везде свет. Окна завешены черными шторами, но их может смахнуть взрывом.

Спустились в подвал. Он большой, поместилось бы еще столько же людей. На полу расставлены какие-то ящики, скамейки, табуретки, разместились на них. Потолок дополнительно укреплен толстыми стойками-бревнами и столбами каменной

кладки: на вид прочно. Тотчас же нашлись специалисты, принялись считать, какие должны быть бомбы, чтобы пробить пять этажей и завалить нас в подвале,— шансов на это оказалось мало. Но может ведь попасть в бок, в стену — приятного тоже мало.

Сирены перестали выть, но гул самолетов услышали не скоро, а когда услышали, сразу же начались и взрывы бомб, где-то не близко от нас. Только раза два бомбы упали недалеко и сотрясли наш дом.

Это был первый большой налет на Берлин (точно не помню, случился он 3-го или 4-го марта 1943 года). Но главные бомбежки немецкой столицы, когда самолеты западных союзников бомбили «коврами» и превратили Берлин в развалины, начались только осенью того же года. Те бомбардировки велись так: сначала западные истребители, пролетая на большой высоте, сбрасывали на четырех углах ослепительно светившие «свечи», долго державшиеся в воздухе на парашютах. Летящая за истребителями волна бомбардировщиков сбрасывала свой груз в этот четырехугольник, за нею следующая и следующая, были налеты из восьми, девяти, десяти волн, по сотням самолетов в каждой. В следующую ночь «свечи» вывешивались рядом — бомбардировщики расстилали свой ковер на этом квадрате. Нетронутым не должен был остаться ни один квартал города. В развалинах гибли тысячи жителей, в подвальных бомбоубежищах заваливало сотни, там нередко заливало водой из разбитых водопроводных труб. К концу 44-го года, когда защита города истребителями и зенитной артиллерией ослабела, американские бомбардировщики прилетали бомбить днем, английские прилетали ночью.

Пока гудели самолеты и глухо громыхали взрывы, ко мне подсел незнакомый пленный, на третьем этаже я его не видел.

— Вы в каменоломнях были, под Керчью, и в мае вышли, я помню этот случай. Я там же был, но я до конца пробыл под землей: только в сентябре немцы окончательно выкурили нас из-под земли. И еда совсем кончилась, все равно надо было кончать это идиотское сидение под землей.

Это был первый человек из Крыма, да еще из памятных каменоломен, которого я встретил. Я с большим любопытством слушал его и просил рассказать подробно, что было там после нашего ухода. Начальство, сказал он, было вне себя, узнав о нашем уходе, хотя, как я уже упоминал, самым большим командиром

под землей был случайно застрявший майор, да еще, кажется, интендантской службы. Но нашлись ретивые политработники, правда, тоже невысоких чинов, они потребовали начать расследование и отдать виновников под суд. А кто виновники? Главные виновники были в Москве,— те, кто приказал оставить под Керчью десятки тысяч военных. А теперь кого судить? Командиры, бывшие у выходов с теми, кто в мае вышел из-под земли, тоже ушли,— кого же судить? Но без виноватых, без «врагов» нельзя, стали к штабным придираться, чуть ли не к самому майору, хотя он ни сном, ни духом не мог знать, что вдруг столько народа уйдет. Кончили тем, что провели строгую регистрацию всех, точно обозначили, где и под чьим началом должен находиться каждый, а заодно и трибунал учредили и громко об этом объявили. Как водится, сразу и доносчики появились, стали стучать: тот одно говорил, тот другое, вот те уходить решили, к немцам. И сразу, по доносам, стали хватать, арестовывать, каталажку в одном забое сделали — все по лучшим образцам, как говорится, дурацкое дело не хитрое. Следствие, трибунал — и на расстрел. Наверно, с сотню красноармейцев перестреляли, по доносам,— а нас всего оставалось под землей около тысячи.

Спросил, как было с водой, с питанием. Без воды еще долго мучились, но потом все же пробили два колодца, и хотя по скудной норме, по две, три кружки в сутки, но воду давали. С питанием было совсем плохо: лошадей всех поели, начали пухнуть от голода. Тогда устроили еще две или три вылазки, теперь не в Джумушкай, а в другую сторону, к складам. И к нашему удивлению оказалось, что немцы склады наши почти не тронули. Взяли только самое ценное — масло сливочное, коньяк. А хлеба горы лежали, но весь поцвел, сгнил. Приволокли с десяток мешков крупы, муки, сколько-то ящиков макарон, бочку масла растительного. Удалось поймать двух лошадей, почти совсем одичавших. Этого на несколько месяцев хватило, сначала по полкотелка, потом по четвертушке на брата. Сыты не были, но и не голодны до того, чтобы ноги не таскать. Оружия было мало. Ваши, что в мае вышли, винтовки под землей бросили, а патронов нет, так что не у всех выходов могли заслоны поставить. А немцы провели наблюдение и стали проникать в неохраняемые входы. И выкуривать стали не снаружи, а изнутри, когда ветер в середину подземелья тянул. Совсем хана пришла, задыхаться стали. И продукты кончились, жрать совсем нечего,—

тогда поднялись и пошли выходить. И все начальство с нами. Потом, в плену, трибунальщиков всех передушили, туда им и дорога. Сколько ни в чем невиновных людей постреляли. Так и кончилась та бесславная и никому ненужная эпопея, в каменоломне под Керчью.

Слушая, я живо вспоминал, как сидели мы под землей, голодные, в кромешной тьме и в непродыхаемом дыму, который выкашливали потом из легких, по крайней мере, неделю. Но мы пробыли под землей всего десять дней — им пришлось провести там почти четыре месяца. И ради чего? Потом, наверно, будут говорить, что связывали военную силу немцев — но даже и этого не было: у немцев наверху было всего несколько десятков человек, да, может быть, с сотню румын. Нет, оставление в Крыму примерно двухсот тысяч пленных, под Керчью и в Севастополе, объяснялось исключительно глупостью и неумением высшего командования...

Только в час ночи снова завыли сирены, возвещая отбой.

Можно было идти спать...

БОРИС ФИЛИППОВ

Борис Андреевич Филиппов (Филистинский) — писатель, литературовед, поэт — родился в 1905 году в Ставрополе. Учился в Ленинграде. В тридцатые годы был трижды арестован, с 1936 по 1941 год сидел в Печорских лагерях, а потом был сослан в Новгород. Во время войны с оккупированной немцами территории был вывезен в Германию, где жил в лагере для перемещенных лиц (ди-пи). С 1950 года поселился в США. Сначала — в Нью-Йорке, а с 1954 года в Вашингтоне. Преподавал в университете. Филиппов — автор и составитель более тридцати книг прозы, статей, воспоминаний, стихов, изданных за рубежом. Многие годы Б. Филиппов вместе с Г. Струве возглавлял «Inter-language literary associates» («Международное литературное содружество»), где были напечатаны книги лучших русских писателей, запрещенных в СССР. Сергей Голлербах, знавший Б. Филиппова, писал, что это был «великолепный, полный юмора рассказчик, прекрасный лектор, неутомимый работник, любитель и собиратель книг... чьи интересы не ограничивались литературой, философией и религией. Он страстно любил и хорошо знал музыку и живопись» («Новый журнал». 1991. № 184–185). И. Чиннов, тоже большой любитель и знаток живописи, очень ценил это в Филиппове, как и его чувство юмора. А о библиотеке Филиппова вспоминал с восторгом и благоговением. Филиппов прожил долгую жизнь и застал начало перестройки в России. В 1990 году журнал «Север» напечатал главу из его книги «Кресты и перекрестки». Умер Б. А. Филиппов в 1991 году под Вашингтоном.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

16 мая 1968

Дорогой Игорь Владимирович!

Простите меня великодушно, что даже не ответил на Ваше поздравление и милое, ласковое письмо: был скверно и долго

болен, был много и гадко занят, и не «творчеством», а редактированием, корректированием и — что много хуже и нуднее — всяческими работами для хлеба насущного и «административной» кухней... А так как болел, то работы накатило на здоровые дни невпросёр... Итак, простите!

Читаю в газетах, что наш Игорь Владимирович порхает по градам и университетским весям Нового Ноева Ковчега, Америки тож, и читает свои поэзы и лекции о современных пиитах воспламененных — как тутошних, так и иззажелезнозанавесных. Добро! Так и надо: ведь пииты нашего эона вступили в пору гомерического напева на форумах, может статься в большей мере, чем когда бы то ни было ранее: больше читают, чем печатают, больше их слушают, чем читают очами: так и на сесесеровских Днях Поэзии в манежах (с окуджавовской гитарой и без оной), так и на пиитическом Зарубежьи.

Увы, я не смог бы издать сейчас никакой вообще книги: ни обеспеченного американского профессора, поэта и эссеиста, ни европейского санкюлота-московита-изгнанника (они всегда еще прибавляют «правды ради»): ведь я уже не «дирехтор» издательства, а проживающий на своих харчах — и на другой работе промышляющий — вольнопер: поручат мне одному или в запряжке с Глебом Петровичем Струве редактирование того или другого автора — редактирую(-ем), не поручат — ищем сами издателя для нашей со Струвом редакционной резко-академической затеи... Нет, от редактирования мы не ушли, но теперь уже нет у меня административной «хвункции», и я, по выражению покойного моего тезки — Бориса Пильняка — не могу «енергично функцировать». Зато хочу сам писать, когда немного отдохну.

Да, жаль, что не удастся нам повидаться у Вас: не выгорело дело у Вас с моим приглашением на эпизодическую лекцию. Ну, авось, когда-нибудь получится.

Будете в Наш-Ингтоне (впрочем, он теперь «не наш, не ваш, а имени твоему», но не Твоему, а чернущей силе...[1]), — очень буду рад, если остановитесь прямо у меня. То же самое, конечно, в отношении милого и дорогого моему нутру Андрюши — Гейнриха тож — свет-Владимировича Штам-млера[2]: привет сердечный ему! Вас обоих будем рады видеть у себя, почитать друг другу. Налаживаю сейчас новые издательские возможности, так что пусть Андрей Владимирович не беспокоится: постараюсь —

и это выйдет! — издать и Клюева, и Волошина, и Розанова. Вот только трудно с нашим братом — изгнанником правды ради: на издание наших книг деньгу из американских благотворителей выколотить почти невозможно: считается, что мы «не показательны» для нашего времени и нашей страны: выплески, мол, из рассейского корыта... Ничегошеньки о нем, корыте том, — не знаем и не разумеем...

Рад буду Вашей статье[3] о нашей заторканной, заушенной, старательно не замечаемой иноязычными эмигрантской поэзии.

Мама моя и Евгения Владимировна — совместно с Вашим покорнейшим слугой — шлют Вам самый сердечный привет и самые лучшие пожелания.

Ваш всегда Борис Филиппов[4].

[1] Речь идет о пожарах и погромах в «черных» районах Вашингтона в 1968 году. Об этом И. Чиннову писала из Вашингтона Татьяна Фесенко, составитель антологии зарубежной поэзии «Содружество», с которой Чиннов был более двадцати лет в переписке (в его архиве сохранилось 32 письма от нее): «...Пасха была у нас чудесной: яркой не только от множества цветов, но и главным образом оттого, что у нас гостил милейший и интереснейший В. В. Вейдле. Он нас живой водой окропил, рассказывал массу интересного и ценного, и к тому же был уютным-преуютным и таким простым, как бывают только очень интеллигентные люди. Тепло и мило вспомнили о Вас. В. В. днем пропадал в Национальной галерее, изо дня в день, больше никуда ходить не хотел, в такой восторг она его привела. А затем мы много катались — вдоль лужаек с миллионами нарциссов и тюльпанов, вдоль улиц, засаженных десятком тысяч пышно цветущих азалий, под кружевными зонтиками белых и розовых прелестных “догвудов” — не знаю, растут ли они в Вашем Канзасе? А в “Европу времен Второй мировой войны”, т. е. в район развалин (22 квартала!) на противоположной стороне города, который, по сути, позволили разграбить и сжечь, мы не заглядывали. Еще работая у Камкина, я всегда боялась этого района, — там уже с утра на крылечках сидели вдрызг пьяные негры, и фланировали особой такой походочкой отчаянные парни в крошечных шапчонках. Вот там-то все и выгорело — остались Камкин и Funeral Home <похоронное бюро> наискосок, а у нас ничего не произошло, отделались только напряжением нервов... (27 апр. 1968)».

Хоть издательство Виктора Камкина и не пострадало во время беспорядков, как пишет Фесенко, все же они повлияли на его работу. Вот что по этому поводу писал В. Камкин И. Чиннову: «14 июля 1968 г. Глубокоуважаемый Игорь Владимирович, я своевременно получил Ваше письмо от 8 июня с. г. На письма, касающиеся издательства, я, как обычно, отвечаю по воскресным дням, работая дома. Таких писем каждый раз до 20–25. Высылку книг по подписке я возобновлю, многие издания уже целиком разосланы, и я буду Вас просить помочь мне сообщением, на какие издания Вы были подписаны. Что касается издания Вашей книги стихов, сообщу Вам следующее:

После разгрома города в апреле, повторного погрома в мае у меня, как и у большинства коммерсантов, нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Зачем создавать то, что завтра будет разрушено. В страховке книг отказано. Я даже возвращаю книги тем лицам, которые прислали мне на продажу свои издания, и мало двигаются.

Я закончу издания книг, о которых я уже договорился, некоторые книги находятся в наборе, некоторые печатаются. Издам новый роман Нины Федоровой, я дал обещание ее умершему мужу, моему декану проф. Рязановскому, роман-хронику Ирины Одоевцевой — "На берегах Сены". Хотя я с Одоевцевой и договорился о переиздании ее роман "Ангел смерти" — теперь этот вопрос откладывается на 2–3 года,— если мы выживем. Я буду по-прежнему принимать новые издания на склад, при условии, что автор оплачивает все расходы по напечатанию, и то, фактически склад издания будет находиться на квартире у автора, а у меня только то количество, которое необходимо для продажи. После издания некоторых книг я издательство совершенно прекращу — причин, кроме указанных, сотни, а главное — нет рынка. Рынок, правда, еще немного теплится, и его можно было бы снова приподнять, но виноваты в этом очень многие. От издания второй книги Корвина-Пиотровского я отказался,— возможно, второй том издаст на свои средства вдова автора.

Возможно, что через 2–3 года жизнь у нас войдет в законные рамки, будут даны некоторые гарантии безопасности, и тогда возможно будет подумать о продолжении книгоиздательства, рассчитанного гл. обр. на американского читателя, но не русского. Даже издательства, которые пользовались государственной поддержкой, прекратили свою деятельность, а у меня больше забот, чем у тех,

кто получает готовенькое жалованье. Я очень сожалею, что, по причинам чисто деловым, мне приходится воздерживаться от издания Вашей книги, но если, паче чаяния, Вы все же издадите свою книгу, я буду стараться ее распространять. Елена Андреевна шлет Вам сердечный привет. Глубокоуважающий Вас В. Камкин».

[2] А. Штаммлер — профессор Канзасского университета.

[3] Статья И. Чиннова «Смотрите — стихи», где он делает обзор современной поэзии зарубежья появилась в «Новом журнале» (1968. № 92).

[4] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 10 писем Б. А. Филиппова.

Борис Филиппов

ЛАГЕРЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ*

«Лагеря перемещенных лиц», «лагеря ди-пи»**... Как много и трагического, и трагикомического напоминают эти названия! И ведь это — отнюдь не мелкий, случайный эпизод в русской жизни: население этих лагерей — это ведь по численности целое небольшое европейское государство... И до сих пор незаживающей раной у не потерявших еще последних осколков совести людей свободного Запада лежит на душе кровавая насильственная выдача миллионов советских граждан на расправу «доброму дяде Джо». Но сейчас, когда все это уже «за гранью прошлых дней», вспоминаются и комические эпизоды теперь уже давнего, очень давнего прошлого.

В кассельских лагерях «ди-пи», в 1945 году, в репатриационной комиссии восседал толстомордый капитан-чекист Лобанов. Сколько тогда ночами, перед вызовом в комиссию, делалось новых, дополнительных к уже сфабрикованным, документов, доказывающих, скажем, что Онищенко Осип Трофимович, 1907 года

---

* Глава из кн. Бориса Филиппова «Шкатулка с двойным дном» (Вашингтон, 1977). В книге из библиотеки И. Чиннова дарственная надпись: «Дорогому Игорю Владимировичу Чиннову от автора этой нищенски отпечатанной (плохой офсет!) книжки с дружеским приветом. Борис Филиппов».

** Ди-пи — от английского «displaced person» — перемещенное лицо.

рождения (в прошлом — счетовод колхоза имени тов. Котовского), является г. Онитшенко Жозефом, родившимся в городе Амьене, бесподданным. Печати для этих удостоверений делались с большим профессиональным умением, вырезались на коже, рисовались на толстых ломтях сыра химическим карандашом, один профессиональный гравер искусно резал их и на линолеуме. Города для рождения и проживания в них Онищенок и Ивановых, Тер-Абрамянов и Халамбаевых выбирались чаще всего из числа дотла выжженных и разбомбленных, чтобы никаким способом нельзя было бы добиться проверки документации в тамошних учреждениях и архивах.

Но «помогала» у капитана КГБ Лобанова, к великому огорчению, оказался дотошным и знавшим кое-как французскую мову, на каковой он и задал Онищенке какой-то вопрос.

— Що вин говóрить? — повернулся ко мне, ожидавшему своей очереди идти на пытку допроса и опроса мнимому жителю Латвии, озадаченный Онищенко.

И на вопрос, уже по-русски, как он, родившийся и постоянно проживавший в Амьене не знает французского языка, Онищенко, уже оправившийся от неожиданности, невозмутимо ответил:

— Та я ж усю жизню жил у лесе, з лесу и не выходив...

А другой бедолага, окончательно запутавшийся в невнятице вчера только сфабрикованной ему документации и никак не могший произнести названия городка, где он появился на Божий свет, на вопрос — где же он все-таки родился? — безнадежно махнув ручищей Микулы Селяниновича, тускло ответил:

— Нигде.

Потом жизнь как-то наладилась. В бараках бывших лагерей военнопленных или иностранных рабочих разместились семьями: три-четыре человека в крошечной комнатушке. Одиночки, набитые как сельди в бочке в такую же конуру, отделялись друг от друга для надобностей интимной жизни (как выразился один лагерный поэт) кто картонными переборками, кто просто повешенным на веревку серым солдатским одеялом. Быт стал уже как бы и устоявшимся, со своими горестями и малыми радостями, любвями и ревностями, навыками и обыками. Возникли лагерные гимназии и балалаечные оркестры, церкви и хоры, лагерные стационарные и бродячие театральные ансамбли (даже и вполне профессиональные), наладилась даже и дипийская печать, сразу ввязавшаяся в политические

споры и раздоры, организовывались и литературные вечера и даже объединения. Все, как полагается в приличной эмигрантской жизни.

Помню, приехал к нам в Менхегоф, тогда являвшийся колыбелью небезызвестных теперь по обе стороны железного занавеса «Посева» и «Граней», хороший, талантливый писатель и великий чудак — Алексей Ивановский. Коренастый бородач, с длинноватыми волосами, остриженными под горшок, он был и по внешности колоритнейшей фигурой тогдашнего литературного Олимпа лагерей перемещенных лиц. Его очень почитали в калмыцком лагере Пфаффенгофен, принимая чуть ли не за перевоплощение какого-то буддийского святителя; уважали его глубоко и в немногих, но стойких общинках эмигрантов-староверов. Выступил он на заседании нашего маленького литературного объединения «Отчий дом». Послушали мы его рассказы, посудачили, поспорили — пора и на боковую.

Соседняя с моею комнатенка-щель в нашем бараке была как раз на два-три дня свободна: ее жительница, веселая и не слишком строгих нравов Афродита Павловна поехала в гости в Мюнхен к своей давней подруге. Не удивляйтесь имени этой хорошенькой полтавчанки: ее сестру тоже звали по-античному: Дианой Кособрюховой. Ключ Афродитка от своей комнатки оставила мне:

— Ты можешь, мол, в эти дни распоряжаться этим логовом, как сам знаешь...

Вот я и устроил там на ночь своего приятеля Ивановского, да и сам умостился в комнатке Афродиты, на койке уехавшей с нею Дианы. Поболтали еще с полчасика, потушили свет, уставши молотить языком.

Среди ночи нас пробудил шум. Какой-то вполпьяна верзила, ввалившись в комнатку и даже не засветив тусклую и засиженную мухами лампочку, с размаху бросился на койку Ивановского и, страстно обнимая Алешу, задышал на него самогонным перегаром:

— Афродитка, не ждала? Это я, Петя...

И внезапно отрезвел, нащупав окладистую жесткую бороду в испуге приподнявшегося писателя:

— И как это я ошибся бараком... Окосел, значится, совсем от самогону. Благословите, батюшка, раба Божьего Петю, — и тяжко рухнул на колени перед мнимым служителем Церкви...

Сколько тогда рождалось и безвременно помирало журнальчиков и газет! Сколько издавалось книжек и тощих брошюрок! До сих пор у меня хранится тоненькая сизая тетрадочка, выпущенная в Ландсгуте или в Мюнхене издательством под непритязательным названием «Эстет». Автор укрылся под инициалами А. А. К. К. Брошюрка содержала двенадцать стихотворений на религиозные темы, «навеянные искренней верой и глубоким чувством», как сам автор предварял свои стихи в кратком предисловии:

Почему не сейчас?
Не пора ли теперь!
Нам не медля пойти бы туда,
Где широко открыта небесная дверь,
Где мы слышим ученье Христа.

И, чтобы еще более «подойти бы нам ближе к Христу», — автор книжки поместил среди своих виршей и стихотворение, «Отцы пустынники и жены непорочны», как бы посвященное им Пушкину (под названием «Молитва» он маленькими буквами набрал: «А. С. Пушкина»).

Написал я тогда, в очередном обзоре эмигрантских изданий, о «нашествии **Аакакакеров** на русскую литературу», и автор, оказавшийся дюжим мужчиной с кулачищами боксера, долго доискивался — кто это «К. С.» (так был подписан мой обзор) и где он, сволочуга, проживает?

— Надобно ему хорошенько набить морду...

Времена были тогда нелегкие и многие меняли свои не только фамилии, но и имена, чтобы не попасть в объятия симпатичнейшего дядюшки Джо. Тогда-то и я стал Филипповым. И получил раз, на редакцию «Посева», длиннейшее выразительное письмо:

«Напрасно ты, подлец, думал укрыться. От меня не убежишь. Ты думаешь, не найду на тебя, гад, управу? Ты не только бросил меня с дитями, но и обобрал, змей. Твоя верная жена Марфа Филиппова».

А дня через два в редакцию явилась и сама Марфа с двумя довольно уже великовозрастными дитями, но, узрев меня, разочарованно вытянула губы:

— Извиняюсь, вы не тот.

Нужно быть справедливым, однако: женщине с детьми было в те годы, ох, как нелегко. И нужно быть справедливым и к тому времени: в те же дни началась литературная деятельность не только «Аакакакеров», но и ныне здравствующих Леонида Ржевского и Ирины Бушман, Геннадия Андреева и Лидии Алексеевой, Ивана Елагина и Ольги Анстей, Олега Ильинского и Нонны Белавиной, Бориса Нарциссова и ряда других, в том числе и скромнейшего автора этих «шкатулок с двойным дном». Тогда же народились на свет Божий и ныне здравствующие «Грани» и «Посев».

Борис Филиппов

РУССКИЕ УГОЛКИ*

Полтора часа (а то и меньше) на автомашине — и вы из Нью-Йорка попадаете в совсем иной мир: Лейквуд, Ховелл. Русские церкви, русский клуб «Родина», небольшой русский музей, вечера и концерты русской песни (даже долго существовал «хор русских пенсионеров»), казачьи празднества. А если вы хотите попасть в чисто казачью среду — там же, в том же штате Нью-Джерзи поблизости от Лейквуда — городок Фармингдейл — это уже просто казачья станица! А около — и донские казаки-калмыки, и у них свой храм, и свои ламы и гелюны (некое подобие наших архиереев), и свое калмыцкое научное общество.

И сколько в казачьей фармингдейлской станице споров! Споров и ссор всеказачьих: по поводу законности или незаконности выборов того или иного атамана Всевеликого, конечно, Войска Донского, и по поводу отношения к Общеказачьей станице в Америке, и по поводу признания или непризнания организации казаков-самостийников, возглавляемых Глазковым. А на Покров — это ведь самый что ни на есть казачий праздник — в храм выносятся казачьи «рыгалии», казачьи знамена,

---

* Глава из кн. Б. Филиппова «Мысли нараспашку» (Вашингтон, 1979). В книге дарственная надпись: «Дорогому Игорю Владимировичу Чиннову от автора. Борис Филиппов. Июль 1980».

а затем — пир, и старые донцы запевают уже нетвердыми голосами (молодежь-то казачья, как и всякая молодежь, всякая эмигрантская молодая поросль, сильно денационализировалась) давнюю казачью песню:

Темна ноченька, да мне не спится,
Сон меня да не берет...

Вот сколько уже живу на свете, бывал и на родине в казачьих станицах, а никак и никогда не мог услышать продолжения этой песни: после элегических жалоб на сон, который никак не берет казака, голова казака обычно склонялась к столу — и конец песни съедал густой басовый или заливисто-теноровый храп. Может, мне уж так не везло (и в эмиграции тоже), а может статься, это уж песня такая, что поется лишь при большом выпивоне. Так же, как и другая казачья:

Охвицерик молодой,
Под им коник вороной,
Улыбается...

Это отнюдь не желание посмеяться, не улыбка даже у меня; напротив, трогательно видеть, как натрудившийся вдосталь, уже престарелый казак — в субботу и в воскресенье превращается из уборщика или грузчика, сторожа или слесаря в донца или кубанца, донца-калмыка (ведь сальские калмыки-казаки почти полностью эвакуировались с Белой армией) или терца. Дай им Бог всем здоровья и бодрости — они больше всего нужны нам здесь, не под нашим, как-никак небом!

Несколько минут на автомашине — и вы в другом русском уголке Америки. Это — городок, вернее, поселок, Кэссвилл-Джаксон, и на его окраине — небезызвестная Фарма РОВА. Русские аборигены городка — это еще дореволюционные эмигранты из России, все больше из деревень Белоруссии. Нелегко им пришлось первое время и на новой родине, а со старой погнала тоже нужда. Ни хорошей специальности, ни языка.

У стариков до сих пор язык весьма своеобразный: недаром язык РОВА изучали два или три филолога-специалиста, в том числе и постоянный сотрудник «Нового Русского Слова» — писатель и журналист Вл. И. Бондаренко. «Клиновать виндовы»

(мыть окна), «чилдренята засикинели» (дети разболелись), «ледькин срум» (женская уборная). Самому мне пришлось слышать, когда кто-то приехал на русский концерт в клуб Фармы РОВА: «Сенька, припаркуй кару у корнеровой румы». Но язык — языком, а выносливость и трудоспособность вывезли: сейчас у всех в Кэссвилле хорошие дома, в городке — большая русская церковь, другая, поменьше (но покрасивее: большая уж больно в псевдорусском стиле, да еще с контрфорсами, ничего реально не поддерживающими) — на русском кладбище, а в парке Фармы — бронзовый памятник — правда, совершенно чудовищный — Пушкину. Русский ресторан, русская гостиница, русская библиотека. В ресторан нередко приезжают и из Нью-Йорка, и из Филадельфии, не говоря уже о близлежащих городках, — полакомиться русскими щами и борщами, пельменями и пирожками, весьма недурными:

— Есть ли сегодня пельмени?

— Не, сегодня — киевские каклеты с зеленым горошком...

Старое население русского Кэссвилла основательно разбавилось после Второй мировой войны новым пополнением. Был одно время в Кэссвилле и примечательнейший маленький храм. Я не ошибусь, думаю, если скажу, что подобного храма нигде в мире больше не было, даже на земле бывшей Эллады, в современных Афинах. Ныне покойный сын бывшего царского лейб-медика Боткина, живший некоторое время в Кэссвилле, объявил себя верховным жрецом нового, вернее — возрожденного культа... Афродиты-Венеры. В весьма небогатом его домике, в лучшей комнате, стояла достаточно пропыленная гипсовая Венера Милосская. И Боткин, набросив на себя в виде тоги старенькую простыню, читал перед нею по-русски гимны Афродите — в переводе полумарксиста Вересаева.

А неподалеку от Кэссвилла, если опять повернуть к Лейквуду, стоит в лесу и эстонский клуб. Сюда частенько съезжаются американские эстонцы, а уж под Иванов день постоянно здесь разводят костры и водят под хоровые песни хороводы... Автомобиль несет нас дальше и дальше от Нью-Йорка, по направлению к Филадельфии.

ИВАН ЕЛАГИН

Иван Венедиктович Елагин (наст. фамилия Матвеев) — поэт — родился в 1918 году во Владивостоке. Отец — поэт-футурист Венедикт Март. В 1943 году Елагин оказался в Германии. Был в лагере для перемещенных лиц. С 1950 года поселился в Америке. Работал в газете «Новое русское слово», затем преподавал русскую литературу в Питтсбургском университете, где до того преподавал И. Чиннов. Стихи его печатались во многих эмигрантских изданиях. Первый из двенадцати стихотворных сборников вышел в Мюнхене в 1947 году. Последний — «Тяжелые звезды», избранное — в 1986 в США, перед смертью автора. На экземпляре из библиотеки И. Чиннова надпись: «С бесконечной благодарностью дорогому Игорю Владимировичу за поддержку в очень трудную минуту. Дай Вам Бог всех благ. (Продиктовано Иваном Елагиным незадолго до своей кончины дочери Лиле Матвеевой)».

«Я послал ему 250 долларов, — вспоминал Чиннов. — Агния Сергеевна Ржевская взялась собирать деньги на книгу Елагина. Он был полным профессором (я больше, чем полным — профессором-эмеритусом) и получал хорошие деньги. Переводил американских поэтов для журнала "Америка", который шел только в Россию, здесь невозможно было купить. Ему платили огромные деньги за переводы. Елагин был богатым человеком, но он, видимо, был сумасшедший в этой области — все время кричал, что у него нет денег. И Агния Сергеевна так ко мне приставала, что я в конце концов послал. Да, он был хороший поэт. Без душевной жизни, как мне написал о нем Марков. Плотский человек. Но очень талантливый. Писал против меня эпиграммы. Я — не писал. Неглупый, но настоящей врожденной культуры у него не было. Для простой публики — были стихи Елагина, для аристократов — Чиннова. В статье о поэзии я его возвеличил как поэта. И до сих пор признаю его достоинства. А он, стиснув зубы, признавал мои». (Магнитофонная запись 1995 года.) Возвеличил Чиннов Елагина в обзорной статье об эмигрантской поэзии «Смотрите — стихи», сказав о его стихах: «Написано крупно,

размашисто, красочно. Большое умение, большая находчивость. Талант яркий, самоочевидный, но и как выставленный напоказ: видели, мол, как я могу?! Да, я читал порою даже с восхищением, но без зависти» («Новый журнал». 1968. № 92).

В некрологе, посвященном памяти И. Елагина, говорится, что он стал «одним из главных выразителей так называемой "второй" эмиграции... У него уже есть международная известность. Не издавался он только на своей родине**, но, как большой поэт, он знал, что рано или поздно...*

Пойдут стихи, звеня,
По Невскому и Сретенке.
Вы встретите меня,
Читатели — наследники».

Умер И. В. Елагин в 1987 году в Питтсбурге.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

18 января 1970 г.

Здравствуйте, Чиннов!

Простите, что не сразу поблагодарил за книгу. Я болел, было очень трудное время.

У меня есть ряд замечаний. Название уводит читателя из поэзии в поэтику. Я думаю, что «Метафоры»[1] название, которое подошло бы сборнику, скажем, парнасцев, но не звучит в наши дни. «Оглавление» — ошибка. Оглавлений не бывает в сборниках стихов. Оглавление там, где есть главы. В сборниках стихов принято «содержание». Мне один раз тоже услужили в Германии и вкатили «оглавление».

Мне кажется, что Вы слишком пристрастились к слову «золотой». 1) На 9 стр.: золотится, золотистый, золотистые. 2) На

---

* Автор — Екатерина Филипс-Юзвигг, профессор из Милуоки, хорошая знакомая И. Чиннова. Опубликовано в «Новом журнале» (1987. № 166).

** В 1998 году московское издательство «Согласие» выпустило двухтомник стихов Ивана Елагина.

стр. 23: золотые, золотистых, золотятся, золотом, золотые. 3) На стр. 27: золотые, золотая, золотистым. 4) На стр. 40: золотятся, золотисты, золотистые. 5) На стр. 48: золотое, золотое, золотого, кроме этих «оптовых» примеров можно привести и «розничные». Это слово наводняет сборник.

Мне больше других понравилось: «Там, куда прилетят космонавты», «Прямо на тротуаре», «Тени войны на замерзшей дороге», «Снопы фонтана», «Эта нежная линия счастья». В этих стихах нет «музыки сфер», «ангельских лир» и др. поэтических эталонов. Вот, пожалуй, и все.

Жму руку и желаю всяческих успехов в 70-м году. Ваш И. Елагин.

[1] Третья книга стихов И. Чиннова, вышла в 1968 году.

<Без даты. Видимо — 1971 г.>

Дорогой Игорь Владимирович!

Все не мог написать Вам. Теперь прочел «Партитуру»[1], и спор мой с Вами все тот же. Книжность и литературность Ваших стихов мешает волнению, а без волнения стихи пресны. Несколько замечаний. Сомневаюсь я в законности строки — «Осточертело все к чертям». Или «Осточертело все» или «Все к чертям!». Не знаю можно ли осточертеть к чему-нибудь. Дальше тоже трудно. Из-за того, что слушает душа в третьем лице, а «ты слушаешь ее» во втором, получается путаница. Кажется, что ты (поэт, автор) слушаешь ее (душу?), (мольбу?)[2]. Синтаксис должен быть прозрачно-ясен. Раз сказано слушает мольбу душа (слушает она ее), то переключение (ты слушаешь ее) в таком контексте затемняет смысл. Строка «Но — звезды... Удивляюсь. Небо...». Это «удивляюсь» рядом со звездами и небом звучит фальшиво, причем фальшь в самом звучании слова «удивляюсь». Тут дело в паузе, которая не получается. Стихи «Как будто звезды в хрустале» очень рискованы. Даже почти повторяя размер «О как на склоне наших лет» Тютчева, нельзя воспроизвести ту музыку. Лучшее — «...Черный сапог — любитель хруста»[3], «Уже холодеет», «Но горю не помочь», хуже всего — «Так вот, товарищи»[4] — на фоне всей книги выглядит стилизацией на тему «эстет о питекантропе». Очень нравятся первые

одиннадцать строк — «Голубая Офелия, Дама-Камелия», и очень не нравится Ваша поза (Бессмертие — какая ерунда[5]) не слишком ли легкая? Такой же легкостью мне кажутся Ваши гиены и павлины, которыми открываются «Мосты»[6]. Так ли надо об этом? Жму руку. И. Елагин

P. S. Письмо пролежало месяц, все мне казалось, что мои замечания мимо цели. Теперь, перечитав, хочу добавить, что Ваше стихотворение в № 102 «Нового Журнала» — «Документально и фактически» мне понравилось. Лишнее в нем «уголовный розыск»[7]. Уголовный розыск не занимается эмигрантами политическими, а ведает ворами и бандитами, к которым Вы, думаю, отношения не имеете, и не только Вы, но и Ваш лирический герой, как принято выражаться.

Не взыщите, критик я плохой, у Вас есть лучше меня ценители. Я читал рецензии и Одоевцевой[8], и Адамовича[9], и признаюсь, позавидовал. Я таких рецензий о себе не читал, да и такие имена обо мне не пишут.

Желаю всего наилучшего и творческих удач.

[1] Четвертая книга стихов И. Чиннова, вышедшая в 1970 году.

[2] Речь идет о стихотворении «Да, утомило, надоело...». Оно построено на диалоге человека со своей душой, что характерно для поэтики И. Чиннова. Мольба человека о чуде воскресения.

[3] Стихотворение «Так и живу...».

[4] Стихотворение начинается: «Так вот, товарищи — прошло полвека. // Перековали, значит, человека?». Не все из упоминаемых И. Елагиным стихов И. Чиннова есть в приложении к данному сборнику. Но в 2000 году в издательстве «Согласие» вышло собрание сочинений И. Чиннова, где можно найти его стихи.

[5] В стихотворении «Ну, не бессмертие, хотя бы забытье...».

[6] Стихотворение «Там поют гиены и павлины...» было напечатано в «Мостах» (1970. № 15).

[7] В этом стихотворении есть такие строки: «Не знают в уголовном розыске, // Что жили мы с тобою — в Божеске...».

[8] И. Одоевцева трижды писала о книгах И. Чиннова. О книге «Партитура» («Новое русское слово» от 7 апреля 1971 г.). Потом о «Композиции» («Новый журнал». 1973. № 113) и о «Пасторалях» («Новое русское слово» от 16 мая 1976 г.).

[9] Г. Адамович написал о книге И. Чиннова «Партитура» в «Новом журнале» (1971. № 102). До этого он писал о «Моноло-

Дорогой Игорь Владимирович

Летом в Вермонте одна из моих студенток (из "третьей волны") передала мне ряд стихов Б. Чичибабина, поэта, выпустившего в СССР ряд сборников. Посылаю вам одно из этих стихотворений, т.к. оно связано с Вашей темой переклички эмигрантских и советских поэтов, помню Вы читали доклад на эту тему. Эти стихи Чичибабин заканчивает строками Георгия Иванова.

Пользуюсь случаем и шлю Вам пожелания всяческих успехов в Новом Году.

Жму руку

Иван Елагин

Письмо И. Елагина к И. Чиннову (без даты)

ге» («Новое русское слово» от 20 марта 1952 г.), о «Линиях» (Там же, в номере от 4 июня 1961 г.) и о «Метафорах» («Новый журнал». 1969. № 96).

<Без даты. Видимо — 1976 год>

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за ПАСТОРАЛИ![1] Завидую Вашей плодотворности. Так много новых стихов. Я главным образом сейчас занимаюсь переводами американских поэтов для изданий, предназначенных для СССР.

Если в этом году выйдет мое ИЗБРАННОЕ[2], в чем я не уверен стопроцентно, я Вам отомщу. Книга должна быть, примерно, страниц в 250.

Стихи Ваши читаю медленно. Очень пленили меня строки[3]:

Лично известный и лесу и Богу,
Листик летит воробьем на дорогу.

И это:

Мне грустно, что она бесплотное созданье,
Бесплотней тени на снегу.
Мне грустно потому, что даже на прощанье
Ее обнять я не смогу.

Хорошо, что Вы включили стихи из ЛИНИЙ[4]. Я очень люблю «Мы были в России...». Жму руку и радуюсь Вашим успехам. И. Елагин.

[1] Шестая книга стихов И. Чиннова вышла в 1976 году.

[2] Книга стихов И. Елагина «Под созвездием Топора» вышла в 1976 году.

[3] Строки из стихов «Сердце сожмется — испуганный ежик...» (см. «Воспоминания» И. Чиннова) и «Ночная бабочка, мохнатая, как филин...».

[4] В книгу «Пасторали» И. Чиннов включил и новые стихи, и свою вторую книгу 1960 года — «Линии».

<Без даты. Видимо — 1985 год>

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо за соболезнования. Ольге Анстей[1] я обязан очень многим. Когда мы встретились, мне было 19 лет — я даже Блока не знал как следует, о Марине Цветаевой впервые услышал у Анстей. Она мне читала еще в Киеве английские, французские и немецкие книги, переводя на русский.

Спасибо за «Автограф»[2]. Многое знал, но есть вещи для меня новые. Как-то я в стихах говорил о картинах Сергея Голлербаха, что они возникают «на грунте грусти и гротеска». Думаю, что это приложимо и ко многим Вашим стихам. Не знаю почему, но последние две строчки на стр. 22 мне хочется читать так:

Но райское пение тоже
(Всю вечность!) тебе надоест...[3]

Благодарю Вас за приглашение читать на конференции AATSEEL[4]. Увы, последние годы моя астма все хуже и хуже, в декабре месяце хрипеть, как удавленник во время чтения мне не хочется, да и лучше для здоровья остаться дома. М. б. если будут улучшения через год (и если, разумеется, пригласят) выступлю в Нью-Йорке. Но надежд больших не питаю. Человек должен начать портиться когда-то. Видно, мне время настало.

С сердечным приветом. Ваш Иван Елагин[5].

P. S. Наш почтовый номер: Pittsburg, Pa. 15217

[1] Поэт Ольга Анстей, жена И. Елагина, умерла в 1985 году.

[2] Восьмая книга стихов И. Чиннова, вышла в 1984 году.

[3] Конец из стихотворения «Какие вокруг образины...». И. Елагин прав — в книге — опечатка: «на» вместо правильного «но».

[4] Ежегодно в рождественские каникулы в течение трех–четырех дней в одном из городов США проводится конференция Американской ассоциации преподавателей славянских и восточно-европейских языков (AATSEEL «American Association of Teachers of Slavic and East European Languages», основана в декабре 1941 года профессором Arthur P. Coleman. См. об этом в журнале «Русский язык». США. 1966. № 77–78). Там есть поэтическая секция, где проходят Поэтические чтения, для которых И. Чиннов и собирал в тот год участников.

[5] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 8 писем И. Елагина.

Иван Елагин

СТИХИ

КАМАРИНСКАЯ

В небо крыши упираются торчком!
В небе месяц пробирается бочком!
На столбе не зажигают огонька.
Три повешенных скучают паренька.
Всю неделю куролесил снегопад...
Что-то снег-то нынче весел невпопад!
Не рядить бы этот город, — мировать!
Отпевать бы этот город, отпевать!

Из кн. «По дороге оттуда», 1953

* * *

Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.
Оно мне вспоминается доныне,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

Из кн. «Отсветы ночные», 1963

* * *

Я решаю вопрос большой, —
Что мне делать с моей душой?
Вот стою я под фонарем,
Говорю ей — вдвоем умрем,
Только жизнь со мной промытарь —
И потухнешь ты, как фонарь.
А выходит, что все вранье,
Что обманываю ее,
Что дела ее нехороши,
Что бессмертье есть у души!
И хотя она здесь со мной,
Для нее я — двор проходной,

Сквозь который душа пройдет
От одних до других ворот.
Мне-то что, я пойду на снос,
Вот с душою как быть — вопрос.
Как помочь разорвать ей круг
Этих вечных блаженств и мук.
Что же будет с моей душой?
Вечность — срок чересчур большой!

Из кн. «Косой полет», 1967

ПОЭТ

Он жил лохматым зачумленным филином,
Ходил в каком-то диком колпаке
И гнал стихи по мозговым извилинам,
Как гонят самогон в змеевике.
Он весь был в небо обращен, как Пулково,
И звезды, ослепительно-легки,
С ночного неба просветленно-гулкого,
Когда писал он, падали в стихи.
Врывался ветер громкий и нахрапистый,
И облако над крышами неслось,
А он бежал, бубня свои анапесты,
Совсем как дождь, проскакивая вкось.
И в приступе ночного одичания
Он добывать со дна сознанья мог
Стихи такого звездного качания,
Что, ослепляя, сваливали с ног.
Но у стихов совсем другие скорости,
Чем у обиды или у беды,
И у него с его судьбой напористой
Шли долгие большие нелады.
И вот, когда отчаяние вызрело
И дальше жить уже не стало сил, —
Он глянул в небо и единым выстрелом
Все звезды во вселенной погасил.

Из кн. «Косой полет», 1967

* * *

Вот она, эпоха краха
С рыхлой суматохою!

Трепыхаемся от страха,
На ухабах охая.
Вот она — эпоха-ряха,
А какая выгода?
По смирительной рубахе
Каждому для выхода!
Вот она — эпоха-сваха
А свяжись с пройдохою, —
Вместо Гретхен, бедолага,
Будешь жить с Солохою!
Вот она — эпоха-шлюха,
Хриплая, махровая.
Если хочешь — с нею плюхай
На постель пуховую.
А ресницы бахромою,
Точно у цыганочки,
Только быть тебе Хомою,
Да верхом на панночке!
Эх, эпоха-запивоха!
Как разит сивухою!
На тебя дохнет эпоха —
Так и рухнешь рюхою!
Вот она — эпоха спеха,
Скорости разаховой!
От Мисхора до Палеха
В полчаса отмахивай!
Любит бляхи щеголиха,
Вешает, дуреха нам,
Чтоб прохаживаться лихо
Чучелом гороховым!
И вот с этой-то эпохой
Я по свету трюхаю —
Если плохо — с хлебной крохой,
Хорошо — с краюхою!
А эпоха-то с подвохом,
С плахою да с обухом!
А у роковой эпохи
Раковая опухоль!

Из кн. «В зале вселенной», 1982

БОРИС НАРЦИССОВ

Борис Анатольевич Нарциссов — поэт — родился в 1906 году в Саратовской губернии. С 1919 года жил в Эстонии. Во время войны оказался в Германии. Затем — Австралия и наконец — США, где Нарциссов и поселился в 1953 и где преподавал в разных университетах. По специальности он химик, но его интересы выходили далеко за пределы этой науки — здесь и мистика, и астрономия, и лингвистика, и астрология, и садоводство. «В своих рассказах и статьях Нарциссов может от Атлантиды легко переброситься к передаче сновидений, от эроса — к математическим символам бесконечности, от праистории — к правилам шахматной игры. И так же и в стихах», — писал Б. Филиппов в статье, предваряющей сборник стихов Нарциссова «Звездная птица» (Вашингтон, 1978), куда автор включил стихи из своих предыдущих пяти книг. Филиппов говорит о превосходных образах нежити-нечисти, населяющих стихи Нарциссова, которые сродни не болотным попикам и чертенятам Блока, а чудикам и севшим на треугольник ведьмам «Столбцов» Заболоцкого, и еще — Ремизову, Гофману, Эдгару По. Но за всем этим, как «сквозь густую плоть ароматов австралийских эвкалиптов, и сквозь многоэтажные зонтики араукарий всегда почти... проступают янтарностволъные сосны Прибалтики, шелковый и мягкий, тончайший, как палевая пудра брюнеток, прибрежный песок Эстонии, светлое, не наглое, нежное небо севера... Борис Нарциссов, — продолжает Филиппов, — поэт, ни на кого в русском зарубежье не похожий! О советских поэтах нашего сегодня, увы, говорить не хочется: они живут еще в прошлом веке, где-то около добролюбовских виршеплетных лет... Но и в русском зарубежье, кроме Нарциссова, ищут новые пути немногие...» Среди этих немногих указан и Игорь Чиннов. Б. А. Нарциссов умер от рака в 1982 году в Вашингтоне.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

5 октября 1975

Дорогой Игорь Владимирович!

Чувствительно благодарен за Ваши заботы, но должен Вам сообщить, что именно теперь никуда двинуться не могу: в нашем существовании происходят сейчас большие перемены: мы должны покинуть насиженное за 16 лет место (Вы были в нашем доме) и переселяться из Мериленда в Вирджинию. Посему нам надо продавать оба дома тут и покупать другой там. Как раз в середине октября должна состояться сделка — подписание купли-продажи дома в Вирджинии, и в конце октября — начале ноября — сделка на один из наших здешних домов, который сдавался в течение 9 лет жильцам. Они его запакостили и «зныщылы» в самом лучшем виде, и я вот уже неделю работаю то маляром, то слесарем, то говночистом в том доме и должен изображать из себя финансового гения: пока этот ремонт стоил уже одну тысячу! Правда, мы и заработаем на этом деле, но сначала надо деньги получить, а для этого товар показать казовым концом. Я на этом деле первым делом жестоко простудился (красил перила на ветру) и кашляю теперь (по выражению Шаляпина), как американский каторжник — что и соответствует в этом случае действительности.

Засим начинается упаковка нашего добра, избывание хлама (тот дом меньше!) и ремонт и продажа того дома, где сейчас живем. Переедем, вероятно, когда-нибудь в ноябре. Все это вместе делает меня неспособным ни к интеллектуальным процессам (кроме ругани), ни к поездкам. Новый дом — новенький, красивый, как конфета и даже с Дарьяльским ущельем в конце участка — к вящей радости нашей кошки. Так что, ценю Ваши хлопоты, но нельзя ли все отложить на будущий семестр. А лекцию можно будет произвести по-английски на тему: современная русская поэзия в США, с вящим упоминовением Чиннова, ибо он того заслуживает. Получил № 120 «Новжура» и расстроился, читая напечатанные там стихи. Кроме Чиннова и Одоевцевой, все к поэзии отношения не имеет в рассуждении, что скучно: это вполне бесплодная игра ума, читателю (кроме смакователей, но они — единицы) вообще не интересная. Дело искусства не в остроумничании, а в захвате эмоцией, предпочтительно эмо-

цией красоты. А все остальное, включая и весьма обильный хлам, оставленный нам классиками 19 века, — не на тему. С приветами Ваш Борис Нарциссов.

Новый адрес сообщу потом заблаговременно.

В. Перелешин написал рецензию на «Шахматы»[1] в С.-Ф.-ой «Русской жизни» — по рецепту: ложка меду, бочка дегтя. Я ответил «письмом в редакцию» — он или напутал, или переврал, или передернул, — а потом я виноват!

[1] Книга стихов Б. Нарциссова, вышла в 1974 году.

31 марта 1976

Дорогой Игорь Владимирович!

Большое спасибо за действительно прелестную книгу![1] Я получил ее несколько дней назад и сразу стал читать ее для отдыха и отвлечения от своего достаточно хлопотного житья. Общее впечатление было, как от слышной где-то в отдалении, за стеной или в саду — музыки. Я очень редко говорю про стихи, что они мне нравятся — Ваша книга одна из таких немногих. И хорошо в ней не внешнее выполнение мастера (каковое доведено до высокой степени), а именно содержание. Мастерство же этой книги заключается в том, что оно на первый взгляд и незаметно: оно необходимое и органическое средство для доведения содержания до читателя. Только потом, на второй взгляд обращаешь внимание: «да как хорошо это сказано!» Именно «сказано», а не «сделано», как говорится часто и вменяется в большой плюс поэту. Но Ваш плюс «сказано» еще больше. Я вначале был вообще не сторонник рифм с разными гласными. Но в Ваших стихах (где они попадаются нечасто и потому не назойливы) остается сначала впечатление белого стиха, а потом приходит в голову вопрос — «а отчего этот белый стих так мелодичен?»

Не буду писать подробно о своем впечатлении, так как прочел книгу только в первый раз, без выписок и без ясного ответа себе самому: что о ней надо сказать? Для оценки значительных сборников стихов необходимо критику найти какую-то основную мысль, нечто вроде ствола дерева, от которого пойдут ветви, листья и цветы. Мне кажется, что такой основной мыслью для оценки этой книги могло бы быть определение Игоря Чиннова,

как настоящего символиста, в противоположность поэтам пытавшимся быть символистами: Бальмонту и Блоку. И даже не столько Чиннов символист, сколь образно-мелодичный *аллегорист*. Напишите, что Вы думаете о такой основной идее отзыва? Я отзыв напишу в размере приблизительно $2^1/_2$–3 страниц «Новжура» — (это для журнала — скажем, «Современника» — с «Гранями» невозможно иметь дело). Для НРС нужно объем несколько уменьшить: приблизительно 2 страницы формата НЖ. Рукопись я пошлю Вам для просмотра, а Вы сообщите мне — куда ее направить, чтобы не было дубликации.

А я сейчас занят земляными работами: надо садить кругом дома произрастения: розы и сирени, копать дренажные канавы от дождевой воды: дом на склоне холма и почва непроницаемо-глинистая, и теперь еще, в связи с продажей старого дома (где Вы были), надо тут сделать ряд улучшений — утеплить окна, двери и паз между этажами: зимой у нас в сильный мороз, лопнула водопроводная труба и вода полилась Ниагарой на книги и электрические пробки. Хорошо, что я в тот день был болен, и мы были дома! Дом без колонн: просто ящичком. Но за домом есть «Дарьяльское ущелье» — Вот если будете в Вашингтоне — милости просим! Тут, в Вирджинии, температура до сих пор была на 5–15 градусов Фаренхейта ниже, чем в Вашингтоне. Мы поселились тут поближе к сыну (он при Пентагоне). Я хотел бы в места похолоднее, да супруга тоже боится холода. Соседи пока что приличные и безвредные. Это все — сравнительно новая (3–4-летней давности) стройка за Белвеем в Вирджинии: местность еще диковатая: лески, холмы, овраги и довольно примитивные дороги. Супруга купила машину и теперь пробует ездить. Я буду учиться потом, когда спихну с рук финансовые заботы.

Писал кое-какие стихи — пошлю в НРС и НЖ. Люди почтенные качают главами на сии стихи: говорят, что мороз по коже дерет: больше про хлороформ, удавление и компьютеры. Есть еще и про развратные карты (в противовес строгим шахматам). С приветом Ваш Борис Нарциссов.

P. S. Рецензию[2] пришлю к концу апреля — *около* Пасхи — может быть, после Пасхи: будет кропотливая работа выписок. (В своей статье в НЖ[3] я говорил о кривой изменения тональности Чиннова и предсказывал ее подъем — «Пасторали» оправдали мой прогноз.)

[1] Книга И. Чиннова «Пасторали», вышла в 1976 году.

[2] Рецензия Б. Нарциссова не появилась, т. к. отзывы на книгу И. Чиннова уже прошли во всех основных эмигрантских изданиях.

[3] В «Новом журнале» (1975. № 118) была статья Б. Нарциссова «Письма о поэзии. Игорь Чиннов».

3 марта 1977

Дорогой Игорь Владимирович!

Рад был получить от Вас весточку! Мое времяпровождение в январе было довольно бесплодным: скользил по скатам обледенелым («обляденелым!»), пытался подкармливать птиц в нашем огороде и корпел над отчетом для подоходного налога: нечто вроде докторской работы по бухгалтерии: надо было оправдать недоплатеж колоссального налога на доход (увы! иллюзорный от продажи дома) за продажу другого меня даже оштрафовали! Вот только в конце февраля сдал все цифры своему агенту, и тот приготовляет отчет! По сему случаю стихов не писано.

Насчет «Перекрестков»[1] не знаю ничего толком: послал туда штук 8 стихов и часть — примерно половину — получил обратно и не пометил у себя — какие приняты; посему жду выхода книги. Складчины там, по-моему, нет — я ничего не вносил. Может быть, придется купить пару экземпляров, — на покрытие расходов.

Что делается в «Современнике»[2] — понять не могу. Почему «две Гидони» печатают там всю свою продукцию — не знаю. Или это все бесконтрольно и расползается от халатности, или эта пара достает деньги и печатает, так сказать, — «платные объявления». Я послал туда чуть ли не три года назад «Атлантиду» — ее благополучно куда-то на время задевали, а теперь напечатали кусочек. Не зная и не подозревая такого способа, я послал туда свою статью о Есенине и два стихотворения. Если в следующем № они «Атлантиды» не допечатают целиком[3], остановлю и «Есенина»[4]. А они просили еще статью о происхождении жизни на земле (эту тему я уже разрабатывал в «Возрожденье») — полстатьи я написал, а теперь перестал писать дальше. Терапиано, отметив общую интересность этого № 32 (в «Русской мысли», № 3139, февр. 1977), заявил, что такое забивание

семейным материалом на 50% номера с обрыванием других статей недопустимо. Возникает вопрос — не делается ли это все нарочно для погубления журнала? Э. Штейн (коего «гидонисты» травят — а он их!) агитировал меня взять все и кончить с ними дела. Это-то сделать просто, но это и будет погубление журнала, когда все уйдут оттуда. Слышал, что у них будет большое собрание пайщиков и от решения там все будет зависимым. Л. Е. Фабрициус писал о неладах в журнале, но весьма противоречиво. Посмотрим, что будет дальше. Я пока пишу Фабрициусу, что общее впечатление читателей было и становится все более неблагоприятным для журнала. Напишите им и Вы что-нибудь в этом же тоне: может быть — подействует до выхода следующего номера. В Н. Й. я не мог оставаться дольше, а сразу же после сессии у меня были два назначенных свидания — едва успел.

Собрание сочинений не подвигается по самой уважительной причине: то, что собрал на издание, уплатил в виде налогов и сижу, обрастаю тощим жиром опять: как будто наклевываются химические переводы — заработаю, пущу дело дальше. А набрать мне надо только страниц 40 из 240-а — остальное будет офсетом. Скорняков, по-видимому, хорош. Но я еще не посылал ему материала, так как жду прояснения обстановки,— будут переводы или нет. Как у Вас дела в Теннесси[5]? Статью о Вашей поэзии[6] (расширенную) хотел потом направить в «Современник» — но, как видите, там склока! Пока жму руку! Супруга тоже шлет привет! Ваш Борис Нарциссов.

P. S. Видели ли мою статью-анализ Моршена в Новжуре № 128?

[1] Поэтический альманах, выходил в Филадельфии.

[2] Журнал «Современник» издавался в Торонто. В 28–29 номере за 1975 год помещено объявление о смерти его главного редактора В. Л. Савина. И с этого же номера там начинают активно печататься (по несколько материалов в номере) А. Г. Гидони и Г. А. Гидони-Румянцева. Главным редактором становится Л. Е. Фабрициус. А с 37–38 номера за 1978 год главным редактором стал А. Г. Гидони, а ответственным секретарем — Г. А. Гидони-Румянцева. Роман Гуль в письме И. Чиннову от 28 января 1978 года пишет, что по слухам А. Гидони связан с советскими спецслужбами, и потому сотрудников «Современника» Гуль печатать в «Новом

Дорогой Игорь Владимирович!
Желаю много стихов на праздники и после оных!
Сам стихов как-то больше не пишу — много хлопот — вот устроил дела с изданием «пятилинейника» — будем посмотреть: По сему отсутствию материала не буду в «Перекрестках» #2. А вот другие поэты, прослышав об участии (предполагаемом) «аполлоновцев» и совсем расхотели. По-моему эти «аполлоновцы» — то, что мы в студенческие времена называли «Богова ошибка».
Привет!

Holiday Greetings

AND BEST WISHES FOR A HAPPY NEW YEAR

Борис и Мария Нарциссовы.

1977

Поздравительная открытка Б. Нарциссова. 1977 год

журнале» отказывается. Чиннов, в связи с этим, перестал печататься в «Современнике».

[3] Статья Б. Нарциссова «Была ли Атлантида» вышла в «Современнике» целиком в № 32 за 1976 год и в № 33–34 за 1977 год.

[4] Два стихотворения Б. Нарциссова и статья о С. Есенине «Желтоволосый отрок» напечатана в «Современнике» № 35–36 за 1977 год.

[5] В 1970–1977 годах И. Чиннов был профессором Вандербилтского университета и жил в Нашвиле, штат Теннесси.

[6] Статья не появилась.

2 сентября 1981

Дорогой Игорь Владимирович!

Спасибо на добрых словах и за весточку! Первые строки приложенной Вами копии сильно напомнили мне описание секретарши Массолита («Мастер и Маргарита»), которая была «с перекошенными от постоянного вранья глазами». А последние строки указывают — чьих рук это дело. Конечно, это — злостная дискриминация. Но увы! для меня сейчас это представило бы только чисто академический интерес: ибо с начала июля пребываю в ничтожестве из-за сильного растяжения связок в спине и тазобедренном суставе: поднимал тяжелый вентилятор, както неудачно повернулся и, по-видимому, порвал связки около сустава. Недель шесть вообще едва мог двигаться, даже на кровать не мог лечь (вернее: встать с кровати, раз уже там). Теперь кое-как хожу с палкой по дому, но конца повреждению еще не вижу и ехать мне сейчас никуда нельзя: могу оказаться посреди дороги беспомощным инвалидом.

Если не секрет — сообщите — чьи имена Вы мне предлагали? Из упомянутых в копии половина мне не известна, но зато, должно быть хорошо известна И. Л. Предполагаю, что все они в ультра-современном стиле писания. А этот стиль мне стал ясен, когда недавно попалось мне в НРС стихотворение одной часто там печатающейся поэтессы. Сначала я никак не мог понять — чего я там не понимаю, а потом разобрал: с точки зрения теории информации — она не пишет только «сначала про Хому, а потом про Ерёму», но еще на протяжении 6-ти строф сообщает про Пафнутия, Варсонофия, Фоку, Памфилия, Феоктиста и Фе-

дулия, причем все эти джентельмены не имеют никакого касательства друг к другу (в моем примере у них хотя бы буква «фы» общая, а в стихах и того нету).

Другими словами: темы информации свалены в кучу без связи. У Пушкина полагалось одну-две тему развить и сопоставить.

Да, вот, только я получил Ваше письмо, как уже сам собрался сесть за машинку и писать Вам: В. Синкевич уговорила меня дать стихи в № 6 «Перекрестков», уверяя, что в этом будущем номере (№ 5 должен скоро выйти: набран) будет «большая гармония между авторами и редакцией». По-видимому, редакция одумалась и хочет избавиться от литературного хулиганства. Посему лучше поддержать их начинание: не пошлете ли и Вы туда что-нибудь?

На днях говорил с Э. Штейном и он обещал мне спросить В. Перельмана[1] — возьмет ли он мою статью на тему о современной физике (ответ и дополнение статье А. Кестлера). Пока еще не получил ответа. Если нет — то Перельман хочет обходиться своими силами. В двух последних №№ журнала было меньше копрологии (сиречь говнословия).

Насчет «Граней» — Б. А. Филиппов жаловался, что они там на письма на отвечают. С приветами Ваш Борис Нарциссов.

[1] В. Перельман — главный редактор журнала «Время и мы», который выходит в Нью-Йорке. С 1975 по 1981 годы выходил в Израиле. Статья Б. Нарциссова там не появилась.

28 июля 1982

Дорогой Игорь Владимирович!

Сердечное спасибо за Вашу открытку и за согласие заменить меня на чтении стихов на конференции. Я нахожусь сейчас в совершенно инвалидном состоянии: после нескольких месяцев двукратного лежания на спине в госпитале я едва могу двигать ногами: атрофия мускулов, а замена их плечевым поясом (опирание при подъемах и усаживании, костыли, палка) вызывает растяжение мускулов плечевого пояса и болят нещадно и бедра, и лопатки, и ребра. Есть лекарство — мотрин — но оно скверно действует на кишечник — тоже до болей и может вызвать язву кишок или желудка. Так вот — куда ни кинь — всюду

клин. Раза три в месяц отправляюсь на хемотерапию, что связано тоже с отравлением этими сильнодействующими лекарствами: хуже всего тошнота и отвращение к пище. Правда, врачи меня обнадеживают и говорят, что я еще окей и олрайт. В июне инфекция в мочевом пузыре* пробралась в кровь и меня, запаковав в одеяла, повезли на дрогах скорой помощи в госпиталь с температурой 40° Ц. Там в неделю это отравление кое-как ликвидировали, но нашли большой камень в стенке пузыря (блокировал почку) и еще раз резали. За оба эти случая не ел неделю и потерял 20 фунтов уже на прежнюю потерю. Сейчас брожу по дому и по саду, но с трудом. Так вот вкратце отчет Вам о делах.

С натугой (боли в пояснице) переписываю статью о В. Булич и Л. Алексеевой для НЖ[1]. Стихов не пишу — не до того! Ну, вот, пожалуй, и все! Еще раз спасибо и приветы! Ваш Борис Нарциссов[2].

---

* Даже сейчас эта инфекция псевдомонадой рассматривается, как очень опасная. Врачи потом похмыкали: «Вовремя вас супруга доставила, а то...!»

[1] Статья Б. Нарциссова «Две поэтессы Зарубежья» появилась в «Новом журнале» (1983. № 150).

[2] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 51 письмо Бориса Нарциссова.

Борис Нарциссов

СТИХИ*

ДВА ГОЛОСА

Я люблю тебя, чужестранец,
За озера холодных глаз,
И за то, что бешеный танец
Я в их глуби видала не раз.

---

* Стихи печатаются по тексту книги Б. Нарциссова «Звездная птица» (Вашингтон, 1978). В экземпляре книги из библиотеки И. Чиннова — дарственная надпись Б. Нарциссова: «Игорю Чиннову от автора. 16 апреля 1978 г.».

— Быстроводны холодные реки
В моей родной стороне,
И, должно быть, осталась на веки
Эта дикая воля во мне.

Волоса твои мягки и тонки,
Но ты мягче своих волос.
Ты похож на большого ребенка
В плену моих черных кос.

— И пахучи, и тонки травы
В моем дремучем краю,
И, должно быть, они отравой
Напоили душу мою.

Но душа твоя, о, любимый,
Непонятна, темна и страшна:
Точно туча, висит недвижно
Над моею душою она.

— Тех, кто в скорбные годы заката
В обреченной земле рождены,
Все равно, не поймешь никогда ты,
Ты, дитя счастливой страны!

* * *

Заглянул к себе в подвал, —
А оттуда — скверной сыростью...
Я давно их не топтал:
Вот успели снова вырасти.

Беловаты, как грибы.
Я сравнил бы их с опенками.
Натянули туго лбы,
Заплелись ногами тонкими.

Притаились, пауки!
Не моргнут глаза их кроличьи...

Все, как будто, двойники,
Все, Борисы Анатольичи.

* * *

Старик был ядовитый
И ссорился с прислугой,
Жил всеми позабытый
И мучился недугом.

Он долго в рюмку капал
Коричневые капли,
А после, сползши на пол,
Лежал, худой, как цапля.

Его похоронили
По третьему разряду.
Кровать слегка помыли,
Сказав, что смерть — от яду.

А он с тех пор исправно
Синел в отхожем месте,
И наслаждался явно
Своей нехитрой местью.

НЕ МОГУ

... Он знает петушиное слово...
Вспетуши ты скажинное слово —
И сейчас же рассеется ночь,
И конец будет царствие злого,
Упыри кувыркнутся и — прочь!

Упыри-то — они разновидны,
А сидят они, может, во мне.
Ну, а прочим которым обидно —
Успокойтесь: бывают вовне.

Вот немного еще — и припомню,
Шевельну языком и скажу.

А вот лезет на ум все не то мне,
А вот сел и копною сижу.

Не могу. Позабыл. Не машина.
Не колдун. В голове, как засов.
Или больше уж нет петушиных,
Этих самых, которые — слов?

КОКОДРИЛ

Тихой улицей, в тихом квартале
Я под вечер домой проходил,
И с душком из ноздрей, изо рта ли
— Привязался ко мне кокодрил.

Ну, не очень большой, вроде — с кошку,
Колбасой на коротеньких лапках,
А зубатый: куснет где немножко —
Пальца на три отхватит, как тяпкой.

За пальто уцепился зубами
И сипит: «А побудь тут со мной!»
Ну, а некогда мне за делами,
И противен — воняет как гной.

Тоже голос гнусавый и гнусный,
И все тянет, канючит: «Присядь-ка!»
А мне мерзок он духом капустным,
А ему я не нянька, не дядька.

Ухватил, и вот так не пускает,
И ведь сильный, хоть весь и с аршин.
Да в пальто уже нету куска и
Норовит доползти до штанин.

Оглянулся вокруг я и вижу:
Каменюга удобно лежит.
Долбанул я и вижу, как жижа
Из колбасного тела бежит.

АНДРЕЙ СЕДЫХ

Андрей Седых (это псевдоним Якова Моисеевича Цвибака) — журналист, писатель, критик, главный редактор «Нового русского слова» — родился в 1902 году в Феодосии. В 1919 году нанялся матросом на пароход, идущий в Болгарию. Через Константинополь, где шесть месяцев продавал на улицах газеты, и Италию перебрался во Францию. Учился в Париже. С 1926 года работал корреспондентом газет «Последние новости», «Сегодня». В 1933 году был секретарем И. Бунина и ездил с ним в Стокгольм, когда Бунину вручали Нобелевскую премию. С 1942 года переехал в США, где стал сотрудником, с 1965 — редактором-администратором, а с 1973 — главным редактором газеты «Новое русское слово» и занимал этот пост многие годы. А. Седых написал больше десяти книг прозы, среди которых — его впечатления о поездке в 1929 году в Прибалтику — «Там, где была Россия: Путевые очерки поездки в Латвию», позже вошедшие в книгу «Пути, дороги», книга воспоминаний «Далекие, близкие», «Крымские рассказы» — тоже основанные на воспоминаниях, но более ранних, детских лет. С И. Чинновым, они были знакомы много лет. Их связывали деловые отношения, — Чиннов печатался в «Новом русском слове». «Когда я приезжал в Нью-Йорк, — рассказывал И. Чиннов, — мы шли в ресторан, разговаривали. Яков Моисеевич — умная голова. И представляете, свои деньги, 350 тысяч, он оставил на новых эмигрантов Израиля!» В 1982 году вышла книга «Три юбилея Андрея Седых» — юбиляра поздравляли с восьмидесятилетием, шестидесятилетием журналистской работы и сорокалетием работы в редакции «Нового русского слова». А. Седых умер в 1994 году в Нью-Йорке.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

1 марта 78

Дорогой друг и Мастер!

(По-французски «мэтр» звучит лучше). Вы меня сконфузили, прислав чек за книгу[1]. Я собирался послать Вам ее в подарок, но мне нужно разослать так много книг, что я делаю это постепенно. Разве я за Ваши книги, которые Вы мне дружески присылаете, плачу деньги? Короче: чек с благодарностью Вам возвращаю, а книгу сегодня выслал и, с Божьей помощью, Вы получите ее дней через десять, если во Флориде не выпадет снег.

Насчет Бахраха. Статья[2] хорошая, спору нет, но я не могу перепечатывать из «Р. М.», которую в США все же многие читают. Да и у нас много подписчиков из Франции. А вот если тот же Бахрах или кто-то другой напишет хвалебную статью в Вашу честь и пришлет ее мне — с удовольствием напечатаю[3].

Благодарю Вас за солидарность, проявленную Вами в связи с выпадами этого прохвоста Гидони[4]... Что касается стихов, то я всегда их с радостью печатал. Единственно, о чем я просил Вас — не присылать очень авангардных стихов, так как читатель у меня в массе не авангардный... Но мы с Вами об этом говорили.

Будьте здоровы. Желаю Вам (как писала мне юная племянница из СССР) «хорошо провести Ваши пенсионные годы»[5]. Я уже десять лет назад вышел на пенсию и с тех пор работаю в два раза больше. Будьте здоровы. Ваш Андрей Седых.

[1] Речь идет о книге А. Седыха «Крымские рассказы» (Нью-Йорк, 1977). А. Седых подарил ее с надписью: «Игорю Чиннову — Поэту с большой буквы, от его горячего поклонника Андрея Седых. 1978».

[2] Статья А. Бахраха о стихах И. Чиннова «Один из последних» (Русская мысль. 1978. 16 февраля).

[3] Статья А. Бахраха о стихах И. Чиннова «Спирали и параболы» появилась в «Новом русском слове» 25 июня 1978 года.

[4] В журнале «Современник» (Торонто), № 37–38 за 1978 год (там и.о. главного редактора стал А. Г. Гидони, которого в эмиграции подозревали в сотрудничестве с советскими спецслужбами) появилась отрицательная рецензия Всеволода Рунина «Литера-

турные ничевошки» на книгу А. Седыха «Крымские рассказы» (Нью-Йорк, 1977). И. Чиннов объявил, что перестает сотрудничать в «Современнике» из-за дурной славы, которой пользовался А. Гидони.

[5] В 1977 году И. Чиннов вышел на пенсию в звании заслуженного профессора.

9/24/80

Дорогой Игорь Владимирович!

Предчувствие Вас не обмануло: мы не допускаем сотрудничества в других газетах, выходящих в Нью-Йорке, даже если они дают большой портрет авторов. Я уже видел Ваши стихи в «Новой газете»[1], и это меня огорчило. Пожалуйста, сотрудничайте только у нас, как это было всегда.

На парижские, иногородние газеты и журналы это не распространяется. Стихи Ваши пойдут в одно из ближайших воскресений.

Будьте здоровы. Всегда Ваш, Андрей Седых.

[1] В «Новой газете» (Нью-Йорк) за 9–14 августа 1980 года появились стихи И. Чиннова: «Я недавно коробку сардинок открыл...», «Живу, изящными уютами...», «Из шелухи, из чепухи...».

21 мая 84

Дорогой Поэт!

Очень хорошие стихи. Только обидные для наших читателей:

«Какие вокруг образины, // Какие уродины тут!..». Или: «Уйти! Он ушел от чудовищ, // От злобных страшилищ-червей!..». И такое — во всех трех стихотворениях. Извините, как сказал бы Зощенко.

А стихи, обращенные не к «презренным потомкам»,— присылайте. Всегда будем рады. Душевно А. Седых[1].

[1] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 11 писем Андрея Седыха.

Андрей Седых

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ*

Глава из книги

Тэффи было много лет, но с чисто женской кокетливостью возраст свой она тщательно скрывала. Помню, в декабре 1950 года мы задумали устроить вечер Тэффи и начали обсуждать, к какому событию его приурочить?

— В этом году,— вспомнила Надежда Александровна,— исполняется 50-летие моей литературной деятельности. И поспешно добавила:

— Печататься я начала пятнадцати лет от роду. Дескать, не трудитесь считать мои годы, я еще молодая. Но, к моему изумлению, несколько дней спустя Тэффи сама предложила:

— Давайте устроим этот вечер по случаю моего 80-летия.

Увидев мой вопросительный взгляд, она спокойно начала объяснять, что я ничего не смыслю в женской психологии:

— Скажем, я объявлю, что мне 70 лет. Сейчас же все мои лучшие подруги возмутятся. «Душенька, да какие же ей 70 лет? Я ведь знаю! Давно было. Несколько годиков она попросту сбросила со счетов...» Это нехорошо. А вот я объявлю, что мне только что стукнуло 80 лет. И все в восхищении: «Вы подумайте, какой молодец Тэффи! 80 лет, а на вид нельзя дать больше семидесяти».— И Надежда Александровна добавила:

— До 70 лет нужно себе годы уменьшать. А потом лучше сразу накинуть десяток лет и бить все рекорды долголетия.

Старым, конечно, никто не хочет себя признавать, а Тэффи не хотела этого в особенности. Помню, после освобождения Франции я послал ей какую-то стандартную вещевую посылку. Через некоторое время от Тэффи пришло письмо. Очень благодарит, продукты и вещи превосходные, но в конце легкая обида:

— Для чего вы вложили в посылку пакет бритвенных ножей? Неужели вы думаете, что я стала такая старая, что у меня борода растет?

---

* Седых Андрей. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1979. На экземпляре книги, сохранившемся в библиотеке И. Чиннова,— дарственная надпись: «Игорю Чиннову от его большого поклонника. 1979. Андрей Седых».

С посылками из Америки ей вообще не везло. Однажды пришел пакет от кого-то из Чикаго. Раскрывает, и среди прочих вещей находит диковинную пару шерстяного белья, что-то вроде егеровского. Гимнастическое трико, длинные штаны и фуфайка, все вместе, одна цельная штука. Тэффи повертела ее в руках и, не то из любопытства, не то из врожденной женской любви к примеркам, решила попробовать, как она в этом будет выглядеть?

Начала натягивать трико на себя, стоя посреди комнаты, и по ошибке попала двумя ногами в одну штанину. И, должно быть, от усилия, в эту же секунду начался у нее припадок грудной жабы — такие припадки случались довольно часто.

— Вот я так стою посреди комнаты, — рассказывала она, — не могу пошевельнуться, и в голову мне приходит мысль: а вдруг я *сейчас* умру от этого припадка? И найдет меня консьержка, в этом трико, с двумя ногами в одной штанине...

От этой мысли она развеселилась, начала смеяться, и припадок благополучно прошел.

В письмах, которые у меня сохранились, она часто жаловалась на болезни, «на жабу, забравшуюся ко мне в грудь».

Вот некоторые выдержки:

«... В дом в Нуази меня не берут. Там только законные старухи, за которых платит мэрия.

Я в последнее время совсем одурела от лекарств и работать не могу. Дилемма: погибать в полном уме от спазм, или жить идиоткой с лекарствами. Я дерзновенно и радостно выбрала второе.

За весь год была два раза в гостях и до сих пор живу, как в дурмане от сильного впечатления. Все едят и все кого-то ругают. Но главное, все-таки, едят».

«... Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорил о смерти. Он хочет сжигаться, а я его отговаривала.

Все мои сверстники умирают, а я все чего-то живу. Словно сижу на приеме у дантиста. Он вызывает пациентов, явно путая очереди, а мне неловко сказать и сижу, усталая и злая».

Тэффи раздражало, что люди считали ее юмористкой и что с ней, по их мнению, всегда должно случаться что-то забавное.

— Анекдоты, — говорила она, — смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь, это сплошной анекдот, т. е. трагедия.

Рассеяна она была необычайно. Как-то ей нужно было отправить по почте 100 франков. Чтобы долго не возиться, положила бумажку просто в конверт, надписала адрес и отправила.

Через два дня Тэффи получает письмо. Почерк на конверте странно знакомый, а чей — не может вспомнить. Распечатала. В конверте лежат 100 франков. Весь день ломала себе голову: что это означает? Вечером пришла в гости Е. Н. Рощина-Инсарова. Тэффи показала конверт. «Может быть догадаетесь, чей это почерк?» «Как чей? Конечно — ваш!» Оказывается, Тэффи сама себе послала 100 франков, и очень радовалась, неожиданно получив деньги.

С деньгами вообще часто выходили нелады.

— Ученые лошади, — говорила Тэффи, — умеют считать до четырех. Я всегда этим лошадям завидовала. У меня так: думаю «четыре», а пишу «восемнадцать». И всю жизнь так было. Помню скандальный случай в Висбадене, во время инфляции, после первой мировой войны. Скандалила, собственно говоря, я. Прохожу мимо банка, вижу выставлен курс. За франк дают 120 марок. Зашла. «Вот, разменяйте». Вместо 120 мне дают 135. Я выражаю явное неудовольствие: «Почему же у вас в окошке выставлена другая цена?» Клерк любезно объясняет: еще не успели переменить. Курсы валюты передают по телефону каждые полчаса.

— Да, но вы должны сразу же менять, — строго сказала я. — А то зря вводите публику в заблуждение.

Клерк покраснел, а я взяла его марки и очень недовольная вышла. Потом оглянулась и увидела, что и клерк вышел на улицу и долго смотрел мне вслед. Мне почему-то показалось, что 135 гораздо меньше, чем 120. Но странно, что этот дурень никак не мог догадаться, а ведь, кажется, нетрудно. И еще вслед смотрел.

Рассказывать о своей рассеянности она особенно любила и, кажется, слегка присочиняла.

Пришла к Тэффи Е. П. Рощина-Инсарова. Поговорили, посудачили и решили выпить чаю. Пошли на кухню, зажгли газ, поставили чайник. Начали ждать. Потом, конечно, заговорились и о чайнике забыли. Спохватились и смотрят — чудо: газ горит, а чайник холодный. Тэффи сейчас же решила, что это какой-то оккультный случай. Но Рощина-Инсарова оказалась женщиной более проницательной и сразу догадалась: «Как странно, ведь мы зажгли одну грелку, а чайник поставили на ту, которая не горит».

А вот другой рассказ из этой же серии:

«Года два назад был со мной довольно глупый случай. Была я в гостях у одной дамы и скучала до одури. Я и говорю: “Мне пора домой идти”. А та уговаривает — посидите, да посидите. А я говорю — нет, мне пора. Посмотрела на стену, думала, что там часы, а там висел календарь. Ну, я не сразу разобрала по своей рассеянности и мне показалось, что это часы. Я и говорю: “Нет, мне давно пора. Вот уже шестое, четверг, а меня ждали дома пятого”. А дама как-то испугалась и говорит: “Ну идите, идите, Господь с вами!”»

«... Неужели вечер Тэффи дал такие большие деньги?! Ваша система продавать билеты на благотворительные вечера, конечно, полна достоинства и человеческого самоуважения. Но наша, парижская, хотя и гнусноватая, но приносила плоды. За билет, расцененный в 200 франков, давали по две тысячи, причем допытывались, кто сколько дал, чтобы себя не продешевить. Вот тогда-то и сказал один из благотворителей, покупая билет на Пушкинский вечер: “Я могу дать и больше, если он действительно голодает”».

«... Нет, напрасно Бунин так ругает стихи Есенина. Поэт Есенин был хороший, но поведение у него было совсем уж какое-то подзаборное. Помню, как в Париже он вызвал ночью к себе в “Кларидж” своего секретаря Ветлугина. В номере полный разгром, зеркала разбиты, растерзанная Дункан валяется пьяная на полу. “Скажи скорее, как по-английски стерва. Я тебя за этим и звал”».

«... Я перечитывала недавно моих “Мережковского и Гиппиус”. Верьте слову, и половины не рассказала того, что следовало бы. Не хотелось перемывать грязное белье... Они были гораздо злее, и не смешно-злые, а дьявольски. Зина была интереснее. Он — нет. В ней иногда просвечивал человек. В нем — никогда».

«... Что выбросили фразу из моего фельетона — спасибо. Я могу еще и не то написать. “Стар я стал и шаловлив”, как мельник из “Русалки”. Дурею не по дням, а по часам, но чужую дурость вижу зорко, до тошноты».

«... Торопитесь приехать в Париж. А то — умру. Другую такую не найдете. Уникум.

Только предупреждаю: здесь вас ждут страшные хари! Голубчик, не пугайтесь. Вы нас давно не видели. Мы очень старые,

облезлые, вставные зубы отваливаются, пятки выворачиваются, слова путаются, головы трясутся — у кого утвердительно, у кого отрицательно, глаза злющие и подпухшие, щеки провалились, а животы вздулись. Вот. Теперь вы знаете, какая картина вас ждет».

Я опоздал. Приехал в Париж уже после смерти Н. А. Тэффи[1].

Часто перечитываю ее книги. Конечно, была Тэффи большой писательницей, у которой смешное неизменно переплеталось с грустным. Писала она об очень усталых, незаметно стареющих, одиноких людях. О штабс-капитанах, превратившихся в шоферов такси. О седовласых стариках, ставших мальчиками на побегушках в русских бакалейных лавочках. О лысеющих дядях, которых все почему-то называют «Вовочками», хотя душе общества Вовочке давно уже пошел седьмой десяток. В рассказах ее часто появляются мятущиеся женщины с мерцающими глазами, которые успокаиваются на том, что начинают делать шляпки или становятся портнихами...

Или ее бессмертный старичок-генерал, который приехал в Париж, вышел на площадь Конкорд, оглянулся и сказал:

— Все это хорошо. Но кэ фэр? Фэр-то кэ?[2]

Саша Черный подсмеивался, Дон Аминадо издевался, Тэффи вскрывала пошлость эмигрантских будней <...> Белинский как-то сказал, что Гоголь пишет «слезные комедии»: сначала смешно, а потом грустно. Творчество наших юмористов — это замечательно верное изображение жизни, в которой смешное и грустное так тесно переплетаются, что не всегда разберешь — плакать хочется, или смеяться?

[1] Н. А. Тэффи умерла в 1952 году. Ей было 80 лет.

[2] Искаженный французский: «Что делать? Делать-то что?».

ЮРИЙ ИВАСК

Юрий Павлович Иваск — литературовед, критик, поэт — родился в 1907 году в Москве. Его отец был фабрикантом. Мать — из семьи русских купцов. В 1920 году они переехали в Эстонию. Учился Ю. Иваск в Тартуском университете на юридическом факультете. В тридцатые годы он жил и работал в Печерах и часто ездил в Ригу, где познакомился с И. Чинновым. Вскоре они стали настоящими друзьями. Дружба эта сохранилась на всю жизнь. В 1938 году Иваск путешествовал по Европе — был в Германии, Швейцарии, Франции, встречался там с Мариной Цветаевой. В конце войны оказался в Германии в лагере для перемещенных лиц. В 1946–1949 годах слушал лекции в Гамбургском университете, а с 1949 года, после переезда в США, учился в Гарварде, где в 1954 году стал доктором философии по отделению славянских языков и литератур. Затем преподавал русскую литературу в Канзасском университете, в Вашингтонском университете в Сиэтле и, наконец, в Массачусетском в Амхерсте, где и прожил до конца жизни. Ю. Иваск сотрудничал во многих эмигрантских журналах. С 1955 по 1958 год Иваск был редактором журнала «Опыты», выходившего в Нью-Йорке. Он составитель антологии зарубежной поэзии «На Западе» (Нью-Йорк, 1953). В 1952 году издал книгу «Новый град» Г. П. Федотова, которого хорошо знал. В 1956-м в Нью-Йорке под редакцией Ю. Иваска и с его предисловием вышло «Избранное» В. В. Розанова. В 1974 году в Берлине появилась биографическая книга Ю. Иваска «Константин Леонтьев». Сборники стихов Ю. Иваска: «Северный берег» (1938, Варшава: изд. «Священная лира»), «Царская осень» (1953, Париж: «Рифма»), «Хвала» (Нью-Йорк, 1967), «Золушка», (Нью-Йорк, 1970), «Завоевание Мексики» (Нью-Йорк, 1984), «Я — мещанин» (США, 1986). В 1977 году в самиздате в Москве вышла поэма Ю. Иваска «Играющий человек», переизданная в 1988 году, после смерти автора, издательством «Третья волна» (Париж — Нью-Йорк). В июле 1983 года Иваск был в России — в Ленинграде, Москве, Новгороде. Поездка в СССР планировалась Ю. Иваском за-

долго, и в переписке с И. Чинновым они ее не раз обсуждали. Чиннов не советовал ехать — и из-за возраста, и, главное, из-за советского строя в России, из-за КГБ, который может заинтересоваться эмигрантом. Но поездка все же состоялась. Чиннов беспокоился не зря — для Иваска все обошлось, он благополучно вернулся домой, а вот московский литературовед А. Н. Богословский, который принимал Иваска в Москве, и с которым у Иваска была давняя переписка, вскоре оказался в КГБ на «собеседовании», где его уличили в чтении и распространении эмигрантской литературы и посадили на три года в лагерь. И все это было, кстати, при либеральном Горбачеве. Значительно позже, осенью 1991, приезжал в Россию и Чиннов. Но Иваск не дожил до распада СССР. Как-то, возвращаясь с лекции, он почувствовал себя плохо, присел на лавочку и умер. Это произошло в 1986 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ И ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА

Понедельник, 24 марта 1952 года
Кембридж, Масс.

Игорь, Дуся, милый,

Поздравляю!

Сегодня, в классе Якобсона[1], сложил в уме следующие слова:

На Игоря Чиннова, перед которым вчера, в воскресенье, 23-го марта 1952 года, Адамович распахнул двери в святая святых Российской поэзии[2], уже давно указывал перстом Иваск, когда поэт одиноко бродил по торжищу житейской суеты...

Неуклюже?! Но я всегда имел пристрастие к высокому стилю...

Прилагаю статью Адамовича из «НРС» и все станет понятным.

Радуюсь и веселюсь!

И по носу получат все ново-эмигрантские маяковчата, и Нина[3] поперхнется, и М. С. <Цетлина> еще раз удостоверится, что я всегда прав (хотя и не любит Адамовича по своей линии).

Читал же статью на лекции Набокова-Сирина[4] — одним глазом, из вежливости! Да — великолепен Набоков — сноби-

рующий американцев чистейшим King's English* и блещущий несколько театральным родным языком (разбирал «Вольность» и «Анчар»). А дома, медленно, с наслаждением прочел статью во второй раз.

Сейчас статью читает Тамара[5] и восклицает! Обнимаем, душим в объятиях. Юра

P.S. Аркадий[6] уже прочел и разделяет нашу радость. Он — утешение мое...

В том же № Рубисова[7]-дура написала идиотскую статейку о русской поэзии (Яссен и Прегель на одной доске с Мамченко и Присмановой...). Ну, и дурь же — добрая дурь, а все-таки дурь!

Вы можете сказать М. С., что М. М. Карпович[8] обещал Вам журнал, но не больше, иначе будет мелочно.

Сколько труда, мужества, воли, одиночества за Вашей поэзией. Чего это стоило! — Монашеских подвигов. Как поэт Дуся — схимник.

Должен быть в Н.-Йорке к 5 апр. (мой доклад у О. Шмемана: «Победа христианства — поражение христианства»...)

Елена Никол. Федотова[9] живет у Z. Rapp (свояченица Бердяева): 83, rue du Moulin de Pierre, Clamart, Seine.

[1] Р. О. Якобсон — известный лингвист, литературовед. В 1949–1967 годах он преподавал в Гарвардском университете (Кембридж), где Ю. Иваск слушал лекции.

[2] В газете «Новое русское слово» 20 марта 1952 года была напечатана статья Георгия Адамовича «Новый поэт», где Адамович пишет о первой книге стихов Игоря Чиннова и говорит о том, что не может принять в поэзии В. Маяковского. Подробнее см. в письме Г. Адамовича от 9 марта 1952 года.

[3] Нина Николаевна Берберова — поэт, прозаик, литературный критик, жена одного из крупнейших поэтов эмиграции В. Ходасевича. И. Чиннов был на нее обижен за отрицательную рецензию на его первый сборник «Монолог», которую Н. Берберова напечатала в 1950 году в «Русской мысли».

[4] В 1951–1952 годах В. В. Набоков читал курс лекций в Гарвардском университете.

* Ради великолепия этого королевского английского языка («do you know» — а не «ду ю ноу») и хожу его слушать. (*Прим. Ю. Иваска.*)

[5] Тамара Георгиевна Иваск (урожденная Межак) — жена Ю. Иваска. С ней Иваска познакомил И. Чиннов в тридцатые годы в Риге, тогда же они и поженились. И. Чиннов говорил: «Когда-то Тамара была моей девочкой, а потом влюбилась в Иваска».

[6] Аркадий Ростиславович Небольсин — друг Ю. Иваска. Он тогда тоже учился в Гарвардском университете.

[7] Е. Рубисова — эмигрантская писательница.

[8] М. С. Цетлина субсидировала «Новый журнал». М. М. Карпович был его редактором. В 1952 году он читал лекции в Гарвардском университете, и Ю. Иваск с ним, видимо, договорился об очередном, 28 номере «Нового журнала», где у И. Чиннова была рецензия на вышедшую по-немецки в Базеле (1951 г.) книгу Е. Э. Малер, посвященную народным песням Печерского края.

[9] Жена философа Г. П. Федотова, умершего в 1951 году. У Ю. Иваска с ним были хорошие отношения. Федотов читал стихи И. Чиннова на поэтическом вечере в Нью-Йорке по случаю выхода первой книги И. Чиннова в 1950 году.

8. 1968

Перечитывал Иванова и увлекся. Неплохо писали о нем Марков и Гуль[1], открывший в нем некоторую розановщину, но всего не поняли — его роман с Блоком. Еще открыл в Иванове Чиннова: первый поет во весь голос, второй шепчет. У тебя немало «развитых» ивановских строчек. Но у Чиннова нет — и это не значит плохо — упоения «пустотой», ничем. Помнишь, ты сердился, что я не понял у тебя — ветер в поле[2]... Я думал, что это «положительная величина», как у Иванова, как в народных песнях...

Если Блок — «тезис», то Г. Иванов — «антитезис», вот как надобно показывать поэтов. Чиннов — последний шопот России Георгия Иванова, России, которой нет!

[1] В. Марков — в журнале «Опыты» (1957. № 8). Эту статью мы публикуем. Р. Гуль — в «Новом журнале» (1955. № 42).

[2] Речь идет о стихотворении И. Чиннова «Прозевал я, проворонил, промигал...».

С НОВЫМ ГОДОМ, и благодарю за поздравительное ОТЛИЧНЕЙШЕЕ СТИХОВОРЕНИЕ[1], а в особенности ЗА ЖЕЛТЕНЬКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Всегда любил Досеньку, а теперь еще больше полюбил. Осталось еще 80 долларей. Подождем месяц, но не год.

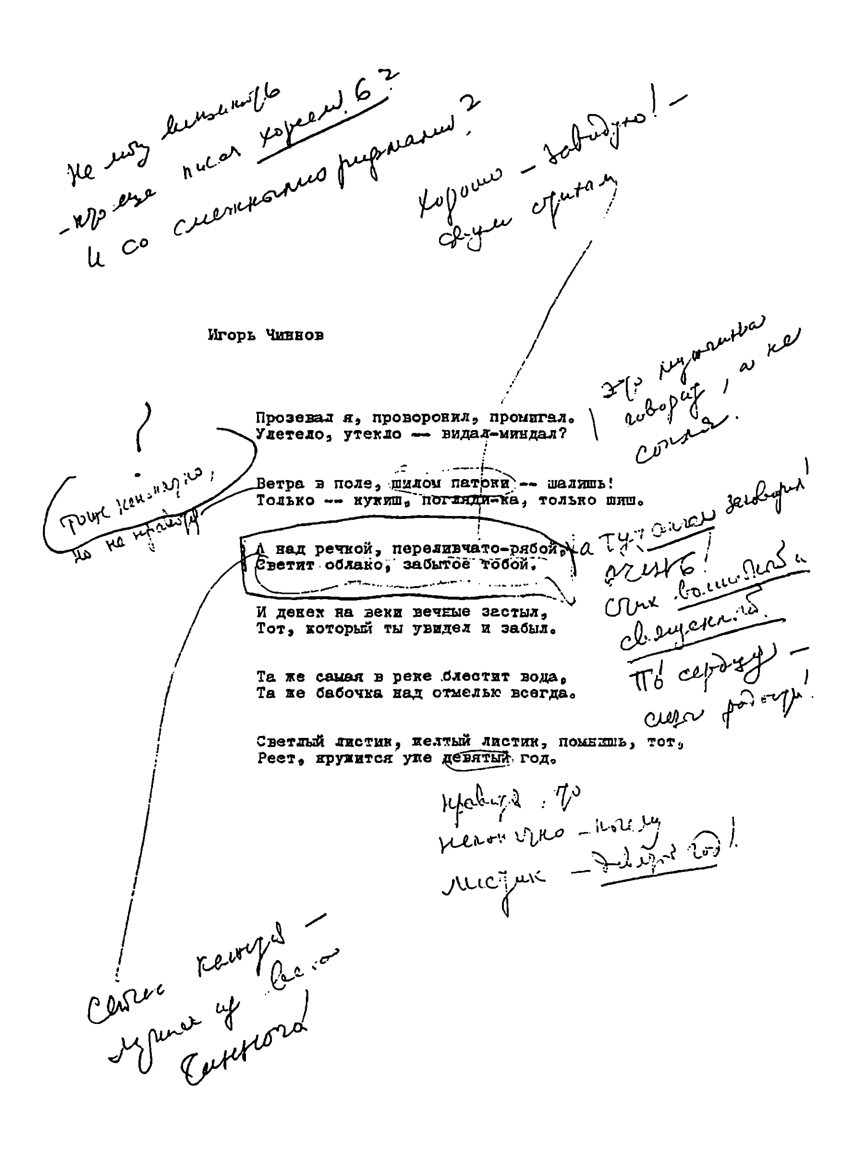
В просторной, запущенной, темной и случайно-меблированной квартире-берлоге час беседовал с первым поэтом англо-саксонского мира[2]. Что же, мы как-то представляли российскую поэзию, но для моего собеседника русский поэт — это — уже не Вознесенский, — а Бродский, эмигранты только курьезны. С явным интересом Одэн задал мне два вопроса: что я думаю о Бродском и что — о приятеле его — Яновском. Я ответил умма. Бродский — джунгли, п. ч. не хочет катиться по гладкой дороге, настоящей темы еще нет, но ценю, сочувствую, жду. Яновский? Он пишет хуже Набокова, но в каком-то аспекте его значительнее... но незачем перекрикивать Достоевского. И Одэн умма, все сразу понимает. Опросил его о десятке мертвых английских поэтов — изумительные ответы. Спросил и о живых, но в ответ послышалось мм-мм-мм... Надо понимать: куда им? Похож на старую овчарку, которая еще может лаять. А глазки — медвежьи, как у умных русских мужиков.

К сожалению, я его хуже понимал, ибо его королевский язык — лающий. На даун-таун улице (Святого Марка), где одэнова берлога — увсе есть — и кабаки, и какие-то субституты бардаков...

Бродский написал Одэну открытку: и я тоже люблю Кавафиса[3]. Иосиф понятия не имеет о греческом языке, Одэн разбирается в древней эллинской речи (Оксфорд), так что, вероятно, это не было суждение о стиле Константина Кавафиса. А?

Надо и подразнить: в одэновой берлоге больше стиля, чем у некоторых других, сидящих на желтых стульях под синими картинами. Между прочим, у него в комнате, отделенное как бы «гумно», где и принимаются посетители.

После Одэна был у фрейлины двух императриц Е. А. Извольской — тоже берлога — но уже откровенно-нищая, где однако, бывают и Одэны, и французские святые, и Керенский — и кто только не бывает. Пришел с сыром и вином — и вместе


Игорь Чиннов

Прозевал я, проворонил, промигал.
Улетело, утекло — видал-миндал?

Ветра в поле, шилом патоки — шалишь!
Только — кукиш, погляди-ка, только шиш.

А над речкой, переливчато-рябой,
Светит облако, забытое тобой.

И денек на веки вечные застыл,
Тот, который ты увидел и забыл.

Та же самая в реке блестит вода,
Та же бабочка над отмелью всегда.

Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот,
Реет, кружится уже девятый год.

Стихотворение И. Чиннова с замечаниями Ю. Иваска на полях. Такого рода критикой И. Чиннов и Ю. Иваск нередко обменивались в письмах. Стихотворение впервые было опубликовано в «Новом журнале». 1967. № 89

совершили трапезы. Чиннов! Извольская — это дама. Такт, вырабатывавшийся тыщу лет.

По приезде[4] узнал о смерти Романа Николаевича (Гринберга)[5] и на другой день был на собрании памяти. Раввин говорил минут семь и потом Седых, конечно, по-русски, — о покойном. Вспомнил начало «Опытов». Веселые поездки в какую-то неприличную таверну МАРИЯ на 2-ой улице, где журнал обсуждался. Тогда Р. Н. был еще живчик, рассказчик, выпить не дурак: его, такого, вспоминаю с любовью. Потом перебегали наши дороги черные кошки или скорее черные котята (я перенял его «Опыты»). Но разве это важно. Напиши Софии Михайловне. Она прошла издали, и страшно было на нее смотреть. Я пишу ей уже отсюда.

Потом обедали у Хомяковых с Ржевскими[6]. Х-вы милы, но Р-ские — ой, хитрые и ой — толстокожие (имею в виду преимущественно его). Есть и подспудная злоба, зависть.

Не только Арка, но и Клайн, Джордж, пригласили меня на ЛИТЕРАТУРУ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ, на особое собрание у Тварога. Не очень хочется, ибо надо говорить осторожно, я сказал бы поверхностно-умно. Все гуманитарные науки субъективны; мнения поэтов столь же (на самом деле более) значительны, как анализы литературоведов — и примеры. Все это надо выверить на 15–20 минут. Скука. Обдумаю в январе. Может быть, ты захочешь «секундировать», — на тему поэты как критики. Мандельштам божественный мальчик — этим Цветаева сказала о нашем поэте больше, чем Террас, неглупый Террас...

Поддержать и поддерживать «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Они хотели от меня по десятке в месяц. Одну — в год: можно. Но должны взять третьего редактора[7]. «Предложил» редакторство Шаховской — не хочет. Но понравилось, что «предложил», не будучи хозяином. Деньги собирает Крузерштерн...

Перелешин хочет написать о тебе. Я просто запрещаю: уже знаю наперед, что будет. Он глуп и вздорен в критике, а может попасть в критики именно ВОЗРОЖДЕНИЯ. Я не поклонник Кленовского, но срам, что Салатко[8] о нем написало, и тем более, о Терапиано.

А рецензии доброго Горбова — были они или нет: никакой разницы. Найди им редактора.

Впечатлений агромадное количество. Сидней Монас[9] написал из Техаса, что любит меня. Вышли мы в академические генералы, а хочется писать, читать и думать для души.

В Смит грозили пригласить меня. Пригласят — присоветуем и Свиноматку[10]. У них — по-русски. Икру едят ложками (суповыми). А вообще все обеднели. Я и Арка предложили Монасу создать Институт на техасские миллионы. Пишет: нет этих миллионов. Арка пошел к школьному товарищу — тоже миллионеру, а того вроде как бы оскопили, и он ничего не хочет и даже забыл Арку накормить. Арка тоже уплатил долг и пошел к ростовщику. Говорил ему: Свиноматка ходила, а теперь ты иди, и пошел.

Гуле[11] звонил в Н-Й. Гуля была злая: Ослик[12] написал: Выхожу опять я на дорогу... Между нами: Гуля злилась на какое-то твое стихотворение о Христе. Я: — «Не знаю — какое, но, может быть, Вы, Гуля, не поняли». Раздалось злобное шипение. Но потом повеселел: болтали $^1/_2$ ч.

Игорю и потомкам! Храни:

ВСТРЕЧА С В. Х. ОДЭНОМ

29 декабря 1969 г., 4 ч. вечера

Адрес: 17, St. Mark's Place, Est (8th St.) NY

Битнико-хиппиевская и даже просто запьянцовская улица. Ужасная ньюйоркская лестница — неважно, что грязная, а какая-то еще адская, нелепо-голая — из круга ИНФЕРНО. На ней кто-то повесился, и самому хочется на ней повеситься.

Его собачье лицо — морда старой дворняжки, шавки. 62 года, а сколько морщин. Грязно-рыжеватые волосы не поредели, и именно шерстистая грива (недлинная, но хаотическая) придает ему собачье «выражение». Глаза маленькие — не песьи, а скорее медвежьи — умно-насмешливые, как иногда у русских мужиков. Глаза говорят: «Ой, не проведете меня, не обманете!» Но ожидаемый от собеседника обман его не сердит, только забавляет.

Деловито: — Кофе? И какой: черный или со сливками?

Вынес две больших уродливых чашки.

Квартира — берлога, темная, запущенная. А усадил он в освещенное место — как бы под навесом. Удобные обшарпанные диваны. Груды книг, рукописей на столе.

Я сказал ему о двух путях: 1) возможность очеловечивания, обожение этого мира или же 2) «перевод» земного, например, любимых русских малосольных огурчиков, в Новый Иерусалим, где они заблестят изумрудами.

О.: — Пока я живу — естественно предпочитаю первое. Это мой common sense[13] — английское выражение, которое нельзя перевести, например, на французский язык.

Я заговорил о русской наглости: хотим бессмертия, хотим вечности, Бога... Так было в русской литературе 19-го века, но этого не было в поэзии Пушкина.

О.: — Да, да, ваш непереводимый Пушкин... А у Толстого я больше всего ценю «Смерть Ивана Ильича».

Я: — А верите вы в описание последнего предсмертного мгновения Ивана Ильича?

— По-моему, оно убедительно... А что Вы думаете о Яновском?

— В каком-то смысле, он м. б. интереснее Набокова, хотя Набоков пишет лучше. Есть у него духовная наглость, но плохо, что Яновский хочет перекричать Достоевского. Его достоевщина истерическая.

— А Бродский?

— Бродский в джунглях, в хаосе. Хорошо, что не идет по проторенной дорожке. Но еще нет настоящей темы. Надеюсь, тема — будет. Ценю Бродского, ставлю на него.

Спрашивал его об английских поэтах.

— Донн? — Меньше субстанции, чем можно было ожидать. Шелли? Нельзя читать. Хопкинс? Монотонен, все та же интонация, но, конечно, значительный поэт. Руперт Брукс? — Пустышка.

Назвал ему Лоуэлла, Вильбура — и послышалось нечленораздельное — мм-мм-мм. Видно, он невысоко их расценивает, но предпочитает от суждений воздерживаться.

Я: — Молодежь меньше читает...

О.: — Да, но общению с читателями способствуют публичные чтения поэтов.

Ценит карнавальность у Бахтина (книга о Рабле). Нравится ему Розанов. Леонтьев — меньше: он — манихей. Я возражаю: «Не принимайте всерьез черное христианство Леонтьева...» Он совсем не христианин — преимущественно карнавален.

В статье о Вознесенском он писал: ямбы — не русский размер.

Объяснил, что это неверно и (заодно) «открыл ему тайну» русских пиррихиев.

— Это и у нас...

— Все же английский язык — спондейный.

По моей просьбе прочел начало переведенной мной песни: «As I walked out one evening...»[14].

Читал хорошо, но слишком скромно... тихо.

Дал устное разрешение на опубликование моего перевода.

Все его творчество — совсем нерусского направления. Вообще: поэты Запада у русских ничего не заимствовали; русское было только у прозаиков (Камю и т. д.). Самые искания его нерусские. Но чувствуется — Одэн что-то от России ждет, и, при этом, никакого большевизанства у него нет. Его Россия — Россия 19-го века, которая еще продолжает жить и дает какие-то новые ростки в Сов. Союзе. Вознесенский или Бродский. Он также одобрительно пролаял о Маяковском...

Да, очень лающий голос. Он меня понимал, а я его, увы, не всегда.

На столе — груды переводов Бродского — Джорджа Клайна. Одэн переводы эти одобрил и пишет к ним предисловие.

Я сказал, что русская поэзия, как и испанская, — еще близка песне и магии. Потому-то я и перевел его Song.

Заговорили о неграх и лунных людях.

Я: — Все твердят, что они несчастные, надо им помочь, уравнять в правах... Хорошо. Но для меня существеннее другое: где гений Негритянской Америки и где гений Греческой любви?

Странное ощущение: сидит человеческое существо, одетое по-человечески, а голова-то песья*. Эта желтоватая (и густая) собачья шерсть, собачьи челюсти, собачья скалящаяся полуулыбка.

Показалось мне: что Одэн тип умного, одаренного и диковатого англичанина, но — не романтического, — а эпохи Елизаветы, эпохи, когда Англия цвела, расцветала, и было в людях нечто волчье, медвежье, и было куда больше таланта, остроумия, живости, широты и даже доброты, хотя нравы были жестокие.

Т. С. Элиот — вроде профессора с примесью пастора. Дилан Томас уэлльский бард — музыка из него «перла», и он сильнее Одэна, как поэт. У W. H.[15] меньше, куда меньше мощи, но ирония и тот, по его словам, непереводимый английский common

* Все не мог вспомнить — какой бог с песьей головой. Аркадий <Небольсин> подсказал: АНУБИС, сын Озириса, страж в царстве мертвых, и иногда его изображали в виде шакала или обезьяны. Но Одэн живой поэт-пес, хотя и с некоторыми метафизическими «связями». Очень «витальный», но, как он сказал — «преломляет хлеб с мертвыми поэтами» («I am breaking bread with the dead»)... (*Прим. Ю. Иваска.*)

sense — не самодовольный, а насмешливо-проницательный — здравый смысл.

Лающее напутствие и опять — грязный, шумный Сент Марк Плэйс. Уже наступила декабрьская ночь (в шестом часу). Занесенные снегом тротуары Нью-Йорка.

Юрий Иваск.

31.12.69 год.

[1] Стихотворение не сохранилось.

[2] Ю. Иваск имеет в виду В. Х. Одена (W. H. Auden) (1907–1973) — англо-американского поэта, драматурга, мыслителя.

[3] Кавафи Константин (Cavafy Constantine, 1863–1933) — греческий поэт. Жил в Александрии, Англии, Константинополе. Он привнес в греческую поэзию характерные для европейской литературы скептицизм, ощущение утраты высших ценностей. Его особенностью было то, что в стихах он намеками, а иногда с шокирующей откровенностью, писал о своей склонности к гомосексуализму. При жизни он не был признан в Греции, но в середине 1930-х годов его стали считать одним из видных представителей современной греческой поэзии.

[4] В Нью-Йорк.

[5] Р. Н. Гринберг — в 1953–1955 годах редактор-издатель журнала «Опыты», где потом (с № 4 за 1955 год по № 9 за 1958) редактором стал Ю. Иваск.

[6] Речь идет о писателях Г. Хомякове (Андрееве) и Л. Ржевском.

[7] Редакторами журнала «Возрождение» были и остались С. С. Оболенский и Я. Н. Горбов. Я. Горбов из номера в номер печатал очень обтекаемые рецензии на вновь появлявшиеся книги.

[8] Фамилия В. Перелешина — Салатко-Петрище. Его отзывов на Д. Кленовского и Ю. Терапиано найти не удалось.

[9] Сидней Монас — редактор американского журнала на английском языке «Slavic Review».

[10] Ю. Иваск и И. Чиннов в переписке часто пользуются прозвищами. Свиноматка — одно из прозвищ И. Чиннова. Осел, Ослик — прозвище Ю. Иваска. Отсюда и его подпись в письмах — «О.». И. Чиннов рассказывал, как возникли эти прозвища. Однажды, в поезде, во время поездки в Мексику, они спорили о картинах Марка Шагала. И Чиннов сказал Иваску: «Ты упрям, как

тот ослик за окном». Так появился Ослик-Иваск. А когда они вместе были в Германии и путешествовали в провинции, на какой-то ферме они увидели свинью с поросятами. «Они были такие прелестные, это было так трогательно, когда она их кормила,— вспоминал И. Чиннов.— И я сказал Иваску, что раз он Ослик, то пусть я буду Свиноматка».

[11] Р. Гуль — редактор ньюйоркского «Нового журнала». Присланное И. Чинновым стихотворение о Христе «Была вечеринка в аду. И с бутылочкой рома...» он отказался печатать.

[12] Прозвище Ю. Иваска (см. прим. 10).

[13] Здравый смысл (*англ.*).

[14] «И я загулял тем вечером...» (*англ.*).

[15] W. H. Auden — В. Х. Оден.

2 ноября 1971 г. Амхерст

ИЗ ДНЕВНИКОВ ЮРИЯ ИВАСКА

Исправляй опечатки. Нету времени на перечитывание.

29-го октября в НЙ. Сразу к отцу Киселеву, который поставил мне койку в библиотеке Серафимовского фонда. Позвонил <Г. Адамовичу. Говорит:> «Да, жду, жду». <Еду к нему.>

Отель Дрейк, на углу Пятого авеню и 56-ой. Обнял и дважды поцеловал.

Мало изменился, хотя как будто похудел. Г. В. <Адамович> почти перестал есть. Желтое лицо, как еще в 66 г. Подтянут, английский костюм, гладко выбрит.

А.: — Ну, как, Одуванчик?[1]

О делах. Я был чем-то вроде импресарио. Сразу звонки: Шенкер из Йеля, потом Чалзма из Корнелля.

Как всегда, я только «вызываю» Г. В. говорить на его темы. «Свое» опускаю. Или изредка что-нибудь в этом роде: «А Достоевский не только страдание, а и “карнавал”, упоение». Тогда он: «Ах, не раздражайте...»,— и я воздерживаюсь от всего, могущего раздражить.

Показал стихи Евтушенко, которые он получил накануне отъезда из Парижа. Два раза: ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ АДАМОВИЧ, уложенный в пятистопный ямб:

Пусть Вам вернуться в Россию поздно, —
Еще вернется Россия к Вам[2].

А.: — Конечно, Евтушенко часто пишет не то, но какой собеседник! Я знал только трех таких: это Мандельштам, Поплавский и он...

Я охаю: «Ах, не ставьте их в один ряд! Все же за стихи, Вам посвященные, готов причислить Е-ку к сонму праведников!»

Пригласил к обеду на Мадисон авеню, за углом. Не ест... не ЕЩУЩИЙ (слабенький поросенок), как говорили в Печерах.

Ходит медленно, задыхается.

Разные «опавшие листья» (никому не говорите).

А.: — Гумилев: «А не пора ли исключить из литературы Одоевцеву». Уже в Париже: Одоевцева на сцене. Литкова-Султанова (мать «моей любви»), <кивая на сцену>: «Совсем наша Зина (Гиппиус) в молодости...» А та услышала: «Я никогда не походила на горничную»...

Я: — У Одоевцевой прекрасные стихи. Как Иван Иванович и Мария Филиповна (кажется так) очутились в раю[3].

А.: — Ну, это по вашей части... рай. А мне это нравится: «И никогда я не знала, / Что у него за дела...». Намек на Рейзини[4].

Смеемся, я часто смеюсь с печальным Г. В. Да, печален. Тоска в глазах, как у столь непохожего Г. П. Федотова. Тоска, а отчего? Блоковская тоска...

А.: — Зинаида Николаевна <Гиппиус>: «Придет Ходасевич со своей армянкой, а о чем с ними говорить?»

Я: — Но с ним, т. е. с Ходасевичем, можно было говорить.

А.: — Ах, нет, злой, мелочный...

Разное: Маяковский, проходя мимо Ивнева: «А известность проходит мимо, / Потому что я только Ивнев...»

А.: — Да, понимаю вашу симпатию к Маяковскому. Раз мы с ним хорошо разговорились в Привале комедиантов. Подошел ко мне и прочел что-то из моих стихов.

Дед Г. В., Михаил Михайлович Адамович, — родился в 1784 г., был под Бородиным. Капитан или майор. Защищал Отечество!

Отец (генерал) заведовал военными госпиталями в Москве.

А.: — Государь приехал,... отец бежит запыхался... Честь имею представиться Вашему Величеству. А это был промах, надо было говорить: имею *счастье* представиться В. В. Отец страдал, никак не мог успокоиться.

На другой день (в субботу) явился Рейзини, не узнал его. Толстый, немножко Собакевич. Его я тоже зачислил в праведники. Любит Г. В., старается его веселить, дал ему доктора.

Ехали час. Ливрейный шофер. Имение в ТУКСИДО-ПАРК (TUXEDO-PARK), где «капиталисты» содержат свою полицию. Озеро-зеркало. Форели, поедаемые несъедобными немецкими щуками. Белый дом, покрашенный «пятнами»,— квазиоблупленный, это «под старину». Ивы, клены — осенние краски. Собственный водопад. Обстановка «модерн» 1900 года. Но «ничего». Комнаты с ванной. Прислуживал китаец, милейший, вернейший. Жены, детей не было. Чаще собирались в библиотеке английского стиля, с панелями. Бесконечные анекдоты Рейзини. Говорил на три и на пять голосов. Г. В. смеется: «Это он для вас старается». Анекдот об архиерее и щах. «Щи хорошие, как полагается,— одобряет ревизующий архиерей...— А в щи-то насрали!» Это «соль». Надо смеяться, и смеюсь.

Р.: — Я не русский.

— Но, конечно, говорите по-русски с детства.

— Нет, выучил в Париже. Я родился в Афинах, я грек.

Скрываю закравшееся сомнение. Хозяин мил. Сказал, что я акварельный человек, чистый, нежный и пр. Протестую...

Брекфест (в воскресенье) в особой утренней столовой.

Милая минута.

Я: — Вот мы сейчас втроем в раю...

Г. В.: — Одуванчик, вы меня опять раздражаете (смеется).

В библиотеке я неожиданно для себя сжал плечи Г. В.

— А вы, иронический Адамович, вы ребеночек, ей-ей!

Я бы пожил в этом Туксидо-Парк. Гулял у озера один. Что-то «подводное» в горящем клене, в счастливо-печальной плакучей иве. Тишина: ни одна ветка не шелохнется. Вспомнилось даже Суханово Волконских, но там был ампирный дворец, Венерина беседка, запущенные зеленые пруды, а здесь: чистота и лжеоблупленность виллы. Но хорошо. В стороне коттедж для гостей.

Г. В. любит Рейзини, добродушно-насмешливо на него посматривает.

Да, Рейзини спасется Адамовичем!

Много лица у него, как у З. Почти не видно носа с горбиком. Нет, он не Собакевич, скорее Петух.

Г. В. скрипка, скрипичная мелодия. Мысли знакомые, да и рассказы его часто те же. Но слушаешь музыку, а не слова, хотя слова умные.

К шести вернулись в НЙ. Созвонились с отцом Александром Шмеманом. Он должен был подъехать к семи. Но я ждал в фойе. Г. В. явно утомился.

Пошли с о. А. наверх. Говорили полчаса. Но Г. В. отказался от обеда.

С о. А. в итальянском ресторане. Я устал, но о. А. возродил. И он музыка, но другая: победную песню поюще...

о. А.: — Адамовича-атеиста спасет его тоска... Ведь с бытовым православием Иван Петровича далеко не уедешь.

Говорил, что у него подрастает «настоящая молодежь».

Об Ар-дии: «Чего он на меня злится?»

— Смерти нет,— сказал о. А. в машине, когда мы мчались на Лонг Айленд, м. б. в каком-нибудь 58 г. Рядом вздрогнули и ПОВЕРИЛИ Гринберги!

О чем еще говорили?

А.: — Я люблю раннего, или бывшего Чиннова.

— Я тоже, но и лошадей в Волге, и Каннитфершана, который пошел в кафешантан и сгорел в крематории[5].

Адамович слушает музыку, как Блок. Обманчивая музыка.

Отец А. тоже в музыке — пасхальной.

Я не слышу музыку. Если слышу: то краски. Рдяную музыку того незабываемого клена. Кумач, арбуз, лососина, абрикос — вот что сгорало, тихо сгорало у Туксидского озера.

Успел купить у Рицоли пять итальянских альбомов. Упивался ими в автобусе. Слушал.

Благословляю Г. В. и заодно Рейзини, даже посвятившего те стихи Евтушенко. А о. А. меня благословляет.

Из рассказов Рейзини:

— Проиграли с Г. В. все! Уже утро. Не на что заказать кофе. Пошел в магазин или мастерскую Довида Кнута[6], а Г. В. велел прогуливаться издали. Говорю Кнуту: «Хотите, чтобы о вашей новой книге отозвался Адамович?» — «Ой, хочу...» — «Выйдемте, я вам что-то покажу!» — «Что же вы мне покажете?» — «Кто там гуляет?» — «Ой, Адамович гуляет...» — «Не подходите к нему, я все объясню, дайте 50 франков». Кнут дал.

Или:

— Надо издавать журнал, потому что «Звено»[7] кончилось. Думаю. У кого деньги? Деньги у теософов, у Кришнамурти... Вошел в доверие к даме-дуре де Манциарли. Она мной духовно руководила. Ел с ней вегетарианское, а М. все выбегает. Накрыл ее: ест ветчину у стойки... Я тоже заказал бутерброд, и она перестала меня мучить.

Наконец, я у заветной двери. Вхожу. Спиной ко мне, у окна — он. Обернулся. Огромные черные глаза-солнца.

Кришнамурти: — Вы ни во что не верите.

Не мог соврать: — Не верю.

К.: — Деньги получите, но меня вы больше не увидите.

Но фонды — для «Чисел» отнял Оцуп[8], сказавший Манциарли: «Я литература, а Рейзини — не литература»...

Так ли было... История занятная...

Были и такие рассказы: «Вызывает меня Хамфри и ведет к Джонсону...»

Или: «Я пишу книгу в трех томах...»

Но белый дом, озеро в Туксидо-парк вполне реальны.

Мне очень нравится Рейзини.

[1] Так Г. Адамович называл Ю. Иваска.

[2] Это последние строки стихотворения Е. Евтушенко «Письмо в Париж». Начинается оно так:

Нам не спасенье — крест одиночества.
Дух несвободы непобедим.
Георгий Викторович Адамович,
А Вы свободны, когда один?

[3] Это стихотворение И. Одоевцевой начинается так:

Сияет дорога райская,
Сияет небесный сад,
Гуляют святые угодники,
На райские розы глядят.

Идет Иван Иванович
В люстриновом пиджаке,
С ним рядом Марья Филиповна
С французской книжкой в руке...

[4] Н. Рейзини — друг Г. Адамовича, американский миллионер, в прошлом принадлежал к литературным кругам русского Парижа. Он принимал в США Адамовича в 1971 году. Цитируется стихотворение И. Одоевцевой «Угли краснели в камине...».

[5] Стихи И. Чиннова: «Лошади впадают в Каспийское море...» и:

«В стране Шлараффенланд,
В заоблачной стране Шлараффенланд
Зоолог и турист Каннитферштан
(Из Копенгагена) зашел в кафешантан,
Но оказалось, это крематорий.

Он был рассеян и себя позволил сжечь,
Развеял пепел и сказал: берите!...»

[6] Поэт Довид Кнут одно время имел в Париже ателье по ручной раскраске тканей.

[7] Парижская газета, потом журнал «Звено» выходил в 1923–1928 годах. Там регулярно публиковались «Литературные беседы» Г. Адамовича. Они недавно изданы в России в Собрании сочинений Г. Адамовича (СПб.: Алетейя, 1998).

[8] Н. Оцуп редактор парижского журнала «Числа», выходившего в 1930–1934 годах. Первые четыре книги журнала вышли под редакцией И. В. де Манциарли и Н. А. Оцупа.

8.12.71

Добрый, печальное известие: умер Георгий Иванович Газданов. Мало его знал, но очень жаль.

Хомякова[1] рассчитали с 1-го января, но он сказал Адаму: на жизнь хватит пенсии. Адам задерживается в Н-Й[2], ему звонил из Москвы Рейзини, и не велел уезжать. Надеюсь его еще раз увидеть.

Позвони: а я разорился на звонки А и др.

Посылаю ПОХВАЛУ ЖИВОПИСИ и еще в новом роде ЕВРОПЕЙСКИЕ РАЕЖИТЕЛИ[3]. Все знают литературу, а живопись — мало. Безумие лестниц Тинторетто: это знать нужно и пр. ВЕРНИ ДР. стихи, в особ. ПОСЛАНИЕ ИОСИФУ БРОДСКОМУ С ПРИГЛАШЕНИЕМ[4] в Амхерст.

Посвяти стихи, напр., НОВЕЛЛЕ МАТВЕЕВОЙ[5]. Нужны нам контакты. Не сиди в слоновой башне. <нрзб.>

Посылаю стишок Перелешина. Это будто бы пародия на г. Чинного. Я протестовал. НА МЕНЯ ТОЖЕ. Получил ли его послание?.. Ю. И.

<К письму приложены две пародии, написанные рукой В. Перелешина:>

ЭКСПРОМТ

Пасть ли разину? — напасти,
Шуры да муры татар,
жуткие страсти-мордасти,
скука без тар и без бар.

Год високосный ли, миг ли,
в небытие ли провал?
Или — скорей — фигли-мигли,
Некто, видавший миндал?[6]

22 октября 1971 г.

ЖИЗНЬ

Сверху знойные цвета,
говорливые голубки,
а под ними — нагота
деловитой мясорубки.

Мир хитрил, как лабиринт,
пятьдесят четыре года,
а теперь — жерло и винт,
жилы, скрежет и свобода.

Со святыми упокой,
властелин иконостаса!
Повар выгребет рукой
горку молотого мяса.

29 октября 1971 г.

[1] Г. А. Хомяков (Андреев) — писатель, журналист, редактор журнала «Мосты» — работал на радиостанции «Свобода» в

Мюнхене. С 1 января 1972 года Г. А. Хомяков вышел в отставку и переехал жить в США.

[2] Г. Адамович в это время путешествовал по Америке. Об этом см. выше, в письме Ю. Иваска от 2 ноября 1971 г.

[3] Статьи Ю. Иваска.

[4] Речь идет о приглашении И. Бродского для выступления в Массачусетсском университете в Амхерсте, где преподавал Ю. Иваск. Приглашением Бродский воспользовался и приехал в Амхерст, о чем рассказывает Иваск в напечатанном здесь письме от 7 марта 1973 года. Среди опубликованных стихов Ю. Иваска нет стихотворения «Послание Иосифу Бродскому».

[5] И. Чиннов высоко ценил Н. Матвееву, но стихов ей не посвятил.

[6] Пародия на стихотворение И. Чиннова «Прозевал я, проворонил, промигал...».

7 марта 1973 г.

Зашел за Бродским и привел его к нам на завтрак.

Невыспавшийся, «не в себе», с головной болью.

Сидел часа полтора.

Б.: — Что скажете о моей статье в НЙ «Таймз Магазин»?

Я его поздравил, хорошо:

— Хотели бы напечатать русский текст в НЖ? Дойдет до России.

— А зачем? Я писал для Запада, чтобы приоткрыть глаза на .... (надо понимать — на сталинизм, чтобы не болели детской левизной). В России никто никаких изменений не хочет. Как-то живут и ничего лучшего не желают. Только бы не было изменений!

Я: — Ваши натюр-морты[1] напоминают цвет. КРЫСОЛОВ.

— Да, плагиат...

— Ну, нет...

У Цветаевой любит письмо к Рильке[2]. Такой глубины не было даже у Мандельштама, ни у кого... Она Иов на гноище.

Я не согласен. Была живая, «живейшая из жен», но стремилась *за* мир. Взмыв: выдышаться в смерть.

Б.: — Все поэты думают о времени...

Я: — Нет,— о пространстве, чтобы его наполнить. Это хорошо у Соловьева: «Смерть и время царят на земле,/ Ты владыками их не зови». Смерть и время — враги...

Б.: — Время не враг. Но без аргументов.

Я: — У Вас мне не по душе: весь «Разговор с Небожителем»... Почему упрекаете Христа за то, что он сказал: «Почто меня оставил?»

Б.: — Это не по-ветхозаветному... А я в Ветхом Завете.

Я — о моем еретическом отношении к Ветхому Завету. Псалом Давида — Возьми младенцев вавилонских и разбей им голову о камень... Формула Аркадия: Бог без Христа — черт. Ветхозаветный Бог страшен.

Б.: — Да, страшен, очень страшен, так есть. А в христианстве психология вознаграждения.

Я: — Нет, это в В. З.— договор. Христианство: любовь и свобода.

Б.: — А ад?

Я: — Ад не вечен. Он есть, но пуст, сказал один аббат Марселю Прусту.

Б.: — Рай — тупик, написал я в одном стихотворении.

Я: — Не должен быть тупиком. Надо наполнить. Надо строить.

Еще о его «Разговоре с Небожителем»:

У вас там: страдание — норма. Не должно быть нормой. Христос не мог сказать Марии: «Сын или Бог, я твой»[3].

Б.: — Мог сказать, и привел одно песнопение.

Советовал ему на месяц поехать к трапистам-молчальникам и на Афон.

Б.: — О трапистах я думал.

Был задумчив и вял.

<Продолжение письма:>

8 марта 1973 г.

ИОСИФ БРОДСКИЙ В МОЕМ СЕМИНАРЕ ПО ПОЭЗИИ В АМХЕРСТЕ

Я задавал вопросы.

О Державине.

Бродский о 18 веке: Эпоха «классицизма», но был и «реализм», была конкретность, например, в одной из сатир Кантеми-

ра. На корабле — нечто «в пальца четыре» отделяет от моря и гибели. Это точное определение толщины борта. 18 век — век просвещения, рационализма, сомнений, эпоха Вольтера, но в русской поэзии, м. б., благодаря «церковному» образованию, была и метафизичность. Как-то можно сравнивать Державина с Донном, м. б. это «барокко».

Вещность стихов «На смерть князя Мещерского». «Где стол был яств, там гроб стоит», и вопрос: «где он». Ответ: «не знаем»[4]. Честный ответ. Но тема метафизическая. Не было дешевого французского скепсиса.

Поэзия 18-го века задавала тон всей последующей поэзии.

Пушкин.

— Не люблю Евгения Онегина, много «воды», слишком доминирует «тема».

Это не «эпатаж». Так он должен думать. Любимые стихи Пушкина — последние. «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Отцы пустынники и жены непорочны...». М. б., Пушкин стал бы метафизическим поэтом, он уже нашел свой метафизический язык.

Боратынский один из любимых его поэтов. Философ?

— Но есть и конкретность, например, в последних стихах «Дядьке-итальянцу». Настоящая Италия...

Тютчев.

— Лучшие стихи — о последней любви, не философские.

Некоторое равнодушие к Тютчеву.

Символисты.

— Идеологичны, невещны.

Блок.

— Даже не могу сказать, что он большой поэт.

Мандельштам.

— Люблю его стихи о Белом, на его смерть, где Белый-«голек». В особенности: «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»

— Когда лет 10 тому назад я имел счастье принадлежать к небольшому кружку ленинградских поэтов, мы накладывали на наши стихи особого рода «скатерть», которая снимала все прилагательные. Оставались одни существительные: вещи. Так мы учились писать стихи.

Ахматова.

— И ранние стихи хороши.

Хотя он особенно восхищался «Реквиемом» и «Поэмой без героя». Многое цитировал. Россия Достоевского и др. Это вещность, и это ощущение другого мира. Об Ахматовой он говорил с бóльшим восхищением, чем о Мандельштаме.

Пастернак.

— Чудо...

И я не ожидал, что он так любит Пастернака. Неожиданно цитировал из «Спекторского».

Хлебников.

— Не знаю, что это. М. б. и не литература. Х. анти-сентиментален, анти-романтичен. Он как-то адекватен жизни, языку. Гениальные словесные угадки. Хлебников оскопляет, парализует, когда его читаешь. После него не хочется писать стихи. Все-таки нужно читать его стихи, отбивающие охоту самому их писать.

Где-то вставил: нужно писать не только о своем. Нужно писать во имя... Не сказал — во имя Божие... Значит: во имя высшего, большего. Это его исповедание. Или так: писать о вещах, слушать вещи, слушать язык, не быть господином языка, а его рабом. И, вместе с тем, нужно писать во имя.

Были вопросы. Хвалил американских поэтов XX-го века. О многих я не слышал.

Я не перебивал: пусть выговорится. Комментируя других, Б. комментировал себя. Так всегда бывает с поэтами.

Хлебникова он цитировал две строчки, где был Гирей и сноп ослепительных лучей...(?) (надо спросить Маркова)[5]. Сказал: тут и традиция, тут Гирей из «Бахчисарайского фонтана», но все иначе, все просто удивительно!

Напомнил слова Одэна: настоящие поэты не должны подражать, они должны просто красть. Не ручаюсь за точность передачи.

Юрий Иваск.

[1] «Натюрморт» — стихотворение И. Бродского.

[2] Поэма М. Цветаевой «Письмо к Рильке» // Версты. № 3. Париж.

[3] Строка из стихотворения «Натюрморт».

[4] Строка из стихотворения Г. Державина «На смерть князя Мещерского» звучит так: «Где ж он? — Он там; — Где там? — Не знаем / мы, только плачем и взываем: / «О горе нам, рожденным в свет!..»

[5] В. Марков — литературовед, поэт, американский профессор, специалист по В. Хлебникову. Видимо, имеется в виду стихотворение В. Хлебникова от 10 марта 1917 года «Народ поднял верховный жезел...», где есть строки: «Подругу одевая, как Гирей, // в сноп уменьшительных имен...»

5 июля 1977

Исправь опечатки
САМИЗДАТ

Вчера, 4 июля, в Норвиче Н. В. Первушин[1] сказал за завтраком: «Скончался большой русский писатель». Пауза.

— Кто же?

— Набоков.

Сразу увидел его купольный череп, вместивший не только два языка, но и все бесчисленные творческие комбинации русских и английских слов. Вспомнил широкую улыбку — подразнивающую — не без добродушия, но и не без надменности.

Всегда ощущал в нем скулящий страх и вопиющий ужас перед смертью. Умер ли он в одночасье, или долго болел, мучился[2]?

Верная, гордо-профильная — царица Иудейская — Вера Евсеевна[3]. Урожденная Слоним — и, что подчеркивалось, не в родстве с М. Л. Слонимом. Высокий красивый, но ушастый сын, которого видел в Гарварде. Теперь ему, наверное, за сорок. Бас, певший в *Скала,* и будто бы переводчик русских книг отца на английский язык (думаю, Владимир Владимирович все сам переводил, например, «Лолиту»).

В просторном салоне отеля в Монтрё — во вкусе 900-х гг. Я что-то говорил, В. В., улыбаясь, указывал на стену.

В. Е. пояснила: — Солнечные зайчики.

В. В.: — Как же — я читал ЧиннОва. Он...

Я.: — ЧИннов!

— ЧиннОв жив, а о живых поэтах я не высказываюсь.

Подписал им мою «Золушку»[4].

В. В.: — Прекрасная обложка. Морковь!

В. Е. как-то написала: «В. В. взял “Золушку” в горы, где ловил бабочек».

Гарвард, м. б., 52 г. Набоков заменял М. М. Карповича. Ходил на его «Комментарии к "Евгению Онегину"». Все иностранные слова или имена В. Е. писала на доске. В. В. не может взять в руки мела.

Пригласили в наши антресольные комнаты. Тамара[5] кормила обедом и пасхой.

Я показал мою новенькую машинку для оттачивания карандашей. В. В. смеялся:

— Нравится... понимаю...

И эта деталь вошла в его повесть «Пнин». М. б., находил он во мне «пнинское»? Но я никогда не считал «Мартина Идена» Джека Лондона великим романом.

Попросил В. В. прочесть стихи к князю Качурину[6] (связано с окачурится).

В. Е. (строго): — А вы его стихи не очень любите.

Я отрицал, но неискренне.

Был приглашен Мишей Фейером в Миддлбери. В. В. комментировал начало 8-ой главы «Е. Он.». А к обеду он вышел в коротких штанах, что Миша воспрещал студентам. Это, конечно, нарочно.

На гарвардском обеде гр. Стенбок-Фермор, сложив руки:

— Что Вы, В. В., думаете об «Анне Карениной»?

— Помните, кого-то вытошнило на ее шубу... в спину.

Ничего подобного не было, но это значило — отшить!

Очень отшивал он и великих ученых — Якобсона и Чижевского. Мне: «Чижевский — подслеповатый грабитель на большой дороге...».

Меня только раз ошарашил, когда я спросил о Лескове.

— Лесков русского языка не знал.

— Какой же язык он знал.

— Английский.

Неправдоподобные языковые способности Набокова.

Но не гений. Впитал всю литературу и играл на ней, как на шахматной доске. Комбинативный талант. Отказался от боли, от бремени, которое иногда и «портит» мастерство, например, размышляющими отступлениями Гоголя, Достоевского, Толстого. Искусство для Н. только искусство. Игра.

Пытался делать МАТ смерти. Но и это игра, кажется, в «Ultima Thule».

Одна из его мыслей: прекрасно пространство, его всегда мало. Иначе: прекрасен мир с его потенциями. Убийственно время.

В романе «Ада»: на Аде (это, конечно, Вера) он поздно женится. Полное творческое и дружеское счастье с ней. Но не вечное. В 70 с чем-то герой теряет «секс», но еще творит и счастлив. А смерть еще не приходит.

Адамович не находил «человеческого» в Набокове и сказал Роджеру Хагглунду[7]: «Лучше плевать в потолок, как Розанов, чем читать Набокова».

Издевки Георгия Иванова: «Набоков — граф — из кинематографа»...

Человеческое, конечно, было. Вызываемое в читателе сочувствие к Лужину, Эдельвейсу («Подвиг»), к избитому пошло-ненавистными немцами русскому интеллигенту в изумительной повести «Озеро, облако, башня» (дактиль). Хотел бы перечесть. Две горизонтали (озеро, облако) и вертикаль (башня).

Некоторое хвастовство в «Других берегах». Выпяченное широкое барство. Это не по-барски. Не барское было и у Бунина. Не хватало им личной барской щедрости при щедрости таланта.

Бунин на лезвии ножа «подавал» — похоть со сладостью ее и отвращением к ней («Митина любовь») и смерть, смерть, смерть. Иногда, читая Бунина, задыхаешься на его лезвии ножа. Этого задыхания Набоков не вызывает.

Последние русские прозаики (в этом порядке): Розанов, Бунин, Набоков, Белый. У Солженицына кишка тонка.

Утром натягивал носки. А Набоков их уже не натянет!

Ни один человек не достоин уважения. Каждый человек достоин жалости. Розанов (цитата по памяти из «Уединенного»).

А русская литература (и, конечно, не только русская) — армия, и все — товарищи по несчастью.

Прощайте.

<Рукой И. Чиннова написано:> *Прелестно, но как же печатать?* [8]

[1] Американский профессор, славист.

[2] В книге Andrew Field'a «The life and art of Vladimir Nabokov» автор пишет, что существует несколько версий относительно причины смерти В. Набокова. Или он простудился из-за

не закрытого прислугой окна, или заразился в больнице, или подхватил грипп от сына. Набоков умер 2 июля 1977 года.

[3] Жена В. В. Набокова.

[4] Книга Ю. Иваска в обложке морковного цвета.

[5] Жена Ю. Иваска.

[6] Стихотворение В. Набокова «К кн. С. М. Качурину».

[7] Роджер Хагглунд — американский славист, позже он защищал докторскую диссертацию по теме Адамович — критик. Им выпущена на английском языке книга об Адамовиче: Hagglund Roger. Georgy Adamovich. An annotated bibliography. U.S.A., 1985; Единство видения. Адамович в эмиграции. США, 1985.

[8] В «Новом журнале» (1977. № 128) Ю. Иваск напечатал некролог «В. В. Набоков». Но там был совсем другой текст.

24.11.79

Посылаю опять. В прошлом варианте ты преступно не поправил опечатки![1] Досифей, в ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ еще раз переписал отзыв об ужасном Чинном. Кое-что отбавил, но и прибавил... А надо было бы сказать больше. Стихотворение о сардинках[2] свидетельствует, что Чинный не всегда спит, когда растет. *Я счастлив, что еще не вполне понял эти стихи...* В конце назвал Бобышева, но из-за Гуля нельзя назвать Бродского и Цветкова, а также Новеллу Матвееву, которая всего боится...

Вчера услышал оралу Васю в телефон. Хочет приехать в Амхерст... А потом раздался баритон Лени-математика из Калифорнии. Не хотят звонить КОЛЛЕКТ!..[3]

Между нами: некий француз написал мне уже из Парижа. Я послал ему 25 долл. на почтовые расходы. Говорит: не надо, а на эти деньги куплю книжки Саше[4]. Читал в кофейне и плакал...

Возлюбим друг друга... как это звучит утопично... и вот появилось столько благородных молодых людей.

Вспомнил свой стишок, м. б., 1935 года:

И юношей высокий сонм
Меня, как боевое знамя,
Подымет ввысь, и смутный сон —
Туман рассеется над нами...

А с этого года начали рождаться добрые юноши...

Отмечаю: у советских метафизиков нет проблемы смерти, хотя они, конечно, тоже хотят жить и не хотят умирать...

Возвращение билета Богу-мучителю для них не актуально.

Бродский модник, но Бобышев действительно глубоко верующий — это видно по стихам и по поведению. Но об этом не смог сказать в своем отзыве о Чинном.

М. б., у них ощущение: СССР такой ад, что хочется, чтобы Бог, пусть и не всегда добрый, внес бы какой-то смысл в мир.

Напишу Бобышеву — Диме, чтобы послал Тебе свою книгу. Там не только метафизика, есть и неудачная любовь — и я знаю — какая. Но теперь он так удачно женился, и Дора[5] полюбила и Диму, и Ольгу.

Но Бобышев впал в герметизм, аллегоризм... Этого не нужно...

Святой француз говорит, что сможет посылать не только письма, но и книги. Уже послал «Антитезу» и др. Но нет прежней гарантии....

Послал Гулю 50[6], и он был тронут! Надеюсь, не будет сокращать... Но, кто знает. Никите послал автограф — «Борису Пастернаку Марина Цветаева». Он собирает автографы.

«Подкупаю» редакторов.

Некоторый эскапизм у москвичей. Саша неожиданно прислал переписанные очерки Лукаша из «Возрождения» 20-х гг. ... И теперь я достал для него книгу «Две России» графа Салтыкова (1922 г.). Даже Глебушка только слышал о нем... Вероятно, это барин-чудак. В этом вижу какое-то убегание от современности.

Звони, вот сонм юношей звонит, тратят свои крохотные стипендии...

И француз тратится: прислал штукатурную голову с дома, где мы жили на Арбате...[7] ЛЮБИ! О.

[1] Речь идет о варианте рецензии Ю. Иваска на книгу И. Чиннова «Антитеза». Опубликована в Новом журнале» (1980. № 138).

[2] Стихотворение И. Чиннова из книги «Антитеза» — «Я недавно коробку сардинок открыл...»

[3] Друзья Ю. Иваска не хотят звонить за его счет, такая услуга телефонной компании в США называется «коллект».

[4] Ю. Иваск и И. Чиннов помогали в СССР нескольким людям, интересующимся поэзией, посылали им деньги и книги, которых

в Союзе было не достать. Упомянутый «француз» помогал им в этом. «Саша» — московский литературовед А. Н. Богословский.

[5] Так Ю. Иваск называл свою жену. Ольга — жена Д. Бобышева.

[6] Деньги на поддержку «Нового журнала».

[7] В детстве Ю. Иваск жил в Афанасьевском переулке.

Юрий Иваск

БЛАГОРОДНАЯ ЦВЕТАЕВА

Из воспоминаний о Марине Ивановне*
По материалам моего парижского дневника
1938 года:

19-го декабря. В 6 ч. у Цветаевой: 32, rue Pasteur, Hotel Innova, номер 36-ой, на пятом этаже. Темная передняя, много дверей. Крики, вонь. Стучу наугад:

— Эфрон — напротив, чтобы вас черт побрал, monsieur!

С трудом пробираюсь к Марине Ивановне: весь пол уставлен утварью, и я опрокидываю кофейную мельницу.

Ее бледное лицо. Седоватые волосы. Удлиненный горбик носа. Странные птичьи движения: все под прямым углом. Мур — румяный, толстый, рыхлый.

О Гронском: он погиб на той самой станции метро Пастёр, откуда я только что вышел.

— Ему не подали первой помощи, — почему-то ждали пожарных, хотя пожара не было, такое уж правило. Истек кровью... Какой он был? — Весь — порыв, счастливая внешность.

Марина Ивановна заговорила о деле Плевицкой[1]: защищала ее за верность мужу во всем. Накормила меня обедом (суп, сосиски). Проиграл Муру партию в шашки. Пошли в кафе.

— Теперь Мур не учится, вытурили его из школы за совращение старших товарищей в коммунизм! Может быть, поеду

---

* Фрагмент вступительной статьи Ю. Иваска к книге Марины Цветаевой «Лебединый стан. Перекоп», изданной под редакцией Г. П. Струве в Париже в 1971 году.

в Россию: для сына, чтобы он там учился. А писать стихов не буду, займусь переводами.

— Марина Ивановна, расскажите историю моего любимого стихотворения — о Давиде:

Пустоты отроческих глаз! Провалы. В лазурь! Как ни черны — лазурь! — Москва двадцать первого года. Не растопить буржуйки — дымит, а тепла нет. Каши не сваришь, все той же пшенной каши! Стук в дверь. Входит юноша, облаченный в какой-то рогожный мешок. А глаза — очи Давида. Оказалось: поэт, приехавший с юга. Говорю ему: растопите печку! Он растопил и мы заговорились, пшено же подгорело. Стихи его были никакие, но все же — Давид! Миля Миндлин. Принципиальный лентяй...

Недавно прочел его книгу воспоминаний «Необыкновенные собеседники» (1968). Одна глава посвящена Цветаевой. Э. Л. Миндлин рассказывает и о посвящении ему «Отрока» и о том, что позднее это посвящение было снято.

Один изустный миф — о Миле Миндлине, другой — о графе Платене.

— Сицилия. Сплошное солнце, зной. Ослепляет белый песок аллеи. Иду между лаврами. Лавры — черные в этом зное, в этом солнце. Навстречу девочка: делает мне знак. Она немая. Следую за девочкой. Между черными лаврами, по белому песку выходим на круглую площадку, тоже белую. Посредине белый мрамор, бюст с надписью: August Graf von Platen (1796–1835). А я-то понятия о нем не имела! После этой сицилийской встречи прочла его, от доски до доски!

В утерянную записную книжку она вписывает строчку из Платена. Кажется так:

... mir schlagt das Herz — so hoch
Wie einem Fursten bei der Tronbesteigung.
(сердце стучит — так сильно,
как у князя, восходящего на престол).

Проговорили часов пять-шесть. Будто век знакомы...

21-го декабря. В 4 часа опять у Цветаевой. Пошли с ней к Гронской, матери погибшего Николая. Дома не застали.

Глаза тускловатые и их почти не видишь. Марина не смотрит на собеседника, говорит опустив голову. Негустые удивленные брови и опять поражают птичьи движения, не округлые, а под углом.

Стихи читает чеканно, но слишком быстро.

— Хотела бы быть дочерью малой страны:

Бельгии или Сербии, чтобы все охватить, а Россия слишком велика: не охватишь! Написала бы одну книгу: большую — о маленьком народе.

Рассказывала о Ремизовых, и недоброжелательно: как они еще в России отдали дочку Наташу[2].

Неожиданно для меня, хорошо отозвалась о Зинаиде Николаевне Гиппиус, и еще лучше о ее сестре Анне Николаевне.

— У Мережковского есть серьезность. Больше того: есть сущность.

Хорошо говорила об Алле Головиной.

— Перед отъездом отдала бы вам некоторые материалы.

— Не отдавайте, Марина Ивановна. Я живу в Печерах, в Эстонии: вот-вот грянет война и нас оккупирует Красная Армия. Лучше отдайте Елизавете Эдуардовне Малер, профессору Базельского университета.

Так Цветаева и сделала[3], и до сих пор некоторые ее бумаги хранятся в Базеле.

О стихах:

— Первые две строчки часто самые лучшие и ими следует стихотворение заканчивать. Это мой добрый совет Вам...

— Окружающие вещи требуют от меня выражения в поэзии, что и делаю. Делает эту работу не мое личное «я», а рабочее «я» трудолюбивой пчелы, которая самоё себя не осознает.

— Люблю, когда иностранцы коверкают чужой язык, как, например, Эмиль Людвиг: он недавно выступал здесь по радио. Его французский — ломаный. Но тем лучше! Тут открываются какие-то новые возможности. Конечно, так вот говорить нельзя, но почему бы не попробовать: это вроде опыта! Прежде люди говорили без грамматики и возникали новые диалекты: было больше разнообразия.

Сидели в кафе Bel Air (avenue du Maine). Пальтишко с высоким шерстяным воротником по моде двадцатых годов. Помужски подпоясывается кожаным ремнем. Старенький колпачек с кисточкой. Серебряное кольцо, серебряный браслет.

22-го декабря. Мур спал, и я поджидал Марину Ивановну у подъезда отеля Иннова. Заговорили о Диксоне, рано умершем поэте. Он Ремизовых обожал и помогал им. Серафима

Павловна[4] его будто бы просватала, а когда он женился — выгнала.

— Диксон был необыкновенно красив, так что даже страшно было на него глядеть: ангел!

Марина Ивановна сообщила, что послала в Прагу стихи свои о Чехии.

— Все переведут на чешский язык и даже напечатают вопреки цензуре. Несчастье Чехии — материал для песни: если не сейчас, то позднее запоют...

— Еще скажу вам: вот моя заповедь. — Стреляй в убивающего насильника, но если жертва уже убита, а убийцу преследуют городовые или ажаны, немедля спрячь его у себя под кроватью! Преследуемый всегда прав, как и убиваемый.

Живет, продавая вещи, предложила купить мне записную книжку.

— Или подарю вам Шекспира в немецком переводе.

Я отказался.

Привез ей баночку варенья от Е. Э. Малер из Базеля.

— Знаете, Мур всё съел, мне ничего не оставил, и хорошо сделал!

Вспоминала Москву, где училась в музыкальной школе Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. Там и я учился, и оба мы восхищались этой диковинной фамилией.

— Я поступила туда шести лет. Был у меня почти абсолютный слух.

А когда прощались, Марина Ивановна сказала мне:

— Если не будет accident — еще раз увидимся.

Перечел свой парижский дневник 1938 года и стараюсь оживить в памяти те три встречи. Усиливается впечатление и даже уверенность: Марина Ивановна все повторяла, что твердо решила в Россию вернуться, но вместе с тем как будто ждала, что ее отговорят уехать и чуть ли не насильно увезут куда-то — в противоположном направлении. Но никто не отговаривал, не мешал, не увозил.

[1] В декабре 1937 года в Париже проходил наделавший много шума судебный процесс над известной русской певицей Н. В. Плевицкой (1884–1940), оказавшейся в эмиграции. Ее мужа, генерала В. Н. Скоблина, подозревали в причастности к исчезновению ру-

ководителя Российского Общевойскового Союза генерала Е. Миллера, поскольку оба генерала исчезли одновременно. На суде Плевицкая не смогла сказать, где ее муж, и на вопрос судьи: «Что вы знаете о похищении?» — отвечала: «Господь Бог — мой свидетель. Он видит, что я невиновна». Ей был вынесен приговор: «За соучастие в похищении генерала Миллера» — двадцать лет каторжных работ. Ни Скоблин, ни Миллер так и не были найдены. Плевицкая умерла в тюрьме. Подробнее об этом — в изданной И. Ракшой книге Надежды Плевицкой «Дежкин карагод. Мой путь с песней». М., 1993. (*Здесь и далее примечания составителя.*)

[2] Единственная дочь Ремизовых Наташа все детство провела в Черниговской губернии у украинской родни своей матери С. П. Ремизовой-Довгелло, происходившей из гетманского рода. И, повзрослев, не захотела оставить усадьбу ради Петербурга, не поехала она с родителями и в Париж, где они поселились после эмиграции. В годы войны она оказалась в Киеве и, узнав о смерти матери в 1943 году, в письме звала отца к ней приехать.

[3] В предисловии к книге, предваряющем данную вступительную статью Ю. Иваска, Г. Струве писал, что книга «печатается нами по рукописи, которую Цветаева перед своим отъездом в Россию в 1939 году отдала на хранение Елизавете Эдуардовне Малер, профессору русского языка и литературы в Базельском университете. Рукопись эта, переданная Е. Э. Малер в библиотеку Базельского университета, представляет собой довольно большую записную книжку или тетрадку в твердой обложке. Стихи вписаны в нее рукой самой Цветаевой, ее своеобразным, тщательным почерком — и по старой орфографии»... Так книга и издана.

[4] С. П. Розанова-Довгелло (1876–1943) — жена А. М. Ремизова.

Юрий Иваск

СТИХИ

ПРОЩАНИЕ С МАРИНОЙ ЦВЕТАЕВОЙ

Рождество 1938 г.

Вы поняли: не осудили.
Благословили: и ушли.

Но не скажу, Марина: *были*.
Еще вблизи Вы, не вдали.

Сплошными ватными снежками
Тогда играло Рождество
В Париже, не в Москве, над нами,
И предвещало торжество.

На вольной воле, где не знаю,
Аукнемся, уже без слов.
Но мне милей земля родная:
Я не готов. Я не готов.

И под оранжевой рябиной
Я продолжаю разговор
С сестрой — неистовой Мариной,
Живой и здешней до сих пор.

19–20 сентября 1978 Амхерст, Массачусетс
*Из письма И. Чиннову**

* * *

«Не суждено...»**
Марина Цветаева

Не суждено... блаженно рыдала
Марина на кухне, не зря гремя
Кастрюлей, ухватом ли, чем попало,
И вовсе не слезы — стихи ливмя...

---

* Письмо не сохранилось. На странице со стихотворением Ю. Иваск написал: «Часто цитируемые письма Марины Ивановны мне были изданы в сборнике "Русский литературный архив" (Харварда). Нью-Йорк (1956), с. 207–237. В ближайшем будущем будет напечатан конец последнего письма от 21 февраля 1939 г. Ю. И.». (Было ли это напечатано — установить не удалось.) Стихотворение публиковалось в газете «Новое русское слово» 29 декабря 1978 года.

** Это посвящено Пастернаку. (*Прим. Ю. Иваска.* Первая строка цитируемого им стихотворения М. Цветаевой, посвященного, с его точки зрения, Б. Пастернаку, выглядит так: «Не суждено, чтобы сильный с сильным...». См.: «Двое».)

Не суждено... долгожданные встречи
Не *здесь* и не *там*, а *всегда* нигде.
Но тем упоительней эти речи,
За-пи-сы-ва-е-мы-е на воде.

Май 1976
Из письма И. Чиннову

САН МИГЕЛЬ ДЕ АЛЬЕНДЕ

Игорю Чиннову

Открываю память-шкатулочку:
А не вспомнить, как называется!
Подымается в гору улочка
Мимо старой, забытой звонницы...

Что-то псковское, мило-никчемное,
Незавидное, незабвенное...
Желтый домик с синей каемочкой
И зеленой дверцей —
забавники!

Дворик внутренний, скрытый — патио —
Раскрывает свои объятия.
Закругляются розы алые,
Плачут, мочатся дети малые.

Я завидую бедной беспечности,
Незатейливой пестрой экзотике.
Запах розы, мочи и вечности,
Русь мешается в памяти с Мексикой.

Февраль 1959
Из кн. «Завоевание Мексики», США, 1984

Валерий Перелешин

ЮРИЙ ИВАСК*

15-го февраля текущего 1986 года в крупнейшей газете «Жорнал до Бразил» мой сотрудник по литературной работе на португальском языке Умберто Маркес Пассос нашел сообщение об уходе от нас одного из *лучших русских поэтов* конца XX века Юрия Павловича Иваска, имя которого хорошо знал по нашей совместной работе над переводом его стихотворений. Привожу заметку: «Об ушедших. Заграничные. Георгий Иваск. 78, от сердечного припадка, в Массачусетсе (США). Русский поэт, натурализованный североамериканец, с 1955 г., читал лекции в университетах Вашингтона и Вандербильта. Три года тому назад одним из его стихотворений был растроган папа Иоанн Павел II, распорядившийся пригласить его на аудиенцию».

Стихотворение, о котором идет речь, — «Приветствие православного». Было оно в ту пору переведено — очень хорошо и на польский язык и напечатано в польском журнале «Культура» в Париже.

Этот эпизод свидетельствует о национальной и конфессиональной терпимости замечательного поэта, умевшего дружить и с католиками, и с протестантами, и с евреями. Никогда в его творчестве не звучали ноты шовинизма или фанатизма, воистину, был он человеком, которого многолетнее изгнание научило быть везде «как дома» — и везде оставаться самим собою, то есть русским и православным.

Привлекательны здоровый консерватизм Иваска, его любовь к исторической России — к императрице Елисавет Петровне, к Москве и Петербургу, к лаврам, монастырям и церквам, но также и к хлыстовству, а в последние годы и преклонение перед недавно причисленной к лику святых юродивой блаженной Ксенией. Целые циклы в «Хвале» посвятил он Афону и Афинам.

Охватывали его зоркие глаза и чужие культуры, до него остававшиеся незадетыми русской поэзией, больше всех других — мексиканскую, которую он завоевал для русской музы и в «Хвале», и в «Золушке», и — отдельно, в поэме «Завоевание

---

* Печатается по тексту «Нового журнала». 1986. № 163.

Мексики» (поэме не о том, как испанские авантюристы ее завоевали, а о том, как обворожительная ацтеко-испанская Мексика завоевала сердце русского поэта).

Его первых сборников «Северный берег» (Варшава, 1938) и «Царская осень» (Париж, 1953) я никогда не видел. Первые сборники обычно издаются ничтожным тиражом. Третий сборник, «Хвала» (Нью-Йорк, 1967) и четвертый «Золушка» (Нью-Йорк, 1970) у меня бережно хранятся, как и «Завоевание Мексики». Иваск готовил издание новой книги «Я — мещанин» (заглавие заимствовано у Пушкина — «Моя родословная»: своим происхождением, по матери, из именитого московского купечества Иваск гордился).

Тематическое богатство поэзии Юрия Иваска неисчерпаемо, но не менее ценны и его искания в области формы. В поэме «Играющий человек» (напечатанной в «Вестнике РХСД») и во многих коротких стихотворениях он пользуется изобретенной им семистрочной строфой и многочисленными диссонансами, часто рифмуя значащие слова с междометиями. Диссонансы он называл консонансами, с чем я не соглашался.

«Играющий человек» развитие тезиса о рождении культуры не столько из необходимости, сколько из детской, или ангельской, потребности в игре. С большой нежностью Юрий Иваск обозревает «игру» не только русских поэтов, но и великих художников и архитекторов Италии. Здесь ему помогало постоянное общение с подлинным знатоком искусства, ныне покойным В. В. Вейдле.

У поэтов Юрий Павлович любил «крепкие строки» — не придуманные, а как бы дарованные свыше. Много таких строк приводил он из Пушкина, Анненского и наших современников.

«Легким» поэтом Иваск не был. Заставлял думать. Несмотря на неслыханный упадок поэтического уменья и читательского вкуса в теперешней России, там образовался кружок почитателей Юрия Павловича («москвичей»), которые ухитрились общими силами пустить по самиздату *полное собрание* стихотворений Иваска чуть ли не в полтысячи страниц.

Лично я истолковываю это преклонение перед многокрасочной, разнообразной по темам поэзией Юрия Иваска как тоску соотечественников по свободному слову Юрий Павлович смотрел на это иначе: говорил, что зарубежная поэзия, новая для «москвичей», зашла в тупик и что, например, писать четырех-

стопным ямбом в наши дни стало просто невозможно. Он ждал «нового слова» от российских продолжателей старых традиций и от зарубежных тоже.

Как корреспондент Юрий Павлович иногда чуть переигрывал. Ошибался в датах. Разослав «по кругу» новые стихи, спохватывался, что себе-то копии не оставил, и начинал умолять постоянных корреспондентов разыскать и прислать ему утраченные строфы. Был и еще более забавный эпизод. Из Фрейбурга Юрий Павлович обещал выслать книги Глебу Петровичу Струве. Время шло, Глеб Петрович ворчал, а Юрий Павлович божился, что книги «давно отосланы». По окончании курса лекции Ю. П. Иваск вернулся домой в Амхерст с женой и кошкой и нашел у себя в почтовом ящике те самые книги, которые ждал Глеб Петрович, но которые Иваск по рассеянности адресовал... самому себе.

Большая заслуга Юрия Иваска — составление поэтических антологий («На Западе», и других). Содержательна, с точки зрения историка (того, что было, и того, что могло быть), и его проза. Хорош и его обзор истории развития огромной ветви русской литературы — «Похвала Российской поэзии», напечатанный по частям в «Новом Журнале».

Помню, когда умерла моя мать, очень любившая Алексиса Раннита, я сообщил ему, что Евгения Александровна Сентянина умерла. Раннит не на шутку разгневался: «Умерла? Не умерла, а временно ушла. Но мы все еще встретимся!» Так же скажу теперь о Юрии Павловиче Иваске: «Он не умер, но перешел в высший слой бытия. И он всегда с нами: в его стихах и, более того, в его живом присутствии».

Проявилось это и в ничтожном, но едва ли случайном совпадении: Умберто Маркес Пассос в феврале не выписывал газеты, но 15-го февраля ему непреодолимо захотелось купить воскресный номер «Жорнал до Бразил». И там он нашел сообщение о временной отлучке Юрия Павловича Иваска.

Рио-де-Жанейро

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

Валерий Францович Перелешин (наст. фамилия Салатко-Петрище) — поэт — родился в 1913 году в Иркутске. С 1920 года их семья переехала в Харбин. Перелешин был монахом в Харбинском монастыре, учился в семинарии Св. Владимира. Какое-то время жил в Пекине, Шанхае, а с 1953 года поселился в Бразилии. Автор многих книг стихов. Религиозная тема — одна из характерных для поэта. Немало написано им и стихов о любви, преимущественно сонетов. Книга «Двое — и снова один?» (США, 1987) вся обращена к бразильскому юноше, в которого Перелешин был влюблен в конце жизни. В послесловии к десятому поэтическому сборнику «Три родины» (Париж, 1987) Перелешин писал о своих стихах: «“Голос темного дна” стал отчетливо слышимым сквозь стихи ностальгические, стихи изгойские, стихи о неприятии мира и бегстве от него. Выявилась тема “левшинская”: осознание своей свободы от биологического “долга” — свободы благотворной поэтически, но в обычной жизни оборачивающейся болью и унижением. Я “с надеждою встречался с каждым”, но эти “каждые” бежали от меня, как призраки. Такова глубинная первооснова большинства моих сонетов, написанных по-русски и по-португальски (сборник “В ветхих мехах” и еще не изданный “Охотник за тенями”).

Все три родины (унаследованная Россия, благоприобретенные Китай и Бразилия) — внутреннего голода не удовлетворили. Осталась неприкосновенной вера в Бога и Церковь, но и тут неизбежны были глубокие сомнения, бунтарство, отчаяние, горькое чувство богооставленности». И одиночества. Перелешин много переводил — с английского, китайского, португальского, французского, латыни, испанского, он составитель и переводчик антологии бразильской поэзии «Южный крест» (1978). Переводил Перелешин и с русского на португальский, и сам писал на португальском стихи. В 80-е годы — к этому времени относятся публикуемые письма — Перелешин поселился в доме для престарелых артистов в Рио-де-Жанейро. Умер В. Ф. Перелешин в 1992 году.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

2-го мая 1980 г.
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Дорогой Игорь Владимирович,

Сегодня уж под вечер получил я Ваше братское письмо от 22 апреля. Дни моей жизни исключительно тяжелы. Мама и я получили приказ немедленно убираться от моего родного брата — хоть на улицу, хоть в богадельню. Побывал я в одной здешней богадельне — и ужаснулся: там насельники — «живые трупы». 29-го и 30-го провел в Sao Paulo. Принят был очень ласково: все меня знают. Увы, обе тамошние богадельни переполнены. Я очень просил (хотя и не расплакался) и начальника Sociedade Filantropica Panlieta (который сказал: «Это не для вас, поскольку у вас богатый брат»), и представительницу Толстовского фонда (эта все поняла, приютила меня на ночь, а сегодня звонила по телефону сказать, что уже что-то устроила: надеюсь, что ее письмо получу завтра). Итак, мы снова бездомные и где-то будем «начинать сначала». Подробно не пишу: слишком больно, да и все меняется ежедневно[1].

Рад был узнать о Вашем древнем дворянстве. Что бы ни говорилось, а девяносто вкладов в сокровищницу русской культуры из ста внесли дворяне. Конечно, и другие сословия, когда подросли, сделали немало: духовенство и мещанство. О рабочих и крестьянах говорить не стоит.

Жуткий пьяный скандал был устроен маме и мне 24 апреля. С той поры ни писать, ни даже читать не могу. И «сообщения» для епископских кругов в Европе не пишутся, хотя завтра отошлю еще один тяжелый пакет милым «заказчикам»[2] (есть об Осипе Мандельштаме, о Софии Парнок, о Мережковском, еще о ком-то). Может быть, дело пойдет на лад. А лента с записью моего чтения своих стихов еще не дошла, хотя весь текст давно получен. Стихи там нужны только религиозные, их у меня очень много. Прочту и Ваши книги, и книги Юрия Павловича <Иваска>. Темы будут очень нужны.

Кроме благотворительных учреждений, был я и у главы бразильских иезуитов, он меня давно знает. Тоже ко мне отнесся очень сердечно. При встрече ласково потрепал меня по плечу и сказал: «Кожа да кости!» Немец, по-русски говорит безупречно.

Знаю, что молится о нас. И верю, что все как-то устроится. Но сейчас очень тяжело. Не писал об этом злоключении никому: издали никто не сумеет помочь. На этом остановлюсь. Да хранит Вас Господь. Ваш Валерий Перелешин.

P. S. Все ли мои сборники у Вас есть? Начиная «Южным Домом»[3] могу послать в подарок. «Антитеза»[4] — умнейшее название. Ваша жизнь и моя — именно антитеза.

[1] Из письма Ю. Иваска И. Чиннову (без даты): «У Валерия четыре пути: 1) ехать в Вечный город и питаться там одними макаронами, оплачиваемыми Ватиканским радио, 2) ехать к брату-капиталисту в Калифорнию, 3) поселиться в караван-сарае у Умберто, который получил наследство, 4) нанять комнату в Рио-де-Жанейро и жить там на воле с кондукторами, общаясь с богатым Умберто, который, по словам Алексиса <Раннита>, вполне интеллигентен и очень мил. Я — за Рим. Как будто произошло примирение с братом, в каинство которого я как-то не верил. А теперь брат часто вывозит нашего поэта в Мури, которое в «пустыне», а на самом деле это роскошная вилла с садом. Есть верная Изабел-прислуга, которую бьет муж. У нас такой нету».

[2] В Россию.

[3] Книга стихов В. Перелешина, изданная в 1968 году.

[4] Книга стихов И. Чиннова, изданная в 1979 году.

25-го августа 1980 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Получил две записки от Вас (обе без даты), пересланные милым Ю. П. <Иваском>. Не то в отзыве об «Антитезах»[1], не то в сообщении для Radio Vaticana я назвал вас самым трагическим поэтом России. Кстати, римские отцы очень одобрили мои сообщения о Вас, о Ю. П., о Лидии Алексеевой, об Ольге Анстей — о Вас по «Антитезам». Прочие — по «Содружеству»[2]. Еще радость: ватиканские передачи в столицах России заглушают, а в других городах их слышно прекрасно. И уже пришли открытки об этом из сердца Сибири. Это Вам почище «самиздата».

Спасибо за персидского принца — «персидскую миниатюру» («Когда я кончу, наконец, Игру в cache-cache со смертью хму-

рой...»). Есть у меня и «Композиция», и «Пасторали» (в Мури) и «Антитеза» (здесь со мною). Отзыв мой об «Антитезах» улетел в «R. L. J.»[3].

Ариэль не пишет с февраля. Пишут — изредка — трое других. <Нрзб.> ограждает читателей «Н. Ж.» от соблазнов, а «Современник» — при всех его недостатках — не боится ни за чью mental health. Теперешние мои неблагонравные сонеты — не об Ариэле, а о более близких географически (напр. «Amendoin», который существует и в португальской версии). Читаю творение В. В. Капниста — подарок Ариэля. Ни одного религиозного стихотворения! Но язык великолепен, столько чудесных архаизмов.

Согласен с Вами, что XX сонет Шекспира ничего не доказывает. Едва ли Шекспир считал для себя обязательным говорить правду. Как беден был бы мир без неправды, без фантазии, без недомолвок! А «правши» почему-то не хотят уступать Шекспира «левшам». Вернее всего, что был он типичным представителем exhuberant humanity — и двуполым.

Что скажете о посланном Вам недавнем сонете «Amendoin» и еще каком-то? Но сейчас не до стихов: очень, очень больна мама. И соответственно этому разные мысли в голове. Мама угасает: страшно похудела, не ест и не пьет, лечению сопротивляется.

Да хранит Вас Господь. Ваш Валерий Перелешин.

Дорогому Игорю Владимировичу с приветом[4]:

ПАПА ИОАНН-ПАВЕЛ II В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

По прихоти российского закона,
Гноившего мой Лепельский уезд,
Достался мне восьмиконечный крест —
От Киева, Царьграда и Афона.

Оторванный от западного лона,
Беспочвенный, сменил я много мест,
Но от огня сберег меня асбест:
Кровь польская и польская икона.

Утешенный, не рвусь уже домой,
И для чего? Чудесный город мой —

Дорогому Игорю Владимiровичу
съ привѣтомъ

Папа Iоаннъ-Павелъ II
въ Рiо де Жанейро

По прихоти россiйскаго закона,
Гноившаго мой Лепельскiй уѣздъ,
Достался мнѣ восьмиконечный крестъ —
Отъ Кiева, Царьграда и Афона.

Оторванный отъ западнаго лона,
Безпочвенный, сменилъ я много мѣстъ,
Но отъ огня сберёгъ меня асбестъ:
Кровь польская и польская икона.

Утешенный, не рвусь уже домой,
И для чего? Чудесный городъ мой —
Блаженный даръ послѣдняго этапа.

И вотъ меня, среди толпы большой,
Благословилъ съ амвона польскiй папа,
Которому я не совсѣмъ чужой!

11-го iюня 1980 года. Рiо.

Валерiй Перелѣшинъ

Автограф стихотворения В. Перелешина от 11 июня 1980 года. Из письма к И. Чиннову

Блаженный дар последнего этапа.

И здесь меня, среди толпы большой,
Благословил с амвона польский папа,
Которому я не совсем чужой!
11 июня 1980 года, Мури

[1] Как выяснилось после публикации, отзыв был далеко не лестный — Валерий Перелешин, ни с того, ни с сего, разразился ругательной рецензией на «Антитезу» в журнале «Русский язык» (США, 1980. № 118). Для привыкшего к похвалам Чиннова это было сильным впечатлением. Тем более, что придирался Перелешин, как все отметили, совершенно напрасно. «Игорь Владимирович, пощадите! — пишет Перелешин в рецензии. — Люблю вас за обжигающие сопоставления, за несравненную зоркость: "Наследник талого снега, Приятель тающей тучи, Плохой переводчик ночи...", но в убийстве поэтической формы я вам не попутчик». И приводит совершенно неубедительные примеры этого «убийства»: «Начну с ошибочных ударений: "Мы ба́луемся русскими стишками". Почему не: "Мы русскими балу́емся..."? "Почему проволока ржаве́ла, а не ржа́вела, ра́кушка, а не раку́шка, сте́нами, а не стена́ми?"» И далее в том же духе, с указанием неблагозвучных соединений слов и ошибок (сомнительных) в транскрипции и произношении. В ответ на статью появились опровержения. Но Чиннов на Перелешина обиделся ужасно, особенно за эти ударения: «Как можно меня, профессора русского языка, публично обвинять в неправильных ударениях, да еще и несправедливо?» Перелешин никогда так и не был прощен, и в отместку, а может быть, искренне Чиннов называл его «первым среди второстепенных поэтов». Ю. Иваск в одном из писем И. Чиннову писал, что, несмотря на все это, «Перелешин ЕСТЬ в русской поэзии».

[2] Антология поэзии русского зарубежья «Содружество» (Вашингтон, 1966).

[3] «Russian Language Journal» — журнал «Русский язык» (США).

[4] Вложенное в письмо стихотворение позже вошло в книгу В. Перелешина «Из глубины воззвах...». США, 1987.

26-го августа 1980 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Получил: сегодня, вскоре после полудня, Ваше обстоятельное (наконец-то) письмо от 17-го августа вместе с предотплытным письмом от Юрия Павловича <Иваска> и еще несколькими: письмопад был обильный! Моя мама очень больна — не уверен, что она выцарапается. Но брат, его жена и я делаем все, что в наших силах. Это не значит, что я не думаю и о своем будущем, которое надо устроить по-своему, если мама будет отозвана. Достигнув предела тревоги, знал, что произойдет что-то радостное. И вот — этот письмопад. Ю. П. через два дня отплывает в Париж, затем будет в Риме, встретится с моим другом о. Викентием. Ваше письмо сегодня только и могло быть <u>такое</u>. И от него стало теплее.

О моей <u>точности</u> писал однажды С. А. Карлинский: ему пришлось с нею сразиться, когда он переводил мои стихи для антологии «Now the Volcano!» Легкости я добиваюсь сознательно, это не столь уж трудно: одно четырехсложное слово всегда лучше, чем два двусложные. И это общий принцип. Далее: надо очень следить за стыком слов, избегать скопления согласных и возникновения групп звуков, которые русскому языку не свойственны. Об этом я написал большую статью («О плавном стихе»), но журнал «Русский Язык» увлекся рецензиями и больше ничего не хочет печатать. А ведь это почти теория благозвучия. Поверьте, что формы сонета я не выбирал. Она пришла сама как лучшая форма для лирико-философских раздумий. В нее надо втиснуться: 14 строк. Бывает, что не поместившийся «ход» переношу в заглавие, но это редко. А если остается слишком много, то делаю цикл из двух и даже трех сонетов. Сравнивая свою теперешнюю технику с тою, которою довольствовался в тридцатых и даже сороковых годах, вижу, какую огромную работу проделал. Помог Ю. П.: не настаивая, незаметно отвел меня от акмеистического идеала рассудочной ясности. И уже годы тому назад я формулировал (для себя) теорию «недосказа». Импровизировать сонеты? «Последняго не дерзал». Но рад, что «Худоба» пришлась Вам по вкусу: я тоже считаю ее удачей. «Упитанные» — совокупность психологических черт (помните: popolo grasso и popolo minuto). Настоящие поэты не лоснятся, не бывают внутренне

упитанными. А Вы настоящий поэт, самый трагический русский поэт за все времена. Об этом я написал не то для журнала «Р. Я.», не то для ватиканского радио. Кстати, моя интерпретация стихов Ю. П. и Ваших римским отцам очень понравилась. Сегодня получил программу на месяц сентябрь. Обещано три сообщения на тему «религиозные мотивы в русской поэзии» и мой венок сонетов «Крестный Путь» в праздник Воздвижения Креста. Все четыре субботы пройдут с нашим участием. Ю. П. заклинает меня никого не бранить по радио. Об этом я не думал, но никого и не выбранил. Угадывал, что, если такого-то следует бранить, так и передавать о нем по радио не следует. Да, еще была большая радость: сообщение обо мне было прекрасно слышно в сердце Сибири! Это Вам не самиздат в пятнадцати экземплярах.

Некрасов в сонете «Права личности?»[1] меня раздражал (тем более что теперь появился еще какой-то Некрасов из «третьей волны»). Заменил его сначала Апухтиным, а потом Тургеневым (ибо Апухтин одного поля ягода с Кузминым, Рюриком Ивневым и Вашим покорным слугой[2]). Если бы не было нового Некрасова, то старый ассоциировался бы с поэмой «Русские женщины». Кстати, харбинский поэт Алексей Ачаир писал, обращаясь к своей жене:

Волконская и Трубецкая,
Чьи жизни в едино слиты.
Я тоже хочу быть такая,
Мечтая, подумаешь ты.

Критики сразу указали ему, что «быть такая» звучит двусмысленно. Но исправлять свои стихи он вовсе не умел. Так и оставил.

Папу Иоанна-Павла II я очень люблю. Делаю на него ставку. Верю, что он вернет Церковь если не к Фоме Аквинскому, то хотя бы к Жозефу де Местру (в скобках: только бы не к Аристотелю, которого ненавижу). Забота о бедных, о голодных, о недоедающих — в самой природе Церкви. Но еще больше в ее природе — сущностное и первичное — таинственная ее сторона. Если наш польский папа разведет Христа с Марксом, то войдет в историю как величайший папа. Это не в обиду Иоанну XXIII и Павлу VI.

Ваши рифмы (и их заменители) меня не раздражают. Но если бы Вы отважились вводить рифмоиды, ассонансы или диссонансы в сонеты, я завопил бы: «Анафема!» В какой-то период я увлекался ассонансами, но только в дактилических краестрочиях. В годы ученичества бывало и хуже: до сей поры не могу себе простить, что я однажды срифмовал «окно — ноЧЬ». За этакое — бить, бить, бить «тяжелым по голове». Ткань сонета самая изощрённая. Тут не только ассонансов быть не может, но и цезура становится обязательной. И как цезура помогает! Об этом я писал уже несколько раз. Аллитерацию я приемлю, когда она возникает самотеком или почти. Иначе — как только усилие начинает выпирать — роковым образом вспоминается «Верзилу Вавилу бревном придавило, Вавила у виллы лежит...» От мировоззрения не откреститесь: Вам суждено остаться самым трагическим русским поэтом. Точка.

Да, конечно, Экклезиаст. Но книга Иова еще мудрее, а этого Вы еще не почувствовали.

Должен сказать, что не гонюсь за новыми рифмами. Никогда их не изобретаю, а беру из языка. И даже самые позатасканные подчас нахожу у Капниста или Петрова. Рифмы уже содержатся в языке. А слова, по природе своей безбрачные, таковыми и оставляю: их место — внутри строки или в косвенных падежах. Возможности русского языка в этом отношении неисчерпаемы. Ясное дело, не горжусь таким сонетом, в котором решился срифмовать четыре слова в одинаковой грамматической форме (лавры — кентавры — мавры — литавры). Три слова могут быть в одной форме, но хотя бы одно четвертое надо найти в иной форме. Бывало, что отступал от этого правила, но этих дефективных (то есть бедных) сонетов не люблю.

Послал я недавно Юрию Павловичу магнитофонную ленту (если не две) со своими «неблагонравными сонетами». Думал, что он угостит ими друзей — и Вас в первую очередь. А он... отослал их в Москву. Плакать не будем: там тоже есть любители и неблагонравных стихов. Посылаю Вам автографы своих сонетов, посылал бы больше, если бы не думал, что все эти сонеты Вы уже получили от Ю. П. Впрочем, не знаю: может быть, только малую часть их он размножал и рассылал «урби эт орби»[3]. А москвичам я постепенно переслал всё. И еще у одной дамы есть «полное собрание стихотворений» В. П. Она живет в Екатеринодаре.

Устал. Много ходил сегодня пешком (за рентгеновским снимком брюшной полости, от которого зависит судьба мамы: лечащий врач придет завтра в одиннадцать часов), причем сеялся нудный дождь. А письма утешили. Спасибо.

Ваш Валерий Перелешин.

[1] В этом стихотворении В. Перелешина, присланном И. Чиннову, есть такие строки: «А что у вас? Дичайший разнобой: // У девушек — Некрасов и «Плей бой», // У юношей — Петроний и Бакунин».

[2] Речь идет о сексуальной ориентации.

[3] Городу и миру, т.е. для всеобщего ознакомления (*лат.*).

30-го октября 1980 года

Дорогой Игорь Владимирович,

Сегодня двадцатый день ухода моей мамы. Была у нее какая-то непонятная «эмфизема» (не знаю как этот ёж пишется), а бронхита у нее не было. Оказалось, что окружающие (брат, его жена, врач, сиделка) сговорились скрыть от меня правду о болезни мамы. Утром 11-го октября она скончалась от рака желудка. В ней я потерял единственный смысл своей жизни: я ведь и стихи для нее писал. Плачу о разлуке — и своем окончательном одиночестве. Больше говорить об этом не могу.

Была мне прислана недели три тому назад корректура моего отзыва об «Антитезе» для журнала «Русский язык»[1]. Благодарить не спешите: лгать я не научился. Уверен, что не раз «погладил Вас против шерсти». Написал о вас (именно об «Антитезе») и для ватиканской радиостанции: назвал Вас «самым трагичным русским поэтом». «Скрипт» получен и очень одобрен.

Юрий Павлович поместил в «Русской Мысли» (занятой премущественно евреями) очередное объяснение в любви Б. («Цветы добра»). Привел несколько пассажей, из которых один недурен, а все прочие содержат глубочайшие версификационные срывы. Сколько же всякой шпаны держалось за юбку Анны Андреевны! Если только это не выдумка и не преувеличение. Бродский еще даже не подмастерье, а Б. — на уровне «office boy» поэзии. Используя <u>мою</u> рекомендацию к римским иезуитам, Ю. П. «начитал» что-то о себе и столько же о своем новом «ариэле»:

последнее вопреки моему желанию. Помешать этому успеху Б. я не мог, но прямо высказал римским отцам свое мнение о литературных достоинствах нового «ариэля».

Польский папа, взвалив на себя унаследованное от предшественников бремя общественной политики Церкви, связал себя по рукам и по ногам. Церковь НЕ МОЖЕТ дозволить аборт или противозачаточные средства: «Кто ответит мне за райскую пустыню?» Лично мне претит заповедь «плодитесь и размножайтесь», но ведь я и не перешел в католичество, а остался в православии, которое мыслит приблизительно так же, но лишено единства, которое позволило бы ему выступать единым фронтом. Но я — дело особое (досталась мне душа манихея), говорю даже не за меньшинство, а только за одного себя.

Стихов за мою жизнь Мафусаила мне посвящено довольно много, но Ваше — самое высокое по уровню (четвертая строка сама по себе изумительна), самое тонкое — Ваше. Благодарю от всего сердца. Не знаю, когда смогу ответить — и сумею ли ответить «так, как надо». По-русски не возникает ничего уж несколько месяцев. Зато по-португальски пишу безудержно. Кажется, за день до ухода мамы закончил я шлифовку своего венка сонетов «Крестный Путь», в португальской версии («Via Crucis») — честное слово, получилась вещь более зрелая, чем по-русски: тридцать пять лет пролегло между ними. Одновременно возникают и португальские версии сонетов из книги «Ариэль» и других, не только «ариэльных». На днях «Крестный Путь» и копии всего, что написано обо мне по-английски и по-португальски, будут переданы дону Маркосу Барбозо, бенедиктинскому приору и члену Бразильской Академии Словесности (он и сам известный поэт). А дальнейшее не от меня зависит. Да и будет ли дальнейшее? Устал я безмерно и обещал маме долго не задерживаться. А вдруг Бог накажет меня долголетием? Прыгнуть с девятого этажа все-таки нельзя: души самоубийц не встречаются с душами близких, ушедших «естественным» путем, а увязают в некоем «астральном дегте». Ваш Валерий Перелешин

P. S. Дядя моего Ариэля пишет из Западной Германии, что Ариэль много переводит (по заказам), своего не пишет и все относительно свободное время отдает... собаководству. «Так вот все то, что я любил!?»

Дошли ли мои письма от 26-го и 27 августа?

P.P.S. Сегодня пожелал прочесть мои стихи по-португальски. Я послал ему все пристойные и непристойные, но еще не было тогда «Via Crucis» и трех или четырех недавнейших сонетов.

Вчера показал моему бразильскому другу Humberto новые сонеты «Мы» и «Последняя игра» (оба из книги «Ариэль»). В «Последней игре» Умберто заставил кое-что переделать (по-португальски), зато — впервые в моей жизни — второй написанный вчера сонет «Мы» принял без единого возражения. Может быть, и вправду стану двуязычным поэтом? Это было бы еще одним первым: «завоевал» я для русской музы Китай и Бразилию как переводчик и как эмигрант, но уверен, что никто до меня из русских поэтов — не писал стихов на языке Камоэнса и Фернандо Пессоа.

Кстати, Умберто полагает, что в Бразилии не было поэта калибра лучших поэтов Португалии.

[1] Этот отзыв, на который после публикации так обиделся И. Чиннов, вызвал возражения Юрия Иваска, и в журнале «Русский язык» (1982. № 123–124) Иваск написал ответную статью, защищая И. Чиннова. Перед публикацией он прислал ее для просмотра Чиннову со следующим письмом: «10.3.81. ДОСИФЕЙ, вот обосрал я беднягу Валерия.

Шекспироравный Перелешин
От Вашей критики опешил...

Не продолжаю.

Годами я отстаивал от Валерия милейшее наше "НЕТУ": и это ему припомнил. Но кое-что выпустил: китайщину, "МОЖЕТ" и пр. и это оговорил. Исправь опечатки... Но не надо исправлений. Я не в силах все это переписать. Изнемогал от тройных листиков: его рецензии, Твоих возражений и от собственных. Вредил драгоценному здоровью. Надеюсь: Мунир <Munir Sendich — редактор журнала "Русский язык"> тиснет и... может загореться широкая полемика, а не только контратака Валерия. Но отвечать уже не буду. За неприятие "НЕТУ" я однажды эпистолярно избил Перелешина.

В последнем письме Глеб Петрович <Струве> пишет: "какой он критик: придира и педант", хотя сам часто придирается...

Но пусть П. сам ТОЧНО рифмует: это ему удается.

Перелешин ЕСТЬ в русской поэзии. <...> Ю. Иваск». Позже, в письме (без даты) к редактору «Нового журнала» Ю. Кашкарову, И. Чиннов писал: «... Перелешин, конечно, относится к литературе. Правда, он "стихоплет" (на коих идет войной), стихи безблагодатные, в них чувствуется труд, усилие — но это все-таки на уровне, не дамское мяуканье».

18 октября 1984 года

Дорогой Игорь Владимирович,

С месяц тому назад заключил нематериальную, но чрезвычайно важную сделку: сосватал свой архив (прежде всего, письма литературных нотаблей) в Амстердам Лейденскому университету. Правда, Вас это не коснется: в первую очередь перешлю письма лиц, уже переселившихся в лучший (?) мир, и тех, с кем переписка окончательно рассохлась. Переписка с Вами не рассохлась, но не потому ли, что и рассыхаться нечему? Так или иначе, попалось мне Ваше письмо от 22 апреля 1980 года, на которое я ответил тогда же — 2 мая 1980 года. Тогда мама еще была со мною, хотя знаю, что она и теперь от меня не отходит. В четвертую годовщину ее ухода я ездил на кладбище (чрезвычайно уютное, полное деревьев, цветов, птиц, бабочек) — и снова чувствовал, что «она не здесь».

А следом за названным письмом Вашим потянулись и позднейшие: от 17 августа и 17 октября. На оба я ответил своевременно. Несмотря на такую давность, письма Ваши остаются живыми: перечитал или хотя бы проглядел их еще раз. И подумал, что делить нам совершенно нечего, ибо лавров — худосочных эмигрантских лавров — хватит на всех (и еще сколько-то останется неиспользованными — unclaimed).

В прошлом году я выпустил первую книгу стихов по-португальски и переводов с английского, русского и китайского. Называлась она «В ветхих мехах». Сейчас жду (с 1-го апреля по сей день именно жду, ибо все сроки давно прошли) выхода «Александрийских песен»[1] Кузмина в переводе моем и Умберто Маркес Пассоса.

А стихи перестали возникать. Последнее было: сонет «Аве Рома» 8.XII.1983 и сонет «Как хорошо» 13 мая 1984 года. И по-

португальски тоже ничего не возникает. Вероятно, «пора закругляться»: ведь мне семьдесят один год. Кажется, только Фет писал до таких лет. Однако, не чувствую себя огарком. Читаю почти беспрерывно (и вчера начал «Записки из Мертвого Дома»... по-португальски). Недавно дочитал полностью «Илиаду» тоже по-португальски в прекрасном, хотя и прозаическом, переводе.

Юрий Павлович тоже упоминает о том, что новых стихов не возникает. Любопытно, как у Вас дело обстоит[2].

За «Александрийскими песнями» издам, если успею, свою вторую португальскую книгу «Охотник за тенями». Войдут в нее мои стихи, написанные по-португальски, а затем — переводы исключительно с русского языка. Перевел я для этой книги и два стихотворения Юрия Павловича[3]. Есть также Анненский, Майков, Лермонтов, Гумилев, Георгий Иванов, Ладинский, барон А. Штейгер, Вячеслав Иванов, Брюсов, Волошин, Гиппиус, Пушкин («Поэт»), граф Комаровский, Блок, Цветаева, Тютчев.

Доживаю тихо и спокойно в Доме-Убежище Артиста. Обстановкой очень доволен. Бывших актеров и актрис (большинство — актрисы) встречаю только за едой (трижды в день); в гости друг к другу здесь ходить не принято. Провожу дни за чтением, за scrabble[4], за писанием писем. Погода почти всегда прекрасная: дожди идут обычно по ночам, жить не мешают. Правда, подходит лето, и уже становится очень жарко. Буду рад, если будете изредка откликаться. Надеюсь, что Ваш адрес сберег. Если нет, то пошлю письмо через Юрия Павловича. Ваш Валерий Перелешин.

P. S. Завтра (19.X.) поеду к Умберто; вернусь в субботу или воскресенье[5].

[1] Книга М. Кузмина «Александрийские песни» в переводе на португальский, сделанном Валерием Перелешиным и Умберто Маркес Пассоса, вышла в Рио-де-Жанейро в 1986 году.

[2] В 1984 году у И. Чиннова вышла новая книга стихов «Автограф», после этого его стихи регулярно появлялись в западной печати. Последняя публикация относится к 1995 году — за год до смерти.

[3] На полях рукой И. Чиннова: «Понимай: но не И. Ч.!»

[4] Писать каракулями, царапать (*англ.*).

[5] Приписано рукой И. Чиннова: «Зачем мне знать?».

26 июля 1985 года

Дорогой Игорь Владимирович,

Вчера — в разгар работы по отбору стихов и переписке их на «Маше» для антологии дальневосточных поэтов, намечаемой одной милой поэтессой, получил «Автограф» без автографа. Поздно вечером добрался до восемнадцатой страницы. Трагическая ирония — вот ключевые слова к прочитанным стихотворениям. А сегодня надеюсь закончить отбор и переписку (переползаю через букву «Щ») и возьму «Автограф» с собою в Копакабану в дом моего друга Умберто Маркес Пассоса, у которого проведу две ночи. А книга нужна, особенно в те часы, когда Умберто распинается на телевизоре (а я поворачиваюсь к нему спиной — не к Умберто, а к телевизору), или работает над каким-нибудь рисунком.

Спасибо за память. Хотя стихи возникают редчайше, когда-то я тоже был поэтом. Ваш Валерий Перелешин.

6-го августа 1987 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

В начале мая я прилетел, по приглашению Лейденского Университета в Амстердам. Прочел там две лекции о русской поэзии в Китае. Впоследствии (в апреле текущего года) мои воспоминания[1] были изданы там же в Амстердаме. Согласно составленному мною списку presentation copies, была книга послана и Вам. Дошла ли она до Вас?

Много позднее, месяца полтора-два тому назад, мой лейденский друг и редактор моих воспоминаний, д-р Ян Паул Хинрикс, попросил меня перелистать (и перечитать, по возможности) русских поэтов и выписать из них упоминания о Венеции и Константинополе—Царьграде—Стамбуле. В конце алфавита я надолго застрял на Ваших книгах: перечитал все, что у меня имеется. Многие стихотворения и раньше были мною отмечены на полях карандашом «прекрасно» или «очень хорошо». После Вас — только Шаховская. Словом, эту работу я выполнил.

Теперь о другом. В Иссанжо (у Ларисы Андерсен) я встретился с Ренэ Герра, который обворожил меня обходительностью, принял у себя в Париже, помог мне съездить в Шербург позна-

комиться с моими дальними родственниками (французами) д-ром Карлом Владимировичем Салатко-Петрище и его семьей, снова встретил меня по возвращении в Париж, а в последний день 14-го июня — отвез меня на аэродром. А накануне, 13 июня, взял у меня три тысячи канадских долларов чеком и пообещал «к Рождеству» издать мою десятую книгу «Три родины» (Россия, Китай и Бразилия). Писал он мне крайне редко. В октябре прислал корректуру. Я вернул ее 30-го октября, но в письме написал, что корректуру посылаю отдельно от письма (надеясь на льготный тариф для printed matter.). На почте оказалось, что корректура должна идти, как письмо. Я положил корректуру вместе с письмом, в котором было написано, что корректура идет отдельно. По прошествии месяцев четырех Ренэ Герра запросил меня о корректуре. А письмо он получил. О том, что корректура и письмо были посланы вместе, он не знал. Снова прислал корректуру. И я ее снова выслал заказным письмом. Дальше... он вообще писать перестал. На днях сложилось четверостишие:

Попутал бес меня связаться с «Альбатросом»:
Он денежки склевал, а я остался с носом.
«Не позже Рождества я книгу вам издам».
Год кончился давно, а воз и ныне там[2].

Это глава первая. Теперь вторая. Когда-то Юрий Павлович хвалил мне своего (и Вашего) печатника Романа Абрамовича Левина. Убедившись, что Альбатрос — птица хищная, я списался с Левиным и заказал ему сразу две книги: «Изъ глубины воззвахъ» и «Двое — и снова один». Ссылаясь на то, что он должен оплатить типографские работы вперед, сей Левин вытянул у меня полную стоимость заказа (больше двух тысяч эсшаанских долларов). Недели две тому назад «поздравил» меня и себя с выходом обеих книг и обещал выслать по десять экземпляров каждой воздушной почтой. На рассылку подарочных экземпляров он вытянул дополнительно двести эсшаанских долларов. Ближайшим соседом его массачусетсского предприятия был, казалось бы, д-р Антон Сергеевич Беляев. Вчера было от него письмо — и ни звука о получении книг. Почти уверен, что и Вы книг не получили. Как я теперь должен поступить? Ждать еще — «с терпеливым нетерпением»? «Плакати своихъ кунъ»? Судиться с французом и Левиным? Но это будет стоить страшно много, а расход в нервах неисчислим.

Мои платежи Левину: 13 апреля 1987 года посланы при письме чек на королевский Банк Канады на 2.642.00 канадских долларов, чек Литературного Фонда на 90 эсшаанских долларов и 25 ам. долларов — чек д-ра А. С. Беляева на 25 эсшаанских долларов. 22 июня (вместе с крупным канадским: тут я ошибся в дате) чек Литературного Фонда на 90 долларов. Крупный канадский чек — эквивалент 1.950-ти эсшаанских долларов.

Только часть этих сумм подтверждена банковскими расписками. А на мою просьбу составить договор Левин отговорился тем, что «не умеет составлять документы этого рода».

Может быть, имеет смысл обратиться за советом и содействием к Андрею Седых как председателю Литературного Фонда?

Обе массачусетсские книги также должны были быть Вам посланы в подарок от меня, хотя бы кто-нибудь из получателей подтвердил получение подарка: тогда я был бы спокоен[3].

В июне и июле возникали стихи — «сонет цепляясь за сонет». Но не только сонеты. Было рондо, были четырехстопные ямбы и хореи, да и трехсложные стопы. Даже несколько триолетов, формы «стоячей», но не воды.

Третья большая потеря — от собственной слабости. В конце 1978-го года я очень подружился с одним бразильцем тридцати двух лет. Любовником моим он никогда не был, хотя постепенно я его очень полюбил. Он помогал мне в литературной работе, связанной с португальским языком («В старых мехах» и перевод «Александрийских песен»). И, главное, он заполнял мои мысли, я думал о нем днем и ночью, возил его в городки Парати и Мангаратибу, возил по историческим городам штата Минас Жераис, делал ему ценные подарки, безотказно давал деньги «взаймы» (он никогда ничего не возвращал). С ним я никогда не скучал. Задолжал он мне далеко за тысячу долларов (не считая подарков, среди которых были и ценные). Увы, спасти его из цепких лап умбанды (африканского анимизма с кардековской некромантией) мне не удалось. Написано ему и о нем множество стихов (вся книга «Двое — и снова один»[4]), хотя он по-русски не читает. По телефону сообщил на днях, что будет у меня завтра. Думаю, что опять будет просить денег. Умбандой он так поглощен, что до сорока лет не имеет ни университетского диплома, ни профессии, ни общественного положения. Зато научился облегчать болезни «пассами» и иной раз читать чужие мысли (это мне не нравится). Живет как плэйбой — за счет бога-

той матери и братьев. Шестнадцать лет нервозной атмосферы на сходках «спиритов» привели его к явной мании преследования: то говорит, что каждый встречный сразу видит, что он gay, даже дети, что за это его все презирают и хода ему не дают, то делает открытие, что все иностранцы в Бразилии, здесь проживающие или временно обретающиеся, шпионы, хотя у одного «шпиона» (калифорнийского издателя Лейланда) он служит попечителем его роскошной квартиры (перестройками, ремонтами, уборкой) и получает пятьдесят долларов в месяц, а у другого (меня) постоянно берет деньги взаймы без отдачи.

В «сауне» (где еще?) подцепил он червей. Руки приходится прятать под рубашками с длинными рукавами (сейчас зима, а что будет летом?). Черви не мнимые: собирает их в баночку, и я их видел. Лечится у дерматологов, принимает ванны — холодная вода с очень дорогими лекарствами (кажется, травами). Говорит, что лечение помогает, но «страшно медленно» — уже полгода или больше эта волынка тянется. А сопротивляемость организма подорвана «спиритическими» оргиями (которые он отрицает) и общей атмосферой «общения с духами» и чревовещания. Дам ли я ему денег завтра? Боюсь, что разжалоблюсь и дам. Несмотря на его крайнюю грубость со мною и шпиономанию (ведь это явная мания преследования вместе с убеждением, что все-все-все его презирают и шушукаются за его спиной, а иной раз и пальцем на него показывают), я его очень люблю и только с ним никогда не скучаю. Ваш Валерий Перелешин.

[1] Книга воспоминаний В. Перелешина «Два полустанка».

[2] Книга стихов В. Перелешина «Три родины» вскоре, в том же 1987 году, вышла в Париже в издательстве «Альбатрос». Так что претензии Перелешина к Ренэ Герра были совершенно необоснованы.

[3] Обе книги В. Перелешина: «Изъ глубины воззвахъ» и «Двое — и снова один?» — вышли в массачусетсском издательстве Р. Левина в 1987 году. Так что опасения Перелешина были напрасны.

[4] Одно из стихотворений книги:

ВЕЩЬ В СЕБЕ

К «вещам в себе» прямого нет пути,
Нет и к любви проверенных тропинок,

И потому напрасный поединок
Не мог меня к победе привести.
За столько лет — не меньше десяти —
Ожить не смог в тебе почивший инок:
Моя броня не выдержит починок,
Израненный, я должен отойти.
Но нет, не зря! ведь не за медяками,
Слепой, к тебе тянулся я руками,
Не с голоду, а в неземной алчбе.
От поисков, от горьких унижений
Останется находка — вещь в себе,
Моя любовь на сотни воплощений!
27. IX. 1986

10-го января 1988 г.

Многоуважаемый и дорогой Игорь Владимирович,

Безвинно и мимовольно попал я в необъяснимую опалу. Не получаю вестей ниоткуда. Последняя полученная книга «Нового Журнала» была № 165, и сейчас ее читаю без пропусков (раньше только проглядел). 27 октября выслал Вам на флоридский дворец рецензию «Второе зрение». 3 сентября — свой сонет и «Антиной» Фернандо Пессоа (тема запретная, но Пессоа — крупнейший поэт Португалии XX века). 2 сентября — выслал свой перевод всех тридцати пяти сонетов Фернандо Пессоа. 29 августа ответил на Ваше неторопливое (впервые в моей затянувшейся жизни) письмо от 24 августа.

И все это время — с октября — не получаю писем ни от С. А. Карлинского, ни от своего печатника Романа Левина, ни от Ольги Бакич из Торонто. Не знаю, дошли ли до Вас мои новейшие книги: «Изъ глубины воззвахъ», «Двое — и снова один» и «Три родины» (последняя — парижского издания).

В одном из перечисленных выше писем спрашивал Вас: куда Вам писать: на Флориду или в редакцию журнала? Бесконечно озабочен положением и дальнейшими перспективами «Нового журнала». Об этом тоже Вас спрашивал (со слезами на глазах и даже на клавишах «Маши»).

Так же «заколдована» Мария Визи: столько же времени нет вестей и от нее. Не верится, что все корреспонденты одновременно стали почему-то недееспособными. Это тем более странно, что банковские переводы приходят из США и уведомления о положении счета в Королевском Банке Канады приходят, как ни в чем не бывало.

Новых стихов у меня нет (боком выходит разрыв со многолетним вдохновителем — Умберто Маркес Пассосом, который никогда не был любовником, но поставлял мысли и впечатления почти восемь лет нашего знакомства), хотя сборник «Вдогонку» (тринадцатый), заказанный Левину, так и не сдвинулся с места, и я о его судьбе ничего не знаю с октября[1].

Грустнее всего — странное поведение Карлинского, который собирался с группой моих «поклонников» (его термин!) издать отдельной книгой мою монументальную (8.400 строк) автобиографическую «Поэму без предмета» и снесся с печатником Левиным относительно заказа[2]. Что произошло?

О том, что новые возглавители «Нового Журнала» как-то обошли кризис, писал мне — очень радостно — мой голландский друг Ян Паул Хинрикс. От него письма доходят, и мои он получает быстро. Доходят и непредусмотренные письма из «странных мест»: Западной Германии, Англии и даже из Швеции. А на днях был запрос от какого-то советского учреждения в Москве (Библиотеки Театрального Общества), подписанный В. Нечаевым, о котором я ранее не слыхивал. Отзовитесь, пожалуйста, разъясните положение! Ободрите! С дружеским приветом и неизменным уважением, Ваш Валерий Перелешин

P.S. Сноситесь ли Вы с Левиным и могу ли надеяться на Ваше good offices в своих делах с ним? У него было около двух тысяч эсшаанских долларов (излишек от платежей за две книги). Под эту сумму я заказал ему книгу «Вдогонку». Вместо сметы и корректуры получил сюда весь тираж обеих изданных книг — без всяких объяснений. Ясно, что часть денег на эту непрошенную пересылку и ушла. Но заказа я не отменял. Если все три или две, или хоть одна из моих новых книг не получены, напишите, и я вышлю замену тот час же[3].

[1] Книга стихов В. Перелешина «Вдогонку» вышла в 1988 году.

[2] «Поэма без предмета» вышла в 1989 году.

[3] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 15 писем и 4 открытки В. Перелешина.

Валерий Перелешин

СТИХИ

НОСТАЛЬГИЯ

Я сердца на дольки, на ломтики не разделю,
Россия, Россия, отчизна моя золотая!
Все страны вселенной я сердцем широким люблю.
Но только, Россия, одну тебя больше Китая.

У мачехи ласковой — в желтой я вырос стране,
И желтые кроткие люди мне братьями стали:
Здесь неповторимые сказки мерещились мне
И летние звезды в ночи для меня расцветали.

Лишь осенью поздней, в начальные дни октября,
Как северный ветер заплачет — родной и щемящий —
Когда на закате костром полыхает заря,
На север смотрю я — все дольше и чаще, и чаще.

Оттуда — из этой родной и забытой страны —
Забытой, как сон, но во веки веков незабвенной —
Ни звука, ни слова — лишь медленные журавли
На крыльях усталых приносят привет драгоценный.

И вдруг опадают, как сложенные веера,
Улыбки и сосны, и арки... Россия, Россия!
В прохладные эти, задумчивые вечера
Печальной звездою восходит моя ностальгия.

19 сентября 1943 г. Из кн. «Три родины», 1987

* * *

И. Т. Орловой

Я знаю все ее приметы:
Всегда одну, всегда одну
Сквозь обморочные просветы
Я вижу райскую страну.

Но прячу тайны созерцанья,
Как будто разум мой слабел,
Как будто в повести сознанья
И вправду может быть пробел.

Там запахи и краски пели,
Так несказанно хороши,
Что знаю: жизнь в тяжелом теле
Лишь долгий обморок души.

Из кн. «Качель», 1971

ВОЗДУХ

Стихи рождались каждый час
Без осязаемых усилий,
Пока жила в груди у нас
Хоть капля воздуха России.

Не капельку, а целый мех
Мы вынесли на человека
Хватило воздуха на всех,
На все края, на все полвека.
Осталось на один прием:
Исчерпан воздух забайкальский
И нынче я со словарем
Пишу стихи по-португальски.

21 апреля 1971 г. Из кн. «Заповедник», 1972

* * *

Кто сказал — от большого ума —
что тюрьма непременно тесна,
что село, что Москва — не тюрьма,
что тюрьма — не уезд, не страна?

Кто сказал, что планета — не дом,
что чужбина — иной материк,
что не может родным языком
зазвучать португальский язык?

8 апреля 1972 г. Из кн.«Три родины», 1987

ДЛЯ ЧЕГО

Когда лежать я буду под доской,
Кто будет мне разглаживать сутану,
Привыкшему к широкому дивану
И праздности монашеско-мирской?

Да только ли? Со страстностью такой
Как вытерплю сонливую нирвану?
Ведь я и сам любить не перестану
Своей любви крылатый непокой.

«Спи, не вертись!» Да разве сон отраден
Тому, кто был не просто теплохладен,
А совмещал и холод и жару?

«Тут не шумят»? Но и сегодня, дома,
Мне тишина забытости знакома,
Так для чего, скажите, я умру?

16 июля 1978 г. Из письма И. Чиннову

ГРАЖДАНИН МИРА?

Шекспир, Корнель — конечно же, велики:
Кочевник, их я прячу в сундуки,

Где финский нож, норвежские коньки
И — заодно — полинезийский Тики.
Я не один. Мы все неоднолики
И впопыхах мешаем языки,
Когда ворчим — и в приступе тоски
Болят виски и хочется брусники.
Но плена нет, ни вавилонских рек:
Я в Сузах перс, а в Фермопилах грек
И не зубрю глаголиц и кириллиц.
Я в Лондоне — один из англичан,
А в Гернинге — датчайший из датчан,
В Стокгольме швед, но и в Москве бразилец!

4 января 1983 г. Из кн. «Три родины», 1987

СЕРГЕЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ

Сергей Александрович Зеньковский — ученый, историк — родился в 1907 году в Киеве. В 1920 году уехал с родителями из России. Учился в Чехословакии, затем в Париже в Сорбонне. В 1942 году получил степень доктора философии в Карловом университете в Праге. С 1949 года переехал в США. Был профессором русской литературы и истории в нескольких американских университетах. Им написано около 200 научных статей. Зеньковский входит в число авторов или составителей более двух десятков книг по истории Средневековья. Особенно его интересовала история духовных движений в России XVI–XIX веков. Этой теме посвящена его книга «Русское старообрядчество» (Т. 1. Мюнхен, 1970). Зеньковский выпустил в переводе на английский и немецкий языки тексты русского Средневековья, перевел на английский (в соавторстве с Бетти Зеньковской, женой и бывшей его студенткой), откомментировал и издал пять томов Никоновского летописного свода. С И. Чинновым они познакомились на одной из конференций в 1969 году. Зеньковский в это время был профессором по истории славянской культуры Вандербилтского университета в Нашвилле (штат Теннесси). Он предложил Чиннову перейти в их университет, сказав, что им нужен преподаватель русской литературы и есть ставка полного (full) профессора. Условия оказались выгодными, и Чиннов, который преподавал тогда в Питтсбургском университете, согласился. Через семь лет, в 1977 году, оба профессора, в звании заслуженных, вышли в отставку и вскоре перебрались из Нашвилля во Флориду, где в известном курортном городе Дейтона Бич купили себе квартиры на одном этаже роскошного кондоминиума в трех минутах от океана. Оба прожили там до самой смерти, сохраняя добрососедские отношения. С. А. Зеньковский умер в 1990 году. И. Чиннов пережил его на шесть лет, и всегда с теплом вспоминал своего друга и собеседника.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

Febr. 5, 1970

Дорогой Игорь Владимирович,

Простите, голубчик, что я Вам не писал так долго. Но были причины: операция, поездка и известная невыясненность положения здесь. Сейчас все яснее, и Ваша поездка сюда не только будет желательной, но и своевременной. Как насчет февраля 15–16-го? (Воскр. и понед.). Мы устроили бы фестиваль Чинновианы + короткие беседы в классах. Цель: показать себя и нас посмотреть[1]. Оплата 100 $ + проезд и расходы. Если да, то отвечайте сразу же и Dr. Rysan вышлет офиц. приглашение. Встретим на аэродроме. Я о Вас все время помнил и зачитывался «Метафорами»[2], но многое (!) было так неясно, что я откладывал мое письмо буквально со дня на день. Мой телефон 615 0 192-45 (после 6 PM и до 9 AM). Сердечный привет. Ваш С....

Привет Н. П. Полторацкому[3]!

[1] Речь идет о переходе в Вандербилтский университет в городе Нашвилле, где преподавал С. Зеньковский. С осени 1970 года И. Чиннов перешел в этот университет, и стал «полным» профессором русской литературы.

[2] Третья книга стихов И. Чиннова.

[3] Н. П. Полторацкий — профессор Питтсбургского университета.

27.4.71

Любезный кум, приятнейший приятель и мастер сладких звуков, — пишу Вам и одновременно краснею от стыда перед Вами. Для оного состояния причины две — 1. Оставил Вас сиротой и одиночкой в нашем неочаровательном Нашгороде, как его называет любезнейший Филиппов[1].

2. За последнее время уж очень изводил Вас своими телефонами и раздражениями. Последними особенно — но, к сожалению, я просто отреагировал на Вас свое личное состояние. А причин для собственного неровного состояния было немало, и

три из них — о них скажу потом, — разъяснились только в самый день моего отлета.

Добрались мы сюда благополучно — остановились по дороге в Атланте, которая на этот раз нам очень понравилась, — и переночевав пустились дальше в путь. Четыре дня мы провели в motel'е и сегодня, подчистив и приведя в порядок наш домишко № 2, перебрались сюда, «восвояси»[2]. Погода здесь чудесная. Нежарко, довольно сухой воздух, даже слишком сухой — по всей южной Флориде от засухи и жары пожары (почти что 1 милл.! гектар леса сгорело!), но мы, слава Богу, в средней полосе.

Что нового в заведении, как флора (суслики) и фауна (апель«з»ины)[3], как радости бытия? Пишите. Ваш кающийся САЗ.

Какой Ваш адрес и ZIP?

[1] Б. А. Филиппов — профессор из Вашингтона, писатель. В письмах он называл Вашингтон Нашингтоном. Нашгород — Нашвилл, где жили И. Чиннов и А. Зеньковский.

[2] Какое-то время Зеньковские имели во Флориде дом, но когда перебрались жить в Дейтона Бич — дом продали.

[3] Прозвища друзей и знакомых И. Чиннова.

27.VII.75

Дорогой Мося, писать отсюдова[1] не так просто — о чем? О впечатлениях предпочитаю рассказать, когда приеду — их много и очень разнообразных и «contradictory»[2]. Внешне — одежда, еда, магазины, квартиры — все гораздо лучше, чем в 1968, когда мы здесь были, внутренне, я думаю, в общем, кроме части интеллигенции, спокойно. Люди думают больше об автомобилях, квартирах и отпусках, чем о чем-либо ином. Книжки Ваши раздал, многим ново и очень понравилось. Для иных слегка манерно. Здесь считают, что коллега Иваска (Бродский) самый большой поэт времени, но признаются, что слишком болтлив. Об АИС<олженицыне> мнения крайне различные, и многие его весьма не

любят («нам нужны стыки с Западом, а не разрыв»), а кое-кто и другого мнения.

От Парижа просто обеднел, от Москвы устал, в СПБ отдыхаю — есть знакомые, много встреч и разговоров. Город, я думаю, самый красивый в мире и сохранился таким, каким был в 1914 году. Даже кое-где на мостах и памятниках снова восстановлены орлы двуглавые — но это здесь plus quam perfectum[3] и никто не обращает на это особенного внимания. Встречаю немало очень интересной и вдумчивой молодежи — очень широко культурны и очень серьезны.

Сюрприз — вчера выпивал с Alex H. и его женой, которые путешествуют вокруг света, и 4 недели проведут в СССР... В Москве какой-то Университетский съезд, прилетели из Кабула и тащатся in the mean time[4] на «Капказ», Ср. Азию и Байкал. Встречаю и др. американских профессоров. Завтра еду с ними в Петергоф, погода здесь отличная — только вчера был легкий дождик. А как Колумбия и Нашвилл? Не забывайте Лизу[5] и звоните ей или ходите с ней в кино. Вернусь к концу августа и жажду Вам наболтать кучу чуши! Ваш С.

В Париже мило объедались с Одоевцевой, она крутит с Яшей Горбовым[6].

[1] С. А. Зеньковский пишет из России, куда он приехал на время, путешествуя по Европе.

[2] Противоречивый (*англ.*).

[3] Дополнительные усовершенствования (*лат.*).

[4] Между тем (*англ.*).

[5] Жена Зеньковского — Betty — Элизабет — Лиза. Американка, прекрасно владеет русским языком и помогала С. Зеньковскому в работе с переводами. После смерти мужа много сделала для подготовки к публикации материалов из его архива. Благодарим ее за предоставленные биографические данные о С. А. Зеньковском. В последние годы жизни И. Чиннова Бетти была его доверенным лицом и надежной помощницей. Она была с И. Чинновым в больнице, когда он умирал.

[6] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 12 писем и 15 открыток от С. А. Зеньковского.

Сергей Зеньковский

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ*

За шестьдесят лет писательской деятельности Дмитрия Сергеевича Мережковского — он начал печататься в 1881 году, а умер в 1941-м — на русском языке вышло 52 книги его беллетристики и публицистики, около двадцати книг его переводов на русский язык, и больше двухсот статей и рассказов.

В наши дни, в 70-е годы двадцатого столетия, перечитывая книги Мережковского, можно глубоко сожалеть, что эпоха, его собственный психо-патологический недостаток (о чем дальше) и отсутствие продуманной системы глубоко подточили исключительные возможности этого высоко образованного, всю жизнь пополнявшего запас своих знаний несомненно очень одаренного писателя и выдающегося стилиста. Память его была феноменальна, и не менее феноменальны в области литературы, изобразительного искусства, философии и религии были его знания. Он, наверное, был одним из самых культурных людей не только России, но и Запада своего времени.

Теперь, однако, можно полагать, что репутация Мережковского почти целиком в прошлом, а время для переоценки его творчества,— если таковая произойдет,— еще не наступило. Возможно, что он слишком отражал умы и настроения, сумятицу и разброд мыслей своих современников на переходе от прошлого века к нашему, был слишком злободневным и «модным», чтобы стать самому «вечным спутником».

Очень многое в творчестве Мережковского делается более понятным сквозь призму его жизни, когда видишь этапы его умозрительной эволюции и перевоплощений. Он родился в Петербурге в 1866 году в семье «штатского генерала» дворцового ведомства. Выйдя в отставку, его отец занялся, по словам З. Гиппиус, упрочением финансовой платформы своей семьи, а также и спиритизмом в обществе известной в то время оккультной писательницы Крыжановской-Рочестер (Рочестер — фамилия вдохновлявшей ее же «загробной водительницы»)[1]. Увлечение отца

* Из кн. «Русская религиозно-философская мысль XX века». Питтсбург, 1975. Печатается в сокращении.

писателя спиритизмом и оккультизмом косвенно отразилось на оккультных и мистических, или псевдо-мистических писаниях и самого Дмитрия Сергеевича. В юности сын оккультиста попал в общество поэтов и писателей-народников — С. Я. Надсона, Н. К. Михайловского, Короленко, Гаршина и др. — и сам стал было поэтом гражданской скорби. От народников и гражданской скорби Мережковский отошел сравнительно быстро, но все же сохранил народническую веру в «народ» как носителя вечной правды и «творческого бунтарства». (Это отражается даже в одном из самых последних романов Мережковского «Мессия».) И он всегда сохранял тесные отношения с народническо-эсеровскими кругами, особенно с его и З. Гиппиус близким другом Савинковым, главным организатором террора во время и после революционного движения 1904–1905 годов. Зато Мережковский совсем переменил свои эстетическо-философские позиции. Этим он был обязан двум своим друзьям поэтам: поэту старшего поколения К. К. Случевскому[2] и Н. М. Минскому, поэту почти что его поколения. Философским же вдохновителем «новой поэзии» в значительной степени стал Вл. Соловьев, может быть, самый большой русский философ, но при этом еще и значительный поэт.

Вполне вероятно, что важную роль в эстетической и интеллектуальной эволюции Мережковского сыграла его женитьба 8 января 1889 года на талантливой и сильной духом Зинаиде Гиппиус. Правда, их брак был только духовно-интеллектуальным, так как к физической семейной жизни Дм. Серг. оказался неспособен[3]. Позже он проповедовал «христианство плоти», но сам в плоти особенно не разбирался. Его эротизм совершенно асексуален, необычайно искусствен, характеризуется скорее идеалистическими и платоническими влечениями, дружбой, духовной близостью, нездоровым любованием, чем нормальными, здоровыми отношениями двух существ разных полов. Этот бесполый и бесплодный эротизм делается одной из постоянных тем Мережковского от «Юлиана Отступника» до «Мессии»[4], и даже до «Иисуса Неизвестного» (ок. 1935 г.). В этой книге Мережковский доходит до того, что говорит о «сочетании мужского и женского в прекрасной гармонии Иисуса Христа»[5]. Видимо, эротическая патология хотя бы интеллектуально, но очень глубоко, держалась в этом символисте почти до конца его дней.

Его нашумевшая речь 1892 года «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» не только принесла ему известность и славу, но действительно в какой-то степени стала гранью между реалистической литературой прошлого века и модернизмом 90-х годов и начала нашего века. Мережковский полагает, что три явления привели к снижению уровня, к упадку русской литературы и поэтического языка: русская критика от 60-х годов до конца века, сатирическая манера этой критики, журналистики и многих писателей и наконец «возрастающее невежество» и «вторжение в литературу демократической богемы»[6]. Наше время, говорит он, — «время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных мировоззрений. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний» (XV, 245). Однако Мережковский не сомневается, что, несмотря на вкусы толпы и преобладание дешевой утилитарно-народнической журналистики и критики, время расцвета нового литературного движения близко и что это движение будет «единственной живой литературной силой» (XV, 262). В этом движении будут преобладать три главных элемента: «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». В конце своей речи Мережковский еще раз указывает как на новое духовное содержание нарождающегося литературного движения, так и на его непреодолимую силу: «Когда Дух Божий проносится над землей, — никто из людей не знает, откуда Он летит и куда... Но противиться Ему невозможно... Он сильнее человеческой воли и разума, сильнее самой смерти» (XV, 305).

Надо было много смелости, чтобы в эпоху Скабичевских и Успенских, эпоху торжества народнической критики и литературной демократической, не очень грамотной, богемы сказать такую резкую и сильную речь. И несмотря на то, что в его речи было немало спорных моментов и недосмотров (Мережковский забыл отметить в ней тогда еще писавших Лескова, Леонтьева, Случевского и мн. др.), она в основном была справедлива и, без всякого сомнения, явилась замечательным и даже историческим выступлением. Именно Мережковскому, а не его хотя бы и очень талантливым предшественникам, — таким, как Случевский, Фет,

Фофанов, Соловьев,— удалось пробить отдушину для струи свежего воздуха в довольно затхлом здании русской журналистики и критики 1890-х годов.

В начале тех же 90-х годов глашатай русского модернизма приступает к созданию своей знаменитой трилогии «Христос и Антихрист». В 1896 году выходит первый ее том «Отверженный», позже переименованный в «Юлиана Отступника (Смерть богов)». Через пять лет появляется «Леонардо да Винчи (Рождение богов)» и в 1905 году ее последний том «Петр и Алексей». Общее название трилогии далеко не соответствует ее содержанию. В ней мало чувствуется дух Христа, хотя повсюду веет дух антихриста. Христиане в «Юлиане Отступнике» изображаются как примитивные, грубые и нетерпимые фанатики или же лицемеры (I, 53–56, 110–116, 240–251 и мн. др.). Когда же ему представляется возможность показать двух просвещеннейших гигантов ранней святоотеческой мысли Василия Великого и Григория Назианца (I, 89), то автор ограничивается несколькими довольно бессодержательными строками. Но, по крайней мере, в этом интересном, с показом большого знания эпохи, романе все же развернута картина борьбы христианства и язычества и крушения затеянной Юлианом попытки воскрешения языческих богов.

В «Леонардо да Винчи» распределение света и теней обратное: античная культура подтачивает средневековое христианство. Но эта основная тема трилогии заслонена уже новым увлечением Мережковского, ницшеанством. Леонардо выступает на страницах романа действительно сверхчеловеком, стоящим выше добра и зла, увлечения которого приносят и пользу и боль, и которого автор ставит выше идеалов и христианства и античности. Если Леонардо в конце концов все же может представлять природу прельщающего людей антихриста, то подлинных последователей Христа в книге совсем не видно. Все произведение еще более односторонне и в значительной степени более противоцерковно, чем «Юлиан Отступник».

Может быть, только в строках, посвященных русским иконам, в этой книге звучит подлинно христианский мотив: «здесь... была сила веры, более древняя и вместе с тем и более юная, чем в самых ранних созданиях итальянских мастеров Чимабуэ и Джиотто; более смутное чаяние великой, новой красоты... Действие этих образов... подобно было действию музыки; в самом

нарушении законов естественных достигали они мира сверхъестественного». В этих строках Мережковский достигает подлинного мастерства, и может быть, именно в них пробиваются его сокровенные и лучшие чаяния и мысли.

«Петр и Алексей», написанный с обычным для Мережковского знанием эпохи, многочисленными цитатами и малоизвестными деталями, автору совсем не удался. Если в Леонардо он создает соблазнительный, но все же художественный и часто сильными красками написанный образ великого мастера, то казалось бы, в русской, более близкой сердцу автора, среде он мог бы найти хотя бы одного привлекательного героя. Зверство, почти что беспробудное пьянство и дебош, скверные запахи и скверные болезни, отвратительная жестокость, фанатизм и дикость — вот краски, которыми зачинщик новой русской поэзии изображает прошлое своей страны. Он как будто нарочно забывает, что фанатизм и жестокость, скверный дух и мерзкие заболевания были распространены по всей Европе того времени. Конечно, на востоке Европы было меньше знаний и блеска, но в зверствах и пытках, издевательствах и смраде Запад не уступал Востоку дней Петра. Преследования гугенотов во Франции, тридцатилетняя война, искоренение католицизма на Великобританских островах, миазмы Версаля и пытки палачей культурного Запада могли легко соперничать с такими же недостатками Петровской России. Образ Петра, созданный Пушкиным: «Он весь как Божия гроза», Мережковский заменяет описаниями попоек, бесчинств и венерических болезней. Если ему и в этом романе удается создать картину царства антихриста, то образа Христа или хотя бы отголоска Его учения здесь нет и в помине. Позже сам автор осознал, что замысел его историческо-религиозной трилогии не был осуществлен удачно. «Когда я начинал трилогию "Христос и Антихрист", — писал Мережковский, — мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом — кощунственная ложь: я знал, что обе правды — о небе и о земле — уже соединены во Христе Иисусе, Единородном Сыне Божием, Том Самом, Которого исповедует вселенское христианство, что в Нем, Едином — не только совершенная, но и бесконечно соверша-

емая, бесконечно растущая истина, и не будет иной, кроме Него» (I, стр. III).

Здесь Мережковский искренен лишь частично. Как мы указали, «правда» антихристова ему удалась вполне. Правды же христианской в его трилогии почти, а может быть, даже и совсем не видно. Книги его гораздо больше подходят для антирелигиозной пропаганды, чем для попытки изобразить столкновение сил добра и зла или двух возможностей правды. А если он осознал, что его книги кощунственная ложь, то зачем же он их переиздавал, не отказался от их дальнейшего распространения. Во время создания этой трилогии, по словам Зинаиды Гиппиус, с Мережковским происходит духовный перелом. «Наши путешествия, Италия, все работы Д. С., отчасти эстетическое возрождение культурного слоя России, новые люди, которые входили в наш круг, а с другой стороны — плоский материализм старой "интеллигенции", все это вместе взятое, да конечно с тем зерном, которое лежало в самой природе Д. С., — не могло не привести его к религии и к христианству. Даже вернее не к "христианству" прежде всего, — а ко Христу, к Иисусу из Назарета...», — писала З. Гиппиус об эволюции Мережковского в 1890-х годах[7]. А от интереса к Христу, от его «пленения Христом», он постепенно перешел к вопросу о церкви. В своем развитии интереса к Христу и церкви он в значительной степени оказался под влиянием «нового человека» из «своего окружения» — В. В. Розанова, автора «Темного лика» и других религиозно-философских книг[8].

В 1901 г. Мережковский, Гиппиус и их друзья — упомянутый В. Розанов, Д. Философов, Вал. Тернавцев, В. Миролюбов и др. — получили от Петербургского митрополита Антония, при «полуразрешении-полупопустительстве» обер-прокурора Св. Синода К. Победоносцева, разрешение на устройство религиозно-философских собраний. На этих собраниях главным представителем духовенства был епископ Сергий, позже, в 1945 году, ставший патриархом Всероссийским[9].

Основной идеей группы Мережковского, высказанной проф. В. Тернавцевым на первом же из этих собраний, 29 ноября 1901 года, было утверждение, что «возрождение России может совершиться на религиозной почве» и что «наступает время открыть сокровенную в Христианстве *правду о Земле».* Тернавцев затем указывал, что «в церкви заключается не один лишь загробный

идеал». Он закончил свою речь близкой к учению хилиастов надеждой, что пришло уже время «все небесное и земное соединить под главою Христа»[10].

Религиозно-философские собрания продолжались до апреля 1903 г. и сыграли очень большую, м. б. даже основную роль как в пробуждении русской религиозной мысли, так и в возвращении лучшей части русской интеллигенции к церкви. В этом движении, в организации этих собраний, в самой постановке религиозной проблемы перед умами русского культурного общества, Мережковскому, несомненно, принадлежала инициатива, и этой инициативой он, бесспорно, заслужил видное место в истории русской духовной жизни.

Тем не менее сам Мережковский, вернувшись, или стремясь вернуться к Христу, ни к православной церкви, ни даже к «историческому христианству» не вернулся. От возвращения к церкви его удерживало то настроение его и его друзей, которое Н. А. Бердяев называл «революционно-мистическим», а также их «религиозное противление историческому христианству»[11]. Им, и особенно Мережковскому, казалось, что «аскетическое подлинное христианство и современная культура взаимно непроницаемы», и поэтому только совершенно новая революционная перестройка всего христианства позволит ему стать религией доступной современному человеку и построит мост между верой и культурой.

Такой подход к христианству как религии чисто аскетической, обращенной не к жизни на земле, а к жизни вечной, за гробом, развился у Мережковского, в чем он и сам признается, под влиянием В. В. Розанова, который в «Темном лике» и др. работах утверждал, что христианство забыло жизнь, дом, семью, плоть, пол. Если Розанов, отходя от исторического христианства, видел правду в семейной и плотской религиозной философии иудаизма, то Мережковский, а позже вслед за ним и Вяч. Иванов искали синтеза христианства (христанства в их понимании) с античной культурой, «смешения» духа с плотью. <...> Как справедливо отмечал дальше Флоровский, «у Ницше он [Мережковский] учится освобождению через красоту. И от Ницше берет свою основную антитезу: Эллинизм и христианство, олимпийское начало и галилейское, святость плоти и святость духа». Флоровский далее напоминает, что раньше Бердяев указывал, что «тайна Мережковского и есть тайна двоения, двоящейся мысли». <...>

Отрицая «историческое христианство», Мережковский искал новое «революционно мистическое христианство» Третьего Завета, о котором говорил на первом религиозно-философском собрании Тернавцев. По словам Мережковского:

Первый завет — религия Бога в мире.

Второй завет Сына — религия Бога в человеке — Богочеловека.

Третий завет — религия Бога в человечестве — Богочеловечества.

Отец воплощается в Космосе.

Сын — в Логосе.

Дух — в последнем соединении Логоса с Космосом, в едином соборном вселенском Существе — Богочеловечестве.

Для того, чтобы вступить в третий момент, *мир должен окончательно выйти из второго момента; для того, чтобы вступить в религию Духа, мир должен окончательно выйти из религии Сына — из христианства:* в настоящее время, в кажущемся отречении от Христа это необходимое выхождение и совершается (X, 155). <...>

Как трудолюбивая пчела, Мережковский собрал в своем учении и мысли калабрийца де Фиоре, и надежды русских книжников пятнадцатого века, и чаяния старообрядцев, и писания иудействующего В. В. Розанова, и теории Ницше, учителя атеизма и проповедника антихриста. Все эти теории и школы мировоззрений причудливо переплетаются в книгах Мережковского, часто создавая полную сумятицу и на страницах его произведений, и в головах читателей.

Торжество своего учения Мережковский чает в полном перевороте в обществе, не только в России, но и в духовной жизни всего мира. «Только будущий анархист, человек последнего бунта, последнего отчаяния есть первый из людей, который услышит благовестие новой, религиозной надежды», — думается ему (X, 11). На ту же тему политического и духовного переворота пишет Мережковский и книгу «Грядущий Хам». Многие, судя по названию книги, предполагали, что это есть предупреждение о наступающей революции, набат перед крушением России. Но это не так; это не набат, а книга «благовести», надежд, что революция снесет, как это ни странно, вовсе не грядущего хама, а хама существующего, которого он видит в императорском строе России и в русской церкви начала

века. Его парадоксальное смешение грядущего с сущим заслуживает длинной цитаты:

«Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных.

Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам.

У этого Хама в России — три лица.

Первое, настоящее — над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.

Второе лицо прошлое — рядом с нами, лицо православия, воздающего Кесарю Божие...

Третье лицо будущее — под нами, лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни — самое страшное из всех трех лиц.

Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа — живой плоти, против церкви — живой души, против интеллигенции — живого духа России» (X, 155).

Все еще надеясь по-народнически на союз интеллигенции с народом, Мережковский осуждает, сводя к лику Хама, и власть императорской России, и ее церковь, и, видимо, нарождавшийся класс русской буржуазии и крепких крестьян-хуторян, давая ему прозвища «черной сотни» и «мещанства». Это видно из первых же слов этого памфлета, в котором он цитирует слова Герцена, что «мещанство — окончательная форма западной цивилизации» (XI, 1), — а Герцен мещанством называл класс имущих, победивших революцию 1848 года. Мережковский строил свои надежды на союзе «религиозной общественности» с народом. Но как мы знаем, эти надежды не осуществились, и столь чаемая им революция обернулась в 1917 году совсем другим, неожиданным ему лицом.

После революции 1905 года Мережковские неоднократно уезжали из России, часто на годы. В 1912 г. они возвращаются в Россию в последний раз, и в 1920 г. окончательно покидают ее. В 1941 году умер Дмитрий Сергеевич, в 1945 г. его жена — Зинаида Гиппиус. За последние 30–35 лет Мережковский написал немало книг, но в них он дал мало нового. Все его главные мыс-

ли высказаны в манифесте символизма 1892 года, в первой трилогии («Христос и Антихрист»), в его местами замечательной литературно-философской книге «Толстой и Достоевский», в «Не мир, но меч», в «Грядущем Хаме».

Да, Мережковский, к сожалению, хотя, может быть, и без злой воли, сделал немало, чтобы разрушить в умах русских людей веру в прошлое России и в русскую православную церковь. Возможно, правда, что осуждение русской церкви Мережковским приняло бы гораздо менее резкую форму, если бы церковь не была в то время под безраздельным контролем Победоносцева, пессимистического ретрограда и «Великого инквизитора» русского православия. И следует помнить, что своим «манифестом символизма» Мережковский открыл дорогу русскому «модернизму», а проявлением инициативы в устройстве религиозно-философских собраний участвовал в пробуждении религиозной мысли среди русской интеллигенции и, может быть, косвенно помог многим русским вернуться к вере и церкви.

[1] *Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский. Париж: YMCA-Press, 1951. С. 55. В дальнейшем: Гиппиус и страница.

[2] О К. К. Случевском см.: Русская литература конца XIX — начала XX в. Т. 1. М., 1968. С. 195; *Случевский К.* Стихотворения и поэмы. Большая библ. поэта. М.; Л., 1962; *Зеньковский С.* Традиция романтизма в творчестве К. Случевского // American Contributions to the 7th International Congress of Slavists». The Hague: Mouton, 1973. С. 567–597.

[3] В своих воспоминаниях о муже Гиппиус нашла нужным отметить, что после свадьбы они разошлись по своим домам — «ничего не произошло особенного» (С. 33–34).

[4] О «Мессии» и «Тутанкамоне на Крите» Н. С. Арсеньев говорит, что это «самое нездоровое, что он [Мережковский] написал» (Дары и встречи жизненного пути. Франкфурт: «Посев», 1974. С. 63).

[5] *Мережковский Д.* Иисус Неизвестный. Белград (без даты). Т. 1. С. 369.

[6] «Полное собрание сочинений», изданное М. О. Вольфом в Москве в 1911 г. Т. XV. С. 222–223. В дальнейшем в тексте этой работы цитаты из ПСС даются в скобках с указанием тома и страницы. Курсив, если специально не оговорен, везде мой (С. А. З.).

[7] Гиппиус. С. 76–77.

[8] Мережковский, Х. С. 77 и сл.; Гиппиус. С. 79, 108, 109; письмо В. Розанова от 1919 года (Вестник Р. С. Х. Д. 1974. № 112/3. С. 148–151) свидетельствует о том, что его дружба с Мережковскими продолжалась до самой смерти Розанова.

[9] Гиппиус. С. 95–96.

[10] Там же. С. 101–103.

[11] *Зеньковский В. В.* История русской философии. Париж: YMCA-Press, 1950. Т. 1. С. 296.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

Николай Ефремович Андреев — историк, литературный критик, публицист — родился в 1908 году под Петербургом. Учился в Эстонии в Таллинской русской гимназии, затем в Праге, где окончил Карлов университет, получив докторскую степень. Был членом пражского литературного содружества «Скит». В 1945 году, с приходом в Прагу советских войск, был схвачен «Смершем», и более двух лет провел в советских тюрьмах и лагерях. Благодаря своему иностранному подданству был освобожден и выпущен за границу — в Берлин. С 1947 года жил в Англии, где стал профессором Кембриджского университета. Н. Андреев крупный специалист в области иконографии. На эту тему им написано несколько книг. Много он занимался и историей Псковско-Печерского монастыря. В 1937–1938 годах участвовал в археографической поездке туда пражских ученых, и сделал ряд важных научных открытий, связанных с историей монастыря.

«Н. Е. Андреев как ученый развивался под прямым влиянием дореволюционной русской научной традиции. И параллельную формировку он получил в чешском Карловом университете, с традициями средне-европейскими в области филологии и истории», — писал друг и коллега Н. Андреева Марк Шефтель («Новый журнал». 1982. № 148. — «Памяти ушедших»). Сочетание двух этих традиций — русской исторической школы и европейской — характерно для работ Андреева-историка.

В эмиграции Андреев был известен и как литературный критик. В 1952–1956 годах газета «Русская мысль» регулярно публиковала «Заметки о журналах» Ник. Андреева. Критические статьи Андреева печатались и во многих других эмигрантских изданиях. Ему принадлежит одна из первых статей, появившихся в печати, о поэзии И. Чиннова — «Стихи раздумья и поиска», подпись П. Тверской («Грани». 1950. № 14). С Чинновым они познакомились в 1954 году в Мюнхене, когда Чиннов работал на радиостанции «Свобода», а Андреев приехал туда на лето и готовил для радиостанции еженедельные комментарии к событиям.

Чиннов вспоминал: «Николай Ефремович был профессором в Кембридже по русской литературе и культуре, что очень почетно,— и при этом у него была такая крестьянская физиономия. Человек — очень остроумный, блестящий собеседник. И Средние века здорово знал. Его жена, англичанка, кажется, дочь какого-то губернатора,— он ее совершенно "обрусил". О моих стихах хорошо написал в "Гранях" — умная голова, понимал в стихах. Мы с ним как-то встретились — в Париже — он приехал для чтения доклада, а я приехал читать стихи» (Магнитофонная запись 1995 года). Умер Н. Е. Андреев в 1982 году в Кембридже.

ПИСЬМА И. ЧИННОВУ

24 июля 1953 г.
20, Park Parade, Cambridge

Дорогой Игорь Владимирович,

Надеялся я встретиться с Вами лично, принимая приглашение В. В. Вейдле, но не выходит поездка: оказался я занятым до конца (почти до конца) июня прямыми университетскими делами, а затем нагрянули косвенные (письменные разных видов), от которых не освободился и по сей день; кроме того, во второй половине августа должен я быть здесь на неделю в качестве экзаменатора,— а посему выбрать цельный отрезок из нескольких недель для появления у Вас оказывается невозможным. Очень жалею, ибо хотелось бы и новых встреч, и углубленных разговоров (вот, Юрий Павлович <Иваск> — превеликий мастер на них: всегда увлекается, всегда пристрастен, образец ненаучности, а чертовски интересно; удивляюсь, что он занялся филологией — ведь это для педантов. Единственный был «поэт», в этой области Марр[1], да и того «упразднили». На Ю. П. я сержусь: так и не написал и адрес не сообщил,— пожалуйста, передайте ему, при случае, мое новгородское презрение: «чудь белоглазая»[2]!). Вообще — я в блестящей изоляции. Никто не пишет (ибо, правду сказать, как Вы сами знаете, я редко отвечаю), книги приходят в Англию трудно. Вот, Вы писали об «Опытах»[3], а их еще здесь нет: я заказал в книжном магазине в Лондоне, но журнала нет и нет. Так и все прочие издания. Этим, между прочим, объясняется, что в «Русскую мысль» я давал «Заметки» с

опозданием, а теперь и совсем огорчен: кто-то там уже настрочил об «Опытах» кн. I (кто это, кстати?), а я их и в глаза не видел. Кто издатель «Опытов»? И кто редактор? Жива ли Алла Головина[4]? И где она? Если можно, прошу удовлетворить любопытство (или любознательность). Какая подспудная связь между «Опытами» и покойными «Числами»[5]? Кто это, кстати, К. Померанцев, который разругал в «Русской мысли» книжку стихов Иваска[6] (которую тоже в глаза не видал, — в Англии ее нет)? Кто — А. Величковский[7]? — Сын младоросского генсека? Кто «сюрреалист» Ю. Одарченко[8]? Не знаете ли, кто такое Яконовский[9] в Париже — хороший прозаик и ужасный стихоплет? Пожалуйста, не поленитесь в ответе. Спасибо за похвалу моим военно-полевым приговорам в критзаметках, но имейте в виду, что в статью, где я упоминал, в «РМ», о Вас, «вкралась» нелепейшая замена слова, опошлившая весь финал рецензии (которая состояла из двух частей: 1) «Возрождение» и «Грани» и 2) «Нов. Журн.»): напечатано «грядущих потомков эмиграции», а у меня «грядущих историков эмиграции». Эта концовка перекликается с «запевом» первой части. Проглядев сей шедевр, я покраснел от стыда: можно подумать, что я и есть Ваш любимый «граф Нулин»... Редакция дала поправку позднее, но в таком месте и таким шрифтом, что, видимо, заметил это только я один.

Но — вообще — критикой я занимаюсь «для отдыха». Усердно занимаюсь отечественной историей. До второй мировой я уже напечатал несколько монографий (первые две, кстати, в свое время похвалил В. В. Вейдле в «Современных записках»). Но нынче что-то исследовательская работа мало поощряется (а у меня к тому же слишком много университетских обязанностей). Но м. б., удастся осуществить и мои замыслы.

Ваши стихи очень меня поражают «внутренним зрением». Из пяти присланных: понравились, «дошли» полностью: «Может быть, только в этой // Жизни...» и «В снежный вечер...». Хорошо вообще, но не для меня — лично: «Знаешь, я почти забыл...», — и не принимаю (из-за комплекса, конечно): «Лиловеют поганки...», — замысел прекрасный, но почему «мальчик горбатый» (может: щербатый?) и почему «пылинки» и «кровинки» и «милая» Божья палитра. Сентиментализм лексики: отрицаю и потому придираюсь. Простите. А «Терновник веткой суховатой...» есть вещь чудесная, но «колючая проволока» не

дает (мне, конечно) ассоциации концлагеря: скорее боевого поля, окопов. А это центральный образ. Но, по-моему, — в совконцлагерях характернее: вышки, забор, собака. Б. м., я заблуждаюсь, но центральный образ меня ведет по ложному следу. Не сердитесь на придирки. А чья пародия? На «Монолог» была лучше.

Крепко жму руку. Буду рад отклику. Ваш Ник. Андреев.

[1] Лингвист, академик Николай Яковлевич Марр (1864–1934) известен своими оригинальными идеями. Считалось, что созданное им новое учение о языке — «яфическая теория» — вело к разрыву с традиционным языкознанием. Марр доказывал, что древние языки Передней Азии возникли в результате скрещения «яфических» (кавказских) языков с тюркскими, индоевропейскими и пр. Так, путем скрещения, возникают, с его точки зрения, все языковые семьи, и они не связаны генетическим единством. Другие его идеи тоже не нашли официального признания. В 1950 году в СССР в газете «Правда» велась дискуссия между сторонниками и противниками учения Марра. В ней принял участие И. В. Сталин, резко осудив в нескольких статьях Марра.

[2] Намек на то, что Ю. Иваск жил в Эстонии.

[3] Журнал начал выходить с 1953 года в Нью-Йорке под редакцией Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова, издатель — М. С. Цетлина.

[4] А. Головина — сестра поэта А. Штейгера. Умерла в 1987 году в Брюсселе.

[5] Журнал «Числа» выходил в 1930–1934 гг. в Париже. Он, так же как и «Опыты», придерживался «западнической» ориентации. И тоже объявил, что главное для них — вопросы литературные, а не политические. См. об этом выше, в письме Ю. Терапиано от 28 июня 1953 года.

[6] Книга стихов Ю. Иваска «Царская осень» (Париж: «Рифма», 1953).

[7] А. Величковский — поэт. Отец его был преподавателем юнкерского училища.

[8] Ю. Одарченко считался поэтом-чудаком, настолько его стихи были необычны. Его единственный поэтический сборник «Денек» вышел в 1949 году.

[9] Е. Яконовский печатался, например, в журнале «Грани» (1955. № 24) — «Небесные фонарики», рассказ о военном Берлине. В журнале «Возрождение» (1953. № 30) — «Кандель», воспоми-

нания об отступлении Белой армии из Одессы. В «Возрождении» (1953. № 27 — за май–июнь) было его стихотворение «Родине».

7 октября 1961 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

В конце июля посетил я Мюнхен и даже побывал на Вашей «Свободе»[1], где, к глубочайшему моему разочарованию, Вас не застал: надеюсь, что Виктор Франк и другие лица (включая и Толю Реннинга[2]) передали и мой дружеский привет, и чувство разочарования... Я чувствую себя должником в отношении Вас. Я очень оценил Ваше письмо в связи со смертью моей матери, — спасибо. Мы с Gill[3] всегда ценим также Вашу неизгладимую память в отношении нас, обнаруживающуюся в поздравлениях. Катеньке — 6 лет, она учится в англ. школе и очень хорошо, свободно владеет двумя языками, а «пишет» («придумывает») стихи по-русски, — м. б. Толя показал Вам одно из них. Николаю Николаевичу — 2 года и 6 месяцев. Он говорит пока что на собственном языке и увлекается... автомобилями и тракторами! Очевидно, будет или инженером или взломщиком, ибо склонность к технике вне сомнений.

Относительно Ваших «Линий»[4] могу только сказать здесь, что они изумительны. Я много раз прочитал сборник: наслаждение исключительное, и каждый раз я получил нечто дополнительное к своему читательскому восхищению. К сожалению, в «Возрождение»[5] я совершенно «не вхож» и даже не вижу годами этого журнала, ибо мне они больше не присылают, а в Кембридже он почему-то не выписывается. Но, если будет где-то возможность что-то написать на литературные темы, я, конечно, скажу нечто о поэзии Игоря Чиннова, которую, как Вы знаете, высоко ценю, как дыхание подлинное и мастерство удивляющее.

Отзовитесь! Буду сердечно рад. Ваш Ник. Андреев.

[1] И. Чиннов в это время работал на радиостанции «Свобода».

[2] Анатолий Рудольфович Реннинг, прибалт — один из самых старых друзей И. Чиннова. Познакомил их Ю. Иваск, и с тех пор они вели активную переписку. Виделись несколько раз. В том числе в 1961 году в Мюнхене, куда Реннинг приехал по делам

службы из Швеции, где поселился после эмиграции. Он работал в архиве в Стокгольме.

[3] Жена Н. Андреева. Дальше он говорит о своих детях. В 1996 году в Таллинне жена и дочь Н. Андреева выпустили двухтомник его воспоминаний, наговоренных им на пленку,— «То, что вспоминается. Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева».

[4] Вторая книга стихов И. Чиннова (Париж: «Рифма», 1960).

[5] В 1950-е годы Ник. Андреев сотрудничал в «Возрождении». В частности, в номере 34 за 1954 год помещены его «Заметки читателя».

7 октября 1974 г. <открытка>

Читал я в Пушкинском клубе в Лондоне о русской литературе 1974 года (в связи с новым «исходом»), была уйма народу: зал битком. А кончил Вашими, дорогой Игорь Владимирович, пронзающими, очаровательно-мудрыми и великолепными — структурно — стихами из «Нов. Журнала», кн. 115 о «флорентинце Данте»[1]... Жму руку. Ваш Ник. Андреев.

[1] Стихотворение «Да, мы эмигранты, “переселенцы”...»

19 апреля 1975 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

Я отсутствовал почти три недели, а, вернувшись, нашел — с удовольствием! — Ваше письмо.

Спасибо за формулирование Вашей мысли обо мне как литкритике в «Н. Русском Слове»[1]. Но почему только «Нов. Журн.»? В своей «знаменитой» серии — «Заметки о журналах», которую я вел около пяти лет в «Русской Мысли», я стал «грозой» всей эмигрантской периодики и «навел порядок», вызвав грандиозное количество «наветов», «нападок» и создав «мощных врагов» (начиная с И. Одоевцевой и кончая С. П. Мельгуновым): как писал в какой-то иной парижской газете Евгений Яконовский — «Каждая статья Н. Андреева создавала ему толпу врагов...»

[1] Была идея (неосуществившаяся), чтобы Н. Андреев стал литературным критиком газеты «Новое русское слово» и регулярно делал там обзоры номеров «Нового журнала».

24 апреля

Простите, но триместр идет полным ходом и трудно пробиться к столу ради личного письма... Вспоминая этот период (1952–56), я (тогда был более петушистый и боевой: «Онегин, я была моложе...») сомневаюсь, что «братья-писатели» добровольно захотят моего «возрождения из академического пепла»: я всегда писал «по совести и по существу» (как сказала обо мне, вернее, о моих писаниях «сама» А. А. Ахматова!) и «не взирая на лица»...

25 апреля

И еще одно: будут ли платить за статьи? Я нахожусь уже перед отставкой*, и, понятно (особенно теперь, при мировой инфляции), гонорар не только полезен, но и необходим. Так что при Ваших «зондированиях» не забудьте, пожалуйста, навести справку и об этом. Ваш Ник. Андреев.

P. S. Подумайте только, что нашей дочери — Катеньке — уже 19 лет: она учится в Оксфорде.

* У нас она — в 67! Увы...

6 июня 1980 г.

Дорогой Игорь Владимирович,

На этих днях добрел до меня юбилейный номер «НРСл.» (об юбилее я ничего до этого момента, к сожалению, не знал), и я с удовольствием прочитал Вашу остроумную поздравительную формулу о Седых[1]...

Искренне жалею, что чрезвычайно редко были у нас встречи. После Мюнхенского периода (лето и начало осени 1954 года) мы встретились, по-моему, только раз, в Париже, когда Вы

появились на каком-то моем докладе в Союзе русских писателей и журналистов (Б. К. Зайцев признавал мои качества как критика и докладчика — моя серия «Заметки о журналах» в «Русской мысли» появилась по его предложению сотрудничества в газете, — и все мои лекции о Париже (о Ремизове, Куприне, Леониде Андрееве и т. д.) были опять-таки осуществлены при его доброжелательном поощрении «подающего надежды молодого нашего критика», как он публично заявил где-то: ему было уже 90 лет, а мне — 60!). Я помню, что мы с Вами встретились на другой день после обедни в Александрово-Невском Соборе и ели удивительные пирожки (под водку) в соседнем русском кафе (где встретили Н. Станюковича[2]), а позднее, кажется в тот же день, был Ваш, поразивший меня, «поэтический монолог-кредо» в каком-то чем-то знаменитом французском кафе в присутствии этого энтузиаста русской поэзии (имя которого вдруг ускользнуло из памяти[3])...

К несчастью, у меня нет «постоянного органа печати». «НРСл.» печатает меня, когда заказывает тему. «Р. М.» — тоже. Они не хотят «повторов темы» (т. е. если кто-то из «прытких» уже «тиснули», мне тогда не прорваться... Может быть, осенью удастся установить контакт с «Гранями»[4]: они обещают минимальный гонорар (даже!), а я — увы — более и более нуждаюсь в приработках. Если это осуществится, я непременно напишу о Вашей поэзии, которая меня «возносит» (а это и есть прикладная функция поэзии). Жму дружески руку, Ваш Ник. Андреев.

P. S. Повторно бью челом: сообщите адрес С. А. Зеньковского.

А «Похождения Чичикова» — мои[5]. Разве это не ясно из вступительной заметки? Я жалею, что не удалось их докончить... В «киноленте» было немало «соли», тогда...[6]

[1] Речь идет о небольшом стихотворении по случаю семидесятилетия «Нового русского слова».

[2] Н. Станюкович — литературный критик.

[3] Имеется в виду Э. М. Райс.

[4] В «Гранях» (1981. № 119) появилась статья Н. Андреева «О русской зарубежной поэзии».

[5] Сатирическая повесть Н. Андреева «Похождения Чичикова за границей» была напечатана под псевдонимом С. Несмеянов в 1948 году («Россиянин», Лондон). В 1980 году она перепечатыва-

лась газетой «Новое русское слово» (начиная с номера от 12 января). «Кинолента» — здесь просто образное выражение.

[6] В архиве И. В. Чиннова сохранилось 23 письма Н. Е. Андреева.

Ник. Андреев

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ*

Опыт постановки темы

Лучшим — из возможных — «итогов» было бы написание истории зарубежной русской литературы. Но до этого еще далеко, потому что очень плохо обстоит вопрос с первоисточниками ввиду частой недоступности или иногда полного исчезновения их. Ряд авторов не в состоянии создать библиографию собственных произведений: утрачены личные архивы, не найти ни книг, ни журналов, ни газет, в которых типографски воплощались эти произведения[1]. Из-за поразительной отчасти скромности, отчасти беспечности русские зарубежные издания случайно представлены в западноевропейских книгохранилищах[2]. Повидимому, ни редакторы, ни издатели не думали о «будущем историке», и не заботились о снабжении библиотек комплектами изданий. В некоторых случаях, впрочем, иностранные библиотекари отказывались принимать эмигрантские издания, находя их «неважными», «неподходящими к характеру книгохранилища» и т. д., и обычно не хотели выписывать их за деньги. Русский исторический архив в Праге, финансировавшийся правительством первой Чехословацкой республики, представлял собой блестящее исключение в Европе, сосредоточив большое количество неизвестного мемуарного материала и документов и — главное — собирая, по возможности, все издания на русском языке вне СССР. Как известно, одним из первых действий со-

---

* Печатается в сокращении. По тексту сборника статей под редакцией Н. П. Полторацкого «Русская литература в эмиграции». Питтсбург, 1972.

ветских властей в Праге, занятой 9 мая 1945 года советскими войсками, был «прием» от чехов материалов этого уникального собрания. «Приемщиком» оказался известный историк, редактор многих томов «Исторических записок», одно время исполнявший обязанности директора Института истории Академии наук, профессор А. Л. Сидоров, бывший в тот момент также полковником «по политической части» и т. д. Спрошенный 15 лет спустя (на одной из конференций историков), когда — примерно — материалы этого собрания станут вновь доступными исследователям, А. Л. Сидоров, бывший сурово откровенным человеком, ответил сравнительно подробно на вопрос, и суть его ответа: «Очень не скоро и едва ли целиком». По-видимому, историки, занимающиеся нашей темой, обречены еще долгое время пользоваться выборочным или случайным, заведомо неполным материалом, — подлинная язва для исследований любого типа. Именно с этой точки зрения будущего изучения зарубежной русской литературы нельзя не пожалеть, что отдельные частные собрания были продаваемы их владельцами или наследниками без особо оговоренных условий об обязательной публикации их или полностью, или хотя бы в форме более или менее подробного описания материалов.

Надо подчеркнуть, что об отдельных зарубежных писателях и об отдельных явлениях русской литературы вне России постепенно накапливается некоторая, подчас весьма ценная, литература (автобиографии, письма, воспоминания и критика)[3], а иногда появляются даже историко-литературные работы. <...>

Г. П. Струве <в книге «Русская литература в изгнании». Париж, 1984> разделил собранный им материал литературы на три этапа:

I. Становление зарубежной литературы (1920–1924 гг.);

II. Зарубежная литература самоопределяется (1925–1939 гг.);

III. Война и послевоенный период.

Едва ли историк неправ, намечая такую именно периодизацию, хотя можно иногда ввести некоторые уточнения, которые, как будто бы, вытекают из самого материала.

Прежде всего возникает вопрос, когда начинается зарубежная литература? Она начинается с того трагического явления, каким является *массовый исход интеллигенции* за пределы своей страны. Странным образом ни Гражданская война, в резуль-

тате которой сотни тысяч русских оказались за пределами Советской России, ни история этой эмиграции объективно еще не изучены. Более того, до сих пор неизвестна точная цифра о количестве русских, оказавшихся вне России. Большая Советская Энциклопедия в 1933 г. напечатала статью М. Алехина «Эмиграция Белая». В ней была приведена следующая сводка о размещении первой эмиграции (в тысячах): Германия — 150, Франция — 400, Югославия — 40, Болгария — 30, Чехословакия — 30, Польша — 100, Румыния — 10, Латвия — 30, Китай — 70 (преимущественно Маньчжурия и Шанхай); итого — 860. Как видно, пропущено несколько стран, в том числе Эстония и Литва. И в той, и в другой оказалась не только вновь прибывшая эмиграция. В Эстонию отошла, например, Северо-Западная армия генерала Юденича вместе с волной беженцев из-под Петербурга, несколько раньше из Пскова, но в той же стране, как и в Литве, было исконное русское население,— в Эстонии оно доходило до 100 тысяч, количество русских в Латвии также было значительно выше — около 200 тысяч, в Литве — до 25 тысяч. Какое-то количество русских было в Финляндии и в Турции, тоже не упомянутых в сводке, в Польше указано только 100 тысяч, но на самом деле русских там жило неизмеримо больше, хотя польская статистика не любила признавать факт нахождения на территории Речи Посполитой массива русского населения. М. Л. Слоним <«Modern Russian Literature». New York, 1953> предполагал, что «почти миллион русских покинул свою страну с 1917 года, и среди них необычно большая часть относилась к аристократии, интеллигенции и к высшей и средней буржуазии, включая исключительно высокий процент литераторов». Вл. Абданк-Коссовский <«Возрождение». 1956. № 51> думал, что «в течение пяти лет из недр России извергнута была огромная людская масса, около трех миллионов человек... русская армия, духовенство, цвет русской интеллигенции, корифеи русской науки, литераторы, представители искусства, промышленности, фабриканты, учащаяся молодежь, рабочие, крестьяне, казаки, горцы, калмыки...» И. К. Окунцов <«Русская эмиграция в Северной и Южной Америке». Буэнос-Айрес, 1967> давал для 1936 года цифру «читательской массы» в два миллиона.

Само собой разумеется, что судьба русских, оказавшихся едва ли не во всех странах мира, была весьма различной, а «месторазвития» зарубежной литературы, естественно, оказались не-

одинаковыми. Некоторую автономность в развитии, по-видимому, получило дальневосточное месторазвитие, хотя во всех известных нам обзорах почти нет сведений о том, как протекал там литературный процесс. До начала Второй мировой войны не играет важной литературной роли ни одна из Америк, хотя в Северной было немало органов русской печати. До 1940 года зарубежная русская литература оказывается в первую очередь и в своей ведущей части сконцентрированной в «праматери-Европе».

В течение *начального периода,* оканчивающегося, примерно, в 1925 году, выясняется ряд обстоятельств, судьбоносных для зарубежной литературы. Выявились русские культурные центры — Берлин, Прага, Белград, а явочным порядком столицей утвердился Париж, задававший тон вплоть до момента немецкой оккупации в 1940 году. София, Варшава, Рига, отчасти Ревель (превратившийся в Таллинн) или утратили свое первоначально важное значение, или постепенно перерождались в меньшинственные центры, русская печать которых, тоже постепенно, все больше вовлекалась в защиту местных интересов против окрепнувших «малодержавных шовинизмов» молодых государств.

Как будто именно в 1925 году начинают гаснуть иллюзии о «быстрой эволюции советского строя» — идея, созданная фактом НЭП'а. Прекращаются попытки изданий журналов, где сотрудничали бы советские и эмигрантские авторы. <...> Таким образом, «первый этап» зарубежной литературы идет — условно, конечно, — до 1925 года включительно.

Второй этап продолжается до 1940 года, до момента вступления гитлеровских войск в Париж. Этот этап, как кажется, имеет внутреннее подразделение — 1933 год. Чем характеризуются первые семь лет этого периода? Важнейшим фактором этого семилетия оказывается появление на сцене и вхождение в зарубежную литературу нового поколения, сложившегося как литераторы уже вне России. <...>

Существенно важным был, конечно, факт, что и ведущие издания в Париже стали чаще открывать свои страницы для литераторов так называемого «второго» поколения эмиграции. «Современные записки» полностью поддержали В. Сирина, Нину Берберову, Гайто Газданова, Леонида Зурова, Мих. Иванникова, печатая их прозу, а также более эпизодически произведения других, как Георгий Песков (Дейша-Сионицкая), Вас. Фе-

доров, Вас. Яновский. Много произведений молодых поэтов увидело свет в этой цитадели высокой культуры. <...>

Парижские «Числа», появившиеся в 1930 году под редакцией И. В. де Манциарли и Н. А. Оцупа в необычайно богатом, подчеркнуто эстетическом оформлении, немедленно возбудили немалые страсти (в частности, своим отказом «дать место политике» на своих страницах), но осуществили сотрудничество всех эмигрантских поколений (в том числе и «незамеченного», по самооплакивающему выражению В. С. Варшавского).

В 1933 году получение Буниным Нобелевской премии, «мировое признание» его гения вызвало подъем интереса к зарубежной литературе и в самой русской зарубежной среде, и вне ее и вселило в эмиграцию некоторый «историософский оптимизм». Надо подчеркнуть, что в течение всего этого периода, и особенно в предвоенные годы, было опубликовано много полноценных книг, которые останутся убедительным свидетельством творческой силы и одаренности писателей вне России. Мережковский выпустил десять томов, посвященных его вечным разгадываниям религиозного смысла истории и «мистериям» ее деятелей (здесь шла речь о Наполеоне, Атлантиде, Иисусе Христе, о нескольких святых, Жанне д'Арк и Данте). Борис Зайцев — в своей столь индивидуальной лирической манере — написал и издал за это же время восемь томов, в том числе чудесный «Валаам» и пленительное «Путешествие Глеба» и удачнейший «Дом в Пасси», воспоминания «Москва» и весьма по-своему увиденную «Жизнь Тургенева»: Зайцев оказался единственным из эмигрантских классиков, который не остался духовно только в прошлом, но ощутил и реальность эмигрантского бытия, в котором вера и верность играют животворящую роль. Шмелев опубликовал три больших романа, четыре сборника рассказов и два тома очерков о дореволюционной России, и как бы ни решала критика вопрос об его писательских качествах, средний эмигрантский читатель его любил, — вероятно, за идеализированный образ России и за необычайно богатый язык. Несколько попрежнему добротных произведений Куприна и сонм «лабораторных опытов в прозе», увлекательных, необычайных, полных многочисленных словесных находок — не менее двенадцати книг Ремизова — увидели свет в течение того же второго этапа зарубежной словесности. Восемь любопытнейших исторических романов и повестей и пьесу «Линия Брунгильды» издал всепо-

нимающий, скептический Алданов. Талантливые повести Б. Темирязева (Юрия Анненкова), десять книг внимательного, снисходительно-доброго и часто иронического, а порою умеющего и посмеяться Мих. Осоргина, «Эмигрантские рассказы» и роман «Ротонда» И. Сургучева, одиннадцать книг Сирина, пять книг Берберовой, четыре полновесных книги Зурова, три книги (считая и стихотворный сборник) Галины Кузнецовой, четыре романа Ирины Одоевцевой, три, кажется, книги повестей и рассказов Вас. Федорова и так далее. Надо прибавить огромный поток стихов, разнообразнейших «по школам». А, с другой стороны, в 1934 году закрылись «Числа», происходило сокращение издательств. Гитлеровщина, спазмы сталинских чисток, испанские события, крах версальской системы в Центральной и Восточной Европе, ожидание военной грозы вынесли опять на поверхность «примат политики».

Третий этап — с 1940 года (падение Парижа) и, примерно, до 1949–1950 года. Главнейший факт — «открытие Америки», точнее — Нью-Йорка как нового литературного центра, куда перебирались все те, кто мог покинуть «праматерь Европу», и где возникли «Новый журнал», ставший с тех пор новой цитаделью русской культуры за рубежом, и живое, беспокойное, ищущее «Новоселье», детище Софии Прегель. Потеря всех «драгоценных осколков родины», на которых были русские меньшинства (от Эстонии до Бессарабии, включительно). Потеря половины Германии, Центральной Европы, Балкан и Дальнего Востока. Исчезновение русской школьной сети в эмиграции. Последней был предложен жизнью курс на ассимиляцию с западными демократиями, «врастание в капитализм». Вторая эмиграция, количество которой точно неизвестно, весьма быстро вошла в зарубежье, которое отчасти было ею «омоложено», выдвинула ряд интереснейших литературных имен, хотя многие из новых эмигрантов скорее и привычнее отзывались на политические призывы, особенно заманчивые ввиду начавшейся «холодной войны».

Четвертый этап зарубежной русской литературы шел, опять-таки примерно, с 1949–1950 года до начала шестидесятых годов с переломным, как будто бы, пунктом в 1956 году. Стала бесспорной ведущая роль «Нового журнала», давшего плеяду замечательных редакторов (М. О. Цетлин, отчасти в качестве советника М. А. Алданов, М. М. Карпович, Н. С. Тимашев, Ю. П. Денике, Р. Б. Гуль), и газеты «Новое русское слово» с ее редакто-

ром М. Е. Вейнбаумом во главе, сумевшими создать «рабочий синтез» творческих элементов обеих эмиграций и всех их поколений. Созданию литературной атмосферы, иногда весьма утонченной, способствовал с 1953 года журнал «Опыты» (девять выпусков, сначала под редакцией Р. Н. Гринберга и В. А. Пастухова, а затем Ю. П. Иваска). Возникновение в 1951 году нью-йоркского «Издательства имени Чехова», напоминавшего размахом своей деятельности издательство «Пламя» в Праге в двадцатые годы, привело к опубликованию длинного ряда разнообразнейших по тематике, но большей частью интересных и ценных книг, начиная с переиздания некоторых томов сочинений И. А. Бунина. Деятельность этого издательства вызывала соревнование и других издательских центров — в Париже, в Германии и в Буэнос-Айресе (в Аргентину после войны переехало немало бывших военных из первой эмиграции и — главным образом — вокруг газеты и издательства «Наша страна» создалась некоторая группа весьма националистических и «право настроенных» литераторов). В Париже с 1950 года блестящую деятельность развило издательство «Рифма», опубликовавшее десятки стихотворных сборников,— и среди многих довоенных авторов две новых звезды первой величины,— Владимира Корвин-Пиотровского и Игоря Чиннова. К несчастью, в 1956 году, посреди, казалось, больших успехов, Чеховское издательство закрылось. Это был тяжелый удар по русской культуре. Почти одновременно прекратило работу парижское издательство «Возрождение», много лет субсидировавшееся «последним русским капиталистом» А. О. Гукасовым. Перекочевавший в 1950 году из Нью-Йорка в Париж журнал «Новоселье» уже больше не существовал.

Парижские литераторы, вновь разделенные на две группы «послевоенными эмоциями» (просоветскими и традиционными), или блокировались с «Русскими новостями» А. Ф. Ступницкого, в которые были привлечены такие крупные единицы, как Адамович, Ремизов и даже Бунин, или массировались около «Русской мысли» В. А. Лазаревского с соредакторами — В. Ф. Зеелер, С. А. Водов и В. В. Полянский (из эмигрантских классиков — Б. К. Зайцев) и журнала «Возрождение» (редактор И. И. Тхоржевский, после его смерти в 1951 году — С. П. Мельгунов до 1954 года, после чего там началась «редакторская чехарда»). Париж, даже после изживания этих «комплексов», ни-

когда не вернул себе прежнего значения, но продолжал оставаться крупным русским культурным центром первой эмиграции, по преимуществу. Интересно, что здесь удачно продолжены традиции внимания к православию: «YMCA Press» не прекратило свою благородную издательскую деятельность, а «Вестник Русского студенческого христианского движения» превратился в серьезный и интересный журнал православной мысли. В Германии, после кратковременного «цветения» Мюнхена, где были всяческие попытки публикаций (самая интересная — журнал «Литературный современник», вышло 5 номеров), важным центром литературной связи стало издательство «Посев» и его журнал «Грани», который в лице своих редакторов — Е. Р. Романова, Л. Д. Ржевского и Н. Б. Тарасовой — развил правильную линию сотрудничества представителей поколений всех эмиграций, — от Бунина, Ремизова, Ник. Оцупа, Сергея Рафальского до совершенно начинающих. Во второй половине периода начали выходить в Мюнхене сборники — «Мосты» — под редакцией Г. А. Андреева (Хомякова), которые обнаружили высокий уровень материала из всех доступных источников.

Примерно с 1961 года начался пятый этап в жизни русской литературы за рубежом. С 1960 по 1967 год Р. Н. Гринберг издал пять выпусков альманаха «Воздушные пути». Но издание стихотворных сборников стало, в большинстве случаев, «авторским капиталовложением». Ряд разнообразных публикаций был выпущен в свет вашингтонским издательством В. Камкина. «Мосты» переехали в Нью-Йорк, и в 1970 году вышел пятнадцатый том этого прекрасного альманаха. В «Новом журнале» появляется все больше статей и рецензий, написанных нерусскими славистами, — есть ли это победа русской культуры или поражение русских зарубежников? После кончины А. О. Гукасова «Возрождение» во главе с князем С. С. Оболенским энергично старается расширить состав сотрудников. «Новый журнал» и особенно «Грани», а также издательство «Посев» и возобновившее в ограниченных размерах работу Чеховское издательство (да в какой-то мере и другие издательские центры) оказались под влиянием совсем нового фактора — произведений внутрироссийского Самиздата. Эта совершенно никем не предвиденная форма слияния двух рукавов русской литературы в типографском воплощении вне России — необычайно красноречива и наполняет оптимизмом всех, кому дорога русская словесность.

Поистине — «неисповедимы пути русской литературы», но в этом типографском братстве тоже выражается взыскуемый синтез потока русского свободного слова. Несмотря на естественную убыль в старших поколениях, зарубежные русские авторы, как в русских сказках, «спрыснуты живой водой» и «встают без числа», и их поддерживает «племя младое, незнакомое» (по вечному слову Пушкина) в России, — единая рать выразителей мыслей, чувств и стремлений современных русских людей, борющихся за человека и за счастье матери-России. Ходасевич прав сегодня, как был прав и в 1933 году: «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным».

Примечания автора

[1] Удивляться этому нельзя, если вспомнить, что именно русские за рубежом были одной из беднейших национальных групп, а, значит, не могли обеспечивать существование своих организаций и, в частности, книгохранилищ и, кроме того, в период катастроф — перед, во время и после Второй мировой войны — именно русские библиотеки подвергались сугубому вниманию, отнюдь не дружественному, различных политических полиций. Как на иллюстрацию, можно указать на судьбу Тургеневской библиотеки в Париже, изъятой и увезенной в Германию, где ее, по-видимому, остатки «дочитывались» советскими бойцами, заинтересовавшимися «русскими, а не советскими книгами», несколько ящиков которых было случайно обнаружено на каком-то железнодорожном складе. Движение фронтов по Средней и Восточной Европе привело к полному исчезновению ряда изданий и частных архивов.

[2] Во всемирно прославленном книгохранилище Британского музея нет полных серий даже столь важных изданий, как журналы «Воля России», «Звено», «Числа», «Новоселье» и так далее. Надо надеяться, что североамериканские библиотеки сумеют учесть подобные ошибки, допущенные в Европе, и будут более систематично следить также и за «русской эмигрантикой», удельный вес которой неуклонно возрастает и которой предстоит еще эпоха открытия ее внутрирусским читателем.

[3] Охватить все многообразие накопившегося материала в сжатых рамках этой статьи совершенно невозможно, но некоторые

публикации назвать необходимо. Очень ценны автобиографические материалы, собранные и опубликованные П. Е. *Ковалевским:* Зарубежные писатели о самих себе // Возрождение. 1957. Окт. № 70 — исключительна по значению здесь запись Б. К. *Зайцева* — «О себе». Для характеристики И. А. *Бунина* показательны его «Воспоминания». Париж: Изд-во «Возрождение», 1950, острые и пристрастные (хотя касающиеся всей жизни автора, но дающие много важных штрихов для эмигрантского периода жизни писателя; весьма любопытен его самоотчет «Нобелевские дни»). Галина *Кузнецова.* Грасский дневник. Вашингтон: изд. В. Камкина, 1967 — талантливое и тактичное изображение Бунина в эмиграции. Андрей *Седых.* Далекие, близкие. Нью-Йорк: изд. «Нового русского слова», 1962,— целая портретная галерея выдающихся людей, встреченных автором; страницы о Бунине особенно выразительны. Много весьма любопытного материала в «Письмах М. А. Алданова к И. А. и В. Н. Буниным», приготовленных к печати М. Э. Грин // Новый журнал. 1965. Кн. 80 и 81. Своеобразная по тону — «маленький фельетон» вместо мемуаров, иронически беспощадная и, по существу, грустная книга *Дон Аминадо* (А. П. Шполянского) «Поезд на третьем пути». Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954,— здесь множество живых подробностей и характеристик «дел и дней» литераторов и в России, и затем в изгнании. Тут же надо назвать прекрасный «портрет» самого Дон Аминада, набросанный Л. *Зубровым:* Дон Аминадо // Новый журнал. 1968. Кн. 90. Пристального внимания заслуживает ряд опубликованных писем Марины *Цветаевой:* к Ю. Иваску (Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956); к Анатолию Штейгеру (Опыты. Нью-Йорк, 1957. V, VII, VIII); к Роману Гулю (Новый журнал. 1959. Кн. 58); к А. В. Бахраху (Мосты. 1960. № 5; 1961. № 6 (предисловие А. Бахраха)); ее же письма к Анне Тесковой, подготовленные к печати Вадимом Морковиным (Прага: Изд-во Чехословацкой Академии наук, 1969). Среди воспоминаний о Цветаевой надо выделить и лично, и исторически значительные М. Л. *Слонима* (Новый журнал. 1970. Кн. 100; 1971. Кн. 104). Интересны выдержки из писем Алексея *Ремизова* к Наталье Кодрянской (Алексей Ремизов. Париж, 1959), где собран красноречивый материал и дан осторожный комментарий. Ряд существенных деталей о жизни, личности и окружении писателя дан Наталией *Резниковой* (Из воспоми-

наний о А. М. Ремизове // Мосты: Товарищество зарубежных писателей, 1968. № 13–14). Необычайной силы и прелести «Повесть о Вере» (письма В. Н. *Буниной* к В. А. Зайцевой, обработанные и комментированные Борисом Зайцевым) (Мосты. 1968. № 13–14). И пожалуй, еще ярче «Другая Вера» (письма В. А. *Зайцевой* к В. Н. Буниной, приготовленные к печати тоже Б. К. Зайцевым), — в их непосредственности и замечательной меткости суждений драгоценный источник «аромата эпохи» и потока любопытных деталей о жизни зарубежных писателей (Новый журнал. 1968–1970. Кн. 92, 95, 96, 98, 99). Ряд писем писателей из неистощимого архива Г. П. Струве был опубликован в журнале «Мосты» (№ 1, 3, 13–14, 15) — с ценными примечаниями и объяснениями владельца.

Чрезвычайно много дает для «познания» литературного Парижа четкая и уравновешенная книга Ю. *Терапиано* «Встречи». Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. О так называемой «парижской ноте» в зарубежной поэзии следует прочитать книгу Георгия *Адамовича* «Комментарии». Вашингтон: изд. В. Камкина, 1967 — хотя тематика статей, включенных в том, значительно шире только эмигрантики и воспринимается как «Кредо» этого взыскательного, иногда парадоксального и, странным образом, не слишком конструктивного, но влиятельного критика; тем не менее подлинным его «местом битвы» являются «сердца» эмигрантских литераторов, «мэтром» части которых и оказался этот прекрасный поэт, превратившийся — с половины пятидесятых годов — в главного литературного «законодателя» эмиграции, склонной к «табели о рангах» и к «иерархии». Весьма интересна, но довольно субъективна книга В. С. Варшавского «Незамеченное поколение». Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956 — ценность ее именно в изменении «угла зрения»; ряд фактических неточностей, вкравшихся в тему, и полемика «по существу» отлично выявлены в статье Ю. *Терапиано* «По поводу незамеченного поколения» (Новое русское слово. 1955. 27 ноября) — по-видимому, критик писал до выхода книги, зная только отдельные главы, уже появившиеся в виде статей. Ю. Терапиано интересно рассказал также «Об одной литературной войне» (Мосты. 1966. № 12): подлинная история нападок Георгия Иванова на В. Ф. Ходасевича и отголосков ее в литературных кругах.

Исключительной ценности оказалась книга М. В. *Вишняка* «Современные записки; Воспоминания редактора» (Indiana

University Publication S. & E. E. Series, 1957), вызвавшая волну откликов,— см. М. В. *Вишняк.* «Заключительное слово» (Новый журнал. 1959. Кн. 57).

Литературная критика очень часто не может быть конкретизирована, так как нет той прессы, где она печаталась: мало что можно сказать сейчас о критических статьях Д. В. Философова (Варшава), А. Л. Бема (об его статьях в варшавской прессе), Ю. И. Айхенвальда (он же В. Кременецкий в «Руле»), А. Савельева (С. Г. Шермана) — его отзывы в «Руле» оставили впечатление «хорошего уровня» и независимости; нет, по-видимому, возможности пересмотреть и литературные статьи П. М. Пильского, писавшего во многих изданиях, но в эмиграции, главное, сначала в ревельских газетах, а позднее в рижском «Сегодня». Вообще в отношении критики приходится обращаться ко всей эмигрантской периодике,— задача технически безнадежная. Поэтому в центре внимания остаются только те критики, суждения которых собраны в книги. Владислав *Ходасевич.* Литературные статьи и воспоминания (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954) — том (подготовленный к печати Н. Н. Берберовой) дает прекрасное представление о диапазоне интересов и методе этого прославленного автора, но, к сожалению, только четыре из тридцати «опусов», соединенных в книге, касаются эмигрантской тематики в прямом смысле. Книга Георгия *Адамовича* «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) — целиком посвящена зарубежным авторам. По утверждению Глеба Струве, «книга Адамовича составилась по большей части из ранее напечатанных, но часто значительно переработанных статей» («Об Адамовиче критике. По поводу книги «Одиночество и свобода» // Грани. 1957. №№ 34–35). Действительно, будущий историк не найдет в этой книге, например, подлинного отношения Адамовича к Сирину-Набокову, как оно отражалось в течение первого десятилетия расцвета таланта писателя, поэтому *исторически* книга дает меньше, чем «четверговые статьи» критика в «Последних новостях», где осторожная, но неуклонная «анти-сиринская линия» велась им годами. В предисловии к переизданному во второй половине шестидесятых годов роману «Защита Лужина» Г. В. Адамович — например — считает, что самоубийство Лужина «оправдано», но в 1930 году провозглашал такую концовку «беллетристической неудачей» (см. Н. *Андреев.* Сирин // Новь.

Таллин, 1930. III). В сборнике статей Федора *Степуна* «Встречи» (Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962) — перепечатаны четыре интересных статьи этого блестящего критика и первоклассного редактора-советника литературного отдела «Современных записок» — две о Бунине, одна о Б. К. Зайцеве, а также обзор «Советская и эмигрантская литература 20-х годов», где выявлена одна из любимых его идей: «настоящая Россия мыслима только как единство своего прошлого и своего будущего», и где он высказал немало горьких истин в адрес обоих потоков русской литературы.

Кембридж, январь 1971 года

Игорь Чиннов

АВТОГРАФ

Воспоминания

Воспоминания Игоря Владимировича Чиннова (1909–1996) при его жизни не печатались. Да они и не были закончены. Если точнее — были только начаты: «Через месяц мне шестьдесят четыре. Пора писать воспоминания...». В одном из машинописных вариантов «шестьдесят четыре» зачеркнуто и сверху написано: «восемьдесят». Судя по всему, к написанию воспоминаний Игорь Владимирович относился довольно несерьезно, берясь за них примерно раз в двадцать лет, и потом напрочь забывая. Когда, в 1995 году, разбирая его архив, я нашла несколько разрозненных страничек и спросила его — что это, — он очень удивился, а прочтя, сказал: «Неплохо написано, можно бы и в "Новом мире" напечатать, если закончить. Там еще были странички». Странички, количеством двадцать, нашлись со временем среди прочих бумаг. Но закончить «Автограф» — так Чиннов назвал воспоминания, — он даже и не попытался. Тем более, что им уже был издан другой «Автограф» — так называлась книга стихов, посвященная памяти матери и отца (последняя из восьми его книг). Похоже, что воспоминания и задуманы как дань их памяти. И как только родословная родителей и то немногое, что помнилось из дореволюционного счастливого детства, были рассказаны — воспоминания закончились. Дальше писать расхотелось, ведь все хорошее, светлое, о чем можно написать — тоже закончилось. Началась революция, положившая конец этой уютной, доброй, неспешной жизни, имеющей прошлое и предполагающей будущее. А говорить или писать о мрачном Чиннов всячески избегал. Однажды я спросила, что случилось с его матерью. «В дом, где она была, попала бомба. Больше не спрашивай меня об этом».

Шагаешь по мокнущей груде
Безжизненных листьев, во тьме —

И вдруг вспоминаешь о людях,
Погибших тогда, на войне.

И знаешь, что помнить не надо:
Умершим ничем не помочь.
И память — как шум листопада
В глухую осеннюю ночь.

Это один из наиболее печальных стихов Чиннова. Сам он считал самым мрачным свое стихотворение «В бессмысленной тюрьме необходимости...» «Так писать все-таки нельзя», — говорил он. Обычно стихи Чиннова, даже очень грустные, освещены лучиком надежды, в них слышится или улыбка, или, на худой конец, ирония. И в жизни он был, как свидетельствовал его друг Юрий Иваск, «веселый малый: // Уж не из Хлебникова ли смехач?..» Я знала Игоря Владимировича уже в последние годы его жизни, но и тогда он не утратил ценимое в нем друзьями чувство юмора. Шутил, охотно смеялся. В Америке Бетти, вдова его друга и соседа по этажу, профессора Сергея Зеньковского, удивлялась, почему он, уже больной, вместо того, чтобы ехать жить в «дом отдыха» (по-нашему — дом престарелых) с таким прекрасным названием «Тенистый дуб», продолжает жить один в квартире, платит сумасшедшие деньги служанке. Первым в числе аргументов Игоря Владимировича был такой: «Там нельзя громко петь. А когда мне хочется плакать, — я пою».

Итак, вот те странички воспоминаний И. В. Чиннова, которые удалось найти. Воспоминания печатаются по машинописному тексту, хранящемуся в архиве И. В. Чиннова (ИМЛИ РАН, отдел рукописей, ф. 614).

Через месяц мне шестьдесят четыре. Пора писать воспоминания. Их принято начинать словами: «Я родился».

Я родился 25 сентября 1909 г. по новому стилю, 12 сентября по старому. Скажем, 25 сентября. Это значит, под знаком Весов. Хорошо, что Весов, не бесов. (Но и бесы порой усаживались на чашку весов.) Что говорят любители гороскопов? Что, во-первых, я человек уравновешенный. Что, во-вторых, достоинств и недостатков отпущено мне в равных долях. Что, в-третьих, горестей и радостей мне тоже отведено поровну. Предположим.

Да, в субботу 25 сентября 1909 г. в шесть часов вечера в Курляндии, в городке Туккуме[1] неподалеку от Риги, в нескольких часах езды проселочными дорогами в коляске, между диких яблонь, мелких рощиц, полей с невозмутимыми черными коровами и сиреневой кашкой — в нескольких часах езды среди лужков, мыз, желтых акаций, лилового репейника, возов с сеном, далеких кукареку, — в нескольких часах, говорю я, от имения бабушки (матери отца, которую в семье звали Tante Marie или, русифицируя, Марья Егоровна, дочери Георга Готфрида Адальберта фон Морр, мне вовсе не известного). Конечно, я предпочел бы родиться в имении: если не в родительском, то хоть в имении бабушки — тогда оно еще не было продано. (Бело-желтый греческий широкий треугольник над четырьмя белыми колоннами, мутная желтизна обжитого, уютного ампира; жасмин, лилово-синие анютины глазки, чахлая чайная роза; в липовой аллее белое платье, не правда ли?). Но рождения в дворянском гнезде не получилось.

Впрочем, разве в «Дворянском гнезде» Лиза жила в дворянском гнезде? Большой дом с садом — так это было и у нас; но все-таки «имение» звучало бы почетней. Увы, увы. Надо быть очень осторожным в выборе своих родителей, говорил Гейне. Другие, может быть, родили бы меня в имении. Но я все-таки доволен своим выбором: да, ошибся в координатах и месте, и даже времени (надо было родиться лет на сто раньше) — но родителей выбрал правильно, я уверен: редко случалось мне встречать людей такой чистоты, доброты, честности. Обрываю.

Туккум — там мы очутились потому, что отец мой, Владимир Алексеевич Чиннов[2], по окончании Петербургского университета туда был назначен следователем (следователи есть у Чехова). В городке (латышском, лютеранском, среди пожелтевших кое-где грядок с огурцами, белых гусей, серых заборов, старых вязов, кустов черной смородины, темно-красных, почти до черноты, георгин, старух в черном с черными Библиями и черными кошками) — была и православная церковь. Звонарь приветствовал меня перезвоном: я подоспел к вечерне. Белая с пролетами колокольня на предзакатном, чуть желтеющем небе; пожалуй, уже носились стрижи, ласточки.

Лирическое отступление. Что еще случилось в тот час? Может быть, в саду желтоватая груша оторвалась, упала на тонкие, тускло-зеленые травинки (подле черного, как бы полированно-

го муравья, привычно занятого своей житейской Сизифовой ношей). Да, созреть, оторваться — такова, душа-груша, наша судьба. Может быть, отпал от цветка легкий и совсем еще свежий на вид сиреневатый лепесток — тоже ненавязчивое напоминание, что есть в этом мире — да, смерть, догадаться не трудно. А может быть, крохотный паучок спускался на незаметной паутинке — парашютист с невидимым парашютиком. Пожалуй, был он таким же новичком в мире, как я, таким же новопришельцем — переселенцем из другого мира. И возможно, пролетела над садом, гораздо выше паучка, какая-нибудь обыкновенная птица: будто несовершенная замена — кого? Аиста? Ангела?

А помимо этой проблематической символики, отметим и другую. За час до моего дебюта (родившись, я сразу же заявил о себе, взяв чуть ли не верхнее «до») — в город вошли солдаты. Нет, мирные, на этот раз еще мирные: гарнизон. Возвращались с учения, распевали, с присвистом, сквозь дорожную пыль:

Наши жены — ружья заряжены!
Вот где наши жены!

И, не дойдя до нашего сада, умолкли: воинский начальник велел сказать ротному, что жена следователя рожает. Увы! В дальнейшем служители Марса такой деликатности не проявляли: я пережил две мировых войны, одну гражданскую. «Ружья заряжены» палили частенько. Неприятно, не правда ли, особенно если учесть, что не передалась мне по наследству воинственность обоих моих дедов — полковника и подполковника — не говоря уже о ратном пыле длинного ряда предков моей матери — Александры Дмитриевны, урожденной фон Цвейгберг, — бряцавших оружием чуть ли уже не тогда, когда им меняли пеленки: недаром в цвейгберговском гербе две горки из пушечных ядер.

Предки эти, Цвейгберги (надо бы начать с Чинновых, но все равно) едва ли б оказались в России, если бы не царь Петр. В баталии между полками московского царя и армией Карла XII[3] майор Якоб Тённес фон Цвейгберг держал сторону короля шведского. Фортуна королю не улыбнулась, как известно, — и довольно кисло улыбнулась майору: предложено ему было перейти на службу к русскому царю, предложение он принял, но мзду получил довольно тощую. У меня хранится копия письма,

написанного майором Якобом 1 мая 1727 г. в Дорпате — Дерпте — Юрьеве, нынешнем Тарту: странным образом, в том самом Юрьеве-Дерпте, где после Туккума прошло мое раннее детство. Письмо адресовано было кузену майора, квартирмейстеру Антону фон Цвейгбергу, в Стокгольм. На забавном немецком языке жаловался майор Якоб, что вместо ингерманландских его земель даровано ему от покойного царя Петра всего-навсего местечко Тимофеево в одной миле от Дорпата — Дерпта (как ни странно, да, Тимофеево — под Дерптом); что местечко — пустошь, с мужиками трудно и вообще никс гут. А еще просил майор выслать ему бумаги, уточняющие факт благородного его происхождения, причем напоминал, что часть бумаг должна находиться в Праге — род их начало ведет из Богемии: один фон Цвейгберг был, как и в родословной показано, шталмейстером при дворе Максимилиана Первого[4] — императора Священной Римской Империи Германской Нации: Heiliges Römisches Reich Teüscher Nation. Майор так и писал Teüscher, через T, как в старину.

По-немецки писал майор Якоб потому, что был немец, только на службе у шведского короля, ландскнехт. А то — такой же немец, как и шталмейстер (родоначальник).

Шталмейстера представляю плохо. Надо полагать, он важничал: сколько лошадей у него под началом, сколько людей! Императорские конюшни — дело серьезное: неисправных конюхов сам порой ударит железной перчаткой. Император все хочет знать: здоров ли такой-то конь, любимец, здоров ли такой-то, тоже любимец? А до чего беспокойно, когда соколиная охота! Ну, и т. д.

Стараюсь вообразить конец пятнадцатого века, начало шестнадцатого. Бледный рассвет, на сероватом небе острые шпили. Пражский замок: брустверы, узкие амбразуры в толстенных стенах; крепко стучит алебарда о каменный пол (глухое эхо под стрельчатым потолком, высоко). Зима, в каменных залах сырой холодище. В огромной черной кухне огромный очаг, жарится громадный черный кабан — трофей вчерашней охоты. Запах паленой щетины, горящего жира, чад. Несколько человек в латах, оловянные кружки размером с барсука. Перебранка. В высокой башне, при толстой свече толстую книгу читает толстый каноник — почти единственный грамотей, увы. Вместо уборных — призамковый лес. Никто не моется: вода — вещь опасная, от нее

прыщи. Свора собак, похожих на волков, лает бешено, с подвизгом. Лошадь на замковом дворе качнула головой, убранной страусовыми перьями, заржала. Опять стук алебарды о камень.

Нет, эта эпоха мне чужда. Чужда и неприятна. Как неуютно было! Не завидую предку-шталмейстеру. И ничего общего у меня с ним нет. Кроме, отчасти, крови? Но кровное родство самое неубедительное.

Без родственных чувств думаю и о майоре Якобе Тённесе фон Цвейгберге, ветеране шведско-русской войны, пленнике царя Петра. Почему-то кажется, что он был долговязый, в зеленом мундире, черная треуголка после баталии сидит криво; длинная жилистая красная шея сзади в крупных ромбах, длинный багровый нос. Бледно-голубые глаза мутно сверкали злобой, когда шпагу свою отдавал он русскому офицеру: резко ткнул эфес тому в руку, коротко хрюкнул, резко звякнул большими шпорами на грязных от похода ботфортах. Мысленно гляжу ему в глаза: белки у него почти цвета лунного камня, опала, с мелкими розоватыми жилочками около век: от пьянства, конечно.

Собственно, о нем можно было бы узнать кое-что довольно точно: до сих пор живет в Стокгольме другой фон Цвейгберг, тоже майор, представьте, тоже с двумя горками ядер на гербовом перстне, тоже, как его предок, интересуется историей своего рода. Друг мой Анатолий Реннинг, работник Стокгольмского Исторического архива, сообщил мне о нем, ему — обо мне. Но за четырнадцать лет я не собрался ему написать. Да и не стоит писать, узнавать — к чему?

Да, дорогой майор Якоб, дальний предок, так вот: привелось вам нарушить клятву верности одному государю, присягнуть другому. Ну что ж, бывает; вот и меня, когда принимали в американские граждане, заставили отречься от верности иностранным «потентатам» — так и сказали: «потентатам». Я и отрекся, от всех потентатов сразу. От потентатов, от готтентотов — от всех. Оказались вы, по неразумению вашего потентата, у разбитого корыта. И мне, из-за кое-каких потентатов, случалось оказываться: именно у разбитого, разбитого, совершенно точно. Жму вам руку, предок, коллега ди-пи.

Но переменим пластинку, а то желчь разольется. Вспомним что-нибудь приятное.

Вообще-то земли, пожалованные майору Якобу московским царем Петром, были хоть и не плодоносны, а не без прелести.

Валунов, как в Швеции, правда, не было. Но тоже были белые ночи, были на серовато-бежевом песке тонкие, графические рыбачьи сети. В серых крестьянских домиках рыбешка стремишка — strömlinge от слова strom, течение — коптилась до золотого блеска, под темными потолочными балками висели и-зу-ми-тель-но душистые окорока и колбасы, такие тугие и крепкие, что если бросить такую колбасу на стол (столы были дубовые, темные), то звенела она, как тяжелая серебряная монета. Подальше, в болотистых лужицах, порой бледно отражался закат, где-то вскрикивал, с протяжным окончанием, невзрачный чибис. Такие места я помню. Дикая утка влетала в озерко, довольным тоном крякала. Вот так бы влететь — в бессмертие? Обратно в детство? Куда? В низкой траве мелко голубели незабудки. Не забуду вас, незабудки.

Именно в этих краях оказались мы, когда папа был переведен на место судебного следователя, в тот самый Дерпт, Дорпат, где в 1727 году обижался на покойного царя и на местечко Timofeeff прапрапрадед моей матери. Местечко Timofeeff, бывшее в одной миле от Дорпата-Дерпта, к двадцатому веку, надо полагать, слилось с городом — может быть, там мы и жили, не ведая, что топчем землю предков? Ни о каком Тимофееве я тогда не слыхал.

У прадеда моего, Василья Карловича Цвейгберга, имение было в других краях: в Новгородской губернии, в Крестецком уезде — Порхалово; теперь это колхоз «Володарец». В Порхалове и жил, его транжирил, расточал понемногу дед мой Дмитрий Васильич — человек русейший, ни по-шведски, ни по-немецки ни бум-бум, русак, только фамилию не склонял: сохранялось у нас Евангелие 1804 года, на нем гусиным пером надпись:

«сія Книга принадлежитъ
Дмитрію Васильичу Цвейгбергъ».

Имение пришлось продать, по той причине, что, мечтая поправить расстроенное состояние, дед пустился в торговые операции. «Зря вы это, папаша, не дворянское это дело», — увещевали подполковника почтительные его девять сыновей[5]. «Ну вот, яйца курицу учат!» — ворчливо ответствовал, как мне рассказывала мама, своенравный «папаша». Кончилось тем, что взял его вместе с бабушкой к себе в Ригу дядя Володя, старший сын. Маму, окрещенную в Новгороде у Федора Стратилата, тоже привезли в Ливонские края — четырех лет от роду. Там в Риге, на

Покровском кладбище, с черным гранитным обелиском в головах, и упокоился дедушка Дмитрий Васильич — вместе с бабушкой Елизаветой Дмитриевной, урожденной Косаговской, из Корвин-Косаговских, рода древнего, но захудалого. Видел я деда с бабкой только на фотографиях.

В Риге и познакомилась мама с кандидатом прав Петербургского университета Чинновым Владимиром Алексеевичем. Папа был коренной рижанин — там окончил и гимназию, классическую, Александровскую (на выпускном акте декламировал по-гречески). После Петербурга приехал ненадолго к родителям: дед мой, бывший комендант Усть-Двинской крепости под Ригой (николаевские казармы и древние стены), был уже в отставке. Несмотря на мать-немку, отец считал себя русским — русским по характеру он и был.

(Помню, в Юрьеве двоюродная тетка моя Эльвира, пышная дама в мехах и шляпе на полкомнаты, фон Морр, весьма гордившаяся своим фонморрством, раз патетически спросила: «Володя, ведь ты фон Морр?» «Нет,— невозмутимо ответил папа.— Я Чиннов». Драматический жест пропал зря.)

Чинновы не очень уж родовиты. По бумагам какой-то Alexander von Tschinnow («w» не произносилось, как в фамилиях v. Bülow, v. Schlettow) въехал в Россию при Екатерине в 1786 году — из Пруссии, но герб будто бы франконский, судя по крыльям, вырывающимся из короны: отдельные два черных крыла, без других птичьих атрибутов, и между ними, тоже отдельно, дева в венке; на щите три красных ромба. Давайте считать, что крылья принадлежат Пегасу, венок — лавровый — мой, ромбы — с костюма Арлекина, символа легкомыслия и насмешливости. Как-то я спросил папу о предках. «Ну что ты пустяками интересуешься, разве это важно?» Папа был «демократических убеждений», в душе разночинец. Сказал мне, что из живых Чинновых известны ему только двое: бывший «Ваничка» Чиннов, военный юрист, товарищ прокурора, да Миша, секретарь Московского военного окружного суда — оба для него политически, даже морально-политически, совершенно неприемлемые.

Суд папа одобрял только гражданский — не военный. «Правда и милость да царствуют в судах»,— эти слова Александра Второго были «начертаны», как тогда говорили, на странице Судебных Уставов, висевшей под стеклом в отцовском кабинете. На свадебном снимке — где мама в странной венкооб-

разной прическе — начинающий «судейский» В. А. Чиннов стоит в длинном форменном сюртуке с темно-зелеными бархатными нашивками, украшенными царской короной на бронзовом столбике; на столбике надпись «ЗАКОНЪ» (столбик, столбик, недолго же ты простоял). Неизвестно почему, родители венчались в церкви Рижского замка. Свадебное путешествие — в Париж — было непродолжительным; прямо из Парижа приехали в Туккум — там года через два и родился «пишущий эти строки». Еще через четыре года мы переехали в Юрьев — Дерпт, Дорпат. В Юрьеве скрестились несколько моих «семейственных линий».

Лет через сто шестьдесят после того, как в Дерпте стал майор Якоб Тённес фон Цвейгберг опорой русского царя, приехал туда же, в Дерпт, готовить гибель проклятому царизму другой мой уже не предок, но тоже родственник — двоюродный брат матери, Петр Филиппович Якубович-Мельшин, известный революционер, народоволец, даже более известный, чем предок его декабрист. Устроил там «нелегальную», как тогда выражались, типографию, сам набрал и напечатал номер подпольной «Народной воли» с призывами к народу смести паразитов: жандармов, помещиков и остальных буржуев. Представляю себе типографию — комнатенку в квартире студента Переляева: две или три жалких керосиновых лампчонки, движутся тени на стенах (дядя жестикулирует, составляя прокламацию), в пыльных ящичках свинцовые буквы (вредно для легких). Вокруг бюргерский Дерпт; толстые бюргеры, за день насосавшиеся народной крови, храпят громко, но мирно. В блестящих глазах дяди, прекрасного человека, энтузиазм: прокламация почти готова. Тикают дешевенькие часики, приближая светлую зарю человечества. Серая мышка догрызает кусочек копченой колбасы с таким увлечением, словно тоже подтачивает самые основы монархии.

Лет через тридцать после того в том же Дерпте — Юрьеве охранял упомянутые основы монархии другой мой двоюродный дядя — Александр Робертович фон Морр, жандармский полковник. Родители мои, читатели либеральной газеты «Речь», с таким реакционером знаться не хотели. Все-таки жена его, тетя Наташа, у нас бывала. Раз она завезла меня к себе. Помню большую икону, словно из иконостаса — Георгий Победоносец поражает дракона — не в углу, а посреди стены, рубиновое сияние лампадки, турецкие тахты, восточное оружие. До применения

оружия дело не дошло, но битва все-таки произошла, почти у ног Георгия Победоносца: тетя Наташа, неизвестно почему, разбушевалась. Дяде, усмирителю бунтовщиков, пришлось туго. «Я дочь генерала Орехова! — кричала тетя, хотя дядя об этом уже знал.— Дочь русского генерала, не какой-то ревельской кильки фон Морр! — Передразнивая: — Морр! Вот именно — мор! Уморил ты меня совсем!»

Дядя, подбиравший сигару, которую супруга, вырвав из пухлых его пальцев, швырнула на ковер, взирал на нее снизу, подобно поверженному дракону на иконе.

В одном тетя Наташа была права: на дочь ревельской кильки она действительно не походила — была круглая, подвижная, говорливая. Все же презрение к ревельским килькам не оправданно: серебристая эта рыбка, с янтарным ободком вокруг черного зрачка, смутно-розоватым мясом — и темным лавровым листиком, и черными перчинками в коробочке,— лучшая закуска и к рябиновке, и к зубровке. За ваше здоровье. И за упокой души — многих душ: за упокой всех, чьи тени тревожу я этим рассказом: революционеров, либералов, реакционеров, милитаристов, миротворцев.

Справиться с бунтовщиками дяде фон Морру — мору — не удалось не только на семейном фронте: Российская Империя, как известно, пала. Оказавшись после революции в Риге, столице Латвии, и размышляя о превратности судеб, дядя обращал взоры к небу. Думы о ходе планет, влияющих на человеческие судьбы, дали ему идею: не находя другого заработка, он решил заняться астрономией. Подобно звездочетам с Босфора[6] у Андрея Седых, Александр Робертович приобрел уличный телескоп и подле латвийской статуи Свободы, на бывшем Александровском бульваре стал показывать зевакам разные Кассиопеи. До астрологии он, правда, не дошел. А если бы вгляделись мы, все здесь упомянутые, в ход планет и поняли бы, какая «планида» управляет нашими судьбами,— что бы мы сказали? Что сказал бы, в частности, дядя Петя Якубович, борец за свободу?

Еще немного о Моррах. В Юрьеве — Дерпте иногда приходил ко мне играть троюродный брат мой Кирилл фон Морр[7], сын тети Наташи и жандармского полковника. Он был года на три старше меня, очень хорошенький, черно-кудрявый, с большими черными глазами, драчун, задира. Потом женщины за ним увивались. Он выведен в романе Ирины Сабуровой «Корабли ста-

рого города»[8] под именем корнета фон Доорна: да, лет в восемнадцать он был заправский корнет, бравый, картинный, бредил Российской Императорской Армией, знал форму чуть ли не каждого полка. В Риге был он актером в Театре Русской Драмы, на маленьких ролях. Так вот, в Юрьеве, восьмилетним, приходил он иногда ко мне. Проскакав на деревянных лошадках-качалках более тысячи верст (он — ординарцем, а потом личным адъютантом Багратиона или Наполеона), мы приступали к другому занятию: он ломал мои игрушки. Не все сразу: две-три. Ну, это бывает: не раз ломали мне игрушки и позже, гораздо позже. А я все еще развлекаюсь разными игрушками.

Что же до тети Наташи, то ее надо помянуть добром. Когда в 1923 году добрались мы из Ставрополя до Риги, служила она в какой-то благотворительной организации. Мы тогда обнищали совершенно. Тетя снабжала нас супом; я приходил за ним жестокой зимой, скользя по льдистому снегу, повязанный поверх легкого пальтишка (другого не было) серым платком, очень красивым, но тогда не воспринимавшимся мною эстетически. Вначале, раза три, за неимением у нас другой посуды нес я бобовый суп в цветочной вазе — тоже красивой, глиняной, темно-зеленой, с сиреневыми ирисами, без ручек (прижимал горячую вазу к груди, суп иногда крепко плескался). Ну, если стольким людям пришлось переменить род занятий, образ жизни, — почему ваза должна быть исключением? Привет тебе, амфора, хранительница тепла, свидетельница печали.

Но вернемся в Юрьев — Дерпт, в последние годы Российской Империи. За время, протекшее со дней основания его при Ярославе Мудром, городок, надобно сказать, изменился. Был, несмотря на Российскую Империю, совершенно немецким, плюс какие-то эстонские ингредиенты. В истории русской литературы он упоминается: друзья Пушкина Дельвиг, Языков, Кюхельбекер учились в Дерптском университете. Помню черепичные темные с прозеленью островерхие крыши, черных железных петухов на остриях лютеранских колоколен. С окраинных двориков иногда ветром доносило «кукареку» живых их собратьев: соперничая с часами на башнях, извещали они, что время не стоит на месте. На холме, называвшемся Домберг, Соборная гора, у развалин замкоподобного готического монастыря, мы с бонной-гувернанткой выигрывали сражения. Я потрясал желтой тросточкой, набалдашник — серебряная голова разъяренного буль-

дога — сиял, разрезая послеобеденный осенний воздух. Иногда мы ездили к бабушке; в саду, заросшем, неухоженном, играли в прятки. Помню оранжевую гусеницу, черноголовую, очень большую — пожалуй, красивую, но страшноватую. Помню сине-черную бабочку — она лежала на земле, крылышки почти не шевелились, но что-то под ними равномерно пульсировало: должно быть, умирала, бедняжка; но я не понимал. Помню лиловые ирисы, тоже как будто из семейства мотыльковых, с сетчатым желтовато-бежевым основанием лепестков. В бабушкином доме, среди огромного количества темно-красных плюшевых кресел и портьер, я на Пасху лазил по темно-красным коврам, искал под темными, грузными шкафами и столами шоколадные яйца в золотой обертке: полые, с золочеными пистолетиками в виде начинки. Золотые яйца, символ счастья. Не раз в жизни потом случалось так: стараться достать — что достать-то? Чуть-чуть шоколаду да крохотный пистолетик, с которым неизвестно что делать. Впрочем, пистолетик, символ войны, в этом рассказе кстати. И главное, прельщала золоченая обертка: люблю все золотистое, недаром так часто это слово в моих стихах. Не знаю, замечал ли я тогда эту торжественную темновишневость плюша и бархата, кое-где рубиново-ярко сиявшую под краем солнечного луча, царство света, в котором спирально, как бы под медленный вальс Штрауса, двигались озаренные пылинки. Или — замечал ли, что багрово-пунцовый рубин этот похож на кровь? (Все оказалось кстати: и вещи цвета крови, и пистолетики в пасхальных яйцах: дело было накануне войны.)

На прощанье бабушкина рука, подагрическая, артрическая, крабообразная, неровно, нервно гладила мне маковку. Суховатые губы прижимались к моему виску, водянистые глаза посреди морщинок смотрели слезливо и грустно. Халат бабушкин, куда я прятал лицо, царапал парчовой отделкой.

По-русски бабушка «Марья Егоровна» говорила скверно, по-немецки говорить с началом войны стало не ко времени, мама с ней чуть ли не с первых слов переходила на французский. Я ничего не понимал. Но скоро меня отдали — увы, ненадолго — во французский детский сад; помню белые сандалии, в которых я шел между клумбами каких-то лиловых цветов. Две сухие дамы в синих платьях стояли на веранде, полной осеннего утреннего света, с группой детей, все пели:

Les japonnais sont toujours gais,
Toujours gais, toujours gais!
(Японцы всегда веселы, всегда веселы, всегда веселы!)

Это повторялось трижды. Причины такой всегдашней веселости японцев остались для меня тайной. (Теперь кстати было бы перенять эту японскую вечную веселость.) Помню девочку, года на два постарше меня, безброво-голубоглазую, важничавшую передо мной — кажется, она была баронесса; помню розовую раковинку уха, приподнятую губку, кремовое пикейное платье с чесучовым бантом, нежную кожу тоненькой руки в полуденном свете, еще с летним загаром, абрикосовую. Теперь эта девочка — старуха, если не скелет, не правда ли? Если не скелет.

Как-то безветренным вечереющим днем мы с папой гуляли, я подбирал с влажной земли каштаны, блестящие, коричневые, именно каштановые, как мои ботинки. Шевелил этими ботинками шуршавшие листья. Яркий коричневый шотландский сеттер небрежно-размашисто носился по желтовато-бурому парку. Я вдруг спросил: «Папа, а что такое Бог один и в трех лицах?» Папа удивленно ответил: «Ну, об этом поговорим, когда ты вырастешь». Когда я «вырос», спросил бы я у него: что такое смерть?

Но я отвлекся в сторону, в тот ранний вечер мы, кажется, шли к бабушке.

Бабушка жила одна, с двумя эстонскими старушками — старушки присматривали по хозяйству. После потери обоих мужей, полковника Чиннова и полковника фон Дихта (толстенный Дихт, по ее словам, сам утопил себя в пиве), остались у нее только два развлечения: пасьянсы и оппозиция к моей матери. Впрочем, была еще кошечка, совершенно черная; очень изящно сидела на ярко-вишневом диване, задрав ножку, деликатно облизывалась розовым язычком, похожим на лепесток розы. Я побаивался: вдруг она перебежит мне дорогу? По-видимому, она перебежала.

А у нас был попугай: висел в гостиной в большой клетке около пальмы — пальма должна была напоминать ему родные края. (Какое дерево завести мне? Развесистую клюкву? В своем канзасском саду я не посадил ни березки.) Попугаи неправдоподобны: наш был красно-сине-желтый, точно флаг Колумбии или республики Чад. Не он ли мне внушил любовь к краскам, яростно-яркий красавец! Гостиная была солнечная, попугай так

и сверкал. Склад ума у него был философский, скептически-стоический — чаще всего он кричал: ерррунда! Жаль, не научился я у него называть ерундой капризы Фортуны.

Раз на главной улице Юрьева — Дерпта увидели мы обезьянку. Старичок стоял подле трехногого ящика (конечно, это была шарманка), на ящике сидело, в красной курточке и синих штанишках, маленькое коричневолицое существо; темно-коричневые глаза, как бы семитские, с какой-то древней скорбью, умные, усталые, взглянули на белокурого голубоглазого мальчика. Тоненькая темная нежная ручка протянула билетик: на трех местных языках мне было гарантировано счастье, удача во всех моих предприятиях, коммерческих особенно. Я упросил старичка посадить обезьянку мне на плечо. Вот если бы и сидела так у каждого из нас на плече маленькой милой мартышкой Судьба-Фортуна, ручная, послушная, исполняла бы нетрудные наши просьбы — милая добрая фея. Через полвека в Барселоне в парке Гауди встретил я такую же обезьянку, тоже в красном мундирчике и синих шальварах; тоже получил из нежной ручки билетик с гарантией счастья. Все было, как полвека назад — за исключением белокурого мальчика.

Мальчик этот, Ирик — так почему-то называли меня родители,— в маминых мечтах был пианистом. Как-то раз в музыкальном магазине увидел я маленькое пианино, чуть побольше гармоники: «Папа, купи!» — «Но зачем же, Ирюшка-головастик, ведь есть же у нас рояль, какой ты странный мальчик!» — «Нет, я хочу свой!» Когда приходили гости, я этот свой «рояль» толчками перевозил из детской в гостиную, стучал по клавишам как придется и пел. Так началось мое «служенье Муз». Гости выражали восторг — надо полагать, преувеличенный.

Правду говоря, музыкален я не был — не стал и позже. Все-таки почувствовал в свое время рояльную музыку: большие хрустальные овальные капли падали, вдруг быстро проливались, низвергались ливнем, потом опять падали, каждая отдельно, и все же в каком-то едином хрустальном строе. А теперь всего милей мне та музыка, за которой возникает большая полутемная комната с окнами, распахнутыми в ночной сад: легкая прохлада подымается из летней ночи, почти не колеблются свечи, почти нет ночных бабочек. Четыре человека неподвижно слушают: один опустил подбородок на скрещенные пальцы, другой глубоко откинулся в кресло. И две обнаженных руки, смутно белея,

медленно движутся, длинные пальцы то медленно, то быстрее прижимают клавиши. Шуман? Шуберт? Шопен? Ш-ш, именно ш-ш. Душка Мнемозина. Тише! Шурша опускается занавес над недовоскресшим прошлым. Перевернем страницу, как тот памятный мне человек, больше полвека назад перелистывавший ноты в нашей гостиной.

Перевернем страницу.

Именно там, в Юрьеве, нынешнем Тарту, началась и моя литературная деятельность: я сочинил двустишие в жанре интимной лирики, полное тихой жалобы на грустную мою долю, совсем в тоне «парижской ноты» и явно предваряющее сборник мой «Монолог»:

У меня пузинько биби,
Я хочу каку и пипи.

Непогрешимость ритма, нежная деликатность рифмовки была мне свойственна, как видите, уже тогда.

Вижу себя своих юрьевских времен: белое плюшевое пальтецо с таким же капором, золотисто-коричневатое плюшевое пальтецо и такой же капор. Сохранилась карточка: я с челкой — прическа пажа — один глаз почему-то чуть больше другого, но личико хорошенькое, темно-зеленая (я помню) бархатная курточка с кружевами, руки в боки, взгляд скорее задумчивый.

Родители довольно часто уезжали в Петербург на концерты, в театры. Однажды мама поехала со мной — не на концерт, в Петербург. Помню темно-оранжевые стены внутреннего двора-колодца где-то на Литейном проспекте. Дом принадлежал дяде Коле, маминому брату, придворному архитектору. В квартире было много комнат, все длинные, темные (неужели дядя сам так построил?): темные обои, столовая темного дуба. Вечерело, в кабинете, похожем на отцовский, с великим множеством книг, дядя — грузный, пузатый, холеный, красивый — сел в щелкнувшее кожаное кресло, посадил меня на колени. Я стал играть брелоками на его часовой цепочке — их было много, приманчивых, очень красивых, папа ничего подобного не носил. Когда зажгли лампы, на брелоках волшебно заиграли искорки. Может быть, брелоки и укрепили во мне любовь к красивым пустячкам? Но и укрепили уменье любоваться? Как бы я без этого прожил?

Потом были гости, человек тридцать, и дядя вдруг потребовал, чтобы я с ним пел. Он окончил консерваторию, а у меня был свой рояль. Почему нет? Под аккомпанемент его приемного сына,

двадцатилетнего, черноволосого, смешливого, спели мы с дядей дуэт Даргомыжского:

В селе малом Ванька жил,
Ванька Таньку полюбил.
Ванька в дудочку играет,
Танька песенку поет...

Потом оказалась в ванькиных руках дудочка посерьезнее...

В годы военного коммунизма дядя Коля умер в Петербурге от голода — кажется, почти в одно время с другим моим, уже не родным, троюродным, но все-таки дядей — Якубовичем, профессором по детским болезням, человеком более нужным, чем архитектор...

В ночь после столь успешного артистического выступления мне не спалось — совсем как Шаляпину. В окне была тонкая полоска неясного света, постепенно ясневшая. Я продолжал видеть огненные хрусталики люстры, отражения в зеркалах, даму в нежно-сером шелковом платье, картинно сидевшую бочком на золоченом тоненьком стуле. Палевая обивка стульчика — часть обивки, не закрытая платьем, казалась палевой розой. Или тогда не казалась, кажется мне только теперь?

Как-то провели мы лето недалеко от Юрьева в Газелау, рядом с мызой барона Палена, коллеги моего отца. Об этих местах написал я года три назад стихотворение:

Я помню телеги в полях предвечерних
И глину дороги в возне воробьиной,
Эстонское небо, осенний орешник,

Грибы и чернику, сухой можжевельник
И мелкий ручей, серебристый, недлинный,
Сияние сосен, прямых, корабельных

И вереск, лиловый, и желтый бессмертник,
И желтый закат над эстонской равниной,
И линию лодок — вечерних, последних.

К лету мы обычно уезжали на Рижское взморье. Оставались долго. Белые дощатые домики с крышами гребешком, сосны. На

веранде с рубиновыми и синими стеклами в уголках рам топился (на сосновых шишках) самовар — дымный, прекрасный аромат этот я чувствую и сейчас; только самовар, стоящий у меня в столовой, медный, старый, Баташова в Туле, купленный в Нью-Йорке, уже некому разогреть. Прошлым летом в Истамбуле на Большом Базаре увидел я несколько самоваров с табличкой внизу: «semovar». Приятно знать, что турки зовут самовар русским именем. И сквозь базар проступила наша дача, белая скатерть стола, стволы сосен. Привет, привет, «семовары». Привет и вам, семафоры на Рижской железной дороге, зеленые огоньки на далекой дороге в детство. Вдоль дороги были сосны, вереск, дальше черника — почти сапфирная после дождя. Мы собирали чернику и грибы. Это было счастье. Розово-сиреневые сыроежки похожи были на цветы. Вечером их жарили в сметане, с луком; ничего вкуснее я не ел никогда.

Сердце сожмется — испуганный ежик —
В жарких ладонях невидимых Божьих.

Ниточка жизни — лесной паутинкой,
Летней росинкой, слезинкой, потинкой.

Листья в прожилках, как темные руки.
Время грибное, начало разлуки.

Лично известный и лесу, и Богу,
Листик летит воробьем на дорогу.

Вот и припал, как порой говорится,
К лону родному, к родимой землице.

Крыша, гнездо. И стоит, будто аист,
Время твое, улететь собираясь.

Скоро в ладонях невидимых Божьих
Сердце сожмется — испуганный ежик.

Вот и улетело.

Улетело — и все-таки, «в поисках утраченного времени»[9], хоть слабую тень улетевшего я пытаюсь вернуть. И вот, возника-

ет в памяти Рижский залив. Потом видел я воды поярче: Адриатику, Эгейское море и, главное, Тихий океан у Гавайских островов — он иногда бывает лазурно-фиолетовым, это великолепнее всего. И все же тянет меня к Балтийскому морю.

В ожидании окончания,
Окончания «представления»,
Ты смотрел на море вечернее,
В полутень молчанья печального?

Золотистое, серебристое
Опускается в море мглистое.
Вот была Атлантида, кажется.
Под водой она, не покажется.

Ты глядел на вазы этрусские?
Где этруски? Лишь вазы узкие.
Как, любезный друг, самочувствие?
Все умрем — этруски и русские.

Все на свете только предвестие,
Все на свете только предчувствие,
Что в холодный пласт, в струи тусклые...
Ну, а вазам — вроде бессмертия.
Но бессмертие это — грустное.

Покажись, моя Атлантида! И я вижу серебристую даль и гладь. Светлый мягкий, нежный песок блаженно холодит босые ноги мальчугана в мокром полосатом трико с короткими рукавами и круглым вырезом вокруг загорелой шейки. Мать идет ему навстречу, и мальчик прижимается к чесучовому бледно-бледно-желтоватому платью и легчайшей красно-сине-зеленой косынке на маминой руке. И отец тоже в чесучовом костюме ерошит мне волосы и спрашивает: «Что, головастик, набегался?»

Дня за три до отъезда захотелось оставить мне очевидный для всех след моего пребывания — у моря? в мире? Не знаю. На влажном гладком песке шагах в трех от воды я веточкой вывел печатными буквами и с твердым знаком: «Ирикъ Чиновъ». Перед отъездом прошлись мы по пляжу еще раз. Но автографа моего уже не было.

И вот теперь «в ожидании окончания» — снова стараюсь я закрепить какие-то следы своей жизни, снова хочу оставить автограф. Да, оставить после себя хоть маленькую памятку о себе и еще о чем-то из того, что с моею жизнью было связано. Лет пятнадцать назад я написал:

Я все еще помню Балтийское море,
Последние дни перед вечной потерей.
И кружатся звуки, прозрачная стая,
Прощаясь, печалясь, печально играя.

Мы берегом светлым вдвоем проходили,
Вода на песке становилась сияньем
И ясные волны к ногам подбегали,
Прощаясь прохладным, прозрачным касаньем.

О, если б тогда, посияв на прощанье,
Летейскими стали балтийские волны!
О, если бы стал неподвижно-безмолвный
Закат над заливом завесой забвенья.

А впрочем, я реже, смутней вспоминаю.
Журчанье беспамятства громче и слаще.
И звуки теней над померкшей водою
Лишь шепот. Лишь шелест.
Лишь шорох шуршащий.

Нет, слава Богу, журчанье беспамятства еще не заглушает воспоминаний. Память жива — особенно память о той красоте мира, которую удалось мне увидеть; я вижу ее даже гораздо отчетливей, чем раньше.

А белая птица так низко летела
Над собственной маленькой тенью
(Сравненье: душа и бескрылое тело)
Над белым песком и над пристанью белой
В далекое то воскресенье.

И лодка, сколоченная из обломков
Далекого детства, синела

От моря и неба, легко, как соломка,
Плыла в позабытое царство ребенка,
Качалась — и странное дело:

Та лодка таинственно переплывала,
Причаливала, приземлялась,
И маленький мальчик по имени Игорь
Из давнего года, из давнего мига
На миг возникал, проясняясь.

Овальную раковину отыскал он,
Большую, на отмели серой,
Послушал: в ней глухо звучало, дрожало,
Текло, отзывалось — невнятным сигналом —
И было похоже на сердце.

Тот берег в сиренево-серенькой пене...
Сияло, текло, холодело.
Из царства ребенка, из царства забвенья...
Как будто душа в тишине пролетела
Над собственной маленькой тенью.

Помню у мамы на темно-красном письменном столике несколько книг тургеневски-либерального направления (их ветер иногда прикрывал тюлевой занавеской), да около неизменной вазы с цветами — антология «Русская Муза»[10]; на антологию часто падал лепесток, тоненький, вялый, нежный. А еще лежали на столе переплетенные в зеленый сафьян страницы — пожелтевшие — записок «В мире отверженных»: вместе с «Русской Музой» — все, что осталось в русской литературе от человека, которого у нас в семье звали Петя Якубович[11].

Петр Филиппович Якубович, иначе Мельшин, иначе П. Я., иначе Рамшев, — это был двоюродный брат моей матери, любимейший, от всех отличенный. Из двух сестер Косаговских Елизавета Дмитриевна вышла за Цвейгберга, моего деда (уже не фон Цвейгберга, а просто), Екатерина — за Филиппа Якубовича. Имения находились по соседству, оба в Новгородской губернии, Крестецкого уезда. Якубовичи, в далеком прошлом важные шляхтичи Речи Посполитой, по традиции были драчуны. Правда, один полковник Якубович был драчуном законопослуш-

ным — вел царицыны войска в бой против Пугачева, без особых, впрочем, успехов, отчего и был заменен Микелсоном[12]. (Воображаю, как изливал полковник свой гнев на чад и домочадцев!) Но в следующем столетии другого Якубовича, Александра Ивановича[13], потянуло к мятежникам: захотел побунтовать против царского орла, сыграл роль в восстании декабристов, хотя и чуть менее эффектно, чем можно было ожидать от этого романтического героя, позера, бретера (описанного Мережковским в «Александре Первом и декабристах» весьма язвительно). «Петя» Якубович бунтарский дух шляхетных предков, только без их гонора, унаследовал полностью. В партии народовольцев был он одним из виднейших, любимейших, революционная молодежь на него молилась. На сибирской каторге внушил мой дядя уважение даже уголовникам — редкая удача для интеллигента. Там, в сибирском остроге, он и женился — на еврейке Розе Франк, тоже политзаключенной,— огорчив родню чуть ли не больше, чем участием в революционном терроре. «Столбовой дворянин,— плакалась тетка его, моя бабушка,— и с кем судьбу свою соединил. А!? Ведь она же не христьянка даже, фу ты, Господи! Прямо как лукавый попутал!» — Так передавала мама бабушкины иеремиады.

Сын Пети Якубовича и Розы Франк стал известным пушкиноведом, внук — одним из борцов за гражданские свободы.

Думаю, что террорист Петр Филиппович террористом был на манер патрона своего Петра Апостола, отрубившего ухо представителю власти Христа ради. Вне «политической борьбы» походил он скорей на Франциска Ассизского. Мама рассказывала: придет Петя Якубович в каком-то тряпье, сразу его в баню, оденут во все новое, дадут денег — а он через несколько дней опять возвращается в ошметках: оказывается, зашел в ночлежный дом и поменялся одеждой с каким-то босяком, ты представляешь? И все деньги роздал!

Все же синий однотомник стихов его в Большой библиотеке поэта украшает странная фотография: дядя Петя Якубович в арестантской шинели и кандалах сидит так декоративно, эффектно — Грушницкий, ни дать ни взять, Грушницкий. Видимо, постарался фотограф. Или друзья, жена?

Его два тома «В мире отверженных» кн. Святополк Д. Мирский — в своем английском учебнике[14] назвал почти равными «Запискам из мертвого дома». Может быть. Но стихи Якубови-

ча, в общем, бесталанны. И все больше об орлах, которые или томятся в неволе, или рвут свои цепи, или (это другие, нехорошие орлы) клюют печень Прометея, или (опять хорошие орлы) носятся над бурной морской пучиной, призывая волны грозно подняться и в могучем порыве смести тиранов. Антология «Русская Муза», им составленная, тоже не из самых удачных. Он первый перевел на русский язык Бодлера — но слава Богу, что о качествах этих переводов Бодлер не мог иметь суждения.

На письменном столе моей матери этих переводов не было. Зато висел над столом портрет дяди Пети — уже в старости, с добрым русским лицом патриархального помещика, да фотография двух сестер — Елизаветы и Екатерины Косаговских, еще девушек, в чем-то институтском. Елизавета, бабушка моя, институт «благородных девиц» (не Смольный, а поскромней, Патриотический) окончила с шифром; шифр означал роскошную разновидность похвального листа, выданного когда-то Катерине Ивановне Мармеладовой: это была монограмма вдовствующей императрицы из тусклых алмазов на палевой розетке — она хранилась у нас с моими замшевыми туфельками (туфельки! в них топотал я по пространству, огороженному сеткой, лет шестьдесят тому назад — как быстро летит время, вы не находите?). С туфельками хранился и герб Корвин-Косаговских, «Слеповрон». Черный ворон держит кольцо (точно крыловская ворона — сыр), сидит на подкове, украшенной орденским крестом.

К гербу этому приписано было чуть ли не двадцать польских дворянских родов с общим, якобы, родоначальником — Варвжетой Корвиным (все двадцать фамилий, в честь патриарха непременно с «Корвин»: Корвин-Круковские и т.д.). Плодовитый сей рыцарь, согласно родословным книгам, был одно время даже венгерским королем, был он — это наверняка — также герцогом Мозовецким. В смутное время какие-то Корвин-Косаговские, покинув Великое Герцогство Познаньское, увязались за Самозванцем, явились под Москву (где другие мои предки, маминой бабушки, Стоговы, от них отсиживались, помаленьку оборонялись). Как потом под Нарвой или Полтавой, так получилось и под Москвой: подобно фон Цвейгбергам «и прочим шведам», Московию под свою шляхетную руку паны не прибрали — и через какое-то время пошло от Корвин-Косаговских, или Косаговских, потомство уже русское. Бабушка Елизавета

Дмитриевна, думаю, очень бы удивилась и закипела, если бы подвергли сомнению чистокровную ее русскость.

На этом воспоминания И. В. Чиннова обрываются.

Итак, в 1917 году ему исполнилось восемь лет. Беззаботное детство и отчий дом остались в прошлом. А впереди — многие годы скитаний. Начались они еще до революции, когда, с началом войны четырнадцатого года, в Харьков был эвакуирован окружной суд, где служил отец, а маленький Чиннов с мамой были отправлены в Рязань к маминой подруге. После революции семья Чинновых, двигаясь вместе с отступающей Белой армией, оказалась в Ставрополе, где вся семья переболела тифом. В 1923 году решили возвращаться в Ригу, тогда — не советскую. В Риге Чиннов окончил русскую Ломоносовскую гимназию, потом университет, юридическое отделение. Отслужил в Латвийской армии. И тут наступил «страшный год» — 1940-й. Год, когда в Латвии установилась Советская власть. «Интеллигенцию арестовывали, в магазинах все исчезло. Когда в 1941 году началась война, население сначала радовалось, что немцы придут, и прекратится советский террор, но скоро радость прошла. Немцы вывезли евреев и заняли их квартиры. Потом стали увозить на работу в Германию всех, кто помоложе», — рассказывал И. В. Чиннов.

В 1944-м Чиннова в числе других тоже угнали на работу в Германию. В лагерь в Рейнской области. «Мы там работали на каком-то тракторном заводе. По сути — саботировали. Перекладывали детали с одной полки на другую. Вдруг однажды все немцы в лагере исчезли. Никого. И смотрим — в ворота въезжает грузовик. А в нем — американские солдаты. Негры. Говорят по-английски. Но мы поняли, что война кончилась, и они приехали нас освобождать. В последний день открытой границы нас перевезли во Францию. И я оказался в Париже. Слава тебе Господи. Всю жизнь мечтал».

В Париже Чиннов прожил до 1953 года. Денег не было, зарабатывал случайными уроками, преподавал немецкий в русской гимназии, читал публичные лекции. В 1953 году в Мюнхене открылась радиостанция «Свобода» (тогда она называлась «Освобождение»), и Владимир Вейдле, друг Чиннова, назначенный директором русских программ, предложил Чиннову там работать. В Мюнхене, на радиостанции, Чиннов работал до 1962 года. Потом уехал в Америку и стал профессором русского языка и литературы в Канзасском, затем в Питтсбургском, и, наконец, в Вандербилтском университе-

тах. Выйдя на пенсию в звании заслуженного профессора, он поселился во Флориде. В США Чиннов прожил больше 30 лет. И все же «когда меня пригласили участвовать в Конгрессе русских американцев, — я отказался. Я не американец. Всю жизнь, сколько себя помню, я знал, что я русский. Ничего не изменилось и сейчас. Я по-русски думаю и по-русски пишу», — говорил Чиннов в одном из интервью.

Уже первые, юношеские, стихи Чиннова оценил Георгий Иванов, с которым Чиннов познакомился в Риге в начале тридцатых годов. В письме редактору парижских «Современных записок» Иванов писал о Чиннове: «Ему двадцать лет, он очень талантлив и, слушая его стихи, я испытываю такой же шок от настоящей поэзии, как в свое время от стихов Поплавского». Тогда Чиннов только-только начал печататься. Сначала в рижском журнальчике «Мансарда», а потом — в очень престижном эмигрантском журнале молодых «Числа», выходившем в Париже. До знакомства с Ивановым он уже послал туда свое эссе «Отвлечение от всего», которое появилось в 1932 году в «Числах», а после того, как Иванов одобрил его стихи, он решился послать и что-то из них в «Числа». Стихи были напечатаны там в 1933 и 1934 годах. С «Числами» Чиннов сотрудничал вплоть до закрытия журнала. А вот в «Современные записки» он письма Иванова не послал, и оно со временем потерялось — строки из него Чиннов мне цитировал по памяти. Не послал он туда и стихов. На мой вопрос: «Почему?», — он ответил: «Потому что я боялся, что мне потом будет за свои стихи стыдно». Из четырех, напечатанных в «Числах» стихов, три он не включил ни в одну из своих книг. А стихотворение «Меркнет дорога моя...» с изменением первой строки (на «Медленно меркнет мой путь...») появилось в его первой книге «Монолог» («Рифма», 1950), которую он выпустил, когда после войны оказался в Париже.

Впрочем, и это свое раннее стихотворение Чиннов считал слабым, но, как он мне говорил, именно оно было самым первым из им написанных. «Еще в Риге я шел куда-то, и вдруг оно пришло мне в голову, я тут же присел на лавку и записал», — рассказывал Чиннов. Кстати, так же, сразу, он записывал и все свои стихи. Иногда — это было несколько строф, иногда — одна, — а остальные дописывались потом. И тоже — сразу. В его архиве нет ни одного исчерканного черновика. Редко, где заменены два-три слова. «Однажды, — рассказывал, смеясь, Игорь Владимирович, — я прочел где-то у Бахраха, как я с утра сажусь за стол писать стихи. Никогда в жизни

я не садился “писать стихи”. Они приходят сами. Одна строчка, потом другая».

Первая книга стихов Игоря Чиннова получила известность и признание в эмигрантских кругах. Сергей Маковский приветствовал рождение «нового поэта». «Монологом приговоренного к смерти» назвал Владимир Вейдле книгу Чиннова. И эта тема, ужаса перед смертью и как бы последнего, особенно сладостного любования жизнью, но и обиды на ее несовершенство, — проходит через все восемь сборников поэта, вышедших в Европе и Америке. Хотя стиль свой Чиннов с годами очень изменил — от тихой, сдержанной «парижской ноты» (так писали некоторые поэты «Чисел», следовавшие призывам Г. Адамовича говорить только о главном и предельно простыми словами) до ярких гротесков. «Слышатся в его стихах издевательские шуточки, но и райские звуки, элегический минор, но и фантастический мажор. Он радует неизвестной еще в русской поэзии игрой воображения: сияющей радугой щемящих воздыханий и резвых радостей. Техника Чиннова — совершеннейшая, каждое слово, каждый звук в его поэзии функциональны...» — писал в 1972 году Юрий Иваск. В эмиграции Игоря Чиннова считали элитарным поэтом, противопоставляя его Ивану Елагину, который нравился более простой публике. Все, писавшие о чинновской поэзии (а написано о ней больше 80 статей), отмечали тонкость и безупречное мастерство его стихов. Именно Чиннов, по мнению современников, унаследовал после смерти Георгия Иванова «кресло первого поэта эмиграции».

Чиннов не зря считал, что родился под счастливой звездой. Стихи складывались как бы сами — и какие стихи! Незаметно, между делом, научился латышскому, немецкому, французскому, английскому. Много путешествовал, побывал в музеях всего мира. Прекрасно знал западное искусство, литературу, а русскую — особенно.

Да, конечно, были в жизни и голод, и холод, в Париже — комната на пятом этаже не отапливалась, заработать ничего невозможно, — но зато какие были друзья! И в память о них остались многие сотни писем.

Одно из последних было — от княжны Зинаиды Шаховской. «Чин-Чин, — пишет она, — нас с Вами осталось двое...»

Ровесники эпохи. Интеллектуальная элита той еще, прежней, России. Много лет они жили и писали для нее — прежней? — будущей?

Умер Игорь Владимирович Чиннов — 21 мая 1996 года, в тихом курортном городке Дейтона Бич на флоридском побережье Атлантического океана, где прожил последние двадцать лет.

Прах И. В. Чиннова, согласно его воле, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

[1] Тукум — город в 67 километрах от Риги, столицы Латвии.

[2] Отец И. В. Чиннова — Владимир Алексеевич Чиннов умер в 1935 году в Риге в возрасте 61 года. Мать — Александра Дмитриевна, урожденная Цвейгберг, по материнской линии принадлежавшая в роду Корвин-Косаговских, погибла в конце Второй мировой войны — в дом, где она жила, попала бомба. Потому почти ничего из семейного архива у И. В. Чиннова не сохранилось.

[3] В Шведской (Северной) войне (1700–1721), о которой рассказывает И. Чиннов, принимал участие шведский король Карл XII. Его целью было завоевать принадлежавшие России территории на Балтийском море. В 1709 году в Полтавском сражении Петр I нанес сокрушительное поражение шведским войскам, и конец войны был предрешен. Тогда наемные немецкие солдаты, ландскнехты, служившие в армии Карла XII, стали переходить на службу к более удачливому сюзерену, Петру I.

[4] Максимилиан I — австрийский эрцгерцог, император Священной римской империи, жил в 1459–1519 годах.

[5] Так случилось, что ни с кем из родственников И. В. Чиннов не поддерживал родственных связей. Ни со стороны матери, у которой было девять братьев, ни со стороны отца. Однажды он рассказал о двух своих двоюродных дядях по отцовской линии, фон Морр, директорах рижского страхового общества «Саламандра», которые приютили разорившуюся после революции семью Чинновых. И. Чиннов вспоминал, что он, ребенком, из подвала смотрел на гуляющих по саду гостей, роскошных дам в длинных платьях, и плакал от унижения — его родителей не приглашали.

[6] «Звездочеты с Босфора» — книга Андрея Седыха, вышедшая в Нью-Йорке в 1973 году.

[7] Информация об этом родственнике И. Чиннова содержится в письме поэта Юрия Трубецкого от 5 марта 1973 года (см. выше). В архиве И. В. Чиннова сохранилась единственная открытка от Кирилла фон Морра И. Чиннову: «Дорогому Игорьку — привет! Спасибо за привет и подарок! Живу, как знаешь, в старческом

доме — есть свои плохие, но и свои хорошие стороны. Пиши, не забывай! Кирилл».

[8] Роман о жизни русской Балтики. Вышел в 1962 году. Позже был переведен на испанский и немецкий языки. Татьяна Александровна Шюрхольц, которую И. Чиннов называл своей «невенчанной женой» (они расстались, когда он уехал из Риги), писала ему в письме от 18 января 1963 года из Мюнхена об этой книге: «Кстати, о книгах. Очень рада, что мой подарок попал в Ваши руки. И все, что Вы пишете в критической части Вашего письма, совершенно так. Я сама читала это произведение со смешанным чувством искреннего удовольствия, раздражения, душевного тепла и, если можно так выразиться, "шокирования". По правде сказать, я прочла "Корабли" после того, как Вам послала, иначе, может быть, запнулась бы. Но, в конце концов, Вы правы, для нас эта книга не может быть не дорога. И если Вы, уступая моей просьбе, напишите несколько слов Ирине Евгеньевне, то я буду опять-таки "по хроп"... Я, конечно, прочитала ей Вашу "рецензию", сделавши несколько купюр. Она просто просияла. Сделайте ей удовольствие (а мне окажите милость!), она все-таки очень несчастна тем, что о ней нигде и ни одного слова» (ИМЛИ РАН. Отдел рукописей. Архив И. В. Чиннова. Ф. 614).

[9] «В поисках утраченного времени» — роман Марселя Пруста.

[10] Русская муза. Художественно-историческая хрестоматия. СПб., 1908. Составитель П. Я. — это псевдоним П. Ф. Якубовича.

[11] Якубович Петр Филиппович (1860–1911) — народоволец, поэт революционного подполья, переводчик. Чтобы подчеркнуть свою связь с предком-декабристом Александром Ивановичем Якубовичем, он взял себе псевдоним по революционному подполью — Александр Иванович. Стихи П. Якубовича вышли в большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1960). Туда же вошли его переводы из Бодлера. Книга П. Якубовича о каторге «В мире отверженных» (Т. 1, 2. М.; Л., 1964) была написана им в Акатуевской тюрьме, где он оказался за свою революционную деятельность. В редакционном предисловии к этому изданию рассказывается, что «после ареста одного из руководителей «народной воли» Г. А. Лопатина и разгрома народовольческих организаций Якубович фактически остается во главе петербургского революционного подполья. Писателю удалось организовать в Дерпте, на квартире студента Переляева, тайную типографию, в которой был напечатан десятый номер «Народной воли» (см. стр. 4 предисловия). Вскоре

после этого, в 1884 году, Якубовича арестовали, приговорили к смертной казни, но казнь заменили каторгой. Так он оказался в Акатуе. С 1895 года Якубович жил в ссылке в Кургане. К марксистам он не примкнул. В 1905 году снова был арестован. На свободу вышел тяжело больным. Рукопись книги долго не публиковалась, хотя была тайно передана из Акатуевской тюрьмы родственнику, Василию Якубовичу, профессору по детским болезням. Позже в ее издании принял участие сын П. Якубовича, ученый-пушкинист Дмитрий Якубович.

[12] Михельсон Иван Иванович (1740–1807) — царский генерал, участвовал в подавлении Крестьянской войны 1773–1775 годов под руководством Пугачева.

[13] Якубович Александр Иванович (1792–1845) — декабрист. Его, наряду с другими декабристами, описывает Д. Мережковский в книге «Александр I и декабристы». Н.-Й., 1955.

[14] Двухтомная история русской литературы князя Дмитрия Святополка-Мирского на английском: Mirsky D. S. Contemporary Russian Literature (London, 1926).

Подготовка текста О. Кузнецовой

ИГОРЬ ЧИННОВ

СТИХИ

В эту подборку вошли стихи И. Чиннова, которые упоминаются в приведенных выше письмах к нему. Стихи в свое время были опубликованы автором в книгах, вышедших в Европе и Америке. После смерти поэта в России тоже было издано несколько его сборников.

Книги Игоря Чиннова:

МОНОЛОГ. Париж: Рифма, 1950.
ЛИНИИ. Париж: Рифма, 1960.
МЕТАФОРЫ. Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1968.
ПАРТИТУРА. Нью-Йорк: Изд. «Нового журнала», 1970.
КОМПОЗИЦИЯ. Париж: Рифма, 1972.
ПАСТОРАЛИ. Париж: Рифма, 1976.
АНТИТЕЗА. USA: Birchbark Press, 1979.
АВТОГРАФ. USA: New England Publishing Co., 1984.
ЭМПИРЕИ. Москва: Христианское издательство, 1994.
АЛХИМИЯ И АХИНЕЯ. ГРОТЕСКИАДА. Москва: Христианское издательство, 1996.
ЗАГАДКИ БЫТИЯ. ИЗБРАННОЕ. Москва: Христианское издательство, 1998.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 2 т. Москва: Согласие, 2000; 2002.

ИЗ КНИГИ «МОНОЛОГ»

* * *

Петух возвещает, чуть свет,
Что ночь позади;
Кукушка — что столько-то лет
Еще впереди.

Куку или кукареку —
Значенье одно:
Что сыплется (будь начеку!)
Струею зерно.

Ты знаешь, есть птица одна,
Она не поет:
Лишь время, как семя, она
Неслышно клюет.

* * *

В безветренных полях еще весна.
Лишь одуванчик легкий облетает.
И девочка крича бежит. Она
Его пушок прозрачный собирает.

А под вечер, еще едва видна,
Растет луна меж Марсом и Венерой,
Еще почти прозрачная луна —
Как одуванчик светловато-серый.

Давай по-детски верить, что луна —
Его душа. Быть может, вновь приснится
Нам нежная, небесная страна,
Где даже одуванчик сохранится.

* * *

Яснее с каждым годом: да, провал
Смешных попыток, тягостных стараний.

Быть может, рок нам счастье обещал,
Но, кажется, не сдержит обещаний.

Так в незнакомом тесном ресторане
Вдруг видишь, в зеркалах, просторный зал,
Идешь — и убеждаешься в обмане:
Все те же люди, тот же тесный зал
На ледяной поверхности зеркал.

* * *

В Булонский лес заходишь в декабре:
Деревья в сизом, снежном серебре.

И видишь, в довершение картины,
Как будто наши, русские рябины —

И чувствуешь, острее с году на год,
Ту горечь терпкую — холодных ягод.

И рот кривишь. От этого всего —
Оскомина, и больше ничего.

* * *

Шагаешь по мокнущей груде
Безжизненных листьев, во тьме —
И вдруг вспоминаешь о людях,
Погибших тогда, на войне.

И знаешь, что помнить не надо:
Умершим ничем не помочь.
И память — как шум листопада
В глухую осеннюю ночь.

* * *

Немного рыбы и немного соли
На медленном огне — какая скука!

Живая рыба корчилась от боли,
Старуха злилась, плакала от лука,

Над луком, над стручком засохшим перца,
Багровым, как запекшаяся рана,
Морщинистым, как маленькое сердце,
Увядшее у газового крана

От жара, холода и равнодушья:
Сухое сердце той, худой, убогой,
Открывшей, словно рыба, от удушья
Бескровный рот и поминавшей Бога...

А дальше что? Что Бог — благой и кроткий,
Что грешников поджаривают черти,
Что в тишине чадит на сковородке
Немного жизни и немного смерти.

ЧИТАЯ ПУШКИНА

Порой, читая вслух парижским крышам
Его стихи таинственно-простые,
В печали, ночью, в дождь — мы видим, слышим
(В деревне, ночью, осенью, в России):

Живой, знакомый нам, при свечке сальной
Свои стихи негромко он читает,
И каждый стих, веселый и печальный,
Нас так печалит, словно утешает.

И кажется — из царскосельской урны
Прозрачная, хрустально-ключевая
Течет струя свободно и небурно,
Курчавый облик ясно отражая.

И полной грудью мы грустим — но счастьем,
Как вдохновеньем, безотчетно мудрым
Наполнен мир, и стоит жить и, настежь
Открыв окно, дышать парижским утром.

* * *

Вот, опять вдали кряхтенье
Жабы. Жабе не до сна.
Верно, в прежнем воплощеньи
Соловьем была она.

Вот, кряхтит в ночном просторе.
Непонятна речь ее.
Иль выплакивает горе,
Горе личное свое?

Иль про горе мировое
Наше общее твердит?
Иль о счастьи быть живою,
Как умеет, говорит?

Иль, быть может, словно лебедь,
Плачет, покидая свет?
Или бредит (как не бредить?)
Тем, чего на свете нет?

* * *

В углу, над шкафом, от стены
Кое-где отпала штукатурка,
И пятна плесени видны.
А я гляжу и вижу турка
В высокой феске, на коне,
Кривой залив, луну над мысом.
Я пятна на сырой стене
Каким-то наделяю смыслом.

А в окнах тает полутьма,
И возникает панорама:
Там — тучи, площади, дома,
Зелено-бурый купол храма,
Пятно расплывчатой зари,
Сырая празелень и гнилость.
Все — пятна плесени. Смотри:
И штукатурка отвалилась.

* * *

Порой замрет, сожмется сердце,
И мысли — те же все и те:
О черной яме, «мирной смерти»,
О темноте и немоте.

И странно: смутный, тайный признак —
Какой-то луч, какой-то звук —
Нездешней, невозможной жизни
Почти улавливаешь вдруг...

* * *

Ночами едет сквозь зыбкий сон
За тенью клячи — тень телеги,
И тени ворон со всех сторон
В лучах луны, в налетевшем снеге.

Как будто душу мою везут
Из царства теней — в царство теней.
Змеиную тень бросает кнут,
Возница сам — не бросает тени...

Быть может, это и наяву
Меня везут, и страшно ехать,
И я напрасно тебя зову,
И голос твой — неживое эхо.

ИЗ КНИГИ «ЛИНИИ»

* * *

К луне стремится, обрываясь,
Фонтан — как в бурю кипарис,
Когда луна — почти живая.

Озера то иль острова,
Иль облака, иль птичья стая?
Фонтан, фантазия, каприз.

Сквозь лунное очарованье
Кровать плывет, куда хочу —
По блеску крыш, как по ручью.

Полоски дыма там, вдали —
Как оснеженные тропинки,
И мы гулять по ним пошли —

И говорили без запинки
Ночными странными стихами,
И долго звуки не стихали,
Уже неслышные с земли.

* * *

Колоколом утомительным,
Маятником изнурительным,
Музыкою обреченности
Кажется тоска бессонницы.

Сад забормотал осенние
Призрачные утешения.
Смешивается молчание
С музыкой воспоминания,

С признаками вдохновения,
С призраками в отдалении,
С прошлым полувоскресающим,
С небом полурассветающим...

* * *

Знаешь, я почти забыл
Тот неясный зимний вечер,
Начало ночи, неслышный ветер,
Мокрый мостик без перил.

Я уже почти забыл
Тонкий профиль нежно-светлый,

Комочек снега, упавший с ветки,
Снег, что вдалеке светил.

То, что я сказать забыл,
Поцелуй слегка соленый
(Деревья пахли сырой соломой)
...Я почти, почти забыл.

* * *

Может быть, только в этой
Жизни — бывает лето,
Только на этом свете
Этот приморский ветер,

Только на эту землю
Дерево сыплет семя,
От синеватой птицы
Нежная тень ложится.

Да, но зачем порою
Этого все же мало?
Небо опять другое
Над городским каналом.

Он отражает ветви,
Тучу и даже ветер,
Да, но чего-то все же
Он отразить не может.

* * *

Мы были в России — на юге, в июле,
И раненый бился в горячем вагоне,
И в поле нашли мы две светлые пули —
Как желуди, ты их несла на ладони —
На линии жизни, на линии счастья.

На камне две ящерицы промелькнули,
Какой-то убитый лежал, будто спящий.

Военное время, горячее поле,
Россия... Я все позабыл — так спокойней,
Здесь сад — и глубокое озеро подле.

Но если случайно, сквозь тень и прохладу,
Два желудя мальчик несет на ладони,
Опять — южнорусский июль на исходе,
И, будто по озеру или по саду,
Тревожная зыбь по забвенью проходит.

* * *

Смутный сумрак спальни жаркой.
Каркнул ворон в темном парке.
Сердце в тишине стучит,
Словно прялка старой Парки.
Парка быстро нить сучит.

Знаю, пряжа на исходе.
Скучно при такой погоде
Слушать торопливый стук.
Дождь идет, темно вокруг.

И грызут проворно мыши
Жизнь, дарованную свыше,
И недолго ждать

Дня, когда не станет скуки
И навек затихнут звуки,
Что мешали спать.

* * *

Терновник веткой суховатою
Под знойным ветром чуть качает.
Мне тень колюче-узловатая
Другую тень напоминает.

Мне чудятся снега в сиянии
Полярной ночи, в лунном свете.

Как будто слышно дребезжание
Колючей проволоки... Ветер...

Ночь навсегда, ночь не кончается,
И тень от проволоки длинной
Колючей веткою качается
Под ветром на земле пустынной.

* * *

О Воркуте, о Венгрии (— о чем?)
О Дахау и Хиросиме...
Да, надо бы — как огненным мечом,
Стихами грозными, большими.

Ты думаешь о рифмах — пустяках —
Ты душу изливаешь — вкратце,
Но на двадцатый век тебе в стихах
Не удается отозваться.

И если отзовешься — лишний труд:
Не будет отзвука на отзвук.
Стихи, стихи — их даже не прочтут.
Так пар уходит в зимний воздух.

И все-таки — хотя десятком строк,
Словами нужными, живыми...
Ты помнишь, есть у Пушкина «Пророк»
О шестикрылом серафиме.

* * *

Ни добрых дел, ни твердой веры нет:
Не занят я, душа, твоим спасеньем.
Чем заслужу его? Стихами? Нет:
Стихи не жгли сердца, лишь были мне
Полузабавой и — полумученьем.

Что будет? — Смерть (в тоске, во зле, в грехах)
И в Судный день, меж пеньем и стенаньем —

Рифмованные строки на весах:
Полуупреком, полуоправданьем.
Игра вничью меж мраком и сияньем.

* * *

Станет вновь светло, станет вновь темно.
Мне почти, почти все равно.

Каждый день закат, каждый день рассвет.
Только счастья нет и нет.

Но совсем перед смертью, может быть,
Станет жалко навек забыть,

Как светил прозрачный луч в окно,
Озаряя хлеб и вино,

Как темнело, как нежно лампа зажглась,
И дрова розовели, светясь.

* * *

Что-то вроде России,
Что-то вроде печали...
(Мы о большем просили,
А потом перестали).

Чем-то нежным и русским
Пахнет поле гречихи.
Утешением грустным
День становится тихий.

Пахнет чуть кисловато
Бузина у колодца...
Это было когда-то
И едва ли вернется.

24 — 8850

* * *

То, что было утешением,
Перестало утешать.
Но порою, тем не менее,
Развлекаюсь я опять.

Развлекаюсь грубым холодом,
Жестким ветром, мутным днем,
Развлекаюсь скучным городом —
И проходит день за днем.

Не в России, так в Германии.
Вот гуляю вдоль реки,
Развлекаюсь сочетанием
Равнодушья и тоски.

* * *

Голод в Индии, голод в Китае,
То, что в нашей России.
Я спокойно газету читаю,
Я смеюсь без усилий.

Чем-то страшным, тюремно-больничным
Пахнет, друг, мирозданье.
Что же делать, раз так безразличны
Богу наши страданья.

...Или небо вечернее, цвета
Бирюзы, сквозь березы —
Это все же обрывок ответа
На молитвы и слезы?

* * *

Острый угол подушки —
Как больное крыло.
Ты — как птица в ловушке,
Как на суше весло.

Небо в пене, как море,
Дым, как волны, бурлит.
Крест на лунном соборе —
Словно чайка летит.

Ты уже не в постели,
Ты в широком окне:
Легкость лунная в теле,
Тень крыла на волне.

Ты летишь над аллеей,
Прямо в лунный прибой,
Все смутнее белея
В глубине голубой.

* * *

Ни работы,
Ни заботы —
Ни тоски, ни суеты:
Только лилии долины,
Только горные вершины,
Только птицы и цветы.

Хорошо бы стать закатом,
Летним небом розоватым —
Вот о чем мои мечты:

Знаю, каждый бы охотно
Жил прозрачно-беззаботно,
Жил сияюще-легко,
Так заоблачно-свободно,
Так небесно-широко.

* * *

Жил да был Иван Иваныч:
Иногда крестился на ночь,
Вдаль рассеянно глядел.
Жил на свете как умел.

Жил на свете как попало.
Много в жизни было дел.

Сердце слабое устало,
Сердце биться перестало.
В небе дождь вздыхал, шумел,
Будто мертвого жалел:
Влаги пролилось немало —

Видно, смерть сама рыдала,
Близко к сердцу принимала
Человеческий удел.

* * *

А может быть, все же — спасибо за это:
За нежность туманно-жемчужного света,
За свежесть дождем всколыхнутого сада,
За первые знаки — уже — листопада.

Спасибо, что облако меркнет и тает
Над этой в закат улетающей стаей,
И розовый свет приближается к морю...
Ну, что же, спасибо. Да разве я спорю...

* * *

«Если завтра война»... Накануне войны,
Накануне беды и тоски
Поглядим на сиянье волны
И на трепет звезды.

Поглядим, как ярки
Отцветающие цветники
И как нежно летят светляки,
Будто искры, упавшие с легкой звезды.

Поглядим, как роса,
Перед тем, как исчезнуть, светла,

Как блестящая капля спадает с весла,
Будто гаснет звезда.

Поглядим, если завтра война,
Как сегодня погода прозрачно ясна,
Поглядим — в этом мире беды и тоски —
На сияющие пустяки.

* * *

В снежный вечер Млечный Путь походит
На дорогу нежную в раю.
Ты забыла все, что происходит
В вышине, во сне, в раю?

Погляди: прозрачна мостовая,
Мы идем, в эфире, в легкий путь.
Светится луна, не затмевая
Нежный, бледный Млечный Путь.

Вот лунатик в синеве проходит,
Встал на тучу, дремлет на краю.
Он пришелец, но слегка походит
На живущих в том краю.

Под ногами улица ночная,
Снежный свет, полузнакомый путь.
Чуть предчувствуя, чуть вспоминая,
Ты глядишь на Млечный Путь.

* * *

«Мое святое ремесло».
Каролина Павлова

Пожалуй, и не надо одобрения,
И ободрения не надо.
Ни обещания, ни исполнения
Желаний, обещаний. Надо
Стараться обойтись без утешения.

Пора не жаловаться, не надеяться
(Судьба шутила, обещая...).
Пора стихам, как дыму, дать развеяться
(Перелистают не читая).
Пора понять, что не на что надеяться.

ИЗ КНИГИ «МЕТАФОРЫ»

* * *

Беспамятство мира, наплыв забытья и забвенья,
Бессонница сердца, скажи, почему нам не спится?
Но Данте вернулся из вечного царства молчанья
И пела Орфею, негромко, нездешняя птица.

Уже затихала невнятная музыка ночи,
Уже уходила с печальной земли Персефона.
Я знаю, что нет Персефоны — и нет Беатриче,
И нет Евридики — и призрачных стен Илиона.

Не все ли равно, помечтаем о чем-нибудь странном,
О чем-то бессмысленном и навсегда невозможном —
Под музыку сфер, в побледневшем сиянии лунном,
Беспечно, бездумно, в молчанье уже не тревожном.

Зальцбург, 1962

* * *

Выдумываешь утешения,
И кажется при свете месяца,
Что началось преображение,
Что все сейчас, сейчас изменится —

Не станет логики и алгебры
(О, беспричинное сияние!)
Не станет этой вечной каторги
Глухих законов мироздания —

И мир, свободный от инерции,
От тяжести, от тяготения.
Войдет в блаженное бессмертие,
В сияние, во вдохновение...

Разыгрывается воображение.

Мюнхен, 1962

* * *

Прости мне те лунные, снежные, синие горы,
Прости мне рассвет над осенним безветренным Римом.
Прости мне тех мраморных нимф, благосклонных к любимым,
И эти гобои, и флейты, и эти повторы.

Прости мне глоток ледяной золотистого чаю
И несколько роз, опаленных сияющим зноем,
Немного халвы, лепесток, загнивающий с краю —
Прости мне все это, я знаю, что я недостоин.

Копенгаген, 1961

* * *

Одним забавы, другим заботы. Затем забвенье.
Да, жисть жестянка, да, жисть копейка, судьба индейка.
Да, холод — голод. Не радость старость. (И ночь, и осень).

И пыльный свиток, печальный список шуршит так сухо,
И совесть — повесть стучится глухо ночным дождем.
Ночные тени лежат в больницах, окопах, тюрьмах.

Над горем мира, над миром горя лишь ветер ночи.

Гонолулу, 1965

* * *

О, душа, ты полнишься осенним огнем,
Морем вечереющим ты полна.
Души-то бессмертны, а мы умрем —
Ты бы пожалела слегка меня.

Смотришь, как качается след весла,
Как меняется нежно цвет воды.
Посмотри — ложится синяя мгла,
Посмотри, как тихо — и нет звезды.

Хоть бы рассказала ты мне, хоть раз,
Как сияет вечно музыка сфер,
Как переливаясь, огнем струясь,
Голубеют звуки ангельских лир.

Канзас, 1963

* * *

Так проплывают золотые рыбки,
как лепестки оранжевых настурций,
почти просвечивая, точно дольки
мессинских золотистых апельсинов.

Так шевелятся огоньки церковных
свечей, мерцая, розово желтея,
как маленькие пламенные листья.

Так отсвет ранних фонарей в реке
сквозит, и золотятся, отражаясь,
оранжевые лепестки заката.

Так в темных, с рыжим золотом, глазах
плывут, колеблясь, золотые тени.

Париж, 1953

* * *

Там, куда прилетят космонавты,
Там не будет весенней сирени,
Там не будет осенней брусники.

Ни черники, запачкавшей руки,
Ни сереющей вербы в стакане
(Зайчик солнца и зайчики вербы).

Золотое Руно аргонавты
Непременно найдут, я уверен,
В синеватых долинах Венеры.

Но не будет на дальней планете
Ни веселого лая собаки,
Ни окна в голубом полумраке,
Ни грачей на сыром огороде...

Канзас, 1964

* * *

Ты уже забываешь,
ты скоро забудешь
(в огромном райском сиянии),
но ты еще помнишь
толчею предвечерних мошек
и блеск паутины
на сохлом терновнике.
Ты помнишь
зеленый мох между ржавых банок,
а после — осень,
неровный полет
одичалых клочков бумаги
и черные щепки
в дрожанье тусклой реки.
Ты помнишь холод,
первый иней на ржавом
почтовом ящике,
свет на безлюдном мосту.
Как быстро летела,
погасая, твоя папироса
в ночные беззвучные струи...

Стокгольм, 1961

* * *

Слетают желтоватые пушинки
Пленительного липового цвета

(На души наши, душеньки, душонки),
Как золотые райские снежинки.

А после — листья полетят, желтея
(Так огненные языки сходили
Когда-то на апостолов). Но это
Нескоро, через двадцать две недели.

А в парке есть кафе, и рюмка рома,
Как золотая лилия, блистает,
И над горячим золотистым чаем
Колеблется немного фимиама.

А озеро озарено осанной,
В нем серебрятся рыбы, ветки рая.
Как нежно ветер воздухом играет,
Как шевелит немеркнущей осиной.

Мюнхен, 1961

* * *

Лиловеют поганки,
Серебрится ракита,
В длинном столбике света
Золотятся пылинки.

Сок зеленой травинки
Вяжет горечью небо.
Золотисты оттенки
Там, где сине полнеба.

Оцарапал коленки
Чей-то мальчик горбатый:
Смугло рдеют кровинки
В теплом столбике света.

И от южного ветра
Как бы в дымчатом блеске
Золотистые краски
Нежной Божьей палитры.

Мюнхен, 1956

* * *

Увядает над миром огромная роза сиянья,
Осыпается небо закатными листьями в море,
И стоит мировая душа, вся душа мирозданья,
Одинокой сосной на холодном пустом косогоре.

Вот и ночь подплывает к пустынному берегу мира.
Ковылем и полынью колышется смутное небо.
О, закрой поскорее алмазной и синей порфирой
Этот дымный овраг, этот голый надломленный стебель!

Или — руки раскинь, как распятье, над темным обрывом.
Потемнели поля, ледяные, пустые скрижали.
Мировая душа, я ведь слышу, хоть ты молчалива:
Прижимается к сердцу огромное сердце печали.

Канзас, 1964

* * *

Снопы фонтана —
как светлая райская пальма.
Остаток дыни
на влажном газетном листе
того же цвета,
как это вечернее небо.

Рабочий пьет пиво. Бутылка
цвета морской волны.
Я вижу ясно:
плывут дельфины,
дельфины, тритоны
и нереиды.

Италия, 1961

* * *

...И звуки вырвались из плена партитуры,
Как чудо, как лучи в осенний вечер хмурый.

О, если стать дано и этой жизни тесной
Гармонией земной, симфонией небесной.

О, время нежное, когда не будет гнета,
Преобразятся вдруг забота и работа

И станут музыкой, свободой и покоем,
Как уголь — ладаном, как перегной — левкоем...

Так музыка, мечтательно звеня,
Своей мечтой тревожила меня.

Мексика, 1964

* * *

Перепела, коростели,
Две параллели — колеи
В пыли проселочной дороги.

А поле в небо перешло,
И там, за озером, село
И озаренные телеги,

Паром в сиянии зари,
Слепые и поводыри,
Солома светлая у риги.

И нежно озарен плетень,
Но дымчато втекает тень
В голубоватые овраги.

Да, вспоминай, воображай
Неяркий, тускловатый край,
Край Луги, Ладоги, Калуги.

Канзас, 1963

* * *

Тени войны на замерзшей дороге. Уже
их не видно. Пустые пещеры ночи. Ледяные
водопады ночной темноты. Черные
лавины безмолвия. Безлюдные
каменоломни печали.

Я заблудился
среди ночных сталагмитов
моего одиночества.
И клочья дыма
спят, как летучие мыши,
в обугленных трещинах мира.

Канзас, 1964

* * *

Я тоже не верю в бессмертие.
Я помню один только день.
В саду городском, на концерте...
Так пошло, так нежно: сирень

И пение нежно-вульгарное
О том, что неверен был «он».
Я слушал грустя, благодарно,
Рассеян, взволнован, влюблен.

Банально-прелестное пение,
Один лимонад на двоих,
Бессмертная ветка сирени,
Увядшая в пальцах твоих...

Мюнхен, 1961

* * *

Слушая розовый сумрак смуглых ладоней,
Теплую музыку раковин нежно пахучих,
Маленьким розовым ухом прильнув поудобней,
Все повторяя, как волны — «голубчик, голубчик...»

Слыша почти, что снежинки, светлая стая,
Снова слетаются, ночь Рождеством наполняют.
Глядя на розовый шорох в широком камине,
Видя ночное молчанье улицы зимней...

Слушая грудь, где бормочут счастье и жалость,
Слыша жасминовый запах снежинки холодной,

Точно в мелодию летней реки, погружаясь
В тихий и розовый сумрак смуглых ладоней...

Канзас, 1965

* * *

Мне нужно вернуться
За скрипом колодца,
За криком детей у реки,

За плёсом в тумане,
За плеском у сходней,
За лесом у светлой реки,

За иволгой ранней,
За ивой прохладной,
За тихим дыханьем реки.

Канзас, 1964

* * *

Облака облачаются
В золотое руно.
Широко разливается
Золотое вино.

Это бал небожителей,
Фестиваль, карнавал,
И доходит до зрителей,
Как скрипач заиграл.

И две бабочки поздние
У гнилого ствола
Словно крошки амброзии
С золотого стола.

А подсолнух нечаянный
У садовых ворот —
Точно райской окраиной
Рыжий ангел идет.

Канзас, 1965

* * *

Эта нежная линия счастья
Порвется? Продлится?
Куница, синица,
Не бросай меня, легкая гостья.

Чтоб дожить мне до мудрости старца,
Сухого уродца,
Пусть долго не рвется
Эта нежная линия сердца.

Приучай, что придется расстаться,
Душонка, Психея,
Дай привыкнуть к тому, что слабеет
Это здешнее счастье,

Что одна полетишь без боязни,
Где счастью конца нет,
Где радугой станет,
Вечной радугой станет
Эта нежная линия жизни.

Скалистые Горы, 1965

ВДОХНОВЕНИЕ

Пожалуй — жалость, «грусти жало»,
И звук, как тени в ночном саду.
Немое слово трепетало,
Я бредил словом на ходу.

Я не могу сказать яснее,
Я не умею тебе сказать.
Как будто музыка во сне — и
Начало трепета опять.

Как будто жалость или скрипка
И даже — Муза поет в луче.
И новый звук качнулся зыбко,
Не знаю — мой? Не знаю, чей.

И взмах крыла (несмелый, жалкий)
Как будто осенью свет весны,
И звуки флейты, как фиалки,
Пугливой свежести полны.

Скалистые Горы, 1965

* * *

Здесь пахнет лазурью, ты знаешь? Здесь пахнет лазурью.
И струи фонтана трепещут эоловой арфой.
И пышным огнем золотится петух, запевая,
И пестрый базар не стихает в полуденном свете.

И кажутся музыкой смутной далекие горы,
И в детских губах леденец золотистой свирелью.
На старой стене расплескалась волна винограда,
И в пыльном пылании вьются песчинки бессмертья.

И в светлом звучанье текут золотистые груды
Июльского воздуха, нежного смуглого лета.
Огромные груды сиянья, громады лазури.
Смотри — половодье лазури, и горы как волны.

Альпы, 1960

* * *

Прямо на тротуаре
валяется пятно света,
круглое,
похожее на золотое блюдо.

И рядом лежит
пятно нефти,
отливая зеленым и синим,
как пышный персидский павлин.

Разноцветные крылья белья
(на веревках через всю улицу)
— розовые, оранжевые, сиреневые —

как большие цветы
висячих садов
Семирамиды.

Италия, 1961

ИЗ КНИГИ «ПАРТИТУРА»

* * *

Как это солнцу спокойно сияется,
Птицам поется, розам цветется,
Саду шумится и морю мерцается,
Филину спится, фонтану журчится.

Если тебе не лежится, не пишется,
Только вздыхается, даже не дышится,
Только жалеется, смутно желается,
Только тоскуется, только скучается?

* * *

Голубая Офелия, Дама-камелия,
О, в какой мы стране? — Мы в холодной Печалии
(Ну, в Корее, Карелии, ну, в Португалии).
Мы на севере Грустии, в южной Унынии,
Не в Инонии, нет, не в Тоскане — в Тоскании.

И гуляет, качаясь, ночная красавица,
И большая купава над нею качается,
И ночной господин за кустом дожидается.
По аллее магнолий Офелия шляется.

А луна прилетела из Южной Мечтании
И стоит, как лунатик, на куполе здания,
Где живет, где лежит полудева Феврония
(Не совсем-то живет: во блаженном успении).

Там в нетопленном зале валяются пыльные
Голубые надежды, мечты и желания
И лежит в облаках, в лебеде, в чернобыльнике

Мировая душа, упоительно пьяная —
Лизавета Смердящая, глупо несчастная,
Или нет — Василиса, нет, Васька Прекрасная.

* * *

Александру Гингеру

Лошади впадают в Каспийское море.
Более или менее впадают и, значит,
овцы сыты, а волки — едят Волгу и сено.

О, гармония Логоса! И как же иначе?
Серый волк на Иване-царевиче скачет
(по-сибирски снежок серебрится)
и море,
которому пьяный по колено,
зажигает большую синицу
в честь этой победы Человека.

Человек, это гордо!
Любит карась погреться в сметане,
чтобы милая щука поела, дремала.
Перстень проглотил рыбу царского грека.
Дважды два семь, не много, не мало.
Солнце ясней, когда солнце в тумане.

Солнце слабеет. Как бледно и серо.
У Алжирского носа под самым Деем
тридцать пять тысяч одних курьеров.

* * *

Да, утомило, надоело,
Осточертело всё к чертям.
Душа, хватай под мышки тело,
Бежим в Эдем, бежим в Сезам!

И слушает мольбу о чуде
Душа, разглядывая сор:

«Там воскресения не будет.
Там тот же погребальный вздор.

Там тоже ямы, трупы, речи,
Смесь чепухи и требухи,
И шевелит нездешний ветер
Заоблачные лопухи.

Ни ада-с, сударь мой, ни рая-с...»
Ну, что ж. Ты слушаешь ее.
Молчишь, вообразишь, стараясь
Загробное житье-бытье.

* * *

Алексею Ремизову

В долине плача, в юдоли печали
(Мели, Емеля, твоя неделя),
Где гуси-лебеди пролетали,
Мы заиграли, мы загуляли.

Кисельные реки, молочный берег —
И мы там были, и пели, и пили.
По усам текло, а в рот — попало?
Да нет, не попало, пиши пропало.

Аленушка, слушай — Лель на свирели,
Уплыло горе в заморское море!
— Мели, Емеля, твоя неделя —
Ай да люли, разлюли малина!

Долина плача, моя долина.

* * *

Задуматься, забыться, замечтаться,
Заслушаться ночной тоски.
Венеция, весна, и ночь, и пьяцца.

Вот — хризантемы, видишь — орхидеи
(Обрывки дыма и туман).
Что ж, посидим, друг другу руки грея.

Нет, волшебство едва ли возвратится,
От лунных чар болят виски
(Платить по счету: кьянти, асти, пицца).

И мы идем, и в луже мокнет роза,
А музыка один обман,
Как постаревшая Принцесса Греза.

* * *

Жизнь улыбалась, будто Царь-Девица,
А нынче хочется развоплотиться.

Очарованье, чары, волшебство?
Нет ничего (но это — ничего).

Да, превратились нежные соблазны
В гнилую падаль, в горестные язвы.

Ну, да, весна, сирень или герань,
Но дело дрянь и тело просто рвань.

Все превратилось в горечь и усталость.
Душа, бессмертная, поистрепалась.

Душа гниет, и пахнет бытие
Отравленным дыханием ее.

* * *

Я проживаю в мире инфузорий
(Дом ноль-ноль минус в Тупике Микробов).
Я казначей Содружества Бактерий.

Мы там — танцуем — танец — стрептококков.
Я улыбаюсь голубой Бацилле,
Большой поклоннице литературы.

Я пью коктейль с ценителями гноя,
Разбавленный питательным бульоном,
И что-то вроде столбняка находит.

Звезда Бактерий блещет надо мною.

* * *

Еще не дают душе улететь
Обязанности, привязанности.
О, солнце свободы, светлая весть
Прозрачной праздничной праздности!

Еще цепенеешь, горестный раб
Заботы, законов, покорности.
О, светлое чудо покоя, рай,
Легчайший свет беззаботности!

Простимся с делами — долой дела! —
С волненьями, огорчениями.
И станут печали движеньем крыла,
Беспечным, блаженным твоим тра-ла-ла,
Свирелями, виолончелями.

* * *

Мне даже думать об этом странно,
Но если все-таки («вот-вот!»)
Моя рассеянная осанна
Меня от гибели спасет —

То в неземном Иерусалиме
Взгляну туда — сквозь Божий гром —
Где был (любимый? — Ну да, любимый)
Испепеленный Новый Содом.

И успокоясь, и улыбаясь,
Гуляя в ангельском краю,
Далекий пепел посозерцаю
И нежную песенку спою.

* * *

Георгию Иванову

О, Планида-Судьба, поминдальничай,
Полимонничай, поапельсинничай,
Чтоб душа пожила не страдалицей,
Пожила бы душа именинницей,

Баловницей, царицей, капризницей!
Захотелось душонке понежиться —
Потому что еще мы не при смерти,
Далеко до зубовного скрежета.

Сокруши-ка, Судьба, врата адовы,
Улыбнись ты, Дурёха Ивановна,
Чтобы райской невиданной радости
Было море кругом разливанное!

* * *

Было б неплохо поехать в Отрадное —
Речка в Отрадном совсем изумрудная.
К черту страдания, к черту старания —
Сделал из облака ветку сирени я.
Белой сиренью сиянье качается.

Или, пожалуй, поедем в Аркадию.
Ангел в штанах из алмазной материи
Будет давать нам уроки бессмертия.
Дай нам пристанище, речка волшебница,
Замок лазурный из лунной мелодии.

Светится поле. Оно — елисейское.
В нем хороводятся тени блаженные.
Да, голубые, жемчужные жены — и
Фея, которая делает райскую
Нежную скрипку из ветра весеннего,
Нежное облако, полное пения.

* * *

Ну, а тебе — дела не опротивели?
Не надоело волноваться?
Давай, поблагодушествуем в Тиволи,
Где веет райская прохладца.

Побалуем скучающую душеньку
Чайком, винцом, воображеньем.
Послушаем копеечную музычку,
Колпак с бубенчиком наденем.

С большими ангелами повстречаемся,
Побалагурим и подвыпьем.
И к повести, которая кончается,
Добавим неземной постскриптум.

* * *

И жизнь — будто мельничный жернов на шее,
будто бревно, рухнувшее на зеваку.
Жизнь, как смерть — только нет в этой смерти
покоя.

Где он, покой, похожий на светлое летнее поле?
Не золотые сады, в которых
живут Геспериды. Просто
дорога в ухабах, коровьем и конском навозе
и мы выходим в летнее милое поле.

* * *

Разлетается сердце темными комьями крови,
Клочья души висят на терниях жизни —
Колючая проволока судьбы, в шипах заржавелых.

Так и терзайся при жизни в серном пламени ада,
Связанный пленник, потрепанный, перегоревший.
Что, освежает тебя холодный пепел мечтаний?

* * *

Николаю Белоцветову

Казалось, становится небо
Жемчужной, мерцающей розой,
Рождался игольчатый стебель
Из ветра, молчанья, мороза.

А после и синяя роза
Осыпала все лепестками,
Колола шипами мороза,
Синела высоко над нами.

Но сердце, озябшее, знало,
Что это, конечно, не роза.
И в жалких лохмотьях дрожала
Простушка по имени Греза.

* * *

Так и живу,
жуком, опрокинутым на спину,
жертва своей скорлупы.

Беспомощно бьюсь,
барахтаюсь, шевелю
жалкими конечностями,
членистоногий.

Да, конечно, законы тяжести —
спорить — напрасно.
Уже занесен,
уже надо мной
черный сапог,
любитель хруста.

* * *

Мотаться нам да маяться
(Земное безобразие),

Мочалиться, мытариться,
А все-таки мечтается —
Иллюзии, фантазии...

Мечтается, миражится,
Поется, куролесится,
Душа блудница, бражница
Невестится, куражится,
Несет-то околесицу.

Потараторь, голубушка,
Потарабарь, неумница,
А после сразу бухнемся
С тобой в тартарары.

* * *

Согласен, давай поиграем,
Расплата, пока, «за горами».
(А пахнет-то — серой, не раем.)
Стою, притворяясь героем:
Сразимся, Судьба дорогая,
В картишки, Судьба дорогая —
В геенне земной догорая.

(А звезды? Над миром, над морем...)

А лучше бы — прочь из геенны...
(Ехидны, шакалы, гиены.)

Горело багровое жало,
Зверье поиграть предлагало.
И прятки, и жмурки, бывало,
И карты — прекрасно, премило.
(К несчастью, душа проиграла.)

И с чертом за милую душу
Сыграем (а все же я трушу).
Лунатиком выйти на крышу,
Обрушиться в синее с крыши...

Да где уж, Судьба дорогуша —
Я правил игры не нарушу.

* * *

Ну, не бессмертие, хотя бы забытье.
Да, «упокоиться», забыться.
На свалку жизнь — отжившее старье.
И ночь, блаженная царица.

И даже не нужна высокая звезда
Над ворохом житейской дряни.
Бессмертие — какая ерунда.
(Питаться падалью мечтаний!)

Есть только ночь. Смешно — всегда в законный час
Придет волшебницей чудесной:
Закрыть житейский хлам, земную грязь
Блаженно-синенькой завесой.

А что касается бессмертия... Всегда
Вообразится глупость, небыль.
Бессмертие — какая ерунда.
Но — звезды... Удивляюсь. Небо...

* * *

И ангелу случается отчаяться.
Он вешается, топится, стреляется.

Его душа, печальная страдалица,
Во что-то маленькое воплощается.

Ей суждено (он не успел раскаяться)
Жить гусеницей или каракатицей.

И вот живет, питается, спасается,
И прошлое не жжет, не вспоминается.

А после воплощается смиренница
В снежинку (потерпи — и переменится)

И, светлая, она летит над улицей
И ангелами дальними любуется.

* * *

Прозевал я, проворонил, промигал.
Улетело, утекло — видал-миндал?

Ветра в поле, шилом патоки — шалишь!
Только — кукиш, погляди-ка, только шиш.

А над речкой, переливчато-рябой,
Светит облако, забытое тобой,

И денек на веки вечные застыл,
Тот, который ты увидел и забыл.

Та же самая в реке блестит вода,
Та же бабочка над отмелью всегда.

Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот,
Реет, кружится уже девятый год.

* * *

Утоли мои печали
Летним ветром, лунным светом,
Запахом начала мая.
Шорохом ночного моря.

Утоли мои печали
Голосом немого друга,
Парусом, плечом и плеском.

Утоли мои печали
Темным взглядом, тихим словом.

Утоли мои печали.

* * *

Владимиру Злобину

Но горю не помочь — и полно говорить
О жалкой мелочи житейской:
Нам реку черную придется переплыть,
Доплыть до города Летейска.

Но я хочу — пойми! — на память взять с собой,
На память взять в страну забвенья
Хотя б дубовый лист с отчетливой резьбой —
И уберечь его от тленья.

Чтобы видела душа, покинувшая труп,
Бродя в стране, где бродят тени,
И августовский зной, и запыленный дуб —
Иль хоть бы тень от летней тени.

* * *

Борису Плюханову

О вечер, темный друг, мы так устали.
И тишина летает над кустами.

И медленно из меркнущего леса
Уже течет мутнеющая Лета,

Но пахнет мятой и немного хвоей
И слушаешь, замученный и хворый,

Спокойный голос воздуха и ночи,
Замедленный на синеватой ноте,

И смерть недостоверна, как легенда,
Как темная, далекая Лигейя.

* * *

Виктору Емельянову

Душа становится далеким русским полем,
В калужский ветер превращается,
Бежит по лужам в тульском тусклом поле,
Ледком на Ладоге ломается.

Душа становится рязанской вьюгой колкой,
Смоленской галкой в холоде полей,
И вологодской иволгой, и Волгой...
Соломинкой с коломенских полей.

* * *

И луковица — жемчужина,
И финик — темный янтарь.
Собор — как жесткое кружево,
Дырявый, древний стихарь.

Акула в томатном соусе —
Коралл и мрамор, смотри!
И кружка пива, по совести,
Топазовая внутри.

И взяв рыбешку копченую,
Что золота золотей,
Пошел к святому Антонию
Какой-то рыжий Антей.

Ну да — хотелось бессмертия,
И я запомнил навек
Трактир, собор, и безветрие,
И море, и вечер, и свет.

* * *

Да, недужится, неможется,
В сердце прыгнула игра.

Смерть — оскаленная рожица —
Выглянула из угла.

Не поможет потогонное...
Что ж ты смотришь наяву?
Уплываю в Патагонию,
В Похоронию, Харонию,
В Погребалию плыву.

Аспирины аспиринные...
Обессилел... Кошка, брысь!
Палестины апельсинные...
Обессилы Абиссинии...

«Подставляй-ка губы синие,
Ближе к молодцу садись».

* * *

Ну что — отмучился? «Залогом примиренья»
Белеет роза на груди.
Ну, если не обман блаженные селенья,
То — Царство Света впереди.

Но свет, пожалуй, был на будущей могиле,
И воздух, как жасмин, расцвел,
Когда тебя, дружок, — ты помнишь? — положили
На операционный стол.

А в тот, нездешний мир ты, значит, под наркозом...
И что же — Бог, блаженство, свет?
К огромным, ангельским, крылатым, райским розам...
Так как же — неужели нет,

Всё глупости (эх, хоть бы сон блаженный!),
Лишь роза на груди, где шов,
Недолговечной, да, земной, земной заменой
Небесных вечных лепестков?

* * *

Анне Присмановой

Превращается имя и отчество
В предвечернее пламя и облачко,

И становится дата рождения
Отражением — в озере — дерева.

И становится даже профессия
Колыханием, феей и песенкой,

И остатки какого-то адреса
Превращаются в лотос и аиста.

И подумайте — стала фамилия
Розоватым фламинго — и лилией.

ИЗ КНИГИ «КОМПОЗИЦИЯ»

* * *

Таракан Тараканий Великий, властелин пауков и
лемуров,
Шел войной на лангуста Лангуста, властелина
мокриц и мандрилов.
Над рядами кротов или крабов сто вампиров
топорщились хмуро.
Рассветало. Был снег на равнинах. И сердце томилось.

Тараканий, шевеля усами, осуждал теорию квантов.
Лангуст, шевеля усами, поучал, что важней —
квакванты.
О, как трудно дышать! Сколопендры в темнеющем небе.
Густо падает снег. Чье-то сердце лежит на сугробе.

Уже уносило в жерло расширяющейся Вселенной,
В черной пустоте кружило Таракана, Тамерлана,
Лангуста, Ксеркса.

В конусе небытия Тарантул вращался, пленный.
Два огненных дикобраза вертелись, грызясь из-за
сердца.

Только мы отдыхали одни в отвратительном царстве
Эринний.
И на сомкнутых веках твоих были пепел, и слезы,
и — иней.

* * *

Woher, wohin — nicht Nacht, nicht Morgen, kein Evoe, kein Requiem
*Gottfried Benn**

«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией.
Хо-хо! И мертвый расхохочется.
Не плачь — и рана не беда, не тронь ее,
Не плачь, молчи, не обращай внимания,
Мне расхотелось жить, тебе расхочется.

Ты «сел не в тот вагон». И я. («Бывают недоразумения»,
Сказал верблюд, слезая с утки.)
Была зима, снега. Ночные тени я
Пытался разогнать иронией,
И пили мы вторые сутки.

Мы опоздали, навсегда. Не опозорены,
Но всё пропало, всё пропало.
«Ирония судьбы». Судьба, мы ранены иронией.
Мы сброшены с пути, как поезд взорванный
У обгорелого вокзала.

* * *

И яблоко, по зрелом размышлении,
По ветке чиркнув, быстро стукнулось —
Свидетельство закона тяготения.

---

* Куда, зачем — ни ночь, ни утро, ни реквием, ни эвоэ. *Готфрид Бенн.* (Здесь и далее переводы эпиграфов И. Чиннова.)

И черный кот поймал мышонка белого
С ним поиграл, а после съел его —
Закон единства противоположностей.

И там, где спорили две точки (зрения)
Прямая (фронтовая) линия
Была, увы, кратчайшим расстоянием.

Потом разрушили до основания
Два города в весенней зелени
(Закон достаточного основания).

И солнце в море опустилось весело,
Теряя в весе столько, сколько весила
Им вытесненная купальщица.

* * *

Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is

*W. B. Yeats**

Живу, увы, в страдательном залоге
(«Бессмертья, может быть, залог»?).
Не жизнь — смесь тревоги и — изжоги,
Туманный яд, холодный «смог».

Да, да, сегодня красная погода,
Да, презеленая, отстань.
Делишки и делишечки, простуда,
Больная, сломанная тень.

Но — русские авоси да небоси,
Все — ничегошеньки, пройдет.

---

* Сожги мне сердце: утомленное желаньем,
Оно к животному, которое умрет,
Прикреплено; оно себя не знает.

В. Б. Йетс

25 — 8850

Сереет небо, холодеет осень.
А скоро — иней, скоро — лед.

...Кто смотрит? Искупитель? Искуситель?
Неясный нимб... Да нет — луна...
И не о чем, и незачем, простите...
«Луна — бледна». «Весна — красна».

* * *

...um das herz wolbt sich ein singender himmel
doch seinen liedern durfen wir nicht glauben...
*Hans Arp**

Загуляй ты, выпей полдиковинки,
Целовать кидайся целовальничка,
Надивись на дивные штуковинки,
На девиц-красавиц балаганчика!
Барабанщики там и бубенчики,
А на лбу серебряные венчики.

Суматошливо-то, скоморошливо,
Без горючих слез, пляша-играючи,
И ни будущего, и ни прошлого,
О, голубушки мои, не знаю, чьи,
Было давеча, стало нонече.
Пляшут ангелы, скинув онучи!

О, немножечко хоть, Боже наш, немножечко —
Ах, да что же, мужичку уже неможется.
Хоть машинка заливается натужная,
Да слезинка наливается жемчужная:
Где ж ты, нежная царица Шамаханская?
Эх ты, жизнь, как говорится, арестантская!

---

* ...над сердцем купол певучего неба,
но песням небесным лучше не верить...
Ганс Арп

* * *

Да, расчудесно, распрекрасно, распрелестно,
Разудивительно, развосхитительно,
Разобаятельно, разобольстительно,
Не говори, что разочаровательно.

Но как же с тем, что по ветру развеяно,
Разломано, разбито, разбазарено,
Разорено, на мелочи разменяно,
Разгромлено, растоптано, раздавлено?

Да, как же с тем, кого под корень резали,
С тем, у кого расстреляны родители,
Кого растерли, под орех разделали,
Раздели и разули, разобидели?

* * *

Помню изгородь, помню жимолость,
На крыльце серебристую изморозь,
А на окнах — морозную живопись.

Это память плющом цепляется,
А стена — завалилась, заляпана
Черной известью, шлаком, слякотью.

...Поплыли дымки — гуси-лебеди
И домашний очаг — бомбой вдребезги:
Ну, друг Иов, живи — в страхе-трепете.

Дым не хуже был, чем у Авеля...

О, дыхание дымного ангела
Там, где армия жгла и грабила!

* * *

Была вечеринка в аду. И с бутылочкой рома
Склонялся Иуда к чертёнку с лицом херувима.

И Каин скучал подле черной диавольской кухни.
«Святому Георгию» пели драконы Эй ухнем
И демоны выли Те Деум средь гама и дыма.

И серые тени змеились у лодки Харона,
И теням туманным показывал фокусы Хронос,
И чья-то душа, разжиревшая черная такса,
В зеркальной стене отражаясь, прилипла к паркету.

И мы танцевали на темных волнах Флегетона,
И черный оркестр погружался в мерцание Стикса,
Огромные люстры летели в застывшую Лету.
Все, кажется, ждали Христа. Нет, конечно, не ждали.

* * *

Акакий Акакиевич,
шинель — «тово»!
Петрович покачивает
седой головой.

Во граде Петровом
черный утюг.
Петрович, Петрович,
шинель — тю-тю!
Навек тю-тю, навсегда тю-тю!
О, если бы чудо — я чуда хочу!

Ворона покаркивает.
Могила. Снег.
Акакий Акакиевич,
шинель — шут с ней!

Не стоит искать, тосковать, бунтовать:
в обитель небесную мчится кровать.
В сиянье и славу, в парчу и виссон
Акакий Акакиевич облачен.

А если и нет — и тогда не беда:
над ним лебеда, под ним вода.

«Энергия — в материю!» Все физика, да.
Копил, копил, сукно купил. Конец, господа.

ИЗ КНИГИ «ПАСТОРАЛИ»

* * *

На окраине города, ночью, в Европе...
Одиссей из России, — вернись к Пенелопе!

Огоньками большой неукрашенной елки
В темной комнате — кажутся звезды. И смолкли

Порыванья дождя над волненьем канала —
Точно русская роща шуметь перестала.

Тянет сыростью, вечностью, ночью, забвеньем
С неподвижных полей. Друг мой, чем мы заменим

На короткое время те русские церкви
(Точно тонкие свечи под ветром померкли),

Потемневший Детинец над темной рекою,
Углич в синем снегу, отошедший к покою,

Крестный ход, огоньки у Бориса и Глеба,
Темный запах овчины, и дыма, и хлеба?

* * *

И в мои лета, смерть без ответа.
Карион Истомин (ум. 1717)

Милый друг, спасибо за молчание:
Сладко слушать тишину.
В нереальной, неземной компании
Я от шума отдохну.

Я постиг особенное зодчество:
Лунный выстрою дворец,

Чтобы мир благого одиночества
Мне открылся, наконец.

Будут тени, в бархаты одетые,
В узких лодках проплывать,
Будто серебристыми стилетами
Резать меркнущую гладь.

И на бледные немые тени я
В той Венеции — другой —
В голубом четвертом измерении
Погляжу, мой дорогой.

* * *

Улыбнись, царевна Несмеяна,
Несмеяночка, молчаночка, тишинка!
О, морозинка, малиновка, малинка,
Как березка из тумана!

Дайся в руки мне, царевна Лебедь,
Ты жемчужинка, изюминка, снежинка,
Ты летучая, прозрачная пылинка,
Звездочка в осеннем небе!

Подлети, царевна Недотрога,
Дайся в руки, тучка, льдинка,
Светлая бессмертинка, раинка,
Поиграй со мной немного!

* * *

Кто повидал сокровища земные,
Не может разлюбить земли.
Чудес Венеции и Византии
Немало музы сберегли.

В музее светлом греческие фризы
И козы пестуют козлят.

Персидские лазоревые вазы,
Бледно-оранжевый закат.

А рядом персики и абрикосы,
Лилово-темный виноград.
И я на улице, в толпе раскосых
Китайцев, фавнов и наяд.

У Лувра сероватые платаны
И желтый лист лежит в пыли.
Музейные прекрасные картины —
И запах Матери-Земли.

Но то, что сердце заставляет биться,
Напоминает отчий дом:
Места, где клен в сиянье золотится
На сельском кладбище пустом.

* * *

Ночная бабочка, мохнатая, как филин,
Вещественней твоей души.
Я душу нежную вообразить бессилен.
Душа, на стекла подыши!

И даже изморось, стоящая туманом,
Вещественнее, чем она.
— Но невидимка музыка внятна нам?
Так упоительно внятна!

Соната нежная, незримый запах розы —
Душа едва ль незримей их? —
Да, да, конечно. Праздные вопросы.
Душа не хочет слов таких.

Мне грустно, что она бесплотное созданье,
Бесплотней тени на снегу.
Мне грустно потому, что даже на прощанье
Ее обнять я не смогу.

ИЗ КНИГИ «АНТИТЕЗА»

* * *

Душа, от шашней разной шушеры и нечисти
Ты отдохнешь — шабаш! — в священной
роще Вечности.

Ты долго маялась, роптать не смея,
В пещере людоеда и пигмея,
В салонах троглодитов и хунхузов
(«Назвался груздем — полезай же в кузов!»)

Расставшись с готтентотами, с башибу-
зуками,
Ты насладишься гармоническими звуками.
В нездешней роще — Хлоя и Пленира
И тень кентавра или тень сатира.
Ты будешь жить средь розовых оленей
И голубых и нежных привидений.

А может быть, порвав с бушменами и
кроманьонцами,
Ты будешь с ангелами, звездами и
солнцами?

И нежно запорхают василиски
Средь васильков, нам предлагая виски,
И гарпии и фурии из ада
Нам вынесут по чашке шоколада.
Кинь грусть! Кинь грусть! И умирать
не надо!
Кинь грусть! Кинь грусть! Кинь грусть!
Кинь
Грусть! Кинь грусть! Кинь грусть!

* * *

Вы не спорили, русские мальчики,
О таинственной вещи — бессмертии?

Вот умрем — и? Гробы, точно ларчики,
Открываются просто? Не черти и
Не святые, а черви? В материи
Есть — печально, печально — бактерии.

То надеется, то не надеется
Человек на свое воскресение.
— «Ну, куда уж там — прахом развеется,
Просто-напросто — дымом рассеется,
Заблуждение, недоразумение?»

— «А евангельский, давний (не верится?)
Теплый вечер, и Он «у колодезя»?
О, живая вода, жизнь вечная...»
— «И про дочь Иаира — гипотеза,
И о Лазаре — сказка, гипербола».

Ветер в русском саду. И колотится
Красно-серая веточка вербная.

* * *

Начну на флейте стихи печальны,
Зря на Россию чрез страны дальны.
Тредиаковский

В Россию — ветром — строчки занесет...
Эх, эмигрантские поэты!
Не ветром, а песком нас — занесет.
И стаю строчек у глухих ворот
Засыплет временем — бесчувственным,
как лед,
Как злые зимние рассветы.

Засыплет нас... Но вдруг — раскопки?
...Лес, толпа,
Осина бьется на опушке
И возле черепков слепые черепа,
Как позабытые игрушки.

Протертый череп отражает свет,
А ребра — как рога оленя.
И мелкий щебень радостей и бед
Биограф зачерпнет (зачем, не надо, нет!)
На черном дне реки забвенья.

Но тот, который был когда-то я,
Судом потомства, может статься,
В уютном уголке небытия
Не станет интересоваться.

* * *

Во времена Данте Флоренция
называлась не Firenze, как
теперь, а Fiorenza.

Да, мы эмигранты, «переселенцы»,
«Отщепенцы»... Что ж, не грусти.
Из Флоренции, родной Фиоренцы,
Флорентинцу Данте пришлось уйти.

Могила в Равенне. Fiorenza mia...
Но все флорентинцы знают о нем.
Приятный сюрприз будет, если Россия
Эмигрантских поэтов почтит... потом.

Свезут, реабилитированных посмертно,
На Литераторские Мостки,
И уже не будет, почти наверно,
Ни одиночества, ни тоски.

* * *

Из шелухи, из чепухи
Плохие шуточки и штучки.
Три ведьмы шепчут мне стихи,
Сидят верхом на авторучке.

Из ночи, дыма и дождя —
(Алхимия и ахинея) —

И небо, медленно дрожа,
Внезапно стало зеленее.

Как на ладони бытие —
Немного меда, много яда.
А ведьмы, кутаясь в тряпье,
Мне шепчут: «Малая награда

Тебе: стихи — какая чушь!
Бирюльки, бабочки, безделки.
И не бессмертие, а глушь,
Канава, холод, дождик мелкий».

Парафернальия, пора
Абракадабра! Панчатантра!
(Не алгебра и не игра,
А контра-пунктик музыканта.)

* * *

Живу, изящными уютами
От ужасов отгородясь
(А время капает минутами
В кладбищенскую непролазь).

Живу, любуясь безделушками,
А вечность тянет, как магнит,
И пасторальными пастушками
(Как неожиданно!) — манит.

Там даже туча именинница,
Кокетничает с ветерком,
Река целуется, бесстыдница,
С кисельным сладким бережком.

И розовыми хороводами
Пейзанки нежные плывут
В альков с маркизами, милордами,
Маня в изящнейший уют.

Пикник в раю! Сия идеечка
Мне по душе! Адье! Пиф-паф! —
И смерть запела канареечкой,
Остаток зернышек склевав.

* * *

Соседи суетливые твои —
Они искусственные муравьи:
Все тащат, тянут, бегают, несут
Житейский груз (а как же Страшный Суд?).

С одним шагает девяносто лет
Осклабленный искусственный скелет.
На блюде шестьдесят четвертый год
Искусственную челюсть он несет.

А муравей спешит — он деловит,
К нему бежит искусственный термит:
Ему привез инопланетный гость
Берцовую (естественную) кость.

* * *

В безвыходной тюрьме Необходимости,
В застенке беспросветной Неизбежности,
В остроге безнадежной Невозможности

Мне хочется Господней дивной милости,
Мне хочется блаженной Отчей жалости,
Мне этой безысходности не вынести!

Мне хочется прозрачности, сияния,
Прощения, любви, освобождения,
Свободы, благодати, удивления,
Твоих чудес. Чудес! Преображения!

Мне хочется — из мертвых воскресения!

* * *

Я недавно коробку сардинок открыл.
В ней лежал человечек и мирно курил.

«Ну, а где же сардинки?» — спросил
его я.
Он ответил: «Они в полноте бытия.

Да, в плероме, а может, в нирване они
И над ними горят золотые огни,

Отражаясь в оливковом масле вот здесь,
И огнем золотым пропитался я весь».

Я метафору эту не мог разгадать.
Серебрила луна золотистую гладь.

И на скрипке играл голубой господин,
Под сурдинку играл он в коробке сардин,
Под сардинку играл — совершенно один.

ИЗ КНИГИ «АВТОГРАФ»

* * *

Гекатомбы, катакомбы,
Ближний, дальний — улюлю!
Я щелчком нейтронной бомбы
Удивлю, так удивлю!

Взять плутония, урана
(Дважды надо взять уран)
И вблизи Альдебарана
Наш очутится баран.

Может, Бог тебе поможет.
Человечество, спасайсь!

Если кто, конешно, может...
Кто не может, не спасайсь!

Кто америкен, кто рашен,
Кто алкаш, а кто зека.
Мы с нейтронами отпляшем
Гопака и трепака!

Я живу — смешное дело! —
В стороне от здешних мест.
Эх! среда меня заела!
И четверг меня заест!

* * *

Я думал перевоплотиться
В красавицу или красавца,
В Нарцисса или Царь-Девицу,
Но, вероятно, не удастся.

Я собирался стать Жар-Птицей,
Павлином, Фениксом, секвойей,
Орлом, который громоздится
Над снегом горного покоя.

Мечту на мелочи разменим:
Придется удовлетвориться
Смиренным перевоплощеньем
В рябину, сосенку, синицу.

А может быть, и это много,
И в лучшем случае я стану
Туманом над лесной дорогой,
Дымком, примешанным к туману?

* * *

Болею манией величия!
(Смиреньем не спасаю душу я!) —

И на людское равнодушие
Я отвечаю безразличием.

Сосед любезный homo sapiens,
Обмениваемся поклонами.
Я уезжаю на Галапагос
За черепахами зелеными.

Вот поймана большая партия.
Читаю им стихи (о пьянице).
Ко мне одна с восторгом тянется
Из-под наскучившего панциря.

Другой милей стихи об аисте,
О розе, небе, свете, ласточке.
Она кивает понимающе
И аплодирует мне ластами.

И носороги с осьминогами
Приходят слушать... (Твари Божии!)
Сравни со многими двуногими:
Они совсем не толстокожие!

* * *

Под шум Атлантического океана
Мы встали поспешно, особенно рано:

Меньше, чем через пять миллиардов лет,
Не станет океана, не станет, нет!

Он весь улетучится, испарится,
Тебе и мне будет только сниться!

(Спроси по-пеликаньи у пеликана:
Заскучаем, правда, без океана?)

Через неполных семь миллиардов лет
Ты уж не захочешь встречать рассвет:

Солнце станет светлее в тысячу раз —
Это будет вредно для наших глаз.

Тем более что солнце Землю спалит
И нас эвакуируют в сад Гесперид.

И золотые яблоки в нежном саду
Нам заменят солнце, нашу звезду.

* * *

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.

Среди ежевики, синики, черники —
И голос души, словно тень Евридики.

И я очутился в той роще осенней,
У берега детских моих впечатлений.

И больше не прибыль, не убыль, не гибель,
А лист, пожелтелый, на водном изгибе

И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжащий в траве, от нее голубея.

Там, словно под тенью священного лавра,
Корова лежит с головой Минотавра,

Египетским богом там кажется дятел
И я наблюдаю, простой наблюдатель,

За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо — душа (только более смело?)

* * *

Какие вокруг образины,
Какие уродины тут!

Крылато-зубчатые спины
Угрюмую душу гнетут.

Уйдем от зеленых чудовищ,
От синих страшилищ-червей
На Остров Небесных Сокровищ,
Где славит бессмертный Орфей

Богов. Где легко и прозрачно,
И жизнь — как большая звезда.
Туда — от грязцы аммиачной,
От низости злого труда,

От низости злого безделья,
Дельцов, подлецов, дураков,
От злого змеиного зелья
Улыбок, оскалов, щипков —

Туда, где ничто не похоже
На скуку наскучивших мест...
Но райское пение тоже
(Всю вечность!) тебе надоест...

* * *

Мы положим на чашу весов
Тонкий запах осенних лесов,
Серо-сизые краски реки
И в полях негустые дымки,
Журавлиный стрельчатый полет
И закат над туманом болот.

Мы положим с тобой на весы
Тишину в голубые часы,
Вечереющие облака,
Желтоватый огонь маяка,
Синеву, окружившую мост,
И мерцание маленьких звезд.

Мы положим с тобой на весы
Лунный отблеск речной полосы,

Понемногу сходящей на нет;
И уже проступавший рассвет,
Легкий ветер в осоке сырой,
След лазури над белой горой,
Засиявшую каплю росы —
Все положим с тобой на весы.

Лепесток в озаренном пруду
И от лодки в пруду борозду,
И зыбучую тень от листка
Над полуденным жаром песка
И — «ау!» молодых голосов —
Все положим на чашу весов.

* * *

Кто может сосчитать морской песок? Весной
Я шел по берегу, устало:
Я точно сосчитал песчинки — до одной.
Но двух песчинок не хватало.

Песок... Моя судьба — песочные часы:
Переверни — и все сначала.
Я все шучу. Из белой полосы
Песчинка в черную упала

Навек. Но не горюй: вновь солнечный восход
Над морем, волны заблестели
И Афродита-Муза вновь плывет
На раковине Боттичелли.

Ну, а душа — моллюск. Но створки отворят,
Совсем невзрачные снаружи,
И вдруг увидят мой несовершенный клад:
Некрупных несколько жемчужин.

Пусть раковиной бледной и пустой
Я на песке похолодею:
Но светлый Мусагет из раковины той
С улыбкой вырезал камею.

* * *

Мы давно отдыхаем
На чужих берегах.
Здесь, над пальмовым раем,
Мой развеется прах.

Нет, какое там горе?
(Ельник, холмик, снега?)
Увезут в крематорий,
Да и вся недолга.

Ни тоски, ни обиды.
Не вернемся домой.
Падай с неба Флориды,
Пепел серенький мой!

Нет, какие могилы?
(Галка, осень, дожди...)
На Ваганьковском, милый,
Не позволят, не жди.

Что ж, ничуть не обидно:
Ведь в могиле темно
И березок не видно,
И не все ли равно?

* * *

Я с тобой не поеду
В голубую Тоскану.
По остывшему следу
Возвращаться не стану.

Помню двух флорентинок —
И сестер их в Уффици.
Где кончается рынок,
Там хотел я родиться.

Как пестра Санта Кроче!
Как прохладна Капелла!

Микельанджело: тело,
Утомленное, Ночи.

Мощь и строй синьории,
Пестрота кампаниле.
Мы о чем говорили?
О тебе, о России.

Вход в прохладную казу,
Купол, свет, черепица.
Мне хотелось там сразу
Умереть и родиться.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

* * *

Ольге Кузнецовой

А надо бы сказать спасибо:
За кринку молока парного,
За черную ковригу хлеба,
За небо с кромкою лиловой,

За двух небоязливых галок,
Собаку с мордой черно-сивой,
За то, что на порог упала
Для нас желтеющая слива.

За ветки в глиняном кувшине,
За ветер, веявший с востока,
За вкус черники темно-синей,
За связки чеснока и лука,

За дыню, зревшую у входа,
Свинью, запачкавшую рыло,
За то, что милая природа
К нам, видимо, благоволила,

За желтый мед (ты помнишь запах?),
Пахучий сыр и карк вороны
(И черный кот на белых лапах
Ходил кругом, хоть неученый),

За то, что лиловела кашка
И ежевика поспевала,
За то, что добрая кукушка
Нам долгий век накуковала,

За стуки дятла-лесоруба —
Сказал ли я за все спасибо?

Подмосковье, 1992

БИБЛИОГРАФИЯ
СТАТЕЙ О ТВОРЧЕСТВЕ И. ЧИННОВА

Адамович Г. Новый поэт // Новое русское слово. 1952. 20 марта.

Адамович Г. Стихи Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1961. 4 июня.

Адамович Г. Комментарии. Вашингтон: Изд-во Виктора Камкина, 1967. С. 205.

Адамович Г. Игорь Чиннов. Метафоры // Новый журнал. Кн. 96. 1969. С. 287–289.

Адамович Г. Игорь Чиннов. Партитура // Новый журнал. Кн. 102. 1971. С. 282–284.

Андреев Н. Заметки о журналах // Русская мысль. 1953. 9 дек.

Бахрах А. Один из последних // Русская мысль. 1978. 16 февр.

Бахрах А. Спирали и параболы. О поэзии Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1978. 25 июня.

Бахрах А. «Автограф» Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1984. 1 сент.

Боброва Э. Игорь Чиннов. Пасторали // Современник. Кн. 30–31. 1976. С. 195–197.

Богословский А. Игорь Чиннов // Человек. 1992. № 3.

Болычев И. Игорь Чиннов: Последний парижский поэт // Новый журнал. 1994. № 197.

Большухин Ю. Об уединенной поэзии: Игорь Чиннов // Новое русское слово. 1957. 14 июля.

Большухин Ю. Заметки о поэзии Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1968. 29 июля.

Большухин Ю. Чистая поэзия // Новое русское слово. 1969. 15 июня.

Вейдле В. О стихах Игоря Чиннова // О поэтах и поэзии // Мосты. Кн. 7. Мюнхен, 1961. С. 143–147.

Вейдле В. Два поэта (1970) // Жрецы единых муз // Новое русское слово. 1973. 16 сент.

Вейдле В. Те же двое (1973) // Жрецы единых муз // Новое русское слово. 1973. 21 окт.

Вейдле В. Игорь Чиннов. Пасторали // Новый журнал. Кн. 123. 1976. С. 252–255.

Витковский Е. Дань живым // Новый мир. 1989. № 9.

Гатова Л. «Антитеза» Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1981. 1 сент.

Горбов Я. Игорь Чиннов. Линии // Возрождение. 1963. № 140. С. 141–143.

Гуль Р. Игорь Чиннов. Линии // Новый журнал. Кн. 65. 1961. С. 298–300.

Гуль Р. Одвуконь. Нью-Йорк: Мосты, 1973. С. 273–275.

Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. Кн. 23. 1950. С. 202–203.

Иваск Ю. Разбор двух стихотворений Игоря Чиннова (На правах рукописи). Изд-во Канзасского ун-та, 1959. 40 экз. С. 1–13.

Иваск Ю. «Линии» Чиннова // Новое русское слово. 1962. 18 февр.

Иваск Ю. О писаниях Валерия Перелешина // Новое русское слово. 1970. 24 мая.

Иваск Ю. Американская нота // Русская мысль. 1971. 15 апр.

Иваск Ю. Поэзия «старой» эмиграции // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972. С. 63–65.

Иваск Ю. Игорь Чиннов. Антитеза // Новый журнал. 1980. № 138.

Иваск Ю. О поэзии Игоря Чиннова // Литературный курьер. 1985. № 11.

Ильинский О. Памяти Игоря Владимировича Чиннова // Новый журнал. 1995. № 200. С. 347.

Иссако Ю. Рифма // Посев. № 41 (280). 1951. С. 11–12.

Казак В. Лексикон русской литературы XX века / Пер. с нем. Е. Варгафтик и И. Бурихин. Ред. М. Зоркая. М.: РИК «Культура», 1996.

Коростелева А. «Вся жизнь так грустно-коротка» (Игорь Чиннов. Загадки бытия) // Литературное обозрение. 1999. № 4. С. 92–93.

Крейд В. Поэт Игорь Чиннов // Новый журнал. 1995. № 200. С. 345.

Крепс М. Поэтика гротеска Игоря Чиннова // Новый журнал. 1990. № 181.

Кузнецова Н. Новый поэт // Литературная Россия. 1999. 5 нояб.

Кузнецова О. «Прежде, чем стать небожителем» // Литературная газета. 1992. 8 янв.

Кузнецова О. Прощаясь с Игорем Чинновым // Новый журнал. 1996. № 202. С. 303.

Летаев И. *(псевдоним)* Встреча (О «Партитуре»). Л.: Самиздат, 1975. С. 1–7.

Линник Ю. Его судьба — песочные часы (Поэзия Игоря Чиннова) // Грани. 1992. № 164. С. 151–177.

Маковский С. Поэзия Игоря Чиннова // Опыты. Кн. 1. 1953. С. 143–148.

Можайская О. Муза поет в луче // Грани. Кн. 82. 1971. С. 227–230.

Нарциссов Б. Поэзия Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1975. 2 февр.

Нарциссов Б. Игорь Чиннов. Письма о поэзии // Новый журнал. Кн. 118. 1975. С. 73–83.

Нарциссов Б. «Антитеза» Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1980. 10 февр.

Неннсберг Т. Поэзия Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1965. 10 окт.

Одоевцева И. Игорь Чиннов: «Партитура» // Новое русское слово. 1971. 7 апр.

Одоевцева И. Игорь Чиннов: «Композиция» // Новый журнал. Кн. 113. 1973. С. 283–285.

Одоевцева И. Игорь Чиннов: «Пасторали» // Новое русское слово. 1976. 16 мая.

Пасквинелли А. Метафоры и метаморфозы: гностическое изгнанничество Игоря Чиннова // Новый журнал. Кн. 183. 1991. С. 119–128.

Перелешин В. Многозначительные намеки: Поэзия Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1970. 15 марта.

Плетнев Р. О поэзии Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1976. 26 апр.

Плюханов Б. Игорь Чиннов // Даугава. 1989. № 7.

Плюханов Б. Поэт Игорь Чиннов // Блоковский сборник. XII. Тарту, 1993.

Попов М. «Одиссей из России» // Роман-газета XXI век. 1999. № 7. С. 100.

Райс Э. О четырех поэтах // Грани. № 47. 1960. С. 237–238.

Райс Э. Поэзия Игоря Чиннова // Возрождение. 1971. № 235. С. 131–145.

Раннит А. К определению поэзии // Новый журнал. Кн. 111. 1973. С. 60.

Ржевский Л. Строфы и «звоны» в современной русской поэзии // Новый журнал. Кн. 115. 1974. С. 135–137.

Ростова Б. «Монолог» Игоря Чиннова // Литературный современник. 1952. № 4. С. 95–96.

Слоним М. Поэзия Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1973. 6 мая.

Содружество / Сост. Т. Фесенко. Вашингтон: Изд-во В. Камкина, 1966. С. 522.

Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 368–369.

Тверской П. (Ник. Андреев). Стихи раздумья и поиска // Грани. 1950. № 14. С. 191–192.

Терапиано Ю. Игорь Чиннов. «Монолог» // Новое русское слово. 1950. 15 окт.

Терапиано Ю. Игорь Чиннов. «Линии» // Русская мысль. 1961. 20 мая.

Терапиано Ю. Игорь Чиннов «Линии» // Единение. 1961. 22 сент.

Терапиано Ю. «Метафоры» // Русская мысль. 1969. 29 мая.

Терапиано Ю. «Метафоры» // Единение. 1969. 14 сент.

Терапиано Ю. Новые книги: О «Партитуре» // Русская мысль. 1971. 7 янв.

Терапиано Ю. Игорь Чиннов: «Композиция» // Русская мысль. 1973. 8 марта.

Терапиано Ю. Игорь Чиннов. «Пасторали» // Русская мысль. 1976. 29 апр.

Трубецкой Ю. Игорь Чиннов // Портреты современников // Новое русское слово. 1953. 20 сент.

Трубецкой Ю. Иваск о стихах Игоря Чиннова // Русская мысль. 1960. 21 янв.

Трубецкой Ю. О стихах Игоря Чиннова // Современник. 1961. № 3. С. 61–63.

Федякин С. От мудрости — к юности // Независимая газета. 1999. 11 марта.

Фесенко Т. Заметки читателя // Новое русское слово. 1971. 17 янв.

Фесенко Т. «Я не забуду, нет, я не хочу забыть...»: Пятая книга стихов Игоря Чиннова // Современник. 1973. № 25. Нояб. С. 100–102.

Фесенко Т. Игорь Чиннов. «Автограф» // Новый журнал. 1985. Кн. 161.

К. Ф. (Фотиев К.). «Пасторали» Игоря Чиннова // Новое русское слово. 1977. 20 нояб.

Шаховская З. Стихи Игоря Чиннова // Русская мысль. 1979. 15 нояб.

Шаховская З. Игорь Чиннов. «Автограф» // Русская мысль. 1985. 4 апр.

Columbia Dictionary of Modern European Literature. Second edition. Columbia University Press. N.Y., 1980. P. 161–162.

Croft L. The Method of Madness in a Poem by Chinnov // Slavic & East European Journal. 1973. Winter. Vol. 17. Nr. 4. P. 408–413.

Dictionary of International Biography. International Biographical Centre. England, Cambridge, 1977. Part 1. P. 147.

Glad John. The American Chapter in Russian Poetry // Russian Language Journal. Num. 106. Spring. 1976. Michigan State University, East Lansing, Mich. P. 174–177.

Glad John. Russian Poetry Since the Revolution // Anthology «Russian Poetry: the Modern Period» / Ed. John Glad & Daniel Weissbort. The University of Iowa Press, Iowa City. P. I–III.

Glad John. Foreword // Чиннов И. Антитеза. Birchbark Press, 1979.

Glad John. Chinnov Igor // The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literatures. Vol. 4. USA, 1981.

Guenter Johannes v. Die Literatur Russlands. Stuttgart: Union Verlag, 1964. Seite 222.

Handbook of Russian Literature / Ed. Victor Terras. Yale University Press, New Haven; London, 1985. P. 83–84.

Ivask George. Igor Chinnov. Metafory // Slavic Review. 1969. Dec. Vol. 28. Nr. 4. P. 686–687.

Kasack W. О стихах Игоря Чиннова // OstEuropa. 1981. № 4.

Moderne Weltliteratur / Gero v.Wilpert & Ivar Ivask. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972. Seite 714.

Montgomery Linda Merrick. The Early Poetry of Igor Chinnov. Cornell University, 1972. P. 1–20.

Morrison R.H. America's Russian Poets. Ardis / Ann Arbor, 1975. P. 72.

Pasquinelli A. Metafore e metamorfosi: l'esilio gnostico di Igor' Činnov // L'Altra Europa. № 4 (220). 1988. P. 17–30.

Pasquinelli A. Kuzmin, Nabokov, Činnov, poètes alexandrins // Cahiers du Moude russe et soviètique. XXXII (3). Sept. 1991. P. 369–378.

Rannit Aleksis. Towards a Definition of Poetry // Russian Literature Triquarterly. Nr. 3. 1972. P. 349.

Rannit Aleksis. Interview // Webster review. June. 1975. Nr. 4. P. 26–31.

Silbajoris Rimvydas. Igor Činnov. Metafory // Books Abroad. Vol. 44. № 3. Summer. 1970. University of Oklahoma, Norman, Okla. P. 504.

Terras Victor. Игорь Чиннов. «Метафоры» // Slavic & East European Journal. Vol. 15. Nr. 1. 1971. P. 81.

Terras Victor. Игорь Чиннов. «Партитура» // Slavic & East European Journal. Vol. 15. Nr. 4. 1971. P. 511–512.

Terras Victor. Foreword // Чиннов И. Антитеза. Birchbark Press, 1979.

The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literatures / Edited by Harry B.Weber // Academic International Press, 1981. Vol. 4. P. 87–90.

World Literature since 1945 / Ivar Ivask & Gero v. Wilpert. Frederick Ungar Publ., New York, 1973. P. 578.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абельман Мария Вениаминовна — вдова придворного глазного врача М. В. Абельмана. В Париже у нее в салоне собирались эмигрантские поэты и писатели.

Адамович Георгий Викторович (1894–1972) — поэт, литературный критик. Эмигрировал в 1923 году. И. Бунин считал его первым критиком эмиграции (см. Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1. М.: Наука, 1973. С. 679). Сейчас статьи, стихи и проза Г. Адамовича изданы в России.

Алданов Марк (псевдоним Марка Александровича Ландау, 1886–1957) — писатель. С 1919 г.— в эмиграции. Автор серии романов, охватывающих события русской и европейской истории с 1762 по 1948 г. Сейчас романы М. Алданова изданы в России.

Алексеева Лидия Алексеевна (1909–1989) — поэт. В эмиграции с 1920 года. С 1949 года жила в Нью-Йорке. В 1954 году вышел первый поэтический сборник «Лесное солнце», затем появились еще четыре. Для ее стихов характерны пейзажные зарисовки, элегический настрой.

Андерсен Лариса Николаевна (р. 1914) — поэт. В эмиграции жила в Харбине, Шанхае, на Таити, в Париже. Печаталась в нескольких антологиях. В 1940 году выпустила сборник стихов.

Андреев Г. (а также Н. Отрадин — псевдонимы Хомякова Геннадия Андреевича, 1906–1984) — писатель, журналист, главный редактора журнала «Мосты». Эмигрировал в годы Второй мировой войны.

Андреев Николай Ефремович (1908–1982) — историк, публицист, литературный критик. После революции жил в Праге. С 1947 года поселился в Англии, где стал профессором Кембриджского университета.

Анненков Юрий Павлович (литературный псевдоним Б. Тимирязев, 1889–1974) — художник, прозаик, мемуарист.

Анстей Ольга Николаевна (1912–1985) — наиболее известная поэтесса второй волны эмиграции. На Западе с 1943 года. Жила в Праге, Берлине, Мюнхене. С 1950 года — в США. Автор нескольких книг — стихов и переводной прозы. С 1937 года была замужем за известным в эмиграции поэтом Иваном Елагиным.

Аронсон Григорий Яковлевич (1887–1978) — публицист, журналист, литературный критик, сотрудник газеты «Новое русское слово».

Ачаир Алексей (Грызов Алексей Алексеевич, 1896–1960) — поэт. В начале двадцатых годов оказался в Харбине, где основал поэтический кружок «Чураевка». Автор нескольких книг стихов. В 1945 году был арестован и отправлен в Воркутинские лагеря.

Банвиль Теодор де (de Banville, 1823–1891) — французский поэт романтической школы. Как теоретик «искусства для искусства» в «Маленьком трактате о французской поэзии» (1872) разрабатывал теорию жанров и французского стихосложения, придавая решающее значение рифмам и музыкальности.

Барбаросса Фридрих I (1125–1190) — император Священной Римской империи, один из организаторов Третьего крестового похода. С его именем связано много легенд.

Бахрах Александр Васильевич (1902–1985) — литературный критик, мемуарист. В 1920 году эмигрировал в Варшаву. С 1923 года поселился в Париже. Книга А. Бахраха «Бунин в халате» издана в России, выходят и другие его мемуары.

Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) — литературовед, философ. Автор книг о Достоевском, Рабле и др.

Белавина Нонна (псевдоним Миклашевской Нонны Сергеевны, р. 1915) — поэт первой волны эмиграции, выпустила за границей четыре сборника стихотворений.

Белоцветов Николай Николаевич (1892–1950) — поэт первой волны эмиграции, литературный критик, переводчик. Участвовал в Первой мировой войне, в 1921 году в рыбацкой лодке бежал в Финляндию. Перебрался к родителям, оказавшимся в Берлине. Писал стихи и статьи на русском и немецком, читал лекции по философии. В тридцатые годы переехал с женой в Ригу, где его отец вместе с тремя дядями И. Чиннова были директорами страхового общества «Саламандра». В статье, написанной в связи с двадцатипятилетием со дня смерти Н. Белоцветова, одна из трех его сестер, Елена Андрусова, писала, что в Риге Н. Белоцветов «приобрел таких друзей, как Иваск с женой, супруги Пильские и Игорь Чиннов, которого брат поощрял в его юношеских начинаниях поэта» («Новое русское слово». 1975. Май). Во время войны Белоцветов опять уехал в Германию с женой и дочерью, а после войны,— пишет Е. Андрусова,— «его тяжелая длительная болезнь помешала ему переехать с его сестрами в США». Им изданы две книги стихов: «Дикий мед» (Берлин, 1930) и «Шелест» (Рига, 1936), третья — «Жатва» — вышла посмертно в 1953 го-

ду в Париже при участии И. Чиннова. Вдова поэта А. Ф. Белоцветова попросила И. Чиннова подготовить эту книгу к печати.

Белый Андрей (псевдоним Бугаева Бориса Николаевича, 1880–1934) — поэт, писатель, автор романа «Петербург» и пр.

Берберова Нина Николаевна (1901–1993) — поэт, прозаик, литературный критик, автор нескольких романов, исследования о русском масонстве «Люди и ложи», известной книги мемуаров «Курсив мой», изданных сейчас в России, жена одного из крупнейших поэтов эмиграции В. Ходасевича. И. Чиннов был на нее обижен за отрицательную рецензию на его первый сборник — «Монолог», которую Н. Берберова напечатала в 1950 году в «Русской мысли». Хотя и вообще к Н. Берберовой в эмиграции было сложное отношение. Многим не нравились ее воспоминания («Курсив мой» вышел сначала на английском в 1969 году), в том числе за то, как она там писала о Ходасевиче, кто-то не мог простить ей стихов, в которых слышалось восхваление Гитлера, они вошли в ее сборник «Стихи. 1921–1983» (Нью-Йорк, 1984). Сборник она подарила И. Чиннову с надписью: «Подававшему и оправдавшему надежды от ценящей его стихи Н. Берберовой. Washington, 2 Nov. 1985».

Березов Родион Михайлович (наст. фам. Акульшин, 1896–1988) — поэт, писатель. Автор около двадцати книг стихов и прозы. Жил в Германии, США. В 1950-е годы, после принятия закона о перемещенных лицах , подвергался в США преследованиям с целью выдворения в СССР. Но все же был оставлен в США. Некоторые его книги связаны с его баптистским вероисповеданием.

Беренсон Бернард (Berenson Bernard) — искусствовед, историк, автор книги «Итальянские художники Ренессанса» (Phaidon Verlag Zurich, 1952) и пр.

Бетаки Василий Павлович (р. 1930) — поэт, переводчик, литературный критик. С 1973 г.— в эмиграции в Париже. Сотрудник журнала «Континент». Печатался в журналах «Грани», «Стрелец», в газете «Русская мысль». Бетаки за рубежом и в России выпустил несколько сборников стихотворений, в том числе «Замыкание времени» (Париж, 1974) с предисловием В. Вейдле.

Биск Александр Акимович (1883–1973) — поэт, переводчик. В эмиграции жил в Париже, США. Первая книга стихов вышла еще в Петербурге в 1912 году. В эмиграции вышли книги его стихов и переводов, в частности — Рильке.

Боброва Элла Ивановна (урожденная Рунг, р. 1911) — поэт. С 1943 г.— в эмиграции в Германии, с 1950 г.— в Канаде. Печаталась в жур-

нале «Современник» (Канада). Автор книги «Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист» (1995).

Бобышев Дмитрий Васильевич (р. 1936) — поэт третьей волны эмиграции. С 1979 г. — в эмиграции в США. В советской прессе не печатался. Первая публикация стихов — в самиздатовском сборнике «Синтаксис» в 1959–1960 гг. В 1977 году в Париже издана его поэма «Стигматы». В 1979 г. в Париже вышла книга стихотворений Бобышева «Зияния».

Большухин Юрий Яковлевич — журналист, печатался во многих эмигрантских изданиях. Работал на радиостанции «Свобода». Жил в Нью-Йорке. Был в переписке с И. Чинновым.

Бретон Андре (Breton Andre, 1898–1966) — французский поэт, эссеист. Он был признан вождем нового направления в искусстве — сюрреализма. В написанном им в 1924 году «Первом манифесте» Бретон сформулировал основные принципы сюрреализма. «Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с помощью которого — словами, рисунком или любым другим способом — делается попытка выразить действительное движение мысли. ...вне всякого контроля со стороны разума и по ту сторону каких либо эстетических или моральных соображений... Его цель — ...решение важнейших проблем жизни» (Breton A. Manifestes du surrealisme. Paris, 1963).

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) — известный поэт третьей волны эмиграции, эссеист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Брук Руперт (Brooke Rupert, 1887–1915) — английский поэт.

Бубер Мартин (1878–1965) — философ, представитель католического экзистенциализма.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — писатель. Автор многих книг прозы и стихов. Эмигрировал в 1920 году. Жил во Франции. В 1933 году получил Нобелевскую премию «за строгую художественность, с которой он продолжил традицию русской классической прозы».

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — известный в России критик, фельетонист.

Буркин Иван Афанасьевич (р. 1919) — поэт. Закончил педагогический институт в Саранске. В 1941 г. попал в плен, после окончания Второй мировой войны — в лагерях для перемещенных лиц в Германии. С 1950 г. — в США. В Колумбийском университете получил докторскую степень по литературе и славянскому языкознанию. За рубежом и в России выпустил шесть сборников стихов.

Буров Александр Павлович — беллетрист. Печатался в парижских «Числах» и был одним из меценатов этого журнала. Автор нескольких

книг рассказов из русского и эмигрантского быта. После войны, в Голландии выпускал советско-патриотические книги, одна из них «Тяжело без Сталинградовой России». Вышедший в 1955 году роман «Бурелом» Глеб Струве считал похожим на графоманство.

Валери Поль (1871–1945) — французский поэт.

Варшавский Владимир Сергеевич (1906–1977) — писатель, литературный критик. С 1926 года жил в Париже. Известен своей книгой «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956). Этот термин вошел в обиход — так называют эмигрантов, покинувших Россию еще в детском возрасте, а в эмиграции они еще и в пятидесятые годы (когда писалась книга) оставались в тени старшего поколения эмигрантов, и даже самым талантливым из них нелегко было получить признание (об этом пишет и Г. Адамович во вступительной статье к книге «Одиночество и свобода»).

Вейдле Владимир Васильевич (1895–1979) — ученый-медиевист, историк искусства, специалист по теории литературы и стихосложения, культуролог, литературный критик, поэт. В эмиграции с 1924 г. Был профессором Православного богословского института в Париже, преподавал в университетах Германии, Бельгии, Америки.

Вейнбаум Марк Ефимович (1890–1973) — главный редактор газеты «Новое русское слово» в 1922–1973 годах.

Величковская Тамара Антоновна (1908–1990) — поэт, прозаик, переводчик. В эмиграции с 1920 года. Жила в Париже. У нее дома регулярно собирался литературный кружок, где бывали многие поэты эмиграции. Свои стихи публиковать начала уже после сорока лет. Вышло два поэтических сборника. В архиве И. Чиннова сохранилось шесть писем от нее за 1982–1986 годы. Вот одно из них: «14–2–1982. Дорогой Игорь Владимирович! Спасибо сердечное за Ваше письмо. Оно меня очень обрадовало — и как весточка от Вас, и как добрый (очень!) отзыв о моем сборнике. <«Цветок и камень», 1981.> Очень ценю, что Вы так внимательно указали то, что Вам было больше по душе. И нашли как раз те слова, которые мне было особенно приятно прочитать. Радуюсь также, что Вы отметили некоторые стихотворения, которые “не доходили” до других, как, например, стих на стр. 82. Да, со времени Вашего отъезда в Америку прошли десятилетия, и многое с тех пор изменилось — и жизнь, и люди. Ушло время старой эмиграции, царит 3-тья эмиграция, с которой у нас нет почти ничего общего, кроме чужбины. Если напишете о себе, буду очень рада. Слышала, что Вы на первом месте среди зарубежных поэтов. И не удивилась!.. Крепко жму Вашу руку, и еще раз спасибо. Муж кланяется. Очень дружески Тамара Величковская». Муж — С. П. Жаба (см. ниже), а фамилию, под которой она публиковалась — Величковская — поэтесса получи-

ла от своего первого, рано умершего мужа — он был братом поэта А. Е. Величковского.

Величковский Анатолий Евгеньевич (1901–1981) — поэт, писатель. В 1920 году оказался в Польше, затем во Франции. Автор нескольких книг стихов.

Визи Мария (Туркова Мария Генриковна, 1904–1994) — поэт. Родилась в Нью-Йорке, училась в России. В 1918 уехала из России. Жила в Харбине, США. Писала стихи на русском и английском. Автор нескольких сборников.

Вильбур Ричард (Wilbur Richard, р. 1921) — американский поэт. Автор многих книг.

Витковский Евгений Владимирович — поэт, переводчик, собиратель поэтического наследия русской эмиграции. Несколько лет был в переписке с И. Чинновым.

Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975) — политический деятель, в эмиграции — редактор «Современных записок», публицист, мемуарист.

Владимирова Лия (р. 1938) — поэтесса. Живет в Израиле. Автор поэтических сборников: «Связь времен» (1975), «Пора предчувствий» (1978), «Снег и песок» (1982), «Стихотворения» (1988), «Мгновения» (1992).

Вламинк Морис де (1876–1958) — французский художник-модернист и писатель. Писал яркие экспрессионистские пейзажи. Признавал своим учителем Ван Гога.

Водов Сергей Акимович (1898–1968) — журналист, редактор «Русской мысли» с 1954 года.

Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1935) — известный советский поэт. Когда он был в США, они с И. Чинновым виделись. В библиотеке И. Чиннова много книг А. Вознесенского с его дарственными надписями.

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт. Жил в Крыму.

Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903–1971) — писатель первой волны эмиграции, литературный критик, сотрудник радиостанции «Свобода». Признание пришло к нему после появления романа «Вечер у Клер» (Париж, 1930), потом были опубликованы «Ночные дороги» (Нью-Йорк, 1952), в периодике печатались и другие его романы, повести, рассказы, статьи. Сейчас его книги переизданы в России.

Галлимар Гастон (1881–1975) — крупнейший французский издатель.

Ганский Леонид Иосифович (наст. фамилия Гатинский, 1905–?) — поэт. В 1926 году эмигрировал. Жил в Париже. Автор двух книг стихов.

Гейзенберг Вернер (1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

Герра Ренэ (р. 1946) — французский славист, профессор русской литературы, автор нескольких книг о русских эмигрантских писателях, собиратель русского искусства. Живет в Париже. В архиве И. Чиннова сохранилось 24 письма от него.

Гершельман Карл Карлович (1899–1951) — эссеист, поэт, в эмиграции с 1920 г. — сначала в Галлиполи, затем в Эстонии. После 1940 г. — в Германии. Стихи Гершельмана были напечатаны в антологиях «Якорь», «На Западе», в «Новом журнале», «Гранях» и пр.

Гидони А. Г. — литератор третьей волны эмиграции. В 1978 году он стал главным редактором журнала «Современник» (Торонто).

Гингер Александр Самсонович (1897–1965) — поэт, автор пяти книг стихов. С 1921 года жил в Париже. Муж поэтессы Анны Присмановой.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэт, публицист, критик.

Глинка Глеб Александрович (1903–1989) — поэт второй волны эмиграции, литературный критик.

Глэд Джон — ученый-славист, профессор Мэрилендского университета (под Вашингтоном), критик, публицист, переводчик. Записал подробные интервью с представителями всех волн русской эмиграции, в том числе и с И. Чинновым. Они вошли в книгу «Беседы в изгнании» (М.: Книжная палата, 1991).

Голлербах Сергей Львович (р. 1923) — художник, писатель. С 1949 года живет в США. В архиве И. Чиннова сохранилось восемь писем от него.

Головина Алла Сергеевна (урожд. баронесса Штейгер, сестра поэта А. Штейгера, 1909–1987) — поэт, автор нескольких книг стихов и прозы. Жила в Праге, Париже. В 1955 году вышла замуж за бельгийца и уехала в Брюссель.

Горбов Яков Николаевич (1896–1982) — писатель первой волны эмиграции, критик, один из редакторов парижского журнала «Возрождение» (с 1961 года). Участвовал в войне 1914 года, был в Добровольческой армии. После эмиграции поселился во Франции. В 1940 году вступил добровольцем во французскую армию. Автор нескольких романов на французском языке («Осужденные», 1954, «Мадам Софи», 1955 и др.) и на русском («Все отношения», «Асунта»). С 24 марта 1978 года муж поэтессы И. Одоевцевой.

Горская Антонина Алексеевна (Гривцова 1893–1972) — поэт. Автор трех сборников стихов.

Гривский Евгений — в 1920–1930-х гг. учащийся русской (Ломоносовской) гимназии в Риге, где тогда учился и И. Чиннов. Жил в Латвии, впоследствии перебрался в США.

Гринберг Роман Николаевич (1897–1969) — редактор-издатель альманаха «Воздушные пути» (Нью-Йорк, 1960–1967), в 1953–1955 годах — один из редакторов журнала «Опыты» (Нью-Йорк, 1953–1958). В архиве И. Чиннова сохранилось девять писем от него.

Гуаданини Ирина Ю. (ум. 1976) — автор книги стихов «Письма», работала на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. В архиве И. Чиннова сохранилось десять писем от нее.

Гукасов Абрам Осипович (1872–1969) — в эмиграции издатель газеты, а затем журнала «Возрождение».

Гуль Роман Борисович (1896–1986) — писатель первой волны эмиграции. В Европе — с 1919 года. С 1950 года — в Нью-Йорке. Редактор «Нового журнала» (с 1966 по 1986 годы), автор мемуаров «Я унес Россию» (тт. 1–3, Нью-Йорк, 1978–1984), сборников критических статей «Одвуконь» (Нью-Йорк, 1973), «Одвуконь-2» (Нью-Йорк, 1982), романов «Генерал Бо» (Берлин, 1929), «Скиф» (Берлин, 1931) и др.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — общественный и политический деятель. Член и председатель Государственной Думы. Министр Временного правительства. В эмиграции жил в Германии и Франции. От политических партий отошел. Принимал участие в деятельности Красного Креста. В начале 1930-х годов активно участвовал в организации помощи голодающим в России. Осуждал правительства европейских государств за признание советского правительства и готовность к экономическому сотрудничеству с СССР. Для противодействия этому по инициативе Гучкова было образовано Информационное бюро при «Русском экономическом бюллетене» в Париже. Оно должно было собирать сведения о хозяйственном положении в СССР.

Джанумов Юрий Александрович (1907–1965) — поэт первой волны эмиграции. В 1966 году в Мюнхене вышла посмертно его единственная книга «Стихи», о которой И. Чиннов написал рецензию («Новый журнал». 1967. № 87).

Дикинсон Эмилия (1830–1886) — американская поэтесса. Как предполагали, из-за несчастной любви она стала затворницей в собственном доме в Амхерсте (штат Массачусетс). Ее стихи получили широкую известность только в начале XX века. Ю. Иваск, поселившись в Амхерсте, гордился таким «соседством» и посвятил ей несколько стихотворений. В «Новом журнале» (1977. № 128) напечатана его статья «Эмилия Дикинсон». В 1998 году в Петербурге вышла книга «Это письмо мое миру. Стихи и письма Эмили Дикинсон».

Дилан Томас (Dylan Thomas, 1914–1953) — английский поэт.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) — график, театральный художник. С 1925 года жил в Литве. С 1939 года — в Англии и США.

Донн Джон (1573–1631) — английский поэт.

Дукельский Владимир Александрович (псевдоним Вернон Дюк, 1903–1968) — композитор, музыковед, поэт, переводчик. Эмигрировал в 1920 году в Константинополь. Потом жил в Калифорнии. Автор многих музыкальных произведений, в том числе нескольких балетов. Известен и как музыкальный критик. Издал четыре книги стихов. Первую — «Послания» (1962) — в возрасте 59 лет. Тогда же вышла еще одна — «Страдания немолодого Вертера», затем «Картинная галерея» (1965). Был в переписке с И. Чинновым. Фрагмент одного из 13 его писем к И. Чиннову (от 13 апреля 1966 года) публикуем: «В Мюнхене видел многих Ваших бывших сотрудников в Radio Liberty: там теперь оперирует молодой канадский украинец Moe Diakovsky, очень дельный господин. А Бахрах (он теперь Bacherac) даже устроил в нашу честь элегантный обед, на котором присутствовали Михельсон, чета Ньюманов (по-русски не говорящая), некто Розинский и пр. Много видел милейшего Г. А. Хомякова (Андреева), с которым мы очень подружились: в "Мостах" будет моя статья о новой советской музыке и штук пять стихов. Заехали к бедному, измученному всякими болезнями Кленовскому в Траунштейн; я придумал способ помочь ему — предложил написать два романса на стихи его и за это посылать маленькие чеки в виде "аванса". Так выходит и деликатней и приятней; к сожалению, с творческим вечером, посвященным творчеству Кленовского (1-го мая, под эгидой "Пушкинского" общества и г-на Месняева) вышла какая-то ерунда, и романсы мои — кажется, неплохие — исполняться там не будут. В Париже был дважды — первый раз дней десять, второй — более месяца. Завтракал (тоже дважды) с Вашим другом В. Вейдле, который произвел на меня очаровательное впечатление, он, м. п., принес жене моей букетик фиалок, что ее очень тронуло. Часто встречался с Мамченко, чистейшим и — несмотря на эксцентрическое и, au fond <т. е. в глубине>, безвредное "возвращенство" (подозреваю, что это лишь "бзик") — чистейшим человеком; у нас с ним завязалась теплая дружба, я даже в Meudon к нему ездил. Виктор показывал мне пожелтевшие от времени альбомы фотографий, где мелькали Довид Кнут, Ладинский, Смоленский, Иванов, порфироносная вдова (Вы знаете, о ком я говорю), Терапиано и Корвин-Пиотровский, только что скончавшийся. Получил вчера страшноватое письмо: он сам тяжело болел гриппом, еле оправляется (слабое сердце) и по сей день лежит в постели. Тяжело болел — чем, не пойму — и Терапиано, умер муж Шиманской и пр. и пр. Тон письма пре-

дельно минорный. Писал мне и Адамович, уехавший снова "лечиться" в Ниццу. В Париже познакомился и с сумасбродом Татищевым, унаследовавшим "пуды стихов" (по выражению Иваска) Бориса Поплавского и пропечатавший — напрасно, по-моему — "Дирижабль неизвестного направления", одну из посмертных книг поэта. Книга написана была под влиянием наркотиков (которыми, говорят, злоупотребляет и сам Татищев) и представляет из себя досадную неразбериху, хотя есть около дюжины коротеньких пьес, достойных внимания. Словарь "Дирижабля" беден до полной нищеты, образы все одни и те же, грамматика (нарочно?) шиворот-навыворот. Даже очень неровная "посмертная" книга Гингера ("Сердце"), переполненная абсурдами и натяжками, чистый шедевр словесной дисциплины по сравнению с "Дирижаблем". Я положительно боготворю память Поплавского, и это выуживание объедков (что, м. п. проделывается хронически с Буниным) мне представляется делом недостойным и едва ли нужным. В "Сердце" Гингера есть прекрасные вещи. Был в "Возрождении", где увидел горбатенького, но умного и занятного кн. Оболенского, вечно почему-то экзальтированного В. Ильина (я его встречал в Константинополе с тем же Поплавским в 1921-м году!) и благодушного Я. Н. Горбова. Последний, вместо рецензий, пишет длинные разборы поэтических сборников, испещренные длинными цитатами: разборы, в моем случае, кажется, милостивые, но выводов или оценок Горбов избегает, что малопонятно. Я получил большое количество положительно восторженных писем о "Картинной галерее", но рецензий пока было только две, по-видимому: длинная горбовская и, очень меня разозлившая, терапианова в "Русской мысли". В этой полустатье (первая половина посвящена книжке Бориса Нарциссова, поэта крайне слабого, которого Терапиано хвалил) сплошные просчеты, указывающие на незнакомство критика ни с амер<иканской> поэзией, ни с творчеством мэтра Евтушенко. У него смехотворные гаффы, из них самый непростительный, это его обвинение меня (!) в "махровом монархизме", по поводу стихотворения моего "Патриотизм", именно против махровых монархистов направленного. Многое в "Картинной галерее" Терапиано осторожно хвалил, многое ("Вещи", например — кажется лучшее в сборнике) ругал, но не в этом дело: препираться с критиками — занятие глупое, потеря времени. На вкус и цвет и пр.— но незаслуженные нападки с политическим оттенком — дело скверное <...>».

Евангулов Георгий Сергеевич (Саркисович, 1894–1967) — поэт, прозаик. С 1921 г.— в эмиграции в Париже. В 1921–1922 гг.— участник группы «Палата поэтов», кружка «Гатарапак».

Евсеев Николай Николаевич (1891–1974) — поэт. В эмиграции с 1920 года. Жил в Париже. Один из создателей Казачьего литературного

кружка и участник «Казачьего альманаха». Автор двух книг стихов. Вечера его стихов в Париже всегда собирали полный зал.

Елагин Иван Венедиктович (псевдоним Ивана Венедиктовича Матвеева, 1918–1987) — поэт, переводчик, литературный критик. В 1943 году Елагин оказался в Германии. Был в лагере для перемещенных лиц. С 1950 года поселился в Америке. Стихи его печатались во многих эмигрантских изданиях. Первый из двенадцати стихотворных сборников вышел в Мюнхене в 1947 году. Последний — «Тяжелые звезды», избранное — в 1986 в США. Он стал одним из главных поэтов «второй» эмиграции. Сейчас его стихи переизданы в России.

Елита-Вильчковский Кирилл Сергеевич (ум. 1960) — эмигрантский критик, литературовед. Печатался в «Опытах», «Возрождении», «Новоселье» и др. изданиях. Автор статей о И. Бунине, М. Цветаевой, А. Штейгере и т.д.

Емельянов Виктор Николаевич (1899–1963) — прозаик. Автор книги «Свидание Джима» (Париж, 1939).

Жаба Сергей Павлович (умер в мае 1982) — председатель Союза писателей и журналистов в Париже.

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915–1995) — литературный критик, эмигрант второй волны, сотрудник газеты «Новое русское слово». Жил в США.

Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — писатель, получивший известность еще в дореволюционной России. В июне 1922 г. выехал из России и поселился в Париже — обстоятельства отъезда переданы Зайцевым в книге воспоминаний «Москва» (Париж, 1939). В эмиграции вышли книги: «Улица Св.Николая» (Берлин, 1923), «Преподобный Сергий Радонежский» (Париж, 1925), «Золотой узор» (Прага, 1926), «Афон: Путевой очерк» (Париж, 1928), «Жизнь Тургенева: Биография» (Париж, 1932), «Путешествие Глеба. Тетралогия: "Заря"; "Тишина"; "Юность"; "Древо жизни"» (Берлин, 1937; Париж, 1948; Париж, 1950; Нью-Йорк, 1953), «Жуковский: Биография» (Париж, 1951), «Чехов: Биография» (Нью-Йорк, 1954), «Далекое: Воспоминания» (Вашингтон, 1965) и др. Книги Б. Зайцева сейчас переизданы в России.

Зеньковский Сергей Александрович (1907–1990) — американский славист, историк, автор книги «Русское старообрядчество» (Мюнхен, 1970) и др. В 1967–1977 гг.— профессор отделения славянской культуры в Вандербилтском университете (Нашвилл, Теннесси). Коллега и друг И. Чиннова, который тоже преподавал в этом университете. В 1977 году, выйдя

на пенсию, Зеньковский с женой поселились в курортном городке Дейтона Бич (Флорида), туда же, выйдя в отставку, переехал и И. В. Чиннов.

Злобин Владимир Ананьевич (1894–1967) — поэт. С 1921 года жил в Париже. Был секретарем, экономом, другом Мережковских. После смерти Зинаиды Гиппиус он написал о ней книгу «Тяжелая душа». А стихи, которые начал писать лишь в эмиграции, издал сборником «После ее смерти» (Париж: «Рифма», 1951).

Зуров Леонид Федорович (1902–1971) — писатель, секретарь И. Бунина, автор нескольких книг.

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт.

Иваск Тамара Георгиевна (1916–1982) — урожденная Межак, жена Ю. П. Иваска.

Иваск Юрий Павлович (1907–1986) — литературовед, литературный критик, поэт. Доктор философии Гарвардского университета по отделению славянских языков и литератур. Преподавал в Канзасском университете, в Вашингтонском в Сиэтле, в Массачусетсском в Амхерсте и др. С 1955 по 1958 год Иваск был редактором журнала «Опыты», выходившего в Нью-Йорке. Он составитель антологии зарубежной поэзии «На Западе» (США, 1953), автор предисловия и составитель книги В. Розанова «Избранное» (США, 1956). В 1974 году в Берлине издана составленная Ю. Иваском биографическая книга «Константин Леонтьев». Вышло шесть сборников стихов Ю. Иваска. В 1977 году в самиздате в Москве появилась его поэма «Играющий человек», переизданная в Париже в 1988 году, после смерти автора. Ю. Иваск и И. Чиннов очень давние друзья, они познакомились еще до войны в Риге в тридцатые годы. И свою дружбу сохранили на всю жизнь.

Ивнев Рюрик (псевдоним Михаила Александровича Ковалева, 1891–1981) — советский поэт, прозаик.

Ильин Владимир Николаевич (1891–1974) — религиозный философ первой волны эмиграции, богослов, публицист, литературный критик, музыковед, композитор. Автор нескольких богословских книг, в том числе «Семь дней творения» (Париж, 1930), «Арфа Давида» (издана после смерти автора в Сан-Франциско в 1980 году) и др. Вместе с И. Чинновым они преподавали в летней школе Русского студенческого христианского движения.

Ильинский Олег Павлович (р. 1932) — поэт, автор пяти книг стихотворений. В эмиграции оказался во время Второй мировой войны. Учился в Мюнхенском университете. С 1956 г. живет в США. После смерти И. Чиннова напечатал в «Новом журнале» (№ 200) некролог «Памяти Игоря Владимировича Чиннова».

Иоанн, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский (в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, 1902–1989) — поэт, литературный критик. В эмиграции с 1920 года. Печатался под псевдонимом Странник. В 1926 г. был редактором журнала «Благонамеренный», названного в честь русского журнала XIX в. Выступал с религиозными программами на радиостанции «Голос Америки». Автор более десяти книг стихов, избранного в семи томах.

Кавафи Константин (Cavafy Constantine, 1863–1933) — греческий поэт.

Казак Вольфганг (р. 1927) — немецкий славист, историк русской литературы, автор около 700 научных публикаций в том числе известного «Энциклопедического словаря русской литературы», переведенного с немецкого на русский, английский и др. языки. Там есть статья и об И. Чиннове.

Казем-Бек Александр Львович (1902–1977) — мыслитель, церковный и общественный деятель. Во Франции — лидер партии младороссов — национал-революционного движения, существовавшего в русской эмиграции в 1920–1930-х годах. Официально партия, практически уже не существующая, была распущена в 1941 году. С 1941 Казем-Бек жил в США, в 1956 вернулся в Россию, где работал в Московской Патриархии.

Камкин Виктор Петрович (1902–1974) — книгоиздатель.

Камю Альбер (1913–1960) — французский писатель. Представитель философии экзистенциализма.

Кантор Михаил Львович (1884–1970) — литературный критик. В 1934 году они с Г. Адамовичем редактировали литературный журнал «Встречи», а в 1936 году составили антологию русской зарубежной поэзии «Якорь», вышедшую в Берлине.

Карлинский Семен Аркадьевич (р. 1924) — американский профессор-славист. Критик, литературовед. Автор книг на английском языке о Гоголе, Чехове, Марине Цветаевой и др. Вместе с А. Аппелем составил антологию эмигрантской литературы «The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West 1922–1972» (U.S.A., 1977). В архиве И. Чиннова сохранилось 22 письма от него.

Карпович Михаил Михайлович (1888–1959) — профессор истории Гарвардского университета, в 1949–1959 годы — главный редактор «Нового журнала».

Кашин Александр — публицист, критик. Сотрудник журнала «Грани», «Мосты» в 1950-е годы.

Клайн Джордж (Kline G. L.) — американский поэт.

Кленовский Дмитрий Иосифович (псевдоним Дмитрия Иосифовича Крачковского, 1893–1976) — поэт, литературный критик. В эмиграции — с 1941 года. Жил в Германии. Первый поэтический сборник вышел в России, остальные одиннадцать появились уже в эмиграции, где Кленовский получил известность как поэт и в середине двадцатого столетия верный традициям акмеизма.

Клодель Поль (1868–1955) — французский поэт, писатель.

Кнорринг Ирина Николаевна (1906–1943) — поэтесса. В эмиграции с 1920 года. Жила в Париже. Автор двух книг стихов и двух сборников, вышедших посмертно.

Кнут Давид Миронович (наст. фам. Фихман, 1900–1955) — поэт, автор нескольких книг стихов. Эмигрировал после революции, жил в Париже. В годы войны участвовал во французском Сопротивлении. В конце жизни уехал в Израиль.

Кодрянская Наталья Владимировна (Кодрианская, 1901–1983) — писатель. В эмиграции выпустила несколько книг сказок. Была хорошо знакома с А. М. Ремизовым и издала книги «Алексей Ремизов» (Париж, 1959), «Ремизов в своих письмах» (1977).

Коневский Иван (1877–1901) — петербургский поэт.

Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891–1966) — поэт первой волны эмиграции, драматург. Автор нескольких книг стихов. В 1968–1969 годах в Вашингтоне, посмертно, вышло двухтомное собрание его произведений «Поздний гость. Стихи, поэмы, драматические поэмы».

Коржавин Наум (пс. Наума Моисеевича Манделя, р. 1925) — поэт третьей волны эмиграции, автор нескольких книг стихов. Они были знакомы с И. Чинновым, который всегда с большой теплотой говорил о Коржавине и как о поэте, и как о человеке. В архиве И. Чиннова сохранилось двенадцать писем от него.

Кришнамурти Джидду (1896–1986) — теософы считали его новоявленным мессией. Родился в Индии, последние годы прожил в Северной Америке. В 1911 году теософами был основан международный орден «Звезда Востока», и Кришнамурти провозглашен его главой. В 1929 году Кришнамурти принял решение распустить орден, и посвятил свою жизнь служению идее духовного освобождения человечества, писал, выступал с лекциями. Перед смертью просил своих приверженцев, чтобы после кончины вокруг его имени не было создано никакого культа.

Крузерштерн-Петерец Юстина Владимировна (1903–1983) — поэт, прозаик, журналист. Жила в Харбине, Шанхае, Бразилии, США. Автор книг стихов, статей, рассказов.

Крымов Владимир Пименович — журналист, до революции сотрудничал в центральных российских изданиях, редактор журнала «Столица и усадьба».

Ладинский Антонин Петрович (1896–1961) — в годы Гражданской войны Ладинский воевал на стороне Белой армии, в 1920 г. он покинул Россию и через Египет добрался в Париж, где активно участвовал в литературной жизни эмиграции. Выпустил несколько стихотворных сборников. В 1946 г. Ладинский принял советское гражданство, в 1950 г. был выслан из Франции и некоторое время жил в Дрездене. В 1955 г. получил разрешение на въезд в СССР. Опубликовал ряд исторических романов: «XV легион» (Таллин, 1937; переиздан в СССР под названием «В дни Каракаллы». М., 1961), «Голубь над Понтом» (Таллин, 1938; в СССР вышел под названием «Когда пал Херсонес», М., 1959). Исторические романы Ладинского были переизданы в Москве в 1984 г.

Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) — философ, в эмиграции участвовал в парижском журнале «Числа», автор книги «Эпиграфы» (Берлин, 1927) и пр.

Леконт де Лиль Шарль (1818–1894) — французский поэт парнасской школы, проповедовавшей лозунг «чистого искусства».

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — религиозный философ, писатель.

Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955) — переводчик, поэт, автор сборника стихов «Горный ключ» (М.; Пг., 1916).

Лоуэлл Роберт (Lowell Robert, р. 1917) — американский поэт, автор многих книг.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — политик. Лидер правого крыла партии кадетов. В эмиграции — один из ведущих общественно-политических деятелей, был председателем Бюро по защите русских беженцев. Г. Адамович написал о нем монографию «Василий Алексеевич Маклаков» (Париж, 1959).

Маковский Сергей Константинович (1877–1962) — издатель, искусствовед, мемуарист.

Малер Елизавета Эдуардовна (1881–1970) — профессор русского языка и литературы в Базельском университете, знаток фольклора, издала книги о заплачках и о свадебных обрядах Печорского края. В 1939 г. перед отъездом в Россию М. Цветаева передала Е. Малер рукописи сборника «Лебединый стан» и поэмы «Перекоп». И. Чиннов был знаком с Е. Малер еще до войны (она была близкой подругой матери Ю. Иваска) и потом многие годы они поддерживали дружеские отношения.

Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт-символист.

Мамченко Виктор Андреевич (1901–1982) – поэт, с 1920 г. в эмиграции в Тунисе, с 1923 г. — в Париже. В 1925 г. участвовал в организации «Союза молодых поэтов и писателей». Участник литературных собраний «Зеленая лампа» (1927–1939), «Круг» (1935–1939). Выпустил несколько сборников стихотворений.

Манн Томас (1875–1955) — немецкий писатель.

Манциарли Ирма Владимировна (де Манциарли) — теософ, одна из редакторов журнала «Числа».

Марголин Юлий Борисович (1900–1971) — литературовед, критик, писатель. Автор «Путешествия в страну Зэ-Ка».

Марков Владимир Федорович (р. 1920) — литературовед, критик, поэт. В начале сороковых годов оказался в Германии. С 1949 года жил в США, где был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Автор книг: «Стихи» (Регенсбург, 1947), «Турилевские романсы» (Париж, 1960), «Поэзия и одностроки» (Мюнхен, 1984). В 1952 году в США под его редакцией вышла антология послереволюционной поэзии «Приглушенные голоса», а в 1966 в Англии (потом в Америке) под редакцией В. Маркова и М. Спаркса издана антология «Modern Russian poetry» с параллельными текстами на русском и английском, где есть и стихи И. Чиннова. С годами Марков все меньше пишет стихов и завоевывает репутацию серьезного исследователя русской литературы. Он автор английских книг — о поэзии В. Хлебникова, монографии по истории русского футуризма и многочисленных статей, рецензий на русском, английском, французском, немецком языках. С И. Чинновым они многие годы поддерживали переписку. Живет в Лос-Анджелесе.

Матвеева Новелла Николаевна (р. 1934) — известный советский поэт и бард.

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — поэт.

Марсель Габриэль (1889–1973) — французский философ, писатель, ведущий представитель католического экзистенциализма.

Мельгунов Сергей Петрович (1873–1956) — историк. Редактировал (вместе с Т. И. Полнером) журнал «Голос минувшего на чужой стороне» и журнал «Возрождение» (в 1951–1954 годах).

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — религиозный мыслитель, прозаик, литературный критик, поэт, муж поэтессы З. Гиппиус. С 1905 года несколько лет жил за границей, затем опять приехал в Россию. В 1919 году эмигрировал. Жил в Париже. Печататься начал в 1881 году в России. В 1892 году его речь «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» принесла ему известность и славу, и в какой-то степени стала гранью между реалистической литературой прош-

лого века и модернизмом 90-х годов и начала нашего века. В 1912 году вышло 24-томное собрание сочинений Мережковского, куда вошли проза и стихи. В эмиграции были написаны еще несколько романов, статьи, стихи. Таким образом на русском языке вышло 52 книги его беллетристики и публицистики, около двадцати книг его переводов на русский язык, и больше двухсот статей и рассказов. Наиболее известны — его трилогия «Христос и Антихрист», литературно-философская книга «Толстой и Достоевский», книга статей «Грядущий Хам». Мережковский — один из организаторов и идеолог проходивших в Петербурге в 1901–1903 годах «Религиозно-философских собраний», которые сыграли большую роль в пробуждении русской религиозной мысли. В Париже на квартире у Мережковских проходили собрания кружка «Зеленая лампа».

Миллер Генри (Miller Henry, 1891–1980) — американский писатель, автор романов «Тропик Рака», «Тропик Козерога», «Черная весна» и др. Считается, что среди авангардных писателей он наиболее последовательно демонстрировал своим творчеством эпатаж и полное равнодушие к «мнению толпы», став олицетворением творческой независимости. Долгое время его книги не находили издателя и имели скандальную репутацию. Сейчас в Калифорнии, в городе Биг-Сур, где он жил, открыт его музей.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — российский политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов.

Мирский Дмитрий (кн. Дмитрий Петрович Святополк-Мирский 1890–1939) — литературовед, критик, публицист. Эмигрировал после революции. Жил в Англии, где преподавал в Лондонском университете. Был редактором парижского журнала «Версты» (1926–1928. Вышло три номера). Его статьи появлялись не только в эмигрантских журналах, но и в передовых английских и французских. Выпустил двухтомную историю русской литературы: Mirsky D. S. Contemporary Russian Literature (London, 1926). Вступил в британскую компартию. В 1932 году уехал в СССР. «Для знавших его этот поступок представлялся продиктованным каким-то духовным озорством, желанием идти против эмигрантского течения» (Струве Глеб. Русская литература в эмиграции. Париж, 1984. С. 75). В СССР он был арестован и, по некоторым сведениям, умер в Сибири.

Можайская Ольга Николаевна (по мужу Емельянова, 1896–1973) — поэт, переводчик, критик. Как сатирик печаталась под псевдонимом Скорпион. В эмиграции с 1920 года. Жила в Париже. Преподавала русский язык. Жена писателя В. Н. Емельянова. Ему И. Чиннов посвятил стихотворение «Душа становится далеким русским полем..». По поводу этого стихотворения О. Емельянова писала И. Чиннову: «...меня очень поразили строки "Душа становится..." — т. е. она становится тем, что видит в памяти,

или что любит? Можно из этого вывести, что такое "я"... Совпадает с моими снами. На четвертый день кончины мужа увидела его во сне мальчиком 10–12 лет. Он меня не узнал, не увидел, а бежал стремглав, как будто наконец вырвался на волю, прямо куда глаза глядят. Во сне я знала, куда он бежал. Конечно, в Ялту, о которой тосковал. Потом я его видела часто. Он долго был мальчиком, потом стал расти, и мной заинтересовался, лишь когда пришел в тот возраст, когда мы познакомились, т. е. к 47 годам. <...> Говорил, что единственное утешение — это любовь. Я спросила: "Чья?". (Чуете, эгоцентризм какой!) Он ответил: "И не твоя, и не моя, а та, которая движет солнцем, луной и звездами"...» (Из письма от 7–2–1971). О. Можайская печаталась во многих эмигрантских изданиях. Ротаторным способом был издан ее единственный поэтический сборник «Разлука и верность» (1963). Одно из своих стихов она посвятила Игорю Чиннову («Новый журнал». 1990. № 178):

Не занят я, душа, твоим спасением!
И. Чиннов

Она живет совсем иною жизнью,
В спасеньи не нуждается она.
Лишь здесь, в тебе, как в искаженной призме,
Печальным лучиком отражена.

Мне привкус слез морской приносит ветер,
И с ним о счастье говорить нельзя...
Но вдалеке заоблачная светит
Молитвенно-прозрачная стезя.

И если ты лучем ее пронизан —
Вмиг отступают страшные года...
Она живет совсем иною жизнью,
Твоя безбурная звезда.

В архиве И. Чиннова сохранились 22 письма от О. Можайской-Емельяновой за 1956–1973 годы.

Моршен Николай (псевдоним Николая Николаевича Марченко, 1917–2001) — поэт второй волны эмиграции, переводчик. Годы эмиграции прожил в США. Автор ряда поэтических сборников. Печатался в разных антологиях зарубежной поэзии. В архиве И. Чиннова сохранилось семь его писем.

Мочульский Константин Васильевич (1892–1948) — критик, литературовед.

Музиль Роберт (1880–1942) — австрийский писатель.

Муратов Павел Павлович (1881–1950) — писатель, искусствовед. В эмиграции с 1922 года. Автор многих книг, в том числе двухтомника «Образы Италии», сборников рассказов, пьес, эссе.

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) — писатель и поэт. Эмигрировал в 1919 году. Жил в Берлине, Париже, США, Швейцарии.

Нарциссов Борис Анатольевич (1906–1982) — поэт, критик. С 1919 г. — в Эстонии, с 1944 г. — в Германии, с 1953 г. — в США. Выпустил несколько сборников стихотворений. Много лет они с И. Чинновым поддерживали переписку.

Небольсин Аркадий Ростиславович (р. 1932) — родился в семье эмигрантов первой волны, профессор Питтсбургского университета. Живет в Нью-Йорке. В 1979 году им создано в США «Американское общество по охране русских памятников культуры».

Неймирок Александр Николаевич (1911–1973) — поэт, прозаик, критик, переводчик. Учился в Югославии. В годы войны был в немецком концлагере, о чем написал книгу «Дороги и встречи» (1946). Жил в Германии и работал на радиостанции «Свобода», сотрудничал в журнале «Грани». Автор двух сборников стихов. С 1959 года был в переписке с И. Чинновым, в архиве И. Чиннова сохранилось одиннадцать его писем.

Одарченко Юрий Павлович (1903–1960) — поэт, один из издателей литературного альманаха «Орион» (1947), автор сборника стихов «Денек» (1949). В 1983 году в Париже вышло собрание сочинений Ю. Одарченко «Стихи и проза».

Оден В. Х. (W. H. Auden, 1907–1973) — англо-американский поэт, драматург, мыслитель.

Одоевцева Ирина Владимировна (псевдоним Ираиды Густавовны Гейнике, 1901–1990) — поэтесса, писательница, жена одного из лучших русских поэтов Георгия Иванова. С 1923 года жила во Франции. Автор нескольких книг стихов, нескольких романов, а также двух книг воспоминаний: «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «На берегах Сены» (Париж, 1983) — ставших довольно известными. В 1978 году она вышла замуж за писателя Якова Горбова. А когда он умер, приняла решение уехать в Россию. И с 1987 года она жила в Ленинграде. Чиннов был знаком с ней многие годы.

Осоргин Михаил Андреевич (наст. фам. Ильин, 1878–1942) — писатель. В 1906–1916 был в эмиграции. Затем жил в Москве. В 1922 году

эмигрировал и поселился во Франции. Автор нескольких романов, в том числе о масонстве, автобиографической книги «Вещи человека».

Оцуп Николай Авдеевич (1894–1958) — поэт. В Петербурге участвовал в Цехе поэтов. Эмигрировал в 1922 году. Жил в Париже. Автор нескольких книг стихов, редактор парижского журнала «Числа».

Пастухов Всеволод Леонидович (1894–1967) — пианист, поэт. В Риге имел музыкальное училище. После войны жил в США, был соредактором журнала «Опыты».

Пантелеймонов Борис Григорьевич (1888–1950) — писатель. Химик по образованию. Автор нескольких книг рассказов.

Перелешин Валерий (псевдоним Валерия Францевича Салатко-Петрище, 1913–1992) — поэт, переводчик, литературный критик. С 1920 года их семья переехала в Харбин. Перелешин был монахом в Харбинском монастыре, учился в семинарии Св. Владимира. Какое-то время жил в Пекине, Шанхае, а с 1953 года поселился в Бразилии. Автор более, чем десяти книг стихов. Религиозная тема — одна из характерных для поэта. Немало написано им и стихов о любви, преимущественно сонетов. Перелешин много переводил — с английского, китайского, португальского, французского, латыни, испанского. Переводил и с русского на португальский, и сам писал на португальском стихи. В архиве И. Чиннова сохранилось несколько писем от него, хотя друзьями они никогда не были.

Перельман В.— главный редактор журнала «Время и мы» (Нью-Йорк).

Пикабия Франсис (1879–1953) — французский художник, входивший в группу «Дада».

Пикассо Пабло (1881–1973) — французский художник.

Пильский Петр Михайлович (псевдоним А. Хрущев, 1876–1942) — журналист, сотрудник рижской газеты «Сегодня» (1919–1940).

Плетнев Ростислав Владимирович (1903–1985) — литературный критик, литературовед, автор нескольких книг и около 160 статей на восьми языках. Писал он и об И. В. Чиннове.

Плюханов Борис Владимирович (1911–1993) — литератор, член РСХД, автор воспоминаний о матери Марии, статей в Блоковских сборниках, печатался в журналах «Радуга», «Даугава», «Таллин». Жил в Риге. Близкий друг И. Чиннова — они учились в Риге в одной гимназии, а потом всю жизнь поддерживали переписку.

Померанцев Кирилл Дмитриевич (1906–1991) — литературный критик первой волны эмиграции, сотрудник «Русской мысли», поэт, мемуарист, автор книги воспоминаний «Сквозь смерть» (1986) и пр.

Поплавский Борис Юлианович (1903–1935) — поэт первой волны эмиграции. При жизни поэта вышла только одна книга его стихотворений — «Флаги» (Париж, 1931), еще три сборника стихотворений, а также два романа напечатаны посмертно.

Прегель Борис Юльевич (1893–1976) — брат поэтессы С. Ю. Прегель. Инженер, президент Академии наук (Нью-Йорк), бизнесмен. Ему С. Ю. Прегель посвятила трехтомный роман «Мое детство» (Т. 1, 2. Париж, 1973. Т. 3. Париж, 1974).

Прегель София Юльевна (1904–1972) — поэт, издатель. В эмиграции с 1922 года. Были Берлин, затем Париж, где она выпустила три книги стихов. В годы войны С. Прегель переезжает в Нью-Йорк и с 1942 года начинает издавать там, вместе с М. Слонимом журнал «Новоселье», который продолжает издавать и после возвращения в Париж. Журнал выходил восемь лет. После смерти владелицы парижского издательства «Рифма» Р. Чеквер, Прегель становится директором «Рифмы». После войны у Прегель вышло еще четыре книги стихов и мемуары «Мое детство».

Присманова Анна Семеновна (1892–1960) — поэтесса, жена поэта А. Гингера. С начала двадцатых годов жила в Париже. Она автор нескольких стихотворных сборников. Написала и опубликовала во французских журналах несколько рассказов на французском. В Париже они с И. Чинновым были в дружеских отношениях, а когда И. Чиннов уехал в Мюнхен — поддерживали переписку.

Раевский Георгий (псевдоним Георгия Авдеевича Оцупа, 1897–1963) — поэт, литературный критик, печатался в журналах «Современные записки», «Числа». Брат поэта Николая Оцупа. В Париже вышли три сборника стихотворений Раевского.

Райс Эммануил Матусович (1909–1981) — литературовед, критик. После революции семья уехала в Бессарабию. Райс окончил Бухарестский университет. Он был настоящим эрудитом. Знал 18 языков, изучал историю философии, религии, искусства. Его критические статьи о современной литературе печатались в разных эмигрантских изданиях. Выпустил книгу дневниковых записей «Под глухими небесами» (США, 1967). Работал в Париже в Национальной библиотеке. Затем на радиостанции «Свобода». Позже Райс преподавал в Парижском университете.

Раннит Алексис (1914–1985) — эстонский поэт, жил в эмиграции в США, автор семи сборников стихотворений (на эстонском языке). Переводы стихов А. Раннита на русский язык, выполненные Л. Алексеевой, Г. Адамовичем, Ю. Иваском, Б. Нарциссовым и др., были опубликованы в «Новом журнале». Они с И. Чинновым были знакомы и много лет поддерживали переписку.

Рафальский Сергей Милич (1896–1981, псевдоним — М. Сергеев) — поэт, публицист, литературный критик. В эмиграции с 1920 года. Участник пражского поэтического кружка «Скит поэтов». С 1929 года жил в Париже. В архиве И. Чиннова сохранилось шесть писем от него.

Рейзини Николай Георгиевич (1905–?) — журналист, переехав в тридцатые годы в США, стал крупным бизнесменом, владельцем шахт, кинотеатров. Ю. Терапиано пишет, что Наум Георгиевич Рейзин (под таким именем он был известен в Париже 1930-х годов) принадлежал к редакции «Чисел», хоть сам ничего и не писал. Он славился на Монпарнасе «остроумием, веселостью и тем, что нашел мецената для издания "цитадели молодых", литературного толстого журнала "Числа"» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж; Нью-Йорк, 1987).

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель. Эмигрировал в 1921 году, с 1923 года жил в Париже. Писать и печататься начал еще до революции в России, где выходили его романы, переводы, рассказы, сказки, сборники пересказанных легенд. В эмиграции Ремизов печатался на русском и французском языках. Он — автор около восьмидесяти книг, он писал слогом, восходящим к семнадцатому веку, что еще подчеркивал своим каллиграфическим почерком в духе эпохи «узорочья». Его отход от «карамзинского языка» повлиял на ряд советских писателей, особенно «серапионовых братьев». Наиболее известные из книг Ремизова — «Крестовые сестры» (1910), «Взвихренная Русь» (1927), «В розовом блеске» (1952).

Реннинг Анатолий Рудольфович (ум. 1995) — один из самых старых друзей И. Чиннова. Познакомил их Ю. Иваск, и с тех пор они вели активную переписку. Виделись несколько раз, в том числе в 1961 году в Мюнхене, куда Реннинг приехал по делам службы — он работал в Стокгольмском архиве в Швеции, где поселился, эмигрировав из Прибалтики.

Ржевский Леонид (псевдоним Леонида Денисовича Суражевского, 1905–1986) — прозаик второй волны эмиграции, драматург, литературный критик, член редколлегии «Нового журнала», один из редакторов журнала «Грани», автор антологии «Литературное зарубежье» (Мюнхен, 1958), куда вошли произведения писателей второй волны эмиграции, автор нескольких романов и сборников рассказов. Жил в США. Они были знакомы с И. Чинновым, в архиве И. Чиннова сохранилось 30 писем Л. Ржевского.

Рив Ф. — американский славист.

Ровская Н. В. (? – 1995) — артистка.

Рогаля-Левицкий Юрий — поэт. Его сборник «Стихотворения» (М., 1918) вышел до эмиграции. Второй сборник «Стихи» издан в Париже в 1937 году.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — писатель, философ, литературный критик, автор книг «Уединенное» (СПб., 1912), «Опавшие листья» (короб I–II. СПб., 1913, 1915) и пр. Оказал большое влияние на Ю. Иваска, издавшего «Избранное» В. Розанова (Нью-Йорк, 1956). Друг А. Ремизова.

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) — советский писатель, сатирик. В романе «Русь» описывал русскую усадьбу времен Первой мировой войны.

Рубисова Елена Федоровна (1897–1980) — эмигрантская писательница, искусствовед, автор книги рассказов «Нью-Йорк» (Париж, 1958) и пр.

Руманов Аркадий Вениаминович (1879–1960) — в России был одним из ведущих журналистов «Русского слова», знаком с Великим князем Александром Михайловичем, которому подбирал материал для его исторических иследований. После революции А. В. Руманов оказался в Париже, печатался во многих, в том числе французских, изданиях. Мы находим его на фотографии среди сотрудников парижского журнала «Числа» (издавался с 1930 по 1934 годы), хотя там он не сотрудничал. И. В. Чиннов с ним познакомился в Париже и вспоминал с большой симпатией как об очень милом, шармантном человеке. Говорил, что после поездки в Эфиопию Руманов рассказывал историю о том, как был на аудиенции у короля, и вдруг выходят два льва, «а я как кролик перед ними». Поэтому его стали звать «кролик».

Сартр Жан-Поль (1905–1980) — французский писатель.

Седых Андрей (псевдоним Якова Моисеевича Цвибака, 1902–1994) — писатель, журналист. С 1919 г. — в эмиграции. С 1942 г. и до самой смерти редактор (с 1973 г. — главный редактор) газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк). А. Седых написал больше десяти книг прозы, среди которых его впечатления о поездке в 1929 году в Прибалтику «Там, где была Россия: Путевые очерки поездки в Латвию», позже вошедшие в книгу «Пути, дороги», книга воспоминаний «Далекие, близкие», «Крымские рассказы» — тоже основанные на воспоминаниях, но более ранних, детских лет, и др. С И. Чинновым они были знакомы многие годы. Их связывали деловые отношения — Чиннов печатался в «Новом русском слове».

Сечкарев Всеволод Михайлович (1914–1998) — профессор Гарвардского университета, литературовед, автор научных работ о Пушкине, Гоголе, Гончарове на английском и немецком языках. С 1925 года жил в Германии. В 1956 переехал в США. Несколько лет они с И. Чинновым поддерживали переписку.

Синкевич Валентина Алексеевна (р. 1926) — поэт второй волны эмиграции. Живет в Филадельфии. С 1983 года редактор поэтического альма-

наха «Встречи» (раньше он назывался «Перекрестки»). Там печатался и И. Чиннов. В 1973 году появился первый сборник стихов В. Синкевич «Огни», затем вышло еще несколько книг.

Синявский Андрей Донатович (псевдоним Абрам Терц, 1925–1997) — писатель, литературовед, критик. С 1955 года под псевдонимом Абрам Терц печатался за границей. В 1965 году в СССР исключен из Союза писателей, арестован, присужден к шести годам легерей. Отбывал в Мордовии. В 1973 году эмигрировал. Жил в Париже.

Слоним Марк Львович (1894–1976) — публицист, критик, переводчик.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901–1961) — поэт, литературный критик, участник Белого движения. С 1920 г. — в эмиграции в Турции, Тунисе, с 1923 г. — в Париже, где Смоленский выпустил несколько сборников стихотворений.

Солженицын Александр Исаевич (р. 1918, Кисловодск) — известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).

Софиев Юрий (Бек-Софиев Юрий Борисович, 1899–1975) — поэт. Автор книги стихов. После эмиграции поселился в Париже. Муж поэтессы Ирины Кнорринг. После войны взял советский паспорт. Вернулся в СССР. Умер в Алма-Ате.

Ставров Перикл Ставрович (1895–1955) — поэт, автор нескольких сборников стихов.

Станюкевич Н. В. — критик. Сотрудничал в парижском журнале «Возрождение»

Степун Федор Августович (1884–1965) — религиозный философ первой волны эмиграции, историк, социолог, писатель. Осенью 1922 года выслан из России. Автор книг «Бывшее и несбывшееся» (Т. 1, 2. Нью-Йорк, 1956), «Встречи» (Мюнхен, 1962) и др. С 1946 года профессор Мюнхенского университета. Когда И. Чиннов жил в Мюнхене, они часто общались. Сейчас книги Ф. Степуна переизданы в России.

Струве Глеб Петрович (1898–1985) — историк литературы первой волны эмиграции, критик, поэт, автор исследования «Русская литература в изгнании» (Нью-Йорк, 1956) и других книг. Вместе с Б. Филипповым возглавлял издательство «Inter-language literary associates» («Международное литературное содружество»), где были напечатаны запрещенные в СССР книги О. Мандельштама, А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Гумилева, и многие другие. С 1947 года профессор Калифорнийского университета. В архиве И. Чиннова сохранились письма от Г. Струве.

Сумбатов Василий Александрович, князь (1893–1977) — поэт. Участвовал в Первой мировой войне, ранен. Эмигрировал в 1920 году. Посе-

лился в Риме. Работал рисовальщиком для Ватикана, дизайнером. Преподавал русский язык, служил в русском книжном магазине. Печатался в эмигрантских изданиях. Автор трех книг стихов, для которых было характерно неприятие современности. В. Сумбатов по этому поводу писал И. Чиннову (в одном из двух сохранившихся в архиве Чиннова писем): «Вы все настаиваете на каком-то моем "поэтическом credo", которого "не разделяете". Почему Вам не хочется поверить, что никакого credo нет. Или Вы под credo разумеете мою отсталость от современных веяний, направлений, нот и т. п.? Но и это не верно, т. к. я отстал совсем не по убеждению, а, вероятно, по характеру, воспитанию, вкусам. Да я и не слежу за современностью. Она редко доходит до меня. Писаниям своим я не придаю значения потому, что вижу, как они слабы по сравнению с нравящимися мне чужими стихами. Следовало бы бросить писание, но оно уже стало даже не привычкой, а свойством...» (Письмо от 15 сентября 1954 года, написано по старой орфографии). В архиве И. Чиннова сохранилось стихотворение В. Сумбатова «И. В. Чиннову», написанное как отклик на чинновское «Что-то вроде России...»:

Это было когда-то
И, быть может, вернется.
И. Чиннов

Гречиха, у колодца бузина,
Печаль и нежность, запахи России
И утешающая тишина...
Букетик, собранный когда-то в детстве,
Вдруг вырастает из твоих стихов...
Старинный дом, с террасы — хор приветствий...
И улыбаюсь я, и плакать я готов.

Воспоминаний пронеслась жар-птица,
На миг потемки светом осеня.
Да, все былое может возвратиться
И возвратится. Только — без меня.
Рим, 1954 г.

Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956) — писатель, жил в эмиграции.

Татаринов Владимир Евгеньевич (1892–1961) — журналист, в Париже печатался в «Последних новостях», а после войны — в «Русских новостях». Был Мастером масонской ложи «Астрея».

Таубер Екатерина Леонидовна (1903–1987) — поэт, критик, прозаик. Эмигрировала в 1920 году. Жила в Белграде, потом перебралась во Францию. Преподавала в Каннах русский язык. Ее рассказы и стихи печатались в эмигрантских изданиях. Выпустила несколько поэтических сборников. Проза отдельной книгой не выходила. В архиве И. Чиннова сохранилось одно ее письмо.

Терапиано Юрий Константинович (1892–1980) — поэт, литературный критик, автор мемуаров. В 1919 году воевал в рядах Добровольческой армии. С 1920 года — в эмиграции, в 1922 году поселился в Париже. Принимал активное участие в литературной жизни русского Парижа, в собраниях «Зеленой лампы». Терапиано — автор нескольких сборников стихотворений. В послевоенные годы в Париже известен как литературный критик. В 1955–1978 годах вел литературно-критический отдел «Русской мысли». Его статьи регулярно появлялись и в других эмигрантских изданиях. В 1960 году Терапиано — соредактор антологии русских зарубежных поэтов «Эстафета» (Париж; Нью-Йорк, 1948). Потом редактор антологии «Муза диаспоры. Избранные стихи зарубежных поэтов» (изд. «Посев», 1960). Некоторые из статей и мемуарных записей Терапиано вошли в его, изданный посмертно, сборник «Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974)» (Париж; Нью-Йорк, 1987), а при жизни вышла книга воспоминаний «Встречи» (Париж, 1953). В молодости Терапиано побывал в Персии и встретился там с зороастрийцами. Возникший тогда интерес к восточной философии и религии он сохранил на всю жизнь. В 1968 году в Париже вышла его книга «Маздеизм. Современные последователи Зороастра».

Терешкович Константин Андреевич (1902–1978) — художник. Жил в Париже, где слыл всеобщим любимцем. Друг поэта Бориса Поплавского.

Террас Виктор — американский профессор, славист, составитель энциклопедического словаря по русской литературе (на английском языке) «Handbook of Russian Literature» (США, 1985). Там есть статья и об И. Чиннове. В. Террасом и Дж. Глэдом написано (на английском) предисловие к книге И. Чиннова «Антитеза».

Толстая Мария Андреевна (1908–?) — внучка Льва Толстого. Автор воспоминаний о детстве в Ясной Поляне. Ее стихи печатались в «Новом журнале» и вошли в несколько антологий. Жила в США.

Трубецкой Юрий Павлович (наст. фамилия Нольден, 1902–1974) — поэт, писатель. В России встречался с Блоком, Гумилевым, Ахматовой. Жил в Крыму у Волошина. В тридцатые годы попал в сталинские лагеря. Во время войны оказался в Германии, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Короткое время работал на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Выпус-

тил три сборника стихов, несколько повестей, рассказов. Его стихи и критические статьи появлялись в разных эмигрантских изданиях.

Трубников Александр Александрович (пс. Андрей Трофимов) — историк искусства, сотрудник петербургского журнала «Аполлон».

Тэффи (Надежда Александровна Бучинская, 1872–1952) — сатирик, поэт. Автор книг рассказов, фельетонов, пьес, стихов. В эмиграции с 1919 года. Жила в Париже. Сестра поэтессы Мирры Лохвицкой.

Ульянов Николай Иванович (1904–1985) — писатель, историк, философ, литературный критик второй волны эмиграции, профессор Йельского университета в США. Автор романов «Атосса», «Сириус» и других книг. Был в переписке с И. Чинновым. В архиве Чиннова сохранилось десять писем от него. Одно из них: «Май, 3. 1976. Дорогой Игорь Владимирович! Сердечное спасибо за "Пасторали". Читаю их, как все, Вами написанное, с величайшим наслаждением. Если от нашей эмигрантской "письменности" сохранится что-нибудь и войдет в историю русской словесности, это будут, прежде всего, Ваши произведения. Вы у нас — самый тонкий поэт — как по чеканной отделке стиха, так и по глубине и проникновенности затронутых Вами мотивов. Не смущайтесь коровьей тупостью нашей читательской массы и пишите, пишите... Ваш искренний поклонник Н. Ульянов». Похоронен Н. Ульянов на кладбище Йельского университета. И. Чиннов не раз говорил: «Какие слова себе Ульянов нашел на надгробие, вот это да! Из Георгия Иванова:

За пределами жизни и мира
Все равно не расстанусь с тобой...
И Россия, как белая лира
Над засыпанной снегом судьбой...»

Унгаретти Джузеппе (1888–1970) — итальянский поэт.

Федотов Георгий Петрович (псевд. Е. Богданов, 1886–1951) — публицист, философ.

Фельзен Юрий — псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна (1895–1943) — прозаик, литературный критик. Погиб в немецком концлагере.

Фесенко Татьяна Павловна (1915–1995) — поэт, писатель. В годы Второй мировой войны попала в Германию, с 1950 г. — в США. Автор двух сборников стихотворений, а также книги воспоминаний «Сорок шесть лет дружбы с Иваном Елагиным» (1991). Составитель антологии «Содружество» (Вашингтон, 1966). Многие годы они с И. Чинновым поддерживали переписку.

Филиппов Борис Андреевич (наст. фамилия Филистинский, псевд. Г. Петров, 1905–1991) — писатель, литературовед, поэт. В тридцатые годы был трижды арестован, с 1936 по 1941 г. сидел в Печорских лагерях, а потом был сослан в Новгород. Во время войны с оккупированной немцами территории был вывезен в Германию, где жил в лагере для перемещенных лиц (ди-пи). С 1950 года поселился — в Нью-Йорке, а с 1954 года — в Вашингтоне. Преподавал в университете. Филиппов — автор и составитель более тридцати книг прозы, статей, воспоминаний, стихов, изданных за рубежом. Многие годы Б. Филиппов вместе с Г. Струве возглавлял «Inter-language literary associates» («Международное литературное содружество»), где были напечатаны книги лучших русских писателей, запрещенных в СССР. В 1990 году журнал «Север» напечатал главу из его книги «Кресты и перекрестки».

Филипс-Юзвигг Екатерина Федоровна — профессор университета в Милуоки, известная славистка. Во время войны немцы угнали ее на работу в Германию, затем она попала в лагерь ди-пи, а потом — в США. С И. Чинновым их связывала многолетняя дружба.

Фондаминский Илья Иосифович (псевд. И. Бунаков, 1880–1942) — публицист, редактор.

Форштетер Михаил Адольфович (1893–1959) — поэт. В 1919 году эмигрировал. Жил в Париже. Посмертно в издательстве «Рифма» вышел его единственный сборник стихов.

Фотиев Кирилл (1928–1990) — протоиерей, религиозный писатель, литературный критик, сотрудник радиостанции «Свобода». Учился в Православном богословском институте, где в это время преподавал В. Вейдле.

Хагглунд Роджер — американский славист, он защищал докторскую диссертацию на тему «Адамович — критик». Им выпущена на английском языке книга об Адамовиче: Hagglund Roger. Georgy Adamovich. An annotated bibliography. U.S.A., 1985 и «Единство видения. Адамович в эмиграции». США, 1985.

Хайдеггер Мартин (Heidegger) (1889–1976) — один из основоположников и главный представитель немецкого экзистенциализма.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт, критик, мемуарист. В эмиграции с 1922 года. Жил в Берлине, Праге, Италии, Париже. Первые его книги стихов вышли в России до эмиграции. Последняя книга стихов вышла в 1927 году. В эмиграции был известен и как крупный поэт, и как блестящий критик.

Хопкинс Джерард Мэнли (1844–1889) — известный английский поэт.

Цветков Алексей — поэт третьей волны эмиграции, автор таких книг стихов, как «Сборник пьес для жизни Соло» (США, 1978), «Эдем» (США, 1985).

Цетлин Марк Осипович (псевд. Амари, 1882–1946) — писатель, жил в эмиграции.

Цетлина Мария Самойловна (1882–1976) — издатель, жена поэта и прозаика М. О. Цетлина (Амари). С 1940 г. — в США. Принимала большое участие в издании «Современных записок», «Нового журнала», финансировала издание журнала «Опыты» № I–IX (Нью-Йорк, 1953–1958).

Чалзма Билл (Chalsma, он же — Tjalsma H. W.) — американский поэт, переводчик с русского, составитель антологии эмигрантской поэзии за 1917–1975 годы «Вне России» (Мюнхен, 1978) и «Антологии петербургской поэзии» (Мюнхен, 1973) в соредакторстве с Ю. Иваском (George Ivask).

Чеквер Лев Иосифович (ум. 1977) — американский предприниматель, муж поэтессы Ирины Яссен (Р. С. Чеквер). Он субсидировал парижское издательство «Рифма».

Чеквер Рахиль Самойловна (поэтический псевдоним Ирина Яссен, 1893–1957) — журналист, издатель, поэт.

Червинская Лидия Давыдовна (1907–1988) — поэт, автор стихотворных сборников «Приближения», «Рассветы», «Двенадцать месяцев». Писала в духе «парижской ноты».

Чехонин Михаил Георгиевич (1907–1962) — поэт, автор книги стихов. Жил в Нью-Йорке.

Шаршун Сергей Иванович (1888–1975) — эмигрантский писатель, художник, участник группы «Дада».

Шаховская Зинаида Алексеевна, княжна (1906–14.6.2001) — поэт, прозаик, литературный критик, автор мемуаров. С 1920 года в эмиграции. Жила в Париже. В 1950-е годы работала на французском радио. В 1968–1978 была редактором «Русской мысли». У нее вышло три сборника стихов, пять книг прозы по-русски, книга воспоминаний «Отражения», одиннадцать книг по-французски под ее именем и четыре — под псевдонимом Жак Круазе. За литературные заслуги французское правительство присудило ей звание Командора Ордена искусств и литературы. С И. Чинновым они познакомились после войны в Париже и много лет поддерживали переписку.

Швиттерс Курт (1887–1948) — немецкий художник и поэт, участник группы художников-модернистов «Дада».

Шелли Перси Биш (1792–1822) — известный английский поэт.

Шиманская Аглаида Сергеевна (1903–1995) — поэт, прозаик. В детстве оказалась за границей, жила в Швейцарии. С 1939 года — в Париже. Печаталась во многих эмигрантских изданиях. Вышло четыре сборника ее стихов.

Шишкова Аглая (псевдоним Агнии Сергеевны Ржевской, 1923–1998) — жена известного в эмиграции писателя Леонида Ржевского, с которым познакомилась во время войны. Эмигрировала в сороковые годы. Жила в Германии, Швеции, с 1963 года — в США. В квартире Ржевских в Нью-Йорке собирались русские писатели, художники. Бывал там и Игорь Чиннов. В конце 1940-х и в начале 1950-х годов стихи Аглаи Шишковой появлялись в разных эмигрантских изданиях. В 1953 году вышла книга ее стихов. Но потом она отошла от поэзии. Преподавала русский язык.

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) — русский писатель, эмигрант первой волны. Известность пришла к Шмелеву еще в дореволюционной России после выхода романа «Человек из ресторана» (1911). В годы Гражданской войны Шмелев находился в Крыму, пережитое описал в книге «Солнце мертвых» (Париж, 1926). Книга принесла Шмелеву европейскую известность. Издал в эмиграции «Лето Господне» (Белград, 1933), «Богомолье» (Белград, 1935), «Няня из Москвы» (Париж, 1936), «Пути небесные» (кн. I–II. Париж, 1937–1948), «Душа Родины: Статьи» (Париж, 1967) и др. В 2000 году его архив был передан Российскому фонду культуры.

Шмеман Александр Дмитриевич (1921–1983) — священник Русской Православной Церкви в США, декан Св. Владимирской семинарии. Автор книги «Исторический путь православия» (Нью-Йорк, 1954) и статей о русских писателях и поэтах, в том числе об А. Ахматовой и А. Солженицыне.

Штейгер Анатолий Сергеевич, барон (1907–1944) — поэт. С 1920 г. — в эмиграции в Константинополе, затем в Чехословакии, Франции. В Париже вышло несколько сборников его стихов. Один из наиболее ярких представителей «парижской ноты».

Штейн Эдуард Алексеевич (1934–1999) — литературовед, эссеист. Эмигрант третьей волны. С 1968 года жил в США. Основал издательство «Антиквариат». Автор нескольких книг. Последняя — «Литературно-шахматные композиции: от Набокова и Таля до Солженицына и Фишера».

Эйснер Алексей Владимирович (1905–1984) — поэт. Жил в Праге, в Париже, автор поэмы «Кочевье». В эмиграции печатался в разных изданиях, но книги стихов у него не вышло. В 1940 году вернулся в СССР,

был арестован. В 1956 году — реабилитирован и печатал в СССР прозу, воспоминания.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) — литературовед, критик, основатель «формального метода» литературоведческих исследований.

Элькан Анна Морисовна (урожд. Абельман) — секретарь Объединения писателей и поэтов во Франции. В 1950-е годы в Париже у нее собирался так называемый «Неточкин салон», где бывали многие эмигрантские писатели.

Элиот Томас Стернз (1888–1965) — англо-американский поэт.

Эристов Георгий Захарович (1902–?) — поэт. В эмиграции с 1920-х годов. Поселился в Италии. Преподавал русский язык и литературу. Читал на итальянском лекции о русской культуре. Автор трех книг стихов.

Эрнст Макс (1891–1976) — немецкий художник, участник модернистского течения дадаизм.

Эткинд Ефим Григорьевич (р. 1918) — литературовед, переводчик, эмигрант третьей волны. Автор таких книг, как «Разговор о стихах» (Москва, 1970), «Форма как содержание» (Германия, 1977) и др.

Юрасов В. (псевдоним Владимира Ивановича Жабинского, 1914–1996) — писатель, журналист. В эмиграции с 1947 года. В 1951 году переехал в США. Автор нескольких книг, таких как «Враг народа» (США, 1951), «Василий Теркин после войны» (США, 1952) и др. Много сотрудничал в эмигрантской и американской печати.

Якобсон Роман Осипович (1896–1982) — известный в эмиграции лингвист.

Яковлев Борис Александрович — в 1951–1952 годах редактор выходившего в Мюнхене журнала «Литературный современник», в 1954 году — альманаха с тем же названием, издававшегося на средства «Фонда помощи писателям-беженцам» (FIF — «Fond for intellectual freedom»), основанного английским писателем Артуром Кестлером (1905–1983). Вышло пять номеров издания.

Яковлева Татьяна Алексеевна (в замужестве Либерман, 1906–1991). С 1925 года жила в Париже. Одно время — невеста В. Маяковского.

Яконовский Евгений Михайлович (?–1974) — писатель, критик. Печатался также под инициалами Е. Я. Кроме «Возрождения» (где был секретарем редакции и членом редколлегии) и «Граней», он сотрудничал в газете «Русское воскресение» и пр.

Яновский Василий Семенович (1906–1989) — эмигрантский писатель. Наиболее известны его повесть «Челюсть эмигранта» и мемуары «Поля Елисейские. Книга памяти».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Русский Париж

«Кто сказал, что планета — не дом...»

*Утверждено к печати Ученым советом
Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН*

Научное издание

ПИСЬМА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЛЮДЕЙ

**Литература и жизнь эмиграции
1950–1980-е годы**

По материалам архива И. В. Чиннова

Составитель О. Ф. Кузнецова

Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ им. А. М. Горького РАН
Лавочкиной А. В.
Корректор Сченснович Е. Н.

ИД № 01286 от 22.03.2000 г.

Подписано в печать 01.09.2003. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Кудр. Печать офсетная. Печ. л. 52,0. Тираж 1000 экз.
Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а
тел. (095) 291-23-01, 202-21-23
Заказ № 8850

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6